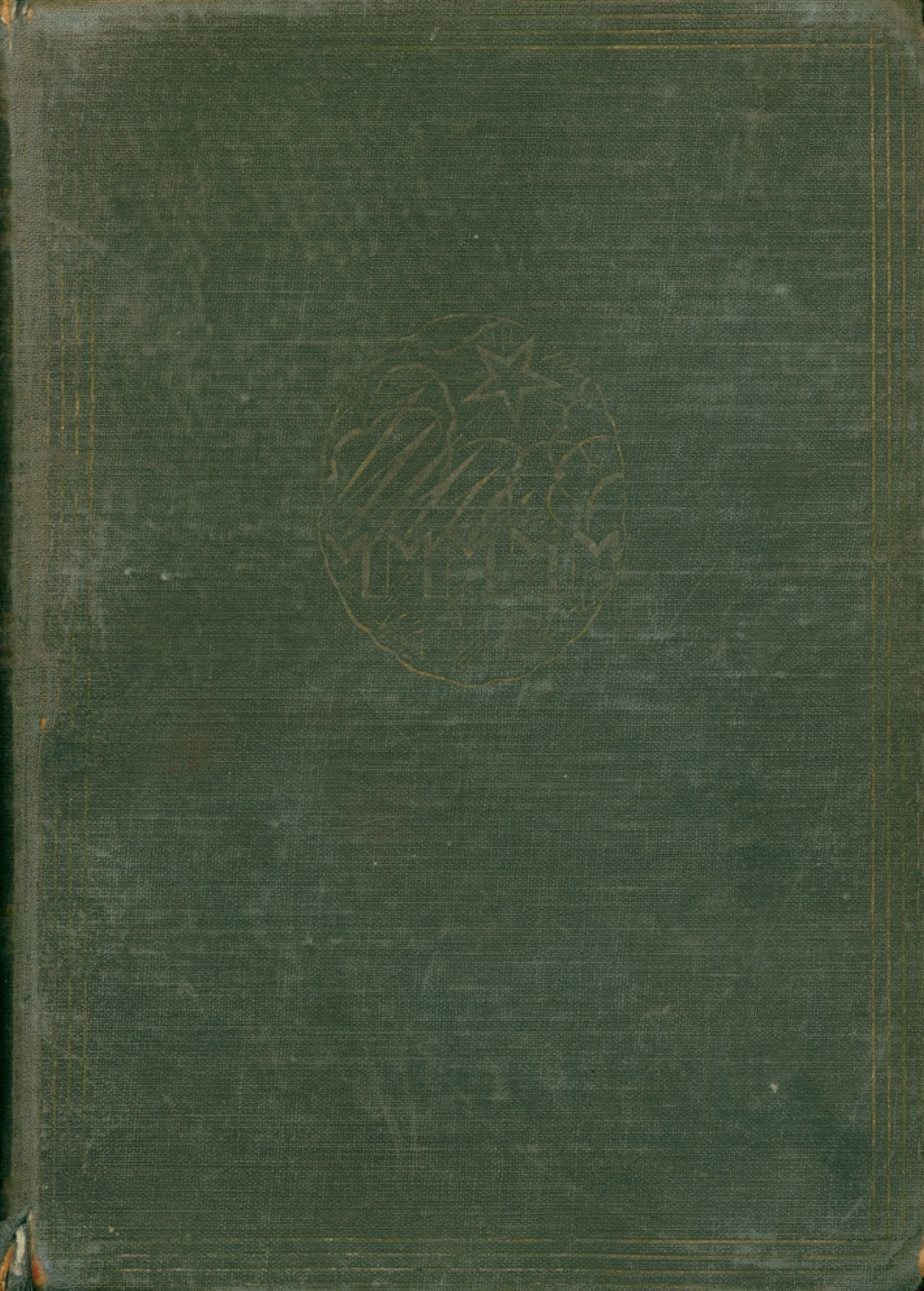


СЕРГЕЙ МАЛАШКИН

СОЧИНЕНИЕ ЕВЛАМПИЯ ЗАВАЛИШИНА О НАРОДНОМ КОМИССАРЕ И О НАШЕМ ВРЕМЕНИ

РОМАН

1928
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

О Т П Е Ч А Т А Н О
в типограф. Нижполиграф,
Н.-Новгород, Варварка, 32,
в колич. 10.000 экземпляров.
Главлит № 6193. М. Г. № 2331.
Заказ № 61.

* * * ЧАСТЬ ПЕРВАЯ * * *

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколеньи
Поэта приведет в восторг и умиленье!

А. С. Пушкин

ГЛАВА ПЕРВАЯ * * *

Детство народного комиссара,—в детстве он не был народным комиссаром, да и не мечтал об этом, но мы, да простят нам читатели, все время будем называть его в нашем романе народным комиссаром, — ничем не отличалось от детства любого крестьянского мальчика.

Он так же, как и все мальчики его возраста, до десяти лет, вздымая столбы мягкой палевой пыли, ездил верхом на палке, воровал из гнезда яйца на яблоки и на разные сласти, дрался с товарищами из-за пустяков, барахтался целыми днями в реке Красивая Мечь, забирался в чужие огороды за огурцами, за репой, за морковью и за другими овощами, врывался в помещичьи сады и воровал яблоки, — это веснами и летами.

Он так же, как и все мальчики, катался с крутых гор на санках, на скамейках (на козлах), на «говнянках», шлялся по крышам изб, по ригам, по ометам ржаной и овсяной соломы, самодельной наметкой ловил воробьев, сажал их в клетки, — это по зимам. Так проходило детство.

Его родители, когда ему исполнилось десять лет, стали думать о судьбе своего сына. Они принялись приучать его к хозяйству самым упорным, самым настойчивым образом, стали внушать ему, что время беззаботного детства давным-давно прошло, что настало время не бегать, не шалопайничать, а что пришло время взяться за свой разум, заняться делом, помогать родителям в хозяйстве, в котором столько дыр, столько прорех, что трудно сосчитать и выразить словами. Чтобы

поправить, заткнуть все эти дыры и прорехи (ох, и велика бывает нужда в жизни!) в хозяйстве, да так, чтобы оно было похоже на хозяйство исправного и богатого мужика, дом у которого похож на резную игрушку, лошади и прочая животина блестит шерстью от сытости, взбрыкивает от удовольствия и от хорошей жизни, — надо очень много силы и рук.

Впрочем, как знал он, местное начальство в лице старшины, урядника и церковного старосты всегда показывало пальцем на этого мужика, как на хороший пример, всегда говорило, что он, богатый мужик-то, не бездельник, не такой лодырь и гольтепа, как многие, что он всегда подати платит в срок, что он всегда начальство глубоко уважает, в церковь исправно ходит, что он детей своих воспитывает в духе глубокого почтения к старшим, к начальству и к вере православной.

Итак, на одиннадцатом году своей жизни он был вынужден не бегать без порток по берегам Красивой Мечи, не скакать верхом на палке, не драться с ребятишками, не лазать по княжеским садам, по огородам, — был вынужден помогать отцу в труде, вместе с ним заштопывать дыры в хозяйстве. Весной на одиннадцатом году, когда побурели березы и лозины, когда в необ'ятно-высоком и прозрачно-голубом небе радостно зазвенели жаворонки, прячась за волнисто-серебряные облака, отец его, сорокалетний мужик с большой рыжей бородой, вышел из своей избы на улицу, поднял кверху светлые глаза, посмотрел на небо, потом на ручьи, которые выбивались упорно из-под сомлевшего серого снега на солнце и, как жаворонки, радостно журчали песни лучезарной весне, что упорно двигалась с полей, лугов, с вершин на родное село, сдирая с земли покровы суровой зимы и бросая их пенистым темно-

золотистым суслом в побуревшую и вздувшуюся сердито Красивую Мечь.

Долго смотрел его отец мягким взглядом на небо, на ручьи, возле которых шумно бегали с лопатами ребятишки, пускали пароходы, сделанные из спичечных коробок, из хлопчатой бумаги. Среди этих ребятишек находился и народный комиссар. Он так же, как и его товарищи, пускал пароходик, который, подпрыгивая по золотистой чешуе ручья, быстро мчался по течению. За этим пароходиком, шлепая бурыми лаптями по рыхлому, насыщенному водой снегу, бежал он и, громко покрикивая, зорко следил, чтобы пароход не повернулся книзу мачтой, не потерпел бы аварию. Так беззаботно играл он на одиннадцатом году своей жизни. Отец, глядя на своего сына, равнодушно окликнул его и подозвал к себе.

— Пора тебе бросать это занятие.

Сын на это дернул пунцовым носом, потом вытер его энергично рукавом замызганного, не один раз заплатанного полушубка, перешитого из бабушкиной старой шубы, и тоже не один раз перешитой, посмотрел на отца; отец сейчас как будто не замечал его, смотрел на погреб, возле которого два петуха, — один белый с розовой шеей, с большим раздвоившимся гребешком, похожим на два поставленных розовых листка; другой черный с огненной шеей, с густым гребешком, похожим на только что распустившуюся темно-красную розу, с страшными шпорами на ногах,— дрались гордо и отчаянно, нападая друг на друга.

— Дерутся, — сказал восхищенно сын и звучно шмыганул носом.

Отец ничего не ответил; он все так же равнодушно смотрел на петухов, которые то величественно расходи-

лись, приседая задом к земле, то еще более величественно сходились и, вжимая в плечи головы, свирепо бросались друг на друга; потом опять, вытянув шеи с сердито вздыбленными перьями, пятились назад, чтобы снова еще более яростно напасть друг на друга... На широком гребешке черного петуха брусникой рдели капли свежей крови, медленно скатывались и падали, прожигая серый снег, как каплями иода.

— Это не наш, — бросил все так же восхищенно и хотел было опять направиться к ручью, возле которого озорно орали ребятишки.

— Ты куда?

Сын остановился в нескольких шагах, удивленно посмотрел на отца и, соображая, что бы это значило и что ему нужно от него, когда никто из отцов не зовет своих детей, не останавливает около себя, когда им хочется поиграть, спросил:

— А что? — и хотел было опять двинуться к ручью.

Отец посмотрел на сына, покачал вразумительно рыжей головой, потом приказал следовать за ним. Он неохотно повернулся и пошел за отцом. Когда они подходили к сараю, в котором находился сельскохозяйственный инвентарь, отец все так же равнодушно обратился к нему:

— Я в твою пору подпаском бегал, стадо пас. — Потом он до самого сарая говорил, словно голубь ворковал, что давно пора бросить бегать по улицам, что давно пора перестать понапрасну трепать обувь, что необходимо нужно теперь заняться умом и помогать отцу в хозяйстве, — не разорваться же ему одному. Потом он говорил, что с этой весны он должен выехать в поле, научиться пахать землю, «обязательно», как он любил в таких случаях выражаться, и другим работам, которые

всегда надо знать в хозяйстве каждому домохозяину. Потом он говорил, что без знания этих работ невозможно будет справиться с домом.

Нужно сказать, что хозяйство у отца было незавидное: все его хозяйство можно было без всякого труда положить в полу армяка, унести за тридевять земель от своего родного села, а раз это так, то он очень долго думал, что же будет делать его отец, если он будет за него на единственной лошади работать в поле? С этой мыслью он работал в сарае, помогал отцу снимать с телеги соху-кормилицу, выкатывать из сарая телегу, вытаскивать борону, плотничать. Правда он не умел плотничать, но все же умел тяпать топором, строгать рубанком: этими инструментами он занимался тайно от отца, когда его не было дома, делал коней, молотилки и другие игрушки; за эти вот самые игрушки ему очень часто попадало от отца, в особенности здорово влетало от матери, когда он прилаживал к прялке свою молотилку, заставлял какого-нибудь товарища вертеть большое колесо, — сам в это время работал за подавальщика (?), — подавал в барабан лебеду.

Однажды, во время такой молотьбы, его товарищ неосторожно повернул колесо, так что уронил прялку и расколол рогульку, за каковую на другой день его смертным боем избила мать, а вечером этого же дня отец прибавил веревкой от лаптей в мягкое место, так что целых четыре дня болел зад и не давал покоя. После такого наказания он долго не брался за прялку, за топор и за молотилку. Он с горя уходил как можно дальше от столь горьких, неприятных игрушек и забав к природе, к одиночеству на берег Красивой Мечи, в вершину Крутое, с горы которой всегда было приятно

смотреть на белую церковь, которая ослепительно возвышалась над ярко-зеленым холмистым окрестом, на стрижей, что, делая забавные петли, кружились вокруг голубой с золотыми звездами колокольни, оглашая тугой зелено-желтый воздух тихим металлическим криком, на усадьбу князя Горчакова, на розовую с белыми полосками башню его дворца, на большого золотого орла этой башни, в котором трепетали и дымились лучи солнца и ниже которого, как большое пестрое крыло, болтался трехцветный флаг с княжеским гербом, и на дугообразный кусок реки Красивая Мечь.

Этот кусок реки изумительно нежно огибал огромную усадьбу князя Горчакова, выделялся из густой зелени княжеского сада блестящей темно-серебряной дугой; с левого конца этой дуги в ясные дни огненно поднималось солнце, доходило до середины, останавливалось и напоминало собой золотой большой бубенец...

Сейчас, после того как при помощи его сельскохозяйственный инвентарь был вытащен и вывезен на улицу, на солнышко, он стоял у притолоки сарая, вил из моченника, резко пахнущего осенней рекой, вожжи, чересседельники, повода и внутренно, про себя, поругивал отца. Он поругивал отца за то, что он оторвал его от веселой игры, заставил делать ненавистное дело, от которого саднили пальцы, покрывались красными пузырями мозолей, — это, ведь, не кнут свить в охотку! Так шли дни народного комиссара. И он стал уже привыкать к своему труду, смотреть на отца не так сердито, как он смотрел в первые дни, не исподлобья, — благосклонно, даже с веселой улыбкой, с любовью, то-и-дело обращался к нему с вопросами, касающимися весны, ярового поля, инвентаря.

— А борона-то, думаю, не выдержит.

Отец поднимал рыжую голову, клал топор около себя, радостно вскидывал добрые светлые глаза на сына, оглядывал его с ног до головы, потом вынимал из кармана бурой шубы замусленный кисет, сшитый из тяжевины, которому было столько же лет, сколько и его владельцу, брал щепоть табаку, растирал на шершавой ладони, набивал самодельную темно-коричневую трубку, брал ее в крепкие, хорошо сохранившиеся белые зубы, высекал огонь из кремня, а когда трут разгорался, прикладывал к трубке и начинал долго сосать, причмокивая толстыми бледно-розовыми губами; после такого причмокивания трубка разгоралась, начинала пышно чадить, как кадило в руках дьякона; наслаждаясь трубкой, которая похрипывала в зубах, он улыбался в густую рыжую бороду, левый конец которой был длиннее и свисал мочалкой; цвел глазами, словоохотливо начинал разговаривать с сыном.

— Выдержит. Она еще крепкая, хоть куда...

Сын важно утверждал:

— Не выдержит; зубья расшатались, надо прутьями увязать. Я нынче, как закончу вожжи вить, сбегаю на берег за ивняком.

— Ивняк не поможет, сынок, тут дубняк нужен.

— Я и за дубняком могу слетать,—утешал он важно отца.

Весна подходила быстро; небо становилось все выше и выше, глубже, прозрачнее; поля и луга освободились от снега, зазеленели, в особенности озимые; яровые, вспаханные под осень, как-то взбухли, побурели и, когда он выехал с отцом в поле, несмотря на яркое солнце, на глубокое синее небо, на прозрачно-белые облака, они легко висели над головой, таяли, как нежный пух одуванчика, показались ему сердитыми и важными. Отец, как заметил он, тоже был радостно настроен; он

весь был прозрачен, светился, как чистое стекло. Отец подошел к сыну и стал смотреть, как он впрягал в соху лошадь; потом, когда сын впряг чалку в соху и завозжал ее, отец еще больше стал прозрачным, так что, как показалось сыну, можно было рассмотреть его до мельчайших подробностей.

— Ну, вот и хорошо, правильно, — похвалил с улыбкой отец. — Теперь дай я проеду борозду, а ты следуй рядом со мной и гляди, как надо держать соху. — И он дернул вожжами чалую кобылу с понурой головой и с высоко-поднятыми облезлыми крестцами. Чалая кобыла вытянулась и, покачиваясь из стороны в сторону, тупо переступая темно-серыми копытами, медленно пошла.

— Н-но-о!

Народный комиссар пошел рядом с отцом, слушал внимательно все то, что говорил ему отец: как надо управлять сохой, когда она берет слишком глубоко, а также и тогда, когда ее сошники вылезают из земли.

— И наваливаться на соху не надо — кобылу запаришь, а держи ее немного как будто на-весу,—поучал добродушно, но серьезно отец.

За широкой, согнувшейся спиной отца, за спиной сына, чуть не задевая крыльями, кружились, кричали хрипло грачи, шумно падали в черные ноздреватые борозды и, пенясь сизо-черными перьями, гордо поднимали из борозд толстые, с отвислыми зобами белые носы.

— Кра!

ГЛАВА ВТОРАЯ * * *

Все время весенней страды отец народного комиссара ходил на поденную работу к богатому мужику, работал у него топором, скребкой, ломом в каменной

горе, выворачивая камни для новой постройки, возил воду из Красивой Мечи, глину из горы Крутое, разводил водою и, засучив выше колен тяжевые портки, залезал в нее и, тяжело пыхтя, мял собственными ногами, чтобы она была мягче, нежнее; а когда она становилась мягкой, нежной, он брал деревянную лопату и подавал ее каменщикам, которые воздвигали для богатого мужика новую постройку. Несмотря на поденную работу отца, несмотря на то, что он в хозяйстве, т.-е. в поле, исполняет обязанности отца, сын видел, что родное хозяйство не только не увеличивается, но даже и не улучшается, как будто бы наоборот — все больше разваливается и дыр в нем становится все больше и больше. Отец приходил с работы очень поздно, после захода солнца, садился около завалинки на большой камень, набивал трубку и, раскуривая ее, подолгу смотрел на бледное вечернее небо, — оно медленно покрывалось звездами, и продумывал какую-то тяжелую думу. Он, глядя на отца, тоже садился с ним рядом, на другой камень, тоже смотрел на вечернее небо. В тишине вечера было слышно, как по дорогам громыхали телеги, жужжали бороны, скрипели волокушками сохи, позвякивали плохо прикрепленными палицами; потом, это на селе, под боком, скрипели ворота, фыркали лошади, изредка, разрезая тишину, лаяли собаки. Но весь этот шум, особенный вечерний шум, наполненный какой-то особой прелестью, поэзией, не касался слуха, не бередил сердце его отца, также и самого народного комиссара. Они оба смотрели на небо, — оно с каждой минутой освобождалось от зноя дня, настойчиво меняло свой бледно-голубой цвет на темно-синий. Он видел, как быстро над его головой темно-синее небо выбрасывало из нутра на свою поверхность звезды и как эти

звезды все ярче и ярче разгорались над ним, над рыжей головой отца, в особенности было много выброшено звезд на млечный путь, про который говорили, что он тянется от самого святого Киева и кого угодно доведет до него, до святых мощей Антония Печерского; на этом самом млечном пути звезды валялись в большом беспорядке, кучами, дымились бело-зеленой пылью от невидимых ног странников, — они направлялись в царство райских садов, позабыв давно земные горести и страдания, — впрочем это только казалось. Он повернул голову в сторону неподвижно сидевшего отца, в зубах которого давно погасла трубка, спросил, грустно показывая на млечный путь:

— Папаш, это дорога до Киева?

Отец испуганно дернул рыжей, а сейчас темной головой, посмотрел на сына и ничего ему не ответил; потом зачмокал губами, стремясь раздуть давно потухшую трубку, но трубка не задымилась, — она только как-то странно стала присвистывать; отец положил трубку в карман, сел ровнее, склонил голову на грудь, потом снова дернулся и постучал в окно избы:

— Эй, баба, пора ужинать!

Окно как-то странно задребезжало (в этом вечере все было необычно и странно) в ответ отцу; потом оно взглянуло черной тряпкой в лицо сыну, так что он вздрогнул и почувствовал, что на него взглянула не тряпка, а рожа самого домового.

— Несу, — ответила мать. — А я думала, что ты, мужик, еще не пришел и там поужинал.

— Для нас там ужина не варили.

Мать черной тенью выползла из низких, покосившихся на бок сеней, бросила отцу грубую холщевую скатерть и опять скрылась в сени; отец развернул скатерть

и стал ее стелить на каменную плиту, что служила веснами и летами обеденным и ужинным столом; от скатерти запахло кислыми щами, прилипшими к ней хлебными крошками.

— Папаш, — спросил он таинственным голосом у отца, — домовой в каждой избе имеется?

— Обязательно! — ответил равнодушно отец, как будто просыпаясь от сна, — разве без домового можно.

— И в нашей избе есть?

— Этого я тебе не могу сказать... Мы люди бедные, что ему делать у нас. Он у нас с голоду ноги протянет. — И отец как-то странно улыбнулся, посмотрел на сына. — Был случай один, — сказал он как-то спокойно и смеясь, — хочешь, я его тебе расскажу, — и он, не дожидаясь ответа сына, приступил к рассказу. — Жил в одном селе Вязове один мужичок, звали его Чижиком. Вот у этого самого Чижика было хорошее хозяйство и всего большой достаток, так что он богатым людям, как мы грешные, не кланялся, а даже ему в пояс кланялись. Так-то вот. Хороший мужик был, добросовестный, всегда помогал бедному народу и никакого за это росту не брал, а всегда говорил: «Сколько даю, только и возврати. Мне лишнего не надо». Хороший и справедливый был мужик.

Мать принесла большое блюдо щей, села напротив мужа и сына. Она была высокого роста, одета была в черное; несмотря на широкую паневу, она казалась тонкой, поджарой, так что, глядя на нее, создавалось такое впечатление, что она вот-вот переломится и умрет; голова была обмотана поверх платка огромной казинетовой шалью, казалась непомерно большой, отчего она была похожа на пугало, что ставят на огороды; лицо у ней было узкое, желтое, преждевременно состарив-

шееся и морщинистое; глаза большие, бездонные, сухие, как будто их обдули знойные ветра, лютые бури и высушили от скорби человеческой; руки были у ней длинные, неуклюжие и она, когда была сердита, — сердитой она была почти всегда, — широко ими размахивала, в особенности, когда разговаривала,—она разговаривала только за обедами, за ужинами; нужно сказать, что неуклюжесть своих рук она хорошо сознавала, и поэтому часто не знала, куда их убрать, куда спрятать, чтоб они не мешали ей; так вот и сейчас она сидела за каменным столом, за блюдом голых щей и не знала, куда деть длинные руки... Сейчас она подперла ими свою голову, безразлично слушала, как чавкали рты мужа и сына.

— Ты о чем это болтаешь? — спросила она и замолчала.

— О Чижике, — ответил муж.

— Ты, что же, мужик, старуху-то не позвал ужинать, а?

— Мать, а мать!

Бабушка народного комиссара большую часть своей старческой жизни проводила на печи, так что и весны, и лета, и зимы были безразличны ей, — она все время зябла. Внук любил свою бабушку; любил ее за то, что она ему рассказывала сказки и про Федора Тылина, который ходил отыскивать царскую дочь и перед которым кит-рыба преклонялась и делалась мостом, чтобы он, Федор Тылин, мог по ней, это по кит-рыбе, пройти как по мосту; кроме таких сказок, она рассказывала ему и другие сказки: про крепостное право, про то, как бурмистр порол ее, как она, это после порки, пришла домой с полной пазухой крови и этой кровью кормила грудного ребенка, его отца; порол бурмистр за то, как она рассказывала, что она отказалась кормить своей

грудью господского ребенка; потом рассказывала, как после смерти деда ее, бедную вдову, обижали, как она судилась за надел земли, что у ней отняли мирские оглоеды и ни за что не хотели его возвратить ей, и о том, как она побиралась по миру, как выпрашивала у добрых людей кусок хлеба для маломеньших детей. За все это его бабушку мирские оглоеды прозвали «облакатом» и уж больше ее не обижали, надел земли, который она высудила, вернули ей обратно, но только никогда не звали ее Аленой, всегда звали «облакатом», и это прозвище, переходя от стариков к детям, осталось до нынешних дней. На зов отца бабушка не ответила; в избе была мертвая тишина, только остро, точно сверлом в металлический предмет, поскрипывал сверчок, резал мягкую непроглядную тишину избы. Внук поднялся из-за стола и, обращаясь к отцу, чтобы он обождал рассказывать о Чижике, пошел за бабушкой, но бабушка отказалась ужинать, а нежно поймала его за руку, поцеловала и подала ему гостинец — кружку с молоком, и сказала, чтобы он после ужина поел это молоко с хлебом и поел бы так: хлебушка кусал бы побольше, а молочка поменьше, чтобы сытнее было. Он вернулся к столу с кружкой, поставил молоко на стол, сел на свое место и напомнил отцу о Чижике.

— Что же бабушка? — спросила мать и взглянула на сына.

— Не хочет.

— Я ведь молока для ней добыла; зачем ты вырвал у ней, а? Ах ты, мерзавец!

— О Чижике? — дернул бородой отец. — У Чижика было две лошади и, как я уж тебе сказал, было хорошее хозяйство и человек он был хороший и добрый. Но его хозяйству позавидовал другой богатый мужик и тут же

между ними началась вражда, а раз началась вражда между людьми, то и хозяева, это домовые-то, не поладили себе—стали враждовать. С этого разу-то, брат ты мой, и начало хозяйство Чижика разваливаться: лошади начали худеть, скот рогатый падать. Чижик растерялся, — да и каждый на его месте растерялся бы, — давай молебны служить с водосвятием, все окропил святой водой и думал — теперь все пройдет и темная сила отвалится. Да-а. Но не прошло и трех дней после водосвятия, как волки зарезали жеребца и зарезали-то не далеко от дома, за гумнами: он на привязи был... Чижик тут окончательно растерялся, так растерялся, что даже не знал, что и делать ему, а главное — жеребца жалко, больше ста целковых стоил.

— А ты меньше слушай, больше ешь, — сказала сердито мать, — а то совсем прокиснут щи-то!

— Чуть было не наложил на себя руки, — около человека, попавшего в горе и в нужду, дьявол, брат ты мой, так и вертится под руками: то норовит тебе ножик подать, то петлю, а то на реку показывает: иди, мол, и топись. Да-а, ежели бы не подвернулся хороший человек, погиб бы Чижик не за понюшку. «Ты, — говорит человек этот—человек, нужно тебе сказать, был очень пожилой и странник, и без одной руки,—напрасно убиваешься, и бог тут тебе ничем помочь не может, так как тут дело не божеских рук — самого дьявола, потому, говорит, обращаться надо не к духовным особам, а к колдунам, и они тебе обязательно в этом деле помогут». Он так и сделал: запряг лошадь и отправился в соседнее село к известному всем колдуну. Колдун выслушал его, потом достал толстую в желтом сафьяне книгу, положил на стол и стал читать ее на своем тарабарском языке, а его, Чижика-то, посадил на порог, задом к себе,

и велел повторять за собой каждое слово. Чижик и повторял. А когда колдун перестал читать, Чижик поднялся с порога, подошел к столу и стал смотреть в овсяный кисель. — «Видишь?»—спрашивает колдун.—«Вижу», — отвечает Чижик. — «Это, — говорит колдун, — твой настоящий смертный враг; он тебе пакостит на каждом шагу, разрушает от зависти твое хозяйство». — Да-а... так прямо и сказал, а после этого послал его домой и велел ему проделать следующее: — «Как, говорит, приедешь домой, так немедленно поставь лошадей к яслям, — в ночное не пускай; потом принеси ты им вязанку сена, в вязанку сена-то, в самую середину, сам залезь и лежи в ней до полночи, не шевелись и только внимательнее слушай, а когда придет вор и будет брать вязанку сена, ты гаркни из всей своей мочи: Г-га!»

— Какую ты глупость, мужик, говоришь, — вздохнула мать и стала собирать со стола.

— Чижик так и сделал: приехал, отпрег лошадей, поставил их к яслям, принес вязанку и сам залез в ее середину, притаился, ждет пóлночи, а сам дрожит и никак не может зуб на зуб попасть, — боится, да и лошади, брат ты мой, тяжело храпят, как будто кто на них на крутую гору в'езжает, и к корму не подходят. Чижик прошептал молитву «живые помощи», потом высунул немного из вязанки голову, взглянул: лошади в пене, словно кто намылил их, дрожат, а сверху на лошадей-то смотрят жалобно два зеленых глáза, освещают свою противную рыжую мордочку и перемет. «Ага!» — подумал про себя Чижик и стал всматриваться: на перемете, поджав под себя копытца и закинув на спину хвост, сидел домовой, да паршивый такой, и дрожал; из его глаз катились слезы и был он похож с рожи на Чижика. «Бедный» — пожалел Чижик, но тут же втянул

голову, испуганно притих; в это время, когда Чижик притих, лошади запрыгали, захрипели, заметались из угла в угол; домовой заскулил жалобно, да так жалобно, словно ему дверью хвост прихватили. Чижик слышит, что кто-то осторожно ступает по двору, осторожно подходит к яслям, берет вязанку, взваливает ее на спину, собирается бежать... Да-а. Так вот Чижик, сидя в вязанке, чувствует, что еще одна минута и вор вырвется со двора и тогда его не поймаешь... Чижик, дав себя взвалить на горб, заорал: — «Вор! Вор! Держи! Держи!»—и быстро рванулся из вязанки и видит, что он не на дворе, а около крыльца богатого мужика, которого он видел в овсяном киселе. Чижик осмотрелся—никого, и только вязанка сена лежит около его ног, а вора и след простыл...

— Так и не поймал? — шмыгая носом, спросил сын.

— Разве его можно поймать, — ответил отец и пояснил: — У него, у вора-то, четыре ноги, а у Чижика — две.

— А ты слушай его, дурака, — крикнула мать. — Он тебе намелет столько, что на воз не накладешь; он на дело не способен, а на побаски горазд, только разевай пошире рот — наплетет.

Сын задумался и, глядя на отца, взволнованно проговорил:

— А у нашей чалой никто не ворует? Она уж больно худа и нынче еле отработала.

Отец ничего не ответил ему; он быстро поднялся с камня, потоптался на месте, потом опять сел на камень и полез в карман за трубкой, и все это время, пока набивал трубку табаком и высекал огонь, он избегал взглядов сына и жены. Сын заметил, как лицо отца изменилось, стало вместо веселого грустным, тревожным, словно его кто тяжело обидел, и так стало жалко ему

отца, что даже мучительно заныло в груди, к самому горлу густо подступили слезы и стали царапать так, что он с большим трудом сдержался, чтобы не расплакаться. Была тяжелая тишина; в этой тишине вокруг каменного стола сидели три человека и молчали, каждый взвешивая тяжелое горе жизни. Первой заговорила мать; она откинулась назад, к избе, потом положила длинную сухую руку на голову сына и, лаская его волосы, подстриженные в скобку и белые, как лён, прошептала грудным голосом:

— Мужик, а мужик, давай отдадим сына к пастуху в подпаски...

— Что-о?! — приподнялся отец и выронил из рук трубку. — В пастухи своего сына?

Мать, возвышая голос и перебивая отца, стала говорить вкрадчиво:

— За лето дает двенадцать целковых, хлеба шесть пудов, три пары лаптей, двадцать фунтов конопли и...

— В пастухи своего сына... Да я лучше... — Голос отца оборвался, он неуклюже вытянулся, вышел из-за стола, походил, потом остановился около рыдвана с бочкой; мать тоже поднялась, но застыла на одном месте и молча, как каменное изваяние, смотрела на мужа, а когда они встретились глазами, она заговорила. В ее словах была любовь к мужу, к сыну, но, несмотря на большую любовь, все ее слова были пропитаны глубокой болью, испугом перед голодными и холодными днями, что стояли впереди, смотрели страшно-оскаленными мордами ей в лицо. Она говорила, что жить необыкновенно трудно, что хозяйство разрушается, что хлеба нет, до новины еще около двух месяцев, взаймы никто не дает, да и не может она больше ходить по богатым мужикам, выпрашивать в долг, так как на ее

шее и без того лежит немалое количество рабочих дней за взятые раньше долги, а поэтому она другого выхода и не видит, как отдать его в подпаски, — в этой работе она ничего позорного не находит, да и труд не особенно тяжелый, как раз под силу будет мальчику — тяжелее кнута ничего не поднимет, живота не надорвет, все время будет на свежем воздухе. Потом разговор свела на самого мужа; она очень убедительно доказывала, что муж ничего не выработает поденной работой, что он только больше развалит хозяйство, которое и так развалилось, а без глаз хозяина еще больше развалится, так что никакие поденные заработки, оплачиваемые грошами, которых нехватает на один день, чтобы прокормить семью в четыре рта, не поправят хозяйство, — окончательно развалят.

Слушая жену, отец стоял неподвижно около рыдвана с бочкой и, глядя кроткими светлыми глазами в свою рыжую бороду, молчал, так как он хорошо чувствовал, что жена была права, говорила правду, говорила выстраданно и глубоко. И благодаря этой выстраданности — ее слова ложились убедительно, прямо как тяжелые камни в его сердце, доказывали, что сын еще молод, что положиться на него, на его работу в поле никак невозможно, что за ним необходимо надо смотреть, а то он так тебе напашет, что, кроме лебеды и полыни, ничего не уродится на пашне, — в этом жена была права, и он, отец, ничем не мог опровергнуть ее, доказать ей обратное; он только тогда, когда она кончила говорить, выгрузила всю свою боль, снова села на камень и опять положила руки на голову сына, оторвался от рыдвана, хрипло зарычал, ударяя себя в грудь кулаком:

— Уйди от греха, а то морду набью!

Народный комиссар видел, как мать вытянулась, отняла руку от головы его, посмотрела на отца жуткими пустынными глазами, спаленными зноем тяжелого горя, хрипло-звенящим голосом, как будто звоном разбитого стекла, бросила:

— Бей! Тебе это не привыкать. Эх, ты, го̀льтяпа голодранная!

От этих слов отец, как огромный истрепанный петух, взмахнул руками, высоко подпрыгнул от земли, бросился на жену. Сын пронзительно заорал и тоже бросился навстречу отцу, крепко вцепился в него и, обхватив его руками вокруг пояса, повис на нем, своим телом преградил дорогу отцу. Пока отрывал отец от себя сына, мать спокойно встала́, показав костлявую спину и затылок головы, обмотанной шалью, концы которой торчали и были похожи на рога козы, спокойно, не торопясь, прошла мимо и скрыла̀сь в сени, шумно захлопнув за собой дверь.

— Отстань, говорю! — крикнул отец.

Он отпустил отца, прислонился к избе.

Кругом на селе было тихо, только тяжело дышал отец и, как показалось сыну, всхлипывал. Ему невыносимо стало жалко отца, он хотел сказать ему теплое и нежное слово, но такого слова он не нашел, несмотря на то, что такое хорошее слово всегда у него было на сердце, — сейчас не только не нашел, а и не мог это хорошее слово выговорить, и он неожиданно для себя сказал совсем-совсем другое:

— Чижик после того, как поймал вора, перестал беднеть?

Отец взглянул на сына, ласково улыбнулся ему, так как он больно чувствовал, что сын совершенно не это хотел сказать отцу, — другое, и за это он был глубоко благодарен, и он кротко ответил ему:

— Да, как говорят, стал богатеть.

Потом оба замолчали, так как было все и без слов понятно, не только их великое горе, но все то, что было над ними, дымилось из темно-синего пространства золотой пылью.

А когда они пошли в сарай ложиться спать, отец, не глядя на сына, проговорил:

— Мать у тебя хорошая; ты ее не обижай, а... — тут шопот отца оборвался и он торопливо, шурша по соломе лаптями, прошмыгнул в сарай.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

* * *

Нарядные, в новых расстега́ях, ожерельях, в блестящих разноцветных бусах, в которых дробилось весеннее солнце — человеческая радость, густою толпою, с песнями, с боем в ко́су проходили по селу девушки; новые цветные расстегаи, кружевные яркие фартуки дулись на девушках, как пузыри, гремели лоском, пахли дешевыми мятными пряниками и ситцем; девушки с песнями, с боем в ко́су, с пляской проходили на луга водить хороводы, заплетать венки, потом с крутого берега бросать их в Красивую Мечь, смотреть за венками, как они поплывут по реке; смотреть и загадывать: чей венок тут же погрузится на дно, то бросившая его в воду девушка в этом же году обязательно выйдет замуж, а ежели поплывет по поверхности воды, то девушка не выйдет в этом году замуж и ей придется ждать следующей весны, следующего праздника, в который она опять загадает венком о своей де́вичьей судьбе.

За толпою девушек бежали ребятишки обоего пола и тоже в новых рубашках, в ярких расстегаях, которые от

быстрых движений еще больше дулись пузырями, чем на взрослых; ребятишки шумели, толкали друг друга, как иглы шмыгали между взрослыми, за что получали подзатыльники от девушек. Народный комиссар тоже был в толпе этих ребятишек; на нем была новая бордовая рубаха, с густыми сборками на плечах, отчего рукава дулись, как бараньи пузыри, гремели на ветру и от движения; на нем были тяжевые в синюю полоску самотканные портки, с широкими огузьями; рубаха была подпоясана тонкой малиновой каемочкой, которая ярко выделялась от цвета рубахи, так что по этому поясу было можно издали узнать его, отделить от группы ребятишек; только босые ноги, несмотря на то, что он отмывал их мыльной травой — растет такая на огородах, низкорослая, мягкая, с мелкими белыми цветочками, — чуть ли не полбочки вылил на них воды, остались все такими же черно-бронзовыми и еще больше зияли красными струпьями цыпок. Он ничем не отличался от других ребятишек: он так же вертелся, боролся с товарищами, нагонял других, толкался, убегал от товарищей, толкал девушек, пробегая между ними, получал толчки, подзатыльники, срывал с девушек венки, надевал на свою голову, кружился, чтобы его, «родимца» и «окаянного», не поймали девушки, с которых он срывал венки и которые до устали бегали за ним по лугу; а когда девушки бросали венки в воду, чтобы узнать свою девичью судьбу, он так же, как и его товарищи, бросал камнями в плавающие венки, которые от попадания в них камней шли ко дну под шум и крик девушек. Одним словом, он ничем не отличался от своих товарищей; так же и его товарищи ровно ничем не отличались от него. Сейчас, когда толпа девушек, ребятишек проходила мимо избы народного комиссара,

отец окрикнул сына, позвал его к себе. Он притворился, что не слышит, и хотел нырнуть в толпу, но отец опять крикнул, и он был вынужден приотстать немного от толпы, и он приотстал, повернулся к отцу и стал возражать и никак не хотел подчиниться требованиям отца, чтобы вернуться домой и отправиться с лошадью в ночное с самого обеда, тогда как все веселятся, идут на луга завивать венки; но угрозы отца заставили его вернуться домой, а потом поехать с лошадью в ночное.

День был солнечный, жаркий; от княжеского сада, с полей и лугов плыл запах цветов, меда; воздух был тугой, как тетива, и был он наполнен неумолчным журчаньем, каким-то нежно-радостным гулом: гудели пчелы, звенели слепни, овода и другая разная мелкота. Сидя верхом на чалой кобыле, он медленно ехал на паровое поле, — оно было от села версты за две, — равнодушно наблюдал окружающее, которое ему давно намозолило глаза; но это окружающее было полно удивительной прелести: быстрая река Красивая Мечь желто-зеленым гайтаном омывала крутые, гористые, заросшие дубняком берега, и трудно было угадать, в какую сторону она бросится, покатит свои тяжелые воды; по крутым, гористым берегам реки широко раскинулись, глубоко вросли села, деревни; этим селам и деревням, которые величественно выделялись при ясной погоде богатыми дворянскими усадьбами, белыми, бело-голубыми, бело-розовыми зданиями церквей, золотыми главами, — казалось, не было конца.

В небе звенели жаворонки, их звон был похож на многочисленные свéрла, которые, сверля воздух, тянулись с неба на землю и как будто пронизывали ее насквозь.

Народный комиссар с'ехал с горы и все живописное пространство с селами, деревнями, усадьбами и церквами скрылось из глаз, и только у подножья, ласкаясь к камням и сивым берегам, кроткой голубицей ворковала Красивая Мечь, быстро бежала под черно-низкую туннель деревянного моста. Он, напоив чалую кобылу, небольшой рысью выехал на мост; потом с моста тою же рысью поехал на гору; с горы еще более живописно, еще шире раскинулся окрест сел и деревень. Потом, когда он в'ехал на гору, перед его глазами раскинулось широкое паровое поле, бросилось ослепительно-желтым цветом сурепки, куриной слепоты, молоканника, донника и сергибуса ему в глаза, и он, окинув темно-синими глазами этот простор и отыскивая табун лошадей, утопавший по брюхо в желтом море, ударил ногами, обутыми в лапти, потом концом повода — кобылу, и она, вскинув кверху голову с рыже-сивой гривой и поднимая неуклюже костлявый зад, пустилась галопом к табуну. Она только тогда остановилась, когда, тяжело дыша, со всего галопа влетела в табун лошадей. Под'ехав к нему, он быстро сполз вместе с армяком с кобылы, спутал ей ноги, стащил оброть, поднял с земли армяк, бросил его на плечо и, волоча по желтому цвету, направился к ребятам, утопая по пояс в ярко-желтой сурепке и в остарковом сергибусе.

Ребята встретили его с криком и хотели было качать. Он растерянно остановился, бросил с плеча армяк, взял за повод оброть и замахал вокруг себя ею. Оброть, как колесо, вертелась вокруг него и, свистя железными ржавыми удилами и кольцами, заставила остановиться нападавших ребят, которые шумно бегали кругом и, ловко увертываясь от оброти, старались по земле проскочить к ногам и схватить его.

— Пошли к чорту! Я вас не трогаю, — защищаясь от наседавших ребят, возражал он и все яростнее размахивал обротью.

— Стой, чорт! Мы всех качаем: такой уговор нынче. А ежели не дашь себя качать, то банок нарубим!

— А ну, что на него смотреть-то, — крикнул из толпы рыжий парень, с большими белесыми глазами, похожими на снятое молоко, и, согнувшись и пряча лохматую голову под руки, согнутые в колесо, двинулся на него: — А ну, тронь... Тронь только, попробуй! Я тебе тогда покажу... А ну! — и все ближе и все смелее двигался к нему.—А ну, только тронь, попробуй...

Народный комиссар медленно пятился назад от наступавшего, боясь задеть его обротью, так что он не успел опомниться, как на него с громким хохотом, бранью набросились ребята, и через каких-нибудь десять секунд сидели на нем верхом, держа его за руки и за ноги; рыжий парень, громко смеясь и сверкая белесыми глазами, задрал с его живота бордовую рубаху и левой рукой держал оттянутую кожу живота и звонко спрашивал:

— Сколько рубим?

— Пять, — ответил смуглый, скользкий, как оголец, парень, что сидел верхом на правой ноге народного комиссара.

— Мало! — закричал рыжий.

— Будет с него и этого.

Рыжий парень, вытянув вперед руку, ударил ребром ладони по натянутой коже.

— Раз!

— Раз! — облизался смуглый парень и посмотрел на розовый живот народного комиссара, на котором, вздувшись, пухло, как блин, белела только что отбитая банка.

— Два! — крикнул рыжий и взмахнул ладонью.

— Два-а!

— Будет, — бросил рыжий парень и быстро соскочил с него; за ним и остальные. Последним поднялся народный комиссар; глаза у него были налиты слезами, были похожи на глубокие колодцы, но он все же не плакал, — он только тяжело сопел, часто дергал носом; его немного одутловатые щеки еще больше вздулись и были такого же цвета, как и его рубаха; оправив рубаху, он стал отыскивать поясок, чтобы подпоясаться, но пояска не было; он, не найдя пояса, заплакал и завертелся около того места, где ему только что рубили банки.

— Ты о чем заревел? — обратился к нему рыжий и нахмурился, — всем рубили по пять, а тебе, дурень, две.

— Пояс.

— А-а-а, — протянул рыжий парень и заорал: — Эй, кто взял пояс? Говори, а то морду набью!

— На, — бросая к ногам пояс, крикнул смуглый, скользкий парень и злобно посмотрел на народного комиссара и, показывая ему кулак, уничтожающе бросил:

— Обожди, мы тебе еще три отрубим!

Народный комиссар ничего не ответил; он поднял розовую ленточку, подпоясался, вытер подолом бордовой рубахи от слез глаза, поднял армяк, оброть и пошел за рыжим парнем на опушку вершины, где находились остальные ребята, взрослые парни, пожилые бородатые мужики; подойдя к опушке, он бросил армяк рядом с армяком рыжего парня и повалился на землю.

Недалеко от него полулежал пожилой мужик, которого на селе звали монахом: он, как говорят на селе, в молодости убил свою жену; много пьянствовал; потом после продолжительной пьянки отрезвился, отрастил

волосы и пошел бродить по монастырям; потом снова запил, пил беспробудно около десятка лет и только к сорока годам остепенился, прекратил пьянство, окончательно принял богобоязненный вид, даже грубый голос переменил на мягкий хрипящий тенор и каждый год после Пасхи накидывал на спину кожаную сумку и отправлялся на святую гору Афон и в Новый Иерусалим; он появлялся домой только к рабочей поре или к сенокосу. Сейчас он полулежал на армяке, читал святое евангелие от Матфея о страданиях господа нашего Иисуса Христа и на соседей не обращал никакого внимания. Рядом с ним сел рыжий парень, окинул мужика белесыми глазами, улыбнулся:

— Кажется, дождик будет.

Мужик вскинул голову, посмотрел на рыжего парня. Лицо у мужика было мягкое, светло-розовое, словно его много лет под ряд мазали елеем, и было оно все в красивой холеной черной бороде, концы которой отливали темно-красным цветом; волосы на голове были черные, спускались назад на розовую шею, изрезанную мелкими морщинами, падали на виски вьющимися мягкими прядями, блестели, как вороново крыло, густо пахли деревянным маслом; обут и одет он был весьма хорошо, — все было подогнано к лицу, дышало смирением и богобоязнью.

— Да-а, хгосподь, наверно, пошлет дождика, — ответил он смиренно и понюхал носом воздух. — Да вон и тучки вылезают из-за горизонта... Хгосподь посылает...

— Обязательно будет, — вставил утвердительно мужик и жестоко принялся скрести бороду.

— А ты что, у бога на уме-то ночевал? — спросил жалобным, как комариное пение, голоском мужик, но ехидно, и пронес запах мяты и ладана.

Мужик опешил от такого вопроса; он, не вынимая пятерни, перестал чесать бороду, уставился на богобоязненного мужика умными карими лучистыми глазами и долго так на него смотрел, а когда насмотрелся, добродушно сказал:

— Разве он нас впустит в таком виде. Я думаю, он и тебя-то не пустит, хотя ты и монах и каждый год шляешься в святые места.

Богобоязненный мужик осторожно положил евангелие, приподнялся с армяка, вытянул ноги, вскинул руку и погрозил мягким розовым пальцем:

— Тварь ты этакая! Да можешь ли ты судить, разбираться в делах божьих, а?! Люди добрые в церковь ходят, а твоя рожа да вот еще его отца, — он показал кивком головы на народного комиссара, — возле кабака ..

Народный комиссар надул щеки.

— Мой папашка не пьет, — работает на вас от зари.

— Что?! Работает?! Даром, что ли, он мне работает, а?!

— Еще бы тебе даром.

Богобоязненный мужик быстро вскочил нá ноги, замахал руками и, брызгая слюной, зажужжал, как будто его посадили на иголку, как шмеля: — Я тебе, сукин сын, покажу, как старшим отвечать, — и он бросился за народным комиссаром, а когда он отскочил в сторону и вывернулся из-под его рук, мужик еще более яростно размахивал рукой:

— Гад! Гад! Раньше поди материно молоко вытри с губ, а потом старшим отвечай! Обожди!.. — И он, раз’яренный до бешенства, схватил свой армяк, связку обротей и, гремя удилами, бросился бежать, а когда он отошел на несколько шагов от опушки, рыжий парень крикнул ему вдогонку:

— Эй, дядя монах, бога забыл!

Мужик резко остановился, повернул обратно, поднял с земли книгу в черном переплете и быстро, почти бегом, бросился от озорников к своим сытым и холеным одной масти — карей — лошадям, — они тоже паслись отдельно, сторонились от других лошадей, захудалых и паршивых, как и их хозяева.

— Вот разошелся-то! Ну и стерва, а еще божий человек, — бросил мужик с добрыми карими глазами и, обращаясь к народному комиссару, улыбнулся: — Здорово он твоего отца и меня прохватил, а?! А спроси у него: за что? За то, что мы на него и на его братьев ворочаем.

Народный комиссар ничего не ответил; он подошел к своему армяку, повалился на него. Мужик тоже замолчал. День подходил к вечеру. Уставшее за день солнце от тяжелого своего пути удовлетворенно падало книзу, одним концом упиралось в темно-зеленую вершину княжеского леса, отчего он трепетал в ярко-малиновом зареве, а вместе с ним и большой кусок парового поля, что был ближе к солнцу, тянулся от опушки леса к табуну лошадей, которые тоже были окрашены в малиновый цвет, казались неестественными и сказочными; на востоке, затянутом сизой дымкой, вылезая из-за горизонта, все больше вырастали, чернели, дымились густым туманом облака, громоздились на крутые горы. Эти облака сейчас были похожи на необыкновенно огромных и страшных всадников, которые, глухо рыча и бросая тяжелое, пропитанное арбузной сыростью дыхание, медленно и тяжеловато двигались за солнцем, что все быстрей и быстрей погружалось в чащу черного леса и убирало малиновые полотна с полей, чуть-чуть окрашивая кровью толстый, как будто слоеный край

облаков; чем солнце глубже спускалось в лес, тем облака все выше и выше поднимались от горизонта, грознее рычали, тяжелее дышали, обдавая остаток дневного зноя мягкой арбузной сыростью.

Солнце окончательно погрузилось, и его ослепительно-нежные полотна пропали с полей, с вершины леса; оно только, прячась за стройные белые стволы берез, огненным костром поглядывало на поля. В воздухе гуще, острей запахло сыростью, донником, сурепкой и диким луком; ребята, игравшие недалеко от будки в костяные бабки, подошли к одежде и стали укладываться спать. Народный комиссар поднялся, накинул на плечи армяк, поднял воротник, завернулся с головой и повалился на землю; через несколько минут подошел и богобоязненный мужик, постоял немного около лежащих мужиков и ребят, потом, кряхтя и вздыхая, стал стелить себе постель.

— Будет дождь, — сказал он жалобно и, помолившись на черный юг, лег в жесткую постель.

Ему никто не ответил. На одном конце ночлега кто-то рассказывал, как в позапрошлую ночь испугали волка.

— Идем это мы, братцы, по опушке леса, смотрим вниз, это в овраг-то, видим, лежит что-то большое серое. — «Да это волк, — говорит мне товарищ, — обязательно он, и наверно спит». — «Что же теперь делать-то, говорю я ему, если это волк»? — «А ничего, — отвечает мне товарищ, — давай его оставим в покое, а сами пойдем, скажем ребятам, что волка нашли». Так, братцы, мы и сделали. Пришли это мы и рассказали ребятам...

Народный комиссар лежал кверху животом, смотрел в небо: небо было темно-синее, из его глубины медленно выпрыгивали звезды на поверхность, ласково смотрели на него, улыбались, — это было только над его

головой, — на востоке, вернее между востоком и западом, было что-то черное, жуткое, и это жуткое поднималось все выше и выше, как огромная чудовищная задвижка, которая вот-вот задвинет собою все небо, придавит тяжелым дыханием землю и людей. Он из-под краев воротника видел, как эта черная задвижка ползла по небу, толстый край ее, что пополам перерезал небо, бешено вертелся серо-желтой пеной, то-и-дело поблескивая молниями... А рядом, недалеко от правого виска, в смертельной тоске билась, стонала муха.

«Она наверно попала в лапы паука» — подумал он.

— ...Что же будем делать-то, — говорят нам ребята, — ежели он лежит на дне оврага, а мы наверху, а? — Это правильно, — отвечаем разочарованно мы, — волк лежит на самом дне и вероятно поджидает ночи...

Густая черная масса тяжело ползет на народного комиссара, наваливается на него, покрывает собою; он ежится под армяком, кутает голову в воротник, потом поворачивается на бок, прислушивается; далеко, за табуном лошадей, рычит черное чудовище с огненной пастью; недалеко лошади фыркают; отбившиеся от маток сосуны пронзительно ржут; им тревожно, сотрясая мглу, отвечают матери; хрупко и сочно хрустит трава под зубами лошадей. Богобоязненный мужик почти под самым боком придавленным шмелем псалмы напевает; на другом конце про волка говорят... А около носа терпко пахнет сурепка, щекочет.

— ...И решили мы, братцы, вязанку полыни сухой захватить. Захватили, притащили к оврагу, на дне которого лежал волк, положили на аршин, а, может, подальше от края и подожгли.... Да-а. А потом, дав огню разгореться, костер туда, на волка-то, и бухнули. Батюшки! Братцы, что тут только и было! Волк как

вскочит, а из него, из зада-то, кровь вожжей... Да-а. Не выдержал... Здорово испужался, можно сказать, в кровь изошел...

Народному комиссару снился страшный сон, что будто бы он заблудился в княжеском лесу, никак не может из него выбраться, и за ним бегают с длинными ременными кнутами сторожа, громко над его головой щелкают ими... От этого сна он в ужасе вскакивает, но тут же, запутавшись в полы мокрого армяка, падает на землю, а на него, как из ведра, грузно хлещет дождь, с чудовищным треском валятся каменные горы. Он едва выпутался из армяка, открыл лицо, прислушался: вокруг него не было ни одной души, — громко шумел дождь, рычало небо, обливая то-и-дело ослепительным блеском молний; между молниями была аспидная, глухо шумящая, гавкающая тишина, так что глаза коли — ничего не видно. Он, шлепая лаптями по лужам воды, схватил оброть, бросился отыскивать табун, но не пробежал и несколько шагов, как почувствовал, что он попал не в эту сторону, а во что-то густое и шумное; он, вздрогнув, испуганно остановился, опешил и только ослепительный взмах молнии обнажил перед его широко открытыми глазами пространство и дал ему возможность узнать, где он находится: он стоял во ржи, молодые колосья которой поникли от дождя и от прикосновения грозы, от движения и тяжеловесно шумели; не успел он повернуться, как его опять проглотила мягкая, глухо шумящая и хлещущая ливнем мгла; он испуганно направился обратно; когда вышел изо ржи, небо словно разорвалось, как гигантская бабочка, затрепетала над ним своими бело-огненными крыльями, освещая пространство перед его глазами. В этот раз разорванное небо осветило пар, табун лошадей, и он, шлепая смачно

лаптями, направился к нему. Через несколько минут, которые показались ему вечностью, он услыхал сквозь свистящий гул дождя, беспрерывный крик неба и чавканье собственных ног, разговоры мужиков, крик ребят, придушенные обломным дождем. Идя на мужиков и ребят, он подошел вплотную к табуну, сбившемуся в одну кучу, стал отыскивать свою чалую кобылу, но так как во мгле все лошади были одной масти и было не так легко ее найти, он растерялся; но все же он, когда опять затрепетало, забилось над табуном и над ним разорванное небо и молния, облила его и табун, он увидал чалую кобылу, хотя весь табун в эту минуту казался чалым, бросился к ней, обратал ее и, едва взобравшись на нее, поехал от табуна.

— Ты куда? — крикнул знакомый голос. — Разве наше село в этой стороне, а?!

Этот голос был мужика с добрыми карими глазами.

— Езжай на меня, на голос, а я подожду.

Раскаты грома чудовищно грузно катились над землей; небо, как опрокинутая бело-огненная птица, билось, трепеща крыльями; обломный, густо пахнущий полевыми цветами дождь хлестал, как из ведра, тяжело давил к земле.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

* * *

Разбудили народного комиссара около обеда:

— Эй, родимчик, ты что это на чужой лошади прикатил, а?!

Он быстро соскочил с печи на кут, вытаращил глаза на мать, стоявшую грозно перед ним.

— Как на чужой?

— А так и на чужой! Ты что чалую от вороной не отличил, а? Лети сейчас же искать, — отец измучился...

Боясь, чтобы мать не шлепнула корявой ладонью по затылку или по заду, он быстро соскользнул с кута, пробежал мимо матери, выбежал на улицу, а когда он уже был около сарая и только что было хотел скрыться за его углом, мать выбежала за ним и громко крикнула ему:

— А ты иди в другую сторону!

Он посмотрел на мать: она была нынче еще выше ростом, еще больше высохла; на ее голове все тот же был казинетовый платок и концы его все так же торчали на затылке — козлиными рожками и, как ему показалось, кого-то дразнили; глаза ее тоже были нынче больше, суше, чем они были вчера: наверно, ночная гроза с ливнем коснулась и ее глаз, обожгла их своими ослепительно горячими молниями; только на лице не было той спокойно-желтой глади,—по всему ее иконописному лицу, в особенности около тонких и крепко сжатых губ и глаз, было множество мелких и крупных складок и морщин, которых он до этого на лице матери никогда не видал. При виде матери, ее лица, обмотанного казинетовым платком, у него больно сжалось сердце. Он, вспомнив тот вечер, когда отец бросился было бить мать, и тот миг, когда он повис на отце, — почувствовал на глазах слезы; потом вспомнил, когда она ушла в избу; как они пошли в сарай, глубокое смущение отца и его слова: «а ты мать свою не обижай, а люби ее», и как он, отец, густо покраснев от стыда, бросился бежать и скрылся в сарае. Под ногами была мягкая и жидкая грязь; она звонко чавкала, дулась пузырями под босыми ногами, между пальцев; по дороге чуть-чуть бежали ручейки, как разбросанное стекло, блестели лужи, отражая в себе ясное, по-детски невинное солнце, легкие, перистые, похожие на пух одуванчика, облака; в необычайно потрясающем влажно-синем небе, протертом

и вымытом ночной грозой, было свободно и чудно, и только на горизонте севера, за усадьбой барина Подсолнухова, лежали пустые, выветренные бело-серые остатки ночной грозы и исходили в бледно-сизый дымок. Он быстро бежал позади сараев по грязной дороге, по лужам, так что брызги летели далеко во все стороны; он только в околице испуганно остановился, отбежал в сторону от дороги, так как навстречу ехало несколько мужиков, а позади них и его отец. Он внимательно посмотрел в лицо отцу, желая узнать — сердитое оно или нет, будет порка или же ничего не будет. Лицо у отца было обыкновенное, как и всегда, и он почувствовал, что ничего страшного для него не предвидится; но все же, когда поровнялись с ним мужики и его отец, он не подошел близко, а пошел за ними сторонкой.

— Эй, ты! — крикнул ему задний мужик, что ехал на маленькой карей, но пузатой кобыленке, так что его длинные ноги, обутые в лапти, касались почти до самой земли и неуклюже под брюхом лошади болтались,— как это ты приехал на чужой?

Он, косясь на отца, не ответил. Тут только отец заметил сына и обратился к нему:

— Ты куда?

Мужики громко смеялись, разговаривая. Они рассказывали, что нынче ночью к Прасковье Кокоревой опять приезжал урядник, в виду грозы остался у нее и заночевал. Она его угощала чаем, водкой, яичницей, а когда он напился и улегся с молодой солдаткой спать, какие-то озорники подкрались к избе, вымазали дегтем наличники окон и расписали сенную дверь; потом, увидав у двора лошадь, запряженную в дрожки, — у Кокоревой двора-то не было и лошадь стояла в грозу около сеней и была привязана к лозине, — отрезали ей хвост по

самую репицу, срезали шлею. Утром, когда проснулся урядник, выбежал из избы, чтобы пораньше, за глаза, уехать, все село уже знало, что окна и дверь у Кокоревой вымазаны дегтем, срам был известен каждому на селе, так что некоторые, чтобы посмотреть на такое безобразие, нарочно проходили мимо ее избы по многу раз, но не показывая вида, что они проходят за тем, чтобы посмотреть и посмеяться на распутство бабы и урядника. Многие видели, как урядник, в полной форме, не заметил пакости на двери, на наличниках окон и даже, не почуяв обильного запаха дегтя, выскочил из сеней прямо к лошади, отвязал ее от дерева, вскочил на дрожки и дернул вожжей, а лошадь-то и затопталась на одном месте, вскидывая задом.

— Что такое? — заорал урядник и, глядь: у лошади хвоста-то нет и шлея срезана по самые гужи. Тут он с дрожек кубарем и обратно в сени; из сеней обратно к дрожкам, но на этот раз не один, а в сопровождении Прасковьи, — она бесстыжая весь свой стыд потеряла, тоже к дрожкам подбежала, тоже кричать принялась:

— Батюшки! Охальники! Это ребята Корнауховы! Они, как есть они!

На крик прибежали ребята, бабы, мужики.

Мужики стали ее увещевать, совестить:

— А ты, Прасковь, зря-то при начальстве не говори. Разве можно, не зная виновников, говорить про такое дело и называть облыжно невинных людей.

А когда показали на окна, на дверь, она, всплеснув руками, присела, потом бросилась обратно в избу и уж больше не показывалась. Урядник, хмурый, бешено ругаясь, сел на дрожки, вытянул плетью кобылу вдоль правого бока, отчего она, прыгнув в сторону и вскидывая бесхвостый сытый зад, галопом понеслась мимо

одного подвала и погреба Кокоревой, чуть не вытряхнув его и не задев одного мужика, если бы он на карачках не перекатился через подвал. Куры, гулявшие спокойно, вскрикнули и, прижимая к земле головы и распустив крылья и хвосты, бросились врассыпную. Собака, дремавшая на завалинке избы, яростно гавкнула, прыгнула на сажень, но тут же отскочила обратно, поджала лохматый хвост, полный репьев, и снова полезла на завалинку. И только один белый петух, подняв высоко голову с красным гребешком, гордо кружился на одном месте, не понимая в чем дело.

— Это даром не пройдет.

— Нынче, как говорят, к нам с обором приедут.

— Не приедут.

— Это почему так не приедут, а? Вчера в Грёкове были, драли почем зря, а ты говоришь — не приедут.

Мужики поровнялись с сараем отца народного комиссара; отец и он свёрнули к своему сараю. Отец, отдавая сыну лошадь, сказал:

— С'езди, напои, а я за резкой схожу.

Через два дня после того, как обезобразили лошадь урядника и избу распутной бабы Прасковьи, на село приехали с обором за подати. Приехали старшина, урядник, писарь и несколько человек прасолов. Кроме приезжих, были богатые мужики, прасолы из этого села, в которое приехали с обором. Среди своих был и самый богатый мужик, брат богобоязненного мужика, шелудивый, удушливый мужиченко, совершенно непохожий на своего брата, с тонкими кривыми ногами, с маленькими и вечно гноящимися желтыми глазками, с красным морщинистым лицом, похожим на лицо скопца. Он вышел из толпы богатых мужиков, прасолов, вперед, жадно смотрел на скот, который предназначался к

продаже, на ценные мужицкие вещи, которые вытаскивались из изб, амбаров, сараев; но он никогда не бросался первым, всегда, притаившись кошкой, выжидал, когда выскажутся другие, назначат свои цены, потом, когда они высказывались и назначали свои окончательные цены, он прибавлял гроши и при общей тишине набрасывался на свою жертву. Сейчас обор начали с левого конца села и до избы народного комиссара было не так далеко; но отец и мать все ценные лохмотья и холсты сумели спрятать куда подальше, а всю живность, в лице десятка кур, разогнать, — пара овец находилась в стаде. Когда старшина, урядник, писарь и толпа сытых прасолов подошли к избе его отца, мать спряталась в избу, отец остался стоять около избы; он низко поклонился всей честной сытой, хорошо одетой компании, от которой пахло дегтем, юхтовой и бакалейной лавкой.

— А ну, грамотей, выворачивай свои потроха, — сказал сердито урядник и, щетиня рыжие усы, засмеялся.

— Все тут, — ответил отец и глазами показал на свое хозяйство.

Урядник, не слушая отца, обратился к народному комиссару:

— Ты что стоишь, шибздик, а?! Тоже хочешь быть грамотеем?

Он испуганно попятился к избе. На урядника был яркий мундир с золотыми погонами и красными толстыми галунами, суконные черные штаны с напуском на лаковые сапоги, в которых блестело солнце, и шапка с серебряной кистью на левом боку; лица у него как будто и не было, — было что-то белое рыхлое, похожее на тесто, а из всего этого рыхлого — синели два пятна глаз да рыжие усы, как два беличьих хвоста. Вот и все. Народный комиссар очень испугался урядника; он

прижался к самой стене, наверно бы убежал, если бы случайно не вывернулся из переулка мужик с карими добрыми, лучистыми глазами; он был пьян, пошатывался, весело и мудро разговаривал сам с собой, а когда увидал начальство, прасолов, богатого мужика, у которого он вместе с отцом народного комиссара работал на поденной работе и который их обоих прогнал за то, что он и народный комиссар обидели в ночном его брата, богобоязненного мужика,—остановился и хрипло запел, пошатываясь:

Монах божий чисто ходит,
Образ носит на пузе.

Урядник неожиданно отвернулся от мальчика, потом набросился на мужика с карими глазами:

— Ты что, пьяница, орешь, а?!

— А что же мне, ваше благородие, на свои трудовые не орать?! Выпил и ору.

— Молчать, скотина!

Ноги мужика выделывали трепака; борода его подергивалась кверху; глаза насмешливо глядели на урядника.

— Весел я нынче, ваше благородие, у солдатки ночевал... Ээх! образ носит на пузе...

Но тут совершилось что-то чудовищное, и народный комиссар видел только одно, как дернулся урядник, за урядником два десятских, и все они впились в веселое дряблое тело мужика с кроткими карими глазами и, вертясь и размахивая руками, поволокли его по грязной комковатой дороге. Когда отволокли его за несколько изб, урядник вернулся обратно злым и, вытирая пальцы платком и глядя на его отца, бросил:

— Ты тоже такая же дрянь. Подожди, я и до тебя, грамотей, доберусь. Я тебе покажу, как пьянствовать и хулиганить. Что же вы стоите, а? — обратился он к старшине, — разве?..

— За тобой два рубля 57 копеек, — глядя в список, бросил писарь... — Гони!

— Сейчас нет, — ответил кротко и спокойно отец. — Завтра займу и заплачу.

— Пиши двух овец, — бросил старшина писарю и, обращаясь к прасолам: — Кто платит?

— Я беру на себя, — прозвенел тонким голоском шелудивый мужик, брат богобоязненного мужика, и вышел из толпы прасолов вперед, уставился гноящимися глазками в отца народного комиссара. — А ты не трудись загонять овечек-то к себе на двор, не трудись, голубчик... — тут он тяжело закашлялся, — не трудись.

— Вы же мне должны за работу.

— Что-о?! Должен? Хе-хе... Я тебе должен, а?! Ах ты, лентяй, лентяй! Да ты скажи спасибо да за честь почти, что я тебя, такого лентяя, на глазах держал. Да-а, а он: должен... — и он опять обратился к старшине: — Я плачу, батюшка, плачу. Сколько там: два тридцать, а?

— Два пятьдесят семь, — ответил старшина. — После сосчитаемся. А теперь дальше. — И старшина, одетый нараспашку в легкую летнюю поддевку из тонкого сукна, двинулся вперед, колебля живот и тяжело сопя от его тяжести, так что его красное усатое лицо, разбегающееся жирными кругами, покрылось крупными каплями пота, сияло, как перезрелый помидор; за ним пошли: вытянувшийся тонкий, как жердь, белобрысый и с мышиными глазками писарь, урядник, жирные, тощие, неповоротливые, вертлявые прасолы и десятские; когда они отошли от избы, отец его долго стоял с опущенной головой; он никого не видел вокруг себя — ни жены, ни сына, а также и не слыхал детского и бабьего крика соседей за свое кровное добро, которое за

бесценок скупали дармоеды и глоты, складывали на свои телеги; он долго бы так простоял, если бы не вышла из сеней жена и не сказала бы ему ласкового слова. Впрочем, она сказала ему только одно слово.

— Мужик, — но в этом слове так было много тепла, любви и утешения.

Он поднял покорно голову, взглянул в большие сухие глаза жены, добродушно улыбнулся ей. Народный комиссар видел, как оживилось лицо отца, как его глаза благодарно смотрели на мать, которая все так же спокойно стояла около сеней, смотрела на отца.

— Идемте обедать, — сказала она каким-то особенным внутренним голосом, потом повернулась к ним спиной, согнулась и скрылась в избу.

Отец и он потоптались немного на одном месте; потом тоже пошли в избу. Когда они сели за стол, крик на селе еще стал громче: кричали дети, голосили бабы и девушки. Они, охваченные и потрясенные своим горем, не видали, что делалось на селе. К похлебке и к хлебу отец и мать едва прикоснулись, несмотря на то, что он был трудовой, щедро политый потом и кровью. Только один он чувствовал себя голодным; он уминал за обе щеки, так как был голоден и глубоко не знал, не сознавал, что похлебка и черствый трудовой хлеб не лезли в горло отца и матери. Одним словом, он не сознавал, что родителям обед нынче был гòрше полыни и грубей камня.

На селе голосила баба:

— Милые мои детки...

— Это тетка Варвара, — прислушиваясь к плачу и задерживая на зубах хлеб, сказал сын.

— Корову отняли у вдовы, — ответила мать и встала из-за стола.

— А еще что будет? — не вылезая из-за стола, спросил он.

— Зашеину хочешь?

А когда поднялся отец и вышел, она обратилась к нему:

— А ты, мужик, не особенно сокрушайся... — И, взглянув на сына, сердито бросила:

— Поел?

— Поел.

— Так не лупи глаза. Пошел!

Он недовольно встал, отправился к лошади, которая и без него спокойно ходила на выгоне, за сараем, и старыми зубами прихватывала вместе с землей подорожник.

ГЛАВА ПЯТАЯ

* * *

Остаток дня отец народного комиссара провел с матерью; что они говорили между собой, ему было неизвестно; он только поздно вечером узнал, что отец решил отдать его в работники в чужую деревню Свинушки, которая была в восьми верстах от родного села, к богатому мужику Филину. Чтобы сказать это сыну, отец долго ходил по избе, долго вздыхал, кашлял и, ежели бы не мать, наверно так бы и не сказал, что он повезет завтра утром его в Свинушки в работники, оставит до самой осени, а за него получит в задаток осьмину ржи, трешницу денег, которая до-зарезу нужна, чтобы выкупить двух животин, проданных за подати.

Отец сообщил это сыну трусливо, каким-то жалобно-жалким голосом, так что, когда говорил, старался не глядеть на него, а все время, как провинившийся тяжело преступник, бегал глазами по сторонам, по горшкам, расставленным около печки, или просто следил за мутно-коричневыми прусаками, которые спокойно бегали

по борову печи, шуршали в печурках. Сын слушал отца с затаенным дыханием, с некоторым испугом, который тонкими иглами покалывал сердце; когда отец кончил и тревожно зашагал по избе, он ему ответил, что он ничего не имеет против, даже с большим удовольствием пойдет в работники, но только бы не в подпаски к пастуху. Выслушав согласие сына, отец радостно воспрянул, быстро и горько заговорил о своей нужде, которая принуждает единственного сына отдавать в работники к богатому мужику за какие-нибудь гроши, за «разнесчастную» осьмину ржи... Он долго так говорил, ругаясь и проклиная все на свете, и наверно долго бы проговорил еще, ежели бы не вмешалась мать, не сказала бы, «что все ложатся спать, что стало поздно и пора тоже ложиться».

После слов матери отец помолчал, снял с гвоздя старый картуз, выцветший от времени, надел его на взлохмаченную голову и, тяжело вздыхая, вышел из избы. Сын глубоко чувствовал страдание, растерянность отца, и ему было до боли жалко его; он, страдая за него, быстро вскочил с лавки, бросился за ним, но отец уже сел на чалую кобылу и был около сарая: нынче сам поехал в ночное. Народный комиссар остановился, хотел было крикнуть отцу, что он поедет в ночное, но не крикнул, да и было поздно, так как отец уже скрылся за углом сарая и только было слышно его глухое ноканье да редкое хлюпанье копыт по прикатанной пыльной дороге; он, постояв несколько минут, неизвестно чему улыбнулся, потом, пока не скрылся отец за околицу, направился в сарай, взял шубу и, накинув ее на плечи, повалился на солому.

В сарае было тихо; только в соломе шуршали мыши, остро попискивали; верхушка сарая была раскрыта и

сквозь хворост решетника просвечивало черно-синее небо, осыпанное крупными разноцветными звездами; темно-синие пятна неба, если глядеть на них с пола сарая, казались глубокими колодцами, налитыми необыкновенно-чистой ключевой водой, в глубине которых находятся ключи, выбрасывают золотой песок на свою поверхность, и этот песок изумительно пузырится, рассыпается мелкой пылью над сараем, над ним и над его голубым взглядом. Он лежит с полураскрытыми глазами, смотрит в трещины крыши на глубокие колодцы, на чудесные пузыри, что все быстрее и быстрее вылетают из темной непроницаемой глубины и, громоздясь друг на друга, вырастают в длинные ожерелья, спускаются в трещины сарая, падают с нежным звоном к нему на постель; он испуганно вздрагивает, поднимает тяжелые веки, смотрит: над головой — трещины, в трещины льются озера черно-синего пахучего неба, густо осыпанного красно-золотистой пылью. Он опять закрывает глаза, начинает сладко дремать, погружаться в глубокий сон, а как только погрузится в него, ему снова приснится яркая картина, еще более прекрасная, чем в первый раз, и он опять вздрогнет и проснется.

А когда он проснулся в третий раз, открыл глаза, посмотрел на небо, что смотрело в трещины сарая, то над его головой не было колодцев, наполненных бархатной черно-синей водой, на водной поверхности не было пузырей,—было бледно-синее небо и большой медный с темными пятнами таз, который неподвижно стоял над сараем и, бросая столп бледно-желтого света, насмешливо смотрел черными пятнами глаз на него, ехидно подмаргивал:

— Спишь?

Ежась под шубой, он ничего не ответил; он только осторожно повернулся на другой бок, к воротам, чтобы

больше не видеть бледного неба, противного лика с черными пятнами, но в сарае чувствовалось присутствие медного таза, так как свет его освещал не только середину сарая, ворох соломы, на котором он лежал, смешной козел, на котором резал он вчера и позавчера резку, — телегу, задвинутую от дождя, ворота и притолоки ворот, в особенности правую притолоку, на которой висел деревянный образок с изображением Георгия Победоносца; образок этот висел несколько десятков лет, как ему говорил отец, и был он повешен еще покойником дедом; образок облез, был черен, как земля, и только на нем была одна протянутая кверху рука с кончиком древка, а Победоносца, его божественного лика и туловища совсем не было — выкрошился; зато были видны четыре копыта его лихого коня: два задних копыта стояли на толстом хвосте чудовища, что собирался проглотить прекрасную царевну, а два передних висели над черно-зеленой головой, из пасти которой вылетали куски огня. Он, взглянув на образ, вздрогнул и чуть было не вскрикнул, так как страшное чудовище шевелилось, жадно смотрело на него, выбрасывая из пасти, из зеленых глаз красные искры, и он наверно бы вскрикнул, ежели не увидал бы стоявшую на коленях перед этим образом мать; увидав ее, он больно прикусил губу, стал наблюдать за матерью, — она была осыпана лунной пылью и молилась перед образом; она молилась редкими, но исступленными поклонами, голову подолгу держала на земле, отрывала ее от земли, выпрямлялась туловищем и, откинув голову немного назад, страстно смотрела на образ, поверх черно-зеленого чудовища, на единственную руку Георгия и, медленно работая далеко откинутой от себя рукой, клала на себя истовые, тяжелые, как груз, кресты, потом падала опять на землю и долго лежала на ней. Потом поднималась.

Потом опять падала, и так долго-долго. А черно-зеленое чудовище возилось над головой, дышало на нее огнем. Она так очень долго молилась. Долго не спал и ее сын и, пока она молилась, он думал, спрашивал себя: которому богу она так жарко молится? Лику ли светлого Георгия, которого давно не было на доске, или же этому зеленому змею, который не выкрошился, не полинял, а несокрушенно смотрел, как будто с нового образа, только что купленного и привезенного с базара? На этот вопрос он не успел ответить себе, так как, тяжело вздыхая и вырывая из нутра со стоном последние слова молитвы и бросая их в образ, мать поднялась, вытянулась во весь свой высокий рост и направилась к нему; ее черная тень тоже поднялась, двинулась к нему, протянулась через земляной пол, закачалась на воротах большой головой, обмотанной все в тот же казинетовый платок; а когда мать подошла к нему, он закрыл глаза, притаился спящим. Он слышал, как она осторожно села около него, как она стала разматывать с головы платок и, размотав, долго и неподвижно сидела около него. О чем-то думая, она долго так сидела, чуть-чуть покачиваясь туловищем. Потом наклонилась над сыном, осторожно поцеловала его в правую щеку, и он, редко видавший ее поцелуи, сладко сжался в комочек, вздрогнул от упавшей тяжело ледяной слезы, которая, скользнув по его щеке, как крупинка соли, быстро растаяла у него во рту; он открыл глаза, крепко обвил руками голову матери, стал взволнованно целовать ее в большие глаза, в которых на этот раз дрожали слезы и крупными каплями мочили его лицо, остро-солеными обжигали его горячие губы.

— Мама, кому ты молилась? Георгию, которого нет на образе, или этому зеленому, что лежит кверху брюхом?

Мать вздрогнула, посмотрела на образ, а когда отвела взгляд с образа, сказала:

— Давай спать, — и легла рядом. — Спи.

— Мама, — окликнул вторично он, — ты, говорят, не веришь в бога?

Мать ничего не ответила, повернулась к нему спиной и захрапела.

— Верно это? — прошептал он вторично и, не получив ответа, тоже замолчал, потом прижался к матери и заснул крепким сном. На другой день он поздно проснулся, и, когда открыл один глаз, отец выкатил телегу, возился около нее, смазывая дегтем оси и колеса; он быстро поднялся, сел, вспомнил все то, что было ночью, взглянул на притолоку: образа не оказалось — торчал один ржавый гвоздик, на котором висел образ; он быстро вскочил на ноги, быстро подбежал к притолоке и стал внимательно разглядывать ее: образа не было, — торчал только один ржавый гвоздик. Видя, что образа нет, он как-то странно рассмеялся, выскочил из сарая, побежал мимо отца в избу; но, когда он поравнялся с ним, отец остановил его:

— Выспался? — и, не дожидаясь ответа, бросил: — скоро поедем.

Через полчаса, провожаемые матерью, они забрались с отцом в телегу, в которой было доверху соломы, и поехали от родного двора. Он смятенным взглядом видел, как мать отвернулась, поднесла конец казинетового платка к глазам и быстро пошла от сарая к избе, сутулясь.

Дорога показалась длиной и скучной. Оба, отец и сын, не сказали ни одного слова, — все время молчали, избегая смотреть друг на друга, и только смотрели по сторонам: один на обломную рожь, что стояла стеной около дороги, тяжело волновалась сочными перьями и

наполовину показавшимся колосом; обдавала терпким запахом, манила далеко-далеко светло-зелеными волнами; другой смотрел на паровое поле, покрытое желтым цветом сурепки, на кучи навоза, покрытого серо-грязными грибами-поганками, на стадá овец и коров, которые шумно работали челюстями, слушал песни жаворонков, писк трясогузок, которые перелетали с одного места на другое по дороге, и сусликов.

Так они, не сказав друг другу ни одного слова, доехали до деревни Свинушек, до пятистенной каменной буро-красной избы богатого мужика.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

* * *

У богатого мужика Филина народный комиссар прожил в работниках около двух месяцев, так как работа, которую ему приходилось делать, была только под силу взрослому; но, несмотря на это, он делал эту тяжелую работу, никогда никому не жаловался на свою судьбу, даже как будто гордился собой, а главное тем, что он не отставал в работе от взрослых ребят и мужиков, считал себя большим и возмужалым парнем.

Мужик Филин был довольно богат, но богатство свое он нажил не лично своим трудом — досталось оно ему по наследству от отца и было подкреплено приданым второй жены, взятой из однодворок. Это богатство он только поддерживал, чтобы оно не развалилось и не погибло.

Мужик Филин был небольшого роста, коренастый, одевался во все времена года прилично, был богобоязненным, знался с духовенством, с богатеями всей волости; был ими принимаем всюду и с большим уважением; одевался он всегда в суконные пиджаки, правда,

в немного потертые, не с его плеча, но все же в довольно приличные; носил сапоги он и в будни и в праздники, благодаря которым вид имел больше приказчика из имения какого-нибудь барина, чем богатого мужика; волосы подрезал при помощи жены в скобку и со лба закидывал назад, отчего красиво выделялся большой и довольно умный лоб, под которым лениво двигались глубоко запавшие в глазницы, небольшие серые глаза; бороду имел темно-рыжеватую, была она похожа на лезвие топора и такого же размера; нос прямой, без горбинки, с широкими, немного вывернутыми наружу ноздрями, которые все время были в движении — шевелились; говорил мало, а ежели и говорил, то как будто сквозь сон, в пустое пространство; несмотря на крупный лоб, умом большим не отличался, имел только одно достоинство: никогда не ругался с соседями, не дрался, не пьянствовал, не курил и три четверти своей жизни проводил за сном, — спать он необыкновенно любил, так что спал он везде и всюду, где только было можно: спал в гостях за столом, спал в поле за работой, идя за плугом, спал на сенокосе.

Семью он имел большую: четырех детей от первой жены и трех от второй; здоровую, неуклюжую, с широким угловатым лицом жену, ленивую, как и он, любительницу сна и вечно жалующуюся на болезнь головы, и еще глухонемую сестру-вековуху, незаменимую работницу в доме и в поле, благодаря которой держалось все хозяйство в порядке. Из семи детей — двое сыновей были женаты и с женами жили в Москве, аккуратно каждый месяц высылали ему определенные суммы денег, которые он убирал в небольшой сундучок, окрашенный коричневой краской и обитый железными обручами; остальные дети были еще малолетними, жили дома,

помогая в хозяйстве глухонемой тетке. Хозяйство у Филина было хорошее: каменные постройки избы, амбаров и двора выгодно выделялись из построек деревни; десятка четыре овец; две коровы с быком; несколько свиней; пара сытых гнедых лошадей, но ленивых, как и хозяин, — будто бы, как говорят пожилые мужики, лень хозяина передается и скотине; потом он имел хороший сельскохозяйственный инвентарь, вплоть до четырехконной молотилки.

На другой день поступления в работники народный комиссар выехал с хозяином взметывать пар. Всю дорогу, до самой пашни, хозяин шел с полузакрытыми глазами и будто все время спал; он только тогда проснулся, когда приехали к вершине, внезапно остановился и открыл глаза:

— Это, кажется, наша. Слазь. Давай начинать с нее,— говорил он нежно, с хрипотой, отрывисто, с большими паузами. — Да-а. Эта самая пашня...

Работник быстро сполз с лошади, стал снимать плужок с волокуш, но плужок был тяжелым, никак не двигался с места.

— Эко. Да ты, парень, не так делаешь. Зачем дуться зря, — и он подошел к плугу и, взяв за ручки, повалил его, потом вытащил из-под него волокуши и отбросил их в сторону. — Вот как надо, — и поставил плужок прямо, дернул вожжами лошадей, направил плужок, пустил его в пашню и подрезаемая проросшая травой земля приятно зашипела и, дробясь на мелкие куски, отлетала от крутого, блестящего лемеха и ложилась рядом черной бороздой. Хозяин проехал несколько кругов и передал лошадей ему.

— Дома-то пахал? — спросил он безразлично и посмотрел серыми глазками на темно-красное солнце, только что вставшее от сна.

Народный комиссар взглянул на хозяина, улыбнулся: — Пахал.

У хозяина под глазами были толстые красные мешки; они смешно отвисали до половины носа.

Взметка пара продолжалась около двух недель. Он ежедневно, в сопровождении хозяина, выезжал в поле. Они оба, покачиваясь и медленно разгуливаясь от сна, сидели верхом на хорошо откормленных гнедых лошадях, смотрели вперед, на солнце, которое, радостно показав себя наполовину, вылезало из-за горизонта, окрашенного темно-малиновой краской, на односельчан, которые, как и они, только что выехали на свои полосы, и на тех, которые уже ползали по своим пашням, царапая землю скрипучими сохами.

В этом году пар не был взметан в апреле, так как самому старику было лень, работник преждевременно сбежал от него, и пар остался не взметанным и его пришлось взметывать в июне, — что было очень трудно и с паром пришлось в этом году немного запоздать, несмотря на то, что он выехал в поле раньше всех, как только земля чуть-чуть поразмякла от обильно выпавшего с грозой дождя, и стал взметывать свои пашни. Хозяин показывал пашню и тут же, поглядывая на солнце, спокойно, неторопливой походкой уходил обратно домой досыпать сладкий сон, прерванный выездом в поле. Народный комиссар оставался один в буро-черном поле, в желтых от сурепки логах и в низинах которых сверкала вода смугло потускневшим серебром. Он медленно, размеренным шагом ходил за плугом; за ним, касаясь косматой головой и сытой бронзовой шеей его плеча и откинутой левой руки, которая придерживала плуг, вышагивал понуро двухгодовалый жеребчик, запряженный в деревянную борону.

Позади жеребчика густо кричали тяжелые грачи. Он был один; в поле было скучно и нудно по утрам, когда еще солнце было низко, не грело так горячо и ласково, как днями. Правда, над ним было бирюзовое небо, легкие темно-серебристые, еще весенние облака, плавно бегущие над его головой, потрясающе звонкие жаворонки, невидимые в ослепительно-глубокой синеве, степные копчики-стервятники, падающие стрелами за жертвой, гордо парящие с широко раскинутыми, как будто неподвижными крыльями коршуны и ястребы. Так одиноко проходили первые дни взмета пара.

Он, обутый в новые лапти, подаренные хозяином, в белые портяные онучи, тяжело переступал ногами: они были необычно тяжелы от лаптей, к которым вязко прилипала еще сырая, прохладная черно-ноздреватая земля. Впрочем, земля приставала не только к его лаптям, она грузно наматывалась на зубья бороны, которую то-и-дело приходилось очищать кнутовищем, а то и руками, так как земля, перемешанная с свежей травой и с прошлогодней остарковой, с большим трудом поддавалась рукам, не только кнутовищу: он перерезал ее ножом, потом с огромным трудом, надрывая детские силенки, поднимал борону и, держа за край, тряс ее, чтобы отвалилась прилипшая земля вместе с подрезанной травой, — так было после дождей. В первые дни взмета пара он дополна уставал, набил кровавые мозоли на больших пальцах, на ладонях около пальцев, отчего ладони горели, точно обожженные кипятком, в особенности когда лопались фиолетовые пузыри и приходилось молодой кожей прикасаться к ручкам плуга и к грязной бороне. Одним словом, он едва оканчивал дни, приезжал домой, отпрягал лошадей, наспех обедал, ужинал, потом валился на печь и спал мертвым сном до раннего

утра, до солнца, и, наверно, если бы его не будила глухонемая девка, он спал бы до тех пор, пока окончательно не отоспался бы от страшной усталости, от тяжелого труда, который под силу только взрослому. Так проходили первые дни взмета. Потом, когда наступила двойка, земля стала мягче, теплей и было можно ходить за плугом босиком, стало лучше, стало гораздо легче, и главное — веселее: он был не один в поле, — в поле выехала вся деревня.

Он видел, что все поле было многолюдно, заполнено радостно-веселым трудом, а также и все его детское существо. В дни взмета и двойки все было необычно прекрасно, очаровательно: небо было до того высоко, безоблачно, потрясающе прозрачно и сине, что, глядя в эту бездонную синеву, сладко кружилась голова, хотелось бежать в неведомые сказочные страны, которые существуют далеко за синими морями, на бирюзовых островах; под этим чудесным куполом васильковой глади безумствовали жаворонки, как блестящие на солнце сверла, сверлили пространство между небом и землей, между ним и небом, разбрасывая на черное поле, дымящееся плодородием, громкие, похожие на горные ручьи песни, от которых все радовалось на земле, забывало тяжелую нужду и невыносимое горе; не менее торжественно поднималось по крутому, ослепительно ясному покату темно-огненное солнце и, развертывая красно-золотистые полотна, проходило величаво и гордо над простором полей свой легкий путь и скатывалось на покой, — так ежедневно. Под необозримо-глубоким океаном, под горячим и милым солнцем, под песнями жаворонков на черном, на глубоко вспаханном просторе было радостно, несказанно легко, а главное, все — люди, лошади, телеги, сохи, плуги, бороны и

черно-бурая, чуть-чуть побуревшая отцветшей травой земля — двигались, текли легкими сиренево-золотистыми волнами к почти прямым и глубоко-ясным горизонтам...

Вот в этом самом легком, беспрерывно колеблющемся воздухе все было поразительно необычайно, все было сказочно: поле — было не поле, — медленно вертящийся круг, сияющий матовой чернотой и сиреневой дымкой зыбучих волн; лошади, впряженные в сохи, в плуги — были вовсе не лошади, — огромные чудовищные пилы, которые бесшумно и не торопясь скользили по аметистовым волнам воздуха... Вот в такой очаровательной сказке проходили тяжелые, но изумительно горячие дни. На истресканных и запекшихся детских губах играла легкая, как пух одуванчика, улыбка. Порой порхала задумчивая мечтательность. Порой эту задумчивость вспугивала чудесно-милая, беззаботно-счастливая детская улыбка, и все его загорелое, обветренное, сильно похудевшее большеглазое лицо вспыхивало нежным светом, сам он весь оживлялся, растворялся и вместе с лошадьми плыл по сиреневым волнам простора за синие моря, на сказочно-бирюзовый остров...

В такие минуты, большие темно-голубые его глаза становились другими: расцветали, цвели глубоким иссиня-черным огнем. Впрочем, такие минуты были не очень часты в его жизни у богатого мужика: они быстро и вместе с пахотой промелькнули, не оставив даже горького осадка в сердце. Хозяин редко приходил навещать своего работника: он во все время пахоты ни разу не пришел посмотреть, как идет работа в поле. Он пришел только в последний день двойки, когда народный комиссар додваивал последнюю полниву земли. Филин пришел бесшумно, незаметно остановился около прикатанной, сияющей сталью дороги, ленивым взглядом

осматривал работу, лошадей, своего работника, который, покачиваясь из стороны в сторону и быстро семеня бордово-красными оголенными до колен детскими ногами, торопился не отстать от сытых, хорошо и ровно идущих в дробаче лошадей. Филин, пересекая наискосок свеже-черную пашню, подошел к нему и, глядя на него маленькими, едва заметными из красно-синих мешков глазками, добродушно проговорил:

— Заканчиваем?

— Да, — будто из-под подошвы сапога пискнула мышь, ответил работник и проехал мимо хозяина.

— Отдохни, — проговорил все так же добродушно Филин и заложил руки за спину.

Он остановил лошадей и, не выпуская из рук вожжей, подошел к хозяину и, облизывая кончиком сухого языка запекшиеся и покрытые пылью губы, проговорил:

— До полдня закончу.

Филин почесал правой рукой поясницу, посмотрел на солнце, потом, обнажая желтые с прозеленью зубы и розовые десна, широко зевнул, перекрестился, потом все так же добродушно и тихо проговорил:

— Ну, додваивай, а я пойду, — и медленно, заложив руки за спину, зашагал обратно домой.

В обеденное время он видел хозяина разве только за обедом, когда он сидел на конике, резал большими ломтями душистый хлеб или просто от нечего делать разглаживал бороду, выбирая из нее капусту, крупинки пшенной каши, да и то редко: хозяин обедал гораздо раньше и ложился отдыхать на душистое сено, спал почти до самого заката солнца, так что, когда он приезжал с поля, для лошадей не было приготовлено корма и ему, усталому, приходилось с глухонемой девкой отправляться в ригу, резать резку, тащить ее в боль-

шой кошелке на двор, задавать лошадям, а затем уже обедать; то же самое было и вечерами: кроме резки, приходилось ездить на пруд за водой; воду приходилось брать с моста, иначе ниоткуда нельзя было под'ехать к воде; мост был узкий, на нем было очень трудно повернуться, чтобы не свалить с дровен бочку в пруд, или под мост, в крутой овраг, откуда ее было бы трудно вытащить, да и она могла бы разбиться, так что лотков не собрать; поэтому приходилось дроги с бочкой заносить на руках, и он, дуясь изо всех своих сил, движком поворачивал дроги с бочкой, а когда дроги были занесены, он спускался по-колено в воду и, тужась и перегибаясь назад, как молодая береза под тяжестью ветра, поднимал черпак с водой и опрокидывал его в бочку; после этого опять ходил в ригу резать резку, таскал ее на двор, задавал в ясли, затем ужинал и после ужина брал хозяйский серый армяк и отправлялся спать. Так ежедневно, больше месяца.

В половине второго месяца он приехал с поля усталый, изнеможденный и не успел отпрячь лошадей, как к нему навстречу выбежала жена хозяина, закричала на него, что он не следит за порядком, никогда у него в бочке не бывает воды, и она сейчас же приказала немедленно ехать за водой, так как вода необходимо нужна для браги. Народный комиссар запряг лошадь и поехал за водой. На мосту он неудачно подкрутил лошадь, бочка свалилась с дровен и он больше часа промучился с бочкой, чтобы поднять ее и положить обратно на дровни. А когда он положил на дровни бочку, то до того ослабел, обессилел, что был совершенно не в состоянии занести зад дровен и повернуть лошадь; он, дóполна измученный, сел на мост, заплакал и наверно долго бы так просидел и проплакал, ежели бы не

под'ехал один мужик и тоже с бочкой. Мужик, не в'езжая на мост, остановил лошадь, подбежал к нему:

— Ты что это воешь, а?

Он сквозь слезы посмотрел на мужика, быстро поднялся на ноги.

Лицо у мужика было хмурое, губы сердито дергались.

— Оглоед, замучил парня! — и он быстро поднял зад дровен, занес его. — Надо бить такого отца, который отдает к таким людям своих детей. — Он взял черпак и быстро налил бочку. — Поезжай.

Народный комиссар взял вожжи, поехал с моста, а мужик ему все кричал:

— Своих на сало бережет, а из чужого готов жилы вытянуть... Обожди, я нарочно доеду...

Работник едва доехал домой, едва отпряг лошадь, пустил ее на двор и, не обедая, отправился в сарай, повалился в сани, ежась от живота; через несколько минут за ним прибежала старшая дочь, позвала его обедать, но он что-то пробурчал ей, и она ушла, сказав отцу, что работник заболел, катается от живота в санях. Вечером к нему зашел хозяин, спросил, как он себя чувствует, может ли он поехать в ночное; работник ничего ему не ответил; хозян подошел к саням, положил руку на голову: голова была, как с жаром горшок.

— Болен, — пожевав губами, сказал он и вышел из сарая; через каких-нибудь пять-шесть минут пришел с большой рюмкой водки, сказал, подавая ему:

— Выпей. Это помогает.

Народный комиссар поднял голову, мутными глазами посмотрел на рюмку с водкой, на хозяина и опять повалился на постель.

— Плохо, — пробурчал хозяин и опрокинул себе в рот водку, — плохо. А завтра надо бы... — Постоял

немного, покачал головой, потом медленно вышел из сарая, потом остановился около ворот, крикнул:

— Парнишка совсем разболелся.

Проболел он несколько дней и за это время болезни еще больше похудел, еще больше обрезался в лице, так что черты лица, которые были не особенно резко видны на детском лице, сейчас получили определенные очертания, остро бросались в глаза, передавали все душевное настроение ребенка, показывали его гораздо старше настоящего возраста на несколько лет. Мужик, который помог ему на мосту и который ругал хозяина и отца, сдержал свое слово, занарочно с'ездил к отцу, рассказал ему, как приходится жить его сыну в работниках у такого оглоеда. Отец, напуганный болезнью сына, тут же запряг чалую кобылу, отправился к богатому мужику ругаться и взять обратно сына.

В это время, когда под'ехал отец, Филин сидел на камне около своего дома, грелся на солнышке.

Около него, задрав кверху ноги и зажмурив глаза, лежали два белых поросенка; он то одному, то другому чесал брюхо и, подражая поросятам, подхрюкивал.

Отец подошел к нему, поздоровался. Филин приветливо встретил его, позвал в избу. Работник, когда хозяин и отец скрылись, подошел к избе, сел на камень, на котором только что сидел хозяин, стал дожидаться выхода отца. Отец и Филин долго были в избе, и он слышал, как его отец изредка выкрикивал, «совестил» хозяина. Потом, наругавшись, он выбежал из избы на улицу, держа шапку и кнут в руках, за ним следом выбежал и хозяин и тоже без шапки и красный, словно только что вышел из бани.

— А ты не сердись, — остановил отца Филин, — разве я знал, что ему трудно. Я думал, когда он приезжал

с поля, для лошадей все было готово: и резка и вода... Да ты подумай, разве я виноват, что у меня девки такие лодыри; они и мне-то всю шею оттянули...

— Едем, — обратился к сыну отец, — нечего тут тебе ворочать.

Сын поднялся и, ничего не говоря, пошел за отцом к телеге, возле которой стоял отец и ругался.

— А ты не ругайся, говорю: хлеба-то, наверно, не ахти сколько намолотишь с трех осминников, — успокаивая, говорил Филин. — Я парнишку не задерживаю — знаю, что у меня ему не под силу... Да-а, ругаться тут нечего, парнишкой я очень доволен, да и тебя уважаю.

Отец его добродушно отругивался, нарочно хмурил брови, чтобы больше казаться сердитым; но все это у него плохо выходило; в особенности, когда сказал Филин, что «я очень доволен и тебя уважаю», он совсем растаял, стал еще добродушнее отругиваться.

— Но что ты сделал с парнишкой, а? Разве возможно так? Хорошие люди-то, у которых имеется крест, делают так, а?

— Поди, насыпь осьминку, — предложил Филин, — поди...

Отец недоуменно вытаращил глаза, уставился на Филина, думая, что он обалдел или смеется.

— Я не шучу,—сказал обиженно Филин,—поди насыпь.

— Да ты это сам сделай, — сказал отец, — а я как пойду в чужой амбар...

Филин лениво почесал поясницу, простонал:

— Нездоровится мне, — и он сонливо и позевывая пошел к амбару.

За ним пошел и отец.

Через несколько минут на телеге лежал мешок с рожью, и отец, укладывая его поудобнее, ласково

ворковал с хозяином о делах, о том, что это, его хорошее отношение к нему, он не забудет и при удобном случае отработает. Хозяин, облокотившись на грядку телеги и закрыв глаза пухлыми веками, как будто дремал и только редкое покачивание головой говорило, что он не спал — внимательно слушал.

— Ладно. Ладно. Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдутся.

— Ну, спасибо, — садясь в телегу и беря вожжи, сказал отец, — спасибо...

— На вот тебе еще на парнишку, — подавая трешницу, сказал Филин и добавил: — сапоги надо купить.

— Да бог с вами; на этом спасибо, — беря трешницу из рук хозяина, нерешительно запротестовал отец и бережно опустил ее в глубокий карман тяжевых порток и тронул вожжей кобылу. Кобыла вытянулась, дернула вперед, и телега с веселым скрипом покатилась от дома Филина, возле которого долго, пока не скрылся отец с сыном, стоял хозяин дома, а когда телега и седоки скрылись, он не торопясь отправился в сарай на любимую постель, пахнущую душистым сеном, острым чебором.

Далеко за околицами Свинушек отец приостановил чалую кобылу и пустил ее шагом.

— А хороший мужик, — глядя на мешок с рожью, вздохнул он.

Сын ничего не ответил; он смотрел на костлявый зад кобылы и видел, как острые крестцы выпирали, как по бокам ворочались лопатки ног, точно колеса молотильного привода; с кобылы он перевел глаза на поля, что бежали по бокам дороги; поля были серые, скучные, по ним, перелетая с одного места на другое, пролетали стаями скворцы, тоскливым пением оглашали тишину

июльского знойного дня; потом по полям бежали легкие темные тени облаков, бежали они туда же, куда и скворцы; иногда эти быстрые птички обгоняли серые тени, отражались на них черными крестиками.

— Первый твой выход в люди и неудачен, — вздохнул вторично отец и взглянул на сына, — надо было бы послужить...

По белесому небу, подернутому желтыми жилками, бежали темно-белые пустые, выбитые ветрами, зноем облака; за облаками, не отставая, гнались воздушные тени; облака, их тени... пересекали проселочную дорогу и позади и впереди.

— Ты слышишь, что я говорю?

Сын вздрогнул, оторвался от полей, от облаков, от воздушно бегущих теней, от скворцов, то-и-дело перелетающих с одного места на другое, безразлично проговорил:

— Кто тебя просил приезжать за мной?

Почувствовав уничтожающе обвинительный ответ сына, отец виновато отвернулся, дернул вожжей чалую кобылу, она взмахнула хвостом, ударила по передку и, вскидывая костлявым задом, побежала рысью; он, сидя на грядке и смешно подпрыгивая, как слабо набитый мешок, туловищем и рыжей головой, болтал ногами между передними и задними колесами, посвистывал, потом, запустив руку в карман порток и нащупав там трешницу, сказал:

— А я разве что говорю. Я хорошо знаю, что тебе у него не под силу... Я просто хотел тебе сказать, что он человек хороший...

Сын ничего не ответил. И они, не сказав больше друг другу ни одного слова, доехали до родного села.

А под Рождество его опять отдали в люди.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ * * *

Дорогие читатели! С этого злополучного Рождества я потерял из виду своего земляка, с которым в детстве скакал верхом на палке, барахтался вёснами в Красивой Мечи, ездил в ночное, бегал с девчатами в луга завивать венки, дрался до крови с ребятами-ровесниками, катался на салазках с крутых гор и, если бы не судьба, что бросила меня в этом году в столицу, я, возможно, так и не увидал бы своего товарища, о котором я пожелал написать роман и который, наверно, теперь бы закончил, но только не в таком виде, в каком преподношу его в настоящую минуту вашему вниманию, а совсем бы в другом, в более коротком и сжатом виде. Так, в 1925 году, осенью, по распоряжению Центрального Комитета нашей партии, я был переведен в Москву на работу в один наркомат, был назначен заведующим одного отдела.

До вступления на работу у меня было несколько свободных дней, и я решил их использовать на поиски своих земляков, которых я давно не видал, хотя о некоторых очень много слышал, очень много следил за их выступлениями на с'ездах партии и советов, в особенности хорошо знал работу, роль и значение в нашей партии моего героя — народного комиссара, которого разыскивать было совсем не надо, а просто было пойти к нему в такой-то комиссариат, доложить ему о себе и он, наверно, не отказал бы мне в этой любезности — повидать друга детства, да и товарища по партии, чуть ли не с самого основания ее; но я на это не решился и отправился к другому товарищу, который был другом детства и тоже был членом нашей партии, занимал довольно большое положение, — об этом друге детства

я говорил в начале сей повести: он, когда народный комиссар приехал на пар кормить чалую кобылу, был среди ребятишек и вместе с ними отрубил ему три банки; сидя на ногах моего героя, он жадно смотрел тогда на его оголенный живот, до плаксивости морщил смуглый комочек своего лица, требовал рубить банок больше, чем ему отрубили, а когда рыжий парень поднялся и не согласился больше рубить и разогнал ребятишек, он от злобы спрятал розовый поясок и, если бы опять не вмешался рыжий парень, то он не отдал бы ему и поясок. Вот к этому самому товарищу я отправился повидаться и поговорить. Я разыскал его очень скоро: он жил в одном советском доме, занимал большую квартиру и, судя по жене, по ее дородности, упитанности, по дочерям, похожим во всех отношениях друг на друга, по их изящным платьям, по тонким манерам, по шелковым чулкам, по роскошной шелковой мягкой мебели, по роялю, что стоял в большой гостиной, он жил не только не дурно, но даже, если мне позволят сказать, великолепно, он жил так, как жили в доброе старое время приличные буржуа. Тут я должен оговориться, что для меня все это—обстановка, жена, упитанность семьи, манеры дочерей, похожих друг на друга и внутренно и наружно, шелковые чулки, не играли бы, конечно, никакой роли, и я не придал бы всему этому никакого значения, если бы я не почувствовал при первой встрече с товарищем его обиды, сильного раздражения к существующим порядкам в нашей партии, его кислого лица, все таких же, как и в детстве, маленьких черных слезящихся глаз... Правда, он за эти двадцать семь лет жизни очень мало изменился: он почти нисколько не вырос, он только потолстел и стал немного сутулее; с лица тоже мало изменился, разве нос немного стал

острее, вздернулся кончиком кверху; ежели бы не было темно-синих усиков, небольшого гвоздика бородки, мышиного цвета, его никак невозможно было бы назвать взрослым человеком, хотя ему, как и моему герою, шел сорок третий год; одевался он, как принято выражаться, в пику своей жене и всему своему семейству, не особенно прилично: на нем был серый пиджак, такого же цвета брючки, простые и много раз чиненные ботинки, подметки которых щерились деревянными гвоздями и были похожи на оскаленные мордочки небольших зверьков; относительно пиджака этого нельзя было сказать, так как пиджачок, если не брать во внимание выбитый ворс на локотках, был довольно приличного вида, вполне мог сойти за новый; что касается брючек, то про них сказать то же, что и про пиджачок, никак было невозможно, ибо брючки довольно много вынесли страданий от упитанного зада, похожего на женский, очень основательно пострадали, так что весь тыл пришлось заменить новым куском материи, который, несмотря на необыкновенно тонкое мастерство, возможно и самой хозяйки, выделялся и бросался в глаза. Вот и все, что было бы можно сказать о земляке, о старом товарище, о друге детства, а теперь по партии.

Встретил он меня довольно холодно, недоверчиво, но когда я назвал свое имя и фамилию, напомнил ему, что двадцать семь лет тому назад мы вместе проводили детство в родном селе, он вежливо улыбнулся, проговорил:

— Так это ты, Евлампий?

— Да, это он самый.

— Завалишин?

— Он. Он. Даже можете пощупать, — смотрел я на товарища, улыбаясь.

— А я думал, что ты куда-нибудь завалился и нескоро вылезешь на свет божий.

— Пока никуда не завалился; как видите, стою перед вами.

— Так, что же мы тут стоим-то! — воскликнул он и повернулся ко мне спиной. — Пожалуйте.

Я прошел за ним в большую гостиную, остановился; он предложил мне сесть на диван и, пока я садился на диван, он стоял передо мною, потирал пухлые ладони с короткими пальцами и только, когда я сел, он подсел боком на диван, повернулся ко мне, все так же потирая ладони.

— Поцелуемся. — Мы три раза поцеловались, желая попасть в щеку друг другу. — Ну, рассказывай.

— Рассказывать? Да что рассказывать-то: тебе, наверно, лучше моего известна наша провинциальная жизнь.

— Не скажите, — вздохнул он и засмеялся, — мы далеко провинции не знаем, особенно деревни.

— По-моему, это только слова... Издали все лучше видно... — и мне стало как-то неприятно, что он свернул разговор на политику, не поинтересовавшись, как я жил эти двадцать семь лет.

— Ну, как тебе наш новый курс? Ты, наверно, читал доклад секретаря ЦЕКА? И как он проводится на месте? — спросил он неожиданно.

— Читал.

— И что же? — и он дернулся с дивана туловищем, черными слезящимися глазками пытливо впился в мое лицо. — И что же?!

— Правильно.

— Да-а?! — воскликнул он и внезапно вскочил с дивана, забегал по гостиной; бегал он быстро, легко и не

производил никакого шума; своей походкой он был похож на осторожную лису, которая прогуливалась недалеко от курятника, отыскивала удобной скважины, чтобы забраться туда и полакомиться; я спокойно сидел на диване, наблюдал за ним, ожидал, когда он кончит свою беготню. Находясь на одном диване с ним, я чувствовал, что мы чужие друг другу люди, несмотря на то, что мы состоим в одной партии, говорим «на ты».

В гостиной было тихо. Только в коридоре громким, повелительным, а временами угрожающим голосом говорила женщина:

— Я тебе приказываю не брать!

Ей робко отвечал мужской голос:

— Мне велел заведующий взять.

— А я тебе не приказываю!

— А я возьму.

— Да ты знаешь, кто мой муж... Да твоего заведующего завтра не будет... Пошел к чорту!.. Да и ты дождешься этого!

Мужчина трусливо засопел, бесшумно вышел из квартиры. За ним громко захлопнулась дверь, потом, тут же, шумно влетела в гостиную дородная, с полными, крутыми грудями и с таким же задом женщина в темно-красном шелковом платье, с большим вырезом на груди и, не видя меня, грозно набросилась на мужа:

— Это чорт знает что такое, а? Какая-нибудь сволочь!

Муж испуганно повернулся к жене.

— Женушка, что такое?

— Ты вечно свою жену заставляешь расстраиваться! Какой-нибудь дворник, мужлан, обольет тебя помоями!

— Познакомься, — показывая на меня, сказал муж:— Это мой земляк, друг детства... Евлампий...

Женщина, скрипя желтыми туфлями, повернулась и подала мне теплую руку. Лицо у женщины было крутое, красное, было оно похоже на хорошо замешанный и перепеченный хлеб. Она облила меня ультрамариновыми глазками с головы до ног, потом приятно улыбнулась и, извиняясь, в какую-нибудь одну минуту рассыпала несколько десятков слов:

— Простите, что я так грубо ворвалась. Вы не знаете, как теперь трудно устраиваться... Вы, мужчины, ничего не знаете. Ничего! Да-да-а. — И она рассказала, с каким трудом пришлось выселить из квартиры жильцов, занять еще одну комнату. Потом рассказала, что у ней дочери, все они взрослые, и что для каждой дочери необходима отдельная комната, а также и для нее... О себе она тоже упомянула, что она очень занятой человек, работает в пяти учреждениях, почти каждый день приходится бывать на четырех заседаниях и решать важные дела.

— Да у вас и так, кажется, свободно, — вставил вежливо я.

— Да. Но я без гостиной не могу... без кабинета не могу... Я же вам сказала, что у меня дела, дела и дела... Дочери тоже не могут... они перегружены работой.

— Можно сделать из гостиной кабинет.

Женщина взмахнула перед моим носом сытыми, точно налитыми руками, звонко засмеялась, кокетливо проговорила:

— Простите, этого я сделать не могу... Вы знаете, что у меня очень часто бывают подруги: жена такого-то члена коллегии, жена такого-то зама, жена такого-то наркома и многие другие. Я не могу...

— Но, ведь, надо же учитывать квартирный кризис?

— Простите, — спрятав кокетство, воскликнула она,— это мещанство — так говорить члену партии, да еще старому, и абсолютно непростительно! Ответственные работники должны жить...

— Это как? по-моему, должны быть пределы... Правда, я знаю одного видного товарища, который ради чистого демократизма ставит самовар, чистит себе сапоги, один раз в год моет у себя в комнате пол, один раз в месяц выносит мусор из угла; эта же комната служит ему и кабинетом. А сам ходит во все времена года в одном и том же костюме: в кожаном пиджаке, в кожаных брюках, в кожаной шапке, в больших кожаных сапогах...

— Кто это? — перебила меня женщина. — Возможно, я знаю.

— Этого я вам не скажу. Да и вам это неинтересно: он живет в Туле... Но этого мало, что он ходит во все время года в одном и том же уборе, — он никогда не подстригает рыжей бороды, такого же цвета волос и, как говорят, однажды в месяц умывается.

— Это, по-вашему, демократизм?

— Я этого не защищаю. И, как говорят, в том же кожаном уборе, не снимая шапки и не разуваясь, забирается на кровать под одеяло и, лежа в постели, принимает посетителей, выслушивает секретаря, доклады своих сотрудников, а когда они уходят, он, не поднимая рыже-красной головы, протягивает руку под кровать, где стоит всегда у него ящик, достает из него яблоки и начинает есть, — иногда он ест яблоки, когда ему делают доклады.

— Это же чорт знает что такое! Что вы этим хотите сказать? — засмеялась женщина и взглянула на мужа.—

Ты слышишь? Это немного касается и тебя... Ну, — обратилась она ко мне, — продолжайте.

— Этим я хотел ответить... позвольте узнать, как ваше имя и отчество, — обратился я к женщине.

— Дорофея Потаповна. А лучше: товарищ Дора. Я вас слушаю.

— Так вот, Дорофея Потаповна, этим я хотел вам ответить на ваш упрек в мещанстве... Вы, ведь, хорошо знаете, что через эти вот крайности как раз можно свободно впасть в мещанство.

— Какая глупость, — воскликнула обиженно Дорофея Потаповна. — А впрочем, — мы с вами поговорим еще об этом после обеда... — И снова она кокетливо взмахнула руками и вышла из гостиной, шумно хлопнув дверью.

Наступила тишина. Было слышно, как шли стенные часы; размеренная поступь часов глухими каплями падала в мягкость майского дня, так бурно живущего за окнами квартиры. Я сидел на диване, молчал и мне было больно, как-то неприятно и жаль себя, что я заговорил о столь серьезных вещах: о мещанстве, о демократизме, о быте и о многом другом, что неизменно входит в этику каждого члена партии, с человеком, которого я до этого никогда не знал, никогда не видал и, возможно, никогда больше не увижу. Думая об этом, я вынул платок, помахал перед своим носом, чтобы расправить его, а когда он порасправился, я громко высморкался, вытер усы, бороду и, клядя платок обратно в карман, обратился к товарищу, — он уже сидел за столом, очень внимательно смотрел на меня, улыбаясь.

— Жена перебила наш разговор, — сказал он и добавил: — А она взяла тебя здорово в оборот, а?

— Я ничего плохого, кажется, не сказал, — ответил я и тоже очень внимательно посмотрел на него.

— Насчет этого она тебе сама ответит. А вот что касается правильности нового курса, я могу тебе сказать, что тут ЦЕКА нашей партии сделал большую ошибку, неправильно подошел к крестьянству. Разве можно теперь возобновлять методы военного коммунизма? Разве можно теперь создавать комитеты бедноты?

— Какие комитеты?

— Это все равно. Ну, какая разница? Разве только то, что новым названием можно сбить темные массы, лишить их окончательно здравого рассудка: мы, мол, за комитеты, за добровольную организацию бедноты. Что это, а?! Не демагогия это, а?! Но все это было бы пустяки, если бы тут, друг мой, не было огромной опасности, которая расколет деревню, оттолкнет середняка от советской власти, толкнет его к кулаку... А ты знаешь, что такое кулак, а?! Кулак гораздо культурнее середняка, — с бедняком его и сравнивать нельзя... Он, кулак-то, при этом новом курсе окончательно развяжет руки; он в союзе с середняком пойдет в наступление... Он уже пошел... Он, друг мой, растет...

— Да, кулак уже давно пошел в наступление, — возразил я и собрался доказать обратное, что политика ЦЕКА в деревне правильна.

— Ого! — взвизгнул он пронзительно, быстро вскочил с кресла, легкими, как будто воздушными шагами забегал по гостиной.

— Позвольте, — незаметно переходя на «вы», запротестовал я, — вы сказали свое мнение, так дайте же и мне высказаться.

Тут товарищ остановился, посмотрел зачем-то на свои пухлые ручки, улыбнулся, подошел к дивану, опять подсел ко мне бочком, ласково, с тонким дребезжанием в голосе протянул:

— Слушаю.

Я повернулся к нему, стал доказывать, что в подходе к деревне он не прав. Я говорил:

— Кулак более культурен — верно. Что он газеты читает, больше следит за политикой — верно. И то, что условия нэп'а ему развязали руки — верно! Что он полез к власти, пробирается в советы, особенно в богатых окраинах — верно. Часть зажиточного середняка тоже тянется за кулаками, помогает кулаку пролезать в советы, даже вступает с кулаком в союз — и это верно. Кулацкая молодежь, отчасти зажиточно-середняцкая ищет выхода, организуется в противовес нашему комсомолу, в некоторых местах работает лучше комсомольских организаций — и это отчасти верно. Вот что происходит в современной деревне в богатой части крестьянства. Можете ли вы ручаться, что здесь не работают эсеры? Нет, не можете. Можете ли вы ручаться, что в вашем подходе к деревне не произойдет окончательного разгрома бедняка, огромного количества однолощадника? Нет, не можете, так как сейчас, при современной экономике, кулачество, зажиточный середняк, колеблющийся между кулаком и середняком, благодаря своей культурности, приспособляемости, уживчивости быстро поднимается, улучшает свое хозяйство, упорно идет к захвату местной власти, всюду стараясь вытеснять бедняков и однолошадников. Что мы должны противопоставить этому, правда, пока еще робкому напору? Другую часть крестьянства, крепко связанного с советской властью, с рабочим классом и с нашей партией. Но как мы должны эту часть крестьянства всколыхнуть, чтобы она расшевелилась, взяла бы инициативу по оживлению советов в свои руки, работала бы вместе с ячейками нашей партии?

— Вы так думаете? — Тут неожиданно раздался резкий звонок, он перебил возражение земляка, заставил побежать в переднюю. Через минуту вошла в гостиную стройная девушка с небольшим изящным желтым портфелем, держа его за ручку и слегка помахивая им. Она, увидав чужого человека, остановилась; потом очень внимательно посмотрела на меня темно-синими глазами. Отец вышел из-за ее спины вместе со своим вкрадчивым голоском: — Друг моего детства. Познакомьтесь, — и еще более мягко добавил: — Мы с ним из одного села... Не видались двадцать семь лет.

Девушка расцвела наивной улыбкой, взмахнула темно-золотистыми ресницами:

— Неужели? Да ведь это целая жизнь! — и быстро подошла ко мне, и мы, пожимая крепко руки, поздоровались. Потом, постояв не больше минуты около меня и поиграв окрепшими бедрами, воздушно прошла на диван, потом опять поднялась с дивана, легкокрыло побежала по гостиной, потом остановилась около рояля, взяла несколько аккордов и неожиданно отбежала от рояля обратно к дивану, открыла сияющий желтым лаком портфель и, порывшись в его пустоте, достала батистовый с розовыми каемками платок, мило высморкалась в него.

— Да и что сейчас, по вашему мнению, представляет в деревне бедняк и однолошадник? Ничего. Он, ведь, до этого постановления ЦЕКА партии был распылен, не представлял никакой реальной силы. Он апатично смотрел на советскую власть, на нашу партию, которую, по его мнению, подменили другой.

— Возможно. В этом бедняк прав, — потирая пухлые руки, мягко и весьма вежливо улыбнулся земляк.

— Это так? — В это время опять неожиданно раздался звонок. Мой земляк бесшумно поднялся и, колыхая

бабий зад, побежал в переднюю. И опять ровно через минуту вошла другая девушка, похожая во всех отношениях на первую, и тоже с таким же изящным и плоским портфелем. Я представился. Она, взяв в левую руку портфель и слегка помахивая им, грациозно, так же, как и первая, поздоровалась со мной, потом быстро пошла на диван, села рядом с сестрой. Земляк опять подсел ко мне.

— Продолжайте. Я слушаю.

— Он был в стороне, — нехотя начал я, — и, борясь с кулаком и внося налоги государству, возился в своем жалком, полуразрушенном хозяйстве, чтобы оно совсем не упало, не развалилось. Налоги были гораздо тяжелее для бедняка, чем для кулака. Кулак и богатый середняк при хорошей обработке земли получали урожай в пять раз больше, чем получали бедняки с такого же количества земли. Им гораздо было легче платить налоги, чем беднякам, которые, чтобы обработать свою землю, чтобы не погибнуть с голоду, отдавали исполу богачам и этим попадали в полную зависимость. Бывали случаи, когда кулаки обрабатывали землю безлошадных, брали за работу бóльшую половину урожая, но налога платить государству не платили, и бедняки были обязаны уплачивать налог со всей земли; безлошадники отдавали налог, оставаясь без хлеба на зиму, и опять лезли в кабалу к кулакам. Таких кабальных случаев было сколько угодно, да и сейчас их порядочно. При таком положении, при такой экономической борьбе в деревне бедняк и однолошадник оказались разбитыми, часть бедняка находится под гнетом кулака и зажиточного середняка. В таком положении партия не могла оставить деревню, обязана была, в интересах огромного большинства бедноты, оживить, втянуть ее в политическую

жизнь, в строительство новой деревни. Но как надо ее втянуть, чтобы эта огромная масса заработала, стала несокрушимой стеной перед кулачеством и пошла к социализму.

— Хе-хе, — слащаво вставил земляк и, вскочив с дивана, опять забегал по гостиной. — Оживление советов! Ха-ха! Но как надо оживить советы! Ведь их не оживишь, посадив туда хорошего крестьянина или даже коммуниста? Правда, советы этим можно улучшить, но оживить невозможно, а раз невозможно, то что-то другое, более верное, жизненное... Тяните к старому... Я спрашиваю, зачем тогда было нужно разрушать комитеты бедноты, развязывать руки кулаку? — подбежал ко мне и, откинув голову назад, спросил земляк и уставился на меня черными слезящимися глазками. — Зачем, а?

— Я не могу ответить: может быть, и не надо было бы разрушать их; возможно, надо было бы дать им другое направление с введением новой экономической политики, но правильность второго предположения я не берусь утверждать. Я думаю, что мы должны думать не о прошлом, а о настоящем и о будущем. Поэтому последнее постановление ЦЕКА весьма своевременно, и теперь мы можем определенно сказать, что наша партия сумеет организовать бедноту и середняка, втянуть их в общественную работу, и советская власть и партия будут иметь небывалую опору...

— Ты так думаешь?

— Да. Я не только думаю, но и уверен. Я вполне верю, что деревенские ячейки нашей партии будут теми магнитными планетами, которые будут притягивать к себе крестьянство, заражать своей идеей, вдохновлять на социалистическое строительство в интересах самого крестьянства.

Товарищ почесал мышиную бородку, улыбнулся, потом, постояв напротив меня, повалился на диван, прикоснулся к моей ноге, похлопал повыше колена:

— Все это хорошо, голубчик. Все это хорошо. У нас много было хороших резолюций, постановлений, но все они остались только на бумаге... красивыми жестами.

— Это уже начинает проводиться. А вы что предлагаете?

— Я?

— Да.

— Ничего, — хихикнул он и перешел неожиданно к другому. — Вот, например, с демократией... — Но тут опять раздался звонок. Мой собеседник быстро вскочил с дивана, побежал открывать дверь, а через минуту он вернулся в сопровождении двух дочерей. Они были во всех отношениях очень похожи на первых двух дочерей, внутренно и наружно, так что было трудно отличить одну от другой. Я быстро поднялся. Представился. Они кокетливо, как и первые, поздоровались со мной и, бросив на рояль изящные желтые портфели, мотыльками проплыли к дивану, подсели к сестрам. Я, глядя на дочерей моего земляка, окончательно растерялся... Но о них я больше не буду распространяться, так как это еще дальше увело бы меня от моего главного героя—народного комиссара, а посему я был очень рад, что они пришли и оборвали наш разговор. Тут, к моей радости, вошла в гостиную и сама Дорофея Потаповна.

Я встал с дивана, обратился к товарищу:

— Позвольте вас поблагодарить.

— Вы куда? — повернулась ко мне Дорофея Потаповна, — мы сейчас будем обедать.

— И верно, — обрадовался земляк, — мы будем обедать.

— Я еще хочу попасть...

— Куда это еще?

— К нашему общему земляку, — сказал я и назвал имя моего героя. — Вы у него бываете?

— Нет, — ответил холодно земляк. — Он так гордо себя держит, что выше себя никого не считает.

— А я слышал другое...

Дорофея Потаповна игриво рассмеялась, прошла по гостиной к буфету и, вытаскивая из него тарелки, повернула голову.

— Что он имеет три жены?

— Простите, я этим очень мало интересуюсь.

— Почему? Это теперь так модно.

Я ничего не ответил.

— Оставайтесь, — ставя на стол тарелки, сказала она и добавила: — Вы все равно его скоро не найдете.

— Я?

— Ничего вы не знаете, — смеясь, выкрикнула громко она: — Я же вам сказала, что у него три жены и вы не можете знать, у какой жены он изволит быть.

Мне окончательно стало противно; я решил сказать неправду.

— Он мне на сегодня назначил свидание.

— Вы уже договорились? Тогда задерживать не будем. — Он и она вежливо пожали мою руку, оба проводили меня до прихожей, оба просили как можно почаще бывать... Потом оба просили передать от них привет народному комиссару.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ * * *

Несмотря на то, что я не видал моего героя около двадцати семи лет, я мог бы его узнать сразу, ибо

его портреты были хорошо известны мне и в далекой провинции, где я жил до этого года; поэтому я прямо решил пойти к нему в комиссариат и доложить о себе. До подыскания прочной квартиры я остановился временно в одной советской гостинице. Комната, которую мне отвели, была большая, светлая, окнами выходила на одну из центральных улиц, по тротуарам которой, по мостовой густыми потоками торопились люди, сотрясая своей поступью почву, забронированную камнем, обливали гулом гостиницу, так что дрожали стены, жалобно жаловались стеклами оконные рамы, позвякивал на умывальнике робко графин, отчего в нем все время трепетала вода.

Я в этот день поднялся очень рано, так что мне пришлось долго ждать, чтобы часовая стрелка подошла к цифре десять. Я то садился читать газеты, то опять ложился на кровать, то снова вскакивал с кровати, подбегал к окну, садился на большой широкий подоконник, отодвигал тяжелую штору, начинал смотреть в окно, на утро столицы: на улице было еще весьма мало народа, он лениво вылезал из каменных коробок, лениво двигался по улице, озираясь недоверчиво по сторонам. Но такое осторожное, как будто сонливое движение толпы продолжалось недолго — до восьми часов; потом густыми многоцветными валами повалила по улице, — так до самого глубокого вечера. Я так увлекся движением улицы, что даже не заметил, как быстро прошло время, как на кремлевской башне пробили часы — девять; но я никак не мог оторваться от улицы, слезть с подоконника, так как я очень увлекся человеческой толпой и мысленно бежал за ней. И это верно. Живя в провинции, я никогда не видал такой огромной толпы по утрам, как нынче из окна советской гостиницы,

и я с большим удовольствием стал наблюдать за ней, разглядывать ее, останавливаться на отдельных личностях ее, следить за ними, пока они не скроются, не нырнут в дырочку какого-нибудь под'езда или в широко-открытую пасть двора. Дорогие читатели, позвольте спросить у вас: смотрели ли вы когда-нибудь по утрам в окна, когда огромная лава людей катится по улице мимо вашего дома? Смотрели. Дорогие читатели, позвольте еще спросить у вас: наблюдали ли вы за отдельными личностями толпы? за царственной толпой? Молчите. Я вижу, что вы растерялись и не знаете, что мне ответить. Хорошо. Хорошо. Не волнуйтесь! Я отвечу за вас: мне очень не нравится по утрам толпа, особенно отдельные ее личности. Но вы у меня спросите: а есть ли у толпы отдельные личности?

— Есть!

— Наблюдали?

— Наблюдал. — А нравится ли вам эта толпа? отдельные ее личности?

— Нравится, — ответите вы. Так вот и мне, дорогие читатели, тоже нравится. И я от нечего делать сидел у окна, наблюдал за толпой, за ее отдельными личностями, так как было еще очень рано и я не мог отправиться к народному комиссару, не мог продолжать о нем начатого романа. Итак, я любовался толпой, отдельными ее личностями. Вот идет одна девушка, ей не больше семнадцати лет, идет она прямо, быстро, голова ее с коронообразной прической золотистых волос немного откинута назад; синие, немного мутные от сна глаза смотрят вяло, безразлично вперед, куда влечет ее толпа; руки, как ненужные придатки, безжизненно болтаются по бокам; груди под тонкой тканью трясутся; лицо у ней в румянце, подкрашенные губы полуоткрыты,

горят, нижняя губа немного вздрагивает. Бежит эта девушка спокойно, спокойно выстукивает высокими каблучками по асфальту; в эту минуту она похожа на хрупкий мотылек, который прилетает на огонь, нудно бьется крыльями о стекло лампы, обжигается и, обжигаясь, он все больше, настойчивее припадает к горячему стеклу. Попробуйте его остановить, попробуйте его отогнать от огня! О, вы его не отгоните, не остановите, он с бо̀льшей настойчивостью полезет на огонь, обожжет легкие крылья, погибнет, и ваш труд пропадет... Так вот попробуйте остановить эту девушку с вялыми синими глазами! Ручаюсь, вы ее никогда не остановите. О, не только вы ее не остановите, но и не удостоитесь ее взгляда: она пройдет мимо вас гордо, ибо толпа движет ее членами, глядит ее глазами, гонит ее до положенного предела, до определенной дырки под'езда, в которую она нырнет, вяло внесет частицу своего дыхания, долю своего труда, чтобы дальше оттолкнуть историю человечества, выше поднять человеческую культуру. Вот старичок, виляя высохшим задом, идет в черном сюртучке, с портфелем в левой руке. Посмотрите на него: он еле идет, еле переступает, еле выстукивает по асфальту шаги своей старческой жизни; он вот-вот рассыпется пеплом по мостовой и ничего от него не останется, кроме портфеля, который поднимут прохожие и сдадут в милицию; но он, старичок, бежит и бежит и тоже до своей дырки, в которую нырнет и тоже, как и девушка, внесет свою долю труда, запах своего старческого тела — в культуру человечества. А посмотрите на него, на его лицо, покрытое седой щетиной, на бледно-сизые морщины, на складки, на далеко отвалившуюся нижнюю губу, на луковицу сизого носа, на мутные оловянные глаза,

неподвижно сидящие в толстых сизых мешках век, на всю его старческую походку. А скажите мне, кто его гонит, кто заставляет жалким пугалом метаться по улице, вносить запах своего тела в культуру?

Вы остановитесь, скажете:

— Никто.

А другие скажут:

— Мы вчера его видели в «Яре», в обществе молоденькой девушки. Он сидел за столом, казался молодцом, пил ликер, шампанское, целовался с девушкой. А после всего этого, вытянувшись в струнку и подергивая высосанным задом, гордо вставал из-за стола, откидывал полукольцом руку, предлагал ее девушке, а когда она взяла предложенную руку, он царственно вышел из «Яра», все так же виляя костлявым задом.

А еще другие скажут:

— Он хочет...

Какое мне дело, чего он хочет. Я ничего знать не хочу. Я просто сижу на подоконнике, смотрю в окно, наблюдаю за толпой, за ее отдельными личностями. И временами я не вижу личностей, — я вижу одноликую толпу и мне, при виде ее, становится в одно и то же время страшно и весело: страшно бывает тогда, когда я вижу ее желудок, его голодное львиное урчание; весело мне бывает тогда, когда ее желудок полон, удовлетворенно отсыпается, и она, толпа, тяжело неся его, шумно устремляется в театры, на бульвары, на празднества, на любовные похождения, мотыльком на знойный огонь любви. И вот, сидя на подоконнике и размышляя о толпе, я пришел к такому выводу:

— Желудок! Он скушает все, он может скушать и диктатуру рабочего... он... Это он, изверг человечества, гонит по утрам толпу создавать культуру. Это он гонит

эту же толпу веселиться, когда он бывает полон и отсыпается в ее просторной утробе. Но какую культуру?!

— Это чорт знает что такое! — вскакивая с подоконника и хлопнув себя ладонью по лбу, воскликнул я. — Нужно же додуматься до такой чепухи, а?!. Это чорт знает... Да-а. А это все оттого, дорогие читатели, что я просто загляделся на обывательскую толпу, на ее пестроту, но главное, от безделья и оттого, что мой роман о народном комиссаре как-то сразу оборвался, и я не знаю, как и с чего мне его начать. Я быстро стал прохаживаться по комнате, ругая на чем свет стоит себя за то, что я засмотрелся на эту толпу, которая никакой не делала революции: она была в годы борьбы балластом на теле рабочего класса, об'едала его... и она об'едает и сейчас.

— К чорту! — крикнул я и стал одеваться. — К чорту! Я должен во что бы то ни стало повидать своего героя, узнать о его жизни за эти двадцать семь лет и обязательно закончить роман «о народном комиссаре и о нашем времени». Да-да, — сказал я и с этой мыслью вышел на улицу. Было одиннадцать часов. Поток толпы неудержимо катился вперед. Я добрался до комиссариата и скрылся в его вестибюле; через каких-нибудь десяток минут я стоял в приемной моего героя, писал записку о приеме. Я писал в записке:

«Приехал из далекой провинции твой друг детства, старый член партии, он желает с тобой повидаться. Сейчас он находится в приемной, если можно, просит не отказать в приеме». Эту записку передал секретарю, небольшому светловолосому, голубоглазому товарищу. Он быстро отнес ее в кабинет, и меня попросили войти. Такой скорый прием меня обескуражил, так что от неожиданности я совсем растерялся, не знал, что надо мне

сделать с кепкой: оставить на столе в приемной или же взять с собой, и если бы не пришел на помощь секретарь, не указал бы мне вешалку и не сказал бы раздеться, я, наверно, долго бы прокружился в приемной, отыскивая место для кепки.

— Вот сюда,—показывая на вешалку, сказал секретарь и, улыбаясь, добавил:—Торопитесь, а то он скоро уезжает.

Я нырнул в кабинет.

Навстречу из-за массивного коричневого стола, заваленного папками, бумагами и книгами, поднялась высокая фигура человека, вышла ко мне навстречу и протянула руку:

— Давно не видались. Ну, давай поцелуемся. — Голос у него был сухой, немного звенящий, но простой и приятный. А когда мы поцеловались, он снова прошел за стол и пригласил меня к столу. Мы молчали несколько минут и не знали, с чего начать. Я с большим любопытством смотрел на него и думал, что стало с таким кротким мальчиком, с которым я ездил в ночное, забирался за яблоками в княжеский сад? Да-а. Много было пережито этим мальчиком. Он был очень мало похож на портреты, что я видал в журналах, в клубах и в витринах в Москве. Он был выше среднего роста, костлявый, был сильно похож на свою мать. У него были такие же светлые, большие глаза и тоже сухие, выветренные ветрами и зноем; он, несмотря на небольшие еще годы, сильно постарел, отчего на его матово-желтом изможденном лице лежали глубокие морщины и почти никогда не разглаживались, даже тогда, когда он был весел, громко по-детски смеялся, — смех его был крепок, напоминал далекое детство.

— Давно ли приехал? — спросил он и погладил небольшой клинушек темно-русой бородки, посеребрен-

ной по бокам. Он в свою очередь очень внимательно рассматривал меня и, угадывая мои мысли о нем, сказал:

— Ты тоже здорово изменился. У тебя, как и у меня, седые волосы. А ведь мы с тобой еще так молоды!

— А я думаю, что мы давно старики.

Он громко рассмеялся.

— Глупость. Мы еще долго поживем. Поработаем. А работать хорошо, а? Ты, как я слышал, пописываешь?

— Да. Немного грешу... Да, уж больно ругают... сильно бесится и наш знаменитый критик Крысин.

Народный комиссар поднял голову, широко-открытыми глазами посмотрел на меня:

— Ругают? — и, не дожидаясь ответа, проговорил: — Что ж из этого, что ругают? Ну, скажи мне пожалуйста, кого не ругали, а? Всех ругали и будут ругать, а особенно такие критики, как наш критик Крысин. Он очень занятный критик, — впрочем, я почти никогда не читаю его. Но если когда и возьму и начну читать, то у меня создается такое впечатление, что будто бы я не статью читаю, а жую не один раз жеванную мочалку. Так вот поэтому-то я его никогда и не читаю. Но при встрече с ним я всегда на него с большим удовольствием смотрю и восхищаюсь. — Он, схватив бородку в кулак, спросил:

— Ты видел его когда-нибудь?

— Нет.

— Зря. Любопытный человек. Обязательно познакомься.

— Да-а.

— Он очень похож на откормленного каплуна. Впрочем, это каждый скажет про него, если он посмотрит на его упитанное розовое лицо в белокурой бородке, на

розовые дамские губы, на его откормленный зад... — Потом он замолчал, вышел из-за стола и медленно прошелся по кабинету; потом вынул из френча серебряный портсигар и стал закуривать; потом, когда закурил, протянул открытый портсигар мне: — Куришь?

Я взял папиросу, повертел ее в пальцах и положил на стол. А он спокойно стал шагать по кабинету. Несмотря на узкие плечи, на плоскую грудь, на небольшую сутулость, он заслонял собой помещение огромного кабинета, его обстановку, так что кабинет казался маленьким, низким, а все его предметы казались игрушечными, как-то: телефоны, лампы, кресла, диваны, набитая всевозможными отчетами, справками, вырезками из журналов, газет и книгами вертушка, — эта вертушка была похожа на мельничное колесо и в нужное время вертелась, показывая и подавая необходимые папки для справок и докладов. Только на одной стене, как взойдешь в кабинет — налево от двери, висит огромная карта Союза во всю стену, и красными пятнами, как небо в ясную погоду смотрит звездами на землю, так и она глядит на пространство кабинета большими черными точками городов; эта карта не кажется маленькой в сравнении с другими предметами, а гармонирует с сутулой фигурой самого народного комиссара. Вот он выкурил папиросу, повернулся спиной к карте, которая краснела со стены своим фоном и была похожа на большое раскинутое знамя, остановился, взглянул на меня и сказал:

— Да-а. Но надо и писать уметь. Вы, ведь, писатели, всегда любите перегибать в одну сторону, а это очень скверно в наше время.

— Дурные стороны жизни лучше и ярче видны писателю, — ответил я, — поэтому...

— Это все верно, — воскликнул он, — но разве вы не видите крепкой, здоровой жизни? Эту жизнь надо видеть, а вы ее часто не видите, — видите только одно больное, уродливое. Но это все пустое, — внезапно выкрикнул он и направился к своему креслу, а когда он сел за письменный стол, обратился ко мне: — Ты что пришел ко мне по делу или просто так — повидаться, поговорить? — Потом неожиданно добавил: — Да, Завалишин, Булгариных у нас очень много... На каждом «литературному углу» по десятку... Но все это ерунда...

Я ничего не ответил.

Перед моими глазами опять вырос массивный кабинет, сильнее ударила в глаза его громоздкость и какая-то особая простота обстановки; все предметы выросли, стали казаться значительными, а карта Социалистического Союза Республик отошла дальше в глубь кабинета и оттуда далеким огненным заревом освещала огромный кабинет; глядя издали на карту, на ней не было видно черных точек городов, фабрично-заводских поселков и местечек, была она одного огненного цвета. Народный комиссар, как мне показалось, весь ушел в сиденье кресла и его из-за папок, из-за боковых спинок кресла почти не было видно; он смотрел мимо меня спокойно-холодным взглядом, как будто совершенно не замечал рядом с собою моего присутствия. Я осторожно, чтобы не потревожить его, поднялся и протянул руку.

— Вы куда? — сказал он ласково. — Садитесь. В нашем распоряжении еще десять минут и мы можем поговорить. Я очень рад тебя видеть и все время тобой интересовался, в особенности твоими художественными произведениями, только жаль, что ты очень мало печатаешь. А теперь расскажи, как ты жил в этот длинный

промежуток, в который, несмотря на то, что работали в одной партии, мы ни разу не видались.

Я бегло рассказал свою жизнь. Он во все время моего рассказа, зажав клинушек бородки в кулак, неподвижно сидел и смотрел темно-голубыми глазами мимо меня в пространство огромного кабинета. Он во все время моего рассказа ничего не сказал мне; он только тогда, когда я закончил, выпустил бородку и тихо проговорил:

— Так мы, большевики, почти все жили тогда, да и сейчас все так же живем, но только в гораздо более трудных условиях, чем жили раньше, да и ответственности стало гораздо больше.

— Это верно, — согласился я и попросил его тоже рассказать мне о своей жизни.

Он улыбнулся и махнул рукой.

— Нисколько не отличается от твоей. Ты можешь взять жизнь любого старого большевика и она ничем не будет отличаться и от моей и от твоей.

Я сказал ему, что я пришел не только повидаться с ним, а пришел, чтобы узнать его жизнь до Октябрьской революции, и рассказал откровенно, для чего мне это надо. Выслушав меня, он громко засмеялся. Он смеялся долго, добродушно, как ребенок, потом, все еще смеясь, взглянул на меня.

— Ты выбрал меня в герои, а?

— Я уже тебе все откровенно рассказал и больше добавить ничего не могу.

Он перестал смеяться, очень внимательно посмотрел на меня, потом полез в карман брюк и зазвенел ключами.

— Хорошо, — сказал он, — я тебе верю. — И он достал из ящика письменного стола большую тетрадь и, держа ее перед собой, громко проговорил:

— Ты видал когда-нибудь Волгу весной, когда она освобождается от льда?

— Видал.

— Видал, как она мощно, широко катится вперед, а?

— Видал.

— А видал ли ты, как она гордо несет на своей поверхности разломанные льдины?

— И это видал.

— Правда, хорошо? Я вот как сейчас ее вижу, ее бурную стихию. А ты видал сплошную лаву льдин, лезущих друг на друга, их треск, потрясающий грохот и неудержимое стремление вперед?.. — и он замолчал, вздохнул, потом опять проговорил: — Но я никогда не замечал отдельных льдин и они не стоят перед моими глазами... Я только видел и вижу одну неудержимую Волгу, а на ее спине в ярком блеске весеннего солнца великую армию льдин. — Тут он взглянул на меня и улыбнулся.

— Я понимаю, — ответил я, — но...

Он, подавая мне тетрадь, перебил:

— Так вот, дружище, дело обстоит и в революции, это писателю необходимо знать. Мы только волею пролетариата выдвигаемся на передовые посты, живем его волею, творим все то, что требует он и в его интересах... Вернее, он через нас творит... Так вот, когда ты будешь заканчивать свой начатый роман о народном комиссаре, не забудь мои слова и вспомни Волгу во время ледохода... Ну, а теперь все, — отрезал он и выпустил тетрадь из руки. — Эту вещь у меня просили для какого-то сборника, но я отказал: ну их к чорту, да она и не подходит.

Я бережно взял тетрадь, глубоко спрятал ее в карман и тоже поднялся.

— Надеюсь, что мы еще увидимся, — подавая руку, сказал он. — Я бываю больше свободен по субботам...

— И на квартире.

— Нет, нет, — ответил он, шутя и улыбаясь. — Я на квартире очень редко бываю, разве только тогда, когда соскучится жена, потребует о правах мужа... Лучше приходи ко мне сюда...

И он проводил меня до двери кабинета.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

* * *

К ЗАПИСКАМ НАРОДНОГО КОМИССАРА

Дорогие читатели, раньше, чем познакомить вас с мемуарами моего героя, я должен сказать несколько слов о себе, чтобы уяснить смысл этих записок, дать некоторое об'яснение — зачем я помостил «чужое творчество» в сей роман, так как в этом творчестве ни одного слова не говорится о народном комиссаре, — говорится исключительно о других людях, о которых я в начале своего романа не упомянул ни одним словом, не сказал о их страданиях, о их борьбе, о их замечательном героизме, который навряд ли когда-нибудь так сильно выявлялся в нашей российской литературе, как в этих записках. Выйдя из кабинета моего земляка, я почти бегом скатился с лестницы и, как принято выражаться, одним минтом докатился до своей комнаты, немедленно приступил к запискам и прочел их залпом не отрываясь. После прочтения записок я долго ходил по комнате, размышлял о том, что я буду делать с этими записками, как заполню 27-летнее пространство неизвестной жизни моего героя, как и что буду делать с своим романом. Продумывая все эти обстоятельства, я очень долго ходил по комнате,

ломал голову, но из всего этого ничего не получилось, и я, расстроенный, решил лечь в постель и как можно получше выспаться, чтобы завтра утром встать и еще раз продумать основательно дальнейший план моего романа «о народном комиссаре». Я стал раздеваться; когда разделся и залез под одеяло с головой, чтобы поскорее заснуть, под моим черепом опять поднялись, завозились проклятые мысли и сам герой романа выплыл из густого мрака, остановился передо мной и стал смотреть на меня широко-открытыми сухими глазами, улыбаясь:—«А Волгу помнишь?» «Что это такое?»—вздохнул я и открыл глаза: темно и никакого комиссара не было, а только ощутил, что на моем лице лежит суконное одеяло и я смотрю из-под него в комнату: горит электричество на столе, на потолке зонтиком раскинулась темно-голубая тень от абажура столовой лампы, в зеркале одежного шкафа отражается моя взлохмаченная голова, при виде которой я вздрагиваю и не узнаю себя, а когда узнал, громко рассмеялся, потом быстро поднялся с кровати и поставил на холодный пол босые ноги. Мысли в голове работали в самостоятельном направлении; я был не в состоянии подчинить их своей воле, а наоборот — я всего себя отдал мыслям и быстро, подхлестываемый ими, вскочил с кровати, подбежал к столу, схватил записки, нырнул снова в постель под одеяло, лихорадочно принялся перечитывать и, не находя в них ни одного слова о герое моего романа, я все же разыскивал его до тех пор, пока не уснул крепким сном. И только тогда, когда я выспался хорошо и поздно утром поднялся с постели, прикоснулся опять к запискам, понял весь смысл этих записок, а главное — слова народного комиссара относительно Волги и ледохода...

Перед моими глазами встала необычайная картина старой царской России, которую мы почти за эти восемь лет позабыли и не желаем иногда взглянуть на пройденный путь, на кости своих отцов, матерей и братьев и на еще рдеющую собственную кровь, пролитую на полях отчаянной борьбы с самодержавием. Оглянувшись назад и вспомнив все старое, мне до поразительной точности стали понятны мемуары моего героя и смысл его слов о Волге и ледоходе. Я отчетливо увидал, до боли почувствовал, что среди мальчиков, служивших у купцов Игумнова и Керосинского, служил и он, народный комиссар, и что и он, так же, как и другие мальчики, пас на княжеском выгоне стада свиней, а после свиней поздно, вечерами, получал в награду за плохо вычищенные сапоги, ботинки, за слабо набитые папиросы для хозяина, крепкие хозяйские тумаки в затылок и пощечины; что среди мужиков, избиваемых князьями Волконскими, Лобановыми-Ростовскими за то, что они не во-время снимали шапки, не во-время падали на колени и не так плотно припадали обнаженными головами перед их сиятельствами в грязь или в пыль дорог, был и он, народный комиссар, и его так же пороли плетьми, как и мужиков — Вавилу Хряка и Филиппа Лодыря, — прозвища эти исходили от их сиятельств или же от управляющих именьями; что он, народный комиссар, находился на заводе в Москве и вместе с рабочими валялся на нарах в душных и грязных заводских общежитиях, вместе с рабочими голодал, месяцами ходил от одних ворот к другим воротам, отыскивая работы, чтобы не умереть от голода; что среди рабочих, дравшихся на Пресненских баррикадах, дрался и он, народный комиссар, и его, как и дружинников, пытали в царских застенках, и ему, как и рабочим, вывертывали ноги из

суставных сумок, клали на грудь доски и ударами сапог отбивали легкие, так что хрустели кости; что он, народный комиссар, был и в гражданской войне, не раз подвергался смерти, а также был среди семисот красноармейцев, страдания которых он так живо описывает в своих записках. Так вот, дорогие читатели, несмотря на то, что о себе в его записках нет ни одного слова, сиречь о моем герое, я все же глубоко убежден, что мой герой неразрывно связан с теми лицами, о которых он рассказывает в своих записках; что он так же, как и его герои, нес всю тяжесть жизни: и отчаянную нужду, и боль поражения, и радость временной победы, и пытки тюремных застенков, и весь восторг борьбы на баррикадах; принимая все это во внимание, я решил взять некоторые, по моему мнению, самые сильные страницы из его записок и целиком, не исправляя ни одного слова, поместить в свой роман «о народном комиссаре». Я вполне уверен, что эти отрывки ни в коем случае не нарушат плана в моем романе, даже, наоборот, придадут ему больше последовательности, ярче выразят мысль автора «о народном комиссаре и о нашем времени», а главное — ту причину, зачем автор взял для своего произведения столь трудную и возможно несвоевременную тему... Но на этом, дорогие читатели, я останавливаться не буду и предлагаю эти записки непосредственно вашему вниманию.

*** *ЧАСТЬ ВТОРАЯ* ***

ЗАПИСКИ НАРОДНОГО КОМИССАРА

Это было давно, — так по крайней мере теперь кажется, — это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки.

Это было в России.

Иван Бунин.

По понедельникам в Соломатове—большие базары. В эти базарные дни торговый дом Игумнова и Керосинского необычно хорошо торговал, так что хозяева два раза, иногда и три в эти дни относили выручку домой в двадцатифунтовых холстинных мешках. По понедельникам все мальчики находились при торговле, ни один из них не посылался пасти стада овец, свиней, закупаемых ежегодно веснами большими партияминазарез, ставились на указанные места: к дегтю, керосину, маслу, кузнечному углю, к ларям с солью, к трем растворам наблюдать за покупателями, чтобы некоторые из них «не покупали бы бесплатно». Таких покупателей ловили, били смертным боем, иногда, ежели такой покупатель крал селедку, то его били оной селедкой со скулы на скулу, пока из его носа, изо рта не потечет ручьями кровь, до тех пор, пока не измочалится селедка; ежели он, «бесплатный» покупатель, попадался с куском мыла, то его тут же заставляли есть это мыло на месте, на глазах у всей толпы, и он ел, давясь мылом, дергался от судорог, потом когда с'едал, его нещадно били и избитого выталкивали вон, осыпая смехом и крепкими словами. Рыжий Васька, — так его прозвали приказчики и молодцы за крупные конопушки, за жесткие, подрезанные под ерша, желтые волосы, за грязно-желтый бобриковый пиджак, — стоял на улице между двумя растворами магазина, около ларя с солью, и, держа в руке железный совок, разговаривал с другим мальчиком, что стоял рядом с ним около дегтя.

— Базар нынче плох, — говорил рыжий Васька, — отдохнуть можно, а когда с'едутся — беда.

Светлоглазый, весь блестящий от дегтя, керосина и разных светло-золотистых масл, мальчик, облокотившись на бочку с дегтем, осторожно вытаскивал из казинетовой тужурки волоцкие орехи, клал их на́ зубы, осторожно раскалывал, осторожно с'едал, а скорлупу выплевывал на дорогу и ничего не говорил. Он был похож на молочного теленка, которого только что взяли от матери и которого только что облизала отелившаяся корова; его розовое личико было очень довольно, синие глаза кротко смотрели на базар, на солнышко, что так ярко, ласково смотрит и греет, и на рыжего Ваську, который от базара перешел к более интимному разговору.

— Ты знаешь, что Дудылин меня больше не будет заставлять чистить по утрам сапоги.

Светлоглазый мальчик внимательно посмотрел на Ваську и, позабыв на время во рту волоцкий орех, спросил:

— Не будет?

— Не будет, — отрезал утвердительно Васька и обнажил грязно-желтые, кривые, выпирающие наружу два верхних зуба. — Я ему за это открываю калитку, когда он по ночам приходит к кухарке, и все время, пока он с ней играет, сторожу его, а когда он уходит, я потихоньку, чтобы не слыхал хозяин, запираю ее и отправляюсь на полати спать.

Светлоглазого мальчика звали Петькой. Он оторвался от дегтярной бочки, перестал грызть волоцкие орехи, тревожно спросил:

— А кто же ему будет чистить сапоги?

Не слушая его, Васька говорил:

— А кухарка не будет заставлять выносить помои, гонять за водой.

Петька надул недовольством щеки, как два бараньих пузыря; синие глаза налил зеленой жидкостью и, глядя в упор на рыжего Ваську, глухо прокричал:

— А кто же будет ему чистить? Кто?!

— А я почем знаю, — огрызнулся Васька, — может быть, тебя заставит...

— Сволочь, — процедил сквозь черные зубы Петька и попятился назад, за бочку с дегтем.

— Ты что задираешься-то, а?! — грозно крикнул Васька и зловеще взмахнул на него железным совком.— Сам ты — сволочь поганая! Ябедник! Вот как двину, тогда ты будешь у меня знать, как сволочиться!

— Попробуй только, — хрипел Петька и все дальше уходил за бочку и, показывая на двухфунтовый железный дегтярный корец, грозил: — Иди, иди! Попробуй только! Я вот тебе этим полосну, так ты у меня своих не узнаешь. Иди!

Васька был характера более мягкого, уступчивого, но, несмотря на это, имел не по возрасту большую силу, над которой потешались приказчики и молодцы; они заставляли его таскать за себя тяжести, что были только под силу взрослым; Васька добродушно впрягался в лямку взрослого, подставлял спину, и на нее взваливали мешки с сахаром, солодом, рисом, и он, пошатываясь из стороны в сторону и тяжело дыша, покорно таскал эти мешки по довольно крутой лестнице на чердак магазина; приказчики, глядя на него, скалили зубы, подзуживали его «силой» и разными другими похвалами. Имея такую силу, он должен быть бы грозою для других мальчиков, но его никто не боялся, так как все мальчики знали его добрый, уступчивый характер, а раз так,

то первыми нападали на него и сильно обижали; взрослые смеялись над ним, доводили его почти всегда до слез. Так вот и сейчас, разругавшись с Петькой, он уступил и под угрозой этого же самого Петьки он попятился назад и довольно порядочно «сдрефил»:

— Пошел ты к чорту! Подумаешь, стану я с таким прохвостом связываться! Тронь только тебя, и ты так завоняешь и тут же побежишь жаловаться... Ты, ведь, ко всем — подлипало!

— Сам ты подлипало. Примазался к Дыдулину. Обожди, я вот всем расскажу, как ты калитку открываешь.

Васька вспыхнул и всю кровь выплеснул на лицо, так что крупные конопушки затерялись в огне густого румянца, глаза помутнели от вспыхнувшего бешенства и он бросился на Петьку и, наверно, ежели бы не помешали подошедшие мужики, он дернул бы его железным совком.

— Убью! — крикнул он придавленным голосом позеленевшему от испуга и прижавшемуся к стене Петьке.

Петька ничего не ответил; он только широко открытыми глазами смотрел на Ваську; он только тогда освободился от испуга, когда подошел к ним один мужик высокого роста, с большой, до пояса, темно-русой бородой и сказал, насмешливо улыбаясь голубыми глазами: «купцы, не скандалить у меня»; пришел в нормальное состояние и робко прошептал:

— Я и не собираюсь об этом говорить: я только пошутил, а ты и вправду.

Васька не ответил. Он принялся отпускать мужикам и бабам соль. А Петька стал наливать в баклажки густой, чуть-чуть с желтоватым отливом черный душистый деготь. Трудовой базарный день, тянувшийся своим

гвалтом, нарядной, необычной пестротой до самого вечера, сглаживал ссору, мирил до следующего дня, даже иногда до понедельника. Так почти по всем понедельникам, во время базаров, проходила жизнь мальчиков.

В другие дни, когда базаров не было и торговля была слабой, мальчики разгонялись в разные стороны: кто пасти стада овец и свиней, кто на хозяйские кухни, кто посылался с покупками в имение князя Лобанова, кто посылался в подвалы вытаскивать из ящиков ядровые мылá, разливать насосом керосин, масла, ведрами таскать в черное отделение магазина, кто посылался на щепной двор укладывать тес, доски, раскиданные во время базарной торговли; на щепной двор посылался чаще всего Васька и другой мальчик, которого звали тоже Васькой; другой был высокого роста, стройного телосложения, с большими темно-синими глазами и всегда грустными; он редко когда с кем разговаривал, всегда старался быть в стороне от скандалов и драк; он никогда не отказывался ни от какой работы и всегда выполнял ее без всякого разговора, и за это его не любили, но никогда к нему не приставали приказчики и молодцы так, как они приставали к другим мальчикам. Кроме всего этого, он очень редко когда получал подзатыльники.

После одного понедельника обоих Васек послали на щепной двор укладывать в штабеля только что полученные со станции тес и доски. Работали они над этим тесом почти до самого обеда, а когда уложили, решили поболтаться на дворе до обеда; и только что было они сели отдохнуть, как к воротам под'ехали три подводы, и приказчик закричал, чтобы они открыли ворота и отпустили тесу.

— Иди, — сказал рыжий Васька товарищу.

— Иди ты, — ответил другой Васька, — а я полезу скидывать тес.

Рыжий Васька открыл ворота, впустил подводы; на первой подводе сидел священник, на остальных два работника; когда они проехали на середину двора, остановились, первым вылез из телеги священник, за ним вылезли и оба работника. Священник был небольшого роста, но тучного телосложения, имел довольно заметное брюшко, широкий зад, казался очень молодым; из-под желтой соломенной широкополой шляпы выбивались светлые волосы и вьющимися прядями рассыпались по плечам, по круглой сытой спине; борода у него была большая, окладистая, белесая, но редкая, топорщившаяся по сторонам, так что из бороды сквозила темно-красная кожа и отливала глянцем; глаза у него были голубые, маленькие, но накрытые густым навесом бело-желтых бровей; он насмешливо посмотрел на Васек, крякнул и опять посмотрел на них, потом остановился на рыжем Ваське, толкнул кнутовищем в его живот:

— Наедаешь, а?!

Рыжий Васька растерялся, попятился назад:

— Наедаю, — соглашаясь, промычал он и покраснел.

— Кормят, наверно, хозяева-то хорошо, а?

— Хорошо, — согласился рыжий Васька.

В это время бесшумно, походкой лисы, подошел приказчик, неуклюже согнулся, вытянул сложенные вперед крест на-крест ладони и попросил благословения. Священник свободно взмахнул рукой, отчего широкий рукав парусинового подрясника сполз до плеча и обнажил мясистую руку, обросшую густыми белыми волосами.

— Отца и сына... — а когда приказчик поцеловал его руку и откатился от него, он раскатистым голосом сказал:

— Тесу мне надо, хорошего, столярного и еще под железо, понял, а?!

Приказчик вежливо поклонился, осклабил в улыбку рябое, костлявое лицо с грязно-желтой козлиной бородкой.

— Не беспокойтесь, батюшка, теском угодим, — и показал на штабель, выложенный только что Васьками.

Священнику тес понравился, он приказал работникам отбирать и накладывать на подводы; когда работники наложили на подводы тес и принялись его увязывать, он закричал на них:

— Дьяволы! Анафемы! Разве так увязывают? Крепче надо. Крепче!

Работник сгибался в дугу, старался как можно крепче стянуть наложенный крест на-крест душистый, с розовыми прожилками сосновый тес, но у него это плохо выходило — тес топорщился, мотался концами, точно пойманная птица. Священник расстроился, согнал работника с воза, взобрался на него сам и, тяжело сопя, принялся утягивать.

— Сюда! Сюда! — сдавливая ногами тес и натягивая веревку, кричал он работнику, бегавшему около телеги. — Вот так. Так... — и он, растопырив широко ноги и упираясь ими в тес, согнулся, перехватил веревку ближе к тесу и, выпрямляясь, стал тянуть так, что заскрипела, закачалась на лисице телега. — Вот так надо, — удовлетворенно сопел он и раздувал лохмы белесой бороды. — Вот... — но тут он не успел договорить, как под подрясником, в самом что ни на есть мясистом конце его тела разорвалась живая материя, издала необыкновенно громкий треск, от которого он страшно побледнел и неожиданно выпустил из рук веревку, а когда он опомнился взглянул вниз и увидал, что оба

Васьки катаются по земле, как поросята, ржут, а приказчик, зажав одной рукой козлиную бородку и полный лающего смеха рот, другой — тощее брюхо, повернулся к нему спиной и, подергивая оттопыренным задом, торопился скорее спрятаться за штабель, чтобы дать полную волю смеху, раздирающему все его существо,— то быстро спрыгнул с воза и, размахивая полами подрясника, бросился бежать к воротам. Первым опомнился рыжий Васька и, вскакивая с земли, крикнул:

— Батюшка, а счет-то?!

Священник, не оглядываясь и выбегая из ворот, махнул рукой:

— Прокляну, анафемы!

А когда отбежал от ворот, прокричал:

— Счет пришлите в магазин!

После его ухода Васьки, приказчик и работники долго хохотали, представляя физически, как это случилось.

— Тут смеяться нельзя, — сказал один работник.

— Это почему? — спросил рыжий Васька.

— Духовное лицо, — ответил другой работник.

— А если смешно, — возразил рыжий Васька и покатился от смеха за штабель теса.

Работники сердито посмотрели на рыжего Ваську, потом и на темноглазого Ваську. Один работник, что постарше, с грязно-взлохмаченной бородой и с большим темно-сизым носом, взмахнул сердито рукой, звучно выбил нос с обоих под'ездов и обратился к темноглазому Ваське.

— Тебе тоже смешно?

Васька молчал.

— Разве гоже смеяться над священником? Не гоже. Тебе сколько лет-то, а? Он тоже, чай, живой человек,

а раз так, то с кем грешок не бывает... Все мы грешные, и, можно сказать, под богом ходим. Верно что ль я говорю, а?!

— Что ты ко мне пристал? — бросил Васька. — Очень мне нужно над твоим попом смеяться.

— Я это самое и говорю тебе, что не гоже.

Васька отвернулся от него, направился в конторку. Работники тронули лошадей и гордо выехали со двора.

Обед прошел для Васек благополучно; за обедом они оба были героями, так как здорово рассказали приказчикам и молодцам все то несчастье, которое случилось с священником, особенно в этом отличился рыжий Васька: он, выйдя на середину кухни и представляя собой попа со всеми его движеньями и потугами, мастерски копировал его, так что молодцы и приказчики ржали широко открытыми ртами на всю кухню, даже на первую половину хозяйского дома, поджав животы. Из хозяйской половины прибежала миловидная, в кружевном чепчике горничная, настойчиво потребовала не кричать, грозила, что она обязательно пожалуется хозяйке, и, присаживаясь на конец лавки, поясняла, что хозяйка после обеда изволила лечь отдохнуть, а поэтому в доме должна быть абсолютная тишина, — эти слова принадлежали хозяйке, — но приказчики еще больше ржали, глядя на Ваську. Горничная тоже стала смеяться, в особенности когда с нею стал заигрывать молодой приказчик, похожий на только что разрезанный крупичатый хлеб, черноглазый, чернобровый и с черными, только что пробивающимися усами; он, нисколько не стесняясь, стал залезать к ней под кружево нагрудника, прихватывать хорошо развитые гранаты; она не выдержала, но, довольная, визгливо вскрикнула и, отмахиваясь руками, поднялась с лавки и убежала в дом, а приказчик,

под общее ржанье посылал ей в догонку двумя пальцами воздушный поцелуй. Обедать полагалось один час, но нынче прообедали гораздо больше, чем обычно, так что прибежал от хозяина мальчик с грозным выговором, и приказчики заторопились из-за стола и, крестясь на ходу и мочась по пути по углам двора, побежали в магазин. Впереди их бежали три мальчика: два Васьки и Петька. Они, не подозревая ничего плохого, шалили, толкали друг друга. Когда пришли в магазин, остановились около черного отделения — керосина, масла и мыла, хозяин сердито блеснул на них из-за кассы седыми глазами, да так, что они завозились, попятились ближе к раствору.

— Пообедали? — прошипел он из-за кассы и еще раз окинул седыми глазами.

— Так точно, Александр Александрович, — ответил подобострастно, будто в одно и то же время и носом и ртом, Петька и выступил вперед.

— Стань на свое место, — бросил хозяин и защелкал счетами. Петька покраснел и, привалившись спиной к замасленному прилавку, стал на свое место и вытянул вперед правую ногу в ярко сверкающем сапоге. В это время вошли приказчики и тоже стали по своим местам за прилавком, но все за чистое отделение — за мануфактурное и галантерейное. Хозяин их тоже очень внимательно осмотрел из-за кассы, но, несмотря на их вежливое выражение, готовность выполнить все то, что прикажет хозяин, он ничего им не сказал, даже не упрекнул за то, что прообедали не один час, как это полагалось и было установлено, а все полтора. Он щелкнул счетами еще несколько раз, потом поднялся из-за кассы, потоптался около нее; потом, когда пришли и другие приказчики, обедавшие у Керосинского, он

позвал к себе приказчика щепного двора и направился с ним в заднее помещение, где спали приказчики и мальчики; пробыли они в этом помещении недолго, не больше десяти минут, потом позвали к себе обоих Васек и Петьку. Мальчики один за другим быстро прошмыгнули в дверь и, как испуганные мышата, прижались к стене.

— Закрой на ключ, — прошипел хозяин, поправляя золотое пенснэ. Приказчик быстро исполнил приказание. Мальчики, видя, что дело скверно, испуганно заметались по комнате, прячась за деревянные кровати. Петька налил глаза слезами и готов был разреветься, но ему так погрозил приказчик, что он вьюном нырнул под деревянную кровать и спрятался за сундук; рыжий Васька, отодвинув от стены кровать, пробрался за нее, прижался к стене, с побледневшим лицом ожидал нападения и широко открытыми глазами смотрел на хозяина и на то, как он засучивал рукава пиджака, гремел крахмальными манжетами; только темноглазый Васька остался стоять у двери, он не сделал ни одного движения для самозащиты, но ежели взглянуть на его лицо, по которому то-и-дело пробегали судороги, он страшно волновался, мучительно переживал эти минуты. Он сейчас, глядя на хозяина, остро чувствовал запах рогожных матрацов, запах пота, грязного белья, что валялось под койками, резкий и тонкий запах рассыпанной гвоздики, которая неизвестно зачем попала сюда... Приказчик, красный, еще более сморщенный, чем обычно, вертелся перед низким и непомерно толстым хозяином:

— Ваша милость, не извольте беспокоиться. Ваша милость, не извольте марать ручек. Ваша милость, дозвольте мне их проучить... Я им покажу, как надо вести себя при порядочных людях...

Хозяин не слушал приказчика; он свирепо пыхтел, сверкал седыми глазами, ворочал скулами, обросшими густой, щетинистой чалой бородой.

— Выходи! — крикнул он рыжему Ваське. — Выходи, мерзавец!

— Вы не имеете права бить, — сквозь слезы запротестовал Васька. — Вы лучше прогоните.

— Выходи! — затопал ногами хозяин, но тут же разинул рот, задергал бородой и стал поправлять отвалившуюся челюсть зубов. Пока он приводил в порядок зубы, приказчик старался оттащить кровать на середину, вытащить рыжего Ваську, но Васька так уцепился за кровать, что приказчик не мог ее сдвинуть с места, и он только злобно прыгал около кровати, тряся козлиной бородой.

— Выходи, мерзавец! Выходи!

Васька стоял на своем и не отпускал кровать.

— Я тебе покажу, — справившись с зубами, хрипел хозяин и, увидав другого Ваську, стоявшего около двери, набросился на него. — А ты что стоишь, негодяй, а?! Отодвигай сейчас же кровать!

Васька не двинулся; он плотнее прижался к двери, выше поднял голову от кулаков хозяина, которые метались, двигались перед его глазами, сверкая кольцами.

— Я не тебе, твою мать, говорю, а?!.

— Я этого делать не буду, — крикнул Васька. — Если вам надо отодвигать кровать, то отодвигайте и бейте...— он не договорил фразы, как тяжелая ладонь лязгнула по его щеке, и он почувствовал, как из его глаз вместе со слезами посыпались зелено-красные и фиолетово-желтые искры и полетели в туман комнаты, осыпая кровати, табуретки и прыгающие и тоже цветные окна; он попятился к стене, наступил на прутья метлы, и рука его

коснулась ручки; он крепко стиснул ее, а когда хозяин взмахнул и только что было хотел ударить его по второй щеке, он выдернул из метлы ручку и хватил ею по жирному, красному загривку хозяина, да так, что он отлетел в сторону и, громко охая, повалился на кровать, а он, Васька, пока опомнился и понял, в чем дело, рябой приказчик, прошмыгнул мимо него, мимо стонущего хозяина к черной двери, выбежал на улицу и только на улице почувствовал, как по его спине бежали холодные капли пота; он, неприятно дергаясь, вздрогнул и почему-то пошел не в магазин, а на щепной двор и там провел время до вечера, не решаясь показаться хозяину. Рябой приказчик тоже пришел за ним следом на щепной двор и, увидав Ваську, ехидно рассмеялся:

— А ты, змееныш, каких-нибудь других кровей.

Васька ничего не ответил ему, но в этих словах почувствовал, что гроза прошла, что приказчик не говорит ему, что его зовут в магазин к хозяину.

— Больно уж ты горд, мерзавец!—продолжал ехидничать приказчик. — А здорово ты его огрел, так что он больше часа все охал, загривок тер. Как это ты, тихоня, решился на хозяина руку поднять, а?! Мы, вот, например, по тридцать лет служим и в глаза грубого слова не сказали, а уж как нас били, даже жутко тебе сказать, да не только хозяева, приказчики били, даже все, кому только было не лень, били, а ты... Ах, ты, змееныш этакий!

И тут было видно, что и приказчик был доволен, что хозяин получил сдачу, так как на его лице сквозь ехидность просвечивало удовольствие: он тоже, пока он был один с хозяином, получил от него за оскорбление батюшки три увесистых оплеухи и каждую принимал

с почтением, с подобострастным шопотом и поклоном; но он об этом старался никому не говорить и наверно про это никто бы и не узнал, ежели бы не разболтал один мальчик, подсмотревший эту сцену в заднее окно.

— А здорово ты, вертел этакий, его огрел, а? В кого ты такой ядовитый, а?! Отец у тебя паскудный мужичишка, можно сказать, рвань, ногтем придавишь и не щелкнет, а ты, змееныш, с перцем!

За ужином никто об этом не говорил; ужинали все молча, лишь только было слышно, как чавкали рты, хрустели зубы, разжевывая мясо; бесшумно черпали из большой металлической чашки молоко с гречневой кашей, булькали горлами; горничная четыре раза прошла по кухне с высоко поднятой головой, страшно была обижена, что ее никто не пощупал и не поиграл с ней. Наконец, она, надув сочные губки, ушла в дом и больше во все время ужина не показалась на глаза; молчаливость приказчиков и мальчиков испортила настроение и кухарки; она тоже сделалась сердитой, насупливой; она сейчас не смеялась звонко, как всегда во время обедов, в особенности за ужинами, во время которых она почти всем приказчикам и молодцам позволяла себя обнимать, трогать чувствительные места, чтобы как можно больше разжечь страсть в Дудылине, в огромном, неуклюжем молодце с носатым и угреватым до безобразия лицом; она так же, как и миловидная горничная, когда ее хватали молодцы, взвизгивала на всю кухню; сейчас она сидела на конце скамейки и, не отставая от приказчиков, хлебала молоко с гречневой кашей. После ужина, когда приказчики и молодцы ушли и остались только два Васьки, кухарка выбежала из кухни за Дудылиным, но тут же вернулась еще более сердитой и жвакнула рыжего Ваську по затылку ладонью.

— Ты что, глаза твои накройся, стоишь, а?! Делать тебе, мерзавцу, нечего, а?! Убирай со стола, дьявол! Я что ль буду тебе убирать?!

Рыжий Васька с'ежился, втянул голову в плечи, потом медленно стал убирать со стола блюда, ложки и остатки недоеденного хлеба. Темноглазый Васька отправился на двор и под навесом, где у него была кровать, развалился. Он, ложась спать, все думал о том, как он двинул палкой по шее хозяина, но больше всего о том, что ему за это будет, и он с душевным трепетом ждал следующего дня; но следующий день прошел обыкновенно, как и все прошедшие до этого случая дни. На другой день и на третий день хозяин ничего ему не сказал, даже не подал никакого вида, что он обидел его, а как будто, как показалось Ваське, стал более ласковым, и он за эти дни ни одного мальчика не ударил по затылку и не оттаскал за уши. Так Васька прожил до самой осени и окончательно позабыл про этот случай. Однажды, в конце августа, Васька стоял за прилавком, отпускал товар толстому рыжему доктору, который имел жесткую щетинистую бороду, золотые очки на широком, мясистом носу, толстые, с короткими жирными пальцами, руки, а хозяин стоял рядом с Васькой и очень внимательно наблюдал за его работой и ловкостью. Доктор, придерживая золотыми зубами сигару, прошевелил толстыми влажными губами, обращаясь к хозяину:

— А умная рожица у парнишки.

Хозяин вежливо поклонился и насмешливо проговорил:

— Ничего. В нашем деле ума немного требуется.

Васька густо покраснел, торопливо завязал покупку.

— Нельзя ли будет мне ее прислать? — пожимая хозяину руку, сказал доктор и, не дожидаясь ответа, повернулся к хозяину спиной и пошел из магазина.

— Это можно, — сказал хозяин и бросил Ваське: — Отнесите!

Васька быстро схватил покупку, выбежал за доктором. С этого дня началось близкое знакомство Васьки с доктором.

Петька разболтал всем молодцам и приказчикам, что Дудылин ходит по ночам к кухарке, а рыжий Васька все время ему открывает калитку и караулит его, пока он гостит у кухарки. Приказчики и молодцы подняли на смех Дудылина, так что он не знал куда деваться от такого стыда и стал ходить обедать со второй партией к Керосинскому, а рыжего Ваську избил чуть не до полусмерти и, наверно, ежели бы его не отняли другие приказчики, он изуродовал бы его окончательно. Избитый, с распухшим лицом, рыжий Васька три дня не показывался в магазин, все время проводил за селом около пруда, на широком выгоне, и стерег стадо свиней. Мимо пруда широко бежала из уездного города Ефремова большая, пестрая па́левая с зелеными полосами дорога на Лебедянь. Сейчас по этой дороге ехали с базара мужики, пьяные, веселые; шумно, с песнями, не торопясь, шли с поля бабы, девки и подростки. На этот выгон приводили ребятишки лошадей, путали их и пускали пастись; приходили ребятишки и без лошадей, просто так: пошалить, побегать около пруда, посмотреть на огромных свиней. Ребятишки были грязные, драные, сопливые; они шумно барахтались в густой остарковой траве, которую не трогал скот, в отцветшей куриной слепоте, потом дразнили огромного хряка с большими желтыми клыками, выпиравшими далеко

изо рта, а когда он бросался на них, они с звонким криком отбегали от него, кричали, спорили:

— Эй, Васька, верно, что хряк неба не видит?

Рыжий Васька поднимался с земли, схватывал кнут, бросался за ребятишками. Ребятишки, размахивая полами корсеток и лохмотьями поддевок, шумно бросались врассыпную по выгону и, отбежав на недосягаемое расстояние, подпрыгивали:

— Свинопас! Свинопас!

Рыжий Васька садился на землю, безразлично смотрел на ребятишек, которые к нему осторожно приближались:

— Дядь, а дядь, скажи: хряк небо видит, а?

Васька крепче зажимал рукоятку кнута, вскакивал с земли, бросался за озорниками. Озорники — в бег. Врассыпную. Только лохмотья — крыльями по ветру. Небо с самого утра было грязное, подозрительное, все время грозило дождем. Над полураскрытыми крышами изб, сараев, риг и других построек села, над гумнами кружилась стаями звонко-крикливая птица — галки, грачи и вороны. За черными точками птиц небо казалось еще грязнее, подозрительней.

«В теплые края собирается», — подумал Васька и развалился спиной на траву. Ему почему-то захотелось быть грачом и вместе с грачами улететь в теплые края, к синему морю. Он так размечтался, что даже не заметил, как к нему под'ехал староста из княжеского имения, добродушно проговорил над его головой:

— Эй ты, свинопас!

Васька быстро вскочил на ноги, снял фуражку.

— А-а-а, — протянул ласково староста, — это ты, Василь, — и, освобождая ноги из стремян, стал слезать с лошади, а когда слез, спросил: — Покурить есть?

Васька подал желтый кожаный портсигар.

— Вот это хорошо, — вздохнул староста и, вытряхивая на широкую квадратную ладонь папиросы, добавил: — А хорошо жить в магазине, все тебе вольное — папиросы, жамки и все прочее. Я тебе оставлю парочку, а эти заберу себе.

— Бери, — согласился безразлично Васька и посмотрел в сторону свиней. Там опять ребятишки дразнили хряка и он, как затравленный зверь, сердито вскидывал морду, брызгал клочьями мутно-желтой пены.

«Сволочи! Кто вас только наделал» — подумал грубо Васька и, покраснев от своей грубости, погрозил кнутом ребятам. Ребята отбежали в сторону и, соединившись в группу, направились к селу. С ребят Васька перевел глаза на старосту. Лицо у старосты было хорошо выбрито, было оно бронзовое от загара, широкое и жирное, глазки маленькие, черные, так что белков было совсем не видно из жира толстых век; носа у него почти не было, а только чернели над густыми грязными усами неопределенного цвета две темные дырки; туловище было у него толстое и грузно сидело на кривых ногах, которые походили на калач: за такие ноги его прозвали мужики «калачиком»; зад был у него толстый, и кругло выпирал из полусуконных узких брюк, так что сильно стягивал огузья и отчетливо выделял округлости паха. Староста тоже глядел на свиней.

— А богаты твои хозяева, стерва их возьми?! Сколько одних свиней перережут за год, и не сочтешь.

— Сот пять перережут, — сказал Васька и посмотрел на старосту, — если не больше.

— Больше, — вздохнул староста и, держа в руке пустой портсигар, сказал: — Может быть, ты себе еще возьмешь, а этот подаришь мне?

— Что-о? — протянул Васька.

Староста показал глазами на портсигар.

— Бери.

— Вот спасибо-то! У вас, наверно, много этого добра-то, — и, глубоко вздохнув, опустил портсигар в ощеренную прорешку засаленного кармана штанов.— Ты себе еще лучше возьмешь. — Тут староста замолчал и, сделав скучным лицо, посмотрел на небо, потоптался кривыми ногами и, повертываясь задом к Ваське, безразлично проговорил: — Так ты говоришь, больше пяти сот свиней зарежут?

— Больше.

Староста поставил ногу в стремя и быстро вскочил на скрипучее седло, — лошадь крякнула и вытянулась.

— Да, я и позабыл тебе сказать-то, — оживился староста, — зачем я к тебе сюда приехал-то.

Васька насторожился.

— Больше сюда свиней не гоняй, а то неудобно, — сказал серьезно староста и пояснил: — На-днях ждем князя, он поедет из города, а тут около самой дороги — свиньи... Понял? Так вот и передай хозяину, что, мол, был староста, Кирилыч, и просил пока не гонять: князя, мол, ждут, его сиятельство... Понял? Так и. передай. А то, мол, неудобно: его сиятельство и свиньи...

— Хорошо, — ответил Васька, — мне не гонять-то лучше: надоели, окаянные.

— То-то, не позабудь, — и староста иноходью покатил от Васьки и мимо стада свиней; свиньи подняли кверху блестящие матово-розовые с темными дырками пятаки и сердито захрюкали на него. Гнедая с черными яблоками лошадь, раскинув широко тонкие изящные с пепельными стаканообразными высокими копытами ноги, рванулась боком в правую сторону и понесла ста-

росту галопом через выгон и околицу княжеского имения; когда он скрылся, Васька бросил кнут, повалился опять спиной на траву, стал смотреть в грязно-лохматое небо и мурлыкал себе под нос песенку:

Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман.

Вечером, после ужина, когда приказчики и молодцы ушли из кухни, Васька сказал горничной, чтобы она передала хозяину, что свиней «туда», на выгон, гонять не велено, так как ждут князя Лобанова. Горничная зло набросилась:

— Без тебя, прохвост этакий, знают. Хозяин из конторы бумагу нынче получил, чтоб не гонять. Ты это зачем наябедничал Петьке-то, что ты калитку открываешь Дудылину?!

— А тебе какое дело? Тебя, ведь, не спрашивают?— огрызнулся Васька и полез на полати.

— Ты куда, окаянный, полез-то? — оторвалась от стола кухарка и взглянула холодно на Ваську. — Я, подейся табе, кочергой тебя стащу!

— Ты что орешь-то! — огрызнулся с палатей Васька. — Словно кто тебя боится!

Глаза у кухарки были злые-презлые и сейчас были больше на выкате, чем в обыкновенное время, блестели темным огоньком, рассыпая желтоватые искры.

— А кто за тебя будет обувь чистить?! Вон ей сколько навалено, — и она бросилась за печку к себе в каморку, вытащила из-под кровати мешок, вытряхнула из него на пол штук двадцать пар обуви и показала ее Ваське. — Это я все буду чистить, а?! Нет, брат, дудки! Сейчас же слезай чистить.

— А ты что будешь делать? — свесив голову с полатей, огрызнулся Васька. — Небось, вычистишь.

— Я сейчас пойду к хозяину, — крикнула кухарка и было направилась из кухни в хозяйскую квартиру.

Васька недовольно остановил ее:

— Куда пошла-то?! Ябедничать... Зачем рассыпала обувь-то, подай ее сюда!

Кухарка остановилась, оттопырила широкий зад, так что обе половинки отчетливо отделились друг от друга, развела руками, громко рассмеялась:

— Сам, бельма твои накройся, слезь и возьми!

— Подай, говорю, — хрипло закричал Васька. — Я тоже знаю, что про тебя надо хозяину порассказать... Иди, сволота!

Кухарка выпрямилась, схватила ботинок, запустила им в Ваську:

— На вот тебе, рыжий сатана! Ты еще жаловаться хочешь, а? Да я, подейся табе, всю твою башку разобью! — и она, ругаясь, покорно собрала в мешок обувь и бросила ее к нему на полати. — Чтоб нынче, рыжий, всю вычистил, а то, глаза твои лопни, хозяину пожалуюсь.

Васька вытряхнул обувь, достал из угла полатей щетки и ваксу, потом принялся намазывать ее ваксой и лениво чистить, а когда намазал и вычистил две пары детских ботинок, он обратился к успокоившейся кухарке:

— Ариша.

Ариша ничего ему не ответила, даже не повернула к нему лица: она чистила натертым кирпичом вилки и ножи.

— Ариша, — окликнул он вторично, — а почему Васька нейдет чистить? Разве я один скоро вычищу?

Ариша, не поднимая головы, бросила:

— А лихоманка его знает, почему он нейдет! Ты ему вчера тоже не помогал, а он больше этого вычистил.

— Разве он чистил?

— Ну-да, чистил, — ответила кухарка и, вскинув голову и взглянув на Ваську, неожиданно спросила:

— А Дудылин не будет больше сюда обедать ходить?

— А чорт его знает, — прошептал Васька. — Избил он меня, как собаку, а что я ему сделал плохого.

Арина склонила голову и опять принялась за прерванную работу; Васька, надев на левую руку сапог и вытянув ее вперед, взял щетку в правую руку, откинул ее в сторону и, то разгибая ее, то сгибая в локте, стал быстро и плавно наяривать по нежному и душистому сапогу, начиная с головки и до самого конца голенища. Таким манером работал он больше трех часов. От такой чудовищной работы он изрядно устал и, свесив ноги с полатей, тяжело дышал. На его голове вспотели рыжие волосы и спутались; по лицу бежали мутные ручейки пота, крупными каплями падали с подбородка на колени и на хозяйскую обувь, но он все работал и работал, пока окончательно не обессилел и не заснул с ботинком, надетым на руку. Недочищенную обувь он заканчивал по утрам, когда его будила кухарка; потом, по утрам же, вместе с Васькой таскал воду на кухню, потом с кухни таскал помои скотине, потом делал разные работы по кухне, по двору до открытия магазина; потом, с открытием магазина, они оба, усталые, бежали в магазин и там опять принимались за работу: запасать на целый день в железные баки керосину, дегтю, масла, мыла; потом, когда все это заканчивали, их угоняли в разные места: кого на щепной двор, кого пасти свиней, кого развозить на тележке покупки по важным покупателям. Так жили, так работали мальчики в магазине Игумнова и Керосинского. Так проходили дни за днями, месяца за месяцами, годы за годами.

За два дня до приезда князя Лобанова в родовое имение в Соломатове была большая сумятица, так что староста Кирилыч то-и-дело раз'езжал верхом на лошади, выгонял мужиков чинить размытые дороги, возить песок из горы, этим песком посыпать дороги, по которым должен был проехать его сиятельство. Мужики запрягли тощих лошадей, брали скребки, лопаты, выезжали на указанные старостой места и принимались за работу. А ежели которые мужики были в поле, работали свою работу, то староста посылал за ними десятского, приказывал их немедленно снять и под страхом ареста гнать на работу, и мужики, бросая свою работу, выезжали, выходили исправлять дороги, утрамбовывать, посыпать песочком, чтобы его сиятельство не шелохнулось в коляске во время поездки по соломатовским дорогам, не икнуло лишний раз. К вечеру дороги были исправлены, нежно и мягко, точно улыбались и радовались приезду князя, золотились на солнце от свежего, только что разбросанного густо песка.

После окончания работы мужикам за труд давали по стакану спирта, и они с песнями, с веселым гвалтом, с матюками отправлялись по домам. В магазине Игумнова и Керосинского приезд князя тоже заставил много поработать, так как пришли большие заказы на разные товары, не считая заказа на две тысячи носовых платков, на две тысячи двухкопеечных французских булок, которыми будут оделяться местные крестьяне в честь благополучного приезда его сиятельства Лобанова. В магазине Игумнова все время толкались служащие и разная белая челядь из княжеского имения, покупали мануфактуру, закуски, вина и разные сладости к чаю. Даже два раза изволил приехать самолично сам главноуправляющий имением. Главноуправляющий был одет

в черное пальто с бархатным воротником, в длинноносые штиблеты и в блестящий высокий цилиндр. Был он высокого роста, стоял прямо, как стрела, был он бел с лица и стар, как сам господь бог, и так же молчалив. Перед ним стояли на вытяжку оба хозяина, три пары главных приказчиков, полдюжины мальчиков (они стояли немного поодаль), — ловили не только каждое его слово, но и каждое выражение его лица, и тут же, чтобы угодить, делали быстрые движения, наскакивая друг на друга, предлагали всевозможные товары: от настоящего швейцарского сыра и чуть ли не до птичьего молока и свиных рожек.

Про главноуправляющего говорили на селе, что у него молодая, необыкновенно красивая жена, и он, будто бы, на время приезда князя Лобанова, в знак своей глубокой признательности и любви к князю, отдает ее Лобанову, и она у него находится до самого его от'езда, а потом с большими почестями возвращается обратно к своему мужу, довольному и польщенному. Оба Васьки в этот день только и знали, что развозили на двухколесной тележке покупки в имение. Остальные мальчики посыпали песком площадь около магазина, широкую тропу, которая, пересекая базар, вела в имение, к дому самого главноуправляющего и к кухне его сиятельства князя Лобанова. Приказчики и молодцы тоже чувствовали праздник, так как в день приезда князя главноуправляющий от имени его сиятельства присылал с деньгами пакет на имя старшего приказчика, который распределял чаевые по заслугам и, главное, по годам службы при торговом доме Игумнова и Керосинского. В день приезда князя торговый дом не торговал, — этого требовал главноуправляющий, — все приказчики и молодцы были свободны и не прочь были поглазеть

на его сиятельство, который один раз в год изволит приезжать в свое имение. В этот день и оба Васьки отправились в толпу мужиков и нарядных баб, — они десятскими и урядниками были согнаны встречать его сиятельство и кричать «ура», помахивать белыми платочками, которые им только что роздали в честь приезда Лобанова. Они втиснулись в толпу и стали ждать приезда князя. Бабы, девки, нарядные и пышные, ребята и мужики, пока его сиятельство был еще далеко, галдели, смеялись, спорили; ребятишки, поддергивая сопли и вытирая их рукавами корсеток, поддевок и пиджаков, ныряли между взрослыми. Одна баба, небольшого роста, но крепкая, коренастая, вышла на середину дороги и пошла было отплясывать лапотками по золотистому песочку, приговаривая:

Ах, лапти мои,
Лапоточки мои.

— Эй ты, чертовка старая, куда тебя вынесло, а?! — крикнул Кирилыч, наблюдавший за собравшимся народом, чтобы он не делал никаких безобразий, а стоял чинно, благородно и богобоязненно.

Баба остановилась, оскалила крепкие белые зубы.

— Я поплясать, батюшка, хотела от радости. Разве никак не можно?

— Я те, старая карга, спляшу. Что тебя плясать сюда призвали, а?! Пошла с дороги на свое место!

Но баба стояла на дороге и притоптывала под общий смех и хохот.

— Пошла к чорту! — бросился к ней староста и толкнул ее с дороги.

— Ты что толкаешь-то?! — огрызнулась баба и насмешливо посмотрела на старосту. — Разве ты не знаешь, что я только что пообедала крепко и мне надо

утрястись, чтоб скушать княжескую булку за его здоровье?!

— Ты что сюда, ведьма, издеваться пришла, а?! — крикнул свирепо староста и так скривил широкое бронзовое и хорошо промытое лицо, что даже страшно на него стало смотреть. — Хочешь, чтобы я тебя в холодную отправил, а?!

Баба постаралась спрятаться за спины других женщин и оттуда обиженно:

— Не расходись. Немного потише!

Пахло от баб, мужиков овчинами, потом, тараканами, махоркой, мягким черным хлебом, новыми сарафанами, платками, дегтем и коноплей.

— А ты, Кирилыч, не грозно, — вставил один мужик и глубокомысленно засмеялся.

— Что-о?! — дернулся Кирилыч. — Это как так не грозно? Я сюда зачем поставлен, а? Порядок наводить, а не зубы с вами скалить. Понял?

— Так тошно, — кто-то насмешливо крикнул из толпы. — А ты не особенно, Кирилыч, а то тут и так одна тетка душок со страху весь выпустила. Как она без духа-то к мужу покажется.

Кто-то громко заржал.

— Это кто же?

— Вот она, — сказал маленький рябой мужичишка с клочком темно-русой бороды, в новеньких лаптях, и показал на молодую и очень миловидную бабу в французском ярком платке и в белом шушпане. Молодка испуганно вскинула на него глаза и, вся вспыхнув, обиженно проговорила:

— Ты что, подейся табе, врешь-то!

— Разве я вру? — запротестовал рябой мужик, глядя насмешливо на нее и по сторонам.

— Врешь, рябой чорт! — возмущалась молодка, пятясь от него с негодованием.

— А ты понюхай.

Здоровый раскатистый взрыв смеха заглушил брань бабы и слова рябого мужика. Баба оглянулась вокруг себя, еще больше покраснела, обдернула юбку и отошла от рябого мужика.

— Морду набью! — крикнул Кирилыч и бросился было к рябому мужику, но тут в толпе народа кто-то громко, визгливо выкрикнул:

— Едет!

Толпа дернулась, потом шарахнулась от дороги в сторону, чтоб не задели лошади.

— Едет! Едет!

Кирилыч бросился тоже в сторону, потом обратно и, отделившись от толпы, сдернул картуз и склонил круглую голову. Мужики тоже последовали за ним. Недалеко от мужиков, в околице, около главной конторы, стояла на коленях длинная, в два порядка, очередь служащих и рабочих; впереди этой очереди стоял главноуправляющий с серебряным блюдом, на котором лежала большая румяная коврига черного хлеба с солонкой соли наверху. Оба Васьки видели, как вихрем прошелестела мимо мужиков блестящая, сверкающая зеркалами и серебром карета его сиятельства, запряженная в четверню кровных буланых лошадей, которые, откидывая назад и на бока головы, бросали с удил мягкую, как снег, пену по сторонам на песок широкой дороги; как, провожая карету, торжественно кричали мужики, женщины и, вскидывая шапки и платки, бросались за нею, толкая и сбивая с ног друг друга. Оба Васьки тоже бросились вперед, к конторе, возле которой вытянулась огромная коленопреклонная очередь во главе с главноуправляющим.

Его сиятельство, князь Лобанов, быстро вышел из кареты, принял хлеб от главноуправляющего и, дав ему громко поцеловать руку, быстро направился в дом по аллее, усыпанной песком и яркой хвойной зеленью. На пути он всем давал целовать руку, — такой был у него заведен обычай; потом звал каждого к себе и награждал в честь благополучного своего приезда. Оба Васьки видели, что князь был не стар, был крепок собой, но лица его они хорошо не заметили, так как все свое внимание обратили на его княжескую грудь, обильно осыпанную орденами, звездами, крестами. Обоим Васькам он, князь, показался ослепительным, во всяком случае, не бледнее солнца и они при виде его сощурились и затрепетали от волнения.

— Сколько крестов-то, — вздохнул рыжий Васька, когда его сиятельство вышел из толпы рабочих и мужиков и белой челяди, расколовшейся на две сплошные стены, и скрылся в роскошном под'езде дворца.

— Горит, — вздохнул он еще раз и испуганно посмотрел на своего приятеля по чистке сапог, ботинок и по разной грязной работе. — А чего больше, — спросил он у Васьки, — крестов или звезд?

— А мне какое дело, — ответил сердито Васька и добавил: — кому эти нужны, кресты-то.

В это время толпа глухо ахнула, рванулась в сторону, как раз туда, откуда летели в толпу французские булки. Рыжий Васька, не сказав ничего, недовольно посмотрел на приятеля.

ОТРЫВОК ВТОРОЙ * * *

Доктор еще больше пополнел, чем он был восемь лет тому назад, как его видели в магазине Игумнова и Керосинского, отпустил бороду чуть ли не до пояса,

но, несмотря на большую красивую рыжую бороду, он не казался старым, даже, наоборот: он быстро бегал по больнице, ругался с больными, которые, пользуясь бабками и колдунами, запускали свои болезни, растравляли их, а потом приезжали в больницу лечиться. На таких больных он кричал, размахивал кулаками, крепко ругал, гнал из кабинета в шею; потом, когда больные выбегали опрометью из кабинета, он приказывал фельдшеру звать их обратно, и когда они, напуганные, возвращались к нему, он резко менялся, так что больные, не видавшие его до этого случая таким, недоуменно удивлялись и разводили руками:

— Ну и доктор у вас, господи, упаси от такого! — А он, стараясь загладить свое раздражение, отдавал всего себя в распоряжение больных, внимательно выслушивал каждого больного; выстукивал, вдохновлял от всего своего сердца теплотою слов, любовью, больные, полные веры, выходили от него, сердечно расхваливая его на десятки верст в окружности, так что большинство крестьян, обходя и об'езжая свои больницы, ездили к нему за помощью, и он всех радостно принимал в каждое время дня и ночи, ежели он не был в от'езде к какому-нибудь больному. Кроме всего этого, крестьяне знали, что у доктора все больные были одинаковы, будь они хотя княжеской крови: он, если мужичок или какая-нибудь бабенка приехала за ним раньше, никогда и ни за что не поедет к князю или к какому-нибудь помещику-барину или к богатому купцу, приехавшему за пять минут позже, а обязательно поедет с мужиком, и только когда окажет этому крестьянину помощь, поедет к барину или к богатому купцу. Однажды за такое грубое невнимание доктора один помещик подал на него жалобу и всеми силами

старался прогнать его из Соломатова, но благодаря протесту многих окружных сел и деревень уездная земская управа не решилась прогнать его, а только сделала ему строгий выговор, на который, как передавали местные крестьяне, он ответил: «Я как лечил, так и буду лечить. У меня среди больных нет богатых и бедных. Я окажу помощь тому, кто раньше ко мне приехал...» А когда по вторичной жалобе этого же помещика доктора вызвали в город, все население села было взволновано так, что, пока он был с выборными крестьянами в городе, оно бурно жило, ходило группами, посылало делегатов в другие села и деревни, требовало присоединиться к протесту, на что деревни и села отвечали согласием, составляли приговоры о немедленном возвращении его. Получив от выборных телеграмму, что все благополучно и вместе с доктором едут обратно, население Соломатова и других ближних сел и деревень собралось встречать своего доктора многотысячной пестро-нарядной, праздничной толпой, и густо вышло в околицу, густо потекло по дороге навстречу ожидаемому доктору, которого пока было еще не видно, но как только показались три подводы, в которых узнали своих выборных и доктора, оно бросилось бегом навстречу, остановило лошадей, окружило подводы, бережно подхватило из телеги толстого запыленного и красного от волнения доктора и, не слушая его протестов, принялось качать его. А когда его отпустили, он взволнованно обратился к населению:

— Голубчики, вы напрасно все это делаете. Зачем вы меня пришли встречать? За это начальство не погладит вас по головке, а меня выгонит из вашего села, и тогда никакие ваши приговоры не помогут.

Но добрые, лучистые глаза и черты его лица говорили совершенно обратное, другое. Он глубоко сознавал, что его двадцатипятилетняя упорная борьба с народной темнотой, ведьмами, колдунами и бабками не прошла даром, оставила глубокий след в глухой и далекой провинции, а раз так, то он нисколько не сожалел о прошедшей своей жизни, которая прошла в одиночестве, в глуши, незаметной и никому неизвестной; он глубоко знал, что, ежели бы он пожелал, то он давно, десять лет тому назад, был бы в губернском городе или в Москве и работал бы в «ореоле» знаменитого хирурга, — это он имел право говорить, так как он в своем уезде и в соседних уездах считался лучшим хирургом и его не раз приглашали в губернский город и в Москву, но он упорно и навсегда отказался от почести, от славы и на все просьбы отвечал одно: «У вас там в городах и без меня много светил, а в этой глуши — никого; я останусь и буду работать в этом непочатом крае тьмы, невежества и огромной нужды в медицине», — и он навсегда решил остаться в Соломатове и остался. Сейчас, когда он шел в праздничной, в радостно настроенной и бурной толпе этого невежественного населения, он ощущал в себе невыразимый под'ем, он столько чувствовал еще в себе силы, как будто из этой многотысячной толпы мужиков, женщин и детей перелилась в него вся их сила, ведет его на дальнейший подвиг борьбы и служения народу, без которого он, наверно, не прожил бы и одного часа. Да это и было верно. Ну разве он не чувствовал той боли, того испуга, когда его вызвали в город и хотели в двадцать четыре часа выбросить из больницы? О! это он хорошо тогда почувствовал и тогда же ответил своему начальству: «Это в заслугу за двадцать пять лет моей работы».

На это ему ничего не ответили и только более настойчиво потребовали немедленно убираться из села... Но в события его жизни вмешались Соломатово и другие села и деревни, и начальство, боясь скандала, возможно и мужицкого восстания, которые то-и-дело прокатывались по губернии, решило оставить дело без последствия и оставило доктора в Соломатове. Тут только доктор почувствовал, что его тяжелая, одинокая и упорная работа с невежеством и темнотой не прошла даром, а так пышно и радостно празднуется нынче местным населением.

— Братцы! — крикнул он и что-то хотел сказать, но к нему подошел солдат, только что вернувшийся из Манчжурии, высокого роста, с большими светлыми усами, с светло-голубыми глазами, взял его под руку и громко закричал:

— Ура!

Тут подбежало еще несколько человек к доктору, дружно подхватили его, бережно понесли на руках в околицу и по околице в село, мимо главного в’езда в имение князя Лобанова, мимо голубой пятиглавой церкви, мимо темно-красной больницы, к школе, что была за базаром посреди села. Около ворот княжеского имения стояли служащие, рабочие и четыре стражника с урядником, охранявшие имение, наблюдали за в’ездом доктора, за многотысячной толпой, которая, запрудив собою околицу, базарную площадь и часть дороги, никогда так не встречала его сиятельство, князя Лобанова, как доктора. Урядник, косясь на необозримую толпу, ехидно бросил:

— Жида встречают! — и тут же замолчал, не встретив сочувствия от княжеской челяди, и пошел от ворот в глубь усадьбы, ступая крепко на одну ногу.

Доктор, когда его несли мимо больницы, попросил остановиться, напомнил, что он дома, но толпа, не слушая его и запружая собой еще больше базарную площадь, все так же бережно несла его вперед и только тогда опустила на землю, когда пришла к школе, возле которой стояло несколько столов, заставленных самоварами, тарелками, которые до-верху были наполнены всевозможными явствами, приготовленными крестьянками, как-то: румяными драченами, пышными оладьями с сахаром, нежными блинчиками, желто-розовыми пирожками, жареной курятиной, мочеными, точно налитыми янтарем, яблоками, красными и душистыми свежими яблоками и жирной ветчиной. Все эти яства были окружены большими ломтями ржаных ноздреватых пирогов.

— Вот и мы, — выкрикнул радостно солдат и предложил почетное место за средним, ослепительно белым столом доктору. — Прошу садиться, Евгений Бенедиктович!

— Что вы, братцы, делаете? — краснея от такого неожиданного приема, протестовал доктор и пробирался на почетное место, указанное солдатом.

— Ничего, ничего, — утешал солдат и радостно крутил большие светлые усы. — Мы, ведь, тоже понимаем... Мы, ведь, Евгений Бенедиктович, не первый годок-то тебя видим и знаем. А также и не зря мы кровь-то свою проливали там далеко, в Манчжурии-то, ей-богу... Нам эта, Манчжурия-то, кой-что раз'яснила...

— Довольно тебе болтать-то, — улыбаясь в большую кудрявую бороду, похожую на потускневшее серебро, сказал старичок и стал приглашать стариков на почетное место, рядом с доктором. У старика были глаза добрые, серые и похожи они были на два зернышка,

тепло и ласково разливали свет из-под густых серебряных бровей.

— А вы, старики, садитесь, садитесь!

Старики по старшинству садились за большой стол, за которым сидел доктор; остальные мужики и молодые парни садились за другие столы, стоявшие рядом. Женщины, девушки и ребятишки, чтобы не мешать мужикам, стояли в сторонке, радостно разговаривали, посматривая на доктора и на горевших счастьем и радостью стариков.

Старичок с кудрявой бородой сел на край скамейки, нагнулся под стол и, достав оттуда четвертную водки, поставил ее к себе на колени, точно дорогого внученка.

— Вот это молодец. Ай да дедушка! Не даром тебя княжеские собаки прозвали лодырем. Люблю за это, ей-богу люблю!

Осеннее солнце светило по-летнему, играло на белых узорчатых скатертях, ломалось на тарелках, на крупных ноздреватых ломтях хлеба, путалось в бороде Филиппа Лодыря, в золотистой бороде доктора и на сияющих лицах других мужиков. Было тепло и хорошо. Легкий ветерок пересыпался в желтой листве берез, лозин, что стояли в палисаднике и шумели над столами, роняя изредка засохшие листья на тарелки, — эти листья дедушка Филипп осторожно брал со стола, осторожно опускал их под стол, философствуя:

— Вот так и мы, старички, отживем свой срок, оторвемся от дерева жизни и помрем.

Над княжеским домом трепетался новый флаг и спор его с осенним ветром доносился до столов. Звонкий, скрипучий крик ворон, галок и грачей, что потревоженно кружились над княжеским парком, тоже доносился до столов.

— Ты что себе места не найдешь, — сказал солдату Филипп Лодырь и, освобождая конец скамейки, предложил ему: — Садись.

Солдат сел. Филипп Лодырь взял чайный стакан, наполнил его из четвертной и подал доктору:

— Евгению Бенедиктовичу от всего мира и пяти других сел... и от меня, старого дурака, бишь Лодыря.

Доктор не мог отказаться; он восхищенно, восторженно посмотрел на Филиппа, на других стариков и поднялся. За ним поднялись старики и все остальные. Загалдели, перекликаясь из-за столов:

— От всего мира!

— От села Вязова!

— От Маслова!

— От села Яблокова!

— От Авдулова!

В глазах доктора блестели слезы. Дрожали, дергались густые рыжие брови, дрожали губы, дергалась нервно борода. Он с большим трудом осилил себя и начал речь:

— Братцы, старички, дорогие мои... Нынешний день останется навсегда в моей памяти. Я глубоко почувствовал, что... — он так разволновался, что не мог больше сказать ни одного слова; его рука, державшая стакан, задрожала, и расплескиваемая водка текла по его толстым красным пальцам, обдавая его резким запахом. Он, обессиленный волнением, прошептал:

— Так, братцы, за наш союз и дружбу!..

Из-за другого стола неожиданно закричал Вавила Хряк:

— Братцы! Я пью за долгую любовь доктора к мужику! За то, что он никогда не брезгал нами, нашими грязными, сопливыми и вшивыми детьми. За то, что он всю жизнь свою отдавал и отдает нам, а также и всю

свою науку отдавал не господам, а нам, мужикам, и нашим детям. Урра!

Мужики прослезились, дружно засопели, захлопали в корявые черные ладоши. А бабы, стоявшие возле столов, поднесли концы платков к глазам и тоже загалдели:

— На что наше бабье дело...

Толпа, не дав проговорить женщинам, дружно подхватила:

— Урра!.. Урраа!

Солдат ударил себя по лбу ладонью, громко выругался, вскочил с конца лавки и бросился бежать.

— Я — сейчас! Обождите!

Филипп Лодырь и мужики удивленно посмотрели на него, махнули рукой:

— Вот голова-то! Окончательно японцы испортили мужика.

— А ты ему больше не подноси, — предложил Вавила и пояснил: — Он у меня буйный.

Первым выпил доктор. За доктором выпили мужики. После выпивки стали закусывать. А когда закусили, полилась широкая и вольная беседа. Говорили по душам о том, что мало земли, что задушила окончательно нужда, что хорошо было бы, ежели бы им хоть небольшую частичку отдали княжеской земли. Еще говорили о московской жизни, о забастовках и о мужицких волнениях, которые перекатываются по соседней губернии; говорили о войне, и о том, что будто бы царь семь поездов отправил разного золота, дорогих камней и разной платины за границу, чтобы у него не отняли рабочие и мужики.

— Вот и я! — запыхавшись и вынимая из карманов шинели бутылки, воскликнул радостно солдат. — Это,

Евгений Бенедиктович, от меня, Ивана, от сына Вавилы Хряка!

— А ты обожди тараторить-то, — недовольно возразил Филипп Лодырь. — Ты скажи, какое ты имеешь право в мирское приносить свое, а?!

Солдат, не слушая Филиппа Лодыря, говорил:

— У господ да у князей, да у княжеских холопов, которые садятся на наши загривки, клопами тянут нашу кровь, мы все Хряки, Лодыри... Так вот, Евгений Бенедиктович, я хорошо помню твои слова... Вот они: «Крестьяне должны помочь рабочим в борьбе с самодержавьем». Верно, а! Я эти твои слова хорошо помню и никогда не забуду! Так вот от меня, молодого Хряка, выпьем за эти слова... — и он шумно поставил на стол три бутылки.

— Э-э! Да у тебя важная, — вздохнул Филипп Лодырь. — Что же ты, голубь, молчал-то, а?!

Солдат, откупоривая ржавыми ножницами бутылки, твердил:

— Портвей. Настоящий портвей. От всей души. За наш союз и борьбу. Умрем, а тебя, Бенедиктович, ни за что не выдадим... Ей-богу, ни за что... — И он налил чайный стакан и подал доктору, потом налил еще два стакана и, подавая стаканы Филиппу Лодырю и своему отцу, Вавиле Хряку, крикнул:

— Эй, Лодыри и Хряки!!

Доктор так крепко запьянел, что даже не заметил, как надвинулся вечер, как подуло холодным западным ветерком; доктор не помнил, как его привел на квартиру все тот же солдат. Правда, привел его не один солдат, — привели его несколько человек молодежи, в числе которых были и два молодца из магазина Игумнова и Керосинского, два Васьки, — и бережно уложили его

в постель, но он, когда его вели, никого не видал, ничего не помнил; он только утром сообразил, что вчера, после обеда, он приехал из города, в околице его встретила многотысячная толпа, как ребенка, взяла на руки и, несмотря на его протесты, радостно понесла его к школе, посадила за стол и стала приветствовать... Сидя в постели и вспоминая все вчерашнее событие, он густо покраснел, закашлялся, а когда прокашлялся, поднялся с постели, закурил сигару и стал прохаживаться по квартире, чтоб поразмять тело, которое трещало, болело от дороги и от вчерашнего дня, — он очень редко пил водку, да еще так, как вчера, — стаканами. Однако, несмотря на адскую головную боль, он все же был доволен, что так отпраздновал свой юбилей. Он хорошо знал, что навряд ли кому из его коллег так удалось отпраздновать свой юбилей в кругу народа, который готов был за него умереть, но не выдать его властям. С этого праздника, несмотря на косые, врачества, даже служащих из княжеского имения, он ждебные взгляды местного дворянства, богатого купечувствовал себя необыкновенно легко и свободно, а что касается отношения к нему крестьян, то они стали ближе, еще больше дорогими и интимными. Такое отношение крестьян, — это он хорошо видел, чувствовал, — передавалось к пятилетним детям, которые при виде его останавливались, ласково следили за ним быстрыми невинными глазенками, а когда он проходил мимо них, они говорили ему вслед:

— Здорово, дяденька!

Он останавливался, оборачивался назад, улыбался в широкую рыжую бороду; весело, душевно, со всей теплотой, которая в нем была, отвечал:

— Здравствуйте, детки! Здравствуйте!

С этого торжественного дня, в который так пышно, так всенародно праздновали юбилей доктора, прошло около полтора месяца; сейчас солнце светило мрачно, холодно, — оно очень редко выглядывало из серо-грязных облаков, что висели низко над селом, над обнаженными безрадостными полями, нудно поливали мелким чавкающим дождем набухшую землю; в былые осени от такого солнца, от таких облаков и от такого дождя люди прятались в избы, тосковали до отупения. Деревья стояли обнаженными, тоскливо гнулись от резкого и мокрого ветра своими черно-бурыми вершинами. На деревьях, прижавшись к сучьям и друг к другу, сидели взлохмаченные галки, вороны, воробьи. Вороны вытягивали на ветер головы, сердито, хриплым голосом выдавливали неприятный гортанный крик. Воробьи неумолчно трещали, как будто жаловались на свою судьбу, как будто хотели перекричать однотонный шипящий звук ветра, дождя и скрип обнаженных деревьев. В княжеском имении, несмотря на то, что черные ели и сосны сочней и ярче зеленели своими одеждами, было тоже скучно, нудно до отчаяния: ветер шумел больше, заунывнее, как будто он напевал заупокойные молитвы над важными покойниками, отчего галки, вороны огромными стаями взмывали над парком, кружились под грязно-мокрыми лохмотьями облаков, еще более тревожно, чем на деревьях села, кричали, тревожили притаившийся покой княжеского дома, заглушали гордый шум княжеского флага, на уголке которого был золотой шелковый герб древнего рода. Этот флаг гордо и величаво шумел; он был похож на флаг боевого судна, брошенного в беспредельный простор океана, который вот-вот разразится грозой, грянет бурей, подхватит и помчит это судно... В неоглядном и

скорбном просторе грязных, вонючих сел и деревень, придавленных нуждою к земле, был одиноким судном двух'этажный, с высокой башней княжеский дом. Было до боли безрадостно. Облака. Дождь.

Люди попрятались в избы; люди почти не показывались наружу, а если и покажутся, то не разберешь, что у них на сердце — доброе или злое. Эта осень была особенной, страшной. В эту осень по деревням ходили черные слухи, ползали красные думы, забирались в каждую вонючую избу, нашептывали, разжигали мужицкую душу неуемным огнем, еще больше разжигали в нем страсть к земле, без которой ему невыносимо трудно живется, без которой он пухнет от голода и холода. Мужики, что помоложе, и те, что вернулись из далекой Манчжурии, поздно вечерами, когда густые лохматые облака сливались с мокрой и дымящейся туманами землей, собирались в школу, залезали за серые обшарканные парты и в густой духоте, пахнущей потом, овчинами, дымом курных изб, хлебом, телячьим и свиным пометом, махоркой и тараканами, жадно слушали речи доктора, учительницы и двух молодцов из магазина Игумнова и Керосинского. Толстый, добродушный и милый доктор, молодая, очень красивая с большими черными волосами, заплетенными в две косы, чернобровая и голубоглазая учительница и два молодца, которых когда-то звали Васьками: одного рыжим Васькой, другого — просто Васькой, — говорили о жизни крестьян, о жизни рабочих; говорили о том, что поднялись против самодержавия все рабочие и с оружием в руках дерутся на баррикадах; говорили о том, что стоят все заводы, фабрики, стоят железные дороги; говорили о том, что военный флот восстал и отказался подчиниться царскому правительству; говорили о том,

что крестьяне Саратовской, Тамбовской и многих других губерний восстали и, поддерживая рабочих, забирают в свои руки помещичьи земли, леса, а помещиков выгоняют вон; говорили о том, что царские войска в некоторых городах отказываются стрелять в братьев—рабочих и крестьян, присоединяются к восставшим и идут с ними в бой против самодержавия. Так говорили доктор, учительница и два молодца. Эти два молодца настолько возмужали, настолько окрепли и были такими богатырями, что в них трудно было узнать Васек. Из рыжего Васьки получился богатырского телосложения парень, силе которого завидовали на селе, говорили, что будто бы он брал двухпудовую гирю, клал ее на ладонь правой руки и, кидая гирю кверху, играл ею, как мячиком, а иногда эту же самую гирю перекидывал через крышу магазина на другую сторону. В лице он тоже резко изменился: прежние, что были в детстве, конапушки пропали, так же широкое, скуластое его лицо со всеми недостатками теперь развилось, получило законченные черты, было очень красивым и мягким, дышало радостью, крепким и буйным здоровьем, в особенности его глаза, голубые и глубокие. Из темноглазого Васьки получился тоже крепкий, здоровый парень. Правда, ему далеко было до богатырского роста, до богатырской силы своего друга, которого он крепко любил, воспитывал, тащил за собой глубже в партию, но он тоже, как и его друг, выглядел молодцом, а его темно-синие глаза, как две звезды, горели под густыми темными бровями и каким-то особым светом освещали его бледное, с мягкими чертами, лицо. Кроме всего этого, он был, в отличие от своего друга, больше развит, больше начитан, лучше разбирался в окружающей обстановке, в политических вопросах, на основании

чего он определенно заявлял, что он считает себя э с д е к о м - б о л ь ш е в и к о м, — впрочем, доктор про обоих Васек говорил полушутливо учительнице: «Хотя ты и красавица, но в эсеровскую мякину моих ребяток тебе не затащить. Да, да, не затащить... Ты не сердись...— и добавлял: — Я чувствую, что я поработал над ними не зря».

— Ну это, Евгений Бенедиктович, мы посмотрим еще, — шутливо и задорно отвечала учительница.

На Дмитрия Солунского погода резко изменилась, так что утром, еще до восхода солнца, грязно-мокрые лохмотья облаков разорвались, и в небольшой лохматый прорыв проглянуло бледно-зеленое небо и снятым молоком полилось на серо-рыжую землю. Потом, через какой-нибудь час, облака окончательно разорвались на две огромные половинки, быстро стали скатываться с зенита к горизонтам, и освобожденное небо холодно взглянуло на землю, на серо-белесые, придавленные к земле села и деревни. Потом показалось небольшое красно-желтое солнце и косыми хрупкими лучами заиграло по лужам воды, по ржавым и сомлевшим стебелькам травы, по темным, отливающим не то сталью, не то серебром тенетам паутины, по опавшим листьям, пахнущим так жирно прелью и сыростью. Потом это же солнце поднялось выше и робко взглянуло в квартиру доктора, в которой было около десятка человек и которые не спали — всю ночь говорили, спорили, решали план восстания чуть ли не всего уезда и захвата власти. Говорил темноглазый Василий. Он говорил, что вчера на Куликовом поле состоялся митинг, на котором присутствовало около двадцати тысяч крестьян. На этом митинге выступали товарищи из Москвы, от тульских рабочих и требовали немедленной поддержки. Митинг

единогласно принял резолюцию, в которой было указано, что крестьяне поддержат рабочих, восстанут, как один, и захватят помещичьи земли... К концу митинга приехал пристав с десятком стражников, потребовал немедленно разойтись. Пока ораторы говорили речи, к приставу и к стражникам подошло около сотни мужиков, окружили их и, не дав приставу и стражникам опомниться, сняли всех с лошадей и отобрали оружие. Пристав стал было грозить казаками, требовал немедленной выдачи оружия. Мужики, выслушав угрозы, послали за телегой; когда подкатили телегу, они скрутили веревками пристава и стражников, посадили всех на телегу и, подняв оглобли кверху и подвязав их чересседельником, погнали телегу с гиканьем, с песнями к реке Непрядве и, не доезжая до нее сотни сажен, разогнали телегу и пустили ее под гору в Непрядву; потом, когда телега с седоками пролетела с горы ураганом и погрузилась в Непрядву и торчала из воды задними колесами, кто-то из мужиков крикнул, показывая на речку: «Товарищи! Революция уже началась!».

После Василия говорил доктор. Он доказывал, что с восстанием надо денька четыре обождать, пока не получим ответа от двух уездов — Лебедянского и Елецкого. Большинство согласилось с доктором, кроме учительницы и темноглазого Василия. На этом собрание разошлось и решило собраться, только тогда, когда будут получены ответы от соседних уездов. Доктор, когда почти все вышли, остановил обоих Васек, попросил их не уходить, побыть у него. — Я сейчас скажу, чтобы поставили самовар, приготовили завтрак, и мы хорошенько позаправимся, а то кто знает, когда нам удастся попить чайку, позавтракать, — и он, грузно переваливаясь, вышел из квартиры в сени, прошел в другую

избу, — в ней жила сторожиха больницы, которая готовила ему обед, а когда вернулся, он ласково посмотрел на своих учеников:

— А кажется, ребятки, раздуем пожар? Ты как думаешь, Игнатов, а? — обратился он к голубоглазому Василию, — рыжему Ваське была фамилия Игнатов. — Раздуем что ли?

— Конечно, раздуем, — ответил Игнатов и вдруг быстро поднялся со стула, заходил по столовой, а когда толстая, похожая на утку, сторожиха принесла самовар, поставила его на стол, Игнатов остановился и внезапно подошел вплотную к доктору, так что тот тревожно вскинул бороду, насупил густые рыжие брови и приподнял кверху глаза:

— Ты что?

— Я думаю, что тебе было бы лучше отсюда выехать в город, — сказал Игнатов и повернулся к своему другу: — Я думаю, что Евгению Бенедиктовичу рисковать собой не надо... Верно я говорю, Василий?

Василий тоже поднялся, заходил по столовой; Василий только что успел проговорить, что он тоже об этом думал и тоже хотел предложить, но доктор не дал ему докончить: он так топнул ногой, так закричал, что оба Василия испуганно отступили, затаив дыхание.

— Вы это, черти, что мне говорите, а? Вы от меня требуете, чтоб я спрятался от мужиков, которые пойдут в бой, будут проливать свою кровь... Да вы что, рехнулись, молокососы?! Это я, который двадцать пять лёт сидел в этой дыре, ждал, как величайшего счастья, как великого праздника, народного возмущения, которое должно разлиться по всей Руси и смыть всю накипь, всю грязь, все бесправие, всех паразитов, — должен спрятаться и прослыть трусом... — и он яростно

тряс пухлыми кулаками и, задыхаясь, двигался на Игнатова, который все дальше и дальше залезал в угол, оправдываясь:

— Ты можешь руководить и...

— Молчать! Сию минуту замолчать, поганец, если ты меня сколько-нибудь да уважаешь! Я могу руководить... Подумаешь, какую Америку открыл! Я должен, я обязан быть впереди, а не вдали. Я должен... — Но тут послышался пронзительный крик; оба Васьки бросились мимо доктора на улицу, потом через дорогу в околицу, где молодой князь и три стражника кружились на лошадях и избивали нагайками двух мужиков, которые не сошли с дороги, не сняли шапок, не упали на колени, как бывало раньше, перед молодым князем. В мужиках они узнали Вавилу Хряка и Филиппа Лодыря. Эти два мужика, без шапок, с взлохмаченными, окровавленными головами и лицами, гнулись к земле, кричали:

— Убивают! Братцы, убивают!

Василий Игнатов так быстро рванулся с крыльца, что даже не слыхал, как мимо его головы просвистели две пули, ударились в стену докторовой квартиры. Он вихрем подлетел к стражникам и, не дав им опомниться, сбил обоих с лошадей и придавил их к земле. Лошади испуганно шарахнулись в сторону и увлекли за собой лошадь князя, так что он, сидя на ней, не мог справиться, а помчался за испуганными лошадьми в усадьбу, пригибаясь от пуль, которые посылал ему вдогонку Василий, бежавший на помощь Игнатову. Пока они возились со стражниками, кто-то забрался на колокольню, ударил в набат, и беспорядочный гул колокола загудел над селом, над окрестными деревнями, так что на его гул со всех концов села, пе-

ресекая в разных направлениях базарную площадь, одеваясь на-бегу, бежали мужики с вилами, топорами, косами и с дубинами. Ехавший за водой на речку рыжий мужик, высокого роста, в короткой шубе, в лаптях и в опустившихся книзу онучах, остановил лошадь, соскочил с бочки, выпряг лошадь, хлестнул ее кнутом, и лошадь, взмахнув задрипанным хвостом и хлопая гужами и шлеей, испуганно заржала и бросилась кружиться по базарной площади, шарахаясь от таких же испуганных, как и она, мужиков, бегущих дико через площадь с ужасными оружиями на плечах. Мужик, отпрягший лошадь, сдергивал колеса, оглобли с оси, кричал благим матом:

— Братцы! Братцы! Берите оглобли! Бей, в душу их мать! — и, вскинув на плечо оглоблю, бросился бежать, но не в околицу — за своей лошадью, которая все так же полоумно металась по базарной площади. Потом, когда лошадь свернула, рыжий мужик залился совершенно в другую сторону и, наткнувшись на купца Долматова, булочника, даванул его оглоблей, да так, что сытый купец не вскрикнул: как мешок, наполненный просом, бесшумно, с расколотым черепом, повалился на землю, подогнув под себя ноги, а он, рыжий мужик, ударивший купца, даже не взглянув на него, быстро помчался дальше, размахивая оглоблей.

Мужики, бабы, девки, старухи и дети запрудили базарную площадь пестрой и лохматой толпой, с оскаленными ртами, с горящими безумными глазами, полными ненависти и злобы, бежали на ревущий по-бычьи гул набата, сверкая остриями вил, лезвиями кос, топорами, железными черпаками. Площадь, хлюпая лужами и бросая грязью, гудела от топота ног, содрогалась от человеческого гула: — Бей! Довольно! Попили

нашей кровушки! — Наперерез мужикам, мимо магазина Игумнова и Керосинского бежала учительница; за ней, в нескольких шагах от нее, размахивая полами шинелей, бежали два солдата, вернувшиеся из Манчжурии, оба с тяжелыми оглоблями на плечах; лица у этих солдат были до ужаса страшны, надрывались от крика; за учительницей, между солдат, вытянув густой хвост, полный сухих репьев, бежала огромная с отрезанными ушами дымчатая собака и, изредка повизгивая, бросалась на встречных мужиков, но тут же, поняв в чем дело, с визгом отлетала от мужиков и еще более стремительно летела на общего врага, не отставая от солдат и от учительницы, которую она сторожила по ночам, ночуя в сенях школы под соломой. Учительница с сбившимся пуховым платком на плечах, с треплющимися из-под платка концами кос, в которые были вплетены две красные ленточки, бежала неудержимо вперед и откинутой немного в сторону правой рукой крепко сжимала наган; в ее глазах тоже было что-то безумное и дикое; на ее лице, необыкновенно бледном от волнения, так же, как у других женщин и мужчин, бегущих через площадь, были искривлены рот и все черты... Набат неистово и дико гудел, заливая жалобным бычьим ревом Соломатово и другие деревни. На его рев отозвались соседние села. Через каких-нибудь полчаса за княжеским садом взметнулось кверху огромное сизо-белое облако и, как жидкое тесто, выбрасываемое из гигантской квашни, пенистыми вóлнами стало расползаться вширь по бледно-желтому небу, потом через каких-нибудь несколько минут это сизо-белое облако пропало и вместо него взвился ослепительный столб огня и бросил огненно-желтый отблеск зарева, — это загорелось княжеское гумно, заставленное скирдами

необмолоченного хлеба, ометами соломы. Галки, вороны тревожно взмыли над парком, над садом и, розово отражаясь в зареве, бьющемся кверху огромным фонтаном, с испуганным криком полетели к селу, закружились над селом.

Навстречу княжеской птице поднялась и сельская птица, сиречь та, которая жила, ютилась под драными крышами мужицких изб, недружелюбно бросилась навстречу княжеской. Эти две огромные стаи долго кружились друг перед другом, как будто о чем-то споря, потом ринулись друг на друга и, кувыркаясь в взбаламученном и душном воздухе черными комьями, закружились над селом. Пожар за княжеской усадьбой все больше и больше разгорался, захватывал все больше и больше построек и скирдов, так что за одним столбом вздымались кверху другие, так что красные, то-и-дело вспыхивающие и гаснущие на-лету клочья жара, похожие на жар-птиц, стаями поднимались в высь, летели за птицами, падали в обнаженные деревья парка, на черные ели, что сверкали каплями вчерашнего дождя, волокнами серебристой паутины. В княжеской усадьбе надрывно, из живота, завыли собаки, потом по всей усадьбе жуткая смертельная поднялась тревога: испуганно забились в конюшнях кровные лошади, зафыркали, заревели пронзительно коровы, быки, разрезая багряную, бряцающую топорами, косами, вилами, оглоблями и дубинами сельскую тишину усадьбы, когда-то полную покоя и идиллий. По двору заметались, забегали из одного конца в другой служащие; всколыхнулось больше десятка стражников и, держа ружья наперевес, наполненные дополна ужасом, бросились к главному княжескому под'езду и, возле него прячась за каменную ограду и вскинув на нее ружья, залегли

и смотрели на все больше растущую толпу мужиков, женщин, подростков и детей, которые неудержимо стекались в околицу, положительно заливали собой всю площадь перед больницей и широкий проезд, от которого было не больше двухсот сажен до княжеских ворот, украшенных золотыми орлами, стройными тополями; тополя сейчас стояли обнаженными, безрадостно покачивались из стороны в сторону.

— Товарищи! — крикнул пронзительно солдат с рыжими большими усами, тот самый, что угощал недавно доктора «портвеем», сын известного Вавилы Хряка, избитого только что молодым князем, — доколе мы будем терпеть паразитов? Товарищи!

Его слова заглушил гул голосов, крик женщин, бряцание кос, вил, топоров и лязг другого оружия.

— Братцы! — выступил вперед Филипп Лодырь и Вавила Хряк, — вы видите, как нас, стариков, изуродовало это барское отродье? — Оба старика были в грязи, в крови. С правого виска Филиппа Лодыря густо текла в бороду кровь и густая курчавая борода пропиталась ею, была похожа на сочную темно-красную губку, так что на него было больно смотреть; с конца бороды частыми остывшими каплями отрывалась темная кровь и тупо, как зерна, стукалась на землю. Вавиле Хряку раскроили безволосую голову, да так, что она, начиная от правого уха и до самой макушки, высоко вздулась и, как разинутый рот, зияла черно-красной раной; Вавила, казалось, ничего не говорил, он только вдавил голову в плечи и, стоя рядом с Филиппом Лодырем, мрачно смотрел выпученными бесцветными глазками себе под ноги, тряс жидкой седенькой бороденкой в такт своему товарищу по несчастью, Филиппу Лодырю, дергал посиневшими и трясущимися губами, все

больше, как будто из-под его старческого тела выползала земля, растопыривал натруженные кривые ноги, крепче упирался ими в землю, чтобы не провалиться в проклятую бездну, окончательно не сломить себе голову.

Филипп Лодырь говорил:

— Братцы! Скажите, это за то, что я всю жизнь гнул на это отродье свой хребет? Братцы! — крикнул он, потом грозно взмахнул руками, бросился вперед; за ним рванулась и вся огромная, пестрая толпа, увлекая за собой доктора, обоих Васек — Василия Игнатова и Василия Пылаева, и учительницу. Впереди всех бежали два солдата, доктор и учительница, но мужики все время старались прорваться вперед, загородить своими телами доктора, учительницу и обоих Васек. Василий Игнатов грузно выделялся из толпы, кричал громовым голосом:

— Пустите! Мы ведь вооруженные! Черти! Дьяволы! — Но мужики не слыхали грозного крика Игнатова; они с широко-открытыми глазами, с искривленными, оскаленными ртами, размахивая полами пропотевших шуб, поддевок, армяков и сверкая, как кусками неба, синими тяжевыми портками, широкими и блестящими от грязи подошвами сапог, полусапожек и лаптей, неудержимо бежали к воротам княжеского под'езда, за стеной которого приютились стражники; не дав толпе пробежать и полсотни сажен, стражники открыли беспорядочную стрельбу. Под выстрелами толпа вздрогнула, закружилась в дикой злобе и ненависти на одном месте, потом, сбивая друг друга и рыча и ругаясь, крякнула и бросилась обратно. Она только тогда опомнилась, когда увидала позади себя валявшихся убитых и раненых, снова повернула обратно, стала собираться и,

сгрудившись в огромную массу, рванулась на врага, стремясь раздавить его.

— Стойте! Стойте! Больше ни шагу! — кричал Игнатов. — Если мы так снова пойдем, то нас всех до одного перестреляют! Надо разбиться на группы и наступать... — Но толпа, не слушая Игнатова, ожесточенно покатилась вперед к княжеской усадьбе. Впереди толпы, с обнаженной головой, в короткой вязаной кофте, вся выгнувшись вперед, бежала учительница и стреляла из нагана в стражников; за ней, согнувшись и держа вилы, косы, топоры и оглобли, да так, чтобы их можно было сразу опустить на черепа врагов, бежали мужики. От их бега, гортанного крика, скрежета зубов содрогалась базарная площадь, а сытые, тощие купцы запирали магазины на тяжелые замки, прятали товары и, тяжело дыша и вздыхая, прятались сами в глубокие подвалы, чтобы их не могли найти взбунтовавшиеся мужики. Огромные стаи галок, ворон с потрясающим треском и лязгом поднимались от села, взмывали все выше и выше к небу и, осыпав собою, как черной икрой, бледные горизонты, в мучительной тревоге кружились там, боясь вернуться в село и в княжеское имение — в свои родные гнезда, в которых их никто до этого случая не беспокоил, в которых они мирно, спокойно и сытно жили. Толпа мужиков, женщин и подростков, не обращая никакого внимания на убитых и раненых товарищей, все ближе катилась к воротам, все больше и больше гудела, потрясая своим топотом и гулом землю. Залпы стражников жестоко косили ряды, но толпа все так же, как и до этого, стремительно бежала вперед...

Василий Пылаев и доктор были на левом фланге, стреляли по стражникам вдоль стены. С Пылаевым и

доктором бежал Филипп Лодырь и еще какой-то мужик с железным черпаком на плече. Мужик этот все время мешал Пылаеву и доктору: он то забегал вперед, вертелся под ногами, то как-то дико размахивал перед собой черпаком, так что все время не давал стрелять, все время приходилось отстранять его с пути, на что он недовольно сердился и еще более упорно бежал вперед, размахивая черпаком, воображая, что он крошит черепа стражников. Но вот он рванулся назад, легко подпрыгнул и как-то странно, роняя черпак, взмахнул руками, грузно опустился на колени, потом повалился туловищем назад и так, не сказав ни одного слова, остался лежать с закинутым кверху синеглазым лицом и с широко оскаленными белыми зубами. Потом рядом с ним споткнулась женщина и так же бессловесно отдала себя земле, припав плотно лицом к влажной пожелклой траве, но уже давно приготовившейся к долгому зимнему сну. На эту женщину споткнулся доктор и полетел через нее, ткнулся лицом в мокрую сомлевшую траву, пахнущую сыростью и гнилью. Пылаев остановился, тревожно бросился к нему, но доктор быстро вскочил, обдернул ладонью рыжую бороду от сырости и, громко рассмеявшись, рванулся вперед и, не успев пробежать и десятка шагов, остановился, так как толпа была уже в нескольких саженях от княжеских ворот, а учительница была недалеко от ограды и бросила туда бомбу, взрыв которой вырвал каменную стену, потряс землю, так что камни, известка и куски мяса разорванных стражников веером поднялись кверху и посыпались на толпу, которая от неожиданности такого взрыва, как и доктор, опешила, шарахнулась было назад.

— Вперед! — раздался резкий крик учительницы. Этот крик опять оживил толпу, и она, увлекая за собой

доктора, лавой покатилась в ворота за убегающими куда попало стражниками и, обезоруживая их, в одно и то же время окружила княжеский дворец, дом главноуправляющего и другие здания службы. В княжеском дворце никого не оказалось.

— В конторе они! В конторе! — орал бородатый мужик. — Отстреливаются, сволочи! — и бросился к парадному крыльцу и со всего размаха стал рубить топором дверь, так что во все стороны полетели щепки. На его крик двинулась к конторе толпа, окружила здание и по оконным рамам застучали оглобли, вилы и черпаки, так что задребежали стекла и с жалобным треньканьем посыпались на землю. В ответ раздались револьверные выстрелы. Мужик, что колотил оглоблей по рамам, пронзительно вскрикнул, потом выругался матом и, уронив оглоблю, тревожно прокричал:

— Убили, туды их!.. — и бросился бежать, а из его подбородка ручьем била кровь.

— Убили! Убили!

От княжеского дома тянулся старинный липовый парк; за парком многодесятинный сад; он чернел свежими бугорками земли около корней яблонь и белел соломой на стволах, — он был только обвязан, чтоб не обгрызали его во время зимы прожорливые зайцы, которые, несмотря на несколько человек охотников, не переводились — бегали стадами. Старинный парк, в особенности плодовый сад, что был ближе к гумнам, были в зареве пожара, которое пробиралось мимо стволов яблонь и деревьев парка, бросало свои колеблющиеся зловещие, желто-красные тени на площадь, лежащую перед княжеским дворцом, на дворец и на другие постройки. Это зарево к вечеру становилось еще более зловещим, потрясающе обливало красно-багряным

светом перед собою на много верст окрест и высокое темно-желтое небо. Напуганная птица бесприютно кружилась далеко за селом, за княжеской усадьбой; она тревожно размахивала крыльями, оглушая надрывным криком темно-бурые просторы полей, приготовившиеся на долгий зимний сон; потом, покружившись над полями, они садились на эти безрадостные поля отдыхать, потом опять подымались и с еще бóльшим криком направлялись в княжеский лес и, кружась над ним, шумно садились на обнаженно-рыжие вершины дубового леса.

— Братцы! — бросая вязанку соломы на парадное крыльцо, заорал небольшой мужичонка в рваной шубе, в овчинной черной шапке и в лаптях, из пяток которых торчала свежая солома, и, повернувшись к толпе, оскалил безбородое сморщенное, желтое лицо и еще более громко прокричал: — Братцы! У кого спицы, поджигай!

Мальчик лет тринадцати, черноглазый и розовый, бросился к соломе, зачиркал спичками, но солома была мокрая, не разгоралась.

— Где ты, чорт драный, такой взял! — крикнул чахоточный мужик с большими светло-синими глазами на длинном костлявом лице, на подбородке которого торчал небольшой пучок чахлой бороденки неопределенного цвета.

— Сюда надо керосину, — и бросился бежать, но тут же повернулся обратно и еще громче: — Братцы, мы тут стоим и бельма пучим, а там бабы и мужики добром поживаются!

Его никто не слушал, так как загоралась с другой стороны контора, и пламя, извиваясь по толстым, крашеным желтой краской бревнам, огненными удавами побежало кверху, и через какой-нибудь час все здание

бурно трещало, а внутри его, во втором этаже, смертельно метались три человека — главноуправляющий, Кирилыч и молодой князь Лобанов, гвардейский офицер. Почуяв приближение пожара ближе, в конюшнях испуганно забились, заржали лошади. Потом через каких-нибудь полчаса загорелись конюшни, скотный двор, амбары и другие постройки, и все имение князя Лобанова превратилось в необозримый костер, возле которого грелось, безумно ревело, кружилось Соломатово, жестоко отплачивало за свои вековые страдания своим паразитам. Дверь одной конюшни широко распахнулась, да так, что одна половина сорвалась с петель, отлетела в сторону, и через нее, стуча копытами по ее доскам, бешено, с вытаращенными глазами, с вздыбленной гривой и хвостом выбежала белая с черными яблоками лошадь, налетела на толпу мужиков, остановилась, взвилась на дыбы и дико рванулась в ревущую яростно толпу, которая шарахнулась в сторону, давая дорогу вырвавшемуся на свободу животному.

— Лови! Лови! — заорали горла мужиков, женщин. — Лови ее!

Несколько человек было бросилось за лошадью, но лошадь, ломая на своем пути сучья парка, плодового сада, вырвалась из толпы и скрылась из глаз, и только ее бешеный топот, треск ломаемых сучьев выдавали ее свободное существование. Оба Василия, доктор и учительница стояли немного в стороне от раз'яренной толпы, которая жгла, ломала, рубила, коверкала, бегала за птицей, ловила ее и бросала в клокочущее озеро огня. Доктор, опираясь на винтовку, отнятую у стражника, стоял и смотрел на пожар. Он был сейчас уже не рыжим, — огненным от зарева, и Василию Пылаеву казалось, что большая борода Евгения Бенедиктовича не

рыжая, а красная, и она так же, как и огонь, который лижет и обсасывает княжеское гнездо, лижет его круглую и жирную голову с большим морщинистым лбом. Василий Пылаев переводит глаза на своего друга Игнатова, потом на учительницу, которая, накинув на голову шерстяной платок, стояла рядом с ними, казалась ему тоже огненной, и только ее голубые глаза были еще больше, глубже, голубее, так что ему, Пылаеву, было жутко смотреть в ее глаза, и он отвернулся и стал рассматривать толпу, что потревоженными муравьями кишела по усадьбе, ломая и кидая все в бушующее озеро. Пылаев видел, что и толпа, несмотря на ее пестроту, была красной от зарева, и он так засмотрелся на нее, что даже не заметил, как несколько человек проволокли мимо него четырех стражников, которые, когда их волокли, падали на колени, просили пощады, говорили, что они подневольные, что у них большие семьи; но толпа глухо ревела, требовала мести за убитых и раненых мужиков и женщин.

— Что они делают? — вскрикнул доктор и бросился к мужикам, которые приволокли стражников. За доктора крепко уцепился Игнатов, остановил его; доктор, остановившись, засмеялся, потом посмотрел на учительницу и, толкнув в бок ею Пылаева и обращаясь к учительнице, но так, чтоб понял и он, Пылаев, сказал:

— Хорошо.

— Я бы не сказал этого, — ответил грустно Пылаев. — Мне жутко становится от такой расправы...

— Тебе? — взглянула на него учительница и улыбнулась.

Пылаев встретился с ее глазами и, окунувшись весь в их бездонную глубину, тревожно отвернулся.

— Да.

— А мне ничего. Я даже рада, что вижу обнаженной эту стихию: я в этой стихии вижу народ, за который иду умирать.

— Я тоже иду умирать, — сказал обиженно Пылаев. Он был не в состоянии смотреть в глаза учительнице. Он опустил голову.

— Пошли вы к чорту! — крикнул Василий Игнатов. — Нашли время о чем говорить.

— Я только сейчас начинаю разбираться...

— В ком? — оборвав ее, бросил доктор и показал на мужиков, что привели стражников к конторе, которая была об'ята огнем, пылала в сумерках вечера, как огромный факел. Пламя от конторы трепыхалось на беспокойной толпе, отчего вся толпа была сказочной, красно-желтой и буро-черной, и казалось, что все люди — мужчины, женщины и подростки — были не просто людьми, а были кузнецами какого-то нового, невиданного счастья и, выковывая это счастье, они кружились в великой работе около гигантского горна, искры которого поднимались в мутно-желтое небо и накаляли его до мягкой красноты.

— Смотрите! — сказал доктор и показал рукой на выбитые окна второго этажа, — они еще живы...

И верно: главноуправляющий метался от одного простенка к другому, желая выпрыгнуть на землю, но в него, как он только показывался у какого-либо окна, летели камни, поленья, и он отскакивал назад и что-то кричал. Но вот он не выдержал, бросился из окна на улицу; он тяжело шлепнулся в мягкую, взмешенную сотнями ног осеннюю грязь, растянулся во весь рост и барахтался в ней, как огромная белая лягушка, стараясь подняться на четвереньки. За ними последовал и

Кирилыч, и точно также ударился. К главноуправляющему и к старосте подбежали мужики и того и другого вытащили из грязи, грубо ругаясь. Кирилыч взмолился и стал просить, чтоб его отпустили, так как он такой же мужик, как и они, что он так же, как и они, ненавидит князя, если не больше. Он дрожал челюстями, смешно сгибался всем толстым и коротким туловищем перед мужиками.

— Ради бога... Ради детей. Я ведь вам, братцы, ничего плохого не делал...

Толпа громко ржала:

— Хорошего тоже не делал. За каждую курицу драл.

Главноуправляющий был без цилиндра, в котором он ходил веснами и зимами, он был в черном осеннем пальто с бархатным воротником, стоял смиренно и задушевным голосом рассказывал о цветах, которые погибли от мороза. Своим рассказом он обращался то к одному, то к другому мужику; мужики, не выпуская его из своего круга, чтобы не убежал, пятились от него и боялись широко вытаращенных и безумных его глаз, в зрачках которых отражалось черное здание конторы, облитое огнем. На его лысой красивой, почти аристократической голове, тоже трепыхалось пламя, обливало все его лицо, украшенное чудесной белой бородой и небольшими рожками усов такого же цвета.

— Братцы, долго ли мы будем возиться с этим отродьем, а?! — вывернулся из толпы Филипп Лодырь. — Братцы!..

За ним выбежал и солдат со светлыми усами, сын Вавилы Хряка, и тоже прокричал:

— Какого чорта!

Толпа глухо загудела.

— Верно! Правильно!

— Чего верно? Сам ты чорт! Разве вы не видите, что их нельзя бросить: крыша еще не обвалилась.

— Бросай! Чего тут на них глядеть-то! — предложил Филипп Лодырь. —Ужели всем миром не вскинем на крышу.

— Конечно, не вскинем, — заржали добродушно в толпе. — Чай в каждом по пять пудов будет!

— Резонней обождать маненько.

— Обождать! Обождать!

— Братцы! — закричал истошным голосом чахоточный мужик и вышел вперед, повернулся к мужикам и заворочал костями лица, так что было жутко на него смотреть: вот-вот кожица лопнет и челюсти и другие части лица рассыплются и от чахоточного мужика ничего не останется, кроме его тонкого и костлявого туловища, одетого в шубу.

— Братцы, дядя Филипп прав...

Кто-то крикнул из толпы:

— Надо их на гумно, в омет... Там малость потеплее будет... — Тысячная толпа взволновалась, радостно взмыла: — Правильно! Чего тут с ними прохлаждаться! Ребята, запевай нашу, мужицкую. — Из ревущей, рокочущей, как в непогоду океан, толпы, залитой заревом пожара, высоко взвился молодой мужской голос, озорно задрожал над головами:

Отпустили крестьян на свободу
Девятнадцатого февраля...

Тут подхватил другой голос, постарше:

Только землицы не дали народу,
Вот вам милость дворян и царя.

— Ребята, не эту. Долой, — кричал солдат со светлыми усами, сын Вавилы Хряка. — Давайте другую. — И он, поднимая правую руку, пронзительно запел:

Как у нашего господина
Разыгралась вся скотина.

Бабы, девки и молодые парни протискивались из толпы вперед, окружили солдата, дружно подхватили:

И коровы и быки
Все повысунули языки.

Под буйно насмешливую, под боевой «Голодай, чтоб они пировали», — вздрогнула тысячная толпа, подхватила заклятых врагов-пленников, медленно, величаво двинулась по холодной, суровой аллее старинного парка к саду, облитому заревом, и через плодовый сад к гумнам, к бурно бушующему озеру огня. Толпа, рассыпаясь по парку и саду, увлекла за собой доктора, Пылаева, Игнатова и учительницу, Лидию Васильевну. Они тоже подпевали толпе. И было что-то жуткое, необыкновенно величественное в этом быстром, почти беглом движении, а также и в песнях. Земля гудела от ног, безглагольная тишина ночи, накаленная до красноты пожаром, слушала песни народного гнева:

Овечина алая
По речине плавала.

Тут одна женщина выбежала вперед и, взмахнув над головой платочком, пошла впереди толпы плясать русскую, и так до самого гумна, как крыло чайки, вспыхивал ее пляс. На другом конце продолжали петь крестьянскую:

От Днепра и до Белого моря.

Позади пляшущей бабы бежали: Вавила Хряк, который так вдохновился, что даже совершенно позабыл про свою раскроенную лысину, рядом с ним Филипп Лодырь, светлоусый солдат, несколько человек молодежи обоего пола; с ними была и учительница, Лидия Васильевна. Она шла под руку с солдатом. За первым рядом волокли стражников, главноуправляющего и старосту Кирилыча. Волокли их здоровые мужики,

бородатые. Среди них был и рыжий мужик, что оглоблей прикокошил купца Долматова на базарной площади. Сейчас он все так же помахивал оглоблей над головами стражников, которые вели себя очень беспокойно и все время старались вырваться. Пленники все время бились, просили помиловать, неустанно доказывали, что они нисколько не виноваты. Но толпа, приподнятая песнями, была недосягаема просьбам и мольбам; она все так же величественно бежала по саду, ломая обнаженные сучья яблонь и шурша жесткой и пожелклой травой, пахнущей сыростью и тленью. Главноуправляющий лишился рассудка: он безумно размахивал руками, рассказывал в сотый раз мужикам, тащившим его к княжеским гумнам, о цветах, о роскошных цветах, о хорошо пахнущих цветах, о тех цветах, которые цветут круглый год — зимами и веснами, и о том, как эти самые цветы любит его сиятельство, князь Лобанов, и его, главноуправляющего, молодая и очень красивая жена, Роза Даниловна.

— Вы не можете себе представить, как прекрасны, как благоуханны цветы, которые любит его сиятельство... Его сиятельство... прошу вас, пожалуйста, не губите цветов.

Кирилыч еле передвигал короткие кривые ноги. Он постарел, поседел за этот один вечер гораздо больше, чем за всю свою сорокалетнюю жизнь. Он тяжело шептал толстыми губами, жестко шевелил щетиной усов и бороды. Он умолял:

— Отпустите. Отпустите! Больше не покажусь на ваши глаза. Отпустите. Я и мои дети будут вечно молить бога...

Стражники, видя, что им пощады не будет, как пойманные звери, бились, отбивались, яростно кусали

мужиков, которые с беспощадной холодностью и суровостью волокли их на жестокую казнь и все так же вдохновенно выли, орали про свое многовековое страданье:

Царю нужны пиры и палаты,
Так давай ему крови своей.

Под ногами гудела земля, шипела остарковая трава, трещали сучья плодовых деревьев. Недалеко от доктора и Пылаева сорвалась сова, испуганно забилась из стороны в сторону. Доктор видел, как она, распластав широкие крылья, решительно повернула обратно и полетела за бегущими мужиками, шумно хлопая розовыми от зарева крыльями и задевая ими за ветви деревьев. Доктор обратился к Пылаеву и громко проговорил:

— Сова.

Пылаев взглянул на доктора.

— Где?

— Сова. Вон она.

Пылаев поймал глазами сову: она была впереди мужиков, кружилась в зареве пожара и была похожа на маленького чорта, вылетевшего только что из пекла. Покружилась она немного, так как зарево было необыкновенно жарко; она испуганно бросилась в сторону и камнем кинулась в желтую муть ночи, потом в черную мягкую тьму.

— Испугалась, стерва.

Пылаев посмотрел на доктора. Доктор молчал. На его широком рыжем лице играло зарево пожара, и его лицо было похоже на сгусток крови, а также и все его туловище. Пылаеву стало жутко, он вздрогнул и отвернулся от доктора.

— Это я обругал сову стервой, — сказал виновато мужик и взглянул на Пылаева сгустком крови, из которого чернели два испуганных глаза и отражали в себе,

как в глубоком стоячем омуте, человеческое смятение,— испугала она меня.

— Испугала?! — спросил Пылаев и остановился.

Мужик не ответил, он быстро рванулся вперед и хриповато подхватил боевую мужицкую песню:

Подавай ему крови своей.

Пылаев привалился к яблоне, прислушался. Он тоже был залит заревом, был огненного цвета, как и плодовые деревья сада, как и мужики, пробежавшие вперед него, как и доктор, что стоял впереди, сурово смотрел вперед, на пожар, на тени деревьев, на людей: они неуклюже метались на огненном фоне и бежали. Пылаеву не казалось, он отчетливо слышал, как вокруг него все гудело, кричало боевой мужицкий гимн: и деревья парка и сада, и под ногами пожелклая и подернутая нежной серебристой паутиной трава, и под травой и под деревьями сама земля своими недрами, влажными от человеческого пота и крови, и мутно-багряное небо, что висело над княжеской усадьбой, над селом, и казалось таким низким и маленьким от зарева, что даже, глядя на него, становилось больно на душе. Пылаев видел, как все это: и деревья, и трава, и недра, и багряное небо бежали вместе с толпой к княжеским гумнам, волокли лютых врагов на казнь, кричали о великой мести за рабство, за поруганную честь, за все слезы, за всю кровь, которую мужики пролили в веках.

— Месть! Месть! — Пылаев, возможно, простоял бы очень долго, если бы к нему не подошел доктор и не дернул его за рукав.

— Страшно!

Пылаев вздрогнул, рванулся от яблони, бросился было бежать на гумно, где бушевало море огня, в зареве

которого метались темно-красные сгустки людей, отдельные точки, а от них тени по всему саду — длинные и неуклюжие, как гигантские пауки.

— Постой. Это я. Ты, Василий, слышишь, как совы бьются по саду и кричат?

Пылаев остановился.

— Доктор.

— Да.

— Началось.

— Да, началось на несколько дней раньше, чем мы постановили.

Они оба направились к толпе. Толпа не заметила, не почувствовала, как она выкатилась из сада, перевалилась через каменную ограду, уперлась в гумно, которое бушевало ярко-белым морем, гребнями волн лизало мутно-желтый колпак неба, бросало в него темно-красными шапками, пылью ярких точек, которые быстро гасли на ветру и, рассыпаясь, летели через угол сада на село. Первые ряды толпы остановились в нескольких саженях от гумна, попятились назад, так как накаленный воздух обжигал лица, руки и спирал дыханье. Толпа глухо загудела, подалась назад, к ограде сада. Какая-то баба пронзительно заорала:

— Батюшки, что же нам тепереча со злодеями делать-то, глаза их накройся, а?!

Задние мужики, бабы, девки стали взбираться на ограду; некоторые полезли на деревья, чтобы лучше было видно. За мужиками, ребятами полезли и молодые бабы и девки. На деревьях было так же жарко, как и на земле. Деревья трещали от жары.

— Домна, куда тебя чорт понес! — подняв лохматую голову и стараясь заглянуть красными белками глаз под паневу бабе, закричал молодой мужик.

— И верно, тотта ее подери,—подхватили мужики,— куда ее понесло-то!..

— Ты что, дьявол, вытаращил глазищи-то? — огрызнулась Домна и полезла выше, а когда удобно уселась на сук, ядовито крикнула:

— Отойди, а то бельма лопнут.

Мужики захохотали.

— Молодец! А ты, Домнушка, освяти его святой водицей, чтоб он не глазел, куда не полагается.

Молодой мужик засовестился, отошел от дерева и облокотился на вилы.

— Я и не заглядываю. Я просто пожалел.

Домна сердито взглянула на мужиков сверху большими темными глазами, на дне которых трепетало зарево, потом на него, на мужика, пожалевшего ее, и засмеялась:

— Что ж тебе жалеть-то ее: чай она не твоя.

— Не моя, а жалко, — не глядя на бабу, ответил спокойно мужик и с ожесточением вдавил зубья вил в землю. — А вдруг и грех какой случится: раздерешь и она пропадет ни за что...

Домна еще раз выругала его дьяволом, потом плюнула и что-то было хотела еще сказать, но ничего не сказала, так как ребятишки, сидевшие выше, на деревьях, закричали:

— Поволокли! Поволокли!

— Дядя Кокорь за ноги... — Задние ряды двинулись вперед, загудели. Многие полезли нá стену, на деревья. Молодой мужик, что переговаривался с Домной, воткнул вилы около березы и полез по дереву к Домне.

— Куда, глаза твои накройся, несет тебя?

— А ты не лайся; потеснись маненько; я тебе спасибо скажу.

— Что мне, грозой тебя ударь, из твоего спасибо-то портки себе шить что ли?!

— А ты, Домнушка, не сердись, не сердись, — уговаривал ее ласково молодой мужик и, шурша по дереву лаптями и юбкой шубы, тяжело подымался на березу, вспыхивающую отражением.

— А тут еще-о жарче, — сказал он удовлетворенно, когда благополучно миновал Домну и важно обхватил ствол дерева.

— А ты думал, что нет, — огрызнулась снизу Домна и, не дожидаясь ответа, пронзительно вскрикнула:

— А-а-а, батюшки, родненькие!

— Раскачивают, — вздохнул сверху молодой мужик и полез зачем-то еще выше.

Домна застыла на месте.

— Так их и надо, грозой их расшиби!

— Страшно, — бросила с ограды старушка с беззубым ртом, похожим на черную дыру, и стала рукавом шали вытирать глаза.

— Вот так не приведи господь умереть-то, — вздохнула другая старушка, стоявшая с ней рядом, и тоже принялась вытирать платком слезоточивые глазки, но отливающие пламенем.

— А ты не лезь, — послышался крик с ограды, — разве ты, дьявол косолапый, не видишь, что тут люди стоят!

— Что орешь-то?

— Ты орешь-то, а не мы...

— Замыкал. Много вас-то?

Старуха, которая стояла на ограде и сказала «страшно», от толчка какого-то озорника потеряла равновесие и, сверкнув лаптями и грязными онучами, сползшими с голеней к щиколкам, как-то несуразно, точно ветвь

валежника, под общий хохот ребят, девок и мужиков полетела вниз головой.

— Держи!

— Лови ее!

Старуха шипела, охала из канавы, ругала охальника и никак не могла подняться, так как голова была на дне канавы, а ноги и полуоголенный зад упирались в ограду и были гораздо выше головы.

Молодой мужик с дерева бросил:

— Бабушка, а ты меморию-то накрой, а то обгорит каким грехом.

Старуха с трудом вылезла из канавы, грозно погрозила палкой молодому мужику:

— Я тебе, пащенок, в бабки гожусь, а ты еще озорничаешь.

— А я что, — гыкнул мужик, — я разве что плохое сказал, я просто пожалел.

Домна захохотала.

— Подхвостницы чужие жалеет.

— Молоко, небось, еще на губах не обсохло, — ворчала старуха и грозила палкой. — Обождь, я ужо матери пожалуюсь.

— А ты лезь, бабушка, но только опять не упади, — сказал насмешливо рыжий парнишка, с густо конопатым лицом, с черными глазами на выкате, похожими на глаза кроткого барашка, и показал ей местечко на ограде, — это тебе, бабушка.

— Ты еще, — огрызнулась старуха и, взмахнув на него палкой, полезла на ограду.

Василий Пылаев и доктор протискались через толпу к первым рядам; когда они вышли вперед, остановились в первом ряду, в котором была Лидия Васильевна, Василий Игнатов, солдат с светлыми усами, сын Хряка, и

три здоровенных мужика с окладистыми бородами, в суконных самотканных поддевках, — эти три мужика держали за плечи и за ноги стражника, собираясь бросить его в костер ржаного скирда, который уже догорал, был сейчас низок и похож на огромное животное, покрытое красными длинными свившимися прядями мягкой шерсти, и могуче дышал всем своим существом, был готов каждую минуту воздушно подняться и ринуться в степь.

Василий Пылаев побледнел.

— Что вы делаете?

Доктор остановил его:

— Оставь. Не все ли равно!

Пылаев посмотрел на доктора. Доктор был густо залит кровавым заревом. Этим же заревом была залита огромная, жадная к мести толпа и вместе с нею Лидия Васильевна, что стояла рядом с Игнатовым, княжеский сад, каменная ограда, столетние березы и липы, на которых, как огромные темно-красные птицы-стервятники, сидели люди, радостно издавали гортанные выкрики, визги восторга.

— Как это все равно? — возразил доктору Пылаев, — это же зверство. Их надо просто расстрелять, а не издеваться.

Доктор ничего не ответил Пылаеву; он смотрел на солдата, на мужиков; мужики, держа на-весу стражника, бегом побежали к вздыхающему жаром костру скирда и, не добежав до него шесть шагов, раскачали приговоренного и со всего размаха бросили его в костер. Он тяжело принял человека, безумно вскрикнувшего, и, погружая в себя жертву, выбросил огромное белое пламя, стаю желто-белых шапок и красный столб пыли.

— Еще!

— Передавай!

Толпа ахнула и дико загудела:

— А-а-а!

— Так их и надо, кровососов!

— Попили, дьяволы, кровушки!

А когда потащили другого, толпа снова замолкла, затаила дыханье, с широко раскрытыми ртами, готовыми еще свирепее заорать, притаилась и ждала того момента, когда человек поднимется на воздух и со всего размаха погрузится в костер и костер выбросит белый, огромный язык, вихрь шапок и столб красной пыли и этим подаст сигнал толпе, которая вдогонку языку, шапкам, столбу пыли выбросит свой восторженный крик и потребует:

— Еще! — и в щемящем восторге замрет и будет ждать следующего языка, шапок, пыли... После стражников поволокли главноуправляющего. Он покорно лежал на мужицких руках. Его белая голова от зарева была невыразимо прекрасна и походила на большой букет бело-розовых цветов. Когда его тащили к костру, он восхищенно говорил о прекрасных белых цветах, которые очень любит его сиятельство, князь Лобанов, и Роза Даниловна. Он все время просил не губить цветов, а беречь их от холода, чтоб они не погибли. Он даже не вскрикнул, когда его холодное тело поднялось на воздух и провалилось в жар костра. Он спокойно погрузился в огненную пасть. Падение его тела не вызвало у толпы того крика, того животного восторга, который получила она от стражников и Кирилыча.

— Рехнулся, чорт, — бросил кто-то недовольно из толпы и стал громко, как-то неестественно смеяться.

— Никакого удовольствия, туды его мать!

— Надо было бы что-нибудь другое придумать, а то!..—Море огня все так же развивалось, бросая белые шапки и столбы светящейся пыли в мутно-желтое небо. Пахло шерстью, паленой кожей и мясом. Стало как-то скучно, а главное — не было работы мужикам и не на кого было им смотреть, а море бушующего белыми волнами огня надоело, и толпа, рассыпаясь по всему саду, стала быстро, отдельными группами, кучками уходить к княжескому дому, величаво стоявшему в зареве полыхающих построек — конюшен и амбаров. Княжеский дом был в эту ночь великолепен. Он, как белоснежный корабль, застигнутый бурей, окруженный раз'яренными волнами, гордо стоял на якоре, отражал на своих стенах, на высоких окнах, в богатых зеркалах волны и черно-красные головешки падающих бревен и мятущуюся тень огромной пробудившейся толпы, которая не так давно сгибалась перед сиятельным владельцем этого чудесного дворца, перед хозяином этого пространства земли, необозримого глазом. Так было давно — вчера. Сейчас эта толпа — властелин, она не знает больше преград своему буйному своеволью, она не знает хозяина над собой, она не хочет ведать и знать над собою сиятельного господина, она с корнем старается вырвать его гнездо, чтоб на этом месте, на котором ее пороли многие века, сажали на кол, выросли бурьян, татарник и крапива, она желает, чтоб в этих зарослях свободно бегали ящерицы, спокойно выползали бы из расщелин кроткие и мудрые ужи, грелись бы на горячем и добром солнышке, что создано богом только для мужиков, а не для кого-либо другого,—так в эту ночь рассуждала толпа и с диким безумством раздувала пламя пожара, от которого черная, под редкими

крапинками звезд билась ночь, взмахивала крыльями, как шелудивая птица, и глухо вскрикивала совиным криком, придавая больше жути.

К Василию Пылаеву и к доктору подошли Лидия Васильевна и Василий Игнатов. Лидия Васильевна и Игнатов были как-то странно настроены и не знали, что сказать, хотя по их глазам было видно, что Лидия Васильевна и Игнатов что-то хотели сказать, но никак не могли сказать — языки не слушались, не ворочались. Доктор, видя их неловкое положение, взмахнул руками, улыбнулся и стал быстро тереть свои пухлые ладони, потом пришел к ним на помощь и, перестав тереть ладони, улыбнулся:

— Ну, что же мы стоим-то, надо направляться по следу... — и заглянул в глубокие синие глаза Лидии Васильевны.

Она отвернулась, потупила глаза, но они все так же играли синим светом сквозь темные шелковистые ресницы.

— Мы должны быть впереди народа, — чуть-чуть улыбаясь и все таким же мягким голосом проговорил доктор и замолчал, как будто для того, чтобы сказать что-нибудь новое и оригинальное, но ничего оригинального не сказал, — он только наклонил голову и грубовато, изменившимся голосом, повторил: — мы, кажется, Лидия Васильевна, должны быть впереди, не правда ли?

Лидия Васильевна сердито покраснела, взмахнула на него глазами:

— Что вы, Евгений Бенедиктович, этим хотите сказать? Разве мы не впереди народа?

Доктор убрал улыбку, спрятал пухлые ладони в карманы пальто и, виновато перебегая глазами с Пылаева

на Игнатова и с Игнатова на учительницу, не знал, что ответить Лидии Васильевне, которая сердито смотрела на него и ждала об'яснений.

Так они простояли несколько минут. Вокруг не было ни одного человека, только на освещенной заревом пожара земле лежали их неуклюжие бурые тени, в особенности учительницы и доктора. На гумне все так же шумело большими волнами море огня, кидало в мутно-желтое небо красными шапками, столбами темно-красной пыли. А далеко за гумном, в лесу, в черной мути, тревожно кричала птица, испуганно хлопала крыльями, ломая мерзлые ветки и сучья деревьев. В усадьбе кричала, гудела толпа, несколько человек мужчин пронзительно орали песни. Сквозь гул толпы, визгливое пение прорывались удары топоров, звон разбиваемых стекол, рев и ржание перепуганной скотины, жуткий, душу раздирающий крик кур, которых наверно спугнули с нашестов и ловили, скрип телег и отчетливый воркующий гром колес по земле, — это мчалось село за княжеским добром.

— Гудит, — бросил Игнатов. — Мне дедушка рассказывал, что будто бы, когда на Куликовом поле была битва русских с татарами, то так же, как вот сейчас, гудела земля.

Слова Игнатова заставили вздрогнуть доктора, Пылаева и Лидию Васильевну. Она повернулась к нему и спросила:

— А почему знает твой дедушка?

Василий Игнатов ничего не ответил. Он грузно стоял на земле своим богатырским ростом, его оскаленные крупные зубы блестели от зарева и были одного и того же цвета, как и его лицо, как и его широкие ладони. Он, откинув в сторону винтовку, восторженно смотрел вперед и наслаждался стихией этой ночи.

— Ну, чего мы тут стоим-то, — сказал громко и неестественно Василий Пылаев, а когда они пошли к толпе, он неожиданно выпалил: — В таком духе, простите, доктор, мне революция не особенно нравится. Я должен откровенно сознаться, что варварства не признаю.

Доктор покосился на Пылаева; потом взял под руку Лидию Васильевну.

— Прими ее такой, какая она идет к тебе. Ты что же, хочешь выпустить зверя из клетки, в которой его держали столетиями, и чтобы он не перегрыз горла тому, кто посадил его в эту клетку, тому, кто издевался над ним, да еще культурно? Ты должен хорошо знать, что значит культурно издеваться над менее культурным человеком, чем культурный варвар-палач? Такое культурное издевательство нисколько не благороднее поступка наших мужичков, которые поглумились над главноуправляющим, над князем, над стражниками, которых они под звуки боевой песни бросили в огонь... Правда, главноуправляющий, благодаря своей культурности, лишился ума, погиб легкой смертью, думая о белых цветах, чтоб сохранить их от морозов для его сиятельства, князя Лобанова, и Розы Даниловны, но так, как принял смерть главноуправляющий, не приняли ее стражники, не принял ее староста Кирилыч... Мы все — и ты, и я, и вот он, и вот она, — показывая глазами на Игнатова и Лидию Васильевну, — хорошо видели, как они сопротивлялись, как они бились, как они отбивались ногами, как они грызли зубами, как они молили о пощаде...

— Я против этого и протестую. Ну, разве нельзя было их расстрелять без мучений? — возразил Пылаев.

— Чудак, — засмеялся доктор, — что тебе толку, ежели тебя умертвит не дикарь, а самый культурный в мире человек?..

— Как что? Я, по крайней мере, не испытаю, не переживу столько пыток, — возразил Пылаев. — Верно я говорю? — обратился он к своему другу Василию Игнатову, который с высоко поднятой головой вдохновенно шел и не сказал ни одного слова во время разговора доктора с Пылаевым.

— Я согласен с доктором, — ответил Василий Игнатов, — и нисколько не виню мужика, что он «неблагородно» поступает с белой костью.

— Правильно, — оживилась Лидия Васильевна и облила голубым светом Игнатова. — Это мне нравится. Я тоже так думаю.

— Мне года три тому назад, — начал доктор, — рассказывал один приятель, что за границей, в культурной Америке, какой-то видный ученый изобрел электрическое кресло, и вот на это самое кресло сажают преступника, пускают ток, и человек постепенно варится на нем...

— Это гораздо лучше.

Доктор нервно засмеялся.

— Конечно. Конечно. В Америке все это утонченно, даже необыкновенно утонченно! Могу тебя, Василий, убедить, что знаменитое кресло казни стоит не в каком-нибудь грязном каменном сарае, а в самом что ни на есть роскошном особняке, в хорошо обставленном кабинете; около этого знаменитого кресла стоит не какой-нибудь наш российский недотяпа-палач, который не только повесить не может, а и петлю как следует намылить не сумеет, а уж куда там до чего-нибудь утонченно-культурного... Там, в культурной и гуманной Америке, этого нет: около кресла стоит палач-философ, не какой-нибудь недоучка в красной рубахе, а, представьте себе, великий ученый в смокинге, в лаковых штиблетах. Вот этот самый палач-философ встречает

преступника, низко раскланивается, по-джентльменски угощает душистой сигарой, потом утонченной философией относительно бренной жизни на сей земле... Потом, после такой глубокой, утонченной философии, ученый палач приглашает преступника в изысканное кресло, и как только преступник погрузится в него, он все так же изысканно, с необыкновенно спокойной и сияющей улыбкой склоняет голову на бок, с отчетливым и глубокомысленным пробором волос, поворачивает рычаг и в таком невозмутимом положении стоит до тех пор, пока человек перестанет биться в судороге, пока не изжарится. Потом, когда культурно изжарится человек, палач выпрямляется и зовет убрать труп. Два человека, и тоже во фраках, вбегают в кабинет, забирают казненного, кладут его головой в парусиновый мешок, завязывают и отправляют в царство небесное...

Пылаев взмахнул рукой, что-то было хотел сказать, но ничего не сказал; он только внимательно посмотрел на широкое рыжее лицо доктора, на его окладистую бороду, из которой краснели толстые губы и нервно шевелились.

— Там, милый мой, не только это; полиция отличается от нашей своей культурой. Там полиция бьет так умело, что не найдешь при самом тщательном медицинском осмотре ни одного пятнышка, ни одного синяка, но зато легких не будет... и с ними и человека. А у нас так человека разукрасят, что живого места не оставят, хоть на выставку ставь.... но все же останется жив... У нас, брат, Россия...

— Это, доктор, философия, — возразил Пылаев, — хотя и убедительная.

— Браво! Браво! — закричал доктор. — Наконец-то убедил своего птенца. Наконец-то!

— Но все же лучше без зверства.

— Без этого качества, мой милый, революции не бывает.

— Мы должны быть вожаками.

— Верно. Мы должны...

— И не делать то, что он делает?

— Конечно. Но каждый народ, находившийся долгое время в рабстве, всегда жесток... И в этом я его обвинять не могу...

— Но мы не должны ему потакать и помогать...

— Да. Но только до тех пор, пока он не насытится, не успокоится.

— А потом?

— Потом умело должен вести его рабочий класс.

Лидия Васильевна возмутилась:

— Вы, доктор, очень плохого мнения о народе, о мужике. Я самым решительным образом протестую.

— Простите, Лидия Васильевна, я совсем позабыл, что вы в грязном мужицком зипуне видите начало социализма.

— Да, это верно. Это так и будет. Это только вы, доктор, слепы и не видите носителя идей социализма.

Доктор улыбнулся.

— Народ. Народец. Народушка. — Сколько мякины в этих словах!..

— Вы, доктор, надо мной смеетесь? — возмущаясь еще больше, спросила Лидия Васильевна и освободила свою руку от его руки и забежала немного вперед, — а разве рабочий — не народ?

— Народ; народ другого качества; народ с другой философией, и революция для него не просто грабь у паразитов награбленное и на награбленном успокойся и засни, а упорная борьба за большую дорогу, по которой он с еще более упорной, с еще более кровопролитной войной пойдет к социалистическому обществу...

Да-да, Лидия Васильевна, не возмущайтесь, а поверьте, что мужичок, этот носитель социализма, после первой победы еще не один раз поднимет вилы против своего брата рабочего, товарища по борьбе, и будет всеми силами сопротивляться, чтоб его не волокли к социализму, к тому самому, как вы любите выражаться, что он носит в рваном самотканном зипуне.

— Вы любите, доктор, шутить и издеваться, — крикнула Лидия Васильевна. — Так говорить о другой партии...

— Нехорошо. Поверьте, я шучу не над народом, а...

— Это цинично.

Доктор развел руками.

— Возможно. Но это правда.

— Мы еще ничего этого не видим.

— Плохо. По-моему, надо видеть.

Переругиваясь, они не заметили, как прошли сад, двигались по аллее столетних лип, ярко освещенной заревом горевших построек. Впереди их сновали с узлами люди, метались длинные быстрые тени, трещали от огня постройки, и едкий дым лез в горла, заставлял кашлять, выжимал слезы. В разговор вмешался Василий Игнатов. Он недовольно сказал:

— Опять спор. К чорту. Мы, ведь, еще не убили зверя и шкуру не собираемся делить.

Доктор взглянул на Игнатова.

— Да, ты прав, Василий, до шкуры зверя еще далеко, — и взял было Лидию Васильевну под руку, но она сердито оттолкнула его.

— Я с вами, доктор, после этого не желаю итти, — она подошла к Пылаеву, пошла с ним рядом и нежно, взмахнув ресницами, посмотрела на него: — У тебя, Пылаев, хорошая мягкая душа, но я боюсь за нее, что этот

сухой, жестокий материалист изуродует ее и вытравит из нее все светлое.

— Да, ежели удастся, то уж все вредные соки повыжму.

На этом разговор прекратился, так как гул голосов, рев и ржание скотины, кудахтанье и крик птицы, визг поросят и свиней, которых тут же ловили и резали, громыхание телег и стук колес захватили доктора, Лидию Васильевну, Пылаева и Игнатова. Они быстро вышли из парка и очутились около княжеской поварской, на крыльце которой, прямо на каменных плитах, по турецки, как попало — вольготно — сидело несколько человек мужиков и на разные голоса тянули старинную песню. Среди этих мужиков были Филипп Лодырь, Вавила Хряк и тот высокий рыжий мужик, что ехал с бочкой по площади и убил оглоблей купца Долматова, и тот чахоточный мужик с тонким иконописным лицом, с большими жадными византийскими глазами, что подкладывал под контору солому, чтоб она лучше, скорее загорелась, и грозил вилами молодому князю... И тут был небольшой шелудивый мужичишка-пастух, страшный лодырь: он вместо работы любил играть на тростниковых желейках барыню, русскую и даже некоторые вальсы перед окнами купцов, а иногда и перед княжескими, за стакан водки... Сейчас он был до пóлна пьян, неприятен, так что его рыжая козлиная бородка была очень грязной от слюней. Не замечая этого, он широко куражился, морщил конопатое лицо с сухими зеленоватыми угрями, так что не было видно слезоточивых черных точек глаз, похожих на перезревшую бзнику, резко размахивал руками, орал больше всех пронзительно-хриплым голосом, потрясая над лохматой головой бутылкой:

— Ребяа... княжеская... ребяа... — и поворачивал лицо к толпе, к горящим зданиям, и его лицо, освещаемое заревом, было еще более мерзко, неприятно и страшно; он, надрываясь и брызгая слюной, размахивал красной от зарева бутылкой, еще пуще орал: — реббяа...

Другие мужики тоже куражились, но не настолько буйно и отвратительно, как этот; в особенности, обняв ногами корзинку с бутылками, мирно сидели Вавила Хряк, Филипп Лодырь и чахоточный мужик с византийскими глазами. Этот чахоточный мужик, распахнув шубу, приятным баритоном пел старинную песню; ему, стараясь изо всех сил, подтягивали разными голосами мужики:

Служил я своему князю верой-правдою,
Уж тому князю строгому,
Князю Ораклу Петровичу Лобанову;
Служил я ему несчесть веков,
Не заслужил я ему славы добрые,
Славы добрые, чести-милости,
А получил я за рабство свое
Из уст светлейшего князя Лобанова
Прозвище распозорное,
И стали меня холопы его величать
«Хряком» и «Лодырем»,
На конюшне пороть и на кол сажать.

Тут шелудивый мужичишка, дергая слюнявой козлиной бородкой, быстро сбежал с крыльца, еще громче заорал в сторону работающей толпы, которая была занята грабежом:

— Ребяа... Бра-атцы!.. — А когда никто не обратил никакого внимания на него, на его крик, он, размахивая бутылкой, пустился откалывать русскую, взмахивая, как опоенная лошадь, ногами, обутыми в закорузлые

портянки и лапти. Но плясать, визжать и трясти слюнявой бородой ему не пришлось долго, так как сильный треск и гул, раздавшийся около речки, приковал его задом к земле; он пробыл в таком оцепенении несколько минут и тупо смотрел черными слезящимися глазками, как мимо него, стремительно направляясь к реке, гудела толпа. Он опомнился только, тогда, когда толпа почти вся пробежала к реке; он быстро вскочил на ноги, перевернулся несколько раз волчком и, размахивая отрепанными краями шубы, обгоняя одиночек и группа людей, бросился бежать за толпой.

— Спирта!

Доктор испуганно рванулся. Потом, взглянув в глаза Пылаеву, бросился бежать к толпе; за ним побежали Лидия Васильевна, Пылаев и Игнатов. Доктор на-бегу тяжело дышал и скверно ругался:

— Это чорт... Как это мы, идиоты, проворонили, а?!— Ему никто не возражал, и только одна скорбная песня о вековом страдании звенела, рыдала с крыльца. Эту песню пел чахоточный мужик с большими жадными византийскими глазами, а подпевали ему Филипп Лодырь, Вавила Хряк и другие мужики, здорово подгулявшие на погребальной тризне княжеского гнезда:

Не заслужил я ему славы добрые,
Славы добрые, чести-милости,
А получил я за рабство свое
Из уст светлейшего князя Лобанова...

Так надрывно плакала, бежала за доктором эта скорбная, потрясающе-правдивая песня, сложенная каким-то крепостным лакеем-поэтом; но доктор, охваченный другим ужасом, более грозным, чем эта песня, и не обращая никакого внимания на эту песню, все так же

бежал за толпой к реке; за ним бежали учительница и оба Василия, широко вскидывая ноги.

— Доктор! Доктор! — пересекая ему дорогу, кричал солдат с светлыми усами, сын Вавилы Хряка, — доктор!

Но доктор ничего не слыхал; он быстро и грузно скатывался к реке; он только тогда остановился, когда его поймал солдат за руку и крикнул ему в лицо:

— Евгений Бенедиктович!

Евгений Бенедиктович остановился, тяжело дыша и ругаясь.

— Это чорт знает, что мы наделали... Драть нас всех надо.

— Ничего не наделали, — оправдывался солдат, — конечно, ничего. Я просто поджег подвал, чтобы не спились мужики.

Доктор отступил от солдата:

— Поджог, говоришь? Дай-ка руку и я пощупаю твой пульс; так это ты поджог, а?!

— Да, доктор, поджог, иначе и нельзя. Около подвала уже увивалось несколько человек с ведрами, а один даже с бочкой.

— Поджог, — выкрикнул доктор и громко рассмеялся. — Молодец! Дай руку. Дай, голубчик, руку... Я так напугался, что даже сейчас не верится, что ты действительно сделал такое, можно сказать, великое дело... Дай руку!

Когда доктор, Лидия Васильевна, Пылаев, Игнатов и солдат подошли к реке, мужики уже возвращались обратно, некоторые ругались, некоторые оправдывали, что хорошо сделали, что подожгли. Бесновался только один шелудивый мужичишка, грозил бутылкой, тряс грязной козлиной бороденкой, все так же, как и на крыльце и перед крыльцом у поварской, визгливо

кричал, призывал поймать того, кто поджег подвал и сейчас же его приговорить всем миром, как врага своего народа, и бросить в огонь. Кричал он долго, до тех пор, пока ему кто-то не двинул по загривку, после чего он растянулся на земле и принялся голосить, как баба о покойнике. Мужик, ударивший его, плюнул и отошел в сторону:

— Стерва подхалимная! Тебе надо не тут быть, а под окнами!

— А тебе, — огрызнулся шелудивый мужик и вытащил из кармана рожок с желейками, поднес его к слюнявому рту и тростниковые палочки жалобно заплакали:

Служил я барину
По первое лето,
Дал же мне барин
Курочку за это.
Моя курочка,
Гей, гей, да зюзюлечка
По двору ходит,
Цыплят водит,
Хохол подымает,
Барина утешает.

Кося насмешливо левый слезоточивый черный глаз на мужика, ударившего его по загривку, он играл на желейках, звуки которых, как длинные зеленоватые ленты, кружились, врывались в толпу и заставляли ее прислушиваться. Мужик, который ударил его, злобно выругался, ловко поддал лаптем черную бутылку, что стояла рядом с пастухом, да так, что она, стуча по комковатой земле, далеко отлетела под гору; потом, не глядя на него, круто повернулся к нему спиной и пошел обратно к дому. А когда он ушел домой, игравший мужик тоже встал с земли, вытер от слюны концы желеек,

бережно положил их в карман и тоже направился обратно, к княжескому дому, от которого доносились голоса мужика с большими византийскими глазами и его товарищей:

Не заслужил я ему славы добрые.

Доктор, Лидия Васильевна, Пылаев и Игнатов ахнули, когда увидали огромное бело-зеленое пламя огня; оно вырывалось из цистрены, как из банки, и было похоже на гигантские васильки и на белые колокольчики ландыша. Они долго стояли, очарованные пожаром цистерны, наполненной спиртом. Эта цистерна, как лампада, горела перед черной ночью, разрывая ее под густо-звездным небом, и, отражаясь в темно-серебряной реке, далеко освещала бело-зеленым вздрагивающим светом землю, на которой были еще видны грядки из-под вырытых овощей и корни срубленной капусты. По этой яркой земле испуганно метались темные тени, качались и хрустели от зноя молодые яблони и другие фруктовые деревья.

— Ну, теперь можно спокойно уходить, — вздохнул доктор. — Все горит хорошо.

Ему никто не ответил.

*

Три дня и три ночи горело княжеское имение. Три дня и три ночи мужики, бабы и ребята грабили княжеское имущество, живое и мертвое. И только остался стоять один княжеский дворец, на котором все так же, как и до этого, болтался, спорил с ветром национальный флаг, на уголке коего был золотой фамильный герб. Дворец сиротливо смотрел из обгорелых стен других построек своими огромными выбитыми окнами, зияющей пустотой, в которой от ветра, буйно гулявшего, трепались, шипели на стенах клочья дорогих обоев, и был он

в таком виде похож на остов разбитого в бурю корабля, выброшенного на мель.

От княжеской усадьбы, черной и страшной, как от разложившегося покойника, которого давно надо было бы предать земле, несло на все село тяжелым трупным запахом — гарью и копотью. Над усадьбой тревожно кружилась птица, оглашая трескучим криком парк, все село и даже лес, что находился в версте от усадьбы, боялась спуститься на столетние деревья парка, на которых она так любила проводить пасмурно-холодные дни до этих необычных дней и ночей, охваченных заревом пожара, ветер бегал по ее обгорелому скелету и, облизывая черные головешки, звенел разбитыми стеклами, жалобно насвистывал в неуклюже-обнаженных трубах, злобно поднимал вороха пепла и, закручивая в спирали, гнал эти вороха по аллеям парка, гнал мимо деревьев сада, гнал по широкой дороге. Птица робко, боязливо садилась на вершины деревьев парка, проводила первые ночи в тревожном сне, то-и-дело нарушая аспидную тишину трескучим криком. Так продолжалось под ряд несколько ночей, пока птица не успокоилась, не привыкла к своему новому положению. Потом дни потекли нудно, даже гораздо нудней, чем они текли в прошлом году, когда княжеская усадьба кипела жизнью, когда винокуренный завод тяжело пыхтел своими внутренностями и обливал противным запахом алкоголя село; в эти дни, это после погрома, мужики, бабы и девки, несмотря на то, что в эти дни, в особенности по ночам, они часто собирались в школе, вместе с доктором, Лидией Васильевной, Пылаевым и Игнатовым, обсуждали свое положение, говорили относительно того, что соседние села и деревни не поддержали их, не разгромили усадьбы своих помещиков, не выгнали их, не повесили

на столбах ворот, — ходили грустными, невеселыми. В одну из таких ночей вбежал в школу чахоточный мужик с большими византийскими глазами, тот самый, что во время разгрома усадьбы пел жалобную песню вместе с мужиками на крыльце поварской; он дико, как перепуганная длинноногая птица, замахал руками и что-то восторженно закричал, закружился по школе, размахивая полами шубы. При виде его мужики и Лидия Васильевна быстро вскочили, метнулись из-за парт к нему, засыпали его вопросами, а один здоровенный рыжий мужик, что бросал стражников в огонь, выкатил перепуганные желтые глаза, схватил его за ворот и яростно тряхнул:

— Да говори толком, чорт полоумный! В чем дело-то? А то вот тряхну, так все сразу и вышибу!

Византийские глаза чахоточного мужика стали еще шире, испуганно остановились, иконописное лицо робко улыбнулось, руки откинулись в сторону и болтались, как плети. Он еле слышно выдавил:

— Кругом пожары. Соседние усадьбы горят.

Здоровенный мужик облегченно вздохнул и отпустил чахоточного мужика:

— Так бы давно и сказал, а то... вертится, как кляп в колесе... Тянет душу...

Некоторые мужики выбежали на улицу. Черная ночь густо висела над селом, так что даже под самым носом ничего не было видно, хоть глаза выколи. Лидия Васильевна тоже выбежала из школы и в сенях столкнулась с Игнатовым:

— Кто? — А когда узнала, на кого она наскочила, она неожиданно и крепко обвила Игнатова, жарко поцеловала его и тут же со смехом, не дав ему опомниться от такой неожиданности, выбежала на улицу. Он постоял

немного в сенях, потом пошел обратно в школу, но в школе не пробыл он и одной минуты, так как все мужики, доктор и Пылаев выходили из школы на улицу, посмотреть на зарева усадеб. Выходили они с приподнятым настроением. Доктор и Пылаев были очарованы жутью ночи, которая желтела на горизонтах, то-и-дело поблескивала рдяными языками огня. Над усадьбой опять тревожно кричала, кружилась птица, шумела сучьями деревьев. Недалеко от школы, через каких-нибудь три или четыре избы, почуяв пожары, шумно захлопал крыльями петух и пропел «ку-ка-ре-ку». За ним, через минуту или две, откликнулся еще один петух, потом другой, третий, а через каких-нибудь десять минут все село было в звонкой петушиной перекличке. Потом село заскрипело дверьми изб, сеней, потом выбежало все на улицу, чтоб посмотреть на пожары. Рассевшись на задние лапы, вытянув морды и пучась сонными, но злыми глазами, вместе с жителями проснулись собаки, отрывисто забрехали, потом, войдя во вкус, из живота завыли на далекие зарева пожаров.

Мужики, что стояли около школы, перекликались с селом:

— Это Вязовский барин горит!

— Яблоково жгут!

— Так их и надо, чертей?

— А вот Трухачева палят!

К рассвету все село настолько вдохновилось, что пошло громить и грабить купцов и в каких-нибудь два или три часа запрудило базарную площадь, разгромило магазины и лавки купцов и разных торговцев. Мужики, бабы, девки, ребята тащили все, что только попадалось на глаза: куски ситца, платки, полушалки, шали, лапти, сапоги, вилы, чугуны, табак... Один мужик, длинный и

сухой, нанизал на себя несколько связок баранок, потом поверх баранок надел на голову хомутину и, держа подмышкой несколько коробок с крахмалом, с тяжелым сопением и с сочным говорком выбирался из толпы, напиравшей в двери магазина. Мужиков, баб, которые вылезали нагруженными из магазинов, лавок и подвалов, крыли матерщиной, поддавали в бока, кричали:

— Сволочи, дорвались и рады всю лавку на себе утащить, — и каждый жадно бросался в освобожденную дыру, работал локтями, плечами, головой, а если надо, то и зубами, лишь бы поскорее дорваться до добра, как можно побольше зацепить и унести. Во время разгрома убили двух купцов, которые хотели уговорить толпу, чтоб она не разоряла их, чтоб не снимала с них «креста». Убили их просто и обыкновенно, так же, как и купца Долматова, что шел из церкви, двумя ударами двадцатифунтовой гири. Убил их неизвестно кто, неизвестно кто выбросил из лавок на выгон их трупы. Третий купец умер от разрыва сердца на чердаке своего дома, около слухового окна, и труп его нашли только через несколько дней. К вечеру было уже все разграблено, разгромлено и делать было опять нечего, и только одни ребятишки и бабы толпами ходили по разгромленным магазинам, лавкам и подвалам, копались руками в пустых коробках, в мусоре, в изорванной бумаге, выбирая пуговицы, крючки, орехи, карамель и другие сласти и безделушки.

После разгрома предложено было пойти с обыском на квартиры купцов, а кто-то крикнул, что надо покончить с аптекой и разделить лекарства. Толпа радостно отозвалась и бросилась к аптеке, но около аптеки, запертой ставнями, остановилась и растерялась. Из толпы выступил дряхлый старик, снял овчинную шапку,

поднял кверху голову с большой грязной лысиной, по краям которой были редкие, но длинные косички грязно-белых волос и затряс длинной, почти до пояса, бородой:

— Я, Трохим, говорю вам, что все это вы делаете не дело, даже дюже не хорошо.

Толпа остановилась, покорно слушала, а старик продолжал:

— Хотя хозяин и еврей, но он для нас был добр и бога имел в душе лучше православного... Когда к нему не приди, он всегда примет и помогу окажет.

Толпа всколыхнулась.

— Так какого же он чорта спрятался! Разве мы разбойники, что ли, какие, а?! Мы хорошего человека в жисть никогда не тронем!

Толпа еще больше загудела:

— Правильно! Ребята, зовите его сюда, и мы ему прямо скажем: хотя ты и еврей, но хороший человек, и мы тебя пальцем не тронем... — Несколько мужиков сорвали ворота и ворвались в квартиру. В квартире был большой непорядок и не было никого. Мужики растерялись, стали отыскивать хозяина и его семью; не успев пройти в запертую другую комнату, они услыхали, как за диваном заплакал ребенок. Мужики остановились, растерянно переглянулись. К дивану подошел молодой парень, отодвинул его и вытащил двух черноглазых мальчиков, которые дрожали, как в ознобе. Парень ласково улыбнулся и погладил одного по черной курчавой голове:

— Не плачьте, мы люди добрые, хорошие.

Дверь спальни робко открылась, потом выбежала к ребятам перепуганная на-смерть полная, рыхлая женщина и, упав на колени, громко заплакала, чтоб не губили ее детей, а главное — мужа. С большим трудом

удалось ее успокоить и доказать ей, что они пришли не за тем, чтобы убивать ее мужа, а сказать ему, что он хороший человек, чтобы он не беспокоился, не сумлевался, а торговал бы в своей аптеке, как и раньше. Услыхав мирное настроение мужиков, хозяин аптеки вылез из-под перины и, стряхивая с себя пух и как-то неприятно потея, вышел к мужикам и недоверчиво поклонился:

— Чем могу, дорогие мужички, служить?

Несколько мужиков сказали сразу:

— Хотя ты и богат, но мы тебя уважаем; мы пришли тебе сказать от всего нашего мира, чтоб ты уважал нас и торговал бы, как и раньше.

В квартиру набилось еще несколько мужиков и баб; одна старуха с огромной головой от десятка платков, которые она зацепила еще утром в лавке и намотала себе на голову, так что из-под них совсем не было видно подбородка и рта, а только торчали острый нос и два сивых, ничего не говорящих глаза, но, несмотря на это, они очень быстро бегали по квартире, по хозяину, по перепуганной хозяйке, к которой прижались два мальчика и зорко смотрели исподлобья черными точками на гостей; она, осмотрев все, пролезла вперед, стараясь что-нибудь спереть.... Молодой, красивый русый парень повернулся к хозяину спиной, закричал:

— Кто вас просил сюда?!

Бабы и мужики попятились обратно; несколько вышло на улицу. Парень раскланялся с хозяином, потом вышел из квартиры; за ним и остальные мужики.

— Будь покоен, не тронем. А ты что, старая?

Старуха вытянулась, заскрипела и жалобно застонала:

— Помоги, ради христа, вторую неделю поясницей и поносом страдаю. Измучилась, силушки никакой нету.

— Пошла к чорту, старая ведьма! — крикнул свирепо парень и круто повернул ее лицом к двери. — Пошла! Ишь навязала!

*

За несколько дней до зимних праздников наступили суровые рождественские морозы, и Соломатово жило мирно, с трепетом ожидало страшных событий, пугая себя всевозможными слухами, которые доходили из других сел и деревень. Слухи жуткие, чудовищные. Говорили: в уезд пришли войска, — казаки, под командой самого генерал-губернатора, — и на своем пути порят поголовно целые села, деревни, а в некоторых местностях расстреливают каждого десятого мужика, а непокорные села, деревни, не вышедшие навстречу с хлебом-солью, сметаются, сжигаются огнем пушек, жители расстреливаются сотнями, — вот такие слухи доходили и до Соломатова, заставляли жителей быть настороже, в трепетном ожидании.

Наконец, на третий день Рождества, — в этот день был базар с каруселью и на площади было много народу, в особенности молодежи, которая, щелкая семечки, орехи, шумно веселилась, каталась на расписных лошадках, лодочках, под славную музыку шарманки распевала песни, — слухи оправдались: из околицы показались казаки, базарная площадь тревожно заволновалась, и через каких-нибудь полчаса на ней, кроме карусели и нескольких палаток торговцев, не осталось ни одного человека, даже ни одной собаки. Казаки спокойно проехали околицу, пересекли базарную площадь, под'ехали к постоялому двору — трактиру «Веселье», и стали спешиваться. Казаки были все бравые, рослые, с первого взгляда трудно было отличить одного от другого, так как у всего отряда было одно лицо: из-под

черных с красным верхом папах набекрень, в виду крепкого мороза, не особенно лихо смотрели с правых висков зачесанные чубы, точно налитые круглые лица, на которых выхоленная по-военному растительность — тугие брови, ресницы узких и неопределенного цвета глаз, закрученные усы — была густо запорошена кристаллами инея, прозрачными сосульками. Края черных папах тоже были белыми от инея, а также были белы и шинели, верхние края и углы башлыков, прикасавшиеся к затылкам и щекам; лошади были тоже белыми от инея, в особенности их головы; животы были густо обложены желтоватым снегом и мутными сосульками.

Навстречу казакам выбежал худощавый хозяин, невысокого роста, с небольшой окладистой желтой бородой, в бобриковом желтом пиджаке, в валеных сапогах, головки которых были обшиты кожей, и без шапки. Он ласково раскланялся с офицером, потом раскланялся с отрядом, но на его поклоны никто не обратил никакого внимания. И только когда офицер передал лошадь денщику и зашел на крыльцо трактира, к нему подошел вплотную бравый казак и, разглаживая пальцами усы и глядя на него маленькими синими глазками из-под белых бровей, сказал:

— Кто будет хозяин?

— Я, господин офицер.

Казак вытянулся, оторвал руку от усов:

— Я не господин офицер, а господин вахмистр, — понял?

Хозяин поклонился:

— Рад стараться. Все будет представлено вашей милости. — И он бросился выгонять мужиков из трактира, которые зашли попить чайку и которые еще до его распоряжения заметались по трактиру, чтобы незаметно

удрать от казаков, но приход офицера в трактир грозно остановил их, приказал не двигаться с места, и мужики, перепуганные на-смерть, забились в угол и смотрели на офицера, и только две молодые женщины, приглашенные своими мужьями, бросились во двор и хотели было удрать двором, но, увидав около ворот казаков, повернули обратно, забегали по двору, не зная, куда спрятаться. Одна увидала в углу двора, около собачьей будки, сортир, сбитый из досок, на два раствора, с черно-желтой надписью на каждом растворе: «мужское» и «женское». Бросилась в «женское», за ней и другая баба. Но они так торопились, что около дверей столкнулись, застряли и своей возней не то напугали, не то растревожили желтого лохматого пса, так что он, при виде перепуганных баб, загремел цепью, яростно рванулся из будки и, натянув цепь и звеня ею, поднялся на дыбы и, перебирая в воздухе передними лапами, сыпал лаем и слюной в баб, которые от неожиданности смертельно вскрикнули, потом, оправившись от испуга, с шумом ввалились в «женское», заперли на крючок дверь и притаились, не расслышав позади себя смеха казаков.

Казаки поставили лошадей под навес двора; некоторые отправились в трактир, некоторые посреди двора по-извозчичьи хлопали руками, делали «бег на месте», чтобы отогреться. До самого вечера казаки спокойно отогревались во дворе трактира, шумели около его крыльца, возились, бегали друг за другом, орали песни под гармонику, лихо отплясывали гопака, так что оттаявшие чубы зачесанных волос вздрагивали, и черные папахи с красным верхом круче сползали набекрень, ярче показывали удаль и молодость. Глядя на них, на их пляску, на буйную бесшабашную веселость, нельзя

было ничего страшного подумать, и мужики к вечеру осмелели, изредка стали показываться из своих изб, издали посматривать на пляску казаков, а шелудивый мужичишка-пастух, что во время погрома княжеской усадьбы требовал спирта, требовал бросить в огонь того, кто поджег спирт, а когда ему дали за это по затылку, заиграл на желейках, — выбежал из своей тухлой избы и первым пришел к трактиру и хотел было вломиться в него, и наверное бы вломился, ежели бы его пустили казаки, но они его не пустили, и он остался около трактира и громко изливал свои симпатии к казакам, в особенности к тем, которые, по его глубокому мнению, здорово плясали гопака. Потом, когда они бросили играть и плясать, он, не спрашивая разрешения, вынул из кармана грязную тряпицу, развернул ее, взял из нее коровий самодельный рожок со вдетыми в него тростниковыми желейками и, перебирая пальцами по скважинкам, заиграл грустную песнь о широких степях, о великом цветистом раздолье родины, о душистых медовых ветрах, которые гуляют над любимой страной, о стадах белоснежных барашков, о молодой пастушке, что по утрам и вечерам, в часы восхода и заката ярко-малинового солнца, выходит встречать своего возлюбленного... Казаки сперва не обратили на него никакого внимания, потом окружили его, с затаенным дыханием начали прислушиваться к дивным звукам желеек; прислушался и вахмистр, что говорил с хозяином трактира, подошел к нему ближе и громко сказал:

— Уж больно ты скверен, даже смотреть мерзко на тебя, а звуки издаешь приятные, как будто мы не в трактире грязном, а в родных степях Дона.

— Верно, господин вахмистр, — согласился один казак и добавил, вздохнув: — от его игры...

Вахмистр сердито покосился на голубоглазого казака и изменившимся голосом бросил:

— Что от его игры?.. Дурь еще у тебя в голове, — и быстро и ровно, как стрела, пошел в трактир. На крыльце он звонко лязгнул шпорами и скрылся. Но через несколько минут он снова пришел, позвал к себе пастуха, а когда пастух взобрался на крыльцо, он, пропустив его вперед себя, повел в трактир. Поздно вечером пришла пехота и тут же немедленно окружила село и заняла дороги. За селом на дорогах заполыхали костры, заполыхали костры около трактира и во многих местах базарной площади. От костров ночь стала жуткой и липкой, и ее темно-белесую тишину рвали жалобным животным лаем собаки, сверлили с такого же белесого неба редкие, едва мерцающие, звезды. Скрипели изредка, необыкновенно осторожно ворота домов, сараев, скрипели полозья саней по твердому снегу, шаги пешеходов.

Жители села Соломатова ясно почувствовали, что приход пехоты ничего хорошего не предвещал, также и тишина ночи, мирный приезд казаков, которые заняли трактир, заарестовали несколько мужиков, — про арест они узнали поздно вечером и поздно вечером узнали, что среди арестованных были солдат, сын Вавилы Хряка, дочь Вавилы, Татьяна, выданная нынче осенью замуж в соседнюю деревню, и ее муж солдат Петр, недавно вернувшийся из Манчжурии.

Соломатово тревожно переживало эту ночь и ожидало жутких дней. В трактире тоже не спали, играли на гармонике, орали песни, плясали, а когда один казак, что крикнул двум бабам, когда они прятались в «женское», показал другим казакам, и казаки с хохотом вытащили баб на двор, — бабы, когда их вытаскивали из

«женского», яростно отбивались, царапались, кусали руки, пронзительно визжали, и их визг был похож на визг поросят, которых только что поймали и хотят прирезать.

Визгливо орущих баб волоком потащили по двору под навес двора, где около длинных, во всю стену, корыт-кормушек стояли оседланные низкорослые, темно-рыжие лошади и жадно ели сено, громко хрупали зубами и этим хрустом приятно нарушали тишину под навесом, где в одном углу больше воза лежало душистого сена, только что привезенного из княжеских стогов, что находились в лугах и про которые мужики совершенно позабыли во время разгрома княжеского имения, — вот на это самое сено бросили баб, сорвали с них дубленые отделанные гайтанами, позументами и красным сафьяном шубы, подняли подолы панев, подставки длинных рубах на головы, собрали в кулаки, завязали так, как завязывают наполненные мукой мешки.

Пока шестеро казаков возились на сене с бабами, остальные, тяжело ругаясь, становились в затылок друг другу и через каких-нибудь десять минут к сену тянулись две длинные очереди. А когда с бабами управились, и бабы, оголенные до грудей, беспомощно бились в крепких руках казаков, которые, навалившись на раздвинутые ноги баб и на их вскинутые руки, связанные вместе с подолами, молодыми изуродованными животной похотью лицами смотрели на товарищей и рычали:

— Мы первыми... Задние шесть человек — держать.

— Это почему вы первыми, а не мы?..

— А потому, поцелуй в... мою куму, — грозно крикнул рыжий широкоплечий казак, сидевший на руках бабы и над самой ее головой. — Живо! — И с оскаленным лицом, вскинутым кверху, выжидательно смотрел и ждал, когда подойдут к нему на смену.

Задние ждать долго не заставили. Они выступили вперед и, косясь на женские прелести, блестевшие от лунного света, что косо и насмешливо падал под навес двора, освещал край сена, крупы лошадей, — подошли к бабам, сменили казаков, крепко навалились на конечности баб и тоже вытянули лица. Рыжий широкоплечий казак, не поднимаясь с колен, перевалился через все туловище бабы и сел между ее ног, тяжело сопя, потом, взглянув на ожидавших казаков, захохотал хрипло и страшно, а когда он перестал хохотать, ему кто-то твердо, без насмешки, бросил:

— А ты, господин урядник, перекрестился бы...

Урядник быстро вскочил на ноги, рванулся было с'ездить в морду насмешнику, но, увидав сказавшего казака серьезным, остановился, громко выругался, смачно плюнул в живот бабе и бегом выбежал из-под навеса.

Перед рассветом полумертвых баб оттащили обратно в уборную и одну из них, жену солдата Петра, опустили головой в обледеневший вонючий ящик. Утром, как только показалось небольшое, цвета коричневого яблока, солнце и заиграло на непорочном снегу базарной площади, на крышах мужицких изб, мужиков и баб собрали к трактиру, оцепили пехотой, а которые не пришли и спрятались, отыскивали казаки и, подхлестывая нагайками, гнали их через базарную площадь к толпе. Собранные мужики, бабы, взрослые ребята и дети стояли на площади напротив трактира, понуро смотрели на крыльцо; под резным козырьком крыльца находилось офицерство и сам генерал-губернатор, высокого роста, с правильными чертами лица, с волнистой черной бородкой. Он первым сошел с крыльца, подошел к толпе. За ним поспешили и офицеры. Толпа засопела, задвигалась, упала на колени. Падала она перед генерал-

губернатором не дружно, вразброд, как будто с неохотой. Генерал-губернатор еще больше вырос, стоял богатырем перед жалкой, трусливой толпой, глядевшей виновато в землю. Генерал-губернатор был одет в меховую доху, застегнутую на две петли. Он долго смотрел на мужиков, и это время, пока он смотрел, показалось толпе вечностью: она двигалась, вздыхала, кашляла. А генерал-губернатор стоял и смотрел на толпу ничего не выражающим взглядом, как будто он смотрел на ничего не говорящие предметы, которые никуда не годятся и никому не нужны. По толпе прошел ропот, и в переднем ряду появилась большая деревянная тарелка с хорошо подрумяненной ковригой хлеба, с солонкой, наполненной доверху белоснежной солью, и эта тарелка была протянута генерал-губернатору. Но генерал-губернатор все так же неподвижно стоял над толпой, все так же безразлично смотрел на толпу, не замечая хлеба и соли.

На площади перед трактиром была тишина; в тишине изредка лязгали шпоры офицеров, что сошли с крыльца, стояли за могучей спиной генерал-губернатора, ожидали его распоряжения.

— Ваше превосходительство, — выбежал вперед казацкий офицер и вытянулся, — смею доложить, что зачинщики не пойманы... — Глаза казацкого офицера были круглы, необыкновенно прозрачны, были похожи на глаза женщины, и только тонкие стрелочки усов дергались, выдавали, что он не женщина, а мужчина, да еще офицер такого-то казацкого полка, такой-то сотни.

Генерал-губернатор, не поворачивая головы, черными матовыми глазами посмотрел на казацкого офицера, крякнул, повернулся спиной к толпе и направился на крыльцо.

Казацкий офицер, забегая вперед, доложил ему:

— А хлеб-соль...

Плечи его превосходительства грузно затряслись и он, не глядя на казацкого офицера, бросил:

— Собакам, собакам... понял? — Тут его превосходительство неожиданно повернулся к офицеру и, обезобразив налившееся кровью выхоленное молочное лицо, окаймленное черной бородкой, задрожал огромным телом, замахал руками:

— Выпороть, всех до одного выпороть... Зачинщиков найти во что бы то ни стало.

Офицер стоял, как натянутая струна, изредка издавал звуки послушания и лязгал шпорами:

— Слушаю... Слушаю, ваше превосходительство... — А когда его превосходительство взошел на крыльцо, сел за большой стол, за которым сидело несколько штатских чиновников-писак, казацкий офицер повернулся к толпе и грозным дребезжащим голосом закричал:

— Вста-ать!

Толпа быстро поднялась, шумно задвигалась, загалдела.

— Молча-ать!

Толпа притихла, замерла. Перед толпой на снегу лежала тарелка с ковригой хлеба, солонка с солью; из-под ковриги торчало посконное полотенце, ярко рдело концами, на которых были вышиты петушки, и эти петушки срывались с серебристого снега, двоились, троились перед глазами передних рядов, летели в перепуганные глаза мужиков, в особенности в глаза Филиппа Лодыря, что стоял в первом ряду с обнаженной старческой головой. Со двора трактира вытащили две скамейки, поставили перед толпой недалеко от крыльца, к скамейкам подошли восемь человек-пехотинцев

с шомполами и, разделившись на две группы, привычно остановились позади правых концов скамеек, а четыре человека стали по бокам скамеек и замерли. Из-за стола вытянулся чиновник, молодым металлическим голосом выкрикнул:

— Звягинцев, Евгений Бенедиктович.

Молчание.

— Нет?

Молчание.

Этот же голос вызвал солдата, сына Вавилы Хряка, арестованного еще вчера вечером и отпущенного нынче утром в толпу. Солдат вышел из толпы вперед, остановился, вытянулся по-военному.

Генерал-губернатор бросил:

— Солдат?

— Так точно, ваше превосходительство!

— Что же, мерзавец, земли захотел?

Солдат не ответил.

— Тут лучше воевать, чем с японцами? — кричал из-за стола его превосходительство. — Отвечай!

Солдат еще больше вытянулся, тупо смотрел на скамейки, на вытянувшихся солдат, которые вот сейчас положат его на одну из скамеек, стащат с него шинель, солдатские штаны, за которые он служил царю-батюшке четыре года да в далекой Манчжурии два года, и начнут издеваться над его телом. На сына Хряка с затаенным дыханием смотрела толпа, а также и на солдат, на скамейки, на крыльцо, на доху генерал-губернатора, ловила каждое слово, сказанное его превосходительством, ждала чего-то жуткого, неотвратимого от своей и так беззащитной и жалкой судьбы.

— Не легко, — грубо отрезал солдат и зачем-то отставил правую ногу вперед, расплылся в улыбку.

Генерал-губернатор побагровел, тяжело вышел из-за стола, остановился у деревянной резной решетки, впился глазами в солдата, ударил кулаком:

— Расстрелять!

Толпа ахнула, завозилась в цепи солдат, которые тут же вскинули ружья, залязгали затворами; женщины вскрикнули, заголосили; офицеры сорвались с места, закричали:

— Смирно! — Некоторые бросились с револьверами и шашками на толпу, а когда толпа снова замерла, сыну Вавилы Хряка скомандовали:

— Ша-агом ма-арш! — И когда он не послушался команды, остался стоять на одном месте, к нему подскочил ротный офицер, размахнулся на него шашкой, но тот так ударил его кулаком в левый глаз, что офицер полетел на скамейку и вместе со скамейкой покатился в сторону. Стоявшие солдаты бросились к офицеру, подняли его и повели на крыльцо. У офицера был разбит глаз, и мутная сукровица ползла по чисто выбритой розово-синей молодой щеке, капала на снег, грязнила его неприятными каплями. Сына Вавилы Хряка закололи в тот же момент, в который поднимали офицера. Заколол его один солдат плечевым навесным ударом штыка в живот, чуть-чуть задев грудную клетку, так что конец штыка проколол поясницу, и сын Вавилы Хряка повалился навзничь, тяжелым падением своего тела вырвал из рук солдата винтовку и вместе с ней мягко упал на притоптанный ногами снег, задергался в судороге, глядя в последний раз выкатившимися холодеющими глазами мимо коричневой ложи, торчавшей из его груди, на бледное небо, на небольшое желтое солнце... Отец со стоном бросился к сыну; но ему не дали добежать до сына, со всего размаха ударили прикладом

в голову так, что он без крика повалился в нескольких шагах от сына, и его грязно-плешивый, с редкими косичками седых волос черепок с кровью и мозгом отлетел в сторону и большой кляксой шлепнулся на снег, далеко вокруг себя забрызгав своей кровью.

Отца и сына отволокли в сторону и, как ненужные бревна, бросили около наружной стены двора. И только от места убийства тянулся кровавый след до самой стены, возле которой мирно и спокойно лежали трупы отца и сына. Отец был брошен лицом к стене, сын кверху животом, и он, когда от него отошли, повернулся на правый бок, сполз с трупа отца, скосив из-под рыжей брови полуоткрытый и как-то странно потемневший стеклянный глаз, и с каким-то особенным выражением остановился на толпе, подбадривая:

— Ничего, братцы, посмелее.

Потом все тот же голос молодого чиновника вызвал из толпы Филиппа Лодыря, потом чахоточного мужика с жадными византийскими глазами, потом здоровенного рыжего мужика, который принимал близкое участие в сожжении стражников, главноуправляющего, молодого князя и который дал по загривку шелудивому мужиченке, что требовал бросить в огонь того, кто поджег спирт и который хорошо и жалобно умел играть на желейке не только грустные песни, а многие господские вальсы. Вызванные чиновником мужики вышли вяло, неохотно, с смертельной тоской во взглядах. Первым, размахивая полами шубы, длинными костлявыми руками, вышел чахоточный мужик, заиграл большими синими глазами, нервно задергал темно-русой бороденкой и бледной кожей иконописного лица; за чахоточным мужиком грузно, вразвалку, вышел здоровенный рыжий мужик, одетый в шубу и еще поверх

шубы в серый армяк, подпоясанный малиновой подпояской, концы которой пышно висели на левом боку; последним вышел старик Филипп Лодырь. Остановился он за спинами своих товарищей, поглядывая пытливо-серыми умными глазками из-под густых седых бровей на крыльцо, больше всего на снег, так плотно притоптанный ногами, что можно кататься ребятам на подошвах лаптей. Одет он был тоже в шубу, в черный, унизанный заплатами армяк, воротник которого был поднят и скрывал его лохматый затылок, почти всю бороду, щеки, вплоть до самых висков, и только ослепительно блестели из-под углов воротника большой морщинистый лоб и лысина.

Его превосходительство спустился с крыльца, остановился на последней ступеньке и, облокотясь широкой спиной на ограду, ничего не выражающим голосом спросил:

— Кто из вас будет Филипп Анохин, по прозвищу Лодырь?

Филипп Лодырь вскинул голову:

— Я.

Генерал-губернатор гаркнул:

— Айкай, сволочь! Выйди вперед!

Старик затоптался на одном месте и никак не мог выйти из-за спин товарищей и наверное бы не вышел, ежели бы не помог солдат, который крепко схватил его за армяк около шеи и сильно толкнул вперед. Его превосходительство, при виде Филиппа Анохина, громко рассмеялся. На него глядя, засмеялись офицеры и чиновники. Смех генерал-губернатора и офицеров перешел на лица казаков и солдат, но на казацких и солдатских лицах он не расплылся так широко, а только чуть-чуть и бесшумно скользнул около ртов, в веточках

глаз, да и то только на одно короткое мгновение. Генерал-губернатор перестал хохотать, изменился в лице и опять ничего не выражающим голосом крикнул:

— Это и есть Лодырь?

Казачий офицер ответил:

— Так точно, ваше превосходительство!

Генерал-губернатор, как утка, крякал:

— Так. Так. Так. Ты что же, Лодырь, землицы чужой, княжеской, захотел? Так. Так. Так. Захотел?!

Офицеры стояли в ожидании, ловили малейшее движение его лица; солдаты стояли смирно, не шевелясь, как будто мертвыми серыми тумбами; онемело и грустно стояла толпа мужиков, баб, ребят, девок и покорно ждала своей участи. Толпа была огромной бесцветной серой массой. Над толпой плыло желтое солнце, безразлично скатывалось к закату за княжеские гумна, которые теперь чернели обгорелыми столбами, полуразрушенными кирпичными стенами. От солнца толпа казалась огромной глиняной горой, и, глядя на эту глину, думалось, что вот сейчас его превосходительство, одетый в тяжелую, богатую доху, на которую можно было завести больше двадцати крестьянских хозяйств, отойдет от крыльца, грузно войдет в эту глину и начнет ее мять так, как ему захочется, и будет делать из нее все то, что ему пожелается.

— Ты что же, старая сволочь, молчишь?!

Филипп Лодырь опять затоптался старыми и не один раз подшитыми валенками, вскинул руки и зачем-то стал выправлять бороду и, когда выправил ее и она широко раскинулась по армяку на груди, ответил:

— Я?

Его превосходительство оторвался от крыльца, мягко ступая, подошел к старику:

— Земли захотел?

— Не для себя... Мне она, земля-то, зачем... Для меня и на погосте хватит.

— Что-о?!

Филипп Лодырь попятился назад, гордо вскинул плешивую голову и совершенно изменившимся, спокойным голосом сказал:

— Для внучат старался.

— Ты видишь вот эту скамейку? — спросил генерал-губернатор у Филиппа Лодыря.

— Не только скамейку, а и тебя, кормилец, вижу.

— Что-о-о?! Молча-ать, за-апорю... А если не выдашь главарей, р-растреляю! Ты знаешь этого жида? доктора?.. — спросил вкрадчиво губернатор. — Так вот где он?

— Главарей? Жида? Доктора? — повторил старик и развел руками. — Мы за землей шли миром...

— Что-о-о?! Раздеть! — тяжело затопал генерал-губернатор и быстро отошел от старика. — Выпороть!

Солдаты бросились к Филиппу, стали с него срывать армяк и шубу. Филипп дико рванулся от солдат, затряс бородой:

— Прочь! Прокляну! Вы что же, своих отцов, матерей приехали пороть, а? Приехали пороть?

Солдаты растерялись, выпустили старика, испуганно переглядывались. Возможно, что они почувствовали кровную правду в словах старика, возможно, что они сердцем познали, что в родных селах такие же, как и они, солдаты, может быть, внук этого старика и дети этой толпы порют их отцов и матерей за то же самое, что и они, как и этот старик и как вот эта толпа, захотели земли, захотели не для себя, для своих детей и внучат, чтобы им лучше жилось. Пока они так думали,

Филипп Лодырь, а за ним и рыжий мужик и чахоточный мужик с большими византийскими глазами кричали на крыльцо онемевшему генерал-губернатору:

— Подлец! Душегуб!

Офицеры бросились к губернатору, загородили его.

Толпа, как один человек, загудела, заколыхалась и двинулась вперед, прорвала цепь солдат, солдаты оказались в толпе, окруженными, и никак не могли вырваться.

Офицеры орали с крыльца, грозили, топали ногами, а когда на крыльцо упало увесистое полено и угодило в голову одного чиновника, они стали стрелять из револьверов в напиравшую толпу. Стоявшие в воротах казаки тоже открыли из винтовок стрельбу. Толпа вздрогнула, застонала, с пронзительным визгом бросилась назад, сбивая с ног солдат и оставляя позади себя убитых и раненых. Вся базарная площадь покрылась панически бегущим народом, и через каких-нибудь полчаса она была пустой, одинокой, и только изредка на ее непорочном серебристо-сиреневом снегу ползали раненые, которых расстреливали казаки и солдаты, валялись трупы убитых мужиков и баб, рдели пятна крови... Перед крыльцом трактира тоже было несколько трупов убитых и раненых и пятна красного снега, похожего на зрелый раздавленный арбуз, да еще все так же стоял Филипп Лодырь и кричал:

— Подлец! душегуб! пей нашу кровь! Всю выпьешь, а не выдадим тебе доктора, я один знаю, где он. Душегуб!..

На него никто не обратил никакого внимания, так как на крыльце была сильная паника, а была она оттого, что ранили его превосходительство и кто-то все время стрелял по крыльцу; офицеры опомнились только тогда,

когда один из казаков убил сидящего на корточках недалеко от трактира мужика, упорно стрелявшего с колена в офицеров и генерал-губернатора; бросились к убитому мужику, зарубив на пути Филиппа Лодыря, который с разрубленной пополам головой качнулся и, не торопясь, мягко ткнулся в снег и замер, обливая его горячей густой кровью; подбежали к мужику, но он, с подогнутыми под себя ногами, лежал на красном снегу книзу лицом. Один из офицеров потрогал его ногой и брезгливо бросил:

— Убит!

Казак перевернул убитого мужика кверху лицом.

— Живой.

На офицеров и на казака из темно-русой растительности иконописного лица смотрели большие, все такие же жадные византийские глаза. Казачий офицер отвернулся, остановился на винтовке, лежавшей рядом с убитым:

— Поднять!

Казак поднял винтовку.

— Срочно доставить солдата, который отдал винтовку этому негодяю.

В ночь, под охраной казаков и казацкого офицера, тяжело раненый его превосходительство выехал из Соломатова. Через три дня на смену казакам пришел полк пехоты, и непокорное село было обстреляно артиллерийским огнем, поголовно выпорото шомполами, а главари, за исключением Пылаева, Игнатова и Лидии Васильевны, были все пойманы и вместе с доктором, который не пожелал бежать и добровольно отдался в руки карательному отряду, были расстреляны на базарной площади и зарыты в одну братскую могилу.

Как только пришли в уезд войска, как только начались жестокие расправы над целыми деревнями и селами, доктор Евгений Бенедиктович и крестьяне настояли на том, чтобы Василий Пылаев, Василий Игнатов и Лидия Васильевна как можно скорее покинули Соломатово и скрылись. Пылаев, Игнатов и Лидия Васильевна долго сопротивлялись доктору и мужикам: они ни за что не хотели уезжать из села, ибо в жизни его принимали если уж не главное участие, то во всяком случае не последнее. Они все трое возражали самым категорическим образом и доказывали, что они вместе с крестьянами будут бороться против насильников, вместе с ними пойдут на пытки, которые готовит своим верноподданным царское правительство. Но доктор и жители села были неумолимы, они просто приказали, чтобы быть готовыми к утру, так как будут поданы подводы, которые отвезут их до определенного места и сдадут в надежные руки. Везти Пылаева, Игнатова и Лидию Васильевну согласился Филипп Лодырь и чахоточный мужик, тот самый, у которого было иконописное лицо, византийские глаза. Поздно вечером, когда разошлось собрание, оставшиеся в школе Пылаев, Игнатов и Лидия Васильевна упорно доказывали доктору, что он нетактично поступил с ними, нетактично заставил подчиниться большинству собрания и этим вынудил у них согласие, чтобы они немедленно выехали из Соломатова. Доктор настаивал на своем, упорно твердил одно и то же:

— Я совсем не желаю, чтоб вас, таких молодых, расстреляли или повесили на обгорелых княжеских столбах. Я желаю одного, чтоб вы как можно больше принесли пользы для революции.

Ему возразил Пылаев:

— А вы, Евгений Бенедиктович, разве с нами не поедете?

Евгений Бенедиктович сморщился, тяжело поднялся со стула и сердито стал ходить по комнате, теребя рыжую бороду.

— Глупости ты, Василий, говоришь. Слушать тебя не хочется. Ежели бы мне было столько же лет, сколько и тебе, то я нескоро бы дался в лапы опричников. Да, да, я поработал бы еще для революции. Теперь мне за шестьдесят стукнуло и время пришло умирать, а раз так, то не все ли равно, какой смертью умереть: естественной или неестественной. Вот, милый мой, какое дело! Надеюсь, — обращаясь к прочим, — вы теперь меня хорошо поняли, а?!

— Это только отговорка одна, а не... — возразил Пылаев и возмущенно поднялся со стула. — Вы сами хотите в петлю?

Доктор остановился.

— Совсем не хочу.

— Так в чем же дело?

— А в том, что я так прыгать, как ты, не могу: тяжел, да и старость в яму тянет.

Пылаев ничего не ответил. Лидия Васильевна горячо доказывала Игнатову, который сидел напротив нее, хмуро, исподлобья смотрел на доктора, на Пылаева и изредка отвечал Лидии Васильевне кивком головы. Доктор тоже замолчал и опять стал прохаживаться по комнате. В его толстой фигуре, на широком рыжем лице, в маленьких медных глазах было сильное волнение, и он никак не мог заглушить это волнение, спрятать в глубь своего нутра; он все время старался его рассеять ходьбой по комнате, шутливо-спокойным разговором

с Пылаевым, но он не клеился и тут же внезапно оборвался, и они оба умолкли и не знали, с чего начать. Доктор еще больше волновался, а также и Пылаев, у которого на глазах дрожали слезы и он был готов расплакаться, как маленький ребенок, и наверно бы расплакался, ежели бы доктор не поборол бы своего волнения, не сказал бы, подойдя к нему, полушутливого слова:

— Революция, Пылаев, не бабушкины сказки.

— Я их и не слушал, — соврал Пылаев и отвернулся от сухого и пытливого взгляда доктора.

Доктор ласково улыбнулся в рыжую бороду:

— Зря. А я, Пылаев, любил слушать сказки.

— Некогда было.

Игнатов и Лидия Васильевна тоже поднялись. Лидия Васильевна, взглянув на Пылаева, добавила:

— В сказках романтики много.

Доктор посмотрел на Лидию Васильевну.

— Я не о романтике говорю; я говорю, что в сказках и народных песнях больше правды и красоты, чем во всей нашей литературе.

— Я тоже так думаю, — согласилась Лидия Васильевна. — Я очень люблю народные песни.

Доктор ничего не ответил ей. Он круто повернулся спиной и грузно зашагал по комнате. Пылаев все так же стоял на одном месте, смотрел на доктора, на его широкую спину, на его короткую красную шею, на рыжий затылок. Пылаев что-то думал, что-то соображал и что-то собирался сказать, но он так ничего и не сказал, а возможно и сказал бы, ежели к нему не подошел бы опять сам доктор, не положил бы на его плечо руку с короткими толстыми пальцами; от прикосновения руки Пылаев вздрогнул и очень внимательно посмотрел на

доктора, в его медные глаза, сдавленные тяжело нависшими бровями. Пылаев сказал:

— Вы что, Евгений Бенедиктович?

Доктор еле заметно улыбнулся:

— Давайте прощаться. Возможно, что никогда больше не увидимся. Я очень рад, что имею таких хороших и стойких ребят...

Василий Пылаев крепко обнял доктора и три раза поцеловал его.

— Будьте покойны, доктор, мы никогда не забудем вас и знамя борьбы за освобождение высоко понесем.

— Вот этого я только и желаю. Я вполне уверен, что моя работа не пропала и я имею хороших учеников. — И он стал прощаться с Василием Игнатовым и с Лидией Васильевной, а когда простился, немедленно выбежал из школы и сутуло, по-стариковски, пошел к больнице. После ухода доктора молчание длилось бесконечно долго, все трое не знали, что сказать и что делать. Они все трое стояли посреди школы, смотрели на дверь грустными глазами, поджидая доктора, который вышел на одну минуту и должен был скоро вернуться; но доктор не возвращался, и страшная тоска все больше и больше забиралась в их сердца, выдавливала слезы, слезы подступали к горлу и больно душили. Лидия Васильевна опомнилась первой:

— Мы должны во что бы то ни стало увезти его с собой.

Ей никто не ответил. Оба Василия вздрогнули, сорвались с мест и стали прохаживаться по комнате; они оба думали о докторе: он был им ближе родного отца, ибо он отдавал все, чтобы только воспитать их, вывести на широкую дорогу; они оба никак не могли помириться

с той минутой расставания, о которой только что сказал сам доктор и ушел навсегда, громко хлопнув дверью. Игнатов остановился:

— Я пойду к нему, постараюсь убедить его.

Пылаев привалился к стене, вскинул голову и широко открытыми темно-синими глазами взглянул на Игнатова:

— Ходить к нему бесполезно.

— Это почему? — возразила Лидия Васильевна и, не получив ответа, вышла из комнаты в сени. Пылаев подошел к Игнатову.

— Он никуда из села не поедет. Он очень упрям, да и годы не наши.

Вошла Лидия Васильевна, посмотрела пытливо на них, потом прошла в свою комнату, но тут же вышла обратно, подошла к Пылаеву и Игнатову:

— Чай будем пить?

— Будем спать, — ответил Пылаев и между парт стал устраиваться на скамейках.

Лидия Васильевна, взглянув на Игнатова, обратилась к Пылаеву:

— Ты знаешь, Василий, что у нас с Игнатовым нынче брачный день и ты должен поздравить...

Пылаев оторвался от скамеек и взглянул на Игнатова. Игнатов густо покраснел, отвернулся от друга и рядом с ним принялся устраивать скамейки, потом стал стелить одеяло. Пылаев, не глядя на Лидию Васильевну, сказал:

— Первый раз слышу: мне ничего он не говорил.

Игнатов пробормотал, соглашаясь:

— Мелет она, чего не надо.

Лидия Васильевна бесшумно ушла в свою комнату, громко захлопнув за собою дверь. С первыми петухами были поданы две подводы. Филипп Лодырь долго и

громко стучал в дверь сеней, потом по раме окна. На его стук первым поднялся Пылаев, выбежал в сени, открыл дверь и впустил закутанного в армяк, в большую овечью шапку Филиппа Лодыря. Филипп Лодырь, перелезая через порог и вкатываясь в школу, заговорил мягким, нежным голоском:

— Проспали, голуби.

— Поздно легли.

— Нам надо к свету приехать на место.

Вошел в школу чахоточный мужик; его иконописное лицо остро и вдохновенно сияло из-за углов воротника кафтана, в особенности ярко блестели большие византийские глаза; он быстро окинул помещение школы, парты и остановился на Игнатове:

— Спит еще, да так сладко, а? — и кивнул головой Филиппу Лодырю:

— Буди его, а то к свету не доедем... буди.

Филипп Лодырь разбудил Игнатова. Игнатов быстро вскочил и побежал умываться в сени.

— Ребята, поскорее!

Лидия Васильевна вышла из своей комнаты совершенно одетой, с небольшим узелком в левой руке.

— Уже?

— Можно садиться, — бросил дедушка Филипп и, пропустив вперед себя учительницу, вышел за ней следом и стал ее усаживать на свою подводу. Пока она усаживалась, вышли и остальные — Пылаев и Игнатов, — они тоже стали устраиваться. Лидия Васильевна обратилась к Игнатову и предложила ему сесть на подводу дедушки Филиппа, с нею рядом, так как она не желает ехать одна и хочет с ним поговорить. Игнатов покорно согласился и молча стал усаживаться, а когда он уселся, мужик с византийскими глазами сказал:

— Вот это хорошо, а то у меня лошаденка немудрящая: я на ней за его мерином не успею... а теперь полегче будет.

Пылаев тоже сел, запахнулся бобриковой чуйкой, которая была еще сделана два года тому назад, когда ему очень часто приходилось по хозяйскому делу ездить в соседние уезды — Елец, Козлов, Ефремов и Липецк за товарами; из круглого воротника свиты торчал околыш каракулевой шапки, да смотрели большие темные глаза; смотрели они прямо на небольшую лошаденку, от которой пахло ре́зкой и ржаной мукой и которая покорно, как будто не живая, покрывшись инеем, стояла около школы с низко опущенной костлявой головой и с полузакрытыми глазами.

У Пылаева на́ сердце было тоже как-то странно: и не весело, и не скучно, а так себе, безразлично; он нисколько не сожалел, что он уезжает из села, в котором он прожил так много, в котором он так много страдал и так много получал подзатыльников от хозяев, от приказчиков и от тех, кому только не лень было колотить его в свое удовольствие и просто так, по привычке. Сидя в санях, он нисколько не сожалел, что он, возможно, уезжает из этого села навсегда и никогда в него уже больше не вернется, никогда не увидит веселых мужицких базаров с каруселью, мужицких пьяных песен, дубленых с позументами шуб, белоснежных женских шушпанов, жарко горящих позументами и гайтанами панев молодух, никогда не услышит особенного запаха бакалейно-мануфактурного магазина Игумнова и Керосинского, от которого сейчас остались одни деревянные стены, никогда больше не услышит базарного гама и шума, поросячьего визга, никогда не увидит больших синих глаз одной крестьянской девушки, которая очень часто заходила в магазин и к которой наперебой

бросались молодцы, чтоб отпустить ей товару, получше угодить ей, а главное, посмотреть на не-крестьянское лицо, в ее большие синие глаза, перекинуться нежными словами, бросить несколько заискивающих комплиментов ей, а когда она купит и возьмет товар, проводить ее до раствора и низко раскланяться с нею.

Впрочем, Пылаев знал, что эта девушка очень нравилась ему, он даже хорошо чувствовал, что за последнее время что-то зрело у него на сердце к ней, да и она сама, когда приходила в магазин, высматривала его, обращалась к нему, а когда подходили к ней другие молодцы, то она, густо краснея, говорила: «Мне отпустит вон тот приказчик». Приказчики отходили в сторону, с ехидной улыбкой и завистью говорили Пылаеву, и он, Пылаев, заливая лицо молодым румянцем, шел к ней и отпускал девушке требуемый товар... Но все это сейчас оторвалось и было далеко. Он, копаясь в прошлом, так размечтался, что даже не заметил, как они от'ехали от школы, проехали больницу, проезжали околицу и уже выезжали на большую дорогу, которая глухо гудела телеграфными столбами все одну и ту же заунывную песню, о скорби широких безрадостных российских равнин, о грязных, затерявшихся в нужде мужицких селениях и о многом другом, еще непонятном ему... Проехав больницу, он вздрогнул и громко крикнул:

— Разве мы к доктору не заедем проститься?

Чахлый мужик повернул к нему иконописное лицо, облил его большими жадными глазами.

— Не заедем? — спросил вторично Пылаев, но гораздо тише.

— Он не велел, — и мужик опять повернулся к лошади, взмахнул кнутом, и лошадь, испуганно вскинув задом, прибавила рыси.

Пылаев почувствовал, как при воспоминании о докторе ему стало не по себе, как у него больно-больно заныло сердце и по всему телу пробежала холодная дрожь, так что сразу и как-то странно озябли колени, онемели ступни и стали не его—чужими. Такое чувство продолжалось очень долго, пока они не проехали околицу, пока не скрылось из виду село с княжеским парком и обгорелыми столбами усадьбы и с большим мрачным домом, похожим на остов разбитого бурями корабля и выброшенного на берег, а когда скрылось село, где столько было прожито лет, все детство, Пылаеву стало опять мучительно больно, и он, чтобы позабыть эту боль, стал медленно, потом все сильней и сильней разминать ноги, думать совсем-совсем о другом, правда, о неясном на первый раз, но все же о другом, что ждет его и его друга Василия, едущего впереди с Лидией Васильевной и с Филиппом Лодырем, с этим дряхлым, но милым старичком, который весь как будто светится и показывает все свое многовековое горе...

Ночь была крепкая, звездная. Далеко по сторонам пели петухи. Полозья саней тяжело скрипели и визжали. Сани немного покачивало. И на душе Пылаева было странно темно и непонятно. Спать не хотелось. Медленно, словно покойники в белых саванах, проползали мимо саней запушенные инеем вешки, раскланиваясь:

— Всего хорошего, товарищи! — Но это только так казалось Пылаеву: вешки ничего не говорили, даже не раскланивались, они покорно стояли под тяжестью инея, медленно гнулись к земле, но Пылаеву все же казалось, что вешки раскланиваются и нежным шопотом говорят: — Всего хорошего, товарищи! — Мучительно страдая, Пылаев закрыл глаза, прислушался: пыхтит

мелкой рысцой, посапывает лошадка, изредка глубоко вздыхает мужик с византийскими глазами, подстегивает кнутом такую же чахлую, как и он, лошаденку, покрикивает: — Ау-у, мил-лая, потягивай! — Раскачиваются из стороны в сторону сани, похрустывают грядками и вязками, визжат и отчаянно шипят полозьями по прикатанной дороге, которая блестит полированной сталью, теряется в беспредельном океане снежного простора, отливающего темно-белой сиренью, на котором так хорошо, так отрадно быть одному, слушать музыку глубокой тишины, грустить и грустить о прошлом, а больше всего о будущем, которое так близко и даже можно видеть закрытыми глазами. Пылаев откинул назад немного голову, уперся затылком в кузов задка, открыл глаза: над ним еще царственнее, еще грозней висела необ'ятная чаша темно-синего полнозвездного неба, — уже много крупных предутренних звезд взошло на его высоту, и с этой недосягаемой высоты уже совсем отвесно падает молочно-золотистый столп сияния в стальную зеркальность глубокого снега, под которым так мирно отдыхает волнистый простор необозримых полей. При виде неба, его блистательной чаши, — от нее падал столп молочно-золотистого сияния, — Пылаеву стало грустно — боль сменилась на грусть — и он вспомнил свое детство, когда он ходил в церковно-приходскую школу, ребятишек, тяжелую нужду, вонючую избенку с одним окном, вечно грустную мать с большими сухими глазами, до жути молчаливую, а рядом с молчаливой матерью веселого, даже до озорства бесшабашного отца, которого никогда не пугала никакая нужда, никакое горе и который проходил свой жизненный путь необыкновенно радостно, с песнями, пляской и прибаутками, так что становилось

соседям весело, и они, глядя на него, забывали свое тяжелое горе, смеялись до упаду, до хрипоты:

— Ну и живет!

Другие вздыхали:

— Да-а, живет.

— Даже горюшко ему сладко.

— Слаще пряника.

Чувствуя, как у него горит лицо, Пылаев не пошевельнулся, он все так же смотрел на молочнс-золотистый столп сияния, все так же вспоминал свое детство, мать, отца, соседей, ребятишек, крупные звездные ночи, в которые он катался с крутой горы, от самой избы Евсенко и до мельниковой ограды. Он вспомнил одно катание, как он влетел в ограду, перемял малину, как выбежал мельник и здòрово отодрал его за вихор, — волосы он носил в скобку. Потом он вспомнил, как вырвался из рук мельника, как он рысью бросился в гору, как с глазами, полными слез, погрозил ему с горы кулаком, а через три дня выбил камнем стекло, за которое ему еще больше попало от матери, — отец его никогда не трогал, не наказывал, на жалобы матери только улыбался, ласково хлопал шершавой ладонью по его пухлым щекам и недовольно отвечал жене:

— Бить, кроме отца и матери, всякой сволочи и так много найдется.

— Молчи, голь! Он никому проходу не дает!

— Пожалеть только некому, — возражал отец и брал его на колени и принимался гладить белокурые волосы. Вспомнив это, Пылаев закрыл глаза, сладко до щемящей боли задумался об отце: он не видал его больше семи лет, и ему внезапно и очень захотелось повидать его, походить вместе с ним в морозные ночи по безлюдной дороге, подышать крепким арбузным воз-

духом, без конца слушать одну песню, которую он однажды пропел ему, а после пения сказал: «Не всегда твой отец бывает так весел, — это только соседи привыкли видеть в нем скомороха, а он бывает иногда, пожалуй, всегда, вот таким, каким ты его видишь сейчас». — Пылаев открыл глаза и зябко вздрогнул: перед ним одинокая ночная дорога, налитая дополна глубокой тишиной, высокое темно-голубое небо, осыпанное крупными бело-зелеными звездами, а рядом с ним, похрустывая подошвами лаптей по упругому насту снега, одетый в не один раз перешитую шубенку, легко и свободно идет его отец и восторженно поет ему:

Выхожу один я на дорогу.
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно:
Жду ль чего? Жалею ли о чем?
Уж не жду от жизни ничего я
И не жаль мне прошлого ничуть.
Я ищу свободы и покоя,
Я б хотел забыться и заснуть...
Но не тем холодным сном могилы:
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел;
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

Полозья сухо, однотонно скрипели по упругому снегу. На широкую дорогу, на беспредельные поля, что бежали от темно-сиреневой, отливающей сталью дороги, падал молочно-золотистый столп сияния, от которого на душе было прозрачно и хорошо, и Пылаев, вытягивая вперед ноги, прошептал:

В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сияньи голубом.

— Спите. Под утро всегда хорошо спится, — хлопая рукавицами и держась за задок саней, проговорил мужик с иконописным лицом.

Пылаев ничего не ответил, так как перед его глазами стоял отец, одетый в рваную шубенку, с глубокопотрясающим чувством пел ему песню и рассказывал еще о том, как по приказу барина Давыдова пороли его на конюшне, а через неделю после порки чуть не затравили борзыми собаками, которые сильно искусали тогда ему ноги, зад и наверно бы загрызли окончательно и тело растащили бы на куски, ежели бы не помешали ехавшие из города мужики, они, разогнав кнутами остервенелых собак, втащили его на телегу. За что его порол и травил помещик Давыдов, он не говорил сыну, но он хорошо знал, что его хотел затравить барин, — об этом часто рассказывали мужики и, рассказывая, смеялись над отцом: «Ну, расскажи, хорошо ли любила тебя дворянская дочь?» Отец не отвечал, он старался говорить совершенно о другом, желая отвлечь мужиков от неприятного для него разговора, который причинял ему много страданий. «Иду я нынче лесом, — начинал, бывало, он, чтобы замять шутки мужиков, — а волк мне навстречу, да здоровенный такой, матерой. Я от него задом пячусь, а он, высунув красный язык, за мной идет, зелеными глазищами меня всего ощупы-

вает...» А мужики ему на это: «Ты зубы-то нам не заговаривай. Ты нам лучше расскажи, как тебя барин в гости принимал, как он тебя потчевал за милую дочку, а?» А он все свое: «Смотрю я это, братцы, а это не волк, а, прости господи, Анчутка, — продолжал отец и, стараясь отвлечь мужиков от своего прошлого, он смешно коверкал свое выразительное лицо, обросшее светло-рыжей продолговатой бородой, опускал большие светлые глаза и начинал размахивать руками, — настоящий Анчутка, с рожками и похож он на козла Сергеевны...»

Мужики упрямо настаивали:

«А ты нам дурака-то не валяй; ты расскажи нам, чем ты приколдовал баринову дочку, а?»

Тут, поворачиваясь к мужикам спиной, отец уходил к своей избе, садился на завалинку, грустно смотрел на синее небо, тихо насвистывал себе под нос: «Надо мной чтоб, вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел». Мать ему тоже не раз об этом напоминала, даже зло напоминала, но он никогда ничего не отвечал ей; он так же, как и от мужиков, спокойно поднимался с коника, уходил на улицу или на гумно, иногда в сарай, и там принимался что-нибудь делать по хозяйству, которое было у него «из рук вон плохо», да и он не особенно старался заводить его, чтобы оно было лучше, как у «порядочных» мужиков: ему было просто скучно от жизни, от своего хозяйства...

— Вот и рассветает, — сказал мужик и взглянул на Пылаева жадными византийскими глазами.

Пылаев вскинул голову:

— Рассветает?

— Видишь, как бело стало, и звезды меркнут, и третьи петухи откричали.

Пылаев встретился с сияющим взглядом мужика, почувствовал, что это не отец, а другой, который упорно настаивал, чтобы он как можно скорее уехал из села. Глаза этого мужика были необыкновенно прекрасны, цвели каким-то особенным цветом, так что от его глаз была прозрачна вся его небольшая чахоточная фигура и так же, как и фигура Филиппа Лодыря, говорила о многом: о своем страдании, о вековом горе, которое уже стало не под силу больше нести, о побоях, что багряными шрамами и ссадинами лежали на хребте и на всем его высохшем теле... Говорить было не о чем: было все поразительно и без слов понятно. Но Пылаев сказал:

— Озябли.

— Холодно, пока лошадь идет на взволок, я погреюсь, — и он, размахивая перед собой руками, громко хлопал рукавицами.

— Я тоже вылезу, — сказал Пылаев и вылез из саней. — А где же другая подвода?

— Другая? А во-о она чернеется.

Пылаев внимательно посмотрел на дорогу: впереди действительно чернело небольшое пятно и ползло к лесу. Лес стоял высокой туманной стеной: сейчас он был больше похож на остывшие волны тумана, чем на лес.

— У Филиппа лошадь хорошая, шаговитая, а моя недоступа, хотя и часто семенит ногами.

Пылаев, идя рядом с мужиком, не заметил, как пришел рассвет, как пропал молочно-золотистый столп сияния и вместо него низко-низко висело мутно-сиреневое небо, без звезд и месяца, как впереди и по бокам дороги лежали поля, но не те, что были ночью под чудным сиянием беспредельно высокого звездного неба; были

другие, небольшие клочки, которые резко упирались краями в недалекие горизонты упавшего неба, до каковых можно рукой подать, и Пылаеву от этого стало как-то опять не по себе — скучно, а главное все то, что грезилось в санях: отец, мать, деревня, звездные ночи, гора, ребятишки, чудная песня, — провалилось вместе с ночью, с молочно-золотистым столпом, кануло навечно в Лету, откуда уж больше никогда не вернется и не встанет перед его глазами... Ехали уже давно лесом, заканчивали гору. Дорога была в лесу узкой, все время извилистой, но хорошо наезженной, так что сани, точно кусок сала на горячей сковородке, скользили, поскрипывая грядками и полозьями. Лошадь часто задевала дугой за ветви деревьев, и крупный, сверкающий светло-зелеными огнями иней летел на лошадь, которая вскидывала головой и фыркала, на сани, на мужика и на Пылаева, так что они оба, когда иней попадал на лица или за воротники, зябко морщились и вздрагивали. Шли они рядом за санями и в ногу, но пока они были в лесу, не сказали друг другу ни одного слова и только тогда, когда выехали на гору и под'ехали к концу леса, от которого было видно большое село с зеленой церковью, на колокольне которой, повыше креста, висела золотая корона, — чахлый мужик бросился от Пылаева, побежал вперед и, обогнав свою лошадь, громко крикнул передней подводе:

— Дядя Филипп!

Передняя подвода остановилась; бегом к ней подбежал чахоточный мужик и что-то сказал Филиппу Лодырю; Филипп, кивнув головой, замахал кнутом, и его лошадь рысью побежала под гору к селу; когда подвода Пылаева поровнялась с хозяином, поджидавшим ее, Пылаев спросил:

— В чем дело?

— В этом селе живет становой пристав... И мы решили в об'езд и вязовской дорогой, а то, чего доброго... — и он быстро вскочил на сани и, громко стуча рукавицей об рукавицу, замахал руками, отчего он был похож на большую потрепанную птицу. От его шума лошаденка побежала тоже рысью, сани визгливо запели полозьями, заскрипели грядками и задком свою скрипучую песенку. Лес остался позади. Опять раскинулась снежная равнина русских полей, но она уже не казалась такой, какой казалась ночью под высоким звездным небом, а небольшим кругом, стиснутым недалекими горизонтами низкого бледно-синего неба, на левом горизонте которого смешно копошилось желтое пятнышко солнца и медленно двигалось за санями, скучно отражаясь на бледно-сиреневом снегу. На этой небольшой равнине полей, сдавленной близкими горизонтами и низким небом, безрадостно темнели из-под снежных крыш постройки сел и деревень, лозины, березы, ометы соломы, высокие своеобразные крыши риг и сараев. Глядя на эти села и деревни, на душе становилось снова тяжело и холодно, мучительно хотелось затеряться навсегда в прошедшей звездной ночи, бродить без имени и пути по ее сиреневым снегам, любоваться молочно-золотистым столпом сияния и радостно, любуясь этим столпом до захода солнца и до первых петухов, подниматься ввысь и вместе с звездами плавать в неизвестном пространстве, — так хотелось сейчас Пылаеву. Он как будто только сейчас увидал всю ненужность человеческой жизни, нет, не человеческой, мужицкой: ведь мужики не жили в этой жизни, под бледным небом, на этих жалких выветренных косогорах и холмах, возле вшивых и грязных реченок, а мучились в нищете во

вшах, в грязи, на земляном полу вместе с поросятами, с такой же чахлой скотиной, как и они сами, и в тяжелом сне проводили длинные ночи, никогда не любуясь высоким звездным простором, который зимами бывает необычно торжественен и чудесен своей четкой недосягаемой глубиной. Они в эти зимние ночи видят страшные сны, бредят колдунами и ведьмами, которые за многие столетия жизни выросли в великанов, свободно разгуливают по земле, делают злое и доброе дело, чтобы смутить православный народ, втолкнуть его в муки вечные — к дьяволу в самое пекло, — об этом говорил недавно соломатовский поп, об этом говорил с амвона и вязовский поп, об этом говорил и авдуловский поп. Под впечатлением поповских проповедей села и деревни видят кошмарные сны, ведьм и колдунов, даже дьявольское пекло и самого Анчутку с огромными железными вилами, которыми он загребает грешников в свое мрачное и смрадное царство. Думая об этом, Пылаев громко рассмеялся и тут же подумал: «Чепуха! Откуда я это взял, что села и деревни видят такие сны, а в снах — ведьм, колдунов и чертей?»

Тут он вспомнил свою старую бабушку, которая ему рассказывала про сны, про ведьм, колдунов, про лохматых чертей, про чортово пекло, приготовленное для лентяеев-мужиков, и ему стало обидно и смешно. Он посмотрел на деревню, что была в стороне, недалеко от дороги, и подумал: тихо, как в пустыне, и только из придавленных крепко к земле изб мутно-белыми жгутами поднимаются высокие столбы дыма и в вышине, под самым небом, расползаются и сливаются в одно целое, образуют мутную пелену, загораживают ею небо, желтое пятно солнца, которое робко поднималось к зениту, холодно и безразлично смотрело на эту равнину, на

жалкие, занесенные снегом селения, о каковых много лет тому назад писал один поэт: «Эти бедные селенья, эта русская природа»... И вот эти русские селения, задавленные нуждой и грязью, начинают терять веру в царство божие, берут топоры, вилы и грозной лавиной идут на выхоленные своим потом, молоком, слезами и кровью дворянские гнезда, пускают петуха, сажают на вилы воздушных девушек, полнокровных женщин, изящных и необыкновенно культурных барчуков и бросают в пламя пожаров... Пылаев, посмотрев на чахлого мужика, который так бережно вез его, вспомнил доктора, когда он возражал Лидии Васильевне относительно роли мужика в нашей революции. Лидия Васильевна говорила тогда:

— Россия страна крестьянская и общинное землевладение имеет глубокое значение для крестьянства, а раз это так, то строительство социализма принадлежит не рабочему, а мужику...

Доктор на эти слова громко смеялся и беспощадно высмеивал Лидию Васильевну:

— Крестьянство не может быть во главе строительства социализма, оно пойдет только на революцию, но не в таком смысле, как мы понимаем революцию, а за землю, за захват земли, за уничтожение помещиков, как своих врагов, а дальше — стоп: сядет на землю и будет сидеть на ней, как собака на сене, и ни одним пальцем не пошевельнет, чтобы помочь в борьбе рабочим, чтобы углубить больше революцию, укрепить ее на известном под'еме... И рабочим, в силу необходимости, придется звать за собой крестьянство...

«Верно ли, что мужику нужна только одна земля? Верно ли, что он возьмет вилы, когда рабочий поведет его к социализму? Ленин пишет совсем другое: в союзе

с мужиком...» — подумал Пылаев и задумался. Лошаденка трусила небольшой рысцой; сани покачивало из стороны в сторону; Пылаев был, как в зыбке, покачиваясь туловищем то в одну, то в другую сторону; полозья все так же тянули свою скрипучую песенку, все так же скрипели, стонали грядки и доски задка от тяжести спины Пылаева и готовы были развалиться на дороге, отливающей белой сталью. Спина у мужика была белой от инея; в инее был поднятый воротник армяка, в особенности его углы и края; лошаденка тоже была белой от инея, от ее головы и спины шел пар, а ремни шлеи как-то смешно хлюпали и были грязно-желтыми от тающего инея и пота. Мужик сидел у передка и, изредка хлопая рукавицами, понукал лошадь. Пылаев обратился к нему:

— Озябли?

Мужик, не поворачивая головы, ответил:

— Нет, — и показал кнутовищем в сторону. — Это имение помещика Стаховича, а вон туда подальше — князя Голицына... Да-а, сожжены вдрызг... одни столбы чернеют.

Пылаев посмотрел на усадьбы.

— Да, одни черные столбы.

— Теперь хорошо бы землю поделить, да снег мешает, а он нонче, как на зло, дюже глубок.

— Да, снегу много.

— Старики говорят, что это к хорошему году, к урожаю... — Тут он замолчал, так как под'ехали к крутой горе и нужно было спускаться под гору, — гора была сильно раскатистой, сани заносило вперед лошади и даже поворачивало лошадь назад, поэтому мужику и Пылаеву пришлось выйти из саней и итти рядом, придерживая сани, чтобы они не раскатились и не сшибли

лошадь. Отставая от передней подводы и выжидая, когда проедет вторая, Лидия Васильевна крикнула Пылаеву:

— Не замерзли?

Пылаев улыбнулся.

— А вы?

Лидия Васильевна махнула рукой:

— Прошу назад не оглядываться.

Проехав гору, остановились в низине, на льду, напоили лошадей в реке Красивая Мечь, потом поехали в гору. Всю гору шли пешком и вместе. Филипп Лодырь был похож на дедушку мороза; его белесые глаза весело смотрели то на Пылаева, то на Игнатова, то на Лидию Васильевну и все время что-то хотели сказать, но никак не могли, — все улыбались, и только когда выехали на гору и показалась опять изумительно белая сказочная стена леса, он проговорил.

— Садитесь: скоро будем на месте, — и остановил своего мерина.

Остановилась и лошаденка чахлого мужика и вяло стала дергать сено из задка первой подводы. Лидия Васильевна крикнула, садясь в сани:

— Голову не откусит?

— Ничего, — ответил мужик с византийскими глазами и в свою очередь крикнул Филиппу Лодырю. — Готово, езжай! — А когда подводы тронулись и легко покатились по лесной узкой дороге, он повернулся к Пылаеву, облил его синим светом: — Не верится, что мы землю возьмем.

— Все зависит от рабочих и войска, — ответил Пылаев.

Мужик, не слушая Пылаева, говорил свое:

— А земли страсть как много бы нам досталось: у нашего князя семь тыщ десятин пахотной да лугов с лесом около тыщи, ежели не больше.

Незаметно проехали лесок, опять спустились к реке Красивая Мечь, поехали около берега по гладкому, как по хорошо пробеленному холсту, льду, проехали Красивую Мечь и в'ехали в небольшую деревушку Выселки, в которой было так же тихо, пустынно, как и в лесу, и только когда под'ехали к одной деревянной избушке с двумя маленькими дырочками окон, заваленными на три четверти навозом и снегом, и вышли из саней, послышался резкий надтреснутый женский голос:

— У-у, дьявол, глаза твои накройся! Я тебе покажу, как шляться по дворам и картежничать... Я тебе покажу!..

Женскому голосу робко отвечал детский голос:

— Что ты ко мне пристала, я и не думал играть.

Женщина стучала палкой об бревна и все так же громко кричала:

— Сию же минуту слезай, дьявол, а то до смерти отдеру, подейся тебе... Я не тебе говорю-то, а?

Филипп Лодырь открыл сени, остановился на пороге:

— Здорово, дочка-а!

Женщина недовольно отошла от стены, повернула голову к двери:

— Это еще кто? — и опять бросилась к стене. — Я не тебе говорю, дьявол, слезать-то, а?!

— Ты что же, дочка, отца не узнала, а? Не хочешь его принимать? — вваливаясь в сени, полушутливо, полусерьезно говорил быстрым мягким говорком Филипп Лодырь. — Не хочешь, а? Вот дела-то какие!

Женщина бросила палку и, узнав отца, ласково засмеялась.

— А-а, и вправду батя!

— А ты думала кто ж: побирушка, что ли, а? Принимай, в гости приехали. А хозяин где?

— Ой, что-то вас так много! А это, кажется, Васятка... — вскрикнула она и быстро бросилась в избу и позвала за собой гостей.

Гости вошли в избу и стали раздеваться. От их прихода в избе стало тесно и на время холодно. Пылаев разделся первым, повесил чуйку около двери на забор чулана и сел, забравшись почти под самые святые, на коник. Рядом с ним села Лидия Васильевна, она облокотилась на стол и стала рассматривать избу. Игнатов сел около стола на лавку; Филипп Лодырь вышел обратно на улицу к лошадям и вместе с чахлым мужиком стали убирать лошадей. Через несколько минут боязливо вошел в избу лет десяти мальчишка, одетый в отцовский теплый пиджак, который неуклюже висел на нем и так был длинен, что полы и рукава касались до земли и он то-и-дело поддергивал полы под подпояску, чтоб они не сползали, в старинную овчинную шапку, шерсть из которой неизвестно когда вылезла, а оставшаяся к макушке так свалялась, что трудно было различить, какому она животному или зверю принадлежала, и в большие валенки, подшитые не один раз, носки которых гордо смотрели кверху и были похожи на короткие лыжи. Мальчик, косясь белесыми глазами на делавшую что-то в чулане мать, остановился около двери и, привалившись к забору чулана, постоял немного. В избе было грязно, пахло сыростью, коноплей и какой-то неприятной кислотой. Из-под кута высунулась голова небольшого поросенка; он поднял розовый с темными дырками пятачок кверху и маленькими серыми глазками из-под желтых жестких ресниц стал внимательно осматривать странных гостей; осмотрев их всех, остановился на парнишке, ласково и немного стонущим голоском хрюкнул, потом вынырнул из-под кута и бегом

через всю избу к его ногам; подбежав к нему, остановился, поднял еще выше пятачок и еще громче захрюкал. Парнишка посмотрел на гостей, потом сел на корточки к поросенку и стал его почесывать грязными пальцами с черно-сизыми ногтями. Поросенок сладко закрыл глаза, вытянулся и, откинув в сторону вместе с пронзительно неприятным запахом облезло-розовый хвостик, блаженно развалился около его ног. На этот раз поросенку наслаждаться пришлось недолго: из чулана вышла хозяйка, остановилась на сыне:

— Явился, мерзавец, а?!

Мальчишка быстро вскочил, нахлобучил шапку и попятился к двери; поросенок тоже тревожно полуоткрыл глаза и вскинул от земли голову и, полежав в таком положении одно мгновенье, быстро вскочил и рысью бросился под кут, где своим испугом растревожил кур и петуха, которые недовольно заквохтали. Петух высунул в трещину черную голову с ярко-малиновым гребешком и, тряся такой же бородой, небрежно посмотрел на гостей.

— За что ты его? — спросила Лидия Васильевна, — он такой смирный мальчик.

— Смирный, — протянула женщина, — вы бы, барышня, посмотрели только на него... Он скажи, дьявол, глаза его накройся, вам спасибо, что вы приехали, а то бы быть ему дратому!

— Бить детей не стоит, — ответила Лидия Васильевна и улыбнулась мальчику: — Ты что это набедокурил?

Мальчик шмыгнул шумно носом, сурово покосился на Лидию Васильевну, потом на мать и, поняв, что гроза прошла, быстро прошмыгнул мимо матери к куту, сбросил пиджак, валенки и, сверкая блестящими розовыми пятками и посконной без пояса рубахой с красными

ластицами подмышкой, нырнул на печку, с которой и без него внимательно смотрели три пухлые голубоглазые рожицы, громко подергивая курносыми носами. С приходом четвертого мальчика на печке стало тесней, послышалась возня, редкие недовольные голоса:

— А ты...

— Пусти, я лягу к борову.

— А ты не толкайся, а то я мамке...

— Она табе вздерет.

— Небось, не вздерет.

Мальчик, что только взобрался на печку, протиснулся к борову, возле которого было теплее, гораздо лучше наблюдать за чистыми городскими гостями, оттер младшего мальчика и важно развалился, свесив голову с копной овсяных волос, подстриженных в скобку; оттертый мальчишка ударил его по спине кулаком и недовольно заорал:

— Мамка, он дерется!

Женщина подошла к печке и погрозила:

— Вот стащу с печки...

— Это Мишка дерется и меня от борова оттащил...

Женщина сердито приказала:

— У, жеребец, я тебе ужо покажу... Сейчас освободи!

Мальчик, дергая носом, забился в угол; к борову опять пробрался младший и удовлетворенно свесил голову с такой же копной волос, как и у старшего, но только с более грязным носом, чем у старшего мальчика. Женщина отошла от ребят, прошла в чулан к печке и снова принялась работать над самоваром, так что клубы мутно-желтого дыма и огня рвались кверху, точили глаза ребятишек, которые уже сидели спокойно и без толчков, а только дергали грязными носами. В избу вошли Филипп Лодырь, чахлый мужик с византийскими

глазами и зять Филиппа Лодыря, хозяин избы и муж этой женщины. Хозяин подошел к Лидии Васильевне, отрекомендовался:

— Федор, а по батюшке — Михалыч. — Потом поздоровался с Пылаевым и Игнатовым, потом спросил, долго ли и хорошо ли ехали, не замерзли ли, не попадались ли в дороге казаки, потом неожиданно от казаков, которые «язви их мать, порют нашего брата — мужиков; ох, и здорово порют», перешел почему-то на волков, от которых никакого отбоя нет и которые к Луке Евстигнееву на этой неделе забрались по насту, которого надуло «страсть сколько», на крышу двора, а с крыши — шасть во двор и зарезали двенадцать штук овец и только одну, дьяволы, сожрали, а остальных сложили к стене друг на друга, чтоб было удобнее взять, но взять не пришлось, так как двор был высок и сами очутились в западне.

— Это как так в западне? — спросил чахоточный мужик. — Не убежали?

— Никак, язви их мать! — засмеялся Федор Михайлович. — На утро Лука Евстигнеев со всей семьей вышел на них.

— И что же?

— Всех перекололи, — ответил хозяин и быстро вскочил со скамейки, бросился к бабе в чулан и оттуда, — матерые были.

— А сколько их было? — спросил чахоточный мужик и, выбрасывая мерзлые сосульки из бороды, прошелся по избе, потом остановился около чулана, заглядывая в него. — Самоварчик ставите, это хорошо, а еще было бы лучше, ежели бы... Эх, мать честная, ну и холодно нынче!

Мужик выбежал из чулана, расплылся в улыбку:

— Ежели желаете, я с большой охотой сбегаю.

Филипп Лодырь крякнул и, исподлобья глядя на зятя, приятно стал потирать ладони. Пылаев, взглянув на Филиппа, улыбнулся; Филипп Лодырь тоже улыбнулся. Пылаев достал из кармана бумажку и подал хозяину. Федор Михайлович, протягивая руку за трешницей и держась за один ее край, запротестовал:

— Прошу не беспокоиться.

Филипп Лодырь вскинул волосатое лицо, мокрое от сосулек, и хлопнул зятя по плечу:

— А ты, голубь, не торгуйся, а бери, пока дают.

Федор Михайлович просиял, повернулся к тестю и громко проговорил:

— Уж больно тесть у меня хорош, ей-богу, лучше отца родного люблю! — Лицо у хозяина было смуглое, с сочными, толстыми губами, и они густо рдели из угольной небольшой бороды, с горбоносым, средней величины, носом, с круглыми медными глазами, которые были на выкате, так что зениты зрачков стояли наравне с густыми черными дугами бровей и были хитрыми: из них почти всегда сыпался искристый смешок; этот смешок и сейчас, когда он расхваливал тестя, обильно сыпался на гостей.

— А ты, голубок, беги и не цыгань!

— А что я... Я минтом слетаю... — и он шумно выбежал из избы, промелькнул серым пятном в небольшой скважине окна.

Филипп Лодырь поднялся с коника, достал из-под стола мешок, возле которого уже давно увивалась дымчатая кошка с белой шеей, с облезлым носом и ушами, развязал его и достал из мешка другой мешок и, развязав и его, вытащил фунтов пятнадцать свинины и, подавая дочери, сказал:

— Феклуша, а Феклуша.

Феклуша вышла из чулана, взяла свинину:

— Это зачем?

Филипп Лодырь мягко, душевно:

— Зачем?! А ты, дочка, бери, бери, милая, пока дают, пока жив твой папашка, а то с радостью бы взяла, да не от кого будет. Бери, так-то вот! Бери.

Феклуша была небольшого роста, ничем особенным не выделялась из крестьянских женщин; она была не хороша собой и не плоха, а так, как принято говорить, «середка на половинке», но если всмотреться в ее глаза, то вполне можно ее отличить от других женщин и сказать, что она—женщина приятная и сердце имеет доброе.

— Так что ж из этой свинины-то делать? — держа на ладонях и прикидывая на весу и на уме тяжелый кусок мяса, спросила Феклуша у отца. — Поджарить, что ли?

— Валяй, дочка, кулеш; остальное, что останется, — себе, — ответил душевно Филипп Лодырь и направился к печке. — Эй вы, пескари, деду можно погреться, а?

Ребята засопели, завозились; старший, на которого кричала мать, приподнял овсяную голову:

— Лезь вот сюда, к борову; тут хорошо, а я слезу.

— Ай да Миша, вот так внучок! — и Филипп Лодырь поднялся на кут и, кряхтя и опираясь одним носком валенка в печурок, а коленом другой ноги на острый край печки, полез на нее, показывая широкие огузья тяжевых порток, а когда влез на печку, очень круто повернулся и, кладя голову на подушку, которую было трудно отличить от цвета печки, радостно растянулся около борова. — Вот это славно; спасибо, внучок, спасибо, — потом перешел на похвалу печке: — хорошо, лучше русской печки ничего на свете нет, ничего, ей-богу. Она, матушка, греет, она, матушка, всегда ласкова бывает

к мужику, особенно к старикам... Да-а, хорошо, всю бы жизнь, Мишка, пролежал бы на печи.

Филиппа Лодыря перебил средний внук:

— Папка все время лежит.

— Ну, так и все время лежит?

— Все время, — подтвердил мальчик и добавил: — И за это с мамкой почти каждый день ругаются.

Филипп Лодырь ничего не ответил внуку и сладко захрапел. В избе было тесно и душно, пахло кислым, зассанным земляным полом, поросенком, куриным пометом, дублеными шубами. Поросенок снова осмелел, вышел из-под кута́ и, похлестывая себя по тощему розовому заду пестиком хвоста, торопливо расхаживал по избе, обнюхивал гостей, ласкался боками об их ноги, подходил к Феклуше, поднимал острую голову, рвал ее за край паневы и обиженно визжал, требуя еды. Феклуша шлепала поросенка ладонью по тощему заду, и он с визгом отбегал от нее, прятался под кут и, пробыв там минуту, опять выбегал, опять обнюхивал гостей, опять подбегал к Феклуше, трепал ее за подол паневы, требуя корма. Увидав корм, выбежали куры и, вытянув острые головы и удивленно поглядывая на гостей, гордо вышагивали к поросенку, который, причмокивая сочно, возился в корыте. Первым к корыту подошел черный петух с ярко-малиновой бородой, с большим гребешком и, косясь черными в огненной оправе жемчужинами глаз, вытянул шею к месиву, но от сердитого окрика поросенка тут же ее отдернул обратно и, дрожа густым гребешком, похожим на цветок татарника, грозно закудахтал. Стоявшие позади его куры тоже опешили, тоже вытянули головы, насторожились. Поросенок передними ногами находился в корыте и, шумно чавкая, работал пятачком и не обращал никакого внимания на

петуха и кур. Петух осторожно обошел поросенка, который почти весь сидел в корыте, кроме задних ног, остановился напротив его головы и со всего размаху долбанул его в голову около глаза, так что поросенок шумно вылетел из корыта и, разбрасывая по сторонам месиво, бросился за петухом, но недалеко, и тут же снова вернулся к корыту, а курам и петуху это было и нужно: они быстро стали подбирать месиво с пола, а когда подобрали, петух опять гордо направился к поросенку... Пылаев так заинтересовался поросенком и петухом, что совершенно не заметил, как вернулся обратно хозяин, как он поставил на стол две бутылки водки; он только опомнился, когда Федор проговорил: «Вот она, милая!» поднял голову, взглянул на Федора Михайловича, на бутылки, что стояли как раз против него, на Игнатова и на Лидию Васильевну, которая сидела с ним рядом и тоже смотрела на петуха, на поросенка, который от удовольствия ловко вертел хвостиком, — он, Пылаев, улыбаясь, обратился к Лидии Васильевне:

— Вы тоже петухом залюбовались?

Лидия Васильевна подняла голову, засмеялась:

— Я?

— Да.

— Нет. Мне просто было интересно смотреть, как он гордо и важно шел к поросенку.

— Петух замечательный, — вмешался Федор Михайлович и пустился философствовать: — умный, бестия, а драться мастер, так что соседи грозят убить.

— Это за что? — спросила Лидия Васильевна и взглянула на хозяина, который стоял около стола и был сильно похож на цыгана.

— Одному глаз выбил, другому...

Пылаев, обращаясь к Лидии Васильевне, перебил Федора Михайловича:

— Я думал, что вы, глядя на поросенка и петуха, изучаете и отыскиваете путь к социализму...

Лидия Васильевна густо вспыхнула, недовольно посмотрела на Пылаева, потом на Игнатова.

— Что вы этим хотите сказать? Вы что же, хотите заменить собой Евгения Бенедиктовича?

Пылаев смутился и густо покраснел:

— Вы так внимательно все наблюдали... Я просто сказал...

Чахлый мужик, все время сидевший спокойно и смотревший в землю, а возможно тоже на петуха и поросенка, вскинул иконописное лицо и посмотрел жадными глазами на Пылаева.

— Ты что же, Вася, не веришь в мужика?

От неожиданности такого вопроса Пылаев еще больше смутился, еще больше покраснел и не знал, что ответить мужику, сказавшему так неожиданно и поймавшему его на неверии к мужику, что он пойдет к социализму.

— Если бы я не верил, то я не работал бы с вами, — волнуясь и еще больше краснея, возразил Пылаев. — Я просто неудачно выразился.

— Я это хорошо знаю, — ответил мягко мужик. — Я не сторонник партии эсеров. Я больше сочувствую рабочей партии; я знаю, что мужик темен до жути, жаден до земли, а раз так, то он, возможно, дальше земли и не пойдет, остановится и потонет в этой земле, как вот этот поросенок в корыте.

— Я ведь этого не сказал, — возразил Пылаев и что-то хотел еще сказать, но его остановил с печки неожиданно проснувшийся Филипп Лодырь и просил его

обождать и выслушать, что скажет мужичок, и Пылаев замолчал и покорно стал слушать. А мужичок с иконописным лицом говорил:

— Я не эсер, за эсерами, — тут он обратился к Лидии Васильевне и попросил ее не обижаться, — никогда не пойду, так как я хорошо знаю, что дай только нам землю, и мы в нее зароемся и будем похожи вот на этого поросенка, и нисколько не лучше...

Федор Михайлович громко закашлялся, отвернулся к двери, а когда откашлялся, он шумно сплюнул к порогу и, растоптав плевок лаптем, обратился к говорившему мужику:

— Это почему мы зароемся, а? Да ты только дай мне земли столько, сколько мне полагается, и я, брат ты мой, такую тебе покажу социализму, что не хуже Стрыгалкина лавку заведу и чай буду с сушками пить. Так-то вот! Я, брат ты мой...

— А ты сиди, цыган, — высунув голову из чулана, огрызнулась на мужа Феклуша, — тебе только на печке лежать да огузья парить, прости господи, да и ты, милая барышня, не взыщи с меня, бабы, — а то лавку не хуже Стрыгалкина... Молчал бы лучше!

Хозяин осекся; он равнодушно посмотрел на жену, равнодушно пошел к порогу выбивать нос.

— Обязательно зароемся, — продолжал чахлый мужик, — и ни к какому социализму не придем, а вас, Лидия Васильевна, перепорем вилами.

Лидия Васильевна засмеялась:

— Вы повторяете доктора!

— Зачем доктора, я говорю то, что думаю и знаю. Я знаю думу мужика: его думы дальше земли не распространяются... Он социализм мыслит только в грубом захвате земли...

— Вы тоже, значит, не верите в мужика, как и Пылаев, и зачем же вы все это говорите?..

— Как зачем? — дернулся с лавки мужик и облил Лидию Васильевну глазами.

— А так; вы не возражаете Пылаеву, поддерживаете его неверие в мужика... Вы то же самое утверждаете, что говорит он...

— Совсем нет, — возразил чахлый мужик, — я возражаю и говорю ему, что земля мужику нужна и обязательно нужно отдать ее ему...

— Кто же против этого возражает? Никто!

— И итти вместе с рабочими. И я, как мужик, в рабочих верю, так как они больше спаяны, больше организованы...

— Опять никто не возражает, — вставила Лидия Васильевна. — Мы и говорим: надо бороться вместе.

Филипп Лодырь свесил плешивую голову с подушки, так что борода закрывала до половины печурок, очень внимательно слушал мужика и Лидию Васильевну, все время вздыхал и крякал, а когда мужик запутался и не знал, что ответить Лидии Васильевне, он быстро соскочил с печки, смешно подбежал к столу, остановился, сощурил добрые лучистые глаза, прокашлялся и заговорил:

— Голубки, посмотрю я на вас и подумаю: хорошие ребята, а жизни еще мало знаете, дюже мало, а это плохо, совсем плохо, милые мои. Да-а. Это я вам, не в обиду будь сказано, верно говорю. Послушайте старика, который пошлялся по матушке России и много перевидел, а еще больше испытал на своей спине, — и он нежно похлопал себя по загривку. — Ох, и много: и били его, и в остроге парили, и на конюшне драли... Да-а, а сколько он тыщ пудов перетаскал, одному только

богу известно, ежели он, батюшка, существует. Да-а, и за все это — Лодырем прозвали, а моего друга Вавилу за то, что он рано надорвался от работы и все время хрипел от ней, прозвали Хряком.

Тут чахлый мужик взмахнул рукой и что-то хотел сказать, но ему не дал сказать Филипп Лодырь. — А ты, голубок, сядь и не мешай, когда говорят старики, — и он опять стал продолжать: — Земли много у дворян и у князьев? Много. Выгнать всех дворян надо? Надо. Фабрики, заводы, шахты надо отобрать? Надо! Дворян и купцов всех перерезать надо? Надо.

— И Стрыгалкина! — вставил Федор Михайлович. — А ежели мне земли достанется много, я открою лавку...

— Отстань, — отмахнулся рукой от зятя Филипп Лодырь. — И после этого останутся в России одни мужики и рабочие, а все это — земля и фабрики, заводы и шахты...

— Леса и воды, — вставил мужик с жадными византийскими глазами.

—... все, все к услугам рабочего и мужика. — И Филипп Лодырь вскинул кверху палец, лукаво посмотрел на Пылаева и на Лидию Васильевну. — Вот на этом, голубки мои, на свободном раздольи надо будет отыскать дорожку, по которой можно будет и пойти мужику вместе с рабочим....

Мужик с иконописным лицом замахал руками:

— Я это и хотел сказать... Об этом я читал в книжке Ленина... Мне ее доктор давал...

Филипп, не опуская пальца, строго говорил:

— Да так надо сделать, чтобы мужик шел добровольно к социализму, а не на аркане, как норовистая лошадь, иначе он оглобли перешибет и все переломает... Так-то вот! А теперь давайте поужинаем да погреем-

ся, — и он опустил палец и повернулся сутулой спиной к столу:—Феклуша, как у тебя насчет угощенья-то, а?

— Можно садиться. Я жду, когда окончите разговор.

Филипп Лодырь опять повернулся к столу и поднял руку:

— Господи Иисусе, спаси и помилуй раба твоего, даждь ему пишшу... Аминь.—И обратился к Пылаеву:— Пропусти-ка, Васятка, дедушку в вышки на почетное местечко, и я посижу с тобой рядком, погляжу на тебя и на всех вас ладком: уж больно я вас всех люблю-то!

Лидия Васильевна и Пылаев пропустили его в святой угол. Он мягко пролез на коник, загородил широкой сутулой спиной божницу, темные лики дешевых икон, медные старинные кресты и створчатые иконки, с которых старухи спускают ключевую воду, с таинственным шопотом умывают детей, взрослых и домашний скот, с'еденный злым и нехорошим глазом, — и стал ласково посматривать на Пылаева, на Игнатова, на Лидию Васильевну, которая тоже смотрела на него и улыбалась:

— А мудрый ты, дедушка, и хороший.

— Хороший? Не знаю, голубка, а люблю я вас всех и хорошо знаю, что вы не измените начатому делу, не забудете престарелого старика.

На стол Феклуша подала большое деревянное блюдо с жирным пшенным кулешом. От блюда поднимался густой пар к низкому потолку. Федор Михайлович достал из стола деревянные ложки, с которых давно облупилась темно-красная краска и только чуть-чуть виднелась около ручек и на ручках, положил их на стол, потом достал большую краюшку хлеба и, прижав ее к широкой груди, стал отрезать от нее тяжелые ломти и класть перед каждым гостем. На запах кулеша слезли с печи ребятишки, разместились на куте около нее, а один,

что был поменьше всех, в длинной посконной рубашке, грудь которой была черной и блестела лаком, пробрался на конец лавки и, сверкая синими глазами и дергая розовым влажным носом, очень внимательно стал смотреть на стол и облизывать губы. Остальные, глядя с завистью на стол, тоже потянулись за младшим братом, но мать так на них цыкнула, что они остановились на полдороге, притаились, прижимаясь к стене, и только второй окрик матери загнал их обратно на печку. Забравшись на нее, они так же жадно, ежели не больше, стали смотреть на стол, на огромное блюдо кулеша, подернутого золотистой пенкой жира,—от него так приятно поднимался душистый столб пара к грязному потолку, в пазах которого густо сидели прусаки и блестели цветом луковой шелухи. Перед едой кулеша Федор Михайлович бережно взял бутылку, осторожно об ладонь потер горлышко, чтобы обкрошился сургуч, а когда он осыпался от пробки, ударил в дно так, что пробка взвилась к потолку и, ударившись на стол, отлетела на пол. Федор бережно поднял ее двумя пальцами, положил на стол, потом стал наливать в чашку и, налив ее до краев, протянул Филиппу Лодырю:

— С тебя, батюшка, почин.

Филипп Лодырь вскинул голову.

— Дорогому хозяину первая чарка... За наше здоровье.

Федор Михайлович осторожно отвел от тестя руку, поставил на стол чашку, взглянул на божницу и, шевеля из черной бороды сочными малиновыми губами, перекрестился на образа, потом любовно взял чашку, наполненную до краев водкой, глядя в нее так, точно желая в ней найти свое счастье, и, согнув руку дугой, плавно поднес ее к губам:

— За ваше, дорогие гости, здоровье, — проговорил он и, запрокидывая немного голову, вылил в ярко-розовый рот и, поставив чашку, отломил от ломтя небольшой кусочек хлеба, густо посолил его и положил в рот, а когда прожевал, налил опять чашку и подал ее тестю. Тесть подозвал дочь и попотчевал ее. Феклуша, не торопясь, вышла из чулана, по пути оправила на голове французский платок, одернула его концы, потом провела по губам ладонью, потом низко поклонилась гостям, принимая из рук мужа чашку с водкой.

— Благодарю покорно, за ваше здоровье, — и хорошо опрокинула чашку и, подавая ее мужу, еще раз поклонилась, затем, отломив от мужнего ломтя кусочек хлеба, быстро прошла в чулан и принялась бурно и радостно греметь посудой.

За дочерью выпил Филипп Лодырь; за ним и все остальные. После этого принялись за кулеш, который с дороги показался несказанно вкусным. Лидия Васильевна, морщившаяся первое время от кулеша, втянулась в него и, как все, с большим аппетитом кушала его, не отставая от Пылаева, Игнатова и даже от самого хозяина, который с большим усердием работал ложкой и челюстями; она так наелась, что даже стала необычно красной, удовлетворенной и веселой. Потом, когда с'ели кулеш, Феклуша поставила на стол чайную посуду и подала самовар. Пили чай с яйцами всмятку, пили тоже хорошо, в особенности Филипп Лодырь и мужик с византийскими глазами. Хорошо пил и сам хозяин. Во время чая ребята опять скатились с печки, сверкая розовыми пятками, бросились к матери в чулан и, разместившись там на загнетке, бурно загремели ложками, переругиваясь друг с другом. Во время чая Феклуша зажгла лампу, и в маленькой грязной избе, заставленной

домашним скарбом, стало еще больше душно. За кулешом, за чаем абсолютно ничего не говорили. Только один хозяин был на высоте: он все время угощал дорогих гостей. После плотной еды Лидия Васильевна почувствовала, что она слишком хорошо поела кулеша со свининой, даже позабыла некоторую осторожность в еде, перешла какую-то грань, так что благодаря такой еде не один раз позывало ее на воздух, и эти позывы беспокоили ее до позднего вечера. Впрочем нужно сказать, что она очень сильно перепугалась.

Федор Михайлович принес в избу огромную вязанку ржаной соломы, которую едва-едва протащил в дверь, бросил ее вместе с холодом на земляной пол около стола, потом отодвинул стол к куту и развалил ее по всей избе толстым слоем, потом, когда все это сделал, обратился к жене:

— Постель готова. — От расстеленной соломы густым белым паром поднимался холодок, нагреваясь и пропадая.

Феклуша пошла в амбар, принесла оттуда свою венчальную, а теперь праздничную постель, — она заключалась в двух больших подушках с розовыми наволочками, в войлоке с черными каемками и с черным сердцем на самой середине, в цветном малиновом ковре из простой крученой шерсти, — положила ее на солому и обрядила. Ночевать остались Пылаев, Игнатов и Лидия Васильевна; Филипп Лодырь и чахоточный мужик с большими глазами, распростившись со всеми, поздно вечером запрягли лошадей и уехали домой. При от'езде оба — Филипп Лодырь и другой мужик — крепко жали руки Пылаеву, Игнатову и Лидии Васильевне, просили не забывать их, стариков, и не мешкаться долго в этой деревне. Пылаев, в свою очередь, просил не забывать их, беречь доктора, который остался в Соломатове. При

воспоминании о докторе у Филиппа Лодыря на глазах показались слезы, и он, чтобы спрятать их, крепко обнял Пылаева и прямо поцеловал его в губы, потом быстро отскочил и смешно затоптался около саней:

— Да что ты, голубок, при чем тут доктор, а?! Ежели бы нас не было и не было бы революционеров, революции, не было бы доктора, не было бы и вас, — понял? Все вы растете из нашего мужицкого навоза. Так-то вот. Эх-ма! — крякнул он, — ну и мороз...

Пылаев крепко пожал его руку.

— И правда, какой ты хороший.

А Филипп Лодырь продолжал:

— Вырастили вас, голубки, пот и кровь наша... Так-то вот, голубок... А насчет доктора ты не сумлевайся, спрячу и раньше его помру за свое дело... — И он, кряхтя и охая, ввалился в сани, крикнул чахоточному мужику, который прощался с Лидией Васильевной и Пылаевым: «Пошел!», и яростно хлестнул кнутом вдоль бока лошади. Лошадь вздрогнула, взмахнула головой и быстрой рысью побежала от избы на дорогу, сухо скрипя полозьями по крепкому и сухому снегу. За Филиппом погнал и чахоточный мужик с жадными глазами. Он, проезжая мимо Пылаева, грустно улыбнулся ему, и Пылаеву показалось, что у него глаза были еще больше, еще выразительней и лучезарней, чем до этого. А когда скрылись подводы, Лидия Васильевна подошла к Пылаеву:

— Василий, я должна тебе сообщить, что мы не поедем с Игнатовым в Москву.

— Это почему? — удивился Пылаев. — Тогда...

— Тебе этого делать нельзя: Игнатов вступает в нашу боевую организацию, и мы получили распоряжение... убить... ну, понимаешь...

— Когда?

— Я получила еще до от'езда из села...

— А молчала. Я с ним поговорю, — пробурчал Пылаев. — Скоро же он меняет свои политические взгляды...

— Сейчас надо спать, — решительно возразила Лидия Васильевна, — а не говорить, да и не стоит...

Пылаев ничего не ответил; он быстро направился в избу и, не раздеваясь, повалился на постель и проспал до самого утра. Утром, когда он проснулся и пошел умываться, Лидия Васильевна и Игнатов уже были готовы и почти собрались в дорогу. Игнатов находился в сенях, держал в руках рябую курицу, а хозяин стоял с топором. Пылаев видел, как хозяин, улыбаясь сочными губами в черную бороду, взял у Игнатова курицу и, держа ее за хвост и ноги, положил головой на порог, но курица так втянула голову в плечи, что никак нельзя было отрубить ей шею, и он попросил Игнатова подержать голову. Игнатов взял курицу за клюв, потянул к себе, но в тот момент, когда хозяин взмахнул топором, чтобы отрубить ей голову, Игнатов сжался и выпустил клюв, и курица опять убрала голову в плечи, — а топор остро, со свистом вонзился в дерево порога, — так до трех раз, пока хозяин не обложил по-матушке Игнатова, а Игнатов, пристыженный тем, что не может зарезать курицы, убежал в избу, оставив в сенях одного хозяина с незарезанной курицей. Хозяин, громко, но добродушно ругаясь, позвал старшего сына Мишку и при помощи его отрубил голову курице и, бросая курицу, брызжущую кровью, к печке, подшутил над Игнатовым, подмигнув медным глазом Лидии Васильевне и Пылаеву:

— Еще революционер, — курицы зарезать не может.

Игнатов густо покраснел.

— Бывает, Федор Михайлович.

В обед, переодевшись в крестьянскую одежду, Лидия Васильевна и Игнатов, оставив у Федора Михайловича свою одежду и взяв на дорогу полковриги хлеба и две жареных курицы, распрощались с ним и его женой...

Выйдя из избы, они направились в противоположную сторону от города, до которого от этой деревни было четыре версты, — по Лебедянскому тракту. Пылаев проводил их до околицы и, расцеловавшись с Игнатовым и Лидией Васильевной, круто повернул обратно и почти бегом побежал к деревушке, занесенной снегом; из-под снега она торчала бедной, жалкой и напоминала собой пашню с небольшими кучами навоза. Он опомнился только тогда, когда забрался на гору и был уже около деревушки, возле которой сообразил, что бежать так неудобно, а надо итти потише, и он пошел ровным шагом, прислушиваясь к своему сердцу, которое усиленно и тревожно билось.

— Ушел, — вздохнул он и почувствовал, как по его щекам покатились крупные слезы. На другой день рано утром Пылаев в сопровождении Федора Михайловича вышел из деревни в уездный город Ефремов, оставив Филиппу Лодырю на память свою бобриковую чуйку.

ОТРЫВОК ЧЕТВЕРТЫЙ * * *

В первые дни своего приезда в Москву Пылаев не пошел на явочную квартиру, остановился у земляка, адрес которого он узнал в адресном столе. Земляк его работал на Прохоровской мануфактурной фабрике и жил недалеко от нее, в небольшом деревянном двухэтажном доме, окна коего выходили на широко открытый вагон, окаймленный полукольцом заиндевевшего

леса. На этом открытом просторе было пустынно, тихо и он переливался волнами снега, ярко искрился от низкого желтого солнца, холодно и отчужденно смотрел на одинокую улицу, — так показалось Пылаеву, когда он подходил к воротам темно-бурого дома. Впрочем, это было верно: зимами на этом широком и открытом выгоне никого никогда не было, разве только в какой-нибудь праздник на этот выгон в'едут на лыжах ребятишки или же эти самые ребятишки загонят камнями какую-нибудь отбившуюся от своего дома собаченку; но так, чтобы гулять по этому простору, занесенному глубоким, почти по пояс, снегом, было не заведено и никто, конечно, не гулял. Веснами и летами было совсем другое дело: на этом зеленом просторе, особенно в праздники, было всегда многолюдно, весело; но этого мало. что было многолюдно и весело: были карусели, палатки со сластями, были игры в «счастливую карту», «красное берет, черное отдает»; были игры в кости, в винт, в орлянку. Кроме всего этого, были рабочие, которые, разбившись на отдельные группы, с раннего утра и до самой поздней ночи, а иногда и до рассвета со свечкой, воткнутой в теплую весеннюю землю, играли в карты, в двадцать одно; потом в разных местах выгона стояли группы разряженной по-праздничному молодежи; в этих группах трещали, заунывно пиликали двухрядки, оттопывали лихо каблуками лаковых сапог, полусапожками на высоких каблуках, то-и-дело помахивали над головами кружевными платками, на углах которых были вышиты красными нитками инициалы, по краям целые фразы: «Ково люблю, тово дарю», «Солнце красно, а мой милый ешшо краше», «Не живу, а пропадаю, по миленочку страдаю». С платками вместе вылетали трескучие поговорки, рассыпались над группами,

над толпами веселящегося народа, всевозможными тульскими, калужскими, рязанскими, смоленскими и московскими говорками, необычно жалобные, щемящие сердце «матани», длинные заунывные «страдания», трескучие и забубенно-озорные прибаутки, — и все это, — и «матани», и «страдания», и прибаутки,—сливаясь в один гул с топотом ног, с визгом шарманок, с треском бубнов, с криком петрушек, которые вылезали наверх палаток, спорили и жестоко дрались, раскланивались с хохочущей публикой, падали, потом опять выскакивали и начинали сначала, с дракой пьяных рабочих, с визгом и криком ребятишек, смешивалось в одно своеобразно-трескучее, своеобразно-пестрое и густым потоком перекатывалось из одной стороны в другую над зеленым простором, над густой и яркой толпой. Но кроме карт, плясок, песен, пьянок и драк были кружки рабочих, которые, разбросав для «отвода глаз» по земле перед собой карты, читали книжки, прокламации и журналы на необыкновенно тонкой бумаге, спорили о событиях, о злободневности настоящего момента, о забастовках на таких-то фабриках и о многом другом, что касалось жизни рабочих и их интересов, — вот так было веснами и летами на этом просторе перед чахлыми деревянными, заселенными густо рабочей беднотой домиками, перед Ваганьковским кладбищем, которое грустно перекликалось вершинами берез, тополей и горьких осин с недалеким лесом, что полукольцом обнимал широкий простор выгона, и хранило покой могил, сдавленных тяжелыми монументами памятников. Василий Пылаев вошел в парадное и стал подниматься по крутой деревянной лестнице, окрашенной в красный цвет, на второй этаж. Поднявшись на площадку, он стал отыскивать в сером слепящем сумраке номер квартиры, а когда

нашел, осторожно позвонил, потом отступил немного назад от двери, так как дверь отворялась не внутрь, а наружу, и стал дожидаться. Ждать пришлось недолго: дверь перед ним широко открылась, из-за порога взглянула на него пожилая женщина, одетая в белый, но грязный и широченный капот, разбитым голосом спросила:

— Вам кого?

— Здесь живет Ефим Митькин?

— Тута, — ответила мягче женщина и, сверля его желтыми сухими глазами, полюбопытствовала: — А вы кто ему будете? — Лицо у женщины было неприятное: серое, как ее капот, с прозеленью, сырое, и казалось, что вот сейчас из-под сморщенной кожицы брызнет сырость, струйками побежит к острому подбородку, на конце которого была темная родинка с довольно большим кустиком рыжих вьющихся волос. Глядя на нее, Пылаев ответил:

— Земляк.

— Земляк? Все земляки, — протянула сердито женщина и захлопнула за собою дверь, зазвенев цепью.

Пылаев спокойно стал ждать, но ему никто не открывал дверь, потом он прислушался: за дверью не было слышно не только голоса, но и не было никаких признаков жизни. Тогда он решил еще раз позвонить и дернул за ручку. За дверью было все так же тихо, как в могиле. Он позвонил в третий раз, позвонил долго и внушительно; на этот звонок открылась дверь, и на пороге показалась уже не та женщина, а другая, совсем-совсем молодая, довольно приятная.

— Здесь проживает Ефим Митькин? — глядя прямо в глаза женщине, спросил Пылаев.

Женщина, не выдержав взгляда Пылаева, потупила глаза, немного склонила лицо. В профиль она была еще

приятнее: ее продолговатое лицо с острым изящным подбородком, с длинными золотистыми ресницами, под которыми застенчиво блестели небольшие карие глаза, с тонким прозрачным носом, похожим на розовый фарфор, с немного выпуклым вперед маленьким ртом, на губах которого что-то было лукавое, было прекрасно, так что Пылаев залюбовался и, ежели бы она не сказала вторично, он все время бы стоял около порога, все так же упорно смотрел бы на нее, любуясь красотой ее лица.

— Его дома нет.

Пылаев улыбнулся и вошел в квартиру.

— А когда он будет?

Женщина, не изменяя положения лица и не поднимая глаз, ответила:

— Не знаю. Жена его будет, кажется, скоро. Она только что ушла до лавки.

— Так можно обождать?

Женщина замялась, покраснела; потом заперла дверь на цепь, отошла от двери, потом, подойдя к другой двери, опять взглянула на Пылаева:

— Я думаю, что можно. Идемте за мной. — И она открыла дверь в большую комнату, похожую на казарму, вошла в нее, сказав жильцам, находившимся около огромного простого стола, стоявшего посреди комнаты, и жильцам, сидевшим около своих углов — кроватей, под цветными ситцевыми пологами: «Это к Ефиму», прошла к лицевой стене, возле которой, в простенке, между двумя большими окнами, стояла кровать, затянутая ярко-зеленым пологом, отдернутым немного в сторону, так что была видна часть кровати, стена с численником и с небольшой фотографической карточкой, села на табуретку и принялась за шитье, не глядя больше на незнакомого человека. Пылаев остановился при

входе в казарму, он не посмел двинуться дальше за женщиной, которая провела его в эту комнату, поставила лицом к совершенно незнакомым людям, что были заняты своим делом и на его приход не обратили никакого внимания. Они только тогда взглянули на него, когда из-за полога эта же женщина, обращаясь на этот раз не к одному Пылаеву, а опять ко всем обитателям этой огромной комнаты, насыщенной чадом, гарью, махоркой и пеленками, — пеленки висели на толстой веревке, протянутой от одной стены угла до другого, и закрывали собой кафельную лежанку, что находилась в переднем углу, недалеко от двери, ведущей в эту комнату, и которой был виден только один низ топки, темневшей чугунной заслонкой, разрисованной выпуклыми цветами, — проговорила: «Что же вы там стоите-то? Проходите сюда», и она встала с кровати, взяла табуретку, что стояла рядом с ее кроватью, поставила к правой стене, как раз около двери другой комнаты, запертой на висячий замок.

— Садитесь!

Пылаев прошел мимо стола. За столом сидели три человека выше среднего возраста и, судя по их лицам, взволнованно о чем-то до него разговаривали, а сейчас молчали, тяжело сопели, грузно возились на табуретках и медленно ели огромную с резким духом маринованную селедку, разрезанную большим с деревянной ручкой ножом, лежавшим на столе рядом с толстыми кусками селедки, из которых сочно розовели кишки и молоки. Мужчины, вытаскивая пальцами из жирных сизых кусков кишки и бросая их вместе с серебристой кожей под стол или просто под ноги, ели селедку с хорошим аппетитом. Пока он проходил и садился, никто из этих мужчин не обратил никакого внимания на

Пылаева. Они только тогда, когда женщина поставила табуретку и пригласила его сесть, безразлично вскинули глаза, посмотрели на него, потом все трое обратились к нему, прожевывая селедку крепкими челюстями, так что громко хрустели мелкие косточки кусков:

— Конечно, садитесь, в ногах правды нет, — сказав это вразнобой, они опять потянулись к селедке.

— А вы кто такой? Кто ему доводитесь? — спросил неожиданно один мужчина и взглянул на Пылаева влажными глазами из грязного волосатого лица, изрытого щедро оспой. — Родня будете?

— Нет, земляк, — ответил Пылаев, — из одного села.

— Та-ак, — протянул этот же мужчина и принялся резать другую селедку. — Оно, Аким, не мешало бы еще сбегать, а?.. Как ты думаешь? — и человек поднял голову и, собирая на узком лбу морщины и сдвигая густые пепельные брови к переносью, мутно-белесыми глазами посмотрел на товарищей.

— В чем же дело-то?—откинувшись назад, вздохнул Аким и стал выбирать из густой рыжей бороды хлебные крошки и тонкие, как поросячья щетина, тусклые селедочные кости, — в чем же дело-то? Ежели надо, то надо послать...

Третий мужчина грузно засмеялся, так что в его носу громко забулькало, и он поторопился нагнуться под стол и выбить основательно нос с обоих под'ездов, вытереть его о рваную подкладку пиджака, а когда выбил, опять принялся хохотать. На его смех вышла из-за полога женщина, как раз та самая, что выходила на первый звонок к Пылаеву, подошла к столу и, широко растопырив тонкие ноги, сложив на животе сухие грязные руки и глядя желтыми глазами на селедку, злобно, с треском в горле, прокричала:

— Дьявол, глаза твои лопни, ты что это делаешь-то? Кто за тобой будет убирать-то?!

Мужчина повернул голову в ее сторону, разгладил на желтом, сморщенном, как перепеченное яблоко, лице жесткие усы, покачал маленькой круглой головой, подстриженной под бобрика, потом сощурил бесцветные глаза и остановился на женщине:

— Дальше!

— Дальше раки не пускают, — потемнев от злобы, взвизгнула она. — Кто за тобой будет убирать-то, чорт непутевый!

Мужчина ничего не ответил, он легко поднялся с табуретки, прошел за полог, из-за которого только что вышла женщина, взял швабру и принялся выметать из-под стола огрызки селедок, крошки хлеба и плевки, размазывая их по полу. Женщина хищно взмахнула тонкими руками, вырвала швабру, сильно толкнула мужчину, так что он чуть не повалился от неожиданности на пол, и принялась сама подметать комнату. Мужчина недовольно посмотрел на женщину, пробурчал что-то себе под нос и, встретившись с глазами Пылаева, улыбнулся, потом подмигнул маленькими глазами в сторону женщины, которая была задом к Пылаеву и, размахивая полами грязного широкого капота шумно подметала пол и ругалась:

— Я тебе, дьявол, покажу...

Аким ядовито бросил:

— Соли насыпишь нынче ночью?

Женщина быстро повернулась к Акиму. Аким испуганно замахал руками:

— А ты знай мети... Я больше не буду. Ей-богу, не буду. Я просто пошутил... А ты мети... мети!

Женщина желтыми глазами смотрела на Акима. Пылаев, глядя на нее, видел не женщину, — лохматую,

серую кошку, которая долго бродила без приюта, а теперь только что вернувшуюся домой и готовую хищно наброситься на своего врага и перегрызть ему горло. Аким не выдержал ее взгляда, выбежал виновато из-за стола, пробежал мимо нее, а она, когда он выбежал из-за стола, бросила швабру, почти бегом побежала к себе за полог и там с ревом повалилась на кровать. Мужчина, у которого она вырвала швабру, по всему виду был ее муж, поднял швабру и принялся подметать, тяжело вздыхая:

— Ох, эти бабы, пропади они пропадом.

Пока он подметал, Пылаев, прислонившись к стене, осматривал комнату, которая навевала на него мрачные мысли. В комнате, судя по пологам, жило шесть семей: четыре угла у левой стены, один угол у лицевой стены и один угол у правой стены; все эти углы были затянуты цветными ситцами, были больше похожи на цыганские палатки, чем на ситцевые клетки, сделанные только для сна, для тяжелого и жуткого сна; в этих клетках люди не отдыхают, сипло хрипят чахоточными легкими, стонут от боли ноющих суставов, жестоко мучаются, проклиная свою судьбу, свое ярмо, которое надо тащить до гробовой доски без отдыха, чтобы не умереть под забором от голода. На окнах стояли жестяные чайники и «грецы», в свободных простенках стояли шкафы, столики; на столах находилась скудная посуда и другие необходимые предметы. За одним пологом скрипела пружиной люлька, жалобно напевал женский голос колыбельную: «Ходи, Васька, ночевать, колыбель со мной качать». А около этого полога был другой полог, под этим другим пологом тоже была жизнь и кто-то невидимый сидел на липовке, обитой старой кожей, сопел и пристукивал молотком по подошвам, а временами шмыгал

дратвой, колебля полог. Второй мужчина, что разрезал вторую селедку, стиснул ладонями голову и, облокотившись, неподвижно сидел над столом, поджидал Акима, побежавшего за водкой. Пылаеву казалось, что этого мужчину, как и ребенка, укачивает колыбельная песня, и он в такт этой колыбельной безотрадно раскачивается плечами.

«Я для того для дружка нацедила молока... Кот махотку облизал, облизавши отказал», — пела грудным жалобным голосом за пологом женщина.

— Вот и готово, — проговорил мужчина, подметавший комнату, и пошел к пологу, за которым тихо всхлипывала женщина. — Полно, баба, плакать-то, — сказал он громко, — я больше не буду... Ты что же думаешь, мне-то легко?!

Баба ничего не ответила ему, только еще больше задвигала носом.

— Не легко, Арина, ей-богу, не легко. Поверь — это все с горя... — и он злобно бросил под кровать швабру, вернулся к столу и, ни на кого не глядя, сел на табуретку и стал закуривать. За пóлогами покорно и тихо сочилась человеческая жизнь: глухо стучал молоток, мягко гремел ситец в руках женщины, что открыла дверь Пылаеву, да все так же нудно и все с такими же перебоями, как будто бы прислушиваясь к чужим разговорам, к нудной жизни углов, качала скрипучую люльку, напевая: «Отказался напрямик: вашей службы не берусь: у меня под губой ус. Не иначе, как в избе тараканов перебей. Тараканы ваши злы, с’ели в избе вам углы. Как бы после тех углов да не с’ели мне усов. Баю-баю-баю-бай, поскорее засыпай. Я кота за те слова коромыслом оплела... Коромыслом пó губы — не порочь моей избы. Молоко былó не пить, чем так подло поступить». Ребенок

сердито начинает возиться в люльке, женщина за пологом повышает голос и в комнате слышней становится колыбельная: «Долго ж эта маета? Кликну черного кота... Черный кот-то с печки — шасть, — он ужо тебе задаст»... Ребенок на минуту затихает, женщина снова стала напевать себе под нос, но недолго, так как ребенок пронзительно вскрикивает и начинает громко, на всю казарму, орать, и женщина возвышает голос и тоже начинает громко орать, раскачивая шумно люльку, так что полог стал больше надуваться и хлюпать, как парус в бурю: «Расстрели тебя, пострел, ай ты нынче очумел»... Но ребенок не слушает, не хочет подчиниться матери, старается как можно громче кричать, и он с успехом этого достигает, заглушая голос матери. Рябой мужчина с пепельной бородой разжимает ладони, поднимает голову и медленно, точно пробуждаясь от сна или вылезая из глубокой и душной ямы, поворачивает ее в сторону.

— Да возьми ты его на руки-то... Разве ты не видишь, что он есть хочет?

Из-за полога женщина равнодушно отвечает:

— Ты ли, кобель, еще не хочешь ли? У меня, чай, не коровья!

Мужчина ничего не ответил. Он снова стиснул голову ладонями, облокотился на стол. Женщина, держа ребенка около груди, откинула полог, вышла на середину комнаты и, покачивая на руках ребенка, постояла с минуту, потом подошла к столу, расстегнула розовую кофту, обнажила большие пухлые сосуды с крупными розовыми сосцами и стала кормить его, никого не стесняясь. Ребенок смачно и жадно зачмокал губами, а через каких-нибудь пять минут заиграл ногами, освобождаясь от пеленок, и, освободившись от них и показывая розово-

красный от мочи пах, широко раскинул налитые ноги, точно перевязанные около щиколоток, и удовлетворенно стал смотреть из сытого лица круглыми дымчатыми глазами на мать, которая с приятной улыбкой смотрела на женщину, что впустила Пылаева; когда из розового рта ребенка, с вывернутыми наружу губами, выпрыгнул разбухший красный не меньше зрелой клубники сосок, она с удовлетворением проговорила, не убирая полной освободившейся груди:

— Ты что ж, Варвара, все кофточку шьешь?

Варвара подняла карие лучистые глаза:

— Да, все эту.

В комнату вошел Аким, грузно подошел к столу, поставил бутылку водки.

— Долго. Мы уже давно все приготовили, — улыбнулся мужчина с пепельной, похожей на мышиную шерсть, бородой.

Женщина с ребенком повернулась к мужу.

— Ты, рябой чорт, что это, а?! Снова, грозой тебя расшиби, пьянствовать захотел?!

Аким вскинул рыжую бороду, посмотрел синими глазами на женщину с ребенком, потом на рябого мужчину с пепельной бородой.

— Не жена у тебя, Яков, а серп...

— Серп, — передразнила Акима женщина с ребенком и покосилась на жирную до приторности душистую маринованную селедку, резко пахнущую корицей и гвоздикой. — Ваше дело только пьянствовать.

— А ты, Домнушка, не ругайся, — поймав ее взгляд на жирной селедке, ласково проговорил Аким, подмигивая прищуренным глазом ее мужу. — Хорошо, ежели бы ты, Домнушка, с нами выпила и селедочкой закусила бы?

Домна вскочила с табуретки; ее круглое полное лицо с курносым розовым носом сразу резко изменилось, стало неприятно-злым, маленькие черные глазки стали медленно двигаться, и она, придерживая разбрыкавшегося ребенка, осыпала сочной бранью, то-и-дело приседая на ноги:

— Тьфу, дьяволы! Да я и срамиться-то с вами не буду! Да я лучше пойду с кобелями пожру. Тьфу! — Слушая брань, Яков и другой мужчина покорно молчали. Аким улыбался, все так же, как и до этого, ласково смотрел на Домну: он хорошо изучил характер ее и поэтому знал, что она сейчас устанет, постепенно успокоится, никуда не пойдет от стола, сядет рядом, с большим удовольствием выпьет стаканчик водочки, закусит селедкой, потом, ежели еще поднесут, и от второго и даже от третьего не откажется, а потом — потом вместе с ними будет разливаться звонким говором, хохотать до упаду, душевно петь отчаянные песни: «Умер бедняга в больнице военной», «Сухой бы я корочкой питалась», «Громобой» и, конечно, «Когда б имел златые горы и реки, полные вина». Пока она ругалась, Аким все время смотрел на нее; потом, когда запас ее сочных слов иссякал, когда слюна переставала лететь, когда ее лицо остывало и из злого превращалось в добродушное, он осторожно выбивал пробку, наливал стаканчик и с простыми, искренними словами подносил его к ней:

— Домнушка, за нашу короткую жизнь.

Домна недовольно садилась на табуретку боком к столу, отмахивалась рукой, как от назойливой мухи.

— Отстань! Что ты пристал, как банный лист!..

Так вот и сейчас: Домна утомилась ругаться, безразлично села на табуретку боком к столу и к мужчинам, стараясь не глядеть на них. А Аким, сделав лицо весьма

серьезным и насупив как следует густые рыжие с краснотой брови, ловким движением подкатился к ней со стаканчиком в правой руке, откинутой немного в сторону.

— Домнушка, имею честь презентовать...

— Отстань, дьявол рыжий!

Аким набросился на ее мужа:

— Яков, что ты, как остолоп, стоишь, — подай сюда селедку!

Яков неловко поторопился с селедкой, а когда положил кусок душистой селедки на ломоть черного хлеба и подбежал к жене и тоже сделал лицо серьезным, остановился, душевно предложил, глядя упорно на жену:

— Вот и селедочка.

Домна отнекивалась и ломалась недолго. Она милостиво улыбнулась, приняла из рук Акима стаканчик, чуть-чуть припала к нему и хотела было возвратить обратно, но, видя неумолимую просьбу Акима и мужа, приподняла круглое лицо, опрокинула стаканчик и, выпив не поморщившись водку, стала закусывать сочной и душистой селедкой, при виде которой слюнки текут. После первого стаканчика Домна повеселела; голову стала держать выше; на широком ее лице, на щеках которого ярче показался румянец, шире и добрее разлилась блаженная улыбка; потом она стала ласково перекидываться словами с мужчинами, с Варварой, которая все так же сидела на своей кровати за шитьем, гремя розовым ситцем.

— Варвара, а ты иди к столу.

Варвара застенчиво отвечала, улыбаясь:

— Мне и тут, Домнушка, хорошо.

— Эй вы, дьяволы, — обратилась она равнодушно к мужикам, когда ударила в голову горячая влага, — что же вы не поднесете Варваре-то?

Аким шагнул от стола, замахал руками.

— Варенька, единственная моя доченька, прости отца своего, пьяницу... окончательно позабыл...

Взглянув на Пылаева, Варвара густо покраснела, отбросила в сторону шитье, встала с постели и вышла из комнаты, бросив отцу на его приглашение:

— Ведь ты знаешь, что я не пью, и не люблю, когда ты...

Аким остановился на пути и, глядя на проходившую мимо него дочь, растерянно улыбнулся и, не дав ей договорить, виновато согласился:

— Больше не буду, дочка. Нынче последний день, ейбогу, последний. Не брани старика... — Когда дочь вышла из комнаты, Аким снова вернулся к столу, сел на свое место:

— Раздавим что ли по маленькой, а?

Яков радостно задергал пепельной бородой, восторженно засуетился, стараясь угодить жене, которая уже сидела не боком к столу, а всем передом, чувствовала себя дополна хорошо, плотоядно смотрела на бутылку, покрывшуюся от тепла влажной дымкой, и на жирные куски селедки.

— Може, Домнушка, еще?

Домна удовлетворенно улыбнулась:

— А вы сами... Мне, пожалуй, будя... А ты что раскис? — обратилась она к Арининому мужу. — Аким, налей скорее Федору, пускай он развеселится. Да и Арину попотчуй.

Федор вскинул круглую голову, посмотрел воспаленными глазками на Домну, взял из руки Акима стаканчик и почти бегом побежал к себе за полог, чтобы угостить, разуважить разобиженную жену. За пологом пробыл он не больше минуты и вместе с женой и с пустым стаканчиком вышел к столу. Арина села рядом с Домной, и

через каких-нибудь десять минут они разговорились, рассыпая слова по комнате. Они говорили о своих делах, о знакомых, о встречах, о свадьбах, о том, кто как живет, кто как проводит время, о том, кто сколько получает жалованья, кому прибавили и кому сбавили в этом месяце... Пылаеву было невыносимо скучно и грустно смотреть на эту картину человеческой жизни, слушать пустой, ничего не говорящий разговор женщин, и он, привалившись к стене, неподвижно сидел, смотрел в сторону двери, ожидал земляка, который должен скоро прийти, но почему-то не приходил. И он, наверно, долго бы так просмотрел на дверь, ежели бы с ним не заговорила Домна; слова Домны оторвали его от двери, заставили остановиться на ней, а главное, на ребенке; ребенок, обвисая немного спиной и красным задом между ее раздвинутых полных бедер, лежал на ее коленях, корячил пухлые молочные ноги, стараясь поймать их за пальцы такими же пухлыми ручонками, перевязанными около кистей, и затащить в рот, но ноги вырывались, как пружины, отскакивали обратно, и ребенок, кряхтя и мурлыкая, снова ловил свои ноги, снова тащил их к широко открытому, с вывернутыми наружу влажными губами ротику.

— Вы чьи будете?

— Из деревни, — глядя на сытого ребенка и любуясь его игрою, ответил Пылаев. — Только что приехал.

— А будто бы не похож! — удивилась Домна: — обличье твое не деревенское, — больше шибает на купецкое.

Арина подняла водянистое лицо, скользнула желтыми глазами по Пылаеву:

— Я тоже это подумала, поэтому и не открыла вам, когда вы звонили: решила, что вы — купецкий сын, и не к нам.

В комнату вошла Варвара; она была сейчас не в капоте, а в черной юбке, в белой батистовой кофточке, к груди которой был приколот небольшой бордовый бантик, похожий на черную розу. Арина остановила Варвару.

— Верно, что он похож на купца?

— Кто?

Арина показала глазами на Пылаева.

Варвара, густо покраснев, остановилась, она не знала, что ответить на такой вопрос. Ей на помощь пришел Пылаев:

— Они говорят, что я похож на купца.

Варвара еще больше покраснела:

— Я этого не вижу... Разве только судить по поддевке, сапогам.

Аким поднял голову, повернулся к Пылаеву:

— А ежели не купец, а наш брат, то просим милости к столу. Мы люди рабочие, простые. Так-то вот, — и он повернулся к дочери, взглянул ей в глаза: — Правильно, дочка, старый рабочий говорит, а?

Варвара, взмахнув ресницами, посмотрела добрыми глазами на отца.

— Не всегда.

— Это как так не всегда? — спросил обиженно отец и лукаво погрозил дочери пальцем и, обращаясь к Пылаеву, сказал: — Ну и детки пошли в наше время — отцов-стариков в грош не ставят, а своим умом хотят жить.

— Разве это плохо, — улыбнулась Варвара и тоже взглянула на Пылаева. — В этом ничего плохого нет.

Аким еще раз погрозил ей пальцем...

— Вот и послушай ее... — Но в его словах не было упрека, что его дочь, Варвара, хочет жить своим умом

и так, как ей хочется, а не так, как хочется ему, старику, уже выжившему из ума, а было что-то другое, светлое в его словах по поводу своей дочери, которая хочет жить самостоятельно и главное — не так, как жили старики, не так, как прожил он свою жизнь на заводе, на котором ничего не нажил, кроме красавицы Варвары, а было в его словах что-то гордое и радостное, была вера в нее, что она пойдет иначе к жизни, чем старики, чем он, ее отец. И Пылаев видел, как Аким трясущимися руками зажал стаканчик и, запрокидывая рыжую голову и закрывая глаза, опрокинул его в раскрытый, почти черный рот и стал закусывать, приятно покрякивая. — Хорошо! Ну как, милый человек, чернорабочему обойтись без этой голубки?! Ей-богу, никак невозможно... — и он радостно посмотрел на Пылаева, потом на дочь, потом на своих товарищей, что так же приятно выпили по стаканчику и сейчас закусывали селедкой.— Это, ведь, можно сказать, одно удовольствие, за которое можно царя-батюшку хорошим словом помянуть. Верно я говорю? — обратился он вторично к Пылаеву.

— Можно ли? — улыбнулся Пылаев.

— За это можно, — крякнул Аким. — Так чего же ты сидишь-то, а?! Ты, может быть, и вправду купец?!

Пылаев взглянул на Варвару: она стояла недалеко от стола, смотрела на отца. Она сейчас была изумительно хороша и вся как-то особенно светилась, да так, что весь ее человеческий облик был перед глазами Пылаева, тянул его к себе. Он приподнялся с табуретки и подошел к столу.

— Давайте познакомимся. Я — не купец, из мужиков я, из села Соломатова...

Аким вскинул голову, быстро вскочил с табурета, откинул его в сторону и перебил Пылаева:

— Из Соломатова? Батюшки! Да я тоже из села Соломатова. Да ты чей там будешь-то?

— Я только служил там в торговом доме Игумнова и Керосинского.

— Знаю. Знаю. Да не о тебе ли мне брат писал-то, а?! У меня там брат живет, такой же рыжий, здоровенный, как и я, такой же, пожалуй, чудак, но только хороший, ей-богу, хороший человек. Так как же тебя звать-то, а?! Говори, скорее!

— Василий Пылаев, — ответил Пылаев и посмотрел на Варвару. — Какое совпадение.

— Пылаев, — радостно выкрикнул Аким и неуклюже закружился по комнате. — Пылаев. Да мне с Варюшкой о тебе мой братенок писал! Так это ты там заварил кашу, а? Здорово вы там князя Лобанова растрясли, а?! Варюша, разреши еще бутылочку в честь дорогого гостя, а? Можно, а?

Варвара пожала плечами.

— Я ничего против не имею.

Аким радостно подбежал к дочери:

— Молодчина. Дай, я тебя поцелую! Дай! — и он, обращаясь к Пылаеву, бросил: — Не дочь у меня, а золото, — и шопотом: — впервые разрешила выпить! Так ты — Васятка Пылаев!

Варвара вспыхнула и, уходя к себе за полог, обиженно бросила:

— Отстань! Ты все...

Пока Аким бросился за дочерью, Домна подмигнула Федору, и Федор быстро выбежал из-за стола и побежал за водкой. А когда Аким вернулся и хотел было бежать за водкой, его остановила Домна, проговорив мягким голоском:

— Все сделано, Аким, все.

Аким повернулся к Пылаеву, стал ему рассказывать о жизни столичной, о том, как они тут живут и что у них нового. Говорил он много и долго, так что было трудно понять: хорошо ли живется в столице или плохо. А когда Федор принес еще бутылку водки, когда они все со знакомством выпили по маленькому стаканчику, Аким окончательно растаял и говорил так быстро, что было совсем невозможно понять, о чем он говорил, что хотел он сказать. Слушая его речи, Домне и Арине стало скучно и они то-и-дело его прерывали визгливыми возгласами, но он, Аким, не обращал на женщин никакого внимания, он говорил свое, обращаясь к Пылаеву:

— Князя Лобанова разгромили, это хорошо, даже чудно, не молиться же нам на них, сволочей... Довольно попили они нашей кровушки... Вот у нас в Москве дело неважно, очень неважно, из рук вон плохо, никак не можем обратать своих кровососов... Варвара! — обратился он к дочери и, пошатываясь, пошел к ней. — Верно я говорю, а? Я тебя спрашиваю-то, а?! Ты что же, доченька, умна что ли стала и не хочешь отцу отвечать?! Ты что же отца принимаешь за пьяницу, а?! Назюкался, мол, как зюзя, и хрундубачит... а?! Так, доченька, думаешь, а?!

— Ничего не думаю, — ответила Варвара, поднимаясь с кровати.

— Так и ничего? Может быть...

— Что же я тебя буду обманывать.

— Нет, ты скажи, — приставал Аким и все ближе двигался к дочери, а когда подошел к ней и взял ее за руку, повернулся к Пылаеву:

— Не нравится, что отец пьян... рожу воротит...

— Откуда ты взял? — посмотрев на отца, ответила дочь. — Откуда? Пей, сколько тебе...

— Пей? И буду пить. Ничего ты мне не сделаешь. Ничего! Я не на твои пью, а на свои, трудовые. Поняла?!

Варвара молчала; она покорно стояла с потупленными чудесными глазами, только было видно, как под белой кофточкой вздымалась грудь, как на лице вспыхивал румянец, как вздрагивали густые золотистые ресницы, так что Пылаеву стало ее до боли жалко, и он обратился к Акиму, позвал его к столу, чтобы чокнуться и вместе выпить.

— Аким Петрович!

Аким Петрович говорил свое:

— Ты гордишься, что политикой занимаешься, бумажки читаешь, по собраниям таскаешься, а?!

— Отец, — резко вырвав руку, оборвала дочь и подняла голову. — Ты и верно назюкался, так что потерял рассудок и не знаешь, что говоришь!

Аким испуганно попятился от дочери, вскинул рыжую голову с взлохмаченной бородой, виновато заморгал глазками:

— Вот всегда так, всегда... а? всегда отец виноват. А я что ей сделал, а? Ничего! Ей-богу, милый человек, ничего! Я ее, как солнышко, в своем глазе берегу, а она отца ставит не в ломаный грош, а? — На его рыжих ресницах показались слезы, покатились по бугоркам дряблых щек в рыжие лохмы бороды — Она думает, что я хуже ее умею заниматься политикой, а? Я, доченька, побегал по собраньям-то не меньше твоего... А сколько за это я получил нагаек казацких да фараонских тумаков и селедок, так тебе, доченька, в жисть не сосчитать... А ты... — И он, пошатываясь, махнул рукой и направился к столу, но, не добравшись до него, остановился посреди комнаты, вытянулся,

сурово поднял рыжее лицо, так что борода вскинулась торчком, глаза закатились под лоб, и, не глядя ни на кого, поднял указательный черный, узловатый палец. — Ты думаешь, что твой отец — лодырь, не умеет политикой заниматься, а?! Ты так думаешь...

Варвара подошла к отцу:

— Перестань молоть-то, что не надо!

Аким, не обращая внимания на дочь, говорил свое:

— Я не хуже тебя и всех вас умереть могу... Поняли?.. не хуже!

— Ха-ха! — засмеялась визгливо Арина и затрясла водянистыми щеками, которые вот-вот прорвутся и заблестят жижицей. — Ха-ха!

Аким от ее смеха опустил голову, пригнулся к земле, одряб и совершенно потерял свой, как он любил выражаться, «знаменитый пафос», виновато взглянул на Пылаева, сел на табуретку и положил голову на ладони:

— Ты что смеешься, дура, а?! Разве это дело твоего ума?!

— Это я-то — дура? — рванулась Арина и широко развела руками. — А ты, рыжий чорт, умен?!

— Не умен, а получше тебя!..

— Подумаешь, — огрызнулась Арина и выскочила из-за стола, — получше! Кто бы говорил, а ты бы помалкивал, пьяница разнесчастный!

— Ты тоже не отстаешь, а даже...

— Это кто д а ж е, — передразнила Арина и, закинув чахлые руки за спину, хищно вытянула голову и желтыми глазами злобно уставилась на Акима. — Опила я тебя, рыжий жеребец!

Федор, не вставая, повернулся вместе с табуреткой к жене, вскинул на нее загноившиеся глазки.

— Перестань, говорю. На вот лучше, выпей.

— И верно, — поднимая голову, радостно согласился Аким и, обращаясь к Арине, проговорил: — Арина, что мы с тобой не разделили, а?! Воздух вонючий нашей казармы, а?!

Арина втянула голову в плечи, изменила выражение желтых глаз и, поглядывая виновато на мужа, на Пылаева, на Якова и на его жену, остановилась на ребенке, который все так же лежал на коленях, корячил молочные ноги, возился пухлыми ручонками в складках ситцевой кофты, стараясь поймать розовые ветки цветов.

— Делить нам с тобой нечего, — продолжал Аким, — разве вон общую швабру.

— Да будет вам спорить-то, — проговорила Домна и подняла стаканчик. — Эй, Варвара, довольно тебе стоять-то и смотреть на нас так дико! Подходи к столу, давай чокнемся, а то все, дьяволы, вылакают. Скорее! Жду. — И Домна, помахивая над головой стаканчиком и глядя на Варвару, приятно запела:

Когда б имел златые горы
И реки, полные вина,
Я отдал бы за эти взоры,
Чтоб ты владела мной одна.

Федор поднялся, быстро направился к Варваре, взял ее под руку и любезно, как это делают молодые кавалеры, наклонил голову и плавно протянул руку с развернутой ладонью:

— Пожалуйте, Варвара Акимовна.

Арина взмахнула руками, хрипло засмеялась:

— Ай да кавалер! Когда это ты, дьявол, грозой тебя разбей, научился такой вежливости! — и она, обращаясь к Варваре, задорно погрозила: — А ты, Варюшка, смотри не отбей такого красавчика!

Варвара вместе с Федором подошла к столу и села рядом с Домной. Арина тоже села на свое место, на котором она сидела до этого времени. Федор поднял стакан:

— Так...

— Я не буду пить, — запротестовала Варвара.

— За здоровье гостя, — сказал Федор, — ты должна выпить.

— А если я не пью!

— Я тоже не пью, — взглянув на Варвару, ответил Пылаев, — но за ваше здоровье с большим удовольствием выпью.

Варвара, покраснев, обиженно взглянула на него потемневшими глазами.

— Хорошо. Значит, вы за мое, а я за ваше...

— Идет, — улыбаясь, ответил Пылаев и поднял стаканчик. — И еще за общую борьбу, за рабочее дело...

Аким радостно вскочил с табурета и, расплескивая водку и обходя стол, направился к дочери и, подойдя к ней, проговорил:

— За это и я пью, дочка. Прости старого дурака, что он обидел тебя. Я знаю, что я стар и из ума выжил. Ей-богу, знаю.

— Я на тебя и не сержусь, — ответила ласково Варвара и опять взглянула на Пылаева, краснея:

— Мне надо итти на собрание.

— Куда? — спросил Пылаев. — Ежели можно, то я тоже пошел бы...

— А почему же нельзя, — ответил Аким за дочь и, обращаясь к дочери, проговорил: — Варюша, я его вполне тебе доверяю... Ты можешь с ним пойти куда тебе угодно...

Варвара проговорила, запинаясь:

— Отец, ты говоришь...

Аким поставил на стол стаканчик и серьезно обратился к дочери:

— Ты думаешь, я очень пьян, а? Нет, Варюша, я хотя и пьян, но смекалку не потерял, а что я говорю, хорошо понимаю и человека любого наскрозь вижу, досконально знаю, что в нем имеется и чем он дышит в погоду и в непогоду, так-то вот. И вот этого самого парня, — и он показал на Василия, — я тоже всего наскрозь вижу и говорю, что он хороший человек...

— Да будет тебе, — перебила дочь, — давай выпьем...

Аким широко улыбнулся и, вскидывая стаканчик, затряс рыжей бородой.

— За здоровье. — Послышался неровный нервный звон стекла, бульканье водки, кашель, тяжелое хрипение в грудях, которое вырывалось с тонким свистом, треск душистой маринованной селедки. Потом, когда с'ели по куску селедки, снова пустились в разговор, подняли такой гвалт, что трудно было разобрать, о чем они так спорили... Домна и Арина так запьянели, что даже почувствовали себя очень хорошо, позабыли все свое горе, завтрашний день, стали пробовать свои голоса, вспоминая далекую молодость, которая у них тоже была, как и у Варвары, бросали шопотом друг другу сальные шутки; Домна склоняла голову к Варваре, поворачивала к ней полное лицо с пухлыми розовыми пьяными губами, шептала ей в ухо разные намеки, сальности, сообщала, что мужчины бывают разные, по-разному любят и от их «разной» любви бывает по-разному приятно... От такого шопота Варвара то густо краснела, то бледнела и старалась не глядеть на Пылаева, прятала лучистые глаза под густые ресницы, отвечала невпопад, совсем другое, а под конец не выдержала — поднялась

с табуретки и, неожиданно для самой себя, обратилась к Пылаеву:

— Если хотите, то идемте, а то опоздаем, — и, ни на кого не глядя, вышла из-за стола.

Пылаев тоже поднялся и поблагодарил. Аким взглянул на Пылаева, потом на дочь и что-то было хотел сказать, но ничего не сказал, так как Домна, перебив его, затянула песню, но не ту, что было запела полчаса тому назад, а другую:

Умер бедняга в больнице военной...

За ней подхватила Арина, за Ариной — Федор и Яков, и комната стала похожа не на комнату, а на больничную палату. От песни стало грустно, больно, хотелось поскорее вырваться из комнаты, бежать туда, куда глаза глядят, туда, где белый простор, отливающий серебром, сливается с бледно-синим небом, с небольшим и мутно-желтоватым солнцем, которое зимами бывает холодно и равнодушно к земле. За пологом прекратился стук молотка по подошвам обуви, послышалось сердитое ворчание жителя; потом тяжелый шорох его тела, скрип кровати; потом опять наступила за пологом гробовая тишина, как будто там не было никакого жителя, и только в комнате была одна песня, которая превратила ее в военную больницу; эта песня разрывала Пылаеву сердце, торопила его вон из комнаты на улицу, на свежий, пахнущий зрелым, только что разрезанным арбузом воздух, и он, Пылаев, двинулся к двери и, взявшись за скобку, остановился, нетерпеливо ожидая Варвару, которая одевалась за пологом, а когда она вышла из-за полога и пошла к двери, он судорожно открыл дверь, быстро сбежал с лестницы и только внизу, на парадном крыльце, остановился, опять поджидая Варвару; она не

торопясь, поровнялась с ним и пошла с правой стороны, улыбаясь ему. На улице было чудесно — стоял крепкий декабрьский мороз, небо было, как и земля, необычно белым, низким на окраине города, таким же, как он его видел недавно над деревнями, над проселочными дорогами, над полями. На улице народу было очень мало, разве только бегали ребятишки от одного дома до другого, своим криком и визгом беспокоили улицу. Не сказав ни одного слова друг другу, они прошли с десяток домов, свернули на пустое место, вдали которого стояли постройки Мамонтовской фабрики; за этими постройками еще немного правее стояли другие постройки — огромные корпуса Прохоровской мануфактуры; потом, поровнявшись с корпусами, они круто повернули направо, пошли по аллее деревьев к Мамонтовской фабрике. Аллея была ровной, как стрела, и хорошо укатанной санями, грузовыми автомобилями, подошвами рабочих, так что снег походил не на снег, а скорее на белую сирень или же на нежный фарфор. На этой аллее, кроме Пылаева и его спутницы, никого не было, и только у самых ворот фабрики чернело несколько человек рабочих. Варвара взглянула на Пылаева:

— Опоздали. Кажется, уже собрание идет...

На собрание они не опоздали, пришли как раз к самому началу, как раз в тот самый момент, когда взбиралась на пустую бочку, поставленную «на попа», молодая женщина.

— Нет, не опоздали, — взглянув карими глазами на Пылаева, улыбнулась Варвара и, чтобы быть выше густой, все время волнующейся толпы, стала на небольшой ящик, который неизвестно зачем-то валялся под ногами.

— Залезла, — крикнул сердито рабочий, небольшого роста, крепкого телосложения, широколицый, голубоглазый и с изумительно длинными желтыми усами.

— Разве это твой? — не думая слезать, отвечала Варвара.

— А ты думала — твой? Поди, промни толстую задницу до сарая, тогда будет твой, — возразил добродушно рабочий.

Варвара, вспыхнув, потупила глаза и сошла с ящика. Рабочий широко открыл рот, показывая желтые зубы:

— Э, да это ты, Варюшка!.. Так стой! Для тебя, моя красавица, я могу не один раз сбегать... — и он бросился из толпы за другим ящиком. За ним, на него глядя, побежали и другие.

Варвара снова стала на ящик и обратилась к Пылаеву:

— Вам тоже плохо, хотя вы и выше. Становитесь со мной рядом на ящик. Я могу потесниться.

Пылаев взобрался на ящик и стал рядом с нею. Пока они разговаривали, устраивались на ящике, рабочий с желтыми усами притащил новый ящик и тоже устроился на левой стороне и стоял рядом с Варварой. Он ласково проговорил, обращаясь к Варваре:

— Ежели бы я знал, что вы с кавалером...

— И что же тогда, — улыбнулась Варвара, — не пошли бы за ящиком?

— Стал бы с вами рядом, — закручивая желтый ус, ответил рабочий и важно из-под желтых бровей посмотрел на Варвару.

— Вы и так стоите рядом со мною.

— Но не на одном ящике.

Варвара засмеялась:

— Вот как. Я могу одну ногу поставить на край вашего ящика: это для меня будет удобнее.

— Нет, вы становитесь...

— Этого я сделать не могу, — сказала спокойно Варвара и взглянула на Пылаева, который стоял с ней рядом и внимательно смотрел на огромную толпу. Пылаев показался сейчас Варваре, несмотря на его серьезность, даже на некоторую суровость, очень красивым, и она остановила на несколько минут свой взгляд на его лице. Ей понравились его большие темно-синие глубокие глаза, темные шелковые, почти женские, ресницы, тугие темно-русые брови, между которых, как раз над самым носом,—нос его нельзя было назвать курносым, а также и нельзя было назвать и некурносым,—находилась родинка с густым пучком волос; эта родинка, в особенности когда он был не в духе, придавала ему совсем другое выражение, как будто бросала особую тень на улыбку толстых характерных губ, на черты всего его лица, так что было трудно угадать, что он таит в себе, о чем он думает в настоящую минуту, так как на его лице было два выражения: одно было, — от глубоких складок лба, от родинки, которая была всегда выше складок, — суровым, как будто сердитым, и темной тушью ложилось на все лицо; другое исходило от губ и от складок, что выпукло выступали от переносья и, окаймляя выпуклую, довольно характерную часть рта и спускаясь до раздвоенного подбородка, приятно, с тонкой иронией сыпало улыбку сквозь суровость первого выражения.

Таким он был вначале и таким он показался сейчас Варваре. Увидав его таким, Варвара даже немного испугалась, отвернулась от него: ей было как-то неудобно, как-то неприятно, что с его лица смотрели на толпу два лица, и эти два лица отражали два настроения, которые были ей, Варваре, непонятны, и она

инстинктивно чувствовала его чужим и покачнулась в сторону рабочего, который, подумав, что она падает, обнял ее за талию и придержал. Пылаев от ее движения тоже очнулся и виновато взглянул на нее:

— Простите, я вас толкнул.

Варвара не ответила; она была поражена переменой его лица: на нее смотрело другое лицо—детское и милое, которое показывало всего человека не только наружно, но и внутренно, со всеми его мельчайшими подробностями; от такого взгляда Варваре стало как-то совестно, и она, освободив себя от руки рабочего, плотнее подалась к Пылаеву, нежно заглянула ему в глаза, так нежно улыбнулась ему, что даже сама почувствовала, как в ее груди сладко заныло сердце. Пылаеву тоже было приятно, так как ему никто так никогда не улыбался. И верно: девушка была похожа в этот момент на стройную ветку розы, а ее лицо—на только что развернувшиеся молочные, с нежно-малиновыми кончиками лепестки пышного бутона, которые в первый раз со всей своей нежностью, любовью взглянули на красно-утреннее весеннее солнце, в первый раз улыбнулись солнцу, весне и всей своей счастливой молодости. Пылаев, потупив от счастья глаза, проговорил:

— Хорошо говорит...

Вздохнув, Варвара ответила:

— Да. Хорошо. Она у нас часто бывает. — Женщина стояла на бочке, благодаря которой она была выше толпы. Она была небольшого роста, хрупкого телосложения, несмотря на меховое пальто; она носила на бледном лице золотое пенснэ; у ней были светлые, острые глаза, нежные дуги черных бровей и походили они на развернутые крылья ласточки; тонкие, розовые губы, острый, немного подавшийся вперед

подбородок, маленькие и тоже розовые ладони, которыми она во время своей речи жестикулировала, точно рыба плавниками, как будто собираясь куда-то плыть. Кроме всего этого, у ней был звонкий металлический голос, и она не выговаривала «р». Во время своей речи она сама была полна движений, сильно волновалась, так что, увлекая своей пылкой речью слушателей, на ее бледных и впалых щеках появлялся яркий румянец, и внутренно, с вдохновенной стремительностью, она летела вперед. Рабочие, запрудив собою и без того заставленный ломовыми полками, автомобилями, бочками, железными бидонами и просто разного размера деревянными ящиками двор, слушали ее с напряженным вниманием, с устремленными на нее глазами, ловили нетолько каждое ее слово, но каждое ее движение, каждое ее дыхание. Некоторые, чтобы лучше ее видеть и слышать, взобрались на бочки, на вытащенные из-под навесов двора ящики, на ломовые полки, на платформы автомобилей и на другие предметы и, вытягиваясь во весь рост, неудержимо летели к ней. А молодые рабочие взобрались на крышу правого двора и, свесив ноги, расселись вдоль железного карниза, ловко погружаясь мягкими частями в выгнутый желоб, жадно слушали ее, жадно, не отрывая лучистых глаз, смотрели на нее. Эти молодые рабочие, что расселись по карнизу, были сейчас очень похожи на скворцов, которые перед полетом на юг густо осыпают собой телеграфные провода, высокие хребты сараев, вершины деревьев и засыпают на них, чтобы на следующий день до восхода солнца подняться и лететь в теплые края от сурово-жестокой северной зимы, от ее заунывных метелей, — такое впечатление было и от этих молодых рабочих. При взгляде на них, Пылаеву думалось, что они, слушая горячую

речь оратора, всем своим существом летят в неведомый край социализма, человеческого братства, в котором не будет ни дворян, ни рабочих, ни мужиков, в котором не будет ни бедных и ни богатых, в котором все люди будут одинаковы, одинаково равноценны, и в котором все земные богатства — земли, океаны и остальные воды, горы и леса, города и деревни —будут принадлежать не отдельным королям, помещикам и капиталистам, а всему трудовому человечеству. Пылаев видел, как один рабочий, совсем еще молодой, губы которого едва покрылись золотистым пушком, так размечтался, так вдохновенно летел вперед за словами оратора, что даже не заметил, как он сполз из желоба и мягким мешком грохнулся вниз, в толпу рабочих, часть которой испуганно оторвалась от кипящего лица оратора, бросилась в сторону, а когда увидала, что это свалился человек с карниза, громко рассмеялась и снова бросилась глазами в сторону оратора, который горячо говорил о новом строе, о новой стране, которая будет не на этой земле, не на этом грязном дворе, где они стоят сейчас и слушают ее, а совсем-совсем на другом, совершенно в другой стране, в той самой стране, которую так хорошо он, оратор, не выговаривающий «р», обрисовал и которую они сейчас видят перед собой, ощущают своим воспаленным умом, своими взбудораженными мечтами, которые все горе, все страдание вытеснили, выбросили из их сердец наружу, в растоптанный грязно-сиреневый снег, что лежит под их грубыми рыжими сапогами и полусапожками.

Молодой рабочий, что упал с карниза, медленно поднялся с земли и, обивая желтой шерстяной перчаткой с суконного черного пиджака и дешевых, неопределенного цвета штанов снег, поднял большие голубые, как

будто только что проснувшиеся от сна, ленивые глаза и, глядя на рабочих, что стояли густо вокруг него, равнодушно проговорил:

— Врет это она. Ничего и никакой такой хорошей страны не будет.

— Не будет? — спросил пожилой рабочий и повернул в сторону молодого рабочего бритое и дряблое лицо с большим носом, в складках и в состарившихся угрях которого несмываемо булавочными головками жила фабричная копоть и пыль. — Как это не будет?

— А так и не будет, — обивая снег с пиджака и штанов, все так же спокойно ответил молодой рабочий, — ничего не будет...

Старый рабочий жестоко ощетинился, оттопырил руки, сжал кулаки и, выкатывая мутные, но блестящие глаза, запавшие глубоко в темно-сизые орбиты, свирепо прохрипел:

— Это как так не будет? По-твоему, сопляк, она, значит, врет?

Молодой рабочий вытянулся и, улыбаясь во всю молодую краснощекую рожу, все так же спокойно ответил:

— Если не врет, то арапа заправляет, а ты слушай!

Перед невозмутимостью, перед спокойно-решительными ответами молодого рабочего, слетевшего только что с карниза, старый рабочий растерялся, виновато разжал дряблые кулаки, окончательно поник головой, одряб телом, словно этот молодой рабочий подошел к нему, проколол ему кожу, выпустил из него большую половину воздуха, которым его наполнила женщина во время своей пламенной речи... Он нерешительно спросил:

— Значит, она врет?

Молодой рабочий ничего ему не ответил, так как в это время кто-то из толпы крикнул:

— Полиция! Фараоны!

А с крыши карниза, с которой недавно свалился молодой рабочий, закричал другой рабочий, потом зачем-то снял драповую шапку и замахал ею в воздухе:

— Казаки! Казаки! — Толпа закачалась из стороны в сторону, вз'ерошилась, потом раскололась на несколько частей, потом черными частями, похожими на квадраты, стала бросаться по двору из одной стороны в другую. А те, что стояли на бочках, на ломовых полках, на ящиках, на автомобилях, быстро стали спрыгивать на землю и теряться в толпе. Рабочий, что стоял рядом с Варварой, тоже соскочил с ящика, стоял позади нее, звал ее за собою, но Варвара стояла неподвижно, все так же, как и до тревоги,—она смотрела на оратора; вместе с нею стоял неподвижно Пылаев. Он смотрел на толпу, которая при возгласе «казаки» взволновалась, раскололась на части и которая теперь снова сливалась в одно неразрывно-целое и грузно двигалась все ближе к оратору. В это время, когда толпа снова стояла мирно, снова была готова слушать оратора, кто-то опять пронзительно крикнул: Казаки! — и толпа еще более бурно заколыхалась, рванулась, разорвалась на части и бросилась в разные стороны, оглашая двор и все корпуса криком:

— Запирай ворота!

— Запасайся камнями!

Кто-то громко рассмеялся, потом крепко выругался:

— К твоей матери что ли бежать за камнями-то!

Но рабочие, увидав под навесом сараев несколько стоп печного кирпича и кафельных плиток, бросились под сарай, и в одно мгновение от десятка стоп кирпича и

кафельных плиток не осталось и следа. Пылаев и Варвара и в этот раз не тронулись с места, а стояли с небольшой, оставшейся около оратора, толпой, все так же смотрели на женщину, на беспокойно волнующуюся и перепуганную толпу, чувствовали себя необычайно хорошо, и главное—что-то весеннее почувствовали они оба в темно-белых волнистых и разорвавшихся облаках, в бледно-голубых кусках неба, выглянувших в прорывы на двор, на толпу, в робких желтых лучах маленького солнца, которые изломанными кусочками бело-желтой меди прыгали уже по головам, по молодым и старым лицам, по плечам мужчин и женщин; они оба, Пылаев и Варвара, видели, как эти же самые лучи осыпали котиковую шляпу оратора, половину спины, узкую, точно не женскую грудь, а один бьющийся луч даже повис на золотой оправе левого стекла пенснэ, отчего ее светлые и быстрые глаза как-то особенно сузились, вспыхнули, заблестели, глядя на волнующуюся толпу, которая собиралась в одну громаду, вооружившись кирпичами и другими предметами, чтобы дать отпор казакам и полиции. Пылаев хорошо заметил, как нервничала женщина, стараясь быть наружно спокойной; Пылаев хорошо видел, как на ее лице подергивались мускулы, в особенности он ясно видел, как трепетали ее тонкие, нежные черные брови, точно крылья пойманной и сильно перепуганной ласточки. Она взмахнула тонкой рукой:

— Товарищи! Спокойствие! Казаки во двор не войдут. Мы должны закончить наше собрание.

— Ворота ломают,—крикнул кто-то с противоположной стороны.—Надо заставить их телегами, бочками.

Толпа опять рванулась, раскололась на части, опять стремительно побежала к воротам, оставляя позади

себя более стойкую группу рабочих и оратора, все так же неподвижно стоявшего на бочке, призывавшего к спокойствию и выслушать его до конца. Пылаев видел, как с левой оправы стекла пенснэ сорвался живой луч солнца, пропал, как лицо женщины приняло скучно-серое выражение и только светлые глаза стали темными, как будто более глубокими, чем они были до этого, да еще все так же, как крылья ласточки, трепетали изломанные тонкие брови. Женщина, не торопясь, вскинула руку, громко, изо всей своей женской силы, выкрикнула:

— Вы тоже должны поддержать своих братьев, московский пролетариат, как и Прохоровская мануфактура...

Шумные, широкие всплески ладоней, похожие на поднявшуюся радостно стаю птиц, покрыли ее слова. Женщина при помощи высокого блондина спрыгнула с бочки и, окруженная волнующейся группой рабочих, затерялась в толпе и вместе с нею двинулась к воротам. Пылаев тоже спрыгнул с ящика, оглянулся, но около него не было Варвары, не было и рабочего с большими светлыми усами; отыскивая глазами Варвару и рабочего вокруг себя, Пылаев тоже пошел вместе с толпою к воротам, возле которых был затор и неумолкаемый, все больше разрастающийся гвалт, похожий на прибой моря, из которого высоко подымался бас какого-то рабочего:

— Товарищи! Казаков нет, а тут полиция! Держите себя повежливее!.. Арестов не давать! — Толпа еще больше загудела, и из ее могучего рева внезапно блестящей ракетой взвился чей-то звонкий голос:

— Отречемся от старого мира... — и поплыл, сверля бледно-сиреневый воздух зимнего дня. Толпа ахнула, подхватила:

Отряхнем его прах с наших ног.

За нею, почувствовав себя маленькой пылинкой в этой огромной массе, которая ему сейчас не показалась многоликой, — одноликим богатырем, у которого одно сердце, одно желание, одни глаза, одна дорога, по которой он пойдет в сказочную страну, — Пылаев легко запел, не чувствуя своей головы, под собою ног, всего себя, своего голоса:

Нам не нужно златого кумира,
Отряхнем его прах с наших ног.

— Стойте! Ни с места! — слышал, как и вся толпа, Пылаев голос пристава. — Назад!

— Буду стрелять... Ни с места!

Толпа потрясающе, одним голосом пела:

Отряхнем его прах с наших ног.

Раздался треск револьвера; за треском, заглушая песню, грубый мат, сопение; потом крики: — ааа! потом хруст блестящих «селедок» — это рабочие ломали об коленки шашки и бросали в глаза приставу, околодочным и перепуганным городовым. Пристав, несмотря на свою тучность, был бледнее полотна, он униженно просил, чтобы его не убивали, а отпустили домой ради шестерых малолетних детей; он, вырываясь из рук рабочих, клялся, что больше никогда не пойдет усмирять рабочих, что нынче же подаст заявление об уходе со службы и уедет в деревню, где у него имеется небольшое хозяйство. Рабочие, взяв с него честное слово, отпустили его вместе с околодочными и городовыми, отобрав у них револьверы. Не вмещаясь в широкой аллее деревьев, густой черно-бурой толпой тронулись прямо по глубокой целине снега к Пресненскому рынку, шагая вразнобой. Торговцы, увидав огромную толпу рабочих с красными треплющимися по ветру флагами, испуганно стали запирать палатки и убирать товары,

гремя ставнями и лязгая замками. Потом, убрав товары, стояли около своих палаток, смотрели на двигающуюся все ближе к ним толпу, которая становилась все грозней и грозней. Они только тогда опомнились, когда толпа подошла к рынку, остановилась, убрала знамена и после нескольких слов высокого и горбоносого блондина раскололась на отдельные группы и мирно стала растекаться по переулкам, по улицам, по квартирам, — загремели цепями, замками и стали открывать свои палатки... Пылаев с небольшой группой рабочих двинулся к Ваганьковскому кладбищу, но он не прошел и полсотни шагов улицей, как его остановила Варвара; Пылаев, выйдя из толпы и дождавшись ее, вместе с нею пошел на квартиру.

На третий день своего приезда в Москву Пылаев отправился на явочную квартиру. Его встретила молодая высокая женщина; она, оглядывая его с ног до головы черными крупными глазами, недоверчиво спросила:

— Вы, наверно, не в эту квартиру попали?

Пылаев сказал, что ему надо видеть такую-то и назвал ее имя. Женщина еще раз недоверчиво посмотрела на него и, сказав «обождите», скрылась в комнату, оставив его одного в прихожей. Но ждать ему пришлось недолго, так как через каких-нибудь две минуты к нему вышли две женщины: одна из них была та, что открыла ему дверь, другая как раз та самая, что три дня тому назад выступала на Мамонтовской фабрике. Сейчас она показалась Пылаеву еще тоньше, хрупче, чем тогда, на фабрике. На ней было глухое черное шерстяное платье, из-под черного его ворота белел стоячий воротничок, знакомое с черным шнурком золотое пенснэ, на левом стекле которого висел тогда желтый живой луч солнца и красиво дробился. Пылаев глубоко и неожиданно

обрадовался, улыбнулся суровому лицу женщины, которая так же, как и высокая женщина, очень внимательно прощупывала всего, стараясь как можно глубже забраться в его нутро, вывернуть все его содержимое. Она холодно взглянула на его улыбающееся лицо:

— Вам кого?

— Мне надо Софью Самойловну.

— Я — Землякова. Что вам угодно?

Пылаев ответил, все так же улыбаясь:

— Я от Евгения Бенедиктовича Звягинцева.

Лицо Земляковой сразу резко изменилось, ее темные глаза стали светлыми, прозрачными, она улыбнулась.

— От Евгения Бенедиктовича?

Высокая женщина тоже улыбнулась, более ласково посмотрела на Пылаева.

— Что же мы тут стоим-то? — и позвала в комнату. В комнате было просторно, хорошо и уютно. Землякова по прочтении письма Звягинцева стала еще мягче. Она прямо обратилась к Пылаеву:

— Это хорошо, что вы приехали, — и тут же быстро перебежала на вопрос: — у кого остановились?

Пылаев рассказал, когда он приехал, у кого остановился, рассказал о том, что он видел ее на собрании на дворе Мамонтовской фабрики. При воспоминании о митинге она покраснела и недовольно замахала рукой.

— Я митингом не довольна, это был не митинг, а какая-то каша. — Потом с митинга быстро перешла на другое: — Сейчас мы все «страшно» заняты, и я ничего определенного вам сказать не могу. Я советую вам остаться пока у земляка, жить у него до тех пор, пока вас не потребуем, но с тем условием, чтобы вести работу... Я могу вас познакомить с одной работницей,— и она назвала имя Варвары.

— Я в этом доме остановился, — радостно ответил Пылаев,—и с этой девушкой уже познакомился. Я благодаря ей и попал на собрание.

— Вот как? — удивилась Землякова и посмотрела на высокую женщину, которая сейчас была гораздо красивше, чем она была в коридоре. Черные большие глаза высокой женщины ласково взглянули на Пылаева, потом остановились на его лице: — Удачно.

Пылаев рассказал, как это случилось, как он познакомился с этой девушкой, с ее отцом, с остальными жителями квартиры, как познакомился со своим земляком, к которому он приехал первоначально...

— Он тоже работает в кружке, — сообщила Землякова, — но только пропускает и ленится.—Она быстро поднялась, а с нею и высокая женщина. Землякова, протягивая Пылаеву очень маленькую руку, мягко сказала:

— Пора на работу. Теперь столько дела, что из сил выбиваемся. Вы ведь, товарищ, наверно, в курсе событий и знаете, что на шестое центральным комитетом партии об'явлена всеобщая забастовка? Сейчас вся жизнь на улице и вот-вот начнется борьба...

Пылаев ответил утвердительно. Через минуту они распростились. Пылаев от Земляковой не пошел на квартиру,—ему очень захотелось пошляться по Москве, посмотреть на ее улицы, бульвары. Он быстро вышел с Большой Бронной на Садовую и пошел по направлению к Тверской, а когда вышел на Тверскую, направился к Страстному монастырю. На Тверской народу было невыразимо много, и Пылаеву с большим трудом приходилось обходить толпы, пролезать сквозь них, чтобы поскорее пробраться на Тверской бульвар

к памятнику знаменитого русского поэта. Когда он вышел на Страстную площадь, то громокипящий гул движения, крик извозчиков, торговцев яблоками, лимонами, апельсинами, живыми и искусственными цветами окончательно оглушил его, так что он растерялся, остановился против Страстного монастыря, как раз около прямой цепи извозчиков-лихачей, готовых по малейшему знаку сорваться с места, задымить по мостовой изумительно тонкими полозьями. Пылаев стал осматривать площадь, отыскивая памятник Пушкина, который, как на зло, куда-то пропал; не видя памятника, он остановил прохожего, спросил:

— Где будет памятник Пушкина?

Прохожий посмотрел на Пылаева, на его поддевку, на лаковые сапоги, на каракулевую малороссийскую шапку, которая была немного сбита на затылок, улыбнулся в светлую бороду.

— А вон напротив, — и показал кивком головы через площадь на памятник и еще раз посмотрел на Пылаева, на его одежду, потом еще раз улыбнулся и, не торопясь, побежал от него по Страстному бульвару.

Пылаев, растерявшись, покраснел: «И этот меня, наверно, принял ежели не за купеческого сынка, то, во всяком случае, за провинциального приказчика, занимающегося стишками и приехавшего посмотреть на великого поэта»; так думая и размышляя, он решительно направился к памятнику, что всей своей черноблестящей громадой уходил в бело-мутную синеву московского зимнего дня. Возле памятника играли дети, взбирались на гранитные темно-коричневые плиты, кричали; на площадке вокруг памятника на лавочках, которые окружали памятник двумя разорванными половинками кольца, сидели люди, закутанные в дорогие меха,

в красивые драповые пальто, дешевые засаленные пиджаки. Пылаев со вскинутой головой очень внимательно обошел памятник и остановился напротив надписи, которая торжественно гласила: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык». Прочитав надпись, Пылаев почувствовал, что величавый памятник еще выше поднялся в мутно-белую синеву неба, и, наверно, он еще бы выше поднялся, ежели бы не помешала упавшая шапка с Пылаева, которая вызвала своим падением смех какой-то женщины, закутанной в серые меха и сидевшей на лавочке недалеко от Пушкина; Пылаев поднял шапку и, сбивая снег, взглянул на засмеявшуюся женщину, встретился с ее глазами, которые были похожи на очень маленькие раскрытые раковины, наполненные студенистой массой. Пылаеву показалось, что женщина, закутанная в темно-серебристые меха, моргнула ему раковинами глаз, потом едва уловимым движением лица пригласила сесть рядом с нею; но он не подошел к незнакомой женщине, закутанной под самый подбородок в меха, не сел рядом с нею на лавочку, а быстро направился от памятника Пушкина вниз по бульвару, не замечая приближения вечера, густой нарядной толпы, плавно движущейся мимо него взад и вперед, ее крепко-приторных духов и испарений, разливаемых так густо по бульвару. Вечер быстро спускался на бульвар; деревья начинали принимать причудливо-фантастические очертания, пышный снег прозрачно темнел под глазами и шевелился ветками цветущей сирени. Пылаев быстро прошел бульвар, потом другой, тоже многолюдный, и вышел на улицу, ярко залитую золотом огня, серебряными цепями газовых фонарей, которые извилисто тянулись до Ваганьковского кладбища, указывали ему путь, чтобы

он не заблудился, благополучно добрался до квартиры и провел время отдыха хорошо и спокойно, так, как его проводят все порядочные буржуа славного города Москвы. После этой прогулки он делал еще несколько прогулок по огромному городу, осматривал его достопримечательности и памятники далекой старины. Кроме осматривания памятников старины, он чутко вслушивался к гулу города, к его пульсу жизни, в страшную напряженность и в какое-то жуткое рокотание, похожее на отдаленное рычание океана или весенней грозы; это жуткое рычание города подмывало его, срывало его с табуретки, выгоняло бродить по улицам, по бульварам, по заставам города и чутко прислушиваться к жизни.

Накануне царского дня он поздно пришел домой; в этот вечер он никак не мог отогнать от глаз того ослепительного света, которым была так богато, так дóполна насыщена, наполнена Москва; этот ослепительный океан света стоял перед его глазами, чудовищно слепил его, так что он даже не заметил Варвары, которая на него так внимательно, так влюбленно смотрела со своей кровати, не заметил Домны, ее молочного ребенка, водянистого и злого лица Арины, Акима и Якова, сидевших за столом и пивших чай, большого жестяного чайника, из которого и он, Пылаев, не один раз пил чай; он быстро прошел в комнату своего земляка Ефима Митькина и, не сказав ему тоже ни одного слова, разделся и сел на простой стул, облокотился на стол и стал размышлять об ослепительном городе, о полотнах национальных флагов, о разодетых по-парадному городовых, о густых толпах народа...

Ефим Митькин сидел на липовке около окна, обделывал ножом только что подбитую подметку к сапогу,

а когда обделал и обвел края лаком, положил сапог в сторону, поднял темно-рыжую голову и взглянул на Пылаева:

— Далеко гуляли?

Пылаев не ответил. Перед глазами Пылаева все так же переливалось, медленно поворачивалось море золотого огня.

— А я нынче, Василий, пару рублевок сшиб.

Пылаев поднял голову, взглянул на земляка и, не понимая его слов, безразлично проговорил:

— Сшиб?

— Да. А теперь можно отдохнуть, чайку попить. Ты посиди, а я сбегаю за кипятком, — и он быстро поднялся с липовки, взял чайник, вышел из комнаты и из-за двери, из комнаты, в которой жили Аким с Варварой, Яков с женой и другие рабочие, крикнул:

— И Настя сейчас придет...— И действительно Настя пришла раньше его, разделась, беззаботно затрещала и своим суетливым треском быстро разогнала мечтательное настроение Пылаева, и он с ней разговорился. Настя была женщина небольшого роста, очень мало походила на русскую женщину, скорее на цыганку, хотя и была русской и родилась в Центральной России; она была не плоха собой, если в нее не так пристально всматриваться, а была красива, даже очень приятна на отдаленный поверхностный взгляд, но ежели всмотреться в ее лицо, то получится совсем-совсем обратное, я бы сказал — отвратное впечатление: сквозь бархатную кожу ее лица проглядывала какая-то многовековая старческая дряблость, мелкая и колючая, как еж, злоба и брюзжание; под ее густыми, необычно резкими бровями то же самое говорили и ее пустые, холодные стальные глаза, в особенности неприятны были и

отталкивали от себя зверьковой хищностью ее редкие, мышиного цвета усики и тонкие быстро ломающиеся губы, рдевшие так ярко нежной кожицей. Ломая губы, она трещала, и ее треск, как осколки стекла, сыпался в Пылаева:

— Вы женаты?

— Нет, я не женат.

— У нас есть замечательные барышни, и мы вас обязательно женим.

— Даже обязательно?

— Женю.

— А ежели я не желаю?

Настя плотоядно посмотрела на Пылаева. Пылаев неприятно вздрогнул плечами, опустил глаза.

— Обязательно, — бросила она сквозь задорный сухой смех и погрозила пальцем. — Только, смотри у меня, слушаться.

В комнату вошел Ефим Митькин, поставил на стол чайник, положил сверток и обратился к жене:

— Колбасу надо поджарить.

Настя, не отвечая мужу, подошла к столу, накрыла полотенцем чайник, чтобы он не так скоро остыл, и стала развертывать колбасу, резать ее на тонкие ломтики. С приходом мужа она резко изменилась, так что ее болтливое, веселое, с оттенком какой-то неприятной игривости настроение быстро пропало, а вместо него на ее лице выступило металлическое выражение, которое внутри своем было пусто, ничего не выражало собой, в особенности были неприятны ее глаза и пугали своим мертвым холодом и пустотою.

Она работала медленно, не торопясь, как будто чего-то выжидая и выслушивая, чтобы своевременно приготовиться к нападению врага и первой напасть на него и

поразить. Ефим был совершенно не похож на свою дорогую половину: он был небольшого роста, коренастый, неподвижный, но, несмотря на неподвижность, он на земле сидел крепко, как бородавка на человеческом теле,—не скоро вырвешь; и только его маленькие, почти всегда прищуренные, в кольцах век, цвета телячьего мяса, медные глазки, шевеля темно-рыжими с красным отливом ресницами, быстро бегали с одного предмета на другой, не останавливаясь долго ни на одном; волосы на голове, а также и на его лице были одного цвета, что и ресницы, но, несмотря на такую наружность, он был приятен, к нему тянуло, хотелось с ним бесконечно беседовать о далеком детстве, которое он, Пылаев, вместе с ним прожил в одном селе, вместе с ним бегал по мужицким огородам — за репой, морковью, огурцами, за кругами подсолнухов, по дворянским садам за яблоками и сливами... Потом расстались, раз'ехались в разные стороны и около десятка лет не видали друг друга и вот только несколько дней тому назад встретились и искренно обрадовались друг другу.

Ефим, бегая медными глазками, рассказывал, — впрочем события, про которые он только что узнал в трактире, Пылаев давно уже знал, так как был в курсе этих дней древней столицы, — что забастовали не только все фабрики, заводы, даже забастовала домашняя прислуга, а завтра, говорят, должны остановиться железные дороги, водопровод, газовый завод, электрическая станция, трамваи и... Тут Настя неожиданно отвернулась от стола, прижалась к нему боком, вскинула голову, зашевелила тонкими губами:

— Тебя еще, дьявол рыжий, недоставало!

В комнате густо и приятно пахло нарезанной колбасой. Ефим испуганно вскинул медные глазки и быстро забегал ими.

— Опять за старое. Давно не брехала!

В ответ звонко, сухо рассыпался трескучий смех.

— Ха-ха! И буду брехать, противная рожа!

— Хайло. Постыдись.

— Не тебя ли? Ничего! Пусть он, твой земляк-то, узнает, что ты за сволочь такая... Тебе только, чорту, по митингам шататься, а не работать!

Пылаев видел, как Ефим побледнел, как под красной щетиной его обвисших усов сразу посинели губы, задрожали, как руки судорожно оттопырились от туловища, сжались в кулаки, а из едва мерцающих красных трещин глаз посыпались черные искры.

— Ты замолчишь?..

— Замолчу! На-ко вот — выкуси! Я тебе еще покажу...

— Что-о? К казакам пойдешь?! Это тебе не привыкать!

— Лучше, чем с хулиганами!—резко и нахально бросила Настя. — А тебе завидно? Они, по крайней мере, молодцы: усы одни чего стоят...

Оба, Ефим и Настя, одновременно сорвались, яростно и с зловещим шипеньем бросились друг на друга, безумно, бешено завертелись по комнате, хрипя и тяжело вздыхая. Пылаев не успел опомниться, подняться со стула, чтобы стать между ними и не допустить до такого позорного поступка, как эта драка, но и сейчас, когда муж и жена кружились по комнате и, опрокидывая предметы и ведро с водой, в котором отмокали кожа для подметок и заготовки, остервенело трепали

друг друга, он не мог подняться со стула и броситься, чтобы растащить их в разные стороны, а все так же неподвижно сидел на стуле и широко-открытыми, испуганными глазами смотрел на живой клубок переплетенных тел, не зная, что делать и за кого заступиться.

Ефим и Настя, тяжело хрипя, глухо охая и работая всеми мускулами, все так же кружились по комнате, ударяясь о разные предметы и отскакивая от них, наносили друг другу удары кулаками, пинками, подошвами без разбора, куда попало, — в головы, в груди, в животы; потом вгрызались по-звериному друг в друга и тоже куда попало и как попало, хватались за волосы, так что кровянились пальцы и вырывались целые пряди волос... Этой чудовищной, животной драке не предвиделось конца, не предвиделось конца и оцепенению Пылаева: он все так же сидел на стуле, все так же испуганно смотрел широко раздвинутыми застывшими глазами на эту борьбу; в это время, пока он тупо смотрел на вертящийся клубок тел, вскрикнула в смертельном ужасе Настя, брошенная мужем на кровать и схваченная им за горло... Услыхав ее раздирающий душу предсмертный крик, Пылаев сорвался со стула и, не помня себя, неуклюже бросился на помощь, задевая ногами разбросанные предметы.

— Что вы делаете? — простонал он и остановился, так как помогать было некому и его помощь ни жене ни мужу не требовалась.

Ефим медленно, точно мешок с просом, сполз с тела Насти, безжизненно и тяжело, опуская руки с грубо скрюченными корявыми пальцами, шлепнулся на пол, привалился спиной к стене, закинув кверху посиневшее полумертвое лицо с широко открытыми глазами, которые

уже не бегали так быстро, как до этого, а холодно и безразлично смотрели мимо Пылаева, в противоположную сторону.

Пылаев нагнулся к земляку, дрожащими от перепуга пальцами расстегнул ворот рубашки и жилетку, опустился на колени, нагнулся и стал слушать его дыхание. Ефим глубоко вздохнул, зашевелил бледными губами, стараясь что-то сказать, но он ничего не сказал, только плотнее привалился к стене и полузакрыл глаза.

— Не издохнет, он живуч, как кошка: перетащи его на другое место — оживет...— оправляясь, проговорила Настя.

Пылаев встретился с ее пустыми, но страшно перепуганными и немного выпуклыми глазами.

— Как вам не стыдно?

Настя не ответила. Она, выправляя от боли шею, осторожно вертела направо и налево головой, то-и-дело подергивала, поводила из стороны в сторону сухими, не женскими плечами. Пылаев остался около земляка и ждал, когда он поднимется. Ефим не заставил себя долго ждать: он медленно поднялся с пола, оправился и прошел к столу, медленно опустился на сундук, что стоял около стола и был накрыт лоскутной дерюжкой, и, положив голову на правую ладонь, облокотился на стол и так просидел больше получаса, не сказав ни одного слова, и только на третий вопрос Пылаева, как он себя чувствует, ответил:

— Хорошо, — и, улыбнувшись синими губами, добавил:—Зверь. За причинное место взяла, убить хотела...— и, оскаливая желтые зубы, добродушно, беззлобно засмеялся. — Зверь. Понимаешь, как хотела убить? — Он хотел было засмеяться, но не.засмеялся, так как вместо смеха получился какой-то ужас, который заставил его

стучать зубами и дрожать всем телом. Потом он поднялся с сундука, снял с вешалки суконный пиджак на овчинном меху, накинул его на плечи и, пошатываясь из стороны в сторону, вышел из комнаты, едва хлопнув дверью. За дверью в другой комнате его остановила Варвара и что-то ему сказала, но он не остановился, а только бросил ей одну фразу, которую Пылаев отчетливо уловил:

— У Павла буду.

В комнате полнилась тишина; эта же тишина была и за перегородкой, в большой комнате. Только было слышно, как Варвара стелила постель, раздевалась и ложилась спать, гремя юбками; через несколько минут и ее шорохи прекратились. Настя все так же сидела на кровати, холодными, ничего не выражающими глазами смотрела не то на Пылаева, не то мимо Пылаева, не то просто на коричневые обои, которые при свете керосиновой лампы еще больше придавали мрачности и без того мрачной комнате. Пылаев сидел около стола и тоже старался не смотреть на Настю, а в угол, на сундук, покрытый цветной лоскутной дерюжкой; глядя на сундук, вернее на дерюжку, ему почему-то захотелось узнать, сколько на ней дорожек, и он принялся про себя считать и насчитал тридцать четыре красных. Пока он считал дорожки, Настя отошла от кровати, убрала ведро и другие предметы, разбросанные во время борьбы, вытерла тряпкой пол, потом подошла к столу, на котором лежал кусок колбасы, изрезанной на ломтики, взяла его, положила на приготовленную сковородку и зажгла «грец», а когда на сковороде зашипело масло, она разбила четыре яйца, выпустила их на колбасу, потом, не глядя на Пылаева и осторожно перевертывая лезвием ножа густо покрытые белком и желтком

ломтики колбасы, проговорила, как будто ничего не случилось:

— Вы наверно проголодались?

Пылаев оторвался от цветной дорожки, вскинул темно-синие глаза.

— Нет, я ничего не хочу.

— Оставьте. Мы сейчас очень хорошо поужинаем, — и она сделала полуоборот головы и как-то странно посмотрела на него прозрачным стеклом левого глаза, и этот глаз показался Пылаеву пустым и просвечивающимся насквозь, так что было видно начало носа, идущего от лба, и бровь правого глаза. — Вот и готово, — и она сняла сковороду с «греца», поставила на стол, отнесла в угол «грец» и вернулась к столу, подала хлеб и вилки, потом как ни в чем не бывало села не на сундук, что стоял напротив Пылаева, а на стул ближе к Пылаеву, касаясь коленом чуть-чуть его ноги. — Теперь покушаем. Я знаю: голодны...

— Я недавно пообедал, — возразил он и, чувствуя тепло ее ноги, убрал свое колено и, чтобы она его больше не упрашивала, принялся за поджаренную колбасу, которая в этот раз была очень вкусна, и он ел ее до самого конца, даже вместе с Настей добирал крошки, ловко насаживая их на вилку.

— Может вы еще желаете? — спросила вкрадчиво Настя.

Василий опомнился, отдернул от сковороды вилку, положил ее на стол, взглянул на Настю и, почувствовав снова горячую мякоть ее ноги, пониже своего колена, вздрогнул, опустил глаза и медленно стал отводить свою ногу, но мякоть Настиной ноги все плотнее прижималась к его колену, и он хорошо видел потупленными глазами, как ее левое бедро, увлекаемое отсту-

плением его колена, отпадало от правой ее ноги и все больше выправляло складки темно-голубого платья на ее коленях; это горячее тепло женской ноги возбуждало во всем его теле какое-то смутное желание, никогда еще неизведанное им, вызывало сильное брожение крови, так что такое ощущение и смутное желание и разгоряченная кровь поднимались в нем так бурно, что ударили ему в голову, и она стала от этого хмельной и временами приятно кружилась. Чтобы освободиться от головокружения, он быстро поднялся и прислонился к стене. От такой неожиданности Настина нога привалилась к ножке его стула, натянув на коленях платье. Она, все так же не глядя, вернее кося на него стеклянным левым глазом, мягко, с какой-то удовлетворенностью проговорила:

— Теперь можно спать, — и, подергивая верхней губой, покрытой, редкими усиками мышиного цвета, и потягиваясь не женской грудью, цинично добавила: — рядом давно храпят. — Потом она неизвестно чему звонко рассмеялась, потом неизвестно отчего поднялась из-за стола, направилась к большой деревянной кровати, в ногах которой, чуть-чуть повыше кровати, на коричневой вешалке висела одежда, кофточки и платья, сняла два теплых пальто и стала на полу около стены, что отделяла большую комнату, в которой жили Аким с дочерью, Яков с женой и ребенком, женщина с желтыми глазами и водянистым лицом, ее муж и другие, стелить постель для Пылаева, повернувшись к нему задом. Стелила она ему постель все время, как он приехал и остановился в этой комнате, но он никогда не замечал до этого вечера, чтобы она так стелила ему постель, как вот сейчас: она брала эти же самые пальто, бросала их на пол, потом брала его одеяло,

подушку и простыню и бросала на пол, потом садилась сама обыкновенно на колени и обряжала постель, потом поднималась и уходила из комнаты, чтобы дать ему возможность раздеться, а когда Пылаев и ее муж забирались под одеяло до самых подбородков, она осторожно стучала в дверь, спрашивая:

— Можно?

Ей отвечали на это:

— Можно.—Получив такой ответ, она входила в комнату, гасила лампу, начинала расшнуровываться сама и с шумом спускать с себя юбки,—так она делала постель до этого. Сейчас она не села на колени, а, повернувшись к нему задом и растопырив ноги, сильно наклонила туловище и принялась медленно стелить постель и почему-то гораздо шире, чем она делала до этого вечера. Глядя на постель, на ее спину, на густые складки темно-синего платья, которые ощерились, отделились друг от друга на ее высоко поднятом заду, на ее розовые икры, просвечивающиеся сквозь тонкие шерстяные темно-синего цвета чулки, снова ощутил сладкое ломотное волнение в своем теле, тупые удары в голову и легкое головокружение. Настя, не поднимая туловища и даже не поворачивая головы, поймала на себе его взгляд и неожиданно для него, Пылаева, выпалила, словно стегнув его мокрой холодной тряпкой по лицу:

— Твой земляк—такая сволочь, что даже меня приложил к тебе, — соврала она нахально, но голосом, не терпящим возражения.

Пылаев побагровел, вытянулся, плотнее прижался к стене и сразу почувствовал обратную реакцию в теле—ненависть к этой неприятной и злой женщине, и тут же в его голове зародился вопрос: «Что это значит к «тебе»? Ведь она никогда не называла меня на «ты»,

а тут...» Не докончив мысли, он снова взглянул на постель, которая была гораздо шире, чем она была в прошлые вечера, с постели перешел на складки темно-синего платья, на широко отставленные друг от друга икры и с глубокой ненавистью остановился на них, ожидая с большим нетерпением одного только, когда она окончит возиться с постелью. Но она, как нарочно, не поднималась, спокойно ощупывала ладонями постель, как будто отыскивала неровные места, бугорки от складок одежды, как будто приглашала его уже ложиться на эту постель, на которую и она, ежели он пожелает, ляжет с большой охотой. Пылаев не успел возразить на ее возмутительные слова, как она действительно выпрямилась, почти шопотом сказала, задыхаясь:

— Теперь можно ложиться, — и, постояв немного над постелью, медленно, все так же не глядя на него, осторожной кошачьей походкой вышла из комнаты.

Пылаев поторопился раздеться и лечь в постель. Он, не желая смотреть на Настю, повернулся на правый бок, к стене, и на этом боку пролежал с полчаса, стараясь заснуть, а главное — не видеть прихода Насти; но она не приходила, и ему почему-то на этот раз было неприятно лежать на правом боку, да и не привык он спать на этом боку, и его очень сильно тянуло лечь на спину и смотреть на серую прокопченную штукатурку, на которой висели, покачиваясь, темные волокна копоти от «грецов», табачного дыма и от разной пыли, и он повернулся лицом кверху, с наслаждением стал смотреть в потолок, продумывать события последних дней, а также и завтрашнего дня, который должен быть величавым, более грозным, чем все прошедшие дни. Он уже воображал, как он завтра пойдет во главе манифестантов от Тверской заставы к дворцу Дубасова,

и, воображая, хотел было разгадать, что из этой манифестации должно было произойти: будут ли в них солдаты стрелять или не будут? Но этого вопроса он не решил, так как в комнату осторожно вошла Настя, осторожно подошла к столу, погасила лампу, прошла мимо него к своей кровати, задорно и громко шурша юбками в ночной тишине. В комнате было душно и стыдно, остро пахло колбасой, сапожной кожей, яичницей, теплом давно уже погашенного и поставленного в угол «греца». Пылаеву стало еще больше неприятно от этого запаха; он спрятал голову под одеяло; он желал себе только одного—как можно поскорее заснуть, но сон не приходил, и ему все время приходилось осязать это неприятное тепло, вдыхать в себя колбасно-яичный запах, так как он упорно просачивался под одеяло, под которым становилось еще душней, и он снова освобождал голову, переворачивался на другой бок, опять на спину и так без конца... Настя, как нарочно, как на зло ему, не торопилась ложиться; она около своей кровати гремела юбками, расплетала косы и, рассыпав их по плечам и по спине, стала медленно, не торопясь, расчесывать, а когда расчесала, стала, и тоже, нужно сказать, не торопясь, развязывать шнурки и спускать с себя на пол юбки. От шума шнурков, от грома юбок, от щелканья кнопок, от какого-то чертовского томления Насти, от потягивания и хруста ее тела, от ее зевоты, и тоже медленной и лукавой, Пылаев опять почувствовал, как во всем его теле бурно стало подниматься волнение и начинало корежить его всего в какой-то мучительно жуткой ломотной истоме. Он, чтобы оборвать, заглушить это состояние, резко повернулся лицом к стене, спрятал голову и, стараясь вспомнить грубую сцену этого вечера, которая бы помогла ему

успокоиться, закрыл глаза; но эта звериная драка не появлялась в его воображении, а все так же стояла перед ним в одной рубашке, с распущенными волосами Настя, стеклянный, холодный взгляд которой он чувствовал на своей спине и который не давал ему возможности лежать в таком положении, и он опять повернулся лицом кверху и чуть-чуть освободил из-под одеяла левый глаз и, как вор, заглянул в сторону Насти; он взглянул как раз в ту самую минуту, когда она стояла к нему спиной и медленно ставила правую ногу на кровать, отставляя туго обтянутый короткой рубашкой зад и сверкая икрами и пятками в ночном сумраке цвета мышиной шерсти. От такого положения ее тела у него опять закружилась голова, помутилось сознание; он почувствовал, как завертелась бешено перед ним постель, как пустились в круговую стены, и он, чтобы не упасть, не сорваться в неизвестную для него, но манящую к себе пропасть, обеими руками вцепился в постель, закрыл глаза...

Сколько пролежал он с закрытыми глазами, Пылаев точно не помнит, точно так же не помнит, долго ли вертелась под ним постель, долго ли кружились комнатные стены, вцепившись друг в друга и изображая из себя причудливый хоровод. Он только сейчас видит, чувствует, что под ним не вертится постель, не кружатся в хороводе стены, а главное — в его теле нет того бурного волнения, которое было вечером, до его вот этого сна... Не было и того хмельного головокружения, которое было тоже до этого. Он сейчас покойно лежит, спокойно смотрит в потолок, который в густоте мрака едва вырисовывается над его глазами, спокойно вслушивается в тишину, в храп за стеной, в соседней комнате. В комнате все так же пахнет колбасой, яичницей,

каким-то специфическим теплом «греца». В единственное окно, заставленное двумя горшками герани, тускло смотрит с противоположной стороны улицы керосиновый красный фонарь, и от его света сумрак становится еще неприятнее, да и вся комната кажется в лохматой мышиной шерсти. Разглядывая обстановку, Пылаев заметил, как слезла с кровати Настя, как она около кровати, закинув руки на голову, потянулась, зевнула, потом, осторожно, но сочно ступая босыми ногами, прошла мимо него к столу, посмотрела зачем-то в окно, перегнувшись через стол, прислушалась, потом, оторвавшись от стола, взяла чайник, обхватила сосок губами и стала жадно пить воду. Пылаев слышал, как в ее горле долго, но желанно булькала крупными глотками вода, как она осторожно поставила на стол чайник, как она вытерла сорочкой губы и, шлепая все так же сочно ступнями, пошла от стола обратно, но, не достигнув кровати, на одно мгновение остановилась напротив Пылаева, посмотрела на него стеклянными глазами, улыбнулась изломом тонких губ и, чуть-чуть виляя бедрами, рванулась к кровати и, повернувшись лицом к нему, остановилась, села на край постели и, покачивая ногами, закинула руки на голову и резко впилась взглядом в Пылаева, так что он от ее взгляда почувствовал то же самое, что и перед сном, когда она ему стелила постель, когда расчесывала свои волосы... Он не успел закрыть глаза и отвернуться от ее взгляда, как она хищно сорвалась с кровати, подбежала к нему, сдернула одеяло:

— Что же ты, мучитель...

За окном, на улице, из черно-желтого сусла подозрительно приподнялся большеголовый фонарь, засмеялся мутно-красным светом и нахально стал вырастать все

выше и выше, чтоб поглядеть в окно... Настя, склоняясь к Пылаеву и обдавая его сухим жаром, неустанно шептала:

— Милый, я так тебя люблю!

Утром, когда он уже открыл глаза, Настя удовлетворенно и мягко, как кошка, ходила по комнате, работала около «греца», поджаривая колбасу и яйца. Она была одета в другое темное платье и в этом платье она еще больше походила на дымчатую кошку, чем вчера, чем сейчас утром, когда он в первый раз открыл глаза и взглянул на нее. Она возбудила в нем еще более отвратное впечатление, и он, чтобы не видеть все таких же пустых, холодных и немного выпуклых из темно-синих орбит стальных ее глаз, гибкого костлявого ее тела, тонких розовых и вздрагивающих все время изломами ее губ, похожих на дождевых червей, мышиного цвета ее усиков, отвернулся к стене, внутренно застонал от боли, от невыразимого и несмываемого отвратного впечатления только что прошедшей ночи... В тот момент, когда он поворачивался к стене, Настя уронила вилку и, поднимая ее с пола, с какой-то особенной простотой и откровенностью в голосе, как будто она с ним проспала не одну ночь, а целые тысячи ночей, проговорила:

— Пора вставать, да и яичница готова.

Пылаев ответил, холодея:

— Вы же мне мешаете.

Настя рассмеялась:

— Ничего. Я не буду на тебя смотреть, а в окно...— В голосе опять была та же грубая простота, что была и в первых ее словах. — Я жду да и колбаса остынет, — добавила она и резко повернулась к нему спиной.

— Вы же смотрите, — запротестовал Пылаев и снова лег под одеяло. — Я не могу.

— Стыдно. А?

Пылаев почувствовал, как глухо в нем заволновалась, заходила кровь, залила все его лицо, ударила в голову, наполнила все его существо ненавистью к этой женщине, которая стояла сейчас к нему лицом, смотрела на него пустыми стеклянными глазами и, улыбаясь, трепетала тонкими розовыми губами, стараясь что-то нежное сказать ему... Он быстро поднялся с постели и стал одеваться, не обращая никакого внимания на нее. Настя, видя его сердитое лицо, вышла из комнаты и вернулась только тогда, когда он совершенно оделся и сидел около стола.

Чай пили молча. Пылаев очень торопился. В комнате, как и вчера поздно вечером, пахло жареной колбасой, яйцами и специфическим теплом от «греца» и еще какой-то сыростью, похожей на запах сырой глины, — этот запах он остро почувствовал в постели, как только проснулся, и этот неприятный запах все еще стоял в комнате, резко выделялся от других запахов — от колбасы, от яиц и от «греца» — и мучительно душил его... Он, не поднимая с крупными зрачками глаз, но побледневших за эту ночь, проговорил:

— Какой тяжелый воздух.

Настя встала и, потянувшись через стол к окну и коснувшись своим боком Пылаева, открыла форточку, в которую, бесшумно клубясь, побежал с улицы морозный белый воздух и, бледнея, стал расползаться по комнате, наполняя ее запахом только что разрезанного арбуза. Настя не успела сесть на стул, как постучали в дверь. Она, не торопясь, встала и открыла дверь.

— А-а-а, — протянула Настя и потемнела в лице, — это ты, Варька? Заходи.

Варвара вошла в комнату, нерешительно остановилась около двери, стараясь не глядеть на Пылаева.

— Я вам не помешала?

Василий густо покраснел, потом его лицо покрылось белыми пятнами, и он, не зная, куда спрятать глаза, нервно отставил от себя недопитый стакан, поднялся из-за стола и хотел было выйти из комнаты, но не вышел, так как Варвара, глядя мимо него и мимо Насти, проговорила:

— Разве вы не пойдете со мной?

— Это куда? — спросила Настя и холодно посмотрела на Варвару. — А мне никак нельзя с вами?

— Нет, — не задумываясь, ответила Варвара. — Мы идем по приглашению.

— Вот ка-ак, — ехидно улыбнувшись, воскликнула Настя. — Тогда пожелаю вам всего хорошего.

Пылаев и Варвара, не говоря друг другу ни одного слова, вышли на улицу и только тогда заговорили, когда они уже были далеко от того дома, в котором жили и из которого только что вышли. Первой заговорила Варвара:

— Вы видите, как город в честь царского дня разукрашен?

Идя с ней рядом, Пылаев все время боялся поднять глаза, взглянуть на Варвару, так как он считал себя сейчас страшным преступником перед нею, а главное — считал себя грязным, жалким, недостойным ее внимания, и поэтому он старался, как можно подальше быть от нее, поменьше смотреть на прекрасное ее лицо, в ее карие лучистые, с крупными зрачками, глаза; от ее вопроса он вздрогнул, еще ниже опустил голову и глухим голосом ответил:

— Вижу.

— Вы, кажется, не в духе?

— Мне что-то нездоровится.

У Варвары тревожно затрепетали темно-шелковые ресницы, еще больше расширились темные с золотистым отливом зрачки.

— Тогда вам надо вернуться.

— Нет, нет, — испугался Пылаев, — это просто так... немного лихорадит.

Варвара взяла его под руку, ласково и так глубоко и проникновенно взглянула ему в глаза, что Василию стало еще больнее, чем до этого взгляда, и он еще больше почувствовал себя грязным, недостойным ее, еще ниже опустил голову, чтобы не взглянуть в ее глаза, полные любви и счастья.

— Вы, кажется, на меня за что-то сердитесь?

— Что вы, Варвара Акимовна!

— Я уверена...

— Я же вам говорю, что нет.

— Вы даже на меня не смотрите; вы очень недовольны, что я вас взяла под руку?

— Ну, как вам не стыдно!

Варвара не ответила. Было десять часов утра. Улица, по которой они шли, была богато убрана флагами. Было тихо, морозно, падал крупными лепестками снег, мягко и бесшумно ложился на мостовую, на тротуары, на дома и на толпы прохожих, которые густо шли впереди Пылаева и Варвары, а также и позади; эти толпы шли туда же, куда торопились и Пылаев и Варвара; на улице, по которой они шли, не было ни одного городового, и только около ворот стояли с крупными медными бляхами ночные сторожа, дворники и безразлично глядели на толпы людей, бушующие по одному направлению. Густо звонили в церквах и соборах в честь

чудотворца Николы; впрочем все знали, что в этот день царь празднует своего ангела, благодаря которому была так пышно убрана флагами древняя столица и звонили колокола. В этот день, чтобы напомнить о себе, забастовали рабочие фабрик, заводов, мастерских, железных дорог, трамвайных парков, электрической станции, водопроводов; в этот день прекратили работу приказчики, домашняя прислуга; в этот день весь этот рабочий люд высыпал на улицу, густыми толпами направился на указанные места сборищ, чтобы оттуда грозными многотысячными армиями двинуться к центру Москвы и по-своему приветствовать праздник ненавистного царя... Несмотря на густые толпы народа, в Москве была необычная тишина: не громыхали колесами, не лязгали цепями поезда, не пыхтели тяжело паровозы, не резали тишину пронзительными свистками; не дымили фабричные трубы, не лязгали, не пыхтели своими внутренностями фабрично-заводские корпуса, не ревели по-бычачьи их гудки; не скрипели, не визжали конки и трамваи по улицам, а стояли брошенными и забытыми на рельсах... Было что-то жуткое и тяжелое в этой тишине, в этом гуле колоколов, в этом густом и мягко падающем снегу... Чем ближе подходили рабочие к указанному месту, тем гуще были толпы, не вмещались на тротуарах, широко, а местами запружая собой улицы, выливались из тротуаров и густым потоком, похожим на пенистое сусло, неудержимо катились вперед, останавливая редких извозчиков и возвращая их назад. Пылаев и Варвара затерялись в этой густой толпе, их обоих захватила одна какая-то общая волна, общая стихия, и понесла к Александровскому вокзалу, так что они оба не заметили, как очутились около вокзала, недалеко от Триумфальных ворот, и вместе

с толпой, громко крича «ура», грузно двигались на встречу другой толпе, которая надвигалась с другой стороны, несла над собой на огромном шесте огненное знамя, на котором было грубо и наспех написано желтой краской: «Долой самодержавие! Да здравствует республика!»

Шест, на котором тяжело и грозно трепыхалось знамя, нес один человек, небольшого роста, коренастый, с большими голубыми глазами, с темно-серебристой щетиной на лице, одетый в кожаную тужурку, в охотничьи сапоги, голенища которых были подогнуты повыше колен, как обручи, желтели подкладкой; Пылаеву и Варваре казалось, что это знамя нес не один он, а несла его вся эта многотысячная толпа, а с этой толпой и они — Пылаев и Варвара. Со слиянием этой толпы с толпой, в которой был Пылаев и Варвара, они оба были вынуждены податься вперед к Триумфальным воротам; ворота, вздымаясь из черной, грозно ревущей толпы, казались игрушечными и вот-вот обрушатся от малейшего к ним прикосновения не только этой многотысячной толпы, но одного движения какого-нибудь человека, и ворота эти рассыплются, как карточный домик; Пылаев и Варвара, чувствуя это, подались немного в сторону, чтобы не задеть ворот, не разрушить их своим неудачным прикосновением; однако, не успели они попятиться от ворот, как их прижали к самим воротам, и они оба, Пылаев и Варвара, были вынуждены привалиться к стене правой арки и вместе с толпой затаить в себе дыхание, так как из глубины поднялся на плечи этой же толпы высокий человек, в студенческой фуражке, с облезлым околышем и с измятым козырьком; он высоко взмахнул правой рукой и, оставив ее висеть в воздухе над толпой, задумался

на мгновение, а вместе с ним задумалась и эта огромная армия полурабов, на которой он стоял, как на незыблемой гранитной скале, вдыхая в себя всю ее силу, всю ее волю, все ее желание, все ее многовековое страдание, чтобы закричать через свое горло ее горлом: «Товарищи!», и показать рукой в ту сторону, куда она прикажет... И человек в студенческой фуражке, в желтосером меховом пиджаке стоял на плечах толпы, изредка подергивал темно-желтой козлиной бородкой: это молчание студента казалось Пылаеву и Варваре, а также и толпе, на плечах которой он могуче стоял, необыкновенно длительным, и думалось, что молчанию не будет конца, что студент ничего не скажет, а все так же неподвижно будет стоять с висящей в воздухе рукой; но он сказал то могучее слово, которое ему сказала толпа и Пылаев, и Варвара, сказал торжественно, громогласно, точно протрубил в гигантскую трубу:

— Товарищи! — Толпа вздрогнула, грузно заходила, как огромное озеро в крутых берегах, тысячами цветущих разноцветных глаз устремилась на студента, стоящего на гранитных ее плечах, загудела, а он, вдыхая ее гул, неудержимое ее желание, железную ее волю, поднял еще выше руку, сжал кулак и, вертя им высоко над своей головой и над толпой, заорал:

— Долой самодержавие! — И показал вперед рукой, потом погрузился в бурное волнение толпы, потом незаметно, маленькой песчинкой затерялся в ревущей толпе и вместе с нею, как и Пылаев и Варвара, как сотни и тысячи и десятки тысяч отдельных рабочих, не чувствуя себя, рванулся от Александровского вокзала, от Триумфальных ворот и поплыл вниз по Тверской.

Пылаев и Варвара были почти в первых рядах, в самой середине ряда, как раз против полотна знамени,

которое изредка своим концом задевало за их лица; они оба остро ощущали его запах — запах ситца и мануфактурной лавки, а иногда всю тяжесть этого знамени, которое необходимо было нужно донести до конца, до положенного предела борьбы, до того самого царства, в котором не будет ни бедных, ни богатых, ни дворян, ни мужиков, ни капиталистов и ни рабочих, а все люди будут одинаковы, все люди будут нести равные заботы и труд по устройству общества. Сознавая это, Пылаеву и Варваре казалось, что знамя было невыразимо тяжело: оно так набухло рабочим и мужицким потом, слезами и кровью, что чувствовалось, что оно еще больше набухнет в будущем слезами и кровью этих же рабов, так что будет не под силу этой огромной многотысячной толпе, развернувшейся от Петровско-Разумовского парка и до Садовой улицы, тащить его. Но Пылаев и Варвара, как и все рабочие, хорошо знали, что они это пропитанное в веках рабства потом и кровью необыкновенно тяжелое знамя, падая в борьбе и обливаясь кровью, упорно понесут вперед и донесут до того царства, в котором люди будут равны, в котором не будет ни угнетателей ни угнетенных, на пороге которого воздвигнут это боевое, обильно смоченное кровью знамя, и будет оно гореть, освещать дальнейший путь человечеству, напоминать о его героической борьбе... Так, вышагивая с толпой в ногу, думал, переживал Василий Пылаев; так, идя с Василием под руку, переживала Варвара, так думали, так переживали рабочие, что шли за Пылаевым и Варварой, так думала и переживала вся многочисленная толпа, что шла впереди, по бокам и позади Пылаева и Варвары, грозно выбивая свой шаг. В толпе все было едино, монолитно, была одна горячая воля, накаленная в горниле

векового страдания, и эта воля, как электрический ток, пронизывала каждого человека, заставляла его забывать себя, всю повседневность дней своих, все свое одинокое страдание, а слиться с толпой, жить с нею одной железной волей, одним непоколебимым желанием победы и торжества. Пылаев и Варвара жили этой волей, этим непоколебимым желанием и даже больше: они оба не чувствовали себя отдельно от толпы, а чувствовали огромной вулканической лавой, первыми ее грозными волнами прибоя, которые бесстрашно катятся, разрушая все преграды на своем пути, катятся все вперед, пожирая жадно воспаленными глазами пространства борьбы... Оба — Пылаев и Варвара — не чувствовали, как на их головы, на разгоряченные лица, на широко расширенные зрачки, на плечи, что были вдавлены в плечи товарищей по соседству, падал густо снег, похожий на осыпающийся цвет яблонь, не чувствовали, как никли национальные флаги, как, приседая к земле, каменные коробки домов давили тело огромной толпы — их тело, не ощущали, как сухой, пахнущий зрелым, только что разрезанным арбузом декабрьский воздух щипал, покалывал тонкими иголками ресницы, кончики носов, уши и щеки, — они двигались первыми на первые твердыни самодержавия... Падал нетерпеливо нежный снег, мягко ложился на дома, на тротуары, на мостовые, на черную, грузно колыхающуюся в каменных берегах улицы толпу, что бушующе катилась вперед, выбивая гулко свой тяжелый топот и выбрасывая из горла боевой гимн:

Сами набьем мы патроны,
К ружьям привинтим штыки...

И черная, бурливая человеческая лава, волнуясь головами, плечами и грозно поблескивая огнями глаз,

как густо, беспорядочно, кучками звезд осыпанное небо над непроглядною ночью, сурово двигалась, наползала от Триумфальных ворот до Страстной площади, которую, подымаясь величаво в вышину и чернея курчавой головой в медленной пляске снега, созерцал великий Пушкин и как будто с легким поклоном поворачивал голову к толпе... а толпа, сдавленная крутыми берегами каменных домов, неудержимо двигалась... Перед ее первым валом, над которым трепыхалось огненное полотно знамени, очищалась в паническом ужасе улица: извозчики поворачивали обратно и ныряли в переулки, чтобы не быть раздавленными, седоки соскакивали с саней и в страшной тревоге забирались в под'езды домов, стремились проскользнуть в ворота, которые перед их носом запирали дворники, согласно военного положения, об'явленного еще накануне Дубасовым, бежали обратно вниз по Тверской, к Страстному монастырю, а от него вниз по бульварам, лишь бы не видеть этой необозримой черной лавы, не слышать ее тяжелой поступи, потрясающей мостовые, коробки домов, древнюю матушку-Москву, в которой так хорошо и спокойно жилось.

Варвара подняла голову и, крепко прижимаясь к Пылаеву, облила его глазами.

— Драгуны.

Отряд сумских драгун шагом выезжал навстречу многотысячной толпе от дома генерал-губернатора и все ярче и ярче вырисовывался из густого вертящегося в воздухе снега. Толпа заколыхалась, замедлила шаг, и полотно знамени обвисло и обвилось вокруг шеста. Неоглядная толпа медленно колыхалась из стороны в сторону, раздвигая улицы, дома...

— Драгуны!

— Казаки! — Из толпы выступил человек в студенческой фуражке, тот самый, что выступал у Александровского вокзала, вскинул темно-желтую козлиную бородку, поднял руку и, обернувшись спиной к драгунам, прокричал:

— Товарищи! Спокойствие! Оружие не употреблять. Не оскорблять солдат. Кто это сделает, тот провокатор, и с ним расправляйтесь тут же на месте. Итак, товарищи, спокойствие! — Когда человек в студенческой фуражке закончил речь и спрыгнул с толпы, драгуны были недалеко и, сверкая сиреневой сталью сабель, медленно под'езжали к толпе; толпа тихим шагом двигалась навстречу драгунам. Впереди драгун на серой лошади, зябко втянув в плечи голову, покачивался молодой офицер, и Варвара и Пылаев видели, что у этого офицера было очень нежное перепуганное лицо, отчего оно сильно побледнело и вздрагивало синими бескровными губами: но он, несмотря на испуг, все так же медленно ехал вперед и вел за собой небольшой серый квадрат драгун, уменьшая перед собой и толпой пространство улицы. Вот он, синея из густо падающего снега и не доезжая двадцати шагов до толпы, остановился, а позади него застыл и его отряд с обнаженными саблями, и широко открытыми глазами смотрел на толпу, которой не было видно конца. Глядя на толпу ничего не выражающими светлыми глазами, офицер вытянулся и долго так сидел на лошади, которая сердито грызла удила, перебирала блестящими черно-серыми копытами, разбрасывая по сторонам мягкий снег, похожий на пену. Казалось, что офицер так ничего и не скажет толпе, а будет все время стоять сиреневым квадратом перед движущейся стеной толпы, которая тоже ничего не говорила офицеру и напряженно ждала его

слов. Офицер поднялся на стремена, повернул лошадь боком к толпе и громко, чуть-чуть дребезжащим голосом проговорил, обращаясь к коренастому человеку, державшему знамя:

— Назад!

Коренастый человек, держа на левом плече шест, вышел немного вперед из своего ряда, ласково взглянул выпуклыми лучистыми глазами на офицера:

— Назад никак невозможно, товарищ офицер!

Серая холеная лошадь танцовала под офицером, гремя удилами и все так же разбрасывая по сторонам комья снега. Офицер, натягивая туже поводья, повернул лошадь к толпе и под'ехал к вышедшему человеку.

— Назад. Пропустить не могу!

Человек с голубыми глазами добродушно смотрел на офицера, говорил, показывая на толпу:

— Товарищ офицер, разве вы не видите, что мы никак не можем повернуться?

Молодое безусое лицо офицера стало свежее, приятнее; оно через каждую минуту вспыхивало пятнами румянца.

— Не могу, товарищи! — и он тут же повернулся к толпе спиной, скомандовал драгунам, и они повернули обратно и остановились, ожидая офицера, когда он выедет вперед, а когда он выехал, они, показывая спины с винтовками наискосок, белые верха фуражек, сытые, раздвоенные над репицами крупы темно-гнедых лошадей, сиреневую сталь сабель, так же медленно, как и под'ехали к толпе, поехали обратно вниз по Тверской к дому генерал-губернатора. А когда драгуны от'ехали на приличное расстояние, толпа заколыхалась, потом медленно поплыла за драгунами.

Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог...

Толпа широко катилась к Страстному монастырю, топот ее ног, как гул отдаленного морского прибоя, бежал за драгунами, которые были едва заметны в густом вертящемся падении снега. Варвара и Пылаев совершенно позабыли, что они идут вместе под руку и любят друг друга; Пылаев позабыл Настю и отвратную ночь, что испоганила все его хорошее юношеское чувство, которое он питал к Варваре и хотел передать ей. Сейчас они оба шли под руку в толпе, не чувствовали себя, а жили жизнью толпы, ее болью, были полны одним ее желанием, и это жгучее желание они выливали в одно многотысячное горло, откуда оно вырвалось могучей песнью... Пылаев и Варвара не заметили, как толпа вырвалась на Страстную площадь, мощно разлилась по ней, захватывая начало бульвара и темный памятник Пушкина, заколыхалась головами, плечами и было направилась к Охотному ряду, но человек в студенческой фуражке, в желто-сером меховом пиджаке, опять поднялся на плечи толпы и, потрясая высоко поднятой рукой, прокричал:

— Товарищи! Внимание! Мы должны следовать по Страстному бульвару.

На плечи толпы вскочил другой человек, и тоже в студенческой фуражке, с большими круглыми закрывавшими почти половину лица синими очками, так что было трудно различить черты его лица; он, перебивая человека с темно-желтой козлиной бородой, прокричал:

— Товарищи! Мы должны итти к дворцу Дубасова!

Но разраставшаяся все больше и больше толпа от напора последних рядов, которым еще не было видно конца, закачалась из одной стороны в другую, завертелась воронкой на середине площади и, вздымая выше

шест с развевающимся по ветру красным полотном, рванулась к Страстному бульвару и с гулким топотом, с песнью стремительно побежала вниз на Трубную площадь, увлекая за собой необозримо раздвоившийся хвост — с Тверской и с Тверского бульвара.

На Трубной больше часа пришлось ждать, когда многотысячная толпа вольется вся на площадь, чтобы начать митинг.

Варвара и Пылаев были оттиснуты вливающимися потоками к железной ограде Цветного бульвара, и им было очень плохо видно, что делалось в центре толпы. Пылаев предложил Варваре взобраться на лавочку, что стояла за оградой на бульваре; Варвара согласилась, и они оба быстро перелезли через ограду и, увязая до колен в глубоком снегу, побежали к лавочке, на которой уже стояли два человека пожилого вида, похожие на мясников, судя по их засаленным пальто и шапкам. Пылаев помог Варваре подняться на лавочку, а когда она поднялась, взобрался и он; они оба, не обращая никакого внимания на своих соседей по скамейке, стали смотреть на площадь, слушать оратора, который уже звобрался на крышу палатки и оттуда начал говорить речь.

— Товарищи! — начал он тягучим громовым голосом, — царь нынче празднует день своего ангела, царь с любимыми князьями, графами, баронами и дворянами пьет шампанское...

— Ишь как поет, — сказал человек своему соседу.

Другой человек засмеялся:

— Он допоется, еретик!

— Я тоже так думаю, что допоется, — согласился второй человек и, косясь маленькими синими глазами на Пылаева и Варвару, спрыгнул со скамейки и позвал

своего товарища; за ним спрыгнул и его товарищ, и они оба неторопливой походкой направились по Цветному бульвару к Садовой улице.

А оратор, заломив на затылок студенческую фуражку и подергивая темно-желтой козлиной бородкой, размахивал рукой, яростно грозил злейшему врагу:

— Мы тоже, товарищи, вышли приветствовать царя, но только по-своему, по-рабочему, по-мужицкому... Мы, выйдя в день его ангела на улицу, вот сюда, должны ему прямо сказать: — Ты пьешь шампанское, кровавый царь, в последний раз со своими приближенными!.. Мы говорим тебе от лица миллионов, от лица всей России: ты нам больше не нужен!..

Толпа закачалась головами, плечами, потрясающе загудела, заглушая громовую речь оратора:

— Долой самодержавие!

— Нам не надо царя!

Кто-то пронзительно завизжал недалеко от Пылаева и Варвары:

— Николай второй и последний! Ура!

Но его никто не поддержал. Толпа кричала, волновалась, ревела свое:

— Долой самодержавие! Да здравствует Учредительное собрание!

Над головами то-и-дело взлетали вверх шапки, красные платки. Оратор, стараясь заглушить восторженно-грозный рев толпы, кричал:

— Товарищи! Внимание! — С правой стороны оратора запело несколько голосов:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Оратор кричал, размахивая руками:

— Товарищи! Спокойствие! Кто будет мешать митингу, того будем считать провокатором... — Не успел он проговорить эти слова, как раздался пронзительный треск разбиваемых окон одного бакалейно-винного магазина, помещавшегося на углу Цветного бульвара и Рождественского, резкое падение осколков стекла на тротуар. Услыша погром, толпа вздрогнула, закричала:

— Провокатор!

— Держи! Держи его!

Пылаев и Варвара сорвались со скамейки, побежали к магазину; возле магазина воронкой крутилась кучка людей, тяжело крякала, как будто из мостовой выдергивала корни столетнего дуба. Пылаев, потеряв на пути Варвару, с большим трудом пробрался к этой вертящейся человеческой воронке, пролез в самую середину и увидел человека, яростно избиваемого толпой, того самого, что еще на Страстной площади взобрался на плечи толпы и звал итти не на Трубную, а к дворцу генерал-губернатора, того самого, что был в больших, закрывавших половину лица синих очках и в студенческой фуражке. Кучка рабочих била его нещадно, и через каких-нибудь десять минут вместо человека на мостовой валялся растрепанный, с окровавленным, разорванным ртом, из которого плашмя торчали выбитые зубы, грязный шматок мяса. Пылаев, взглянув на него, неприятно поморщился и попятился назад:

— Провокатор!

— А то кто же! — ответил равнодушно высокий, костлявый рабочий с тонким и бледным лицом и, взглянув на Пылаева большими светлыми глазами, улыбнулся: — Я его заметил еще у Триумфальных ворот...

— Так и надо с иудами, — плюнув на черное сочащееся сукровицей мясо, сказал старый рабочий, одетый

в суконный пиджак, в серые валенки, обшитые кожей. — Они нашего брата за серебренники продают... — Растерзанный провокатор не находил сочувствия, наоборот: окружившие его труп злобно и самыми отборными словами поносили его; некоторые даже сетовали, что не так поступили «с такой собакой»; некоторые сожалели, что не повесили на фонарном столбе да как следует не попытали, чтобы и остальные провокаторы, которых, наверно, среди нас не один десяток, намотали бы себе на ус. Пылаев тоже был такого же мнения, как и рабочие, говорившие о пытке. Он тоже вставил несколько слов, тоже подтвердил, что это был несомненно провокатор, что он провоцировал рабочих, призывая их итти к дворцу Дубасова, возле которого обязательно произошло бы побоище.

— Конечно, — согласился старый рабочий, — а то зачем же ему было нужно стекла бить... — Пылаев хотел что-то еще сказать, но ничего не сказал, так как снова затрещали стекла магазинов, звонко посыпались осколки, заколыхалась толпа, выкрикивая:

— Казаки!

— Казаки! — Василия отбросило в сторону, а с ним и небольшую группу рабочих, с которыми он только что разговаривал около убитого провокатора. Прижимаясь к железной решетке бульвара, Василий увидал, как с пронзительным визгом разорвалась на три части толпа, неудержимо тремя лавами, сбивая друг друга и подминая под себя, бросилась бежать по трем направлениям: к Сретенскому бульвару, к Сандуновским баням и к Цветному бульвару; за ними, срываясь с горы Рождественского бульвара и разбиваясь на всем скаку на три отряда, галопом гнались драгуны с белыми верхами фуражек и хлестали направо и налево нагайками,

врезаясь глубоко в самые толпы. Площадь огласилась криком, визгом и стоном. Потом затрещали револьверные выстрелы. Пылаев видел, как позади безумно бегущей на него толпы упало, перевернувшись в воздухе, несколько драгун, как освобожденные от седоков сытые лошади легко и свободно закружились на площади, вздыбив гривы и сверкая и цокая синими подковами. Кто-то крикнул:

— Дружина! К бою!

Раздалось еще несколько выстрелов. Пылаев увидал, как стоявшие возле него четверо рабочих и два студента поднялись на ограду и открыли по драгунам стрельбу. Глядя на них, Василий тоже взобрался на ограду, но не успел он выстрелить, как лавина толпы сбила его, двух студентов и четверых рабочих с ограды и, перескакивая через ограду и через их тела, бешено покатилась по бульвару, увязая в глубоком снегу и ломая ветви деревьев. Пылаев едва выбрался из-под ног скачущих через него людей, бросился бежать вместе с толпой, стараясь укрыться в какой-нибудь под'езд. Подбегая к переулку, Василий услышал позади себя голос:

— Товарищ! Обожди! — Пылаев оглянулся. К нему подходили два человека; Пылаев, глядя на них, радостно выкрикнул:

— Василий! Игнатов! Откуда ты?

— Долго рассказывать, — показывая крупные зубы, ответил Игнатов и крепко облапил Пылаева своими богатырскими руками и поцеловал его в губы.—А теперь познакомься, — и он повернулся к своему товарищу: — Павел, познакомься с моим другом детства.

Пылаев протянул руку, отрекомендовался:

— Василий...

— И социал-демократ, — добавил серьезно Игнатов.

— А я—эсер,—пожимая руку Василия, ответил Павел, и его мягкое молочное лицо загорелось румянцем, а карие нежные глаза стали похожи на два темно-огненных цветка.

— А здорово мы их угостили, а? — осклабился радостно Игнатов. — Больше, пожалуй, не наскочат...

Павел отвернулся от Василия, взглянул на Игнатова.

— Человек двадцать срезали...

Павел с первого взгляда понравился Пылаеву. Ему понравился его рост, хорошие открытые глаза, юношеское лицо, едва покрытое золотистым пушком, студенческая фуражка, лихо заломленная на затылок, а больше всего его мягкий голос, в котором чувствовалась большая искренность. Потом Пылаев взглянул на неожиданно появившегося друга, спросил:

— Неужели двадцать драгун сняли?

— Ежели не больше, — ответил Игнатов и обратился к Пылаеву: — Я так рад, что встретил тебя, что даже земли под собой не чувствую.

— Так что ж мы тут стоим-то? — улыбнулся Павел.

— И верно, — ответил Игнатов, — надо найти более удобное место.

По дороге Пылаев узнал от Игнатова, что Лидия Васильевна арестована на станции одного уездного города, как раз во время исполнения боевого приказа своей партии. За убийство атамана карательной экспедиции она была схвачена на месте, изнасилована, избита казацкими офицерами и увезена немедленно в губернский город, где и была повешена. О себе Игнатов сказал, что едва-едва убежал со станции, на которой он вместе с Лидией Васильевной ожидал прибытия атамана... Потом рассказал еще Пылаеву, как на одной станции, недалеко от города Балашева, крестьяне, узнав, что в поезде везут учительницу Лидию Васильевну, имя

которой произносилось с огромной любовью стариками, детьми, было записано в заздравные листки поминаний и о которой служили молебны в церквах и в избах,—собрались десятитысячной толпой, загромоздили собой полотно железной дороги, остановили поезд, охраняемый казаками, и по очереди врывались в вагон, целовали ее растерзанное тело, плакали навзрыд, называя ее мужицкой заступницей.

— Неужели?! — вздохнув радостно, перебил Павел Игнатова во время его рассказа.

— Да, это верно. Я сам ехал с этим поездом, несмотря на то, что меня бешено разыскивали. Я в этой многотысячной толпе мужиков почувствовал, что революцию делаем не мы, одиночки, а Россия, а мы в ней, когда она поднимается и своим глубоким возмущением выливается из рамок самодержавия, теряемся, как маленькие песчинки...

— Я это почувствовал нынче, — ответил Пылаев, — И то же самое чувствовал и в селе.

— А вот что, — снова заговорил Павел, — не кажется ли тебе, Василий, что наш крестьянин еще верит в какого-то героя, который придет и освободит его?

— Нет. Ты, ведь, и сам в это не веришь, — ответил решительно Игнатов. — Я видел в этой многотысячной толпе, что остановила своим телом поезд, не боясь угроз казаков, что они будут стрелять, не Алешу Карамазова, в котором принято видеть кликушествующую Россию, не мудрого толстовского мужика Каратаева, который дворянским гением выдуман, а настоящего, подлинного мужика, подлинную Россию, которая сейчас бурлит, потрясает старые устои...

— Я все же не понимаю, — перебил Павел, — какого же вы мужика видели?

— Обыкновенного и похожего на нас, — ответил сердито Игнатов. — Я тоже из мужиков.

— Но эта старуха, что настойчиво лезла в вагон к Лидии Васильевне, чтобы передать ей пару крашеных в красный цвет яиц, поздравить с праздником, до которого было еще несколько месяцев, разве не была похожа на мудрого Каратаева, на Алешу Карамазова? — возразил Павел.

— Нет. Ей просто взбрело в голову, а может быть, и яйца от прошлой Пасхи остались, — улыбнулся Игнатов.

— Не верно, — возразил Павел, — в паре красных яиц была вся глубина мужицкой души, глубина России...

Пылаев громко рассмеялся.

— Хотите сказать, что в этой старухе живет и Карамазов и Каратаев?

ОТРЫВОК ПЯТЫЙ * * *

Василий Пылаев открыл глаза, прислушался.

«Где он?» — на свой вопрос он ответил не сразу.

В комнате, в которой благодаря ночи он не видел стен, было темно, сыро, пахло чем-то неприятно вонючим, похожим на разложившееся мясо, и этот запах густо наваливался на него, зажимал ему нос, рот, начинал душить, да так, что в нем запротестовало все и он почувствовал, как «это все» поднимается на дыбы в его чреве и хочет вырваться на волю. Чувствуя это, Василий хотел было потянуться, но тут же стиснул зубы, не по-человечески замычал, закрыл глаза, так как в теле была страшная боль, особенно в пояснице.

— Ну, как себя чувствуешь, товарищ? — спросил из мрака едва уловимый голос соседа.

Василий не ответил: нижняя часть его тела так невыносимо ныла, что он не мог пошевельнуться ни одним мускулом, открыть дышащего зноем рта. Нижняя часть его тела была в какой-то чудовищной железной мялке, и эта мялка, как казалось ему, все больше и больше вбирала его в себя, хрустя костями.

— А я думал, что ты умер.

Пылаев проскрипел:

— Я предпочел бы лучше умереть.

Как только приутихла немного в теле боль, Пылаев снова ощутил отвратный запах разложения, стал свободно улавливать в этом вонючем, неизвестно, где кончающемся липком мраке тяжелое храпение, стоны людей, редкие слова бреда. Он осторожно открыл глаза, но тяжелые веки опять ползли на них, давили на зрачки своей огромной тяжестью да так, что не было никакой силы удержать их, чтоб они не падали исподлобия. Он долго мучился, долго добивался того, чтоб веки подчинились его воле, а когда он этого добился и они остановились не у подлобия, а как раз на половине расширенных зрачков, задумался и стал вспоминать все то, что с ним произошло, где и у кого он сейчас находится. Он вспомнил Аквариум, товарищей, с которыми он, когда полиция и жандармы окружили митинг, бежал через крышу Аквариума и соседних домов, примыкавших к нему, и то, как он с товарищами отстреливался от полицейских, которые заметили их и было погнались за ними, и то, как они ускользнули, выбежали на малую Бронную, где было так пустынно, так невыразимо тихо и эта неподвижная улица с высокими домами была похожа на огромный гроб с черно-синей крышкой, осыпанной мелкими, но зрелыми звездами. На этой улице, вернее в этом гробу, он и его товарищи остановились,

прислушались, постояли несколько минут, потом успокоенно пошли на Тверской бульвар.

На бульваре было тоже темно, деревья чуть-чуть выделялись из черно-синего мрака ночи, только небо было выше, более величественно, чем над Бронной, гуще было осыпано звездами, которые казались тогда Пылаеву и ярче и крупнее, чем над Бронной. На бульваре не было того народа, который обыкновенно заполнял собой густо аллеи, — были рабочие, студенты, которые собирались группами и устраивали летучие митинги. Пылаев не присоединился ни к одной группе рабочих и студентов, он распрощался со своими товарищами, с которыми выбежал из Аквариума, и направился домой. На пути, когда он шел по Поварской, над ним было такое же небо, как и над Бронной, и такое же было в его душе настроение, какое было на Бронной. Он видел, что Москва окончательно переродилась, что совершенно стала непохожа на ту нарядно-пышную, на закутанную в дорогие меха Москву, на ту Москву, что, развалившись самодовольно в ковровых санях, каталась до этого вечера по центральным улицам, на ту Москву, что заполняла собой Кузнецкий, Тверскую, Петровку, Мясницкую, Арбат и другие улицы центра, а совсем-совсем на другую — на Москву рабочих застав, кварталов. В этой Москве не было газа, электричества, не торговали лавки, магазины, не раз'езжали по улицам лихачи, не жужжали по рельсам конки, трамваи, — они застывшими стояли на улицах, на рельсах; не ревели бычьими глотками фабрики, заводы, не дымили трубы в черно-синее небо, что так густо было осыпано звездами и незыблемо висело над темной, погруженной в ночную тишину Москвой; не свистели, не дышали тяжело, не ворочали мускулами паровозы; не тренькали, не воркевали

покорно вагоны, подчиняясь стремительной силе паровозов, — была чуткая тишина, и эта тишина была необ’ятной и грузно, как огромные соты, налитые расплавленным свинцом, ложилась на плечи Пылаева, но он не ощущал этой тяжести, даже, наоборот, чувствовал во всем своем теле необычайную легкость, какую-то особенную радость, которой до этой минуты в нем еще не было в Москве и которую он испытал только в селе, когда шел с мужиками брать княжескую усадьбу... Идя по Поварской, он видел пустоту улицы, густую тьму от высоких домов, да необычно чудесное небо над своей головой, бело-зеленые, робко мигающие звезды, которые ласково, многозначительно улыбались ему, — этим милым звездочкам улыбался и он, Пылаев, и ему так же было хорошо, как и в черно-синем небе звездам, на этой строгой улице, сдавленной мрачными домами, похожими на зубы хищного зверя, под этой пышно-сияющей крышкой неба; идя по Поварской, он слышал огромную тишину, в которой ясно улавливал музыку, другой, до сего еще невиданной жизни, но которая жила не только там, где-то далеко в веках, не только в его молодых восторженных мечтах, жила в голове, во всем его существе и гордо вышагивала вместе с ним по Поварской, раздвигая все шире и шире перед собой пространства для нового сказочного мира, в котором не будет ни рабов ни господ, а будут все люди одинаковы, все будут одинаково наслаждаться правами жизни и благами на этой родной земле. Так переживая, Пылаев не заметил, как он прошел Поварскую, вышел на Кудринскую площадь, где его сразу оглушила какая-то странная музыка труда и человеческой поступи, так что он остановился, прислушался, но ему не дали простоять и одной минуты.

— Эй, товарищ, — раздались из мрака спокойные голоса, — помоги!

Он вздрогнул и пошел на голоса, на тяжелое сопение людей, которые, как муравьи, трудились около вагона, стараясь снять его с рельс, повернуть поперек улицы, но вагон скрипел, покачивался, но с места не трогался и совершенно не хотел слушаться, а как будто нарочно посмеивался над ними: «ничего вы, ребята, со мной не сделаете и я поперек улицы не лягу».

— Не сюда! Не сюда! — закричали голоса, когда подошел Пылаев и подпер плечом вагон. — А вот сюда иди...

Пылаев безропотно повиновался, подошел к передней части вагона, из-под которой рабочие потеснились, чтоб дать ему место, и он крепко вцепился руками под низ вагона и стал работать изо всей своей силы плечом, напрягая мускулы и всего себя.

— Идет! Идет, батюшка! — радостно выкрикнул один пожилой рабочий и повернул бородатое лицо к Пылаеву. — Видишь, товарищ, как раз твоей силушки и нехватало... Видишь, как хорошо идет, как по маслу резец. — И он, не отворачивая лица от Пылаева, радостно закричал:

— Эу, еще раз! Еще раз!

Встретившись с глазами рабочего, белки которого матово блестели из-под густой растительности бровей, Пылаев почувствовал себя очень хорошо, а главное то, что и он вместе с ними работает, что и он вместе с ними воздвигает баррикады, через которые и он пойдет с товарищами к светлой жизни, что уже давно живет в нем, как вот и в этих товарищах, которые, как и он, крепко вцепились в вагон и, работая мускулами вместе с ним, несут этот вагон точно перышко туда, куда им нужно,

а не туда, куда вагону хочется. Пылаев, глядя в матовые белки глаз рабочего, улыбнулся:

— Я очень рад.

На это рабочий не ответил ему; он, все так же не отворачивая лица от Пылаева и прислонившись левой щекой к холодной стене вагона и держа на ней голову, покрикивал:

— Еще раз! Эй, еще раз!

Вагон был снят с рельс, поставлен поперек улицы; он перегородил собою половину улицы. Потом пошли за другим вагоном, что стоял недалеко, бесшумно подкатили его и проделали с ним то же, что и с первым вагоном; вторая половина улицы была тоже перегорожена и теперь по этой улице было невозможно пробраться — ни конному, ни пешему.

— А мы плохо так поставили, — сказал один рабочий, что был по другую сторону вагона и невиден Пылаеву.

— Это почему? — ответили ему другие голоса.

— Очень высоко: стрелять будет нельзя.

Рабочие засмеялись; потом загалдели:

— Ты думаешь? И верно. Мы это упустили из виду...

— Что же, надо валять?

— Конечно, надо валять...

Рабочий, что был на той стороне, за вагоном, перешел через площадку на эту сторону, где находились все рабочие и Пылаев, и стал показывать, как нужно положить вагоны, чтоб они давали возможность отстреливаться от казаков и солдат, которые будут брошены на баррикады. Рабочий этот был высокого роста, крепкого телосложения, с светлой небольшой бородкой, с крупными голубыми глазами, с приятным бархатным голосом, который, когда он говорил, красиво переливался и походил на спокойный ручей, пробегающий по

камням глубокого ущелья. В этом рабочем Пылаев узнал как раз того самого рабочего, что был на Мамонтовской фабрике вместе с Земляковой, что после митинга шел впереди рабочих и который, выйдя из ворот, тут же выбросил знамя и до самого рынка гордо нес его, потом около рынка сказал короткую речь... Этого рабочего Пылаев часто встречал в эти дни на вечерах, на заседаниях боевой дружины и близко познакомился с ним. Но этот рабочий сейчас не замечал его, так как он был занят работой, командовал:

— Товарищи, живее. Некогда зевать. Работы еще по горло.

Вагоны один за другим, дребезжа телом, остро и пронзительно хрустя разбитыми стеклами, тяжело перевернулись на бок и, грузно хряснув, солидно повалились в мягкий снег и покорно успокоились.

— Вот и хорошо, — сказал блондин. — Теперь надо окопать, опутать проволокой.

— Это сделаем после.

— Как после, — возразил старый рабочий, который напевал: «Эй, еще раз!» и был рядом с Пылаевым. — Как это после, надо сейчас же...

— Надо как можно больше баррикад, а потом проволокой, — сказал молодой рабочий с худым бледным лицом, с большим острым носом, похожим на лезвие садового ножа, и, подняв голову, улыбнулся. — За проволокой не надо ходить далеко, — и он, показав на телеграфные столбы, пояснил: — вон ей сколько, всю Москву можно опутать.

Блондин улыбнулся и, ничего не говоря, вскинул на поваленный вагон железный лом, потом полез сам, потом, как влез на него, поднял тяжелый лом и сильно ударил им, так что лом, раздробив железо, глубоко

вонзился в стену вагона и стал стоймя; потом блондин вытащил из кармана полотно, развернул его и повесил на лом, а когда легкий ночной ветерок зашелестел черным знаменем, он торжественно крикнул:

— Гори и ярче рдей, наше боевое знамя! — потом так же, как и вошел, восторженно слез с вагона. — А теперь идемте дальше...— и он отошел от спокойно лежащих вагонов и зашагал вниз по Садовой...

За ним пошли и его товарищи. Старый рабочий, что работал рядом с Пылаевым, сказал, обращаясь к Пылаеву:

— Спасибо, товарищ, за помощь.

— Я больше вам не нужен?—спросил обиженно Пылаев.

— Обойдемся, — не поворачивая головы, ответил на ходу блондин.

— Опять не узнал, — вздохнул Пылаев и стал смотреть им вслед, пока они не скрылись во мгле позднего вечера; потом, когда они скрылись, он любовно осмотрел вагоны, зачем-то подошел вплотную к одному, положил колено на лежащее боком верхнее колесо, вынул из кармана браунинг, приложился щекой к холодному железу вагона, вздрогнул и приподнял было голову, но тут же спохватился, улыбнулся и снова припал щекой к стене вагона и стал целиться из браунинга в густую аспидную мглу вечера, что зловеще полнилась в провалах улиц и, как гигантская гитара, трепетала струнами тишины. Когда он метился, ему было радостно и хорошо, а главное, под ним было черно-синее небо и дымилось оно бело-зеленой пылью звезд; глядя на это небо, на звездную пыль, он вспомнил далекое детство, зимние ночи в родном селе, грустно-восторженного отца, его песню, которую он в тяжелые минуты пел и которая больно его, Пылаева, тогда

щипала за сердце, обильно наполняла слезами его детские глаза... и он, Пылаев, вспомнив все это, прошептал:

В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сияньи голубом...

Потом отнял щеку от стены вагона, вытянулся, ласково посмотрел на черный блеск браунинга, спрятал его в карман и громко прошептал:

— Нет, неверно, земля не спит в сияньи голубом, — и быстро зашагал домой, прислушиваясь к напряженной, к налитой новой жизнью тишине московских улиц. Эта тишина была и в нем, она казалась ему новым, хорошо известным миром, к которому он неизменно идет и пойдет до конца своей жизни, что бы с ними ни случилось на этом трудном пути, полном борьбы и жестоких, почти нечеловеческих страданий. Подходя к дому, он опять вспомнил поваленные вагоны, вбитый лом, на нем шелестящее с ветерком черное знамя, крепко пахнущее краской, и наивно, как ребенок, улыбнулся:

— А хорошо будет целиться с вагонов, чорт возьми!

В большой, в многосемейной комнате было тихо, никто не разговаривал, только за пологами спали женщины, придушенно похрипывали, изредка пронизывая тишину тонкими свистами. Особенно был выразителен свист за пологом Арины, он был похож на пение сверчка и был с небольшой хрипотой. Около стола, вытянув ноги во всю скамейку и держа в ногах поперечную пилу, конец которой торчал между головками валяных сапог, сидел задом к двери Яков и, вздрагивая круто выгнутой спиной, лохматым пепельным затылком и то-и-дело мелькая оголенным и рябоватым от грязи локтем правой руки, ловко и быстро работал подпилком, так что с неприятным скрипом и скрежетом сыпалась на пол стальная серая пыль. Варвара стояла около своего

угла, занавеска которого была закинута на веревку, отчего половина постели была видна, и расчесывала темно-бронзовые волосы. Около нее кружился Аким, помогая ей расчесывать волосы, с которыми она была не в состоянии справиться. Пылаев осторожно разделся, прошел к столу и сел на табуретку. В комнате было очень душно, пахло теплом «грецов», грязным бельем, кислым потом, полуобнаженными телами спящих, храпом, стальной пылью, развороченными и растревоженными постелями, которые были густо пропитаны супружеской жизнью, едкой и вонючей махоркой, банными вениками, что сушились после недавнего употребления в интервале между кафельной печкой и стеной, сырыми и приторно вонючими пеленками. Но Василий, увидав Варвару, ее молодое гибкое тело, по которому почти до самого пола сбегали темно-бронзовые волны кос, пышно рассыпались по всему ее стану, закрывая плечи, высокую грудь и лишь только оставляя одну середину лица с точеным и правильным носом, да темно-рдеющие и немного вздернутые губы, из-под которых четко блестели матовой белизной ровные зубы, так опешил, так залюбовался ею, что даже не расслышал голоса Якова, который, не поднимая головы и не переставая бегать подпилком между зубьев пилы, спросил его о том, что сейчас делается на улице, а когда Пылаев не ответил, он вторично спросил его; Пылаев, наверно, не услыхал бы и второго вопроса, ежели бы Варвара не поймала его взгляда на себе и не сказала бы ему, что у него спрашивают... Василий, густо покраснев, отвернулся от Варвары.

— Да, хорошо, — ответил он и рассказал, как он помогал снимать с рельс вагоны и класть их поперек улицы.

Яков вскинул от пилы рябое и потное лицо с пепельной бородой.

— Уже? А столбы не режут?

— Пока нет.

Яков обрадовался сообщению Василия, что столбы не режут, — дожидаются его.

— А ты не встретил Федора?

— Нет.

— А он ушел с Сурковым и с пилой.

Аким отошел на два шага от дочери и, держа в руке гребень и густые пряди, сказал:

— Мы сейчас тоже пойдем, — и он снова принялся любовно расчесывать волосы дочери. Он расчесывал с глубоким вниманием, с большой осторожностью, он страшно боялся оборвать хоть какое-нибудь одно волокно или причинить боль каким-нибудь неумелым движением гребня любимой дочери. Он брал большие пряди волос в левую руку и, держа их на ладони, чуть-чуть прижав большим пальцем и любуясь ими, расчесывал их, лаская взглядом. Следя за работой Акима, Василий видел, как из его густой рыжей бороды просачивалась радостная улыбка, вся его глубокая любовь к единственной дочери. Дочь покорно слушалась отца, когда он расчесывал ее волосы, повертывалась, когда он приказывал ей, чтоб ему было удобнее чесать гребнем ее темно-бронзовые пряди. Ей, Варваре, тоже необычайно нравилось, когда отец с такою любовью ухаживает за красотою ее волос и за это самое ухаживание она еще больше и глубже любила, прощала ему те дни, когда он приходил под «большой мухой», громко и грубо скандалил с нею. Сейчас она медленно повертывалась станом, удовлетворенно сознавая себя красавицей и тем, что она очень многим нравится, смотрела из-под прядей волос на Якова, который все еще возился над пилой, да так, что с его рябого лица, с лохмов пепельной

бороды скатывались мутные капли пота; потом она изредка стала поглядывать на Василия, который почти все время смотрел на нее, на ее волосы, любовался ею. Варваре было приятно, что он все время на нее смотрит, любуется ею, и она, чтоб не вспугнуть его глубоких восхищенных глаз и, как ей казалось, влюбленных в нее, старалась не встречаться с его взглядом, а только смотрела карими глазами, то-и-дело вспыхивающими огнем, на его мягкое и нежное лицо, покрытое светлым пушком, на его характерные губы и подбородок. Заглядевшись на его подбородок и губы, она совершенно позабыла, совершенно упустила, что он поймает ее глаза, взглянет в их глубину, поймет то чувство, которое она питала к нему... Едва успела она так подумать, как его глаза встретились с ее глазами, и она почувствовала, как краска стыда залила все ее лицо, как она неожиданно для Акима, державшего густую прядь волос, повернулась к Пылаеву боком и этим движением вырвала гребень из рук отца, и гребень повис на темно-бронзовой волне рассыпанных по всему стану волос, задрожал, потом оторвался и упал на пол.

Аким растерялся.

— Я тебе не говорил, что надо повернуться.

Варвара, поднимая гребень, ответила:

— А я взяла да повернулась.

Аким опустил по швам руки.

— Я же тебе не говорил...

Варвара, откидывая волосы на спину, засмеялась:

— А я повернулась.

— Я ж не окончил... Давай расчешу как следует, — глядя любовно на волосы дочери и восхищенно любуясь ими, говорил Аким:

— Не надо. Я сделаю сама. Тебе и Якову надо итти...

Яков вскинул голову, торопливо соскочил с лавки, нежно звеня поперечной пилой.

— Готово, Варенька, — и побежал к вешалке за пиджаком, а когда надел пиджак, обратился к Акиму: — Чего стоишь-то, а? Идем.

Аким, ничего не говоря, надел пальто и направился к двери. Яков, следуя за ним и держа под мышкой пилу, крикнул:

— А подпилочек-то я все-таки возьму — пригодится! — он быстро взял со стола подпилок и, засунув его за голенище валяного сапога, вышел из комнаты.

В комнате опять наступила тишина, из этой тишины отчетливо выделялся храп, посвист Арины и Домны, легкое посапывание ребенка, плавал все так же густой тяжелый запах «грецов», пота, грязного белья, банных веников, обуви, пеленок, развороченных постелей. Этот запах неприятно душил Пылаева, ему хотелось как можно поскорее уйти из комнаты на свежий воздух и там вместе с рабочими строить баррикады... Но он не поднялся с табуретки, не ушел на улицу, так как ему было нужно дождаться Варвары: еще вчера вечером он на одном собрании обещал ей, что вместе с нею пойдет на второе собрание дружины, которое было назначено в час ночи у Павла, у того самого Павла, с которым познакомил Игнатов. На этом собрании они должны были окончательно решить и утвердить распределение боевых участков и каждой боевой группе дать определенное задание. Думая об этом, он не заметил, как из-за своего полога вышла Варвара и, втыкая роговые шпильки в туго закрученные на затылке толстые косы, сказала:

— Я не знаю, что делать.

Пылаев вздрогнул и взглянул на нее.

— Мы идем к Павлу.

— Нет. Разве вы не знаете, что его арестовали в школе Фидлера?

— Как?

— Не знаете? Тогда я вам сообщу кое-что, — сказала Варвара и подошла к столу. — Там много убитых...

— Что вы говорите?

— Убили Ефима...

— Что-о?! Митькина?!

— Да. Мне его очень жаль. Он такой был хороший товарищ... Решительный, честный.

— А Настя?

Варвара отошла от стола, опустила глаза, потом холодно взглянула на Пылаева.

— Что ей сделается! Это совершенно другой человек, чужой по настроению.

Пылаев покраснел, потом стал дергаться, как ужаленный.

— Мне кажется, что она служила в охранке... — проговорила Варвара.

При воспоминании об этой женщине, неприятное чувство поднялось со дна души Пылаева, а также и та ночь, которую он провел в комнате с Настей, и все это — и чувство, и ночь — заставили его страдать, чувствовать себя гадким перед такой прекрасной и чистой Варварой, так что он боялся поднять свои подлые и грязные глаза, чтоб не запачкать девственного, сияющего молодостью лица Варвары, ее искрящихся карих глаз, и он, глубоко вздохнув, еще ниже склонил голову, потом робко спросил:

— А теперь?

Варвара, глядя на его опущенную низко голову, на запутанный пробор темно-русых мягких волос, проговорила:

— Кажется, ее труп нашли в снегу около забора Мамонтовской фабрики.

Василий резко поднял голову, прямо взглянул в глаза Варваре.

— Ее? Вы только что сказали, что ей ничего не сделается? А теперь...

— Да, судя по рассказам Домны и Арины; как они говорят, они видели ее труп, — опустив глаза, ответила Варвара, — ее убили...

Василий глубоко вздохнул, поднялся.

— Вы так бледны... Что с вами?

— Нет, ничего... Я теперь себя чувствую хорошо. Идемте, я вам все расскажу.

Когда они вышли на улицу, остановились около ворот своего дома, мимо них прошло несколько человек рабочих. Пылаев и Варвара заметили, что рабочие сильно торопились, — у них почти у каждого были топоры, пилы и другие предметы. Они постояли несколько минут около дома и, не говоря ни одного слова друг другу, стали слушать тишину, и только, когда рабочие скрылись и гул их шагов затерялся в аспидной мгле, они оторвались от дома и пошли за рабочими. На Базарной площади и по всей Пресне до самой Кудрино-Садовой улицы стояли готовые баррикады, благодаря которым в некоторых местах было очень трудно пробраться вперед и приходилось, не зная секретных ходов, перелезать через баррикады или же пробираться в узкие лазейки баррикад, оставленные на всякий спасательный случай во время боя. Пылаев и Варвара прошли несколько баррикад, не встретив никого из строителей этих баррикад на своем пути; они только встретили много рабочих и студентов около Зоологического сада. Сейчас в конце Пресни, напротив

Зоологического сада, на Кудринской площади шла большая дружная работа: сотни людей, как муравьи, ползали по черному рукаву улицы, по дворам, отыскивая бочки, телеги, пролетки, сани, заборы, ворота и всевозможную старую мебель, и все это вытаскивали на Пресню, на Кудринскую площадь, и из всего этого воздвигали баррикады, опутывая проволокой. Но, несмотря на такую гигантскую работу, на Пресне, на Кудринской площади была глубокая, изредка крякующая тишина; в ней, как муравьи, копошились рабочие, громоздились баррикады, полоскались на ветру небольшие полотна кумача, остро-пахнущего краской, а над всем этим зияло глубокое черно-синее небо, осыпанное густо, беспорядочно, мелкими звездами; глядя снизу на это небо, казалось, что это вовсе не небо, — хорошо прикатанный, блестящий ток, на котором только что недавно молотили цепами просо, только что убрали солому, а обмолоченное и разбросанное зерно оставили на ночь, до следующего дня, — такое было впечатление от этого неба у Василия, и ему в этот раз опять вспомнилось родное село, мельница, крутая гора, хорошо подмороженная скамейка, любимый отец, его бархатный голос: «Ночь тиха, пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит». И Пылаев наверно бы увлекся воспоминаниями своего детства, ежели бы его не толкнула слегка Варвара, что шла с ним рядом, очень внимательно поглядывая на него лучистыми глазами, а когда он вздрогнул, она проговорила, улыбаясь ему:

— Смотрю я на вас и думаю: какой вы иногда бываете наивный мечтатель.

Василий сильно покраснел, вернулся к реальной действительности, которая была перед ним, снова увидал,

что под черно-синим небом, под беспорядочно-рассыпанными звездами происходит великая работа, что люди, воздвигая эту работу — ступени к новому миру, в котором не будет рабов и не будет господ, бегают, как муравьи, с огромными тяжестями, делают глубокие рвы перед баррикадами, а мерзлую землю, булыжник подваливают к баррикадам.

— Мечтатель? — прошептал он и посмотрел на Варвару. — Ну кто же в молодости не мечтатель, а? Мы все юноши и все мечтатели! Ну разве я, вы и вот эти сотни и тысячи людей, что бегут, кишат вокруг нас, перед нашими глазами, — не мечтатели? Мечтатели! Ей-богу, мечтатели!

— Нет, — сказала Варвара, — они идут сознательно на борьбу.

— А вы?

— Я? Тоже. Мне, как и им, кроме цепей нечего терять, а завоевать я могу целый мир.

— Мечтательница!

Варвара не ответила.

Василий продолжал:

— Да. Да. Уверяю вас, что все они — мечтатели, что все они верят в сказку, в которую глубоко верю и я. Да, да. Я тоже пойду вместе с ними умирать за эту сказку, за этот сказочный мир, в котором не будет.... ничего не будет...

Варвара холодно взглянула на него.

— Это как так ничего не будет?! По-вашему выходит, что мы идем умирать просто за фигу?

— Нет, за золотые перья жар-птицы.

— Вы что, смеетесь надо мной?

— Нет.

— Так за дуру меня считаете?

— Нет. Я говорю серьезно. Я говорю: я иду умирать...

— Хотите сказать — за перья...

— За новый мир.

— Я вижу, вы надо мной издеваетесь, — возразила Варвара и сердито посмотрела на Пылаева, — я не хочу слушать...

Василий улыбнулся, взял ее под руку, и они, не говоря ни одного слова, свернули на Садовую и пошли по ней, не замечая людей. А когда отошли от Кудринской площади, Василий проговорил:

— Простите меня, я просто пошутил.

— А кто вас знает...

— Нет, я вам верно говорю, что я пошутил. Мне так сейчас хорошо, так радостно, что я даже не знаю, куда буду девать свою радость, которая прет из меня наружу. Мне очень хочется бегать, скакать, да так, как я бегал только в детстве, чтоб пыль коромыслом из-под ног поднималась. А еще мне хочется... — но тут Василий замолчал, потом посмотрел на Варвару.

— Что же вам еще хочется? — покраснев, спросила Варвара.

— Умереть вот на этих баррикадах с сознанием, что оставшиеся в живых победили и Россия вступила в новый мир...

— И только?

— И только.

— Вы опять, — не договорив, прошептала с укоризной Варвара и опустила голову.

И верно: Пылаев говорил любимой девушке совсем другое, совсем не то, о чем он думал сейчас вот на этой улице, где происходила невиданная работа людей, близких ему по крови и по духу. Идя и болтая о пустяках с Варварой, он зорко, очень внимательно наблюдал за

каждой баррикадой, даже глубоко изучал прочность, полезность их, даже прочность и полезность каждого отдельного предмета, положенного с любовью на баррикаду. Кроме всего этого, он мысленно подходил к каждой баррикаде, становился, прижимался плотнее к ее стене, прицеливался из браунинга в дико скачущих казаков, в цепи солдат, бегущих с винтовками наперевес. Он хорошо сознавал, что на улицах древней столицы идет великая подготовка к борьбе, но не за золотые перья, как он говорил Варваре, желая ее рассердить, а идет подготовка к долгой, продолжительной борьбе со старым миром, подготовка за полную победу рабочего класса, за полное его торжество; он, Пылаев, хорошо знал, что это самое торжество не за горами, оно обеспечит счастье рабочего класса на вечные времена. Это же самое знали и рабочие, знала и лучшая часть студенчества; но ежели бы они этого не знали, не чувствовали бы своего торжества в будущем, они никогда бы не вышли из своих пропитанных потом квартир, не залили бы собой Москву, как потревоженным муравейником, не стали бы строить, воздвигать грозные баррикады, невиданные старой Москвой до сего дня; Пылаев, так же, как и рабочие, хорошо сознавал, глубоко чувствовал каждой частицей своего тела, что борьба предстоит упорная, жестокая, что не одна тысяча рабочих ляжет на этих баррикадах, чтобы победить самодержавие, раздавить буржуазию, а поэтому он всем своим существом до боли ощущал, как вздулись, как до необычайности напряглись все жилы, все мускулы восставшего народа, так что было совершенно невозможно в его массе отыскать, остановиться на одном товарище и сказать: вот это вождь такой-то партии, но еще было труднее сказать, что такой-то видный работник играет

такую-то роль, а Землякова — такую-то, а Звягинцев — такую-то, а Павел — такую-то, а студент с белокурой козлиной бородкой, что выступал у Триумфальных ворот и на Трубной площади в первый день забастовки,— вот такую-то, и так далее.

Так, Пылаев, как и рабочие, как и студент с бородкой, как и Землякова, хорошо знал, что ни того ни другого не только нельзя утверждать, но и немыслимо было сказать, ибо на улицы Москвы выступил рабочий класс, который почувствовал в себе силу, правоту, глубокое сознание, что он — создатель всего, что он—настоящий хозяин страны, а не кто-нибудь другой... Так рассуждая, Пылаев не заметил, как он и Варвара свернули на Тверскую, прошли ее, подошли к памятнику Пушкина, остановились возле него, потом сели на лавочку. Над Страстной площадью, над ее глубокой темнотой большим куполом висело черно-синее небо. Здесь, у памятника Пушкина, было так хорошо, так свободно, так было мало людей, как никогда, и только величаво поднимался в черную синеву Страстной монастырь и там горел, дымился своим крестом, да еще более, чем Страстной монастырь, поднимался, уходил с гранитного цоколя в черное небо, дымящееся четкой зеленой пылью, Пушкин и там, как и крест Страстного монастыря, переливался черно-блестящими складками плаща, сияя курчавой, немного склоненной головой. Пылаеву казалось, что Пушкин улыбался, был необыкновенно доволен, что старая Москва погружена в первородный ночной хаос, в тот хаос, в котором когда-то жили первобытные люди и не осознавали не только современной культуры, но и ее первых достижений, т.-е. не имели понятий об огне, который может мелкими точками пронизывать хаос ночей, освещать ослепительным

блеском огромные пространства земли, чудовищные города каменных мешков, — так казалось Пылаеву. Возможно и Пушкин, как и он, Пылаев, слушал неоглядную тишину, что висела над Москвой, вслушивался в ее музыку, — она нынче по-особенному звучит, звучит так, как никогда не звучала над его наклоненной головой. И действительно, Москва нынче была особенной. В ее глубокой аспидной мгле не было ни одного огонька, который бы тоненькой ниточкой потревожил ее в этой напряженно-звучащей, как струна, тишине, но зато в ее глубине звучала новая, неслыханная до сего времени музыка, дивные звуки которой были похожи на звуки гитары, но не такой гитары, которую держат в руках, а такой, которая висит над всей Москвой, дрожит серебряными струнами, бросая на мостовые улиц, переулков и площадей торжественные звучания грядущей музыки. Василий хорошо чувствовал эти звучания, а также глубоко понимал, что они происходят сейчас не над одной Москвой, а над всей огромной Россией, погруженной в снега, в мягкую мглу черно-синей ночи. Он, Василий, точно знал, что не в одной Москве вышли люди из вонючих и ржавых квартир на улицу, — вышли из деревень, сел, станций, хуторов, городов и под эту музыку строят великое дело — баррикады для борьбы, через которые только и можно перешагнуть в грядущее, откуда так прекрасно звучит эта музыка и своими звуками настойчиво зовет к себе...

Пылаев так увлекся музыкой, что даже не заметил, как к нему прижалась Варвара и мягкими глазами смотрела на него.

— Вы что-то хотели мне рассказать?

Василий вздрогнул.

— Я хотел рассказать?

— Да. Позабыли?

Василий покраснел, опустил глаза: ему сейчас совершенно не хотелось рассказывать то, что он хотел рассказать ей в начале этой прогулки, да ему было и не особенно приятно произносить имя так трагично погибшей женщины, имя которой он не мог произнести без отвратного содрогания во всем своем существе, и он, Пылаев, уклонился от этого, вернее, от раскаяния перед Варварой, что он сделал гадкое дело, что он не лучше самого последнего негодяя, что он не стоит ее любви, что он недостоин того, чтоб его любила чистая девушка, и т. д. И Пылаев не раскаялся; он на ее вопрос ответил, как бы недоумевая:

— Я, кажется, ничего не собирался...

— Ничего?

Они опять встретились взглядами. Они несколько минут смотрели друг другу в глаза. Потом оба густо покраснели, поняв хорошо свои чувства, весь трепет своих сердец. Потом опустили глаза и не знали, о чем больше говорить. Молчание длилось тоже несколько минут. Первой заговорила опять Варвара.

— Вы слышите, как в тишине тявкают топоры, как музыкально падают подрубленные телеграфные столбы?

— Слышу.

— Правда, хорошо? Мне кажется, что это падают не телеграфные столбы, а выбрасываются из окон домов гитары и они, падая на мостовые, звучат струнами.

Пылаев внимательно посмотрел на Варвару.

— Выбрасывают гитары?

— Так мне кажется, — ответила Варвара. — Так вы мне и не расскажете?

Пылаеву в этой тишине вся Москва казалась какой-то огромной гитарой, и он очень обрадовался, что и

Варвара слышит ее звучащие струны... Он, глядя на нее, сказал:

— Да. Мне кажется, что Москва нынче живет особенной жизнью, живет так, как она никогда не жила до этого вечера, дыхание ее жизни ширится далеко-далеко, я бы сказал, на всю Россию, ежели не дальше... — И Пылаев опять стал вслушиваться в тишину, всматриваться в темноту ночи. Он опять увидал черные силуэты домов, Страстной монастырь, его большой сияющий крест, так величественно уходивший в синеву неба, потом складки блестящего черного плаща, обнаженную голову Пушкина и его полновесные слова, которые звучали с гранитного пьедестала: «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». И Пылаев увидал, как с этими словами все выше и выше поднимался Пушкин над движущейся пропастью Страстной площади в черно-синюю бездну неба, как на его склоненной курчавой голове пересыпался звездный виноград, дымясь зеленой пылью.

Пока он всматривался в темноту, в Страстной монастырь, в Пушкина, Варвара смотрела на него грустно-задумчивым взглядом, а когда он взглянул на нее, она склонила голову.

— Вы что? — поймав ее грустную улыбку, спросил Пылаев и почувствовал, как больно сжалось его сердце.

— Скучно, — не поднимая головы ответила она.

— Что вы? В такую ночь да скучно? Будут ли в нашей жизни такие ночи?

Варвара подняла голову, внимательно посмотрела на Пылаева, и он, поймав ее взгляд, еще больше убедился, что она так красива, как никогда, и ему страстно захотелось сказать ей все, что у него было на сердце, но он

вместо того, чтобы сказать, что у него было сейчас на сердце, сказал совсем-совсем другое:

— Вы слышите, как звучит тишина?

— Это вы фантазируете, — ответила холодно Варвара и поднялась с лавочки. — Восставшие рабочие делают дело, а мы...

Василий сразу сорвался с места, полетел в обыкновенную ночь, которая полнилась шагами, ударами топоров, падением столбов, лязгами железа, жалобным звоном проволоки, и ему стало до боли стыдно... Он подошел к Варваре.

— Вы говорите, что я...

Варвара холодно рассмеялась.

— Зачем заниматься игрой слов, когда не до игры.

Пылаев положил на ее плечо руку.

— А я разве играю?

Варвара недоуменно отступила назад, осмотрелась кругом.

— Вы что?

Пылаев откинул руку на спину, прямо взглянул в глаза Варваре:

— Мне можно тебя поцеловать?

Варвара не ответила, она только ниже склонила голову, стала смотреть в сторону, мимо Пылаева, как будто кого-то отыскивая.

Глядя на нее, Пылаев вздохнул:

— Молчите? Нельзя?

Варвара подняла голову, радостными глазами больно обожгла его. Она так была хороша сейчас, как никогда; Василий, любуясь ее лицом, карими глазами, вздрагивающими, похожими на крылья ласточки бровями, шелковыми ресницами, ярко рдеющими губами, невольно отступил от нее.

— А здесь никого нет? — опустив глаза, робким шопотом спросила Варвара.

Пылаев нежно обнял ее талию, крепко поцеловал в рдеющие губы.

Поцелуй для Пылаева и Варвары, как им показалось, был необыкновенно долог, мучительно сладок, так что они оба, когда оторвались друг от друга, с глубоким волнением, с трепетом прошептали в одно и то же время, как будто одним голосом:

— А здесь никого нет?

Около них, кроме уходящего все глубже в беспредельность неба Пушкина, никого не было: люди, проходившие густо по Тверской и по бульвару, не замечали их, да и какое было людям дело до любви затерявшихся в ночной мгле двух сердец. Только, как показалось Пылаеву и Варваре, в их сторону повернул курчавую, блистательную голову Пушкин, благосклонно улыбнулся крепкой молодости, прекрасной и неиссякаемой вечной любви и что-то прошептал, как будто благословляя их на долгую любовь.

Как жарко поцелуй пылает на морозе,
Как дева русская свежа в пыли снегов.

Они снова встретились глазами, улыбнулись.

После этого вечера они не видались больше десяти дней. В эти дни Василий Пылаев все время находился на баррикадах, вместе с мамонтовскими, прохоровскими рабочими защищал каждую пядь пресненской мостовой, но царские войска упорно наступали, сметая артиллерийским огнем баррикады и тесня рабочих все ближе к заставе. Правда, Пылаев видел Варвару, как она с другими работницами Прохоровской фабрики подбирала раненых и убитых, но ему ни разу не удалось подойти к ней, перекинуться парой слов или просто взглянуть

в ее карие глаза, улыбнуться ей, а также поймать ее любящий взгляд, улыбку, и с этой милой улыбкой еще более жестоко отстреливаться от солдат, которые так упорно лезут на баррикады и берут одну за другой...

Накануне полного разгрома Пылаева ранили в ногу, и он был вынужден покинуть баррикады. Он без посторонней помощи дошел до своей квартиры, поднялся на второй этаж, вошел в большую комнату, в которой жила Варвара с отцом, жили Яков, Федор, Сурков, Арина и Домна с ребенком, остановился около двери, боясь пройти к столу, так как на полу не было свободного места, — лежали тяжело раненые, около них ползал доктор, около него Варвара, Арина, Домна и еще незнакомые две курсистки, помогая ему. За пологами на постелях тоже лежали раненые. Пылаев, всматриваясь в раненых, в лица женщин, что помогали молодому, совсем безусому, с большим с горбинкой носом, голубоглазому доктору; лицо доктора, несмотря на всю молодость, было одухотворено серьезностью, светилось огромной любовью к тяжело раненым рабочим, и они с крепко стиснутыми челюстями мужественно переносили боли и торопливую работу доктора... На лицах женщин тоже было какое-то особенное выражение, которого он до этого дня не видал: сейчас их лица были необычно прекрасны, очаровательны, влекли к себе, заставляли глубоко уважать и преклоняться перед ними. Даже водянистое лицо Арины было сейчас неузнаваемо, было совсем не похоже на то лицо, что было у ней раньше, до этого дня, — оно было вдохновенно, светилось огромной человеческой любовью к этим людям, лежавшим на полу, на ее кровати, к таким близким по духу и по крови; особенно были чудесны ее глаза, когда-то желтые, — сейчас они были темными и такой

горели любовью, что у Пылаева, глядя на нее, не нашлось слов, чтобы выразить эту ее любовь... Пылаев все так же стоял неподвижно около двери, смотрел на нее, на работу доктора и женщин... И он, наверно, долго бы простоял так, ежели бы его не заметила Арина, не подошла бы к нему:

— Ты что, Василий? — спросила она ласково и крикнула Варваре: — Василия ранили.

— Пустяки, — вздохнул Василий, — кажется, легко... Я пришел только перевязать, а то кровь сильно идет...

Варвара подняла голову, взглянула на Василия. Пылаев заметил, как она побледнела, как затрепетали ее ресницы, и их трепет был похож на крылья пойманной ласточки.

— Сейчас, — прошептала она и поднялась. — Сейчас.—А когда она подошла к нему, от него отошла Арина.

— А ты его положь в комнату Ефима.

Следом за Варварой к Василию подошел доктор; он посмотрел рану:

— Пустяки, товарищ... чуть зацепила мякоть...

Пылаев смутился:

— Я только, товарищ доктор, перевязать... Я сейчас снова бегу...

Пылаев, пока Варвара бинтовала ему раненую ногу, стоял покорно, с большим наслаждением чувствовал прикосновение к своему телу любимых рук, которые испуганно дрожали; Варвара никак не могла забинтовать рану, вернее небольшую царапину, а главное, — не могла справиться с бинтом, который то-и-дело вырывался из рук, падал на пол, разматывался, отчего она еще больше краснела и терялась. Пылаеву было приятно, что она так долго бинтует его ногу, и он радостно смотрел на нее, желал одного, чтобы она как можно больше

была бы около него и своими нежными пальцами прикасалась бы к его телу. Угадывала ли Варвара душевное настроение его, сладкую истому его сердца, которое так сильно билось в его груди над ее склоненной головой, — он, Пылаев, точно не знал, да и не думал об этом, ему просто было необычно хорошо и страшно хотелось только одного, до эгоизма одного, чтоб она оставалась около, на коленях перед ним, и бесконечно долго бы бинтовала его рану, нежно прикасалась бы любимыми руками к его телу. Поднимая размотавшийся бинт, Варвара вскинула голову, взглянула на него карими лучистыми глазами и, встретившись с его влюбленными, устремленными на нее темными зрачками, совсем растерялась, потеряла всякое над собой самообладание и так заторопилась, что опять уронила бинт и он, падая на пол, стащил к ступне несколько кругов повязки и кусок окровавленной марли. Доктор, следя урывками за работой Варвары, оторвался от раненого и сердито подбежал к ней.

— Что с вами, товарищ? Неужели вы этот пустяк не можете сделать?!

Не успела Варвара ответить, как доктор вырвал из ее рук бинт и стал перевязывать рану.

— Вот как надо, — говорил он. — А впрочем, идите вон к тому товарищу.

Варвара поднялась с колен и, не взглянув на Пылаева, покорно пошла к тяжело раненому рабочему, к которому послал ее доктор. С уходом Варвары к другому раненому, на душе Пылаева снова стало пусто, а главное, он остро почувствовал спертый запах в комнате, пропитанный потом, кровью, грязным бельем, «грецами», аптекой, пеленками, вениками, побывавшими не один уже раз в употреблении, и которые все так же, как и до

этого дня, сушились у кафельной печки. Чтоб не ощущать этого запаха, он стал рассматривать лежавших прямо на полу раненых товарищей. Они лежали как попало, во всевозможных позах, т.-е. так, как им позволяли раны. Василий Пылаев понял, что здесь лежали только сильно раненые и все они были в тяжелом беспамятстве. Он остановился на одном раненом товарище, — товарищ лежал между двух рабочих, лежавших неподвижно книзу лицом, и у которых вместо ног были грязно-кровавые битки мяса с торчащими из них волокнами шерсти и клочьями сукна, — он, этот товарищ, лежал животом кверху, с высоко выставленными согнутыми коленями, с закинутой назад головой, так что подбородок, с пучком рыжей бороды, остро смотрел в серый от копоти потолок, а из-под его бледных век, сильно ввалившихся в орбиты, смотрели холодным, меркнущим светом полузакрытые наполовину глаза и, неприятно подхихикивая, говорили: «Вот, какие дела-то, браток!» Глядя на этого товарища, на его высоко выставленные колени, на его подбородок с рыжим пучком жесткой шерсти, Пылаев вздрогнул, почувствовал, как по его телу побежал холодок, а главное — увидал, что этот товарищ совершенно не хотел не только умирать от какой-то пули или осколка снаряда, но даже не хотел лежать на полу, и он все время, упираясь пятками и затылком в грязный от крови пол, старался вскочить на ноги, закружиться в радостном плясе вот по этому самому полу, в который он так жадно упирался локтями и затылком...

— Ну, вот и готово, — сказал доктор и поднялся с колен. — Ежели снова пойдет сильно кровь, то приходите — опять перевяжем...

Василий не дослушал доктора, он круто повернулся и вышел из комнаты. На улице его встретил Яков; рябое лицо Якова было мрачно и темно, как ночь; его пепельная борода была всклокочена, торчала в разные стороны. Он остановился и, не поднимая головы, проговорил:

— Это кто?

— Не узнаешь, — разглядывая коренастую фигуру Якова и винтовку, на которую он важно опирался, ответил Пылаев, улыбаясь.

Яков медленно вскинул голову, взглянул на Василия.

— Аа-а, это ты?—и тоже весь засветился улыбкой.— А я тебя и не узнал... Ты что это, хромаешь, а?

— Пустяк, немного поцарапали... Ну, как там дела-то? Да ты, Яков, винтовку в плен взял, — глядя жадно на винтовку, с восхищением позавидовал Пылаев,—давно?

Рябое лицо Якова еще больше потемнело, клочья пепельной бороды еще больше ощетинились.

— Наши дела, как сажа бела... А от винтовки, как от козла молока: пуль нет. А ношу ее — для виду, все лучше, чем с голыми руками... Нынче приказ получили, велят складывать оружие, пониже голову держать перед победителями.

— Как складывать?.. Какой приказ?

— Рабочие разгромлены, разбиты боевые дружины, пленники, наверно, перевешаны; осталась только еще неразгромленной Пресня, да и она еле-еле держится. — И он замолчал и, глядя в сторону, мимо Пылаева, полез за пазуху, достал оттуда клочок бумаги и подал ему:

— А это вот приказ...

Пылаев дрожащими руками взял приказ, развернул и стал читать, но читать было трудно, так как от сильного волнения, от бурно клокотавших в горле слез буквы и

слова прыгали и никак не укладывались в строчки... Пылаев передал обратно приказ Якову.

— Пойду. А вы куда?

Яков, спрятав приказ, крикнул:

— Иду сказать, что больше двух дней не продержимся... — и он стал подниматься по лестнице, но тут же сбежал обратно и шопотом Василию: — А ты знаешь: Акима убили, Федора убили, Суркову разрубили пополам голову... — и он что-то хотел еще сказать, но ничего не сказал, а только быстро рванулся вверх, стуча подковами сапог.

Василий как-то сразу обмяк, постарел и, прислушиваясь к выстрелам, к тявканью пуль и к всхлипыванью стекол, глубоко вздохнул и, стараясь быть ближе к домам, быстро зашагал к передовым баррикадам. Он благополучно миновал конец улицы, упиравшейся в рынок, перебежал рынок, добрался до первых баррикад Пресни, над которыми пронзительно визжали пули. Он прошел вторую баррикаду, третью. Переходя четвертую, он попал в густую проволоку, как муха в тенета, запутался в ней и никак не мог выбраться. От движения его рук, плеч и всего тела баррикада торжественно-звонко рыдала телеграфной проволокой и свое рыдание передавала на остальные баррикады, которые тоже начинали рыдать проволокой и дальше передавать душу-раздирающие звуки. Василий с трудом выбрался из проволоки, бегом бросился к пятой баррикаде, под защитой которой было около сотни товарищей и человек тридцать стояли под воротами каменного дома. Когда он подошел к ней, товарищи советовались, как поступить: сдаться на милость победителям или же отступать и спасаться? Но оба плана отступления были неприемлемы, так как все хорошо знали, что пленникам пощады

не будет, — всем будет виселица... После короткого горячего спора, выступил высокий рабочий, блондин, которого Пылаев хорошо знал, как раз тот самый, что был вместе с Земляковой на митинге во дворе Мамонтовской фабрики, как раз тот самый, под командой которого на Кудринской площади перевертывали вагоны и строили из них баррикады, — он решительно отверг их предложения и внес свое, которое заключалось в следующем: надо заманить ближе пехоту и сдать пятую и четвертую...

— Я против, — выкрикнул дружинник в студенческой шинели и с головой, обвязанной шалью.—Это значит — отдать самую неприступную...

— Иначе нельзя, — сказал блондин, — разве вы не видите, как солдаты в четверть часа разобрали отданные нами баррикады и маршем идут за нами, даже не стреляя, а работая только штыками... Я предлагаю, товарищи, отдать эти две баррикады... Потом главной силе отступить на площадь, а одному десятку засесть... Главной силе слегка отстреливаться, заманивая их на указанные баррикады. Потом, когда они войдут, открыть по ним огонь, а мы, десять человек, должны их угостить с тыла бомбами... Понятно теперь?..

— А где они? — взволновались дружинники. — Обещали прислать...

— Имеется около двадцати... Из них семь македонок... Я думаю, на первое время хватит...

То, что говорил блондин, и то, что возражали товарищи, Пылаев не слушал; он только, облокотившись на дно бочки, смотрел на мутно-белое небо, вертящееся как колесо, из которого быстро-быстро падал нежный снег, мягко и спокойно, как будто ему было некуда спешить, ложился на бревна, на дно бочки, на стены вагона, на

проволоку, на него, Пылаева, на его плечи, на головы товарищей, которые тоже не слушали блондина, так как и без него они хорошо понимали, что дело кончено, что нынешняя ночь должна быть последней, что, может быть, они тоже живут нынче последнюю ночь и больше ничего и никогда не увидят на этой безрадостной земле, не увидят никогда нового мира, в котором не будет угнетенных и не будет господ,—будет только одно братское общество... Они тоже, как и Пылаев, смотрели на снежинки, следили за ними, как они спокойно и густо приходили на эту землю, чтобы пожить на ней и умереть... Он, Пылаев, поднял голову, посмотрел на соседа, что стоял рядом с ним и водил пальцем по стене вагона. Пылаев взглянул ему в лицо и позабыл про снежинки, так как лицо этого товарища было необыкновенно прекрасно и мудро, как лицо великого пророка. Правда, Пылаев ничего не увидал в его глазах — они были полузакрыты ресницами, смотрели на стену вагона, но он увидал в его глубоких морщинах, в темно-русой бородке какую-то сверхчеловеческую улыбку, которая его, Пылаева, снова потянула вперед, к новому миру, что так недавно, как казалось Пылаеву, да и не одному ему, а всей Москве, всей огромной, утопающей в снегах России, — готов был народиться, легкой поступью войти в Москву, в Россию...

Медленно падал снег, еще медленней ложился на баррикаду.

Человек, — товарищ, с прекрасно-сияющим лицом,— спокойно водил пальцем по тонкому слою снега, что лежал на стене вагона. Из-под его пальца выкатывались огненные слова, они радостью жгли глаза, сердце и все его существо, и от которых он бесшумно шевелил губами:

«Мы временно разбиты, но революция непобедима!»

Ночь быстро спустилась на землю.

Пылаев с главной массой товарищей отступил на площадь.

Все так же медленно падал снег, крупный и такой же равнодушный.

И небо было темно-мутное, хуже, чем несколько дней тому назад, когда он ходил с Варварой по улицам Москвы, слушал музыку будущего мира, который был тогда в нем, в Варваре, в его товарищах... А сейчас ничего нет в его душе, кроме горького сознания, что они окончательно разбиты и надолго, да вот этого неба, что мутной периной висит над его головой, над товарищами, над этой вот последней баррикадой, где они нынче прольют свою кровь в последний раз за новый мир... Глядя на это небо, Василию кажется, что висит над ним, над последней баррикадой, под которой он приютился и ждет врага, чтобы сразить его свинцовой пулей или пасть самому, не небо, а какое-то темное колесо, и это колесо вертится над его головой, нудно просевая темные снежинки, которые в своем падении вертятся роями мушкары-толкачиков и с приближением к земле все больше и больше вырисовываются во тьме и окончательно становятся белыми, особенно перед глазами, когда ложатся на протянутые руки, на ложу маузера, на доски, на камни и на разные предметы, из которых воздвигнута баррикада, на товарищей, припавших так же, как и Пылаев, плотно к последней своей твердыне и, не спуская глаз с мушек, поджидают врага, резко белея плечами, головами... Пылаев вздрогнул.

— Начинать? — и широко расширенными зрачками взглянул на товарища, сидевшего на корточках рядом с ним, на того самого товарища, что днем, когда

говорил блондин, стоял к нему, Пылаеву, боком и, глядя в землю, писал пальцем по снегу: «Мы временно разбиты, но революция непобедима!» Сосед поднял голову, повернул к нему темно-русое одухотворенное лицо и тоже с широко расширенными зрачками, похожими на два раскаленных угля, улыбнулся:

— Нет. Приказа еще не было.

Пылаев, встретившись с его зрачками, снова почувствовал в себе прежнюю силу, небывалый под'ем и хотел было сказать что-то радостное и большое своему соседу, товарищу по оружию, но ничего такого не сказал, так как сосед отвернулся от него и смотрел в сторону врага, где жалобно звучала разрываемая им проволока... Пылаев, проваливаясь опять в ледяное, мутно-белое море, прошептал совсем-совсем другое, даже неожиданное для себя:

— До ужаса скучно падает снег.

Не успел Пылаев проговорить, как мутно-белое небо с страшным треском и грохотом обрушилось на него, на его товарищей, так что вздрогнула под ногами мостовая, хрястнула баррикада, плотнее присела к земле, качнулись в мутном сумраке дома, жалобно заскулили, задребезжали окнами, рассыпая осколки стекла. Пылаев, его сосед и все остальные товарищи подпрыгнули кверху, а студент с обмотанной головой перевернулся кругом несколько раз, пронзительно выкрикивая:

— Ага! Ага!

Потом еще раздались один за другим удары; потом эти удары слились в один чудовищный гул, от которого, как лист бумаги, тряслась мостовая, стонали дома, выла проволока, хрустела, словно в мялке, баррикада, метались, не зная куда деваться, товарищи, а вместе с ними и он, Пылаев... Они только тогда опомнились, когда

услыхали голос старшего начальника, который уже больше пяти минут кричал им «к баррикадам» и «огонь», но они, потрясенные гулом и ревом, колебанием земли и треском баррикад, не понимали, ничего не соображали, метаясь из стороны в сторону; они только тогда опомнились, когда увидали за своей баррикадой таких же полоумных, как и они, солдат, которые стремились вырваться из страшного ада бомб, что все еще чудовищно лопались среди них, вырывая из-под их бегущих, непослушных ног землю и осыпая осколками камня и стекла; вот только эти бегущие с ружьями наперевес солдаты заставили опомниться дружинников, припасть к последней твердыне, чтобы не погибнуть под штыками озверевших солдат, а самим встретить их достойно... Пылаев, стреляя из маузера, видел, как под густым огнем остановились солдаты, заметались как загнанные в клетку звери, крича о пощаде и бросая винтовки...

— Ага! Ага! — кричал восторженно студент с обмотанной головой и неожиданно вскочил на баррикаду и, размахивая рукой, пронзительно заорал: — А ну, попробуйте-ка македонку!

Земля и камни и снег заглушили слова студента, приподняли его, потом с грохотом опустили и он, цепляясь за ревущую проволоку, скатился с баррикады, но не к товарищам, а на другую сторону, за баррикаду. Пылаева и его соседа, что писал пальцем по снегу: «Мы временно разбиты, но революция непобедима!», тоже отбросило в сторону, но его сосед быстро оправился, быстро бросился ползком к баррикаде, как голодная собака к брошенной кости; Пылаев, не отставая, последовал за ним, пополз, плотнее прижимаясь к мостовой. Подползая к баррикаде, он неожиданно попал рукой

в мягкое и горячее, отчего неприятно дернулся назад, спрятал за спину руку и безумным взглядом уставился на черное пятно, но тут же испуганно метнулся в сторону: это было не пятно, — большой, еще горячий кусок человеческого мяса... Сколько он просидел на снегу под баррикадой, он хорошо не помнит, но помнит только одно, как его сосед, что писал по снегу, подошел к нему, положил на его плечо руку и, глядя куда-то мимо него в сторону потухшими стальными глазами, холодно сказал:

— Теперь надо уходить. Вставай!

Пылаев поднялся, осмотрелся, отряхнул с поддевки снег, потом с сапог.

— Уходить?

Ему никто не ответил. Он видел, как сюда, за эту баррикаду, собрались все товарищи, крепко жали друг другу руки, целовались; тут был и блондин, которого он хорошо знал и встречал на кружках и на собраниях; он тяжело прохаживался вдоль баррикады, крепко жал руки товарищам, то-и-дело подгонял, чтобы они скорее отсюда выметались и пробирались на такую-то станцию Курской железной дороги, на которой поджидал паровоз с несколькими вагонами, чтобы вывезти их из Москвы; но рабочие, как нарочно, не торопились, тоже прохаживались около баррикады, словно около насиженного гнезда, которое им было жалко покидать, целовались друг с другом и, не торопясь, с мучительной болью ломали оружие, разбрасывали его в разные стороны, чтоб оно не доставалось врагу; один рабочий, небольшого роста, лохматый как пудель, шумно полез на баррикаду, но, то-и-дело срываясь с обледенелого железа и звеня проволокой, как струнами разбитой гитары, совсем сорвался на землю и, улыбнувшись, стал

опять взбираться на нее, не обращая никакого внимания на блондина, кричавшего:

— Куда тебя понесло?

Но рабочий упорно взбирался на баррикаду, — он только тогда успокоился, когда сделал свое дело и, сделав это дело, скатился с баррикады и, улыбаясь во всю физиономию, ответил блондину:

— Знамя поднял... его взрывом сорвало... Я поднял... Мы уйдем, а оно пусть ярче рдеет, напоминает о нас, что мы еще придем... при-идем... — и он свирепо погрозил кулаком в мертвую улицу, в ее зловещую тишину, раздираемую протяжно-жуткими стонами солдат, попавших в западню... да глухими раскатами орудий.

— И верно, — крикнул кто-то из толпы и хрипло засмеялся, а потом крепко и нехорошо выругался.

— Скорее! Скорее! – торопил блондин и каждого почти силой выталкивал вперед. — Скорее! Иначе мы не уйдем!

Рабочие медленно повернулись спиной к баррикаде, к своей последней жестокой работе, медленно двинулись вперед и, пройдя несколько шагов от нее, стали все быстрее расходиться в разные стороны, не оглядываясь. Чем они дальше уходили от места борьбы, тем все больше и больше прибавляли шагу, реже оглядываясь назад... А когда они скрылись в ночной тьме, когда окончательно затерялись их шаги, блондин, сосед Пылаева, Пылаев и рабочий, что все еще грозил кулаком: «Придем... при-и-де-ем», — оторвались от баррикады, быстро пошли на базарную площадь, и только что было подошли к ней и хотели было перейти ее, как недалеко от них с пронзительным свистом ударился в мостовую снаряд и, вырывая кусок мостовой, осыпал их снегом и осколками камней.

— Как раз во-время выбрались, — сказал блондин и посмотрел на товарищей. — Надо и отсюда уходить...— Но не успел он договорить, как шлепнулся недалеко от них второй снаряд, потом по всей площади, лопаясь, как гигантские грецкие орехи, стали вспыхивать красно-зеленые взрывы снарядов, осыпая площадь осколками железа, вывороченными из мостовой камнями, землей, комьями притоптанного, похожего на лед, снега.

— Надеюсь, — проговорил блондин, — встретимся... Мы вот, — показывая кивком головы на товарища, что поднял знамя, — с ним пойдем в эту сторону... — И они оба повернули направо и пошли к Ваганьковскому кладбищу.

— А мы, — спросил Пылаев у своего товарища, — куда пойдем?

— Туда же, куда и они, но только пойдем вот этой улицей и тоже к Ваганьковскому кладбищу и мимо него в лес... — И они повернули налево, но не успели добраться до углового дома, от которого начинались две улицы и обе вели к Ваганьковскому кладбищу, как в этот дом с грохотом впились один за другим два снаряда, и деревянный дом, что был перед глазами Пылаева и его товарища, вспыхнул как огромный костер хвороста в заброшенной пустыне, приседая с треском к земле. Пылаев и его товарищ, розовые от пламени пожара, бросились назад, потом в сторону налево и бегом побежали мимо горевшего дома, а позади них и впереди тоже лопались снаряды... Пылаев видел, как перепуганные жители, багряные, как знамена, от зарева, выскакивали из горевших домов, метались по площади, с диким воем, с проклятиями бежали к Ваганьковскому кладбищу, туда же, куда и Пылаев и его товарищ. Мимо Пылаева и его товарища безумно пробежала женщина;

она была в одном белье, с растрепанными волосами, с развевающейся от ветра шалью на плечах, угол которой закрывал ей спину и шумно трепался по ногам; она, держа подмышкой лохмотья, тащила за собой совершенно раздетых, перепуганных детишек и пронзительно, с каким-то всхлипывающим свистом выла; за ней пробежало еще несколько человек и тоже в таком же виде... Пылаев и его товарищ были уже около кладбища и хотели было спуститься вниз, чтобы поскорее добраться к лесу...

— Вы куда?

Пылаев и его товарищ остановились, взялись было за маузеры.

— Не узнаете?

Перед ними стоял товарищ, который только что простился и пошел вместе с блондином.

— Откуда? А где твой товарищ?

— Мы окружены. Его ранили, а я убежал... Куда вы идете, там тоже казаки... Надо постараться замешаться среди жителей.

— Среди... — улыбнулся товарищ и повернул темно-русое лицо к Пылаеву, посмотрел ему в глаза. — Как думаешь?

Василий не ответил. Он смотрел на пожар, на ослепительно освещенную улицу, на белое зарево, в котором было все так хорошо, так отчетливо видно: была видна площадь, за ней баррикады — первая, вторая, третья, угловые дома, в особенности дом, в котором помещался трактир, — в нем тоскливо орал по праздникам орган, зазывая рабочих, тяжело сопел толстый с бычьей шеей, с пухлыми, пунцовыми щеками, обросшими черно-жгучей, как вороново крыло, бородой, с тупой, словно подрубленной головой, подстриженной в скобку,

но с тоненьким, похожим на женский, голоском хозяин, про которого Аким часто говорил Пылаеву: «Хороший хозяин, только горлышко не по его росту господь дал: голосок очень тонкий, дамский»; видна была проволока и была она сейчас похожа на пепельную паутину; часть Пресненской улицы с тремя баррикадами; в ее желтой темноте, как в огромном мешке, возились черные тени солдат; в мутной мгле был виден не только над площадью, но и на Пресненской улице, крупный прозрачно-желтый снег. Пылаев даже видел, как этот снег переливался огнями, отражал в себе зарево пожара... Дальше, за площадью, за тремя баррикадами Пресни, за передними фасадами корпусов Мамонтовской фабрики и здесь, как раз за спиной Пылаева и его двух товарищей, рвано обрывалось кольцо зарева, мягко и бесшумно прикасалось к черно-желтому краю аспидной мглы, которая при сильных вспышках пожара вздрагивала и, как гигантский бархатный занавес, приподнималась, обнажая снежное поле, что было налево, первые ряды соснового леса, одетого богато в иней, и которые ослепительно сверкали бронзой стволов и серебром своих вершин; это же зарево густо обливало главы кладбищенской церкви, тяжелые камни памятников, что, как голые черепа покойников, двигались, поднимались все выше и выше, точно из ада блестели розово-желтыми плешами из-за деревьев... Глядя на чудовищно-сказочные окраины зарева, на лохматые края мглы, похожей на огромную рваную рану, Пылаев засмотрелся, был совершенно очарован видимой картиной и позабыл всю опасность, которая стояла позади, двигалась все ближе и ближе к нему, так что он не заметил, как ушли куда-то его оба товарища, как из-за угла выехали четыре казака, как один из них, что был

впереди, осадил лошадь и, пятя ее назад, испуганным голосом вскрикнул:

— Ни с места! Руки вверх!

Пылаев вздрогнул, но тут же спохватился и, почувствовав во всем своем теле какую-то необыкновенную радость, расхохотался, потом, поднимая руки, незаметно бросил маузер за ограду кладбища. Когда под'езжали к нему казаки, он хорошо видел их свирепые лица, но, несмотря на их свирепость, он всем своим нутром ощутил в их глазах, на их лицах животную трусость и эта трусость рассмешила его и ему безумно захотелось хохотать, кататься от смеха вот по этому желтому снегу...

— Ваше оружие, — соскочив с лошадей и схватив его за поднятые руки, прохрипели казаки, обдавая всего водкой.

— Оружие? У меня нет никакого оружия, — ответил Пылаев и рассмеялся.

— Я те посмеюсь, морда! — заорал яростно казак и размахнулся на него шашкой, но не ударил. — Где оружие?

Пылаев не ответил, но когда казаки связали ему назад руки и, вскочив верхом на лошадей, повели его в поводу точно какую-нибудь собаченку, он возмущенно обратился к ним:

— Отпустите; я ведь не собираюсь бежать.

Казаки злобно рассмеялись. А один, что был впереди и крикнул руки вверх, повернул в его сторону злое и все еще напуганное усатое лицо, с огромным рыжим чубом волос, зачесанным лихо на шапку, сбившуюся набекрень, оскалил зубы, осадил лошадь, повернул ее боком, так что она загородила собой дорогу, и, еще больше зверея, перегнулся с седла и, вися над Пылаевым, несколько раз ударил его по голове, по плечам,

отчего тот повалился на землю... Казак повернул лошадь, потом выехал вперед и, проехав немного, остановился. Казак, державший Пылаева в поводу, приказал ему подняться, а когда тот поднялся, они тронулись от кладбища на дорогу и поехали быстрой иноходью. Пылаев едва поспевал за лошадьми... Проехав немного по улице, они опять остановились, поговорили между собой, потом под'ехали к палисаднику одного дома, опять поговорили и после короткого разговора приказали Пылаеву стать на забор. Он, не предполагая злого умысла казаков, а думая, что они, чтобы поскорее доставить, решили посадить его на лошадь, обрадовался этому, покорно полез на забор и стал на перекладину, держась подошвами между копьеобразных столбиков; но едва он только встал, как казак, державший его в поводу, круто повернул лошадь и пустил ее вперед, громко смеясь; за ним с хохотом поехали и остальные; не ожидая этого, Пылаев полетел вниз и повис на заборе, зацепившись ступнями за колья; он только тут осознал весь ужас своего положения; или разорвут его на части или оторвут ему ноги, если только не сломаются концы столбиков... Чтобы не заорать, не выдать своей боли, он до крови стиснул зубы и услышал страшный треск своих жил, мускулов и всего своего вытягивающегося тела, повисшего на заборе и позади лошади, которая под животный хохот казаков вытянулась и никак не могла сорваться с проклятого места и только тогда оторвалась, когда казак ударил ее нагайкой, поползла, потом неожиданно сделала в сторону прыжок да так, что сидевший на ней казак чуть было не вылетел из седла... Что касается Пылаева, то он глухо вскрикнул и, услыхав потрясающий треск и гул

в своем теле, почувствовал, что это взорвались все его кровяные шарики, взорвалась вся земля, обрушилось на него небо и вместе с землей ледяным студнем потекло между его пальцами...

Пылаев недоуменно открыл глаза.

— Где он? Разве это не сон? Нет, это не сон; это все было, это — прошлое, да и сейчас все это, что видит он перед своими глазами, — настоящее. Но только где он сейчас находится? что это за люди? — Пылаев видел, как к нему подошел с огромной, черной, похожей на чугун, вздутой, с кровоподтеками и с зияющей шрамами головой человек, наклонился и посмотрел на него изуродованным лицом, из которого, как щетина, торчала рыжая борода; человек глухо спросил:

— Как себя чувствуешь, товарищ?

Василий не ответил; он упорно соображал, да и не он соображал, а кто-то в нем другой соображал:

— Кто это?

— Не узнаешь? — и он лег с ним рядом на нары.

В узкие, мутные, решетчатые окна медленно вползал рассвет, неприятно разливался перед глазами Пылаева, наполняя все больше и больше собой помещение, стен которого, несмотря на вливающийся свет, пока было не видно из мглы, и только тогда они предстали перед Пылаевым, когда окончательно вошел декабрьский день. Но день был хмурый, невзрачный, как говяжий студень, дрожал перед глазами, так что было неприятно ощущать этот день Пылаеву, и он с большим наслаждением ждал прихода ночи, — он знал, она все покроет собой: и его, и товарищей, которые, как неприрезанные, недобитые туши, валялись на нарах, на грязном полу, густо заплеванном и забрызганном кровью. Ему было

невыносимо смотреть на эти полуживые трупы... и он, осознавая, что проваливается в какую-то страшную липкую бездну, стиснул зубы, закрыл глаза...

Пылаев совершенно не помнит, сколько дней и ночей он пролежал с закрытыми глазами и сколько он пролежал бы еще, ежели бы его не разбудил сосед, что лежал с ним на нарах и все время участливо справлялся о его здоровьи. В этом соседе Василий узнал товарища по баррикаде, того самого товарища, который перед полным разгромом восставшей Москвы так хорошо улыбался и писал пальцем по снегу: «Мы временно разбиты, но революция непобедима!» Этот товарищ, изуродованный сейчас не меньше его, Пылаева, ходит справляется у товарищей и у него, Пылаева, как его здоровье, ободряет ласковыми словами.

— Товарищ! А товарищ! — слышит над собой шопот Пылаев и поднимает тяжелые веки, упирается глазами в пустоту, которую никак невозможно определить, где она кончается, где она начинается и какого она цвета.

— Опять ночь, — шепчет Пылаев и облизывает сухие, горячие губы. — Опять ночь...

— Тише, — говорит хриповатым шопотом сосед, — идут...

— Кто?

— Фараоны. Они каждую ночь приходят сюда, берут по десять человек, уводят с собой и... не приводят... не приводят обратно, мерзавцы... Вот и сейчас идут с факелом... Слышишь?..

Пылаев закрывает глаза, прислушивается: действительно за дверью, где-то внизу, глухо стучат, лязгают прикладами по ступенькам лестницы, стуча и лязгая поднимаются все выше и выше и вот сейчас откроют грязную, трудно отличимую от сырых и покрытых

плесенью стен тяжелую дверь, которая пронзительно заскрипит на больших ржавых петлях, да так, что вывернет всю душу наизнанку, плюнет туда зеленой плесенью — кха! — и замрет. Не успел так Василий подумать, как дверь захрипела, харкнула — кха! — и в помещение ворвался свежий воздух и около десятка городовых, освещаемых рыжим пламенем факела, что был в руке одного квадратного городового, широкая грудь которого была увешана медалями и была похожа на жирного карася с крупной чешуей. От факела тьма вздрогнула, мелко шарахнулась от двери в сторону, затрепетала по стонущим, по хрипящим телам пленников, остановилась, повисла багряно-желтой массой, пахнущей копотью и вонючим теплом. Василий лежал с полуоткрытым левым глазом, смотрел на вошедших городовых, на их красные мясные лица, на их широкие груди, на тупые откормленные подбородки, которые, как ему показалось, странно дергались от испуга... Впрочем, городовые не были в глазах Пылаева городовыми, а были священниками... Это они пришли справлять сейчас великое таинство...

— А эти? — наклоняясь над Пылаевым и его соседом, спросил бархатный голос пристава.

— Эти, ваше высокородие, без сознания были, — ответил городовой, что держал факел и, подойдя к нарам, осветил Пылаева и его соседа.

Пылаев затрепетал ресницами, задергал мускулами лица, взглянул на пристава.

— Я прошу доктора.

— Доктора? — удивился пристав и, глядя на него, полез в карман шинели, достал толстый портсигар и стал закуривать, обращаясь к городовому, державшему факел.

— Кто это его так?

Городовой бесшумно осклабился, услужливо посмотрел на нежно-молочное, хорошо выбритое лицо пристава, на его большие, блестящие, словно промытые щелоком глаза, на тонкие закрученные усы, на черный пучок волос под розовой, немного вытянутой брезгливо губой; потом еще более услужливо проговорил, стараясь не отвечать на вопрос:

— Давили, но не удавили.

— Так что же, выпишем его нынче? Он, кажется, здоровым себя чувствует...

— Так точно, ваше высокородие. Хе-хе! Эй, — обратился он к городовому со списком, — вот этого не позабудь.

— А этот? — показывая кивком на соседа Пылаева, спросил пристав.

— Слушаю. Можно за компанию. Эй, — обратился он снова к городовому, державшему список, — и этого еще.

— Доктора. Я не могу подняться,—стонал Пылаев.— Доктора...

Ему никто не ответил; Пылаев видел, как от него, оставив острый запах папиросы, отошел вежливый пристав, остановился около двери; он видел, как отошел от него городовой с факелом; он видел, как от него отходило, волновалось на ветру, что дул от двери, красно-желтое пламя факела и было оно очень похоже на золотое кадило, как оно отошло, остановилось недалеко от ворот, как пристав и городовые стали опять смахивать на священников, одетых в серебряные облачения, в особенности, когда они стояли около дверей и что-то рассуждали между собой. Впрочем, они недолго были священниками, недолго говорили между собой;

они круто повернулись, подошли к Пылаеву и снова превратились в городовых. Потом, не сказав ему ни одного слова, грубо взяли его за руки, поволокли из помещения на двор, и он, стуча головой по грязному полу, глухо взвыл от боли, но не потерял сознание, как терял его до этого, а остро осознал свое положение, которое его бросило в пот, заставило, пока его волокли по ступенькам лестницы, по снегу двора в темный и душный сарай, забыть всю адскую боль своего тела и приготовиться к смерти... В сарай, кроме Пылаева, привели еще человек пятнадцать, все они были едва похожи на людей: они были так избиты, так изуродованы, что Пылаеву с большим трудом приходилось узнавать своих товарищей, которые были все хорошо знакомы ему: он вместе с ними до последней минуты защищал одни и те же баррикады.

Сарай был огромный, совершенно пустой, без потолка; от его стен, от пола пахло гнилью и сыростью; вместо потолка поперек сарая белел толстый предмет и концы его лежали прямо на стенах и были накрыты карнизом железной крыши; крыша в этих местах проржавела, просвечивала как решето; на перемете белыми наростами была плесень; местами на перемете лупилась верхняя корка и, лопаясь от сотрясения, падала на пол вместе с желтой червоточиной; в особенности были сильно покрыты плесенью и грибами концы этого перемета, каждый аршина на два от стен сарая; под переметом стояла обыкновенная — вершков двенадцати шириной — лавка, длиной не больше трех аршин; эта лавка была поставлена не поперек сарая, а в длину, и только один ее конец был под самым переметом, а бо̀льшая половина уходила в глубину сарая, прикасалась к самой поперечной стене... Пылаев, как и его многие

товарищи, лежал на полу и, стараясь забыть боль и все то, что было пережито им, когда его взяли казаки, смотрел на эту простую механику, на этот грязный перемет, на эту широкую скамью, на конец которой поставят его, потом поднимут другой конец, потом выдернут из-под него, держась за этот другой конец, скамью, и он вздрогнет и при помощи палача закружится, как веретено, в воздухе, вот на этой блестящей, засаленной веревке; он смотрел на городовых, на пристава; они нервно, трусливо, но торопливо работали над другой петлей; он, Пылаев, разглядывая перемет, веревку, городовых и товарищей, вспомнил всю свою жизнь: детство, мать, ее большие темные глаза, добродушно-милого отца, звездную ночь, чудную песню «Выхожу один я на дорогу», злого квадратного мельника, торговый дом Игумнова и Керосинского, толстого доктора, Лидию Васильевну, Филиппа Лодыря и своего друга, который изменил и ушел к эсерам, разгром княжеской усадьбы, Москву и Варвару, и памятник Пушкина... Все это промелькнуло поразительно быстро и с жуткой отчетливостью.

— Да, да, — глубоко вздохнул он, — где теперь она? — и слезы подступили к горлу и начали его душить. — Где она? Где все: отец, мать, доктор? Да, да. Где друг Василий? Изменил партии? Нет, он также боролся на баррикадах... Он не изменил революции... Хриплый крик только что очнувшегося товарища, которого взяли городовые и поволокли на скамейку под перемет к петле, прервал его воспоминания о своей жизни, которая была так коротка, так молода, порой наивна и только еще начиналась. Он вздрогнул и широко - расширенными безумными глазами впился в широкие, похожие на подушки, спины городовых, за-

слонившие товарища от его взгляда... Он видел, как человека подтащили к скамейке, поставили его на ее конец, что был под переметом; он видел, как от прикосновения покачнулась петля, коснулась затылка приговоренного, который больше не орал, а только дико смотрел по сторонам на товарищей, как будто отыскивая кого-то; потом, когда на его шею надели петлю, он зашевелил распухшими губами и хотел что-то еще сказать, но городовой, зажав ему рот мешком, не дал тревожить гнилой тишины этого мрачного сарая, и смертник тупо, глазами, полными ужаса, уставился поверх толстого городового, что стоял против него и выправлял из петли прихваченную рыжую бороду. Два городовых, приподняв кверху руки, держали смертника за плечи, стараясь не глядеть ему в лицо; остальные городовые трусливо, дрожа, как студень, стояли в дверях с обнаженными шашками; пристав сидел на ящике и курил без конца.

— Готово. Отнимай, — прохрипел городовой, который надевал петлю на шею приговоренного, и, поворачивая мясистое, трясущееся от испуга лицо в сторону пристава, осторожно отошел назад, а когда четвертый городовой, стоявший у свободного конца скамейки, выдернул конец из-под ног смертника и тот дернулся книзу и повис, хрустя позвоночником и раскачиваясь из стороны в сторону, он опять подошел ближе к повешенному и дернул его за ноги, чуть-чуть пониже колен, а когда повешенный перестал хрипеть, он прокричал кошачьим, но все таким же животно-трусливым голосом:

— Давай!

В зареве факела, в желто-мутной мгле сарая были лица смертников страшны, молчаливы, похожи на

мраморные маски, которые не двигались, ничего не выражали; к смертникам подходили, брали из них одного по очереди и волокли к виселице, ставили на скамейку, накидывали петлю на шею, потом выдергивали скамейку, и он срывался и начинал дергаться, танцовать мускулами в предсмертной судороге и хрипеть... Вот к палачу подвели следующего, — в нем Пылаев узнал того самого рабочего, который кричал с последней баррикады: «придем... мы еще при-и-де-ем»... Он молча влез на конец скамейки, закашлялся, а когда прокашлялся, повернул голову и, держа слюну на языке, посмотрел на оставшихся товарищей, на палача, который, подняв голову, хотел было стать на табуретку, чтоб накинуть на шею петлю, улыбнулся и равнодушно проговорил:

— Эх ты, фараон! Тебе не революционеров вешать, а кошек. — И он густо плюнул сукровицей ему в трясущееся лицо. — А гребешь, наверно, по «катеньке» за голову?

Городовой от неожиданности побледнел, затрясся всем телом: с ним никогда не было такого случая, чтоб смертник когда-нибудь оговорил его под руку, как раз в ту самую минуту, когда он должен был накинуть на него петлю, да еще чтоб он плюнул ему в лицо... Никогда! а сколько он перевешал в эти дни?!. Но он ничего не сказал рабочему; он только вытер мешком сукровицу с лица, потом снова хотел было встать на табуретку, но не встал, так как рабочий сам надел на себя петлю и этим еще больше поразил его; он лишь трусливо, как загнанный зверь, оскалив зубы, зарычал:

— Кто надел?!

А рабочий:

— Господин пристав, так как я сам заработал на своей голове эти сто рублей, то я разрешаю вам взять их себе...—Городовой яростно выбил сапогом из-под ног рабочего конец скамейки и, чтобы он поскорей, немедленно замолчал, обняв за туловище, повис всей своей тяжестью на нем и потянул книзу... Но тут случилось что-то страшное, и Пылаев, и его товарищи видели, как с глухим треском обрушился перемет, ударил в голову палача, подмял его вместе с рабочим под себя, да так, что палач не издал ни одного звука. Двое городовых, что стояли по бокам, получили тяжелые ушибы: одному перемет сломал руку, другому помял плечо... Пристав и городовые в ужасе бросились к двери, потом, опомнившись, обратно к перемету, вытащили из-под него палача и положили кверху животом.

— Жив? — перепуганно прошептал пристав.

— Готов, — ответил городовой с факелом. — А этот жив...

— Докончить, — приказал пристав и пошел от перемета, весь дрожа.

Городовой с факелом повернулся к двери, крикнул перепуганным городовым:

— Эй! Докончить надо!

Городовые, не торопясь и трусливо оглядываясь, подошли к рабочему, посмотрели на него и сказали в один голос:

— Он кончается, — и попятились было обратно к двери.

Изо рта рабочего пузырилась кровавая пена, а когда он услыхал над собой слова, что «он кончается», с трудом прохрипел:

— Сволочи... Мы вас лучше... более умело... будем вешать...

— Ишь б....., — сказал городовой и передал факел другому, — еще грозить, я вот тебе погрожу, — и он поднял веревку, замотал ее на руку и, упираясь ярко начищенными, но грубыми сапогами в сухие плечи рабочего, стал изо всей силы тянуть к себе.

— А этих? — задушив рабочего, прохрипел он. — А этих...

В сарае было тихо и душно: пахло плесенью и кровью. А через десять минут деревянный, скрипучий голос пристава, — он точно проснулся от сна:

— Этих?.. — Этих... обратно... в камеру.

ОТРЫВОК ШЕСТОЙ * * *

Октябрь.

Несмотря на разгар осени, большая дорога была суха, накатана по-весеннему, по-весеннему она сияла блестящими неглубокими колеями, по бокам поразительно сочной, ярко-зеленой травой. Только по обе стороны большака, за его канавами, бесконечными квадратами тянулся лес: налево — лиственный, направо — хвойный; тишина в лесу стояла легкая, прозрачная, было четко слышно в ней, как туго падали шишки, шуршала бронзовая хвоя.

На широкой дороге было тоже тихо, пустынно и только изредка слышался резкий писк сусликов. Небо стояло тоже не октябрьское, скорее весеннее: оно было и не высокое и не низкое, но иссиня-голубое, как будто только что промытое грозовыми тучами, ослепительно сияло над пустынным прямым большаком, над глубокими полосами леса. Солнце было тоже молодое, радостно смотрело на землю, желанно согревало ее,

золотило нежными лучами, играло в крупных каплях росы, в воздушных волокнах серебряной паутины. И только от дороги резко отличалась левая сторона лиственного леса, говорила об осени, навевала радостно-щемящую грусть на сердце, ворошила воспоминания неповторимого детства.

Осень — это что-то сказочное в жизни русского человека.

Осень — это какая-то тончайшая связь переживаний человека с каким-то сказочным миром, с миром нереальностей. В особенности это бывает чувствительно, когда человек вырывается из шумного общества, отрывается от великих событий, сразу и как-то необычно попадает в тишину лиственного леса, в одиночество и начинает расхаживать по влажной земле, успокоенной и кроткой, чутко прислушиваться к ней, к медленному замиранию деревьев, к падению листвы, к бесшумным и едва уловимым движущимся пятнам солнца, к сквозным разноцветным, похожим на кружева, лесным просветам, куда так потрясающе падает синева неба, обливает своей свежестью, благодаря которой человек острее чувствует запах леса, запах земли и кроткий смертельный ропот листвы, всегда падающей на встречу солнцу.

Сейчас левая сторона резко отличалась от цвета дороги. Сейчас лес стоял как «терем расписной», вдохновенно пылал великим множеством красок, так что перед глазами переливались разноцветные огни, быстро бежали за человеком, будя в его душе давно забытые, но милые картины далекого детства. Сейчас лес был похож на чудесную сказку, и человеку хотелось о настоящем совсем-совсем не думать, — думать только о неповторимом детстве, любоваться яркими пятнами

леса, шептать про себя очаровательные стихи выдающегося русского поэта:

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над свежею поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой;
Как вышки, елочки синеют,
То там, то здесь в листве сквозной.
Просветы в небо, что оконца...
Лес пахнет дубом и сосной —
За лето высох он от солнца,
И осень тихою вдовой
Вступила нынче в терем свой.

Но три человека, сидевшие в открытом автомобиле, выкрашенном под зеленый цвет травы, который мчался средней скоростью по хорошо накатанной дороге, не шептали стихов знаменитого поэта. Они пристально, с какой-то затаенной грустью и болью посматривали на лес. В особенности был расстроен человек средних лет: он то-и-дело теребил свою темнорусую бороду, грустно смотрел большими тем-синими глазами на дорогу, на «лиловый, золотой, багряный» бор, всматривался в его звонкую глубину, стараясь пронизать своим взглядом, как он любил выражаться, «насквозь» и разглядеть в нем все до мельчайших подробностей. Этот человек чутко прислушивался к каждому шороху, к каждому падению листка, нервно вздрагивал, весь превращался в напряженный слух и, как казалось, уходил из автомобиля в глубокую осеннюю тишину. Чуткость и нервность этого человека передавались и его товарищам, что сидели рядом с ним по бокам и дремали. Его товарищи были молодыми, почти юношами,

но людьми крупными, почти богатырского телосложения, с выразительными чертами лиц. Они на каждый тяжелый вздох старшего товарища открывали глаза, тревожно осматривали дорогу, мрачный, погруженный в тишину лес, что тяжело стоял по бокам большака, как грозный страж, то надвигаясь, то отбегая бронзовыми соснами и черными елями, — это с одной стороны; с другой — белыми, прозрачными, как кружево, березами бежал от бортов автомобиля, вертясь все больше уменьшающимися кругами и пропадая в дали горизонта. Соседи, вглядываясь в глубину, тревожно спрашивали своего товарища, сидящего в середине между ними, берясь за маузеры:

— Вы что, товарищ Пылаев?

От такого вопроса Пылаев вздрагивал и, не поворачивая головы, успокоительно отвечал:

— Ничего. Спите. Красота-то какая, а?!

Товарищи успокаивались, опять закрывали глаза, чтобы вновь их открыть при следующем тяжелом вздохе старшего товарища. А Пылаев, стараясь быть спокойным, говорил не то, что было у него на душе, — другое.

— Какая красота, оторваться не могу! Сколько тут красок...

— Товарищ командарм, — обратился шофер к Пылаеву, — мы под'езжаем к поселку и около моста какое-то подозрительное движение.

— Я вижу, — бросил тихо Пылаев, стараясь быть спокойным.

— Возможно это наши, — сказал шофер, пуская тихим ходом автомобиль.

— Нет, — ответил тихо Пылаев, — мы попали в ловушку. А что касается нашей армии...

— Что такое? — спросили оба соседа в один голос и взялись за маузеры. — В чем дело? Где и что с армией?

— Думаю, что отрезана и взята в плен, — ответил сухо, с неприятным треском в голосе Пылаев и приказал шоферу остановить машину.

— Назад тоже нельзя, — остановив машину, возразил шофер.

— Почему? — крикнул еще резче Пылаев. — Назад!

— Мы окружены, — чуть не плача, проговорил шофер, — прикажите взорвать...

— Ааа!.. — прохрипел Пылаев. — Что же мы теперь должны делать, а? — обратился он к товарищам.

Оба товарища не отвечали. Они окончательно растерялись и не знали, что ответить своему начальнику. Они смотрели назад, на большак, на группу солдат, отрезавших путь к отступлению. И действительно: шагов за триста от них поперек дороги расположились вооруженные солдаты и приняли боевое положение, чтобы, при малейшем движении автомобиля обратно, открыть по нем огонь.

— Надо в лес, — предложил Долматов. — Возможно, что скроемся.

— В лесу — верная ловушка, — ответил Пылаев и обратился к шоферу. — Надо вперед и во что бы то ни стало прорваться.

— Слушаю, товарищ командарм, — ответил шофер и пустил машину. Машина сильно рванула и, яростно рассекая свежий осенний воздух, со свистом пошла вперед, чудовищно сокращая пространство между собой и мостом. От быстрого движения машины дорога и деревья отлетали от бортов и, вертясь позади, в мятеже, были похожи на огромные спицы гигантского

колеса, уходящего неудержимо в прозрачную синеву горизонта... Над машиной, над головами седоков, которые напряженно сидели и крепко сжимали маузеры, дрожало нежной дымкой голубое небо, убегая как будто с тонким свистом в даль...

— Товарищ командарм, мост разрушен, — не поворачивая головы, выкрикнул шофер и затормозил машину.

— Что такое? Я говорю, пошел!—командовал Пылаев.

Но автомобиль шел все тише и тише.

Долматов, стуча зубами и синея смятенными глазами, проговорил:

— Мост разрушен. Некуда ехать: отрезаны...

Молчавший все время третий товарищ обратился к Пылаеву и Долматову:

— Надо уничтожить документы, пока мы еще далеко.

— Да-да, — выкрикнул машинально Пылаев и стал уничтожать все из своего портфеля. За ним последовали и его товарищи. А когда бумаги были уничтожены, Долматов проговорил:

— Подозрительна была эта дорога, эта дьявольская тишина, этот черный лес... — и на его глаза навернулись слезы.

Пылаев недовольно отвернулся от него, приложил рукоятку маузера к сердцу и стал смотреть вперед, а когда остановилась машина и к ней подошли солдаты, с винтовками наперевес, он положил на дно машины маузер и обратился к солдатам:

— Молодцы, скажите, как можно об'ехать этот мост?

Солдаты остановились, переглянулись.

— Нам нужно в штаб, — продолжал спокойно Пылаев. — Где тут находится штаб армии?

Солдат грубо захохотал:

— Штаб? А вы кто такие будете? Руки вверх!

Пылаев и его товарищи — Долматов и Синицын — подняли руки. Первым вышел из машины Пылаев. Пока он стоял с поднятыми руками и пока шарили по его карманам, он спокойно стоял и смотрел на автомобиль, на бортах которого блестела роса и прилипшие семена трав — тимошки, дикого овса, пырея и дикого проса, в особенности было густо на широкой зеленой подножке. Глядя безразлично-спокойно на автомобиль, на прилипшие к борту семена трав, он вспомнил почему-то от самого далекого детства всю свою жизнь, и она кинематографической лентой пробежала перед его глазами, так что перед ним промелькнула высокая сухая мать, с темными спаленными зноем глазами, добрый и милый отец, зимние вечера с отцовской песнью «Выхожу один я на дорогу», крепкие морозы, ослепительно яркие и сочные звезды, салазки, река Красивая Мечь, мельница и злое одутловатое лицо мельника, разбитое окно, торговый дом Игумнова и Керасинского, Василий Игнатов, доктор, Вавила Хряк, Филипп Лодырь, Лидия Васильевна, разгром княжеской усадьбы, бегство, зимняя дорога, снега бесконечных равнин, опять яркие, крупные звезды, большая желтая луна, звонкий лед Красивой Мечи, Москва, товарищи, Варвара, его наивная молодость, Настя, баррикады, бои, поражение, арест и избиение, тюрьма с застенками, виселицы и, наконец, ссылка в далекий полярный край, бегство за границу, знакомство с Лениным, поездка обратно в Россию по поручению партии, снова арест и ссылка, рябое и рыжее лицо надзирателя, его кулаки и зверские побои, от которых его, Пылаева, замертво бросают в камеру... И еще революция, работа в Сибири, борьба с эсерами и меньшевиками. Октябрьский переворот

тяжелая упорная работа, заговор эсеров и меньшевиков, чехо-словацкие банды, сражение и разгром маленькой Красной армии, вот эта поездка и кучка солдат, одетая в английские шинели, которая сейчас окружила его, шарит по его карманам и кричит:

— Ваши документы!

От их злобного крика Пылаев вздрогнул, но не потерял спокойствия. Он безразлично посмотрел на солдат, на вывернутые карманы пальто, на автомобиль, на шофера, что-то делающего над машиной, на товарищей — Долматова и Синицына, что сидели с опущенными руками, очень внимательно смотрели на солдат, которые, как будто по их приказу, выворачивали его карманы.

— Ваши документы, — толкнув его грубо, спросил один солдат высокого роста, с густо конопатым и губастым лицом и посмотрел на него бесцветными, но злыми глазами.

Пылаев громко рассмеялся, похлопал рукой по плечу солдата:

— А где ваши документы? — и, глядя пронзительно на солдата, сурово добавил: — Вы ведь взяли мой бумажник с деньгами, так чего же вам еще надо? — И не обращая никакого внимания на этого солдата, на остальных солдат, — они уже держали винтовки не наперевес, а «к ноге», с любопытством рассматривали арестованных людей и автомобиль, который по их глубокому убеждению был в ловушке и никак не мог проскочить через разобранный мост, — Пылаев сделал несколько шагов к машине, спокойно и немного властно обратился к шоферу:

— А ты, братец, долго копаешься, а нам страшно некогда...

Шофер поднял голову и взялся за руль.

— А ты, братец, дверку-то, дверку закрой.

Солдаты недоуменно рассмеялись:

— Он все еще видит себя комиссаром.

На это Пылаев не ответил, да ежели бы он и ответил, то все равно его никто бы не услыхал, так как в это время раздались один за другим четыре выстрела, потом яростно подался назад автомобиль, потом грузно вперед... Он видел, как за его спиной перевернулся высокий конопатый солдат, грохнулся на землю, потом за этим солдатом перевернулись еще трое. Пылаев слышал, как ему кричали Долматов и Синицын скорее садиться в автомобиль, и он было крепко вцепился одною рукою в открытый борт машины, занес левую ногу на подножку, на которой только что рассматривал семена трав, прозрачные капли росы, и хотел было вскочить, но не успел этого сделать, так как тяжелый удар приклада сбил его с ног, отбросил в сторону и он только слышал, как грузно рванулась от него машина, а он, теряя сознание, полетел куда-то вместе с землей, с зеленой дорогой и с этим очаровательным лесом, для которого солнце не пожалело своих красок. Летя и падая, он смутно слышал выстрелы, отборную русскую брань, легкое певучее дрожание под собой земли, леса и зеленого большака, все еще сияющего по-весеннему... Но тут его сознание продолжалось недолго, он впал в забытье, провалился в страшно мягкую бездну и очнулся только через несколько дней в каком-то сыром зловонном подвале.

— Ну вот, и ожили, — сказал ласковый голос человека, лежавшего рядом.

Пылаев открыл глаза, осмотрелся. Он хорошо рассмотрел помещение. смутные силуэты людей, что

лежали рядом с ним прямо на земляном полу, где даже не было и соломы. По грязным полуподвальным окнам, в которые жидкой малиновой струей просачивался солнечный свет, он, Пылаев, догадался, что день подходит к концу и близится вечер, потом и сама темная, глубокая осенняя ночь. Он вспомнил все то, что случилось с ним и как он сюда, в это зловонное помещение, попал. Потом он стал вспоминать, отыскивать глазами в вечернем сумраке, изрезанном чахлыми лучами солнца, своих товарищей — Долматова и Синицына. Не найдя их в этом подвале, он радостно улыбнулся, пожевал воспаленными губами, потом вспомнил большие призывные, многоговорящие глаза Долматова и Синицына, когда его обыскивали, выругался внутренне матом.

— На одну минуту пораньше и я был бы в машине, среди друзей, а впрочем, все равно: умирать так умирать. — Сказав это, он ощутил сильную боль в голове, усталость во всем теле, точно он прошел пешком нынче больше сотни верст; он глубоко вздохнул и закрыл глаза.

— Ну, как дела, товарищ? — спросил лежащий рядом человек и, стараясь взглянуть на Пылаева, поднял забинтованную голову и облокотился на левый локоть.

— Ничего, — ответил Пылаев и открыл глаза, взглянул на человека с забинтованной головой, — ничего, — и очень внимательно посмотрел на человека, вспоминая: «Где же это я видел его».

Человек был высокого роста, плечистый, широколицый, имел большую окладистую рыжую бороду, хорошие глаза, правда, теперь сильно припухшие от побоев...

— Вы не Игнатов будете? — спросил Пылаев и тоже приподнял голову и облокотился на правый локоть.

— Тссы, — прошипел сквозь зубы тихо человек с забинтованной головой, — тебе необходимо лежать, а главное меньше говорить. — Потом он помолчал, прислушался. За стеной полуподвала глухо разговаривали, были слышны тяжелые, мягкие шаги, лязг шпор и оружия. — Идут, — проговорил человек с забинтованной головой. — Давно, Василий, мы с тобой не видались, а теперь, наверно, навсегда будем вместе... возможно будем лежать в одной яме... Ложись, — обратился он к Пылаеву, — идут. Эти два дня они усиленно ищут среди нас командарма, но никак не найдут, так как солдаты, которые тебя сюда доставили, были в дрезину от самогона и, протрезвившись, никак не могут распознать, кто из всей этой массы арестованных является большевистским командармом... Идут. Ложись. — И человек с забинтованной головой насильно положил Пылаева и заставил закрыть глаза.

— А ты? — спросил шопотом Пылаев.

— Я? — не дожидаясь ответа Пылаева, прошептал он. — Мне все равно.

Около двери послышался лязг шпор и оружия, потом тяжелые приближающиеся шаги солдат, через минуту шумно открылась дверь и в полуподвал ввалилось больше десятка солдат во главе с офицером.

— Встать! — звонким голосом крикнул офицер и ударил носком сапога лежавшего недалеко от двери человека.

Человек что-то промычал, но не поднялся. Офицер грубо выругался и приказал его вытащить на волю. Двое солдат схватили избитого, еле живого человека и почти волоком вытащили его из подвала. Игнатов нагнулся к Пылаеву и еле слышно прошептал:

— Конец.

Пылаев поднялся на локоть, стал смотреть на солдат, на офицера. Офицер был маленького роста, с небольшим галочьим лицом, бледный, тонкогубый, с кривыми грязно-желтыми зубами; одет он был прекрасно — в новую английскую шинель, ловко обтянутую на груди ремнями, в изумительно изящные желтые ботфорты; в левой руке он держал стэк и ловко им ударял себя по сияющим медью ботфортам, как будто нарочно подчеркивая:

«Обратите внимание, как блестяще я одет, и во все английское!»

Солдаты были крепкие, здоровые и солидно одетые. Они, как и офицер, кричали на арестованных, торопили их подниматься с пола и становиться, подталкивая прикладами. Арестованные вставали с пола медленно, не торопясь, молча. Поднялся Игнатов, за ним и Пылаев. Пылаев только сейчас хватился, что у него было хорошее осеннее пальто. Он хотел было крикнуть, что при аресте с него солдаты сняли пальто и взяли себе, но он не сказал этого, а только, улыбнувшись в бороду, махнул рукой и пробормотал себе под нос:

— А, все равно, в яме и без пальто будет тепло.

Игнатов, услыхав его шопот, повернулся к нему, прошептал:

— Ты, Василий, так думаешь? Неужели мы должны погибнуть? Нет, я этому не верю. Мы должны с тобой во что бы то ни стало спастись.

— Как? — улыбнулся Пылаев и взглянул на друга молодости, которого он не видел несколько лет и который работал в эсеровской партии, а теперь в виду раскола партии на левых и на правых, находится в левой и почему-то должен погибнуть от правых. Пылаев видел забинтованную голову Игнатова, хорошие искренние

глаза в сильно припухших веках, нервность мускулов на лице, в особенности дрожание его губ и еще, как он заметил, правой ноздри: она словно танцовала, и Пылаев, чтоб не видать этой танцующей ноздри друга, отвернулся и чуть было не заплакал. Перед глазами Пылаева вновь побежала его прошлая жизнь и остановилась на жене, которую он оставил далеко в тылу противника и не видел ее больше трех месяцев. Он глухо, внутренне прошептал:

— Варвара, ты ничего, ничегошеньки не знаешь. Милая моя Варвара, прощевай. — Так он прощался всегда с любимой подругой жизни, когда ему приходилось расставаться надолго по своей или же по чужой воле. Сейчас он тоже отправляется не по своей воле, а по чужой, и навсегда в мать-сырую землю; поэтому он так ласково и больно прощается с любимой подругой, с которой столько было прожито, столько было пережито горя и страданий, что на полжизни хватило бы рассказывать. Сейчас он, Пылаев, как-то странно настроен и, несмотря на то, что сердце ноет и как-то необычно быстро бьется, чувствует себя ничего, даже улыбается, а когда его повели, он зачем-то вспомнил «Соловьиный сад» Александра Блока и еле слышно, с каким-то особенным наслаждением нашептывал себе под нос, улыбаясь глубоко ввалившимися в темные орбиты глазами, уголками губ, глубокими складками, что бежали от переносицы до самого почти подбородка. Он нашептывал до тех пор, пока не обратился к нему Игнатов, не сказал вторично:

— Неужели мы погибнуть должны? Этого быть не может... Мы должны все возможности испробовать...

Пылаев кротко улыбнулся.

— Сколько кувшину по воду ни ходить... Это уже который раз...

Игнатов сердито посмотрел на Пылаева:

— Это к чему?

Перед глазами Пылаева стоял блоковский осел. Он снова вспомнил оборванные стихи и зашевелил губами:

Знойный день догорает бесследно,
Сумрак ночи ползет сквозь кусты;
И осел удивляется, бедный:
— Что, хозяин, раздумался ты?

— Или разумом от зноя мутится, — добавил сумасшедше Игнатов и весь затрясся от придушенного внутреннего смеха.

— Ты что? — прошептал Пылаев и тоже задрожал от хохота.

— Я?

— Да.

— Я ничего.

— И я ничего, — и, показав на офицера, стоявшего к ним спиной, добавил: — Я только взглянул на английского лакея и вспомнил блоковского осла... — И оба снова затряслись от тяжелого внутреннего смеха.

Они только тогда опомнились, когда их вывели на двор, подошли к ним четыре солдата и, не спрашивая у них разрешения, по-хозяйски взяли их за руки, закинули их руки назад за спину и туго стали перевязывать тонкой — в четверть дюйма — английской веревкой, а когда каждого в отдельности руки были связаны, его, Пылаева, связали с Игнатовым и поставили в затылок товарищам, тоже связанным попарно. Они только сейчас услыхали ропот, проклятие товарищей, протесты и вопросы, куда их ведут, что с ними хотят делать, поцелуи. Пылаев взглянул на Игнатова, Игнатов на Пылаева; в эту минуту они оба поняли друг друга, плотно прижались, поцеловались, потом покорно стали

в затылок товарищам. Игнатову тоже вспомнилось детство, а главное—ласточка, при воспоминании о которой у него всегда навертывались слезы, размякало сердце революционера-террориста, даже в одно время, вспомнив эту ласточку, у него так размякло сердце, что он не мог бросить снаряд в одного министра, выслеживаемого им три месяца; он опомнился только тогда, когда карета министра была уже на таком расстоянии, что нельзя было бросать бомбу, так как было бесполезно, и он расстроенный ушел с поста и заявил в комитете, что он в этом году не может убивать министров, а поэтому просит отложить это дело или дать поручение другому. Об этой ласточке он не один раз рассказывал своим товарищам, даже в детстве, когда жили в магазине Игумнова и Керосинского, он говорил не один раз и Пылаеву. А случай был такой: ему, Игнатову, было тогда всего восемь лет и в эти годы он был отчаянный забияка, большой мастер лазать по деревьям, по карнизам, переметам сараев и разорять гнезда, воровать птичьи яйца и делать другие пакости. Дело было весной (это он, как сейчас, помнит), стоял он в сарае и что-то делал топором, а что — точно не помнит и только помнит одно: ласточек под крышей сарая, их радостный щебет, их темные мазаные грязью гнезда на золотистой ржаной соломе. Вот этими самыми ласточками он, Игнатов, очень сильно тогда заинтересовался; когда ласточки улетели, он быстро, как кошка, забрался по стропилу и выбрал из гнезда маленьких, только что оперившихся птенцов, сложил их себе за пазуху, спустился с ними на землю, сделал им гнездо и положил их туда, но не успел он отвернуться — выйти на улицу, как на них набросилась кошка и, похрустывая нежными их косточками, стала пожирать. В это

время, когда их пожирала кошка, вернулась с трудов ласточка и, не найдя своих детей, в смертельном ужасе, оглашая пронзительным горем сарай, заметалась под крышей. Намучившись и настрадавшись в волю о детях, она устало поднялась на свое гнездо, кротко села на самый краешек, сжалась в маленький комочек и застыла, вслушиваясь в тишину сарая, в тревожный писк чужих детей, в треск косточек на зубах кошки. Потом она вытянула голову, расправила крылья, потрясающе прокричала, отчего у Игнатова похолодело тогда от жалости сердце и задрожали ноги; потом она быстро сорвалась с гнезда, со всего полета ударилась в каменный выступ стены и отлетела на землю, перевернулась на ней несколько раз и, подняв кверху чуть-чуть вздрагивающие сизые ножки, тихо умерла. Игнатов бросился к ней, бережно поднял ее, прижал к своему лицу, любовно стал дышать на нее, но она не шевелилась: была мертвой. Игнатов горько заплакал, потом, внезапно увидав кошку в гнезде, которое он сделал и куда только что положил птичек, запустил в нее топором, кошка шарахнулась в сторону, остановилась и, облизывая тонким красным языком морду, взглянула на него прозрачными зелеными глазами, отчего он еще пуще заревел и бросился вон из сарая. Ласточку он схоронил за сараем в землю, память о ней глубоко сохранил в своем сердце и весь великий смысл ее смерти понял только уже взрослым, и он при воспоминании о такой героической смерти вздрагивал и чувствовал, как к его горлу подступали слезы, как благодарно размякало его жестокое одинокое сердце. Сейчас, вспоминая ласточку, он тоже размяк, прослезился и еще больнее понял глубину материнства, хотя у него и не было детей, а также не было и жены, ежели не считать

короткой и такой далекой любовной связи с Лидией Васильевной.

Холод заставил вздрогнуть Пылаева и Игнатова, оторваться от картин прошлого, задуматься над своей судьбой. Пылаев посмотрел на товарищей. Они были все связаны попарно, мрачны, растеряны и глубоко переживали, так как все отлично знали, что они живут на этой земле последнюю минуту, что они больше никогда не увидят эту землю, солнце, высокое черно-синее небо, сияющее сочными зелеными звездами над этим двором, в котором они стоят связанными и ждут смерти, что они никогда не увидят жен, отцов, матерей и детей, и обратно — их отцы, матери, жены и дети никогда не узнают, в каком месте зарыты их кости...

На дворе было так темно, что трудно было разобрать лица, а только длинные неуклюжие тени стояли, покачивались из одной стороны в другую. Солдаты стояли около ворот и ждали офицера, который ушел в канцелярию и не приходил долго.

Пылаеву и Игнатову казалось, что начальство нарочно выжидает глубокой ночи, чтобы незаметно для жителей вывести со двора, доставить на определенное место казни.

Время тянулось бесконечно долго, разговаривать не велено, двигаться тоже; ежели кто говорил, то того солдаты били прикладами, кулаками; ежели и это не действовало — затыкали рты грязными мешками. Но вот пришел и офицер, а с ним еще около десятка вооруженных солдат. Арестованных окружили, открыли ворота двора и повели. На улице было холодно, дул резкий со снегом ветер, небо было темное и низкое, в городе была страшная тишина, даже не было слышно собак. Часть города прошли быстро, около полчаса

вели по большаку, потом свернули в сторону и повели по снежному полю к лесу.

— Куда нас ведете? — крикнул один из арестованных, — убивать?

Арестанта жестоко бьют прикладами, он мучительно стонет, кричит, падает, но его поднимают штыками и гонят вместе с другими. Остальных тоже подгоняют прикладами, штыками, чтоб они не отставали. Пылаев и Игнатов идут рядом, почти в самой середине арестованных. Игнатов тихо говорит Пылаеву:

— Друг, там, в Москве, большевики расстреливают эсеров, продажные эсеры из-за угла убивают большевиков, а тут белые в одну яму валят... Думал ли я, что мы будем связаны друг с другом одной веревкой и вместе умрем... Большевик с эсером... А?

Пылаев шопотом недоуменно повторяет, дрожа от холода:

— Эсер и большевик связаны одной веревкой... в одну могилу...

— Вот именно, — отвечает Игнатов и ежится от холода, который пронизывает все его тело, одетое в красную рубаху и в серые заплатанные штаны.

— Молчать, — бросается к нему солдат и бьет его прикладом.

— Куда ведете, палачи? — кричит на удар Игнатов, но солдат отскакивает от него, кидается на другого арестованного, который рванулся из цепи и бросился в сторону, в густую осеннюю ночь.

— Сто-ой! — выкрикнул офицер и метнулся вперед и тоже скрылся в холодной тьме, режущей ветром, лесной плесенью и гнилью.

Раздалось несколько выстрелов и эхо одно за другим глухо прокатилось где-то позади и замерло. Офицер и три солдата вернулись одни без арестованного.

— Убежал? — спросил кто-то из солдат.

Офицер грубо выругался и приказал, как можно скорее вести, а не рассусоливать. Арестованных погнали чуть не бегом. Пылаев бежал рядом с Игнатовым. Побег одного товарища всколыхнул надеждой Пылаева и Игнатова. Они взглянули проникновенно друг другу в глаза и оба усиленно стали работать руками, чтобы ослабить веревки и вытащить руки. Но вытащить руки было не так-то легко: веревки так сильно врезались в тело, заплыли, что Пылаев мучительно вздрогнул от боли, безнадежно вздохнул.

— Работай руками, — прошипел ему в лицо Игнатов и сильнее задергал веревкой, дергая свои и теребя руки Пылаева.

Пылаев взглянул на друга детства. Он увидел, что все богатырское тело Игнатова было напряжено, усиленно работало. Он тоже снова заработал и через несколько минут почувствовал, как ослабли веревки и руки можно было освободить, и он хотел было их вытащить, но в это время он услыхал дыхание Игнатова:

— Довольно. Держи так.

Пылаев недовольно взмахнул глазами:

— Почему? Надо в одно время: ты направо, а я налево и...

— Надо обождать, — вздохнул Игнатов и покорно опустил голову. — Вот и наше кладбище... — И действительно, не сделали и десятка шагов, как офицер приказал остановиться. Остановились. Арестованные сбились в одну кучу, а их тесным кольцом окружили солдаты. Потом подвели арестованных к глубокой яме, поставили к ней спинами. Потом началось приготовление к казни. Пылаев, несмотря на железную волю и силу,

содрогнулся, почувствовал дрожь в теле, ледяное дыхание смерти, тяжелый шум ее крыльев. Он взглянул на Игнатова: Игнатов стоял с опущенной головой, смотрел в землю; Пылаев взглянул на других товарищей и отвернулся, так как многие плакали, слышалось затаенное рыдание, поцелуи — прощались перед уходом из жизни в землю, в этот мрачно зияющий ров, вырытый шумными потоками вод. Пылаев до боли чувствовал, что его мозг совершенно не хотел умирать, совершенно не желал подчиняться чужой грубой силе и воле, упорно требовал жизни, заставлял упрямо весь организм искать выхода; он круто повернул голову; быстро окинул глазами местность: позади глубокий ров, за ним глухо гудит черный лес; ему почудилось, что этот лес своим могучим гулом зовет его в свои расписные терема; Пылаев вытянулся, вскинул острую спутанную клинообразную бороду, откинул немного вперед правую ногу, взмахнул глазами, напружинился, но тут же ослаб, так как от него оторвался Игнатов и бросился на колени перед офицером и в каком-то отчаянии стал умолять палача:

— Сжальтесь! пощадите! У меня дети маленькие — пожалейте их!

Его крик невыразимой, незабываемой болью раздался под мягко-черным осенним небом. На его крик отозвались другие смертники, и ночь затрепетала от страшных человеческих слов:

— Какой произвол!

— Палачи! Даже с родными не дали проститься!

А Игнатов вскрикивал свое:

— Ради бога пощадите! У меня дети!..

Офицер с галочьим конопатым лицом издевался. Он небрежно откинул полу английской шинели, достал из

брючного кармана портсигар, взял папироску, постучал мундштуком о крышку портсигара и, глядя бесцветными глазами на Игнатова, насмешливым тоном, но трусливо, проговорил:

— Я ничего не знаю. Я могу вас только угостить... — и он протянул папироску Игнатову.

Игнатов в одно мгновение поднимается с колен, неожиданно, жестоко почти на-смерть бьет богатырским кулаком доблестного офицера. Офицер летит в сторону, а он, Игнатов, через него и огромным прыжком в ночь. Раздался крик, посыпался град пуль, но Игнатов провалился в мягкую тьму огромной ночи. Конвой насторожился, ближе придвинулся к смертникам. Пылаев только сейчас понял всю хитрость Игнатóва, он только сейчас, вспоминая свою пятилетнюю дочь, внутренне ахнул:

— Ведь у него же нет детей! — и больно прикусил себе губу, а когда раздалась команда: «Становись на колени!» он закачался из стороны в сторону, ощутил, как из-под его ног тронулась земля, медленно поплыла, как у него появилось легкое головокружение и тошнота. Он смутно видел, как смертники опустились на колени, как упал на колени он, как блеснули над головами шашки, а между ними в далеком, на этот раз траурном небе блеснула одна небольшая звездочка и, покачнувшись, улыбнулась. В этой милой улыбке он узнал улыбку маленькой девочки...

— Становись! — Голос команды привел Пылаева в сознание; обнаженные шашки, хруст костей, потрясающие стоны, лязг оружия, брызги чего-то горячего, попадающего на его лицо, заставили его еще больше содрогнуться и броситься в зияющий ров. Падая в яму, он слышал несколько сухих друг за другом выстрелов,

брошенных ему вдогонку, а дальше ничего не помнит, так как тут же потерял сознание.

Сколько он пролежал в таком состоянии, он не знает, но страшный, леденящий душу холод привел его в чувство, так как он лежал в одном пиджаке, грудью на снегу, а вокруг него и на нем лежали убитые и корчившиеся в судорогах товарищи. Он с необычайным трудом, освобождаясь от товарищей, повернулся на бок, открыл глаза: он лежал в глубоком рву, вокруг него корчились раненые, наполняли яму стонами, хрипеньем, скрежетом зубов. Он был весь перепачкан, ободран. Кровь товарищей заливала его лицо; навалившиеся на него теплые трупы делали его совсем беспомощным. Он попытался подняться, но лежавшие на нем как попало в беспорядке трупы не давали ему этого сделать, и он был вынужден лежать. В голову упорно лезли жуткие мысли, что он умирает, и только отсутствие физической боли успокаивало его, заставляло думать о спасении, о бегстве из этой черной ямы, наполненной стонами, хрипеньем и пряно пахнущей кровью. Он снова открыл глаза: над ним висело темное далекое, густо осыпанное мелкими зрелыми звездами небо. В этом небе было так хорошо, так спокойно и мирно, что ему безумно захотелось жить, опять бродить по изумительно красивой земле, любоваться ее прелестями, слушать обломный шум ковыля, гул леса, журчанье жаворонков, смотреть на спокойное паренье ястреба под самым куполом необозримо сияющего неба, на прекрасное, на всегда горячее и радостное солнце, которое никогда не знает горя, а всегда счастливо и любовно проходит над землей, согревая ее. Он вспомнил опять детство, отца, мать и все пережитое вот до самой этой минуты, вот до этой самой чудовищной ямы,

в которой он лежит... Пылаев смертельно вздрогнул, повернул голову в сторону, столкнулся с лицом товарища, который умирал, подергивался от судорог и своим слабым дыханием обдавал его лицо. С нечеловеческим усилием воли Пылаев повернулся на другую сторону, скинул чью-то руку, опустившуюся на его плечо, но она опять опустилась, как будто желая страстно обнять его на прощанье. Со связанными руками он был во власти могилы, во власти мертвецов и полуживых своих товарищей; отчаяние закралось в его мозг и, давя его каменной глыбой к земле, стало мучить его так, что он невыносимо почувствовал, что ему никогда отсюда не выбраться, никогда не ступать по земле, никогда не увидать горячего солнца, а придется погибнуть заживо в этой яме. При воспоминании о смерти ужас охватил все его существо, так что он судорожно рванулся, заработал всеми мускулами своего тела и стал выбираться из-под груды мертвых тел, которые, как нарочно, придвигались плотнее, как бы не желая расстаться с ним. Карабкаясь из-под груды трудов и выбираясь из-под них и по ним на поверхность, он успел разглядеть окровавленную разрубленную пополам голову старика-рабочего, красивое страдальческое лицо другого рабочего, что шел впереди его и Игнатова на казнь,—он узнал его по большой бороде. Он, Пылаев, освобождаясь от трупов, охваченный желанием жизни, совершенно позабыл об опасности там, наверху, позабыл про палачей, которые, возможно, притаились и ждут его. При воспоминании о палачах, он еще больше содрогнулся, похолодел и, чутко припав всем своим существом к трупам, стал прислушиваться к ночной тишине, грузно стоявшей там, наверху, над открытой могилой.

Недалеко от ямы горячо спорили:

— Надо доделать до конца.

— Ничего, обождут до утра.

— Нельзя так оставлять...

Под черепом Пылаева мучительно затрепетала, забилась мысль, что его заметили; эта мысль наполнила его дополна ужасом, а главное — почудились ему шаги, звон лопат, шорох земли. Он еще плотнее прижался к трупам, еще больше превратился в слух. Ему все время казалось, что яму пришли зарывать и он будет заживо засыпан землей. Думая так, он не слыхал даже стука собственных зубов. Ему все чудилось, что вот-вот сейчас посыплется земля, застучат ее первые холодные комья об его живое и здоровое тело, которое безумно хочет жить, которое при первом падении земли заорет благим матом, нечеловеческим голосом.

Вдруг, действительно, глухо сорвался в яму большой ком земли, как гром, прозвучал в ушах Пылаева, так что он прискочил, безумно шарахнулся к стене, прижался к ней, прислушался, стуча зубами...

Под небом было тихо, пустынно. Была мертвая тишина; эта тишина нарушалась только стоном одного умирающего, лежавшего под ним, но вскоре и этот товарищ затих. Пылаев яростно заработал руками, а когда освободил от веревок руки, стал выбираться из могилы, но мертвецы не отпускали его: они цеплялись за него ногами, руками... Но жажда жизни так захватила его, что он совершенно позабыл мертвецов, упорно вылез из-под них, с большим трудом выбрался из ямы и, долго не раздумывая, направился к городу, ближе к человеческому жилищу, ибо шагать к тайге в окровавленном пиджаке не было сил... Долго ли он шел до

окраины города — он тоже хорошо не помнит. Он осторожно подошел к дряхлой избушке, повалившейся на бок, с высокими земляными завалинками, осторожно, с бьющимся сердцем постучал в окно, прислушиваясь. Через минуту заскрипела избяная дверь, за ней сенная, потом на пороге появился глубокий старик, с большой, почти до пояса, седой бородой. Старик был огромного роста, одет он был в белую рубаху, которая была без пояса и свисала до колен. Увидав при свете огарка всего окровавленного Пылаева, он страшно испугался, попятился назад, шепча молитву:

— Господь с тобой...я вас не знаю, идите своей дорогой...

Пылаев, чтобы старик не закрыл дверь, не ушел в избу, поспешно прошептал:

— Дедушка, спаси меня. Я бежал от расстрела, помоги мне.

Старик тусклым взглядом окинул Пылаева, тяжело вздохнул, потом проговорил:

— Хорошо. Я старик и мне все равно скоро помирать, а ты молодой... — И он пропустил Пылаева в сени, потом, громко хлопнув дверью, повел его в избу. В избе было бедно и одиноко. На большом столе, что находился в красном углу, стояла большая деревянная солонка, расписанная красно-зелеными цветами, лежал недоконченный лапоть с воткнутым в него кочетыгом. За столом, в красном углу, находилась огромная резная божница, в которой стояло две темных доски с едва заметными ликами угодников. По краям божницы висело несколько медных иконок и одно распятие. Эти иконки никогда не чистились, сияли прозеленью, были темны и пасмурны, как и сам дряхлый хозяин. В самом заднем углу покоилась положительная, хлебосольная русская печь, от которой на всю избу исходило тепло

и какое-то чудесное сияние. И верно: глядя на печь, на ее простор под потолком и боровом, Пылаеву казалось, что она ласково звала его на свое тепло, обещала угостить крепким и хорошим сном и покоем. Давно он не спал на русской печи, давно он не испытывал такого чудесного тепла, такого беззаботного уюта, какой только может дать усталому путнику русская печь. И Пылаева неудержимо потянула к себе печь, так что он хотел было радостно двинуться к ней от порога, возле которого он робко стоял и ждал, что скажет ему этот богатырь-старик; но старик ничего ему не говорил: он, нагнувшись над небольшим красным и таким же древним, как и он, сундуком, что-то выбирал из него и откладывал на кут, а когда отобрал нужное, повернулся к Пылаеву и, глядя из-под густых, белых и необыкновенно жестких бровей серыми глазами, ласково проговорил:

— Замерз? Теперь снимай свое, — и подал Пылаеву солдатскую шинель, гимнастерку, брюки и пару посконного белья.

Пылаев замялся и стал осматривать себя, свой пиджачишко, залитый кровью, брюки и опорки, которые ему дали вместо его хороших сапог перед расстрелом.

— А ты, сынок, не стесняйся, бери: мне все это больше не нужно. У меня никого нет, а мне, старику, теперь ничего не надо, кроме домовища, да и домовище-то теперь не надо: свалят в яму без гроба, просто так, а то под бугор, собакам на растерзание.

Пылаев покорно обмылся от крови холодной водой, переоделся. Гимнастерка и шинель были просторны, в особенности шинель.

Глядя на Пылаева, старик сказал:

— Велика немного, но это ничего. — Потом бросился под кут и, тяжело кряхтя, долго там шарил, а когда

нашарил, вылез из-под кута, повернулся к Пылаеву и подал ему огромнейшие сапоги.

— Это мои, им еще лет двадцать будет, я только их в праздники одевал, а теперь пусть тебе послужат.

— Как мне вас благодарить, — сказал Пылаев и шагнул к старику, обнял его и поцеловал. — Вы отдаете последнее...

Старик дополна размяк, опустился на коник, ласково проговорил:

— Мне ничего не надо, ничего. — Потом он внезапно вскочил, насупился, бросился в сени, осторожно вышел на волю, прошел мимо избы, постоял на улице, прокашлялся, покряхтел, справляя малую нужду. Потом, не торопясь, громко хлопнув сенной дверью, вошел в избу и снова сел на коник, потом опять поднялся и полез в стол, достал оттуда краюшку хлеба, большой с деревянной ручкой ножик и положил на стол и, обращаясь к Пылаеву, все так же ласково проговорил:

— Поешь, а потом, господь с тобой — иди.

Пылаев благодарно посмотрел на старика, вздохнул и взялся за хлеб.

— Я за себя не боюсь, а за тебя, сынок... У меня никак нельзя долго быть...

Пылаев ел с большим наслаждением; ему казалось, что он никогда не ел такого вкусного хлеба, как вот сейчас у этого чудесного старика, который его так ласково принял. Пылаев опять вспомнил детство, отца, мать и всю свою жизнь до мельчайших подробностей, Варвару и пятилетнюю дочку.

— Где они теперь и что с ними? — вздохнул он и отрезал еще ломоть хлеба, густо посыпал его крупной желтоватой солью, которая тоже, нужно сказать, как и хлеб, была необыкновенно душиста и вкусна, так что

Пылаев и этот кусок с'ел с огромным аппетитом. Когда он наедался и одновременно согревался за едой, старик смотрел в земляной пол, засоренный обрезками лык и мелкой кострикой моченника, и что-то обдумывал, а когда Пылаев наелся и отодвинул от себя краюшку хлеба, ножик и закрыл солонку, старик вскинул седую голову, взглянул на Пылаева и деловито проговорил:

— Бороду надо срезать.

Пылаев ласково посмотрел на старика.

— Хорошо.

А когда он срезал бороду, подровнял основательно усы, старик улыбнулся, поднялся с коника и серьезно проговорил:

— А теперь надо итти.

Пылаев поднялся и стал прощаться с хозяином, который так гостеприимно принял его, одел, накормил. Когда они вышли из избы в сени, точно из-под земли вырос другой старик, но только очень маленького роста, с небольшой грязно-рыжей бороденкой. Этот другой окликнул:

— Свой!

На прощанье хозяин крепко пожал Пылаеву руку, многозначительно и с радостной гордостью проговорил:

— Придешь к начальнику, скажи, что от дедушки, а ежели не поверит, то покажи на свое обмундирование.

— Пошли, — прошептал старик и быстро вышел из сеней. За ним вышел и Пылаев. Ночь была темная, несмотря на густые звезды. На окраине было пустынно и тихо. А впереди, недалеко от избы доброго хозяина, глухо всхлипывал лес. Старик быстро, точно колобок, покатился к черному лесу да так, что Пылаев едва поспевал за ним.

— Поскорее, ангел мой, поскорее.

Около леса он остановился, оттопырил назад руки, чтобы задержать позади себя Пылаева, а когда Пылаев остановился, старик прислушался: лес все так же всхлипывал вершинами, печально гудел черной хвоей.

— Никого, — прошептал старик и перекрестился. — А теперь в дорогу. — И темная осенняя ночь и непроходимый девственный лес приняли в свои об'ятия Пылаева и совершенно незнакомого ему, Пылаеву, старичка, но такого милого и близкого, — это он глубоко чувствовал всем своим существом.

— Ну и чудесна ты, Россия, — спокойно, твердо, с восхищением проговорил Пылаев.

ОТРЫВОК СЕДЬМОЙ * * *

Находясь в землянке начальника партизанского отряда, Пылаев не заметил, как вошел маленький старичок, остановился около входа и стал отдувать озябшие руки, переминаться с ноги на ногу, — тот самый старичок, что два месяца тому назад провожал его, Пылаева, в этот отряд. Сейчас этот старичок был необычно возбужден, да и одет он был как-то странно, наспех, так что было видно; что он очень сильно озяб, обморозил себе нос, щеки и даже руки. Глядя на него, Пылаев быстро вскочил, взволнованно проговорил:

— Снегом, снегом надо, — и бросился вон из землянки за снегом, так что старик ничего не понял, что прокричал ему Пылаев, куда и зачем он выбежал. Старик только догадался тогда, когда Пылаев вернулся в землянку с большим куском посиневшего снега. Старик, увидав снег, кротко улыбнулся.

— Ничего. Это дело привычное. — И он сел на пенек около камина, сделанного прямо в земляной стене,

в котором ярко рдели только что прогоревшие дрова; от камина густо исходило тепло, разливалось по землянке. — А хорошо у вас, — сказал он и снова принялся тереть руки, потом нос и щеки.

— А ты, дедушка, снегом, снегом, — угощал его Пылаев.

— Пожалуй, ангел мой, — согласился старик и, взяв немного из рук Пылаева снегу, равнодушно стал натирать руки, нос, щеки. — Я знаю, что снег помогает...

Пылаев уселся на кровать, сделанную просто на земляном полу из вороха хвои, и стал смотреть на старика, что уже бросил оттирать щеки и нос. За последние дни весь отряд все время находился в боях с регулярными войсками и казаками, которые благодаря хорошему вооружению теснили партизанский отряд все больше и больше в тайгу, отрезав ему путь от населенных пунктов, из которых он получал лошадей, обмундирование, живую силу и всевозможные продукты. Белые так были злы на местных крестьян за то, что они помогали партизанам, посылали добровольно своих сыновей, и вот за это самое они сжигали целые деревни, села, оставшихся мужиков пороли поголовно, а некоторых, более подозрительных, расстреливали на глазах женщин и детей, вешали на столбах, на деревьях и не приказывали убирать неделями и месяцами...

Сейчас отряд переживал тяжелые дни, ибо не было хлеба, корма для лошадей, не было большого количества снарядов и патронов, приходилось отбиваться почти только холодным оружием и рукопашными боями. Пылаев жил в землянке вместе с начальником отряда и заменял его: начальник отряда с небольшой группой партизан выехал на разведку, вернее, чтобы внезапно напасть на небольшую неприятельскую часть,

разбить ее и поживиться патронами и вообще всем, что попадется в руки и будет можно увезти. К вечеру начальник вернулся ни с чем, страшно недовольный своей поездкой, расстроенный и свирепый. Он молча вошел в землянку, бросил в угол винтовку и, не скидывая с себя шинели и ни на кого не обращая внимания, повалился на свою постель.

Старик ближе пододвинулся к камину и стал подкладывать дрова; они шумно затрещали, густо запахли смолой. Разгоревшийся в земляном камине огонь разорвал полумрак, ярким светом заиграл по стенам землянки, по старику, по туловищу Пылаева, по зеленой хвое кроватей, по богатырской фигуре начальника отряда, который все так же был мрачен, как и вошел в землянку. Пылаев тоже молчал, ибо мрачность товарища перешла и на его лицо. Пылаев, хотя и никогда не спрашивал у начальника отряда, кто он и откуда, кто ему доводится тот глубокий старик, что спас его, Пылаева, и направил к нему; но он отлично понял еще в то время, когда он впервые увидел этого богатыря-партизана, его широкие плечи, хорошее открытое лицо, светло-голубые глаза, по коим он узнал, что это не кто иной, как сын того самого старика, что спас, накормил и одел его вот в эту шинель, обул вот в эти огромные сапоги и проводил сюда...

Одним словом, в этом тридцатилетнем блондине-богатыре Пылаев узнал, ежели не родного сына старика, то наверно внука... Жаркий свет огня пышно трепетал по стенам; старик все больше и больше подкладывал дров, тяжело сопел, подергивал носом и его сопение было похоже на легкое дыхание кузнечных мехов... Старик своим сопением словно нарочно старался вызвать из молчания начальника отряда и его товарища,

но они оба молчали, были невыразимо хмуры, смотрели совершенно не на него, — совсем в противоположные стороны: Пылаев—на свет огня, густо трепетавший по стене, начальник отряда — на свои ноги, обутые в простые сапоги, по которым, как по бревнам, бежал розовый пламень. Впрочем, они все трое на фоне белорозового пламени были темно-красными сгустками...

Старик закашлялся, и было точно известно Пылаеву и начальнику, что старик нарочно закашлялся, чтобы обратить их внимание на него, старика, поинтересоваться: зачем он, мол, пришел и по какому делу? Но на старика и на этот раз никто не обратил никакого внимания, как будто до него никому не было никакого дела. Тут, нужно сказать, старик не выдержал, он сердито бросил последнее полено в камин, закряхтел, поднялся и, тяжело кряхтя и охая, стал ходить по землянке. Сделав несколько концов, он остановился и обратился к начальнику:

— Ты что же молчишь, а?

Начальник ничего не ответил, даже не взглянул на него, даже не пошевельнул бровями.

— Ты что же, ангел, не спросишь, зачем я прикатил на своей паре, а?

Начальник опять ничего не ответил. В земляном камине ярко горели сосновые дрова, и пламя отражалось на земляном полу, на богатырском теле начальника, на ногах Пылаева и на стенах, что от полыхающего камина были темно-малинового цвета и, как показалось Пылаеву, бежали кверху, в темно-желтую мглу зимнего дня.

Пылаев тоже молчал, глядел все так же на свет огня.

В землянке стояла резкая и жуткая тишина. На воле, за стенами землянки, тоже была тишина и только

в маленькое окошечко было видно, как там мягко падал крупный снег, упорно засыпал землю, одевал в белые саваны черные деревья елей, сосен, лиственниц, мелкий кустарник. Там за стенами землянки, под аршинным покровом снега было больше сотни других землянок, в которых была такая же мягкая тишина, как и в землянке начальника и Пылаева; там тоже люди сидели молча на своих логовах, сделанных из душистой хвои, смотрели в углы землянок, обдумывали свое тяжелое положение, из которого желали выбраться, иначе холод жестокой, неумолимой своей силой обессилит их, прикует навечно к этим душистым постелям, а этот бесшумно падающий снег покроет их глубоким, непроходимым покровом, и будут они спокойно находиться под этим снегом до весны, которая придет на эту землю и будет творить свое великое дело, ничего не зная и не ведая; там, в землянках, тоже, как и начальник и Пылаев, искали выхода из тяжелого положения, искали выхода, как выйти из все больше сжимающегося кольца противника, пробиться к своей армии, которая, по полученным сведениям была не так далеко, сдерживала напор чехо-словаков; там, в землянках, были исключительно рабочие, добровольно ушедшие в Красную гвардию; эти рабочие под командой рабочего большевика-молотобойца, того самого, что сейчас полулежит в землянке на ворохе хвои, и вместе с Пылаевым и маленьким старичком проделали тяжелый путь до этого леса, дрались как львы, наводя неотразимую панику на чехо-словацкие отряды и на тыловые учреждения. Видя огромную опасность у себя в тылу, эсеровская учредилка решила разгромить партизанский отряд, скрывающийся в лесах и просто в селах, которые помогали ему и шли вместе с отрядом

против эсеров и чехо-словаков, и двинула с передовых линий несколько казацких полков и целую дивизию пехоты. В виду такой огромной силы, партизаны были вынуждены уходить вглубь, прятаться в лесах, но враг жестоко преследовал их, окружая и сжимая кольцом.

Сейчас отряд находился в ужасном положении: не было хлеба, не было достаточного количества патронов, совсем не было снарядов, последние лошади были зарезаны и с'едены. Такое положение сознавал не только начальник и Пылаев, но сознавал каждый партизан, и каждый партизан искал выхода из этого создавшегося положения. Вот об этом положении и как выйти из него думал сейчас начальник партизанского отряда, полулежа на хвое в своей землянке. Об этом же самом положении думал и Пылаев. Сейчас только было два выхода: или же умереть в этих землянках от голода, или же выступить в открытый бой с белыми и во что бы то ни стало прорваться к своим войскам. Оба выхода были неподходящи, и начальник и Пылаев на этих выходах никак не могли остановиться, так как оба выхода грозили полным уничтожением отряда, а поэтому нужно было выбрать третий, который дал бы возможность выйти из этого создавшегося положения менее разгромленными, а, наоборот, даже с некоторыми трофеями, но этого третьего выхода, к сожалению, не было.

Вот какие думы были в голове начальника, и в голове Пылаева, и в голове каждого партизана. Вот за этими, так сказать, думами застал начальника, Пылаева и каждого партизана только что пришедший старичок. Этот старичок, греясь и подкладывая дрова в земляной камин, несколько раз пробовал заговорить с начальником, но каждый раз неудачно, так как

начальник никак не мог оторваться от своих дум и обратить свое внимание на только что пришедшего старичка, и старичок был вынужден на время умолкать и потирать руки над жарко полыхающим камином; но, греясь и потирая руки, он не забывал того, зачем он пришел сюда и что он должен сообщить начальнику отряда. Он, не разжимая рук и не поворачивая тела, повернул голову и через левое плечо взглянул сморщенным красным комочком на начальника и тихо проговорил:

— Сожгли.

Начальник отряда вздрогнул, медленно вскинул большие голубые глаза на старика. Долго и пытливо рассматривал его, потом, осмотрев всего, глухо спросил у старика:

— Выдал?

Старик с'ежился, как от резкого удара хлыста, втянул голову в плечи, потом выпрямил горб и все так же, не поворачивая корпуса, поднял красный крючковатый палец кверху и хрипло прошептал:

— Не клевещи. Его сожгли на костре, и он умер так, как умирали библейские пророки.

Начальник не двинул ни одним мускулом, не моргнул ни одним глазом. Пылаев приподнялся, шурша хвоей. Но на лице начальника не осталось ни одной кровинки, — была мертвая бледность и чуть-чуть, почти незаметно, дрожала нижняя губа. Он, стараясь быть как можно более спокойным, повторил:

— Сожгли?

— Да, сожгли. И он не проронил ни одного слова.

— Та-ак, — протянул начальник, потом, глубоко вздохнув, сказал: — прости, старина, и ты, дедушка Иван...

Старичок ближе подошел к начальнику, быстро опустился на хвою и взглянул на него и на Пылаева. Пылаев тоже поднялся, перешел на постель начальника и сел рядом с ним. Старик проговорил:

— Дед твой умер славно. За два дня до смерти он просил передать, что отряду только один путь — к Иртышу... потом на соединение с крестьянским партизанским отрядом. Войска на Иртыше немного и прорваться можно...

— Два дня тому назад было немного, а теперь—казаки.

— Другого выхода нет; наша Красная армия разгромлена, а мы — в глубоком тылу.

— Это верно, — вздохнул начальник и обратился к Пылаеву: — Как ты, Василий, думаешь?

— Это верно, что наша армия далеко, и чтобы прорваться к ней — думать не приходится. По-моему, мы должны итти на соединение к партизанскому отряду. Но меня беспокоит одно: имеется ли недалеко от нас партизанский отряд...

— Имеется, — ответил Иван, — это я точно знаю и начальника знаю.

— Кто? — спросил начальник.

— Игнатов, — ответил Иван и посмотрел на начальника, который даже привскочил, когда ему старик назвал фамилию начальника партизанского отряда, и добавил: — тот самый, что из-под расстрела убежал и прятался у твоего деда...

— Как, и он? — удивился Пылаев, — но почему я его не видал у него?

— Я его проводил уже, когда пришли вы, — улыбаясь, ответил старик.

Пылаев и начальник переглянулись. Пылаев обратился к начальнику:

— Матвей, ты его знаешь?

Матвей, — так звали начальника отряда, — быстро поднялся и забегал по землянке.

— А ты его знаешь? — бросил он Пылаеву на ходу.

— Знаю. Мы были друзьями детства, — и Пылаев в кратких словах рассказал свою историю и историю своего друга, Василия.

— Да, ведь, он эсер! — крикнул Матвей. — Его имя широко известно в Сибири, как эсера... Так что же, к нему на соединение, а?

— Другого выхода нет. Он вполне наш... Он по ошибке попал...

— Это после убийства графа Мирбаха, — возразил Матвей, — и вооруженного восстания его партии.

— Я Игнатова знаю, а главное — мы вместе с ним глядели в одну могилу, — ответил Пылаев. — Надо итти к нему... Ведь эсеры и его хотели зарыть живым в яму...

Матвей поднялся, прошелся несколько раз по землянке, подошел обратно к своей кровати, на которой покорно сидел старик, а рядом с ним и Пылаев, — обратился к обоим:

— Другого выхода нет. Согласен, — и тоже сел на хвою, привалился широкой спиной к земляной стене и обхватил руками голову.

Дрова в камине догорели и, играя бело-зелеными языками, рдели темно-красной кровью. Сумрак стал в землянке гуще, более зловещ, чем был до этой вот минуты, наполненной глубокой тишиной, глубоким раздумьем трех человек, связанных одной идеей, идеей освобождения рабочего класса и крестьянства от нашествия чужеземных генералов и от своих.

Тлеющие угли багряным пятном отражались на одной стене, задев правое плечо и сморщенную щеку

Ивана, отчего в землянке было, как в сказочном тереме, необычайно тихо и страшно. Матвей и Пылаев все так же сидели молча, как и до этого, и мучительно взвешивали положение. Дедушка Иван тоже молчал. Дедушка Иван обдумывал свою жизнь, которая когда-то была и безвозвратно прошла и никогда уж больше к нему не вернется. У Ивана жизнь была длинная, беспросветно тяжелая, так что он не помнит ее начала, не помнит, откуда она пришла к нему и откуда взялась; он помнит только одно, как его подобрали с дороги добрые люди, накормили и оставили у себя, сказав ему:

— Живи — работником будешь, — и он остался жить у этих людей, дожил до законных годов, женился, потом, неожиданно овдовев, горько запил и пил беспросыпно, пока родственники жены не выгнали его в шею... Очутившись на улице, опять на той же самой дороге, на которой его подобрали в начале жизни, он опомнился, снова взгрустнул о жене, поплакал немного, потом, горько махнув на все рукой, отправился бродить по широкому раздолью родины, которая была для него горше полыни. Где-где он не побывал? Он побывал и в Крыму, и на Кавказе, и в Туркестане, и в Харбине, и на святом Афоне, где не разрешается жить женскому полу — бабам и кротким горлинкам, а только одному мужскому полу — мужчинам и петухам, и живал в барских и купеческих хоромах, питался милостыней с купеческого стола, но больше всего сиживал в царских острогах и тюрьмах, — впрочем, все это было давно, еще в молодости и все это стерто заводской жизнью, тяжелой работой и новой семейной жизнью, от которой у него сохранилось большое богатство — два крепких сына, старуха-жена и больше никого и ничего. Вот об этом самом богатстве он и вспомнил сейчас и

взгрустнул, да так, что даже привскочил с постели и, сутулясь, зашагал по землянке, а когда его остановил удивленный и встревоженный Пылаев, он не торопясь ответил:

— Два сына у меня и оба — большевики. Добровольно на фронт ушли, а живы ли они — не знаю.

— Что же тебе не нравится, что они... — спросил Пылаев, — не доволен?

Дедушка Иван остановился, сердито замахал сморщенной темной рукой:

— Зачем недоволен. Я очень доволен. Я бы и сам с ними за одно ушел, да не взяли, дурачье. А заплакал я так от полноты чувств, от радости, ангел, и оттого, что от вас теперь не отстану и драться буду — во!..

Матвей громко рассмеялся.

— Да ты, дедушка Иван, настоящий лев...

Дедушка Иван тоже рассмеялся.

— И лев, а ты думал, что я не лев, а? Ошибаешься... Я еще молодым покажу, как старики-рабочие драться умеют. Я еще не посмотрю, что ты молод, за пояс заткну. Я, ангел мой, рабочей жизни побольше твоего хватил...

— Заткнешь совсем, — закрыв голубые глаза, смеялся громко Матвей, — оно и видно, по ухватке...

— И заткну, — волновался дедушка Иван и, засучивая рукава шубы, мягкими шагами стал наступать на Матвея.

— Так ты говоришь, что моего деда сожгли? — внезапно и резко спросил Матвей, так что дедушка Иван отскочил назад, опустил руки, а Матвей быстро поднялся с хвои, — и, говоришь, на костре? — и не дожидаясь ответа, выбежал вон из землянки, резко распахнув дверь.

Пылаев тоже поднялся. Он, как и дедушка Иван, думал о своей прожитой жизни, о жене, о маленькой девочке, о том, как выбраться из этого кольца, о борьбе, о радостной победе, о строительстве новой жизни и о том, как он опять всего отдаст себя...

— Ишь, сколько холоду напустил,—обращаясь к Пылаеву, сказал дедушка Иван, — сстрасть...

Василий Пылаев очнулся, посмотрел на дверь: она была открыта настежь и в нее густыми клубами валил белый пахнущий зрелым, только что разрезанным арбузом ледяной воздух, от которого Пылаев вздрогнул, запахнул шинель, зачем-то почесал за правым ухом и тронулся к выходу, но, на пороге встретившись с Матвеем, вернулся обратно, а когда Матвей ввалился в землянку, спросил:

— Ты что?

— Ничего, — ответил Матвей и громко, по-детски рассмеялся и закружился по землянке: — наступаем.

— Наступаем? — удивился Пылаев и хотел было что-то еще спросить у Матвея, но ничего не спросил, так как в землянку вошел низкорослый, кряжистый, рыжебородый партизан и сразу, глядя на начальника маленькими черными и умными глазками, громко проговорил:

— Товарищ Рослов, все готовы и в полном боевом порядке.

Рослов остановился. Его огромная богатырская фигура вытянулась, уперлась головой в бревенчатый потолок, да так, что даже бревна заскрипели и из пазов посыпалась земля и сухая пожелтелая хвоя. Рослов круто повернулся и взглянул на Пылаева:

— Ты слышишь, Василий, все готовы и ждут.

В голосе Рослова Пылаев уловил боль, огромную тоску. Пылаев так же, как и Матвей, хорошо знал, что

положение отчаянное, что они находятся в железном кольце противника, и он не даст им выбраться благополучно из ловушки, а изрубит весь отряд в снегах этого леса. Пылаев знал, что другого выхода, помимо выступления, у них не имеется. Но, кроме всего этого, Пылаев глубоко знал, что и сидеть в землянках и умирать голодной смертью нисколько не лучше, да и не было никакого смысла, да и весь отряд требовал немедленного выступления, все время говорил начальнику и Пылаеву на собраниях и на военных совещаниях, что «лучше смерть в открытом бою, чем смерть от голода в землянках».

Такое настойчивое требование партизан побудило Рослова и Пылаева решиться на последнее и нынче же ночью двинуться в поход.

— Надо выступать, — глядя в открытые глаза Пылаева, сказал Рослов.

— Конечно, надо, — обрадовался коренастый партизан, — и сейчас же.

— Даже сейчас? — спросил Рослов и опять взглянул на Василия, потом на партизана, сказавшего «сейчас же». — Я думаю, что надо выступить на заре, а не сейчас же, как предлагает Андрей, — так звали партизана, — и, подойдя ближе к Пылаеву, добавил: — как ты, Василий, думаешь?

Андрей попятился к двери и, облокотившись короткой широкой спиной на притолоку, упрямо, с грубой настойчивостью сказал:

— Ни одной минуты отсрочки, а сейчас же.

Рослов густо побледнел, покачнулся в сторону, закрыл глаза, потом визгливым состарившимся голосом выкрикнул:

— Скажи, что сейчас же выступаем, пусть строятся.

Андрей отошел от притолоки, и Пылаев видел, как его лицо засияло улыбкой, как он радостно стал докладывать начальнику и ему, Пылаеву, о том, что партизаны выстроились, что патроны он роздал на каждого партизана по двадцать девять штук и больше на складе ни одного патрона не осталось; что оба пулемета, чтобы не тащить их на плечах, он разрешил положить на лыжи и на них везти, как на салазках, — устроили эти лыжи так, что можно прямо с них открывать огонь по противнику; что патрон для пулеметов всего-навсего три ящика, и он строго-настрого приказал патроны беречь, стрелять только во время большой необходимости и по верной цели; что продовольствия нехватило на двести человек партизан и они снова сейчас его делят между собой. Сказав все это, он опять отступил к двери, привалился к притолке и тихо проговорил:

— Еще что прикажете?

— Больше ничего, — ответил начальник, — иди.

Андрей, открывая дверь, спросил:

— К Иртышу?

Рослов вздрогнул, взмахнул густыми светлыми ресницами, взглянул прямо в глаза Андрею.

— А твое мнение?

Андрей вытянулся и, тоже глядя в глаза Рослова, ответил:

— Я против, чтоб итти к Иртышу.

— Основание? — смертельно бледнея, спросил Рослов. — Какое основание? Почему нельзя итти к Иртышу, а надо итти вперед, а? Этого я никак не пойму.

Андрей твердо ответил:

— К своим мы можем легче пробиться, чем к партизанскому отряду.

— К Иртышу! — крикнул Матвей и нервно закричал, передразнивая Андрея: — можем, можем... никуда, мой милый, мы не можем пробиться, а только можем попасть как куры к белым в горшок...

А когда Андрей вышел, Рослов обратился к Пылаеву, сказал по адресу Андрея:

— Стойкий большевик, прекрасный партизан. Его партизаны красным Суворовым зовут, за смелость и находчивость... Я вместе с ним работал в одном цеху...

— Но сейчас он неправ, — ответил Пылаев: — мы не можем пробиться к своим, так как наша армия далеко от нас...

В то время, пока Рослов говорил с Андреем и Пылаевым, дедушка Иван лазил по углам землянки и что-то отыскивал. Он вытащил из-под кровати бомбу, привесил к поясу, потом достал винтовку, очень внимательно осмотрел ее, а когда осмотрел, стал разыскивать ящик с патронами, который он видел несколько дней тому назад под кроватью Пылаева, и которого сейчас под кроватью не было, и он беспокойно метался по землянке, настойчиво разыскивая ящик с патронами. Рослов, взглянув на Ивана, улыбнулся: тот был уже под кроватью Рослова и только были видны одни его ноги, обутые в желто-белые валенки с красными цветами, с елочками на задниках, — он разыскивал ящик с патронами. Услыхав смех Рослова, дедушка Иван быстро вылез из-под низкой кровати и, вытаскивая ящик с патронами, радостно прошептал:

— Нашел, — и, показывая глазами на ящик, стал наполнять пачками свои глубокие карманы.

— Эй, дедушка, а ты не все забирай, — крикнул на него Пылаев и тоже потянулся к патронам.

А когда Иван, Пылаев и Рослов разделили патроны и привесили к поясам по бомбе, дедушка Иван бросился к одному углу и громко хлопнул рукавицей по земляной темнобурой земле, так что оба — и Пылаев и Рослов — остановились, взглянули на него и оба в один голос испуганно спросили:

— Ты что?

— Ничего, я только хотел убить паука, — ответил дедушка Иван.

— Обязательно ты какую-нибудь глупость выкинешь. Что он, паук-то, помешал что ли тебе?

— Он всегда появляется к дурному известию, — сказал спокойно дедушка Иван и, становясь на носки валенок и потягиваясь всем телом, взмахнул рукавицей и ударил, но опять не попал, и паук быстро вырвался из угла и, пересекая наискосок угол стены и легко перебирая длинными легкими ногами, стремительно побежал к потолку.

— Типун тебе на язык, — мрачно бросил Рослов, широко распахнул дверь и вышел из землянки.

За ним, взглянув на толстого серого паука, покрытого черно-белыми крапинками, вышел и Пылаев.

На небольшой поляне, окруженной черными елями, соснами, лиственницами, находился в полном боевом порядке партизанский отряд. Отряд этот состоял почти исключительно из уральских рабочих и крестьян; крестьян в нем было не больше сотни, но таких крестьян, которые добровольно вступили в Красную армию и почти все были партийцами-большевиками и в своей стойкости и храбрости не уступали рабочим. Крепкий сухой зимний воздух обдал всего Пылаева, а медленно падающие крупные кристаллы снега заставили его вздрогнуть, скорее поторопиться за Рословым, который

был уже около отряда и говорил речь. Речь Рослова была небычайно короткой, отчетливой, ясной, так что Пылаев не успел сделать пяти шагов, как она уже закончилась, и партизаны покрыли ее радостными голосами:

— Правильно! Другого выхода нет: или пробьемся, или умрем! А ждать нам больше нечего!

Пылаев стал рядом с Рословым и Андреем. Андрей командовал, и квадрат за квадратом отрывался от общей массы, уходил сиреневыми колоннами вперед, увязая по-пояс в снегу. А когда все колонны стали в очередь и были высланы дозоры, Андрей стал пробираться мимо колонн к головной, увязая в глубоком снегу; Пылаев и Рослов видели, как сильная кряжистая фигура Андрея ныряла в снегу и, пыхтя и отдуваясь, разворачивала снег и пробиралась мимо колонн товарищей. Из одиннадцатой колонны, когда он проходил мимо, маленький партизан, почти мальчик, весело крикнул:

— Андрей, а ты с дубинушкой — дело лучше пойдет.

— И верно, — засмеялись другие. — Затягивай, а мы подтянем.

Андрей недовольно пробурчал:

— Я вот тебя пошлю, шибздика, так совсем нырнешь.

— И верно, — раздались из колонны голоса, — пусть он поныряет.

Добравшись до головной колонны, Андрей по цепи передал Рослову, что все время итти одной головной колонне впереди невозможно, так как снег глубок, и партизаны не выдержат и одного часа ходьбы по такому снегу, а необходимо через каждый час менять головную колонну другой. Рослов и Пылаев и весь отряд согласились с таким предложением; через полчаса

отряд тронулся в поход. Шли осторожно, медленно, то-и-дело останавливались, посылая лыжников на разведку, ожидали их и снова трогались в путь.

Лес был густой, величавый, ослепительно и грозно смотрел из-под белого убора, сверкающего всевозможными бриллиантами, ровными бронзовыми стволами сосен, лиственниц, бурыми и ярко-черными елями, сыпал на головы отряда острыми иглами инея, шишками и крепко пахнущей иссиня-черной хвоей.

Пылаев шел вместе с дедушкой Иваном и все время ежился от инея, который так густо сыпался с деревьев, неприятно попадал за ворот шинели, заставлял вздрагивать от холода. Дедушка Иван тихим голосом рассказывал какую-то смешную историю своему соседу, высокому парню с большими светлыми усами. Сосед громко смеялся и тоже что-то ему говорил басом; но что рассказывал дедушка Иван и что отвечал басом сосед дедушке Ивану, Пылаев не мог разобрать, хотя и шел рядом с Иваном. Пылаев просто, когда колонны одна за другой поворачивали налево и на фоне снега сиреневыми квадратами спускались в низину дремучих сосен, лиственниц и кедров, засмотрелся на девственный лес, на его сказочный убор, что сиял, переливался, сверкал красно-зелеными огнями из ослепительного моря снегов.

Порою, глядя на этот лес, Пылаеву казалось, что это не сосны, не лиственницы, не кедры и не черные ели так величаво стоят перед ним, а древне-русские богатыри в белых шапках-папахах и, улыбаясь суровой улыбкой, движутся вместе с ним, вместе с его товарищами-партизанами на врага. Глядя и любуясь на этих богатырей, на белизну их шапок и усов, Пылаев чувствовал себя бодро, хорошо; он сейчас не ощущал

усталости от пути, от глубокого снега, правда, уже примятого к земле передовыми колоннами, не осознавал и того будущего, которое должно нагрянуть на него и которое он должен вместе с своими товарищами пережить; он сейчас был исключительно занят соснами, лиственницами, кедрами, по веткам которых бойко прыгали белки, сверкали ярко-солнечной желтизной, осыпая иней, хвою и кедровые шишки, что бесшумно падали на поразительно синий снег; белки, игравшие медленно, в некотором недоумении, сейчас, став на серо-желтые задние лапки и склонив на бок изумительно умные мордочки, а передние поджав к груди, смотрели на внезапно появившихся людей, на их грязно-сиреневое шествие по белому ковру между могучих деревьев, на блестящие и отливающиеся синью штыки, на лохматые папахи, что были белы и скорей походили на небольшие комья снега, чем на папахи. Пылаев смотрел на золотых белок, на их красоту и на то, как они свободно и легко прыгали, играли друг с другом, падали с деревьев вместе с комьями снега, с ярко сверкающим дымом инея и вновь поднимались на деревья да так, что от восторга захватывало дух, хотелось быть беззаботной и веселой белкой, прыгать по сказочным черно-синим веткам, грызть кедровые орешки, купаться в сверкающем инее. Пылаев так засмотрелся, так размечтался, что даже не заметил, как они опять свернули налево, пошли по крутому склону, как подошел Рослов и заговорил с дедушкой Иваном о том, что не устал ли он от такой дороги. Пылаев опомнился только тогда, когда несколько солдат оторвались от колонны и покатились вместе с снегом по склону горы в глубокий овраг. Один из оторвавшихся солдат попал на дерево и, обняв его руками, остановился и нечаянно

стукнул котелком, так что звук громко прокатился по лесу, заставил многих вздрогнуть и насторожиться. От звука недалеко поднялась птица, вздымая клубы сверкающего инея, грузно захлопала тяжелыми, как будто набухшими крыльями. Пылаеву почудилось, что это поднялась не птица, а дремучая лесная тишина, и замахала крыльями; он повернулся к Рослову и что-то хотел было по этому поводу сказать, но не успел, так как Рослов грозно закричал на партизана, который стоял у дерева, охватив его руками, и гремел по стволу котелком. Партизан оторвался от дерева, ухватился за протянутый штык и при помощи товарища выбрался наверх, а когда выбрался и стал в свой ряд, ответил Рослову:

— Разве я виноват, что ударился котелком, а не головой: голова не дала бы такого звука.

— Какая голова, — ответил Рослов, улыбаясь.

Из колонны послышался смех.

— Тише, товарищи, — сказал Рослов, — мы находимся в нескольких верстах от Иртыша.

Смех прекратился.

— Теперь бы спеть, товарищ начальник, — сказал партизан, оскалив желтые зубы из серого лица, покрытого редкой пепельной щетиной.

— Я тебе спою, — сказал сердито Рослов и, обходя ряды, пошел вперед, а когда он отошел на несколько шагов от колонны, в которой был Пылаев, к нему опять обратился этот же изнеможденный партизан:

— Начальник, так и нельзя спеть?

Рослов, не поворачивая головы:

— Нельзя.

— А плясать?

— Тоже.

— А умирать?

Рослов ничего не ответил: он уже был далеко и наверно не слыхал последних слов партизана.

Партизану ответил дедушка Иван:

— Никак нельзя. Что же мы будем делать, ангел мой, ежели ты помрешь.

Опять раздался смех. Пылаев тоже рассмеялся, так как никак нельзя было не рассмеяться: уж больно был смешон солдат, которому было и петь нельзя, и плясать нельзя, и умирать нельзя. А когда смех прекратился, партизаны, сорвавшиеся в овраг, вылезли из него обратно, стали на свои места, когда колонна снова тронулась и стала нагонять колонны, ушедшие вперед, Пылаев стал смотреть на передние колонны, — они, утопая по-пояс в снегу, чернели только темно-серыми туловищами да остриями штыков. Потом он, когда нагнали колонны, опять стал рассматривать сказочную природу и всю обстановку леса, которая все больше и больше поражала его своей невыразимой красотой. Пылаев не заметил, как перестал итти снег, как на низком небе, в которое упирались вершины сосен, лиственниц, кедров и черных елей, лопнули мутные облака, сползли к горизонтам, как показалось небольшое желтое ледяное солнце, как оно быстро скатилось за деревья и говорило о скором вечере.

Лес от прояснившегося неба и студеного солнца оживился и совершенно выглянул в другой красоте: деревья пышно вспыхнули своими вершинами, их стволы заполыхали ярче червонного золота, между деревьев на девственном снегу передвигались яркие желтые пятна солнца и сквозные темно-синие тени.

— Солнце, солнце, — прошептал светлорусый солдат, что шел рядом с дедушкой Иваном и был в одном ряду с Пылаевым.

— Кончается лес, — ответил Иван и показал рукой туда, откуда светило солнце.

И верно: сквозь ярко освещенные просветы был виден желто-синий горизонт неба, на нем небольшое красно-желтое солнце, похожее на коричневое яблоко, на фоне которого тлело несколько прямых сосен. Не успел Пылаев взглянуть на это солнце, на конец леса, уперше-гося в берег Иртыша, как мимо него, согнувшись и вытянувшись вперед, прошмыгнул светлоусый солдат и придушенно прокричал, задыхаясь:

— Тетерев, — и стал осторожно, вытягивая вперед штык, подкрадываться к нему. А в это время, когда он подкрадывался к птице, по колоннам пробежала команда остановиться, и колонны остановились. Пылаев и дедушка Иван тоже вышли из колонны, осторожно направились за светлоусым партизаном, за ними еще несколько партизан, но светлоусый солдат, чтобы они не шли за ним и не вспугнули тетерева, замешкался и, не поворачивая головы, махнул рукой и велел не двигаться. Пылаев и дедушка Иван и остальные партизаны остановились, стали ждать, следить за светлорусым товарищем и за тетеревом, что сидел в нескольких шагах от них и, вытянув стальную с сизым отливом шею и наклонив на бок краснобровую голову, очень внимательно и удивленно смотрел на появившихся людей. Тетерев был необычайно красив, величественно спокоен, так что казалось, что он сейчас сам влезет в вещевой мешок светлоусого; партизан, как кошка, подкрадывался к нему; потом, когда светлоусый ближе подошел к нему, Пылаеву еще больше казалось, что тетерев сам сядет всей своей тяжестью на блестящее лезвие штыка, и светлоусый партизан снимет его еще теплого, обливающегося горячей упругой кровью, которая крупными темными каплями быстро-быстро покатится по

каналам штыка к хомутику ружья, без всякого труда положит его в вещевой мешок, завяжет, чтобы не потерять его в столь трудной и голодной дороге... Пылаев и остальные партизаны с любопытством наблюдали то за светлоусым товарищем, осторожно подкрадывавшимся к птице, увязая по-пояс в снегу, то за крупной птицей, так спокойно сидевшей на черно-синем суку, иней с которого был обит ее тяжестью и ворохом лежал на непорочно-синем (на фоне упавшей тени от дерева) снегу. Тетерев, не шевелясь, все так же зорко смотрел круглыми неморгающими глазами на партизана, на блестящий кончик штыка, что поднимался все выше и выше к нему. Пылаев тоже видел, как партизан добрался до дерева, на широкой ветке которого сидел тетерев, с необычайным удивлением смотрел, как партизан остановился против него, как он поднял на него заиндевевшее усатое лицо, как он стал осторожно, стараясь не покачнуться, поднимать лезвие штыка и целиться в выпуклый его зоб, отливающий сизой искоркой, как он стал зорко смотреть в его широко-открытые черные с карим ободком глаза. Впрочем, за охотой партизана следил не один Пылаев, с большим любопытством следила почти вся колонна, так что и она, как и Пылаев и старик, не дыша, с затаенным желанием ждала того момента, когда птица тяжело забьется на штыке. Следя за охотой, колонна не заметила, как к ней подошел Рослов, остановился рядом с Пылаевым и тоже стал смотреть на охоту. Пылаев видел, как светлоусый партизан кольнул штыком, и слышал, как в это время крякнул Иван и другие, и как птица, кокнув, грузно подпрыгнула, взмахнула сухими крыльями и, задевая за сучья и осыпая с них иней, лениво шарахнулась в сторону, так что партизан испуганно

присел и скрылся в серебристом, густо падающем тумане. Дедушка Иван опомнился первым, сокрушенно проговорил, почесывая около уха:

— А как хорошо сидела.

— А хвост показала еще лучше, — бросил Рослов, смеясь.

А когда светлоусый партизан опомнился, повернулся обратно к товарищам и стал выбираться из снега, из колонны крикнули:

— А ты, Петр, нас не позабудь!

Петр крепко выругался, встал на свое место и, взглянув на старика, сурово проговорил:

— И сам не знаю, как это я промахнулся.

— А сидела хорошо, можно сказать сама в котелок просилась, — облизывая побледневшие губы и дергая грязноватой рыжей бороденкой, ответил дедушка Иван.

— Сытая птица, — вздохнул небольшого роста партизан, с острыми мышиными усиками, и визгливо хихикнул в рукав шинели, грея руки.

Светлоусый партизан ничего не ответил ни дедушке Ивану, ни партизану, хихикнувшему в рукав. Старик тоже молчал и грустно смотрел в спину товарища, стоявшего впереди. Солнце уже давно скатилось, пропало, вместо него сквозь деревья чуть-чуть просачивалась небольшая беднокрасная полоска неба и от нее на потемневшем снегу едва заметно лежали бледно-розоватые полосы и пятна; и такие же пятна были и на ровных, как гигантские свечи, стволах сосен, лиственниц, елей и кедров. Но не прошло и полчаса, как эта мутно-красная полоска неба пропала, вместе с ней пропали световые полосы со снега и рябь с деревьев, да так, что снег и деревья окончательно изменили свой цвет: снег густо потемнел, деревья приняли какой-то

неестественный, фантастический вид, стали похожи на мрачную непроходимую тишину, украшенную причудливой резьбой. И вот в стенах этой дремучей тишины пришлось стоять больше двух часов в ожидании месяца, заниматься бегом на месте, чтобы не закоченеть, не свалиться в глубокий снег, — так было до месяца. Когда показался месяц и лес опять преобразился, ожил, предстал потрясающей картиной перед глазами партизан, отряд медленно двинулся в путь, увязая по пояс в снегу и натыкаясь на непроходимо-густые деревья, покрытые горами снега, который при прикосновении к веткам сыпался на партизан, густо шипел кристаллами.

Отряд во время стоянки разбился на три отряда и развернутым фронтом по глубокому, по-пояс, темно-желтому снегу двинулся к Иртышу. Первый отряд, что был на правом фланге, был под командой самого Рослова; второй отряд, что был на левом фланге, был под командой Андрея; третий отряд, что находился между первым и вторым, был под командой Пылаева; и вот эти три отряда на небольшом расстоянии друг от друга торопились как можно скорее добраться до Иртыша и на заре занять единственное село в этом районе и временно укрепиться в нем. Партизаны с огромным трудом преодолевали невыносимо трудный путь, часто останавливались, отдыхали и вновь погружались в снега и, раздвигая его своими телами, упорно и настойчиво двигались вперед и вперед. Пылаев со стариком Иваном шел впереди своего отряда. Они оба страшно устали, а главное, — на них было так мокро белье, что хоть выжимай, и неприятно прилипало к плечам и тянуло к низу. От Пылаева и старика, да и вообще от всего отряда шел густой пар, так что создавалось такое

впечатление, что будто бы весь отряд не шел, не двигался вперед, а топтался на месте, сдирал лохматую шкуру с земли, волок ее за собой, надрываясь от необычной работы и пригибаясь к земле от непосильной тяжести. Отряд Пылаева, как и Рослова и Андрея, через каждые двадцать минут делал небольшие остановки для отдыха. На последней остановке пришлось задержаться гораздо больше, чем на всех остальных, несмотря на то, что на этой остановке было гораздо холоднее: в одной версте находился Иртыш и от него шел резкий ветер, шумели робко деревья, сыпался колючий иней, резко пахло сыростью, мозглостью — это от Иртыша, — дымом и печеным хлебом — это от села.

Отряд, качаясь из стороны в сторону черным квадратом, чтобы не замерзнуть, делал бег на месте. Делал он этот бег тихо, бесшумно, так что было хорошо слышно, как на селе лаяли собаки и один за другим перекликались петухи. Остальные отряды стояли в нескольких саженях от Пылаевского отряда и тоже грелись. Пылаев тоже переминался с одной ноги на другую, но никак не мог согреться: он чувствовал, как дрожало его тело, лихорадочно стучали зубы и так до тех пор, пока не вернулись с разведки партизаны и не сообщили, что на протяжении до самого села ничего подозрительного нет. После этого сообщения, отряд двинулся снова в путь, но не прошел он и версты, как пришло от Рослова сообщение остановиться и соединиться отрядам в один отряд и приготовиться к бою. Пылаев не успел приготовить свой отряд к бою и передать на левый фланг распоряжение Рослова, как неожиданно раздался орудийный выстрел со стороны противника и снаряд упал в расположение Рословского отряда, но так благополучно, что никого из отряда не ранил, а только заста-

вил отряд податься в сторону и подойти вплотную к Пылаевскому отряду. К этому времени пришло еще более тревожное сообщение из отряда Андрея; Андрей сообщил, что село Демьяновское занято войсками противника и цепи его войск заходят в тыл. Рослов передал Андрею, чтобы он немедленно соединился с левым флангом Пылаевского отряда. Пока соединялись снова в один огромный кулак, пока и Рослов, и Пылаев, и Андрей, и остальные командиры обсуждали создавшееся положение, противник изредка обстреливал с правого фланга орудийным огнем. Положение было отчаянное, по всему было видно, что противник основательно выследил отряд, дал ему выбраться из леса, чтобы окружить его возле этого леса и не допустить до села, главное — не дать ему занять Демьяновское, население которого было настроено не в пользу белых генералов; поэтому он за несколько часов до прихода партизанского отряда занял выгодные позиции, да так ловко и незаметно, что партизаны попали в ловушку, благодаря которой выход для партизанского отряда остался только один: или сдаваться на волю победителя, или же всей массой двинуться на село, пробивая себе путь рукопашным боем. После короткого спора было принято одно: немедленно всей массой двинуться на Демьяновское и занять его. Правда, были и другие предложения. Командир седьмой сотни предлагал повернуть обратно и добраться до землянок и выждать.

— Снегом будем питаться и еловыми шишками, — возразил Андрей.

— Будем действовать набегами.

— Другого выхода нет, — стуча зубами от холода, сказал Пылаев. — Нам необходимо занять Демьяновское.

— Во что бы то ни стало, — согласился Рослов и приказал становиться по местам.

Когда командиры разошлись и остались только Рослов, Пылаев и Андрей, Рослов подал команду наступать и, когда приготовилась армия к наступлению, эти три закаленных воина пошли к своим отрядам и каждый своему отряду сказал речь. Рослов, Пылаев и Андрей сказали своим отрядам всю правду о положении отряда и указали, что перед отрядом один путь — или умереть или сдаться. Партизаны, выслушав своих товарищей, ответили, как один человек, твердо и упрямо:

— Вперед! Ни одного шагу назад!

Робко занималась заря и, окрашивая снег и деревья, тянулась бледными полосами до партизан. Густо пахло дымом. Громче кричали петухи. Изредка в разных местах села глухо тявкали собаки. Все так же редко металлическим звуком кашляло небольшое орудие и снаряды противника, то не долетая, то перелетая, падали в глубокий снег, хрипло рвались в снегу, тревожили осколками царственно стоящие деревья сосен, лиственниц и кедров.

Армия дружно пошла в наступление. Вот она без потерь добралась до опушки леса, вышла на холмистое, отливающее сине-желтым цветом поле, в конце которого густо темнело и дымилось село. Тут, за лесом, почти совсем не было снега, только была небольшая пленка, — она задерживалась высоким жнивьем; тут, за лесом, было гораздо холоднее, ветренее, змейки снега с тихим шипением бежали по холмистому полю, бледно окрашенному разгоревшейся зарей; тут, за опушкой леса, более отчетливо были слышны собаки,— их лай жутко перекатывался по лесу, — и крики петухов; тут, за опушкой, сильнее пахло сырой изморосью

от Иртыша, дымом, варевом и душистым теплым хлебом. Слыша и вдыхая все это, отряд быстро и осторожно спускался к селу и казалось, что вот-вот он доберется до села, до душистого хлеба...

Запах хлеба все больше и больше был слышен в этом чистом сквозном просторе.

— Как вкусно пахнет, — идя рядом с Пылаевым, прошептал светлоусый партизан, тот самый, который охотился на тетерева. — А далеко же до него...

Пылаев не успел ответить партизану, как дедушка Иван дернулся вперед, крякнул, взмахнул нелепо короткими руками, повалился на землю и, подергивая членами, медленно пополз по блестящему розовому снегу, а за ним поплыла и его винтовка. За дедушкой Иваном упало еще несколько человек. Светлоусый партизан, шедший впереди Пылаева, прокричал:

— Ложись!

Били из пулеметов, винтовок, били с двух сторон: от села и с левого фланга.

Пылаев так растерялся, что даже не слыхал команды и никак не мог понять, откуда бьет противник; тут подбежал к нему командир четвертой сотни и выкрикнул, задыхаясь:

— Казаки!

У командира четвертой сотни было серое лицо, большие испуганные глаза. Пылаев, взглянув ему в стоячие глаза, подумал про себя: «У командира детские глаза», и улыбнулся.

— Казаки, говоришь? — спохватился Пылаев и закричал: — В атаку! — и бросился вперед.

Казаки наступали с левого фланга. Они шли, двигались, как вихрь. От села шла пехота. Из отряда Рослова робко затрещал пулемет по казакам. За снежной пылью

были видны только лохматые головы казаков да сверкающие клинки шашек; лошадей было совершенно не видно из густой белой пыли снега, только была видна темно-сиреневая масса, которая, как огромная, не меньше десятины чаща, бешено подвигалась на левый фланг, коим командовал Рослов.

Правый фланг, на котором находился Андрей с тремя сотнями, был свободен и не дрался: на него не наступал противник, он лишь откуда-то из-за Иртыша редко постреливал из легкого орудия, но снаряды ложились далеко позади, где-то за опушкой леса, и только один снаряд упал недалеко от отряда, но и этот снаряд не причинил никакого вреда отряду Андрея. Видя себя в лучшем положении, Андрей стал отходить вправо; за ним, отстреливаясь от наседавшей от села пехоты, стал двигаться отряд Пылаева; за Пылаевым медленно двигался и Рослов, сдерживая пулеметным и ружейным огнем казаков, которые остановились и бросились назад, потом снова повернули и рассыпанным строем устремились на Рослова. Пылаев отчетливо видел, что Рослову не устоять, что сейчас же весь Рословский отряд будет изрублен, а раз это так, то он передал Андрею, чтобы тот защищался от пехоты, а ежели потребуется, то немедленно перейти в атаку, смять противника и занять Демьяновское; но только что он успел это передать Андрею и направить свой отряд на помощь Рослову, как казаки врезались в Рословский отряд и началась рубка, потом пошла еще в атаку пехота, потом еще отряд казаков, сидевших где-то за Иртышом, пошел на отряд Андрея. Пылаев был поражен быстротой натиска; он стоял с опущенными руками и не знал, что ему надо делать: бежать или отстреливаться? Он видел, как из Рословского отряда бежали

в его отряд партизаны, бросая винтовки. Он видел, как с разрубленными головами падали его товарищи, орошая кровью снег. Он видел, как и его партизаны бросали в сторону винтовки, сбивались в кучу, а светлоусый партизан, тот самый, что шел с ним рядом и охотился в лесу на тетерева, выкинул белый платок и поднял его на штыке кверху. Он видел, как бежали к нему в смертельном ужасе партизаны Андрея от врубившихся в них казаков. Видя все это, Пылаев совершенно не знал, что ему надо было делать: отстреливаться или тоже, как и его товарищи, бросить винтовку и самому бежать в сбившуюся массу товарищей и сдаться под флагом светлоусого партизана на милость победителя? Пылаев не делал ни того, ни другого: он все так же стоял на одном месте и наверно бы его так и взяли казаки или зарубили бы на этом же самом месте и он не сдвинулся, не шевельнул бы ни одним мускулом в защиту себя, ежели бы он не увидел бегущего с маузером в руке Матвея Рослова от пешего казака, гнавшегося за ним с окровавленной шашкой и без папахи. Увидав Матвея в опасности, Пылаев проснулся от забытья, быстро вскинул винтовку и выстрелил, потом еще раз выстрелил, а когда казак повернулся к нему спиной и, закидывая назад взлохмаченную голову, споткнулся на колени и повалился на снег, он бросил винтовку, направился в гущу товарищей, куда только что скрылся и Рослов. Пылаев понял, что все кончено, и ему страшно захотелось спать и он закрыл глаза, а когда открыл глаза, был уже всему конец: он стоял в безоруженной массе, рядом с ним стояли Андрей и Рослов. Пылаев взглянул в мертвые глаза Матвея, улыбнулся. Матвей ответил товарищу легким

дрожанием губ, и Пылаев ясно понял его страдание, поймал его руку и крепко пожал. Матвей тихо ответил:

— Ужасно, как глупо попали.

— Теперь поздно об этом говорить, — прошептал Пылаев.

— Их так мало, — прохрипел Матвей и до крови прикусил губу, так что тонкая струйка крови быстро сбежала с губы и побежала по щетинистому подбородку.

— Да, ежели бы мы знали, — вздохнул Пылаев и закрыл глаза.

— Мы это должны были знать.

Пылаев опять открыл глаза: перед ним было широкое холмистое поле, позади которого меловой скалой стоял лес, впереди огромное темно-серое село, но тихое как кладбище. Сейчас в этом селе не лаяли собаки, не перекликались так громко и радостно петухи, не пахло так вкусно теплым и душистым хлебом и только резко несло от Иртыша мозглой изморосью; над полем и над селом сияло бледно-зеленой синевой низкое зимнее небо и мутно-желтое небольшое солнце; от солнца сурово переливался серебристой желтизной снег, изредка, местами на холмах сверкал синими и красными огоньками. Пылаев так засмотрелся на эти огоньки, что даже не заметил, как безоруженную массу, в которой был и он, поставили в порядок, даже не заметил, как он вместе с Рословым и Андреем попятился назад, как очутился в самом последнем ряду, как казацкая лошадь задевала и терлась об его спину заиндевевшей головой, как ругались казаки и били нагайками некоторых его товарищей за то, что они так медленно становились в ряды, как грубо ругался полковник... Пылаев опомнился только тогда, когда к ним вплотную подошел полковник,

остановился недалеко от Рослова, от Андрея и от него, добродушно, почти шопотом проговорил:

— А ну, сволочи, говорите, кто у вас тут самый главный.

Партизаны молчали. Они смотрели прямо и мимо полковника на выстроившихся казаков, которые были так молоды, красивы и крепко держали блестящие сабли, на остриях которых желтело солнце, темнело бледно-зеленое низкое небо, на пехоту, которой было не больше сотни, и которая стояла направо и немного вдали и каждую минуту готова была ударить из пулемета, на село и на ледяной горизонт неба, что был тут же за селом и бледно синел, на высоко поднявшийся к небу мутно-сизый дым. Пылаев видел, как полковник немного прошелся, потом опять повернулся к партизанам и, отбросив руки за спину, остановился и блестящими черными глазами уставился на партизан. Полковник был высокого роста, стройный, одет он был в простой романовский полушубок, в черную барашковую шапку, в простые валеные сапоги, головки которых были обшиты желтой кожей. Лицо у полковника было приятное, интеллигентное и, ежели судить по широкому носу и по толстым розовым губам, доброе и слабохарактерное. После некоторого молчания полковник снова отвернулся от партизан, еще раз прошелся, потом опять остановился, подозвал к себе поручика, что-то сказал ему и, отвернувшись от него, подошел к партизанам, остановился, глядя в упор.

— Так кто же начальник-то?

Ему никто не ответил, и Пылаев услыхал, что тишина стала глубже, полновесней и звучнее, так что было слышно, как у некоторых стучали челюсти, выбивали тихую дробь; но эта дробь казалась Пылаеву барабанным боем, била в его уши, тяжело колотила ему

в сердце. Пылаев чувствовал, что он не выдержит, что он вот-вот сейчас выступит и скажет: «Я вот такой-то», и полковник зажмурится от удовольствия, скажет задыхающимся голосом: «Взять и хранить, мерзавцы, пуще своего глаза!» И Пылаев подался вперед, сильно навалился на левую ногу и только что было хотел переступить, но стоявшие впереди партизаны прижались друг к другу, а маленький партизан, похожий на мальчика, поймал его за руку и больно ущипнул тыл ладони, так что Пылаев попятился назад, вздрогнул и остался на месте.

Полковник все так же добродушно, привычно:

— Молчите? Десять человек вперед!

Пылаев насторожился, закрыл пустые глаза; он услыхал, как заскрипел упруго под ногами снег; потом он ощутил, как затрещало его тело, как с невыносимо-мучительной болью оторвалось что-то от его тела, двинулось вперед... Он, Пылаев, открыл глаза: полковник стоял к партизанам боком и смотрел, как мимо него, чуть-чуть покачиваясь и налегая на левую ногу, проходили десять партизан и направлялись к группе казаков, которые стояли вдали и, вытянувшись из седел, ждали команды полковника. Партизаны шли гордо, с высоко поднятыми головами и в ногу, так что было видно, как между их ног играло кубиками ослепительно синее поле, как ровными выступами сверкали ноги, как будто одна нога с чуть-чуть выгнутым коленом и подавшимся немного вперед. Полковник командовал сразу на две стороны: партизанам и казакам; он хрипло, равнодушно, как будто давным-давно ко всему этому привык, покрикивал:

— Ногу! Рааз-два-а! Рраaз-ддваа! — и казакам:

— В шашки!

Пылаев видел, как казаки пришпорили лошадей, галопом рванулись на партизан; Пылаев видел, как под свист и кряканье и хруст костей, сорвалось с неба небольшое мутно-желтое солнце, покатилось вниз к Иртышу; Пылаев видел, как за этим солнцем побежало туловище одного партизана, свереща ярко-черной кровью из обрубка шеи... Пылаев безумно покачнулся вперед и, потрясая кулаком, выкрикнул:

— Палач!

Полковник, когда казаки изрубили десять партизан и по команде отошли на свое место, медленно повернулся к партизанам, подошел вплотную и, глядя на Рослова и Андрея, проговорил:

— Так я по вашему «палач»? А?

Ему опять никто не ответил. Полковник громко рассмеялся, потом схватился руками за живот и, подняв правую ногу и откинув ее назад, закружился на одной ноге и стал неестественно хохотать, а когда нахохотался и стал на обе ноги, обратился к партизанам, посмотрел на них блестящими, как будто прослезившимися от умиления глазами, потом после некоторого размышления все так же добродушно:

— По-вашему: полковник не кто иной, как палач? — и принялся снова хохотать, а когда перестал, вытянулся и исступленно заорал:

— На Иртыш! Раздеть, и всех до одного!.. Всех до одного!.. Я вам покажу! — И полковник круто повернулся, взмахнул рукой и бросился вперед.

До Иртыша, несмотря на то, что до него было ходьбы не больше двадцати минут, дорога Пылаеву показалась бесконечно долгой, трудной, в особенности те минуты на льду Иртыша, в которые они раздевались донага, покорно становились в очередь перед небольшой

прорубью, вырубленной только что сейчас солдатами. Уходя с поля, Пылаев видел, что на нем осталось не больше двухсот трупов, среди них несомненно были и казаки, а раз так, то больше семисот партизан привели на Иртыш, раздели, поставили огромной, почти на версту, цепью. Пылаев вздрогнул, ужаснулся и совсем позабыл, что он раздет, что ледяной мозглый ветер облизывает его огненным языком, он напружинился и стал искать глазами Рослова и Андрея; Рослов и Андрей были недалеко, но не видны ему: рядом с ним стояли худые изнеможденные партизаны, корчились от пронизывающего ветра, а некоторые рвались в прорубь, чтобы скорее броситься в свинцовые воды Иртыша, но казаки, охранявшие прорубь, наотмашь били нагайками по обнаженным телам, так что резко лопалась кожа и фонтаном брызгала кровь.

— Успеете! — ругались казаки. — Мы вас проводим под барабан. А пока погрейтесь. Попляшите.

Пылаев видел, что белых было не так много и неопровержимо был прав Рослов, что они попали нелепо и глупо в ловушку. Белых было удивительно мало: около сотни пехоты и около сотни казаков, а здесь на Иртыше и того меньше. Думая и размышляя так, Пылаев упорно не желал умирать, почему-то совершенно не верил, что он, Рослов и весь отряд должен подчиниться и погрузиться в холодные воды Иртыша, которые яростно темно-свинцовой тяжелой водой брызжут из проруби, выливаются на лед, впитываются в притоптанный по краям проруби снег, постепенно белея. Пылаев, конечно, повернулся назад, неожиданно уперся воспаленными глазами в безумные глаза Рослова:

— Ты тут, а я думал, что ты далеко?

Рослов ничего не ответил. Рослов хорошо понял мысль Пылаева, напружинился и улыбнулся.

— Я вам покажу... Смирно!.. Вы отучились стоять в строю. — Недалеко от Рослова и Пылаева кричал полковник на партизан за то, что они прыгали в очереди от нестерпимо режущего холода и ветра. Пылаев видел, как полковник подошел к одному партизану, ударил носком сапога в причинное место и яростно заревел:

— Я тебе, мерзавец, покажу, как святую Россию продавать! — И, отойдя от упавшего на лед солдата, которого поднимали два казака нагайками, обратился к партизанам:

— Вы знаете, за кого вы, скоты, деретесь? — Полковник что-то хотел еще сказать, но ничего не сказал, он окончательно опешил, так как Рослов неожиданно громко запел «Интернационал», и этот «Интернационал» в разных местах цепи подхватили партизаны, и этот «Интернационал» был могучим ответом полковнику на его вопрос: «за что они дерутся и за кого сражаются». Полковник настолько обалдел, а с ним и остальные офицеры, так что они самолично бросились избивать тех партизан, которые запели могучий гимн рабочего класса; за полковником, за офицерами бросились казаки и солдаты, перестав укладывать на подводы шинели, белье партизан и собранные винтовки; даже и те казаки, что были на лошадях и стояли недалеко, соскочили с лошадей, бросились избивать партизан, поющих под ударами нагаек, сабель и прикладов; даже и те солдаты, что стояли около пулеметов, бросили пулеметы и тоже стали избивать поющих партизан. Пылаев видел, как полковник бил пинками Рослова, а казак стегал с плеча нагайкой другого партизана так, что кожа партизана лопалась и его туловище

обливалось кровью и рдело мясными рубцами. Глядя на товарищей, Пылаев тоже запел, и его голос могуче влился в их голоса. За ним подхватили остальные:

Лишь мы землей владеть имеем право,
А паразиты никогда.

И вдруг все изменилось и песня как-то сразу оборвалась, и полковник замертво покатился под ноги Пылаеву, и сам Пылаев, стараясь вырвать из рук шашку, смертельно сдавливал горло казака и, пока он возился с казаком, его товарищи то же самое делали с другими казаками и солдатами, напав на каждого по несколько человек, а некоторые, управившись с охраной, раздетые и красные и не ощущая холода, а как будто бы чувствуя, что над Иртышом светит на них не зимнее солнце, а настоящее тропическое, увязая до колен в снег, бросились к шинелям, к пулеметам, к казацким лошадям, так покорно стоявшим на льду. Пылаев, разрубая голову казака, бросился на помощь Рослову, который никак не мог справиться с поручиком, насевшим на него. Пылаев подскочил как-то странно, петушком, и сбоку, размахивая шашкой, прыгал над двумя людьми, катающимися по льду у самой проруби, и не знал, с какой стороны рубануть поручика, чтобы не поранить Рослова.

Пока Пылаев прыгал и соображал, как надо рубануть поручика, Рослов уже хрипел, и ежели бы не подоспел Андрей и не ударил бы поручика прикладом, Рослов возможно больше бы не поднялся, не увидал бы своего отряда, своих товарищей и друзей, понимавших его с каждого слова, взгляда и намека. С раздробленной головой поручик навалился на Рослова и разжал на горле свои пальцы. Андрей схватил его за плечо, перевернул навзничь, а когда он перестал дергаться, бросил его

в прорубь. Иртыш, принимая поручика, как-то странно хлюпнул, сердито выбросил тяжелые темно-серые брызги и обдал ими Пылаева, все еще лежащего Рослова и Андрея. Пылаев вздрогнул от ледяной и тяжелой воды, бросился к Рослову, но Рослов уже был на ногах и разглаживал сдавленную, но теперь уже освобожденную шею. Андрей уже был около подвод, радостно командовал, чтобы немедленно одевались и вооружались, но его команда была лишней, так как партизаны были все одеты, вооружены и только одни тяжело раненые валялись закоченевшими на льду и им не нужно было одеваться. Видя это, Андрей выругался матом, схватил несколько валявшихся шинелей и, сверкая голыми розовыми пятками и широкими костлявыми плечами, бросился снова к Рослову и Пылаеву, которые уже бежали к нему навстречу. За Андреем бежало еще двое солдат с сапогами и бельем. Между подводами, прорубью и трупами они остановились и стали одеваться: одни накидывали на плечи шинели, пока Рослов, Пылаев и Андрей надевали кальсоны, другие бросали под ноги шинели, чтобы не стоять на снегу, и не простудиться, третьи подавали гимнастерки и брюки, четвертые подавали сапоги и папахи, пятые громко смеялись, острили.

— Ты, товарищ Рослов, себе представить не можешь, как они обалдели, когда мы их взяли за машинки. Они такого сюрприза не ожидали от нас... вот дураки-то!..

— Ежели бы они ожидали, — сияя мятежными глазами и надевая на голову Пылаева казацкую папаху, проговорил коренастый партизан, одетый в офицерскую бекешу,—они бы нам всыпали звону.—А когда надел папаху на Пылаева, радостно вскрикнул:—Замечательно, товарищ Пылаев! Ты сейчас настоящий казак-хлебороб.

Пылаев, запахивая полы блестящей английской шинели, улыбнулся.

— Да и борода подходит...

— Полковник! Полковник! — прокричали несколько партизан сразу и шарахнулись в сторону.

— Дьявол! — вскрикнул, как ужаленный, Рослов и бросился вдогонку за удиравшим к лесу полковником. За ним побежало еще несколько партизан; Андрей тоже вскочил на лошадь и галопом поскакал за полковником. Оставшийся Пылаев при помощи ротных проверял с партизанами подводы, нагруженные патронами, раздевал трупы казаков и солдат, грузил имущество и оружие на подводы, приводил в боевой порядок отряд, хотя отряд и без того был в полном боевом порядке и каждый партизан отлично знал, в какой он стоял роте и кто был его командир, и с кем он рядом стоял до этого, но все же Пылаев проверил и выстроил отряд в боевое положение. После этого он приказал командирам несколько раз прогнать партизан бегом по Иртышу, чтобы поразмяться и отогреться. Пока он делал распоряжение, пока командиры отводили в сторону свои роты и маршировали до такого-то места и обратно, Рослов и Андрей поймали полковника и привели его к проруби. Полковник, окруженный партизанами, сидел прямо на снегу. У него была сильно рассечена верхняя губа, отчего подбородок был залит кровью и она капала тугими быстростынущими каплями из черной красивой бороды. Полковник хмуро смотрел блестящими глазами себе на ноги.

— Теперь скажите, полковник, за что вы кровь проливаете? Неужели за святую Русь? — глядя на склоненную голову полковника, спросил Рослов.

Полковник не пошевельнулся; он все так же смотрел себе на ноги.

— Скажите, полковник, сколько вам платят капиталисты Англии за лакейство? Я думаю, что вы боретесь чужими боками за свои дворянские гнезда? Верно ли, полковник, я говорю?

Полковник и на этот раз ничего не ответил.

— Вы что же молчите, — сказал спокойно Рослов и прислушался: недалеко на льду Иртыша грелись партизаны. Было отчетливо слышно их легкое дыхание, легкие удары ног, скрип снега, воздушное потрескивание льда, потом, за потрескиванием, звонкое эхо за рекой. Глядя на Рослова, Пылаев знал, что тихий голос Рослова ничего хорошего не предвещал: у Рослова перед жестокостью всегда бывает тихий и ласковый голос, и в этом Пылаев не ошибся, так как не прошло и одной минуты, как Рослов свирепо, пронзительно, с каким-то визгом в голосе, промычал:

— Вы что же, не хотите отвечать? Раздеть!

Партизаны и Андрей бросились к полковнику и стали его раздевать; Рослов повернулся к полковнику и к Пылаеву спиной и, таким же свирепым и визгливым голосом, не терпящим возражения:

— Донага, донага! — мычал он. — Пусть лакей Англии потанцует, как мы танцовали. Ха-ха! Ну, танцуйте, танцуйте! — И Рослов стал наигрывать вальс. — Вы что же, полковник, не танцуете? Музыка не подходяща? Вы под варварскую музыку не танцуете? Ха-ха! Лучше... Другой музыки у нас нет. Танцуйте же, сволочь!..

— Товарищ Рослов, — крикнул Андрей, — в селе находится небольшой отряд белых и одно орудие.

Полковник вскинул голову.

— Стреляйте, хамье, скорее, а то повесим вас!

Рослов притих, повернулся к Андрею.

— Много?

— Человек тридцать, — ответил Андрей и добавил: — вы кончайте тут, а я к вашему приезду покончу там.

— Жестокости не надо, — крикнул неожиданно Рослов, — солдат обезоружить и отпустить на все четыре стороны.

Когда подошли партизаны и, радостно дыша, сиреневыми квадратами выстроились на льду, солнце было еще низко и до обеда было очень далеко, но Пылаеву показалось, что прошло не три каких-нибудь часа — многие годы, целая вечность, и он, Пылаев, ощутил огромную усталость в теле и ему до боли захотелось спать, так что он подошел к Рослову и сказал ему:

— Матвей, надо кончать.

Рослов взглянул на Пылаева, потом, широко зевнув, отвернулся: ему тоже хотелось спать.

— Хорошо, — и он обратился к партизанам. — Товарищи! — Рослов вытянулся во весь свой богатырский рост, и Пылаев видел, как его мускулы налились, запрыгали под шинелью. — Товарищи, — повторил Рослов и усталыми глазами показал на прорубь, — эта ледяная могила была приготовлена для нас, хамов... теперь бросьте в нее полковника... перед его смертью скажите ему, за что мы деремся, как мы любим свою родину.

Сказав это, Рослов отвернулся и почти бегом бросился к лошадям. Пылаев было тронулся за ним, но тут же остановился и пошел вперед к проруби, возле которой четверо дюжих партизан подняли за руки и за ноги полковника и, раскачивая его в воздухе над прорубью, грянули «Интернационал», и этот «Интернационал» подхватили сотни партизан и он полился широкой волной под низким зимним небом, под небольшим желтым солнцем, над суровым Иртышем, над темно-зияющей

прорубью, из которой, пенясь свинцовой пеной, выливалась вода и слизывала снег, обагренный кровью. Пылаев остановился в нескольких шагах и тоже запел, — он не мог не запеть, так как над Иртышем все пело вместе с партизанами: и небо, и солнце, и далекий, потрясающе холодный и промозглый горизонт севера, и мирное село, в которое только что помчался с отрядом Андрей, и бело-зеленый, похожий на зубчатый хребет гор девственный лес, и далекое эхо, которое гремело в лесах, перекидываясь из одного края в другой:

«И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей, —

Так гремел отряд партизан, мощно и величаво раскачиваясь телами; с ним вместе и вся природа, а с природой и он, Пылаев:

Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей».

А когда гимн, в котором было все сказано, за что борются рабочие и крестьяне, был пропет, кто-то громко крикнул:

— Всего хорошего!

И Пылаев видел, как в воздухе мелькнуло белое рыхлое тело, грузно ударившись в бурливую темно-серую тугую поверхность воды, перевернулось несколько раз кругом в проруби и, сверкнув розовыми, покрытыми черным волосом ногами и круглыми ягодицами, со свистом полезло под лед и скрылось.

Потом собрали в одну кучу трупы казаков, солдат и партизан.

— А этих?

— Положить на подводы...

А когда управились и из села приехал от Андрея партизан и сообщил, что в селе все благополучно и крестьяне ждут, Пылаев опять, но гораздо острее, чем раньше, почувствовал жажду к жизни, запах душистого черного хлеба и огромную жажду в желудке к этому хлебу.

* * * *ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ* * * *

Хлестаков по крайней мере врал-врал у городничего, но все же капельку боялся, что вот его возьмут да и вытолкнут из гостиной. Современные Хлестаковы ничего не боятся и врут с полным спокойствием.

Ф. М. Достоевский

ГЛАВА ПЕРВАЯ

* * *

Дорогие читатели, включив в «Сочинение о народном комиссаре и о нашем времени» записки или, как принято говорить, мемуары, написанные лично моим героем, в которых ни одного слова не сказано о нем, я все же глубоко убежден и на основании этого повторяю, что мой герой, народный комиссар, имеется в личных записках моего героя,— так по крайней мере я чувствую.

Я должен сказать следующее: правда, что имя моего героя нигде в записках не упоминается, но я вижу его, все время ощущаю его на каждой странице записок; и поэтому я вполне могу в этой главе еще раз высказать свое твердое убеждение, что мой герой несомненно жил и работал вместе с доктором Звягинцевым, с Пылаевым, с Игнатовым, с Лидией Васильевной, с партизаном Рословым; что мой герой вместе с Филиппом Лодырем, со всеми мужиками села Соломатова шел за княжеской землей, за волей в пятом году, вместе с ними громил княжеское имение, дрался с драгунами и полицией; что мой герой вместе с рабочими бывал на массовках, вместе с Земляковой говорил речь на Мамонтовской фабрике, вместе с рабочими был на манифестации; что мой герой вместе с рабочими дрался на баррикадах Пресни; что мой герой вместе с рабочими переносил пытки в царских застенках, не один раз восходил на эшафот; что моего героя, закованного в кандалы, вместе с рабочими не один раз гоняли по этапу в далекую Сибирь; что моего героя вместе

с рабочими бросали в каторжные рудники... что мой герой вместе с рабочими и крестьянами проделал победоносную гражданскую войну, а сейчас вместе с ними работает на фронте социалистического строительства...

Одним словом, мой герой является неотделимой частицей от рабочего класса и от всего трудового крестьянства, так что для меня, автора, трудно сказать, где начинается и кончается мой герой, еще труднее выделить его из этой многомиллионной массы, из которой вышел и он, а раз это так, то я и оставляю его в этой массе — в массе рабочего класса и крестьянства, не хочу заниматься измышлениями, главное, искать в записках автопортрета народного комиссара и утверждать, что Пылаев не кто иной, как сам автор записок, что Пылаев необыкновенно похож на моего героя, что доктор Звягинцев имеет такие-то общие черты с моим героем, что партизан Рослов некоторыми чертами напоминает моего героя и т. д., и т. д.

Вот с таким твердым убеждением, что мой герой (которого в сущности нет в моем романе) неотделим от всей массы трудового народа, что комиссары с неба не сваливаются, искусственно не делаются, а выдвигаются самим народом, творят волю своего народа, который выдвинул их на такую почетную и трудную работу, и лица своего не имеют, — имеют лицо класса, по воле которого выполняют и творят, — вот это самое можно сказать и о моем герое, который творил волю своего класса, который имел глубочайшие корни в черноземе непостижимо огромной страны, какой является наша славная, солнечная родина...

Утомленный неоднократным чтением записок моего героя и бесконечно долгими размышлениями по поводу этих записок, я никак не мог освободиться от нахлы-

нувших на меня мыслей... Я заснул только на рассвете, когда город уже стал пробуждаться и его тихий пробуждающийся рокот зазвучал далеким прибоем моря, робко стал доноситься до моего слуха, все больше разрастаясь и приближаясь. Я, чтобы не слышать этот приближающийся и все больше разрастающийся гул молодого идущего дня, накрылся одеялом, крепко заснул и проспал до четырех часов дня.

СОН * * *

У ворот лежало солнце, на нем отплясывал русскую не то козел, не то лохматый пес, похожий на овчарку, не то маленький чортик, комолый. Народу собралось посмотреть на эту пляску великое множество. Я тоже выглянул из-за немного приоткрытой двери, взглянул: народ был вовсе не народ, солнце было вовсе не солнце. У ворот лежал зеленый луг, с синими и белыми цветами: ромашкой и колокольчиками, козел был — не козел, чорт был — не чортик, а какой-то пень с железным тонким хвостиком, хвостик этот шевелился по траве, ломая цветы; я не смотрел из-за двери, я, оказывается, сидел на этом пне, считал свои пальцы, которых, сколько бы я ни считал, было на руках одиннадцать, так что я испугался и хотел бежать. Я только было сорвался с пня и пожелал броситься вперед, как со мной заговорил пень.

— Братенок, — сказал жалобно он из-под моих раскаряченных ног, — посиди немного на мне и ты увидишь любопытное зрелище.

Я взглянул на пень: пня не было, и на меня, прижимаясь острым затылком к моему паху и приподняв кверху острую мордочку, смотрела выпуклыми глазками лиса, обливая фосфорическим светом.

— Как ты сюда попал? — удивился я.

Она хихикнула человеческим смехом мне в лицо, показала язычок:

— Я очень крепко люблю тебя... я не пень, я и не лиса, а развеселая барышня из-под города Ефремова... Я покажу тебе сейчас любопытное зрелище... — и действительно, не прошло и минуты, как народ, что был, впрочем, не похож на народ, но все же народ, превратился в деревья. Деревья зашумели сучьями, листвой. Деревья застонали, закачались из стороны в сторону, потом присели на карачки, стали раскачиваться, тужиться, вытаскивать свои корни из земли. Деревья, вытащив корни и упираясь на них и шевеля ими по земле, как туловищами змей, пустились вокруг меня отплясывать русскую. Вдруг от пляса у меня под ногами с гулом треснула земля, ухнула в туманную пропасть, выбрасывая оттуда дым, огонь и всякий мусор, а я неведомо как очутился под высокой бронзовой горой, что стояла вертикально и над которой вился большой и тоже бронзовый орел и сверху разговаривал со мною. Я трудно поднялся на гору и передо мной развернулась широкая равнина, покрытая кашкой — белой и красной. На этой равнине сидели два древних белых старика и громко спорили. Один кричал другому.

— Белой больше.

Первый кричал второму:

— Красной больше.

Второй кричал:

— Война будет.

Первый кричал:

— Красной больше.

Я подошел к ним, повалился на кашку, спросил:

— Скажите, почтенные, в чем дело?

Мне никто не ответил: вокруг меня никого не было,— было красное, как кумач, небо и пахло оно мануфактурной лавкой, сухим купоросом. От такого запаха у меня кружилась голова, зудели пятки. Я сладко закрыл глаза, почувствовал: подо мной закружилась земля, потом оторвалась, потом стала отделяться от меня все дальше и дальше, а я остался висеть в воздухе и стал медленно повертываться. Потом что-то треснуло во мне, мучительно защекотало в носу, так что я схватился за кончик носа и дико вскрикнул: на кончике носа сидел огромный, не меньше хорошего борова, с золотистым брюхом шмель, щекотал быстро вращающимися крыльями ноздри моего носа. Услыхав мой испуганный крик, шмель добродушно ответил:

— Не пугайся. Это я, ветерок. Я тебя, чтоб ты не упал, поддерживаю крыльями.

И верно: это был ветерок, он ласково и нежно помахивал надо мной прозрачными зелеными крыльями, обдавал сладостной прохладой, шевеля волосы на моей голове, усы и бороду. Я закрыл глаза, прислушался: подо мной музыкально гудело, и мое тело скользило по упругим волнам, покачиваясь. Вдруг я ударился ногами обо что-то твердое, открыл глаза: я стоял на зеленой земле, кругом стояла необычайная тишина, над головой прозрачное небо, с редкими, неподвижно стоявшими, как будто уснувшими навечно белыми облаками, с большим желто-красным солнцем, которое торжественно гнало на землю свое горячее тепло. Это тепло синими каплями сочилось сквозь листву деревьев и зелено-фиолетовыми струйками скользило на меня. Я стоял под огромным деревом, вершина которого была гигантской, темной как ночь. Недалеко от дерева поднималась высокая каменная ограда с широко открытыми

воротами. Я вышел из-под дерева, направился в ворота, но тут же на пороге остановился, обомлел от восторга: на меня смотрело холмистое небо, гремело, как шелк, своим движением; посреди него, вертясь и рассыпая золотисто-малиновую пыль, смеялось солнце, показывало острый зеленый язычок, делало толстые губы совочком, вытягивало их вперед и тянулось целоваться; облака, стоявшие по бокам солнца, быстро превратились в девушек; они, то-и-дело откидывая прозрачные ткани, из-под которых просвечивали точеные формы, закружились в изумительно-прекрасном танце... Впереди, это перед моими глазами, раскинулся сад, приковал меня к порогу. Сад был необычен, а главное, я никогда в своей жизни не видал такого сада: молодые деревья не больше человеческого роста были хороши, гордо тянулись к высокому небу, к солнцу, — оно больше не лезло целоваться, было далеко от меня, к облакам, — они тоже уже не были девушками, — были обыкновенными облаками... Молодые деревья не имели листвы, они были покрыты темно-красными лепестками цветов, так что, глядя на эти бутоны цветов, сад казался не садом, — сплошным красным морем. Глядя на этот сад, я ахнул и, свернув ноги калачиком, повалился на землю.

— Добрый день, — раздался за моей спиной голос. Я вздрогнул, повернулся и взглянул на человека, но человека не было, — я был один в саду и надо мной вертелось красное гигантское колесо.

— Добрый день, — раздался вторично голос.

Я опять повернулся и еще больше вздрогнул: из красного моря на меня смотрело открытыми глазами продолговатое бледное лицо, окаймленное небольшой темно-русой бородкой.

— Добрый день, — ответил я и хотел было подняться, но не поднялся, так как ноги не послушались меня, остались все так же лежать калачиком на земле, как они лежали до появления лица. Лицо улыбнулось и крупными блестящими зрачками взглянуло на меня.

— Устали?

Я кивнул головой.

— На гору всходили?

С головы моей, как стальная пружина, звонко слетела тонкая змея, шипящей стрелой вонзилась в траву.

— Ах, гадина, — вскрикнуло спокойно лицо и бросилось за ней, но змея пропала и лицо обратилось ко мне.

— Ужалить хотела.

— А может быть, она грелась на моей голове,—ответил я. — Она, наверное, взобралась ко мне на голову, когда я на гору влезал?

— Да, гора очень крутая; мне на нее тоже не один раз приходилось взбираться, — ответило лицо и, взглянув мне в глаза, пояснило:—Еще ужасно шмелей много и все они особенные.

— Я шмеля больше борова видел, — вставил я, — а с лошадь не видал; он меня чуть не ужалил в нос.

— Это бывает, — ответило лицо и отвернулось от меня и стало медленно уходить в красное море сада, чернея сиреневым затылком.

Вдруг мне сделалось жутко: из травы взглянули на меня острые змеиные глаза... Я быстро вскочил, перевернулся несколько раз, вскрикнул и бросился бежать.

— Зачем вы сели на траву? — раздался недалеко от меня мягкий голос.

Я продолжал бежать.

— Как можно осторожнее, — предупредил меня тот же голос. — Не топчите траву, а еще бойтесь гадов!

Я остановился: из темно-красного цвета крупными открытыми глазами смотрело на меня лицо и улыбалось. Вдруг опять из-под моих ног рванулась змея и, раскачивая стебли трав и сверкая сизой сталью спины, стрелой прошипела под корень дерева. Лицо теплей улыбнулось, показало глазами мне под ноги:

— Она могла вас ужалить!

— Я не знал, что в этом саду так много змей.

— Очень много. Я всю жизнь охочусь за гадами и никак не могу их вывести, — проговорило лицо и пояснило: — Теперь их стало гораздо меньше, но зато остались самые ядовитые. — И лицо отошло от меня, подпрыгнуло и направилось в сторону.

Не желая потерять его, я побежал за ним, даже немного перегнал его, забежал вперед, заглянул ему в глаза и громко, чтобы оно слышало, крикнул:

— Я не хочу вас больше потерять!

Лицо не ответило: оно было недалеко от земли, работало. Я еще громче крикнул:

— А вы кто будете?

Вдруг все изменилось: вместо лица передо мной стоял среднего роста человек... Я стал рассматривать его.

— Я — садовник, — поймав мой взгляд на себе, ответил человек и опять стал работать. И действительно, человек этот был садовником, так как на нем был фартук с нагрудником, в руках были ножницы...

— Можно вам помочь? — спросил я.

— Нет, не надо, это дело садовника, а не простого смертного. — И он замолчал и только было слышно, как под его руками шумела сорная трава и с сочным хрустом падала ему под ноги, а он все работал и работал.

— Так вы садовником будете? — повторил я.

— Да. А разве вы не знаете? — улыбнулся он и еще раз пояснил: — Я несколько лет работаю, несколько лет ухаживаю за этим садом и никак не могу вырезать сорную траву и ядовитых гадов. — Тут я высоко подпрыгнул, а он громко вскрикнул, быстро бросился в сторону под корень одного дерева и звучно лязгнул ножницами. Я шагнул тоже за ним, но не успел я добежать до него, как он повернулся ко мне и протянул огромные ножницы, в лезвиях которых, застряв головой, судорожно билась большая желто-серого цвета змея, обвивая жирным блестящим туловищем ножницы и руки садовника до локтя.

— Попалась, — проговорил он, встряхнув ножницами: туловище змеи упало с ножниц и с руки его, тяжело повисло в воздухе, касаясь тупым хвостом земли. При виде этого гада я в ужасе вскрикнул и отскочил назад.

— Ничего, ничего, — успокоил меня садовник, — она сейчас не опасна, я ей отрежу голову, — и он мягко лязгнул ножницами и туловище змеи грузно шлепнулось на землю, запрыгало спиралью по земле, а голова билась на лезвиях ножниц, щелкая зубами. Садовник нежно взял меня за руку.

— Идемте за мной. Я вам покажу нечто особенное.

Я дрожал всем телом, высоко подпрыгивал. Я покорно повиновался. Он подвел меня к глубокой яме и показал. Я взглянул в яму, в трепете отпрянул назад и затрепетал, как лист на ветру: там, в глубокой яме, был клубок змей, от них несло ледяным холодом и псиной.

— Они не страшны, это только туловища, а их головы в другой яме. — И он показал мне другую яму...

И вдруг в животе моем что-то завозилось, я робко взглянул туда: в распоротом животе не было внутренностей, на костях таза, обвив почки и свернувшись

в клубок, лежали змеи и мирно спали. При виде змей у меня подломились ноги, в небе вместо солнца, облаков завертелась серая саранча, а когда садовник запустил ножницы в мой живот, я сорвался в яму и повис в воздухе, держась за скользкий ледяной хвост змеи...

— Падай! Падай! — кричал садовник и бросился ко мне. Я слышал, что-то треснуло, и я и садовник полетели в какой-то мрачный свистящий туннель... полетели...

— Вот и ничего, — сказал мягко садовник и взглянул на меня. — Летим... Летим...

Я вздрогнул, открыл глаза: в неустрашимо-прекрасном лице садовника я узнал моего героя. Волосы прилипли ко лбу. Тело было мокро от пота. Я робко провел ладонью по животу, — живот был холодный и как будто чужой. Я быстро поднялся и стал одеваться, а когда оделся и открыл штору окна, день был в полном разгаре, и Москва величественно бурлила.

НЕЛЕПОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ * * *

Ровно через двадцать минут я сидел на окне, смотрел на улицу, что была внизу, была забита народом, автомобилями, извозчиками, трамваями и автобусами. Народ, трамваи, автобусы и извозчики, словно кружась в хороводе, двигались чудовищной вереницей назад и вперед, вперед и назад, и этому движению не предвиделось конца. Я перевел глаза на аспидные тротуары, отливающие лаком; по ним медленно катилась толпа, колебля перья дамских шляп, цвета кепок, котелков и модных фуражек. Сейчас толпа была не та, что бывает по утрам и в четыре часа каждого дня, — другая, более свободная, неторопливая, в особенности отличались

женщины: они не торопились, были спокойны, не шли, — божественно плыли, рассматривая себя в зеркалах модных магазинов; одеты они были более изящно, чем те женщины, которые проходят по утрам и в четыре часа дня; одеты они были богато — в шелка, в меха, в лак, в золото и в камни. Глядя на этих женщин, я вспомнил непризнанного русского молодого философа (имя его я пока не об'являю); он отдал около десятка лет на математические вычисления жизни таких праздношатающихся красавиц. По его вычислениям жизнь одной бездельницы или одного бездельника стоит государству, рабочему классу, ежели взять предельный срок жизни ее или его 60 лет и прибавить: и шелка, и меха, и золото, и камни, — то обойдется бездельница или бездельник в 216—220 тысяч рублей, а пользы государству, рабочему классу, который на нее или на него работает, не покладая рук всю свою жизнь, получится за 60 лет ненужной жизни (от экскрементов, которые он или она выбрасывает на московские огороды) в сумме 240 рублей. А сколько таких красавиц-бездельниц? А сколько таких бездельников, которые ничего не делают, а только спят, жрут, гуляют?.. Впрочем, бездельники никогда в этом не сознаются, ибо они глубоко уверены, что они тоже «пашут» на пользу революции, культуры...

Я сидел на окне, наблюдал за трутнями: им не было конца и все они шествовали на четвереньках, как стадо четвероногих. Сколько надо труда, каким надо голосом крикнуть, чтобы это жирное стадо подняло свои пятаки, встало на задние лапки, вспомнило, что над землей трудится солнце, на земле есть великая идея — труд, а главное, чтобы поняли смысл своей жизни и пользу для общества. Нет, они этого не поймут. Кричи им

в изящные розовые уши орудийным гулом, все равно ничего не поймут. Бей их по головам, по их нежным черепам стопудовым молотом, все равно ничего не поймут, — будут все так же ползать на четвереньках... Глядя на эту толпу, я вспомнил свой страшный сон и тяжелое раздумье сковало мой ум и все мое тело. Я почувствовал, что с каждым днем все больше и больше становится бездельников, которые все больше и больше наседают на хребет рабочего класса, так что еще более огромные усилия садовника вряд ли сумеют перевоспитать эту сорную, ненужную дерябку...

В дверь громко постучали.

Я нервно отбежал от окна.

— Войдите.

Дверь тихо открылась, показалась белесая голова.

— В чем дело?

Он плеснул по комнате жидкими синими глазами, улыбнулся, тоже жидкой и синей улыбкой (на улице и в комнате было пасмурно), и проговорил:

— Самовар готов, прикажете?

— Тащите. — А когда подали самовар, горячий калач и еще что-то, я подошел к столу, опустился в глубокое кресло и откинулся назад.

В комнате было серо; на столе жили часы, четко отбрасывая секунды.

ГЛАВА ВТОРАЯ * * *

Обедал народный комиссар ежедневно в шесть часов вечера и всегда в Кремлевской столовой.

Ездил он в столовую прямо из комиссариата, проходил в столовую, садился за длинный стол и проводил за обедом ровно полчаса, потом ехал к себе на квартиру,

а иногда, когда он ощущал в теле усталость, просил плотного белокурого шофера прокатить его до заставы и обратно.

Шофер выезжал из Спасских ворот, плавно поворачивал машину и, пересекая Красную площадь, ровным ходом пускал ее по Тверской и мчал его до назначенного места, потом таким же ходом гнал обратно до квартиры.

Такая прогулка тоже была ровно полчаса, но не больше, так как у него все время было строго-настрого рассчитано, и каждая пропущенная минута была на учете. Во время такой прогулки и быстрого хода машины бледное, изнеможденное восемнадцатичасовой работой лицо народного комиссара становилось свежее, вспыхивало жидким румянцем, а глаза, зрачки которых расширялись и становились крупными, радостно сияли и казались молодыми. Ровно в семь часов вечера он в кругу своей семьи — жены и двух дочерей, сидел за самоваром, пил крепкий чай, шутил, смеялся, потом, — это после чая, — около полчаса тут же в столовой играл с пятилетней дочерью. Он садился на пол, представлял из себя «медведя-мишку», ползал по полу, а пятилетняя черноволосая, голубоглазая девочка, размахивая розовыми пухлыми ручонками, радостно бегала вокруг него, звонко заливалась смехом, потом садилась верхом на «медведя» и восторженно каталась на его неуклюжей костлявой спине, сияя блестящими глазами и зеленым, лихо завязанным на макушке бантом. А когда играть в «медведя» надоедало, он играл с нею в жмурки, в поезд, в лошадку, в страшного волка и в рыкающего льва с огромной лохматой гривой. От их игры в столовой такой стоял шум, и смех, и гром, что было хорошо слышно в других комнатах, и жена его выходила из

своей комнаты, садилась на диван и вместе со старшей дочерью громко шутили, глядя на ползающего по полу «медведя» и на гордо сидящую на его спине дочь, которая взвизгивала, хлопала в ладоши и заливчиво смеялась.

В восемь часов кончалась игра, и мать с большим трудом отрывала девочку от отца, выводила ее из столовой, укладывала спать; отец, поправляя на себе костюм, выбившийся галстук, сбившиеся волосы, уезжал на заседание Совета Народных Комиссаров, а ежели был день, в который не было заседания Совнаркома, он уходил в свой кабинет, садился за огромный коричневый письменный стол и, согнувшись низко над бумагами, так, что была хорошо видна его небольшая блестящая лысина, работал до поздней ночи, потом вставал, выправлял спину, бесшумными шагами проходил в детскую комнату, осторожно целовал дочерей, потом так же бесшумно выходил обратно и направлялся к себе, ложился на кровать и быстро засыпал.

По утрам, несмотря на страшную усталость в теле, он вставал всегда в определенное время; он наскоро одевался, наскоро садился за стол, выпивал стакан крепкого кофе или крепкого чаю, наскоро с'едал пару яиц, калач с маслом, потом выбегал из-за стола, бегом бежал по лестнице, быстро садился в машину и к девяти часам утра всегда бывал в комиссариате и как вол работал в нем до двенадцати — до приемных часов. К двенадцати часам дня приемная комната набивалась посетителями, составлялся секретарем большой список записавшихся на прием, потом начинался прием по этому списку и продолжался он до самого конца работы в комиссариате.

Так — ежедневно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ * * *

В огромной приемной, обитой темно-синими обоями, заставленной черными диванами с высокими спинками, дубовыми стульями, было очень много народа, ожидающего приема. Тут, в приемной, были представители разных учреждений Москвы и Союза. Одни, что были дальше в очереди, привалившись к кожаным спинкам диванов, держали перед собой откинутые руки и, заслонив себя развернутыми газетами, глубокомысленно читали; другие тихим говорком расспрашивали друг друга о работе, о производительности, о международном положении, о зарплате, которая задерживается не по вине председателей трестов, а по вине Москвы, которая тормозит посылку денежных знаков и этим создает очень тяжелое положение на местах.

По этому поводу — что «тормозит Москва» — три человека, приехавшие из разных городов Союза, вели тихий, но довольно горячий разговор. Эти люди были одеты в темно-синие костюмы, из грудных карманов которых торчали толстые «вечные» ручки, — эти ручки говорили о большой деловитости этих людей. Между этими людьми, отделяя их друг от друга, чтобы они не слились довольно рыхлыми мясами, не образовали одно огромное туловище с тремя круглыми головами и волнистыми подбородками, стояли ручками кверху туго набитые сияющие портфели. Эти портфели были весьма внушительны, грозны, а, главное, они говорили о персонах, которых они отделяли собой друг от друга.

Один из этой тройки, подавшись туловищем вперед и блестят мутными выпуклыми глазами, говорил, как на его заводе «взбунтовались» рабочие, потребовали отчета от него, а когда он не явился на собрание, они на

другой же день отправили делегацию в губком об отозвании его. Из губкома приехала комиссия и, не советуясь с ним, собрала рабочих и на митинге взяла сторону рабочих и этим подорвала его «авторитет», как директора завода. Рабочие на этом собрании говорили, что у нас на заводе не проводятся директивы нашей партии, что директор оторвался от масс и мы его не видим по несколько месяцев, а что касается производственных совещаний, то о них и говорить не приходится—в течение года не было ни одного производственного совещания. Выслушав сторону рабочих, комиссия губкома сделала ему выговор и постановила снять с работы, как оторвавшегося от рабочих масс и «обюрократившегося».

— Вот тут и поработай в такой обстановке, — сказал он громче и вытащил из кармана батистовый платок, медленно, с достоинством вытер красное лицо с маленьким пухлым носом и заплывшими карими глазками.

— Работать абсолютно невозможно, — проговорил с таким же крутым, круглым лицом другой человек и плотнее привалился к дивану.

— Эти производственные собрания — наказание, — согласился третий человек и, утопив окончательно в рыхлом мясе век сивые глазки, звонко открыл массивный серебряный портсигар с золотым вензелем, взял двумя пальцами папироску, снова щелкнул портсигаром и, спрятав его в карман, закурил.

— Эти совещания все дело срывают, — добавил первый и, громко икнув, так что грузно заколыхались крутые плечи, привалился к спинке дивана.

— Правильно, — согласился третий и, вытянув на короткой шее голову в сторону секретаря, прислушался.

Небольшого роста голубоглазый секретарь, улыбаясь, громко говорил из-за своего стола двум рабочим,

которые только что вошли в приемную и обратились к нему.

Рабочие были высокого роста, в теплых суконных пиджаках, в простых сапогах; на вид они казались молодцами — не старше тридцати пяти лет; костлявые лица их тщательно выбриты, отчего бледно-матовые щеки и подбородки выглядели свежо, приятно, а синие глаза радостно блестели; волосы на их головах подстрижены, причесаны; светло-русые усы подкручены под «гусара». Они стояли и спорили с секретарем; он доказывал им, что народный комиссар нынче принять их не может, так как у него большая очередь. Рабочие утверждали свое, что им обязательно нужно видеть «товарища комиссара нынче, так как у них дело срочное, неотложное и подождать оно ни под каким видом, конечно, не может». Секретарь вышел из-за стола, холодно проговорил:

— Я доложу. — И прошел в кабинет комиссара; через минуту он вышел обратно и подошел к рабочим, которые все так же стояли около стола и ждали.

Секретарь сказал:

— Примет, но только в конце; сейчас он, пока не примет записавшихся, не может принять...

— А мы без очереди и не лезем; мы можем обождать,—ответили рабочие и, отвернувшись от секретаря, прошли и сели на только что освободившиеся места.

На улице стояло ненастье — все время шел мелкий дождь с ветром. От такой погоды было пасмурно в приемной; также были пасмурны и серые стены, диваны, стулья, столы, портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, которые были друг против друга: Ленин против Маркса, Сталин против Энгельса, лица у ожидавших приема были тоже пасмурны, несмотря на большую

полноту и полнокровие; впрочем, среди ожидавших были люди разного калибра, разной тучности, разного веса, разного положения в нашем переходном обществе: тут в приемной сидели высокие, посредственные, короткие и очень маленькие; тут ожидали толстые и тощие; тут на диванах терпеливо ждали с острыми костлявыми плечами, с костлявыми и бледными лицами, с чахоточными грудями, с худыми хрипящими легкими; тут были в очереди и ожидали приема жирные, как будто совсем бескостные, с крутыми дополна налитыми кровью лицами, с заплывшими глазками, с довольно заметными животами и с необыкновенно упитанными задами, благодаря которым они были похожи на беременных женщин, в особенности были похожи, когда важно двигались по приемной, мягко ступая короткими ногами (впрочем, это только так казалось от их чрезмерной полноты, упитанности); тут были с короткими, до смешного короткими пальцами; тут были кареглазые, сероглазые, зеленоглазые, мутноглазые, голубоглазые; тут были с глазами совершенно неопределенного цвета; тут были курносые и почти совсем безносые и только с двумя темными дырками вместо носа; тут были необычно носатые, горбоносые и с посредственными носами; тут были губастые (губошлепые), тонкогубые и почти совсем безгубые; тут были прилично одетые, роскошно одетые, бедно одетые и, просто, плохо одетые; тут многие из ожидавших приема говорили басом, гнусаво, тенорком, хриповато, сипло; тут многие говорили тихо между собой, чтобы не мешать секретарю, не нарушать таинственной тишины приемной; но нужно отдать справедливость, многие кашляли, сморкались важно, и каждый, глядя по своему положению, с достоинством; одним словом, кашляли, сморкались солидно

для того, чтобы дать понять, почувствовать человеку, сидящему за тяжелой темно-коричневой дверью, что они ожидают, что они очень деловые и ответственные люди, что они просят не задерживать...

В приемной стало еще пасмурней. На улице, за окнами, что выходили во двор, в узкий серо-желтый переулок с мелкими и грязными домами, шел прямой и частый, вперемежку со снегом, осенний дождь. На голых деревьях, во дворе, кричали галки, их крик, как мелкое, мутное стекло, сыпался в открытую форточку приемной, неприятно резал уши. Секретарь лениво вышел из-за стола, взял длинную, как будто специально для этого сделанную линейку и закрыл ею форточку, потом, положив линейку на стол, прошелся по комнате, потом сел на свое место и погрузился в бумаги. За окнами все так же густо шел со снегом дождь; все так же кричали галки, так как форточка была не плотно прикрыта; все так же чавкали по тротуарам шаги прохожих, цокали копыта лошадей, гремели пролетки по мостовым; взволнованно дребезжа, жужжали тугонабитые трамваи; грузно дыша, от'езжали и под'езжали автомобили к под'езду, пролетали мимо.

Секретарь все так же сидел за столом, неподвижно смотрел на развернутые бумаги. В приемной было полно от ожидающих, было душно и пахло фиксатуаром, одеколоном и бакалейным магазином.

Вдруг раздался резкий звонок и вместе со звонком распахнулась в приемную дверь, обнажив собою внутренность соседней боковой комнаты, послышался приятный женский голос:

— Сейчас будет принимать, — голос скрылся, а дверь осталась открытой и вся внутренность соседней комнаты была хорошо видна из приемной.

В этой темно-синей (от обоев) комнате было человек десять женщин; они, вели себя свободно и весьма развязно: разговаривали между собой, громко смеялись, шипели и гремели бумагами; а одна с необычно высокой, похожей на корону и подвитой около ушей и на самой шее прической светло-лунных волос сидела боком на окне и, полуоткрыв ярко розовый рот и ковыряя длинным полированным ногтем мизинца между двумя золотыми зубами, смотрела темными глазами мимо оконного косяка на улицу и о чем-то мечтала; другая, пожилая женщина, с смуглым лицом, с седыми и жидкими волосами, свернутыми в коронку почти на самом лбу, ворчливо рылась в шкафу, перебирая синие папки с делами; остальные сидели за столами, перекидываясь словами между собой; секретарь вскинул голову, поднялся и вышел из-за стола, прошел в соседнюю комнату, поговорил с пожилой женщиной, рывшейся в шкафу, потом громко обратился к другой, не называя по имени:

— Список подали?

Молодая женщина, сидевшая на окне, кокетливо повернула красивую голову, мило улыбнулась, еще милее соскочила с подоконника, легко, почти воздушно, подлетела к серьезному и приятной наружности секретарю и, едва касаясь острыми лаковыми носками открытых туфель коричневого пола, блестящего как зеркало, проговорила:

— Уже. Еще есть?

— Да, — и секретарь, подавая ей добавочный список, проговорил: — вы все мечтаете?

Молодая женщина поджала ярко-розовые губки и широко открыла темные глаза:

— Что вы сказали?

Секретарь, несмотря на свою серьезность, ничего ей не ответил, даже не посмел на нее взглянуть, отвернулся

и пошел к своему столу. Молодая женщина, с очаровательно лунной прической, с такими спокойными, как будто сонливыми, дебелыми глазами, что можно было ахнуть, глядя в них, медленно и гордо пошла за секретарем, стараясь ему что-то сказать. Секретарь прошел за свой стол, опять погрузился в бумаги, не смея поднять глаза на стоявшую около него женщину; она чертовски была хороша.

Женщина, постояв около стола минуту, кокетливо повернулась к ожидающим и, глядя в список, проговорила нежным голосом:

— Товарищ Калоша, товарищ Сметана. Ваша очередь... — потом назвала еще несколько сладкозвучных фамилий и скрылась в соседнюю комнату, захлопнув за собою дверь. Ожидающие заволновались, стали кашлять, громко и внушительно чихать, словно под их носы подсыпали нюхательного табаку. Товарищи Калоша и Сметана грузно, но живо поднялись с кресел, схватили тяжелые, желтые, сияющие портфели, шарообразно покатились к двери кабинета, склонив немного на левый бок головы. За Калошей и Сметаной стали готовиться и другие.

За окнами приемной стало светлее: на дворе вместо дождя густо и почти прямо падал мокрый снег, первый снег.

Визгливо кричали галки, прижимаясь к грифельным сучьям обнаженных деревьев, одиноко стоявших посреди двора.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ * * *

В кабинете народного комиссара — тишина. В нем не было слышно того шума, что был в приемной; он выходил в какой-то тупик зданий. Тут, в кабинете, не было

слышно галочьего крика, движения улицы — автомобилей, трамваев, пролеток, прохожих. В огромном кабинете, заставленном массивной мебелью, была глубокая тишина, так как двери его были обиты войлоком и сукном; высокие, из цельного венского стекла окна наполовину были закрыты тяжелыми темно-голубыми занавесками, которые не пропускали шум и грохот улицы.

В кабинете всегда был необыкновенный порядок; в приемные часы в нем царило какое-то изумительное величие: черные кожаные диваны с оторочкой красного дерева и такого же цвета кресла стояли в порядке, мягко сверкали своей чистотой, ласково приглашали к себе; вертушка с срочными папками дел и бумагами была в порядке, стояла запертой у правого края стола и тоже блестела темно-коричневой краской; высокие стены кабинета, благодаря темно-серым обоям, величественно уходили к блистательно-белому потолку, украшенному художественной лепкой и большой электрической люстрой; на огромном темно-коричневом столе в приемные часы не было высоких стопок книг, толстых папок с делами, не лежали ворохами бумаги; в эти часы на столе было свободно и он тоже, как и стены, как и потолок, как и диваны, и кресла, сиял темно-красным деревом, тяжелым письменным прибором, над которым гордо высился и горел широко распростертыми крыльями бронзовый одноглавый орел, упираясь длинными когтистыми пальцами в тяжелый шар земли.

С простенка лицевой стены кабинета из небольшой черно-красной рамы, чуть-чуть улыбаясь прищуренными глазами, смотрел Ленин и своим лучистым взглядом и своей чудесной улыбкой наполнял кабинет лучезарным теплом, непоколебимой верой в настоящее, в будущее, ослепительно освещая его.

Так было в кабинете.

Оторвавшись от беспрерывной четырехчасовой утренней работы, народный комиссар сложил со стола бумаги и папки с делами в несгораемый шкаф, стоявший за его спиной, и запер его на ключ. Оставшуюся часть спешных бумаг, которые нужно было необходимо разобрать срочно, положил в портфель, чтобы нынче вечером и ночью прочесть, проработать и каждой бумаге и каждому делу дать направление и немедленное разрешение; потом, когда стол освободился от груза работы, он встал, сутуло вышел из-за письменного стола, прошелся несколько раз по кабинету, чтобы порасправить сутулость, поразмять уставшие от неподвижной сидячей работы части тела; а когда поразмялся, опять остановился, вынул из кармана серебряные часы, посмотрел на них, потом приложил к правому уху и, склонив немного на бок голову, прислушался: часы работали. Положив часы обратно в карман, он направился к столу и снова погрузился в свое порыжевшее кресло, потом нажал кнопку звонка и, обхватив ладонью затылок, облокотился левым локтем на стол и стал дожидаться прихода секретаря.

Секретарь не заставил себя долго ждать; он быстро и бесшумно вбежал в кабинет, остановился перед народным комиссаром и весь превратился в слух, в ожидании распоряжения. Народный комиссар, не меняя положения своего тела, головы, затылок которой был обхвачен ладонью, поднял на секретаря большие, с крупными зрачками, открытые глаза, ласковым, необыкновенно мягким и душевно-простым голосом проговорил:

— Список.

Секретарь подал список.

— Ого, — улыбнулся народный комиссар, — сорок человек.

Секретарь ближе подвинулся к столу, склонил туловище и, заглядывая в список, проговорил:

— Сорок два, товарищ комиссар...

Народный комиссар опять вскинул глаза на своего секретаря и на минуту задержался на его розовом и послушном лице.

— Нет, тут ровно сорок.

— Совершенно верно, — сказал секретарь, — я позабыл сюда вписать двух рабочих, о которых я вам докладывал.

— Теперь будет сорок два, — и он лично синим карандашом жирно вписал в список двух рабочих и, отодвигая немного в сторону от себя список, добавил:

— Ожидающим приема об'явили?

Секретарь выпрямился, отошел немного от стола и, глядя на народного комиссара, проговорил:

— Так точно; товарищ Розова об'явила.

Народный комиссар откинулся назад, привалился к креслу. Лицо у него было нынче особенно желтое, с большими опухолями под глазами, с мелкими старческими морщинами возле мочек глаз, под опухолью нижних век, в особенности их было много на висках; на лбу и на выпуклых костлявых скулах, обтянутых прозрачной желтоватой кожей, плохо выбритой, тоже было много старческих морщин. Благодаря чрезмерной худобе лица, утомленности и желтизне, его правильный, небольшой нос как-то странно обрезался и стал с острой горбинкой и казался большим; на его тонких прозрачных ноздрях едва заметно синели частые жилки. Глядя на изнеможденное лицо народного комиссара, ежели бы не темно-русая бородка, не

темно-русые волосы с редкими волокнами серебра на висках, около ушей, и ежели бы не жадные к жизни горячие глаза, его вполне можно было бы принять за дряхлого старика. В таком положении народный комиссар пробыл не больше одной минуты; он машинально подался вперед, улыбнулся секретарю:

— За эту неделю я ужасно устал.

— Разрешите оставить в списке только приехавших по срочному делу.... я уже сделал другой список, согласно опроса... — предложил было секретарь и протянул ему список.

Отстраняя список, народный комиссар проговорил:

— Нет, нет, я всех приму; нельзя, милый мой, отбрыкиваться от работы...

— В списке много таких, которых дела давно решены и находятся в РКИ, а они все лезут сюда...

— Давай, — сказал он определенно и выпрямился, глядя горячими глазами на дверь, в которую скрылся секретарь и в которую следом же за секретарем показался с желтым портфелем шарообразный человек и, раскланиваясь направо, налево и мягко скрипя подошвами, бесшумно подкатился к столу и, синея новеньким френчем, как весеннее грозовое облачко в голубом и высоком небе, остановился.

— Садитесь, — сверля любопытными глазами вошедшего, проговорил народный комиссар.

Человек любезно и заискивающе нагибая с шарообразной головой все свое потерявшее форму человека туловище, так что толстый портфель коснулся дном пола, изысканно поклонился комиссару, дивану, огромному столу и тонким заискивающим голоском проговорил:

— Позвольте представиться: председатель губернского...

— Садитесь.

Человек опять всем своим туловищем несколько раз поклонился комиссару и всей обстановке, подал через стол короткую толстую руку:

— Иван Иванович Калоша.

— Я вас слушаю; прошу покороче: в вашем распоряжении пять минут, — и народный комиссар положил перед собой часы, облокотился на правый локоть и, подперев ладонью висок, остановился на Иване Ивановиче.

Товарищ Калоша, не торопясь, вскинул к потолку сивые зерна глаз, положил на колени тяжелый портфель, положил на стол руки, потом с потолка опустил глаза на стол, потом взглянул на народного комиссара и неожиданно проговорил, нежно вздыхая:

— У вас, дорогой товарищ, очень нездоровый вид.

— Я вас слушаю, товарищ Калоша, — перебил сухо народный комиссар и посмотрел на часы.

Лицо у товарища Калоши из красного превратилось в бордовое; он закашлялся и подался назад, а когда откашлялся, быстро заговорил, и его мягкие сочные слова, как липкие капли разведенного водой меда, летели в народного комиссара.

Иван Иванович Калоша говорил:

— Вы знаете, дорогой товарищ, что нам, в нашей губернии, с огромным трудом, не покладая рук и не жалея сил и здоровья, удалось создать такое большое и выгодное дело не только для нашей губернии, а, можно сказать, для всей республики Союза...

— Какое?

— Торговое.

— С отделениями в Смоленске, в Туле, в Нижнем?

— Совершенно верно, — вздыхая и закатывая от удовольствия сивые глаза к потолку, что его огромные

труды уже известны на весь Союз, проговорил Калоша и стал докладывать дальше: — знаменитое дело; через год мы развернем его еще более мощно... — Говорил он, товарищ Калоша, очень долго, горячо и, нужно отдать ему справедливость, вдохновенно, так что даже он не замечал нервного подергивания плеч народного комиссара, его расширенных и горячих зрачков, которые гневно сверкали.

— Через год мы так развернем, — сыпал товарищ Калоша, — так развернем, что небу будет жарко...

— Не холодно и сейчас, — бросил глухо народный комиссар и откинулся с силой на спинку кресла, так что оно подалось назад.

— Что вы изволили сказать? — насторожился Калоша и, пытливо вслушиваясь, взглянул на него.

— Я сказал, что и сейчас не холодно.

Не поняв смысла сказанного народным комиссаром, товарищ Калоша улыбнулся:

— Весьма не холодно, — и, все больше вдохновляясь, понес дальше: — А через год мы так развернем, что у нас будут учиться соседние губернии и последуют нашему славному примеру...

— В чем же дело? Чего вы хотите? — сверля знойным взглядом Калошу, поднялся народный комиссар.— Я вас не понимаю.

— Вы разве не знакомы с нашим делом? — спросил удивленно и заискивающим голосом товарищ Калоша.

— Ваше дело постановили закрыть.

— Вот именно, — улыбнулся Калоша и тоже поднялся, — а мы этого не хотим...

— А вы, товарищ Калоша, в курсе своего дела?

— Даже очень, — воскликнул Калоша, — все бумаги исключительно через меня проходят и я их подписываю.

— И вы не знаете, что вы проторговали больше миллиона?

У товарища Калоши временно отнялся язык, он вяло опустился в кресло, обиженно взмахнул короткими руками, помахал ими перед собственным носом, потом схватил портфель, шумно вытащил огромную папку в четыреста семьдесят пять страниц и подал народному комиссару.

— Я прошу вас повнимательнее познакомиться с нашим отчетом... У нас в каждом крупном центре орггумы... и везде люди и обстановка... для широкого дела...

— Я уже знаком... Я вполне согласился с постановлением РКИ, чтобы отдать вас под суд, — проговорил резко народный комиссар и надавил кнопку.

На звонок вбежал секретарь.

— Помилуйте, дорогой товарищ, постановления комиссии... — лепетал товарищ Калоша. — Эта сумма у нас в недвижимом имуществе... В отчете все показано...

— Рассмотрим. Всего хорошего.

— Что прикажете? — спросил секретарь.

— Следующего.

— Слушаю. — И секретарь, провожая товарища Калошу, вышел из кабинета и немедленно впустил следующего. Следующий был товарищ Сметана. Он был такого же роста, как и товарищ Калоша, и такого же, примерно, калибра. Однако, товарищ Сметана резко отличался от товарища Калоши, ежели очень внимательно посмотреть на его лицо и на лицо товарища Калоши: лицо у товарища Калоши весьма красное, во время волнения — бордовое, а у товарища Сметаны оно белое, рыхлое, словно крупичатое, так что, глядя на его лицо, казалось, что надо было во всяком случае около

десятка лет ежедневно кушать сметану, чтобы приобрести такое лицо, какое имел он, товарищ Сметана. Кроме лица, товарищ Сметана отличался и другими качествами от товарища Калоши: он имел совсем другой тембр голоса, чем товарищ Калоша, — хриповатый бас, совершенно другую походку, размашистую и быструю, главное, во время ходьбы не держал голову в наклонном положении, как это делал товарищ Калоша, а держал ее высоко, нес гордо; глаза тоже имел другого цвета — бледно-синие, похожие на снятое молоко. Товарищ Сметана подошел к столу и, не подавая руки, представился, и тоже просто:

— Сметана.

— Садитесь.

Товарищ Сметана с достоинством опустился в кресло.

— Слушаю, — проговорил комиссар... — По какому делу? Вы, кажется, недавно были у меня?

— Был, — проговорил Сметана. — А теперь окончательно пришел выяснить с вами вопрос относительно создания...

— Комиссии по изучению природных богатств вашей губернии? — вставил народный комиссар. — Вы об этом девять месяцев тому назад говорили мне?

Товарищ Сметана улыбнулся, почесал за левым ухом.

— Так точно. Ровно девять месяцев, и вы тогда отказали. За эти девять месяцев мы создали аппарат, расширили комиссию, добавив в нее около десятка новых ученых нашей губернии. Эта комиссия вновь исследовала нашу губернию, подтвердила изыскания первой комиссии. Она вновь подтвердила, что в недрах нашей губернии, на такой-то глубине (а на какой, товарищ Сметана не сказал), находятся в огромном количестве залежи разной руды, благородных металлов. Потом

товарищ Сметана от земных глубоких недр неожиданно перешел на поверхность своей губернии и прямо таинственным шопотом сообщил:

— Вы знаете, товарищ комиссар, что в нашей губернии масса сирени?

Народный комиссар дернулся вперед, навалился костлявой грудью на письменный стол и страшно горячими глазами впился в товарища Сметану.

— Сирени? Какой сирени? Новый металл что ли открыла ваша комиссия?

Товарищ Сметана блаженно улыбнулся.

— Обыкновенной сирени, той самой, что растет на земле, в садах, возле изб, в палисадниках...

— Не понимаю, — не отрывая широко открытых, смятенных глаз от товарища Сметаны, прошептал народный комиссар. — Не понимаю.

Товарищ Сметана тоже откинулся на спинку кресла и еще раз почесал за ухом:

— Очень выгодное изыскание, и если вы нам поможете в этом, то через год обязательно разбогатеем и разведем целые поля...

— Целые поля? Чего?

— Сирени, — ответил Сметана и весело посмотрел на него. Народный комиссар медленно, с смертельно бледным лицом, схватившись дрожащими руками за ручки кресла, отвалился от стола и падал на спинку, а когда привалился к спинке, едва слышно проговорил, задыхаясь:

— Прожекты все.

Сметана обиженно всколыхнулся, его белое, рыхлое лицо покрылось бледно-розовыми пятнами, толстая нижняя губа отстала и до смешного нелепо задергалась. Одним словом, товарищ Сметана почувствовал обиженность и тоже сильно взволновался:

— Помилуйте, товарищ комиссар, это не какие-нибудь прожекты, а практическое изыскание, даже, можно сказать, великое открытие.

Народный Комиссар неподвижно сидел в кресле. Товарищ Сметана напряженно продолжал:

— Это не прожект какой-нибудь, а большое, можно сказать, открытие. Вы знаете, товарищ комиссар, как экономически двинется наша губерния благодаря такому открытию, что у нас под боком...

— Растет сирень, — вставил саркастически народный комиссар и снова подался вперед, впиваясь все таким же смятенным взглядом в товарища Сметану.

— Вот именно, — воскликнул восторженно Сметана и потер руки от своего восхищения и от того, что его наконец-то поняли, — росла под боком и пропадала, а мы теперь из нее денежку, денежку будем выколачивать и обогатим свой край...

— Не понимаю. Об'ясните, — бледнея, крикнул народный комиссар и, навалившись руками на стол, медленно поднялся: — Я вас, товарищ Сметана, слушаю.

— В нашей губернии очень много сирени и на нее до нас никто не изволил обратить внимания, а мы, сиречь ученые нашей губернии, исследовали ее и нашли, что на ее ветках разводится очень много ценных мух.

— Мух, — исказив судорогой смеха желтое лицо, проговорил народный комиссар. — Много мух? — леденея и дергаясь, добавил он.

— Так точно. Настоящие мухи, темно-синего цвета, майские.

— Так. Что же вы намерены с ними делать? Желаете заняться мухоловством?

— Вот именно. Мы, товарищ комиссар, организуем трудовую артель по ловле...

— Мух, — добавил, все так же саркастически улыбаясь, народный комиссар и еще резче подался вперед, наваливаясь на стол. — Сколько у нас мухоловов!

— Но для организации этого дела нам требуются средства, — деловито улыбнулся товарищ Сметана.

— У вас есть с собой смета?

Товарищ Сметана поднял портфель, лежавший на полу около его ног, достал из него довольно внушительную папку и подал ее народному комиссару:

— Пожалуйста, здесь все предусмотрено; мы на первое время просим немного: четыреста тысяч...

— Таак... — протянул народный комиссар. — Что же вы намерены с пойманными мухами делать?

— Часть предполагаем для Союза, а главную массу для экспорта за границу, — закрывая портфель и кладя его опять к ногам, ответил товарищ Сметана, а когда положил портфель, пояснил: — В смете все с точностью предусмотрено.

— Вы, а с вами и ученые вашей губернии глубоко убеждены в том, что Европа исключительно заселена ипотентами?

Товарищ Сметана, не предполагая такого неожиданного вопроса, был весьма поражен и впал в необычайное замешательство, в каковом находился целую минуту, и ничего не мог ответить народному комиссару, который уже нажимал кнопку звонка. Товарищ Сметана только тогда опомнился, когда в кабинет вошел секретарь, остановился около него и обратился к народному комиссару, но опять он, товарищ Сметана, ничего не ответил, а только быстро поднялся с кресла и, держа в руке портфель, растерянно смотрел то на народного комиссара, то на вошедшего секретаря. Он, товарищ Сметана, опомнился только тогда, когда народный комиссар сказал: «следующего».

Товарищ Сметана пробурчал:

— Относительно Европы, простите, не осведомлены, постараемся ознакомиться...

— Советую, — ответил народный комиссар.

В кабинет вошел «следующий». Товарищ Сметана с глубокой думой о Европе гордо вышел из кабинета. За «следующим» потянулась целая вереница других представителей. Все они были не похожи друг на друга, у каждого была своя просьба, свой план, свой «прожект» по восстановлению вверенной губернии, вверенного края, республики. В этой длинной веренице хозяйственников, несомненно, бился пульс жизни, глубокое желание поднять на должную высоту хозяйство, построить не только фундамент социализма, но и само, ежели можно так выразиться, здание социализма. В этой веренице были такие хозяйственники, которые хорошо понимали современную обстановку и, не покладая рук, не жалея своих сил и здоровья, вместе с рабочим классом, с хозяином страны, поднимали промышленность, бережно экономили средства, жадно следили за каждой копейкой, чтобы она не утекала во вражий карман, на сбереженные средства ремонтировали фабрики, заводы, воздвигали новые, улучшали шахты и рудники, электрифицировали страну, улучшали бытовые и культурные условия рабочих. Таких хозяйственников, выдвинутых рабочим классом, коммунистической партией из среды самого рабочего класса, из лучшей части интеллигенции, было немало тысяч. И эти тысячи, под руководством партии, при помощи рабочего класса, поднимали и поднимают нашу промышленность на должную высоту.

С такими хозяйственниками народный комиссар засиживался в кабинете, всегда приходил на помощь,

радовался, как малый ребенок, каждому успеху, заряжался энергией и этой энергией заряжал усталых, вдохновлял на дальнейшее строительство, на борьбу с разрухой, головотяпством, с обломовщиной. Каждое достижение на фронте труда прибавляло ему все больше силы, вдохновляло его на еще более упорную работу, и он, почти не зная сна, целыми часами просиживал над изучением нашей промышленности, над изысканиями средств, над вопросами режима экономии, чтобы сберечь бесполезно утекающие копейки, бросить их на улучшение фабрик, заводов и на создание новых.

Но в этой веренице были и такие хозяйственники, которые были похожи на товарищей Калошу и Сметану, ежели не хуже. Такие товарищи часто, почти ежедневно врывались к нему, с новенькими портфелями, набитыми всевозможными «прожектами», отнимали у него время, доказывая выгодность своих «прожектов». По таким «прожектам» выпрашивались средства, создавались пухлые штаты незаменимых работников, спецов, по таким «прожектам» заводы, которые производили для страны нужные, как хлеб, машины, орудия, переделывались, приспособлялись, специализировались для «специального» массового производства подков, мясорубок, коньков, болтов и т. д., согласно такого-то «прожекта» и для всего Союза... Ухлопав на переустройство заводов, на прокорм примазавшихся всевозможных шарлатанов, «прожекторы» пускали заводы, выбрасывали «специализированное» производство, но только не на рынок, — в мусорную яму... Ухлопав таким способом народные средства, полученные по сметам, «прожекторы» вновь пускались создавать новые «прожекты» и «сочинения» на такое-то «специализированное» производство, а потом, создав тома «прожектов»,

катили в центр за новыми ссудами... От таких хозяйственников народный комиссар тоже не спал месяцами. Он тонул в толстых и пухлых, как тесто, папках (каждой папкой можно убить не только человека, но и буйвола), в сметах, в разных раз'яснениях, об'яснениях, во всевозможных докладных и весьма важных записках, которые сыпались на него, как из рога изобилия, и в которых доказывалась необходимость разрешения, так как в таковом производстве не только нуждается наша губерния, нуждается весь наш великий Союз,—так утверждалось почти в каждой докладной и об'яснительной...

Были и такие «прожекторы», которые ухитрялись создавать учреждения с многочисленными штатами, получать ссуды на прокорм себя. Такие учреждения создавались очень просто, даже проще, чем пауки создавали свои гнезда, цепляясь за стены какого-нибудь угла и трудясь над выработкой паутины. Вырастали такие учреждения с страшной быстротой, зацепившись волокнами, невидимыми человеческим глазом, за какого-нибудь директора и за какой-нибудь главк, начинали строчить перьями, трещать «ундервудами» на весь Союз и отписываться.

— Мы тоже пашем.

Вот тут и глубоко призадумаешься, не один раз прихватишь себя за самое, что ни на есть чувствительное место, не один раз выругаешься. Ну, разве можно сравнить такие наросты в нашем хозяйстве с гнездом какого-нибудь несчастного паука, приютившегося даже в самом плохом уголке самого захудалого хозяйственного главка. Да его, простите за резкость, самая слабосильная и чахоточная курьерша метелкой сорвет и стоптанным рыжим башмаком придавит так, что от него и мокроты на полу не останется. А попробуйте вы

на такие висячие учреждения-наросты на нашем хозяйстве пальцем показать, как они завозятся, закричат на весь Союз, что они незаменимые учреждения и без них государство не удержится, а ежели ты метелку возьмешь,—то, боже тебя упаси! Молчи, смертный! С такими висячими учреждениями ведет кровавый бой РКИ и то ничего—здравствуют и растут, как грибы после дождя!

С такими «прожекторами», создателями висячих учреждений, борются специальные подкомиссии, комиссии— и ничего, все еще здравствуют! С такими «прожекторами» борется народный комиссар, рубит острым топором невидимую паутину, на которой держатся висячие учреждения, и тоже ничего—выживают, немного похирев.

Такова порода людей, в которой еще силен инстинкт животного самосохранения. А раз так, еще не скоро выродятся «прожекторы» не только в массе обывателей, а и в партийной среде. В этом он, народный комиссар, глубоко убедился и убежденный в этом, с железным хладнокровием вырезает эти наросты, наполненные паразитами... Итак, пока автор рассуждал о хороших и о плохих хозяйственниках, сиречь занимался публицистикой, которая, как утверждают наши современные высококультурные критики и глубоко понимающие на свой утонченный вкус, если можно так выразиться, сливки искусства, не является художественным творчеством, а ненужной литературщиной, — прием у народного комиссара подходил к концу и у него в кабинете находился молодой человек, прилично одетый, в желтых полуботинках, с хорошо выбритым бронзовым лицом. Глядя на его лицо, вспоминалось необычайно горячее солнце, величественные горы, море, свежий, просоленный воздух, потрясающе-синее небо, аспидные душные ночи, мертвые, словно вырезанные из жести,

пальмы, пыльные кипарисы. Этот человек вежливо, с грациозной гибкостью тела, раскланивался:

— Имею честь представиться.

— Садитесь.

— Комиссар N*** республики товарищ Симфония.

— Прошу садиться, товарищ Симфония, — любезно предложил народный комиссар и показал на кресло.

Товарищ Симфония погрузился в кресло, положил перед собой поношенный портфель и, показывая на него черными блестящими глазками, проговорил:

— Республика наша маленькая, народ мы бедный...

— Я вас слушаю, товарищ.

Раньше, чем начать доклад, товарищ Симфония рассказал маленький анекдот из жизни своей республики. Анекдот был так смешон и весьма приличен, что даже народный комиссар вышел из мрачного состояния и его бледно-желтое лицо осветилось и засияло улыбкой. Товарищ Симфония, увидав перемену на лице народного комиссара, немедленно перешел к докладу. После анекдота, перед самым докладом, Симфония тоже улыбнулся и держал на своем бронзовом лице улыбку до тех пор, пока не окончил доклад.

— Наша республика имеет все... она построена по образцу и подобию больших братских республик, — начал товарищ Симфония, вскидывая крупные черные глаза на него и сдвигая к переносице густые, с сизым отливом брови. — В нашей республике, как вы знаете, товарищ комиссар, имеется все: Совнарком, Малый Совнарком, Госплан, СТО, Наркомфин, Наркомздрав, Наркомторг, Наркомтруд, Наркомвнудел, Наркомпрос и так далее. Потом, при каждом наркомате имеются комиссии, подкомиссии, срочные, секретные, деловые, спешные и обыкновенные, тройки по изучению и ускорению работ

каждого наркомата. К одному Госплану прикреплено нами несколько научных комиссий. Благодаря такому рациональному прикреплению наш Госплан работает правильно, можно с уверенностью сказать, весьма эластично, без перебоев. При Госплане имеются комиссии, подкомиссии: промышленная, по изучению горных пород, по исследованию ущелий, по изучению туров, действительно ли они, спасаясь от охотников, прыгают и падают прямо на рога и остаются здоровыми, по исследованию атмосферы духанов и полезности оной для республики, по исследованию горного ветра и его воздействия на морскую поверхность, по исследованию и изучению вопроса, поднятого учеными нашего края, что будто бы имеется в морях и океанах акула-рыба, которая сразу проглотила капитана одного парохода вместе с женой и с хозяйственными принадлежностями. Этот несчастный факт подробно был описан в нашей республиканской газете № 1565, за подписью одного из наших ученых. — Тут товарищ Симфония умолк на минуту, открыл портфель, достал газету, развернул ее и прочитал изумительное из жизни акулы:

НАУКА И ТЕХНИКА * * *

«В желудке акулы. Акулы крайне прожорливы и не слишком разборчивы в пище. Это обстоятельство уже установлено ученым миром нашей республики и неоднократно подтверждалось вскрытиями чрев акул. Все же один экземпляр, убитый недавно недалеко от берегов нашей республики, повидимому, побивает рекорд в отношении разнообразия меню (по этому вопросу нужно было бы назначить комиссию). В желудке этой акулы, в массе полупереваренной пищи, над

которой мы работали и которую разрывали больше недели, были найдены нами: совершенно целая жестяная банка с консервированным молоком, металлический портсигар, пара дамских ботинок, бутылка с вином фирмы Анчибадзе, коробка спичек, женский корсет с крючками и фижмами, три женских гребенки, два золотых зуба, запас веревок, ночной горшок с хорошо и весьма заметными следами человеческих экскрементов и несколько кусков парусины. По нашему исследованию, найденные во чреве акулы предметы и вещи, описанные выше, несомненно принадлежат капитану неизвестного корабля и дрожайшей его, капитана, половине».

— Вот видите, товарищ комиссар, в какие неисследованные области входят ученые нашей республики.

— Да, очень трудные области, — согласился народный комиссар. — Что же вы этим, товарищ Симфония. хотите сказать.

— Для поддержания всего этого нам нужны средства, — сказал утвердительно и с апломбом товарищ Симфония.

Народный комиссар поднял усталые глаза, взглянул на представителя братской республики.

— Вы недавно получили.

— Одну треть.

— Как?

— Больше не даете. А ваш заместитель прямо сказал: «Больше не ждите», — и велел сократить штат на девять десятых.

— Это необходимо.

Товарищ Симфония взволновался, быстро открыл портфель, вытащил толстую кипу бумаг и, показывая ее и тыча в нее пальцем, проговорил:

— Помилуйте, товарищ комиссар, мы свой аппарат перестроили с огромными трудностями, а главное по типу...

— Очень скверно.

— У нас в каждом наркомате — нарком, заместитель наркома, два товарища и несколько членов коллегии; у нас при каждом наркомате имеется несколько комиссий, а у каждой комиссии — председатель, заместитель председателя, товарищи председателя...

— Не можем...

— А у каждой комиссии имеются еще подкомиссии.

— А вы знаете, сколько стоит содержание аппаратов вашей республики? — вставая и улыбаясь, спросил народный комиссар.

— Знаем.

— А вы знаете, во сколько раз ваша республика меньше уездного города Центральной России?

— Помилуйте, — возмутился товарищ Симфония, — разве можно равнять республику с каким-то уездом? Такие сравнения, с нашей точки зрения, не допустимы.

— Но ведь ваша республика в пять раз меньше уезда, а аппарат в триста раз больше. Извольте жить на свои средства.

— Это невозможно: я прошу вас, товарищ комиссар, вновь рассмотреть нашу смету.

— Бесполезно. Денег больше не дадим, — ответил он и нажал кнопку, — поезжайте домой и разгоните ненужных нахлебников.

Вошел секретарь.

Народный комиссар распрощался с товарищем Симфонией. А когда товарищ Симфония вышел, он обратился к секретарю:

— Больше никого нет?

— Нет.

— Пригласите представителей завода.

Секретарь вышел; через минуту вошли в кабинет двое рабочих. Народный комиссар поднялся к ним навстречу, встретил их посредине кабинета. Они все трое остановились, поздоровались, сказали друг другу несколько слов и направились к столу. Народный комиссар, усадив рабочих около стола, прошел на свое место.

— Я вас слушаю, — проговорил он тепло и пододвинул к ним портсигар.

Они закурили.

— Мы тебя, товарищ комиссар, задерживать не будем, — проговорил один рабочий, что был постарше и с более пушистыми усами, чем у его товарища.

Другой рабочий, глядя на комиссара, спросил:

— Ежедневно по стольку приходится принимать?

— Да.

— Мы долго мучить не будем тебя, — сказал первый рабочий и ласково взглянул на него, — мы пришли от семи тысяч рабочих попросить тебя на наш рабочий праздник, который состоится у нас в клубе в эту субботу. Вот и все. — И они оба поднялись.

— Буду, — согласился народный комиссар и подал руку.

Они радостно потрясли его руку. А когда они ушли, он вернулся к столу, прошелся несколько раз по кабинету, чтобы расправить уставшее тело. В кабинете было почти темно. Он подошел к столу, зажег столовую лампу. Темно-серая мгла вечера поднялась быстро к лепному высокому потолку, повисла над мрачно сияющей бронзовой люстрой.

Потом он сел в кресло, погрузился в бумаги. С правого виска сползла длинная прядь, которая была

зачесана назад и закрывала небольшую лысину, рассыпалась на высоком лбу, касаясь переносицы. А на его желтом, утомленном лице неподвижно лежали тени.

Он работал.

ГЛАВА ПЯТАЯ

* * *

В наркомате была глубокая тишина; только нарушал эту тишину за дверью кабинета секретарь; он изредка шаркал ногами, лязгал дверью несгораемого шкафа. Разбирая, перечитывая бумаги и пухлые докладные записки, народный комиссар не слыхал ни этой наркоматской тишины, ни своего секретаря, ни позднего осеннего вечера, в который за стенами его кабинета, наркомата, выпал первый снег. Прояснилось небо, густо засияло мелкими звездами, в особенности несказанно задымилось млечной дорогой на своей беспредельной чистоте; небо при виде выпавшего снега, белых, необычно белых улиц, тротуаров, домов и деревьев казалось еще более черным, глубоко-ласковым. Он не видал, не чувствовал этой чистоты неба, густых звезд, чудесного млечного пути, — он, не разгибая спины, работал, разбирался в сложных бумагах, в канцелярской казуистике, в чиновничьем словоблудстве и синим густым карандашом с невозмутимой решительностью ставил: «передать в комиссию», «расследовать», «удовлетворить», «разогнать», «отдать немедленно под суд». Читая бумаги, он настолько наметал глаз, что почти всегда безошибочно узнавал по стилю характер писавшего доклад, докладную записку, смету и сразу определял место этому хозяйственнику и его значение в строительстве. Он благодаря огромному своему опыту знал, что все хозяйственники делятся на четыре

категории: на хозяйственников, которые, в силу старых традиций, выработали из себя бюрократов, создали себе уютные кабинеты, мягкую мебель, оторвались от своего класса, от своей партии, расстались со своими старыми, дореволюционными или, как принято теперь говорить, со старорежимными заскорузными женами, обзавелись новыми женами, принесшими с собой старый голубой аристократизм в семью бывших рабочих, и культивируют его, вытесняя все хорошее и революционное; на хозяйственников, которые не рыба и не мясо, а так себе, и которые, протирая стулья и наедая «мадам сижу», просто сидят в кабинетах, важно подписывать бумаги, сметы и разные «прожекты», не зная, никогда не читая и не стараясь не только проверить, изучить, но хотя бы посмотреть, что в этих бумагах, в сметах и в «прожектах» имеется, что наворочено досужими и вечно вертлявыми людьми в этих бумагах, а прямо классическими своими почерками накладывают подписи, а некоторые даже так, чтобы лучезарнее красовались подписи, с плеча шлепают специально (чтобы зря не трудиться и не пачкать пальцев в чернилах) приготовленными штемпелями; на хозяйственников, которые досконально все знают и в одно и то же время совершенно ничего не знают, но которые так хорошо умеют говорить, так сладкозвучно умеют говорить, что около них соорганизовались любители красноречия и слушают их медовые слова, речи слаще песен соловья; такие хозяйственники так ловко умеют составлять проекты, так ловко умеют втирать очки, такую преподнесут тебе картину строительства и пользу от оного, так что смертные слушатели не знают, что им думать: не то они в рай попали, не то они прямо с ножками и рожками в социализм шлепнулись и лежат там

и блаженствуют, а у начальства, стоящего выше, от удовольствия, что хозяйство процветает во славу социализма, на макушках вырастают и тут же расцветают фиалки; такие хозяйственники настолько пронырливы, настолько увертливы, что их никакими вилами не прижмешь, не пришпилишь к стенке, даже в такие минуты, когда они пустят дымом по ветру вверенное им хозяйство, даже в такие минуты, когда, растратив сотни тысяч рублей, принадлежащих рабочему классу, эти хозяйственники выползут из-под смертельно острых вил ЦКК (трудно поверить, чтобы эти вилы притупились?), да еще так выползут, что вы не найдете ни одной царапинки на их упитанных и эластичных телах, а только с маленьким выговором: «ставится на вид бесхозяйственное отношение к делу»...

Одним словом, кради, воруй, сколько хочешь...

На хозяйственников, которых огромное большинство, которые на своих плечах выносят все трудности строительства, не отрываясь от своей партии, от рабочего класса, который послал их на ответственные посты; такие хозяйственники не знают свободного времени для отдыха, не знают личной жизни, семьи; такие хозяйственники все свои силы отдают на строительство социализма, на укрепление диктатуры своего класса, на укрепление своей партии, без которой они не могут жить, а также не может жить и рабочий класс, пославший их и доверивший им социалистическое хозяйство, завоеванное страшной борьбой; о таких хозяйственниках народный комиссар не любил рассуждать, как он не любил говорить и о своей упорной, нечеловеческой работе, так как он вместе с этими хозяйственниками нес эту работу, никогда не отделяя себя от них, ни их от себя.

Он хорошо знал, что все те хозяйственники, которые были в первых трех категориях, за период мирного строительства, выработали из себя в современной обстановке, в партийном обществе своеобразную, ежели можно так выразиться, касту, отличную от жизни партийной массы, от рабочего класса, а главное, оторвались от рабочего класса, от своей миллионной партии, не интересуются рабочим классом, не интересуются жизнью родной партии, а ведут замкнутую жизнь от рабочего класса, от своей партии, но, критикуя ее и обвиняя в перерождении... живут и культивируются, породнившись и густо окружив себя обломками буржуазного общества, принявшего в современных условиях новый титул «нэпманов», совершенно в особом соку и совершенно порвали всякую связь с рабочими, с которыми когда-то вместе работали на заводах, вместе боролись, вместе страдали, в минуты радости или большого горя ходили друг к другу в гости и за скромным, но гостеприимным столом беседовали интимно, беседовали о самом сокровенном, о самом дорогом, что лежало у каждого на самом дне души...

Ну, разве теперь эти некоторые хозяйственники, вышедшие из разночинцев и отчасти из рабочего класса, ведут знакомство со своими старыми товарищами, оставшимися у станков, у тисков, у молотов, у доменных печей?

Нет. Не ведут.

Ну, разве эти хозяйственники в трудные минуты строительства социалистического хозяйства идут в грязные, тесные каморки общежития к своим товарищам рабочим, чтобы поделиться с ними, откровенно и душевно поговорить о мелочах и о великих делах в нашей жизни?

Нет, не идут и никогда не пойдут.

Эти хозяйственники пойдут в свой тесный кастовый круг, составленный из всевозможных обломков старого общества, ибо среди этих обломков им мило и глубоко приятно быть, так как с этими обломками они породнились, и кровь этих обломков входит в них и в их детей, а раз это так, то что же им делать среди рабочего класса, от которого они навсегда психологически оторвались, но не оторвались только материально и живут на его теле.

Народный комиссар точно знал, глубоко ощущал этот отрыв от рабочего класса, перерождение некоторых хозяйственников и весь ужас этого отрыва и перерождения; зная и глубоко чувствуя это, он невыразимо страдал и вместе с партией и вместе с хозяйственниками, которые представляют собою часть нашей партии, жестоко боролся с оторвавшимися от партии и от рабочего класса. С неослабеваемой энергией и жизнерадостностью он бил обухом топора по бесхозяйственности, по разгильдяйству, а также и по вырождающейся касте чиновников.

Изучая доклады, пухлые сметы и всевозможные «прожекты», он авторов этих докладов и «прожектов» заносил для памяти в толстую записную книжку, — эту книжку он всегда держал в боковом кармане потертого френча; он каждому чиновнику в своей книжке отводил надлежащую страницу, с заголовком вначале:

Обормоты.

Выродки.

Об'едалы.

Слизняки.

Трутни.

Мямли.

Болтуны (тухляки, от слова — тухлые яйца).

Мухоловы.

Себялюбы.

Казнокрады.

Стояросы.

И последняя страница простая:

Жулики. Подлипалы.

На страницу с заголовком «обормоты» он вписывал исключительно составителей толстых многотомных докладов, сочинителей сногсшибательных «прожектов», всевозможных говорунов; на страницу с заголовком «выродки» он исключительно записывал оторвавшихся от рабочего класса, от его партии, критиков партии; на страницу с заголовком «стояросы» он исключительно записывал больших чиновников, которые переросли бывших щедринских «помпадуров» и выросли до зрелых бюрократов; на страницу с заголовком «болтуны» он вписывал исключительно (впрочем, не будем дальше раз'яснять, так как вам, дорогие читатели, хорошо известно, каких чиновников-бюрократов он, народный комиссар, подведет под известные вам страницы своей записной книжки)...

Сейчас он, разбирая, сортируя доклады, записки, сметы и проекты, оторвался на минуту от вороха тетрадей, достал записную книжку, отыскал нужные страницы и вписал под известные заголовки товарищей: Калошу, Сметану, Симфонию и многих других, побывавших у него в кабинете. Записав товарищей в записную книжку, он откинулся от стола на спинку, кресла и задумался.

В кабинете — глубокая тишина. Такая же тишина была за дверью кабинета, в наркомате. За дверью кабинета, в секретарской, шуршал бумагами секретарь, в неплотно закрытую дверь врывался тихий рокот

уличной жизни, придушенный и ослабленный закрытыми окнами и дубовыми дверьми.

В кабинете, на письменном столе, под голубым абажуром столовой лампы спокойно горело электричество. Электрический свет бело-желтым озером лежал на огромной поверхности стола, заваленного папками, бумагами, падал со стола, ослепительно заливал собой паркетный пол, все пространство кабинета, — оно было на уровне стола, вернее на уровне голубого абажура, а также и всю тяжелую из черной кожи мебель, отороченную красным деревом.

Народный комиссар был тоже залит почти весь бело-желтым светом, за исключением верхней части головы — лба и черепа, которые были освещены мутно-голубым светом абажура; этот же мутно-голубой свет заполнял все то пространство, которое от лепного потолка доходило до уровня абажура лампы и густой мягкой мглой висело над письменным столом, над массивной мебелью, над ним, над ослепительно желтым пластом света, что бил из-под краев голубого и крупного абажура.

Он, не отрывая своей спины от кресла, протянул руку и взял со стола часы, посмотрел на циферблат и положил их в карман, потом, закинув руку за голову, устало потянулся, потом опустил руку и быстро, опираясь правой рукой на ручку кресла, поднялся и хотел было выйти из-за стола, но, ощутив неприятный вкус во рту, на языке, и легкость, как будто бы пустоту, в голове, покачнулся в сторону и грузно ударился об пол между столом и креслом, задев правым виском за угол письменного стола; лежа на полу, он почти видел, как под ним и над ним, накренившись на бок, сногсшибательно быстро вертелся кабинет, раскидывая мебель во все

стороны и стараясь выбросить его; чтобы не быть выброшенным, он жадно ухватился левой рукой за ножку кресла, инстинктивно всем туловищем прижался к вертящемуся паркету. Он только тогда опомнился, когда почувствовал под правым виском и щекой горячую липкую жидкость, вернее только тогда, когда перепуганный секретарь подбежал к нему, перепуганным, еле слышным шопотом спросил у него:

— Что с вами, товарищ?

Он медленно поднялся, при помощи перепуганного на-смерть секретаря, сел в кресло и, желая успокоить его, улыбнулся:

— И сам не знаю, как это я упал.

— Я сейчас вызову доктора, — бросился к телефонной трубке секретарь.

— Не надо, — властно проговорил он, — все, милый мой, пустяки... Немного закружилась голова...

— Да вы разбили глаз, — кладя обратно трубку телефона, проговорил секретарь.

— Нет, я хорошо вижу; я только чуть-чуть поцарапал висок.

— Так ведь свободно можно выбить глаз,—вздыхая, охал серьезный и во всех отношениях милый секретарь.— Все же разрешите мне, товарищ комиссар, вызвать доктора.. Я очень боюсь...—и он снова метнулся к телефону.

— Да постой, юла,—крикнул сердито народный комиссар, быстро поднялся с кресла и направился к каминному зеркалу.—Поди, достань, лучше, кипяченой воды, теплой.

Пока секретарь бегал за водой, он стоял около камина, смотрел на свое лицо, отраженное в черно-желтом зеркале. Он был страшно поражен той переменой, которая произошла в нем за эти последние годы, так что он не узнал своего лица: до того оно было худо, желто

и заросло растительностью; разве только глаза не изменились и были все те же, что и раньше: большие с крупными зрачками, горячие. Глядя на свое лицо, в глаза, он совершенно позабыл про царапину на правом виске, благодаря которой он вспомнил зеркало и подошел к нему; царапина была большой, из нее жгучими каплями стекала по скуластой и желтой щеке кровь в правую часть темно-русой бороды, посеребренной по краям, густо пропитала ее и окрасила ее в темно-красный цвет. Он взглянул на царапину только тогда, когда вернулся секретарь вместе с пожилым курьером, который в одной руке держал чайник, в другой никелированный таз и около локтя на согнутой руке посконное полотенце с красными петушками на концах.

— Как же это ты, батюшка, угостил так себя? — глядя ласково и в одно и то же время испуганно на народного комиссара, проговорил старичок и засуетился на одном месте, не зная, куда и на что поставить чайник и таз.

— А-а-а, это ты, дедушка, — взглянув на старика, улыбнулся народный комиссар.

— Я самый, — ответил старик и тревожно из-под желто-серых густых бровей вскинул выцветшие, но теплые, небольшие бледно-синие глаза: — я самый. Как же это ты, а?..

— Ничего, дедушка, — на живом все заживет, — шутил народный комиссар. — А ты поставь таз-то на пол, а из чайника полей мне.

— И так, — подергивая длинными, обвисшими седыми усами, обрадовался старик и стал поливать на конец полотенца, которым народный комиссар промывал царапину на виске.

— Вот так, — промывая висок и смывая с лица кровь, приговаривал народный комиссар, — вот та-ак...

— Все же надо позвать доктора, товарищ комиссар, — волнуясь и суетясь около него и старика, вздыхал секретарь. — Я очень боюсь заражения...

— Ну, ну, не надо, поменьше ужаса, — шутил народных комиссар. — Любишь же ты, милый мой, панику разводить? Вот все и готово, — воскликнул он и выпрямился и, разглядывая в зеркале темно-красную рану, немного припухшую над бровью, добавил: — пустяк, — и обратился к секретарю: — Позвони, пожалуйста, чтобы машину подали.

— Уже у под'езда.

— Недурно. А теперь собери со стола бумаги.

Через двадцать минут он, в сопровождении секретаря и дедушки, вышел из вестибюля, подошел к машине и, пропуская вперед себя секретаря с пудовым портфелем, сел в автомобиль и, вдыхая полной грудью первый зимний воздух, велел шоферу прокатить его до Тверской заставы и обратно.

Машина, сверкая темно-сизой окраской и отражая в себе электричество улиц, бесшумно сорвалась и пошла, расчищая себе путь пронзительным ревом.

Мимо народного комиссара бежали мутно-серые дома; черные и зеленые автомобили; сытые, отливающие лаком, лошади; бурные толпы людей; окна, налитые электричеством; квадраты ослепительно освещенных витрин; шаркая по бортам машины, как рассекаемая вода, разрывался ветер и со свистом проносился мимо, обжигая лицо и руки.

А в вышине, над темными и жуткими вершинами домов, бежало потрясающе глубокое черное небо, страшно дымясь зеленой пылью млечного пути.

Народному комиссару казалось, что машина стояла на одном месте, смешавшись с ветром, а все: фонари,

окна, автомобили, толпы, лошади, вспыхивающие квадраты витрин, Тверская, Москва, высокое небо, а с Москвой и небом вся вселенная черной бездной летела мимо бортов его машины, дымясь зелено-красной пылью...

ГЛАВА ШЕСТАЯ * * *

Ни жены, — мы ее тоже не будем называть по имени, будем называть просто женой народного комиссара, — ни самого народного комиссара, несмотря на субботу, которая была свободна от заседаний, и на обеденное время, дома не было: он был в от'езде и должен вернуться поздно вечером, а его жена была на одной фабрике и делала доклад не то о современной женщине, не то о правовом положении женщины, но точно никто не мог из оставшихся в доме ответить, по какому вопросу она делала доклад; впрочем, оставшиеся в квартире утверждали одно, что она тоже вернется с собрания только нынче вечером.

Хозяйничали две дочери народного комиссара: четырнадцатилетняя Вера и пятилетняя Талочка, в особенности хозяйничала последняя. Светлоголовая Вера, поджав ноги и не поднимая полузакрытых глаз на разозоровавшуюся Талочку, сидела на диване и читала толстую книгу в темно-коричневом переплете. Талочка, сев верхом на красную палку, на конце которой была зеленая деревянная лошадка с большой белой гривой и маленьким медным колокольчиком, вприпрыжку скакала по столовой, вскидывая головой, так что на лбу и на затылке подпрыгивали черные кудри, сверкали синим огнем глаза, а оборки белого с мелкими красными цветочками платьица волновались и были похожи на

нежную пену. От сильного крика Талочки Вера морщилась, но не отрывалась от книги и только тогда, когда Талочка подбежала к ней и, крадучись из-за ее спины, быстро захлопнула книгу, она вскинула голову и крупными голубыми глазами взглянула на Талочку, которая была уже далеко на другом конце столовой и звонко хохотала, приседая от озорного смеха на колени.

Вера погрозила ей пальцем:

— Смотри, поймаю!

Талочка показала красный язычок, еще быстрее поехала на палке, притоптывая тугими прямыми ножками и пронзительно звеня колокольчиком. Вера открыла книгу и опять погрузилась в чтение, но снова не заметила, как к ней подкралась Талочка и с бурным смехом столкнула на пол книгу и с такой же неудержимой радостью, переходящей временами в визг, бросилась бежать от Веры через всю столовую на кухню, отшвырнув в сторону палку так, что колокольчик отскочил от лошадки и, заливчато рыдая, покатился под стол.

Вера поднялась с дивана и побежала за Талочкой, но тут же, не добежав до двери, остановилась, радостно вскрикнула:

— Дедушка!

Дедушка, подергивая седыми усами, улыбнулся:

— Он самый, мои цветики.

И он, поднимая Талочку на руки и лаская ее, все так же улыбался, обращаясь к Вере:

— А ты, милая, не обижай.

Верочка добродушно:

— Обидишь ее. Она сама десятерых обидит.

— Я ее не трогала, это она врет, а я только книгу смахнула, — косясь лукаво на сестру, трещала обиженно Талочка.

— А зачем же ты, цветик мой, смахнула, а? Ведь она читала эту книгу-то?

— Читаля, — ответила Талочка и, немного подумав, укоризненно добавила: — А почему она со мной не захотела в лошадки играть?

— Читаля, — передразнила Талочку Вера и погрозила ей пальцем. — Если бы не дедушка, я тебя поставила бы в угол.

— А-а-а, — сделав розовые губки бантиком, громко и задорно воскликнула Талочка, — поставила бы! Так я тебя и испугалась!

— И поставила бы.

— О-о-о, поставила бы! Так я тебе и далась бы! А если бы поставила, я папе тогда сказала бы.

— Ссориться не надо, — целуя Талочку в розовую пухлую щеку, говорил дедушка. — Вера большая и ей теперь скучно играть в лошадки.

— О-о-о, большая! — рассмеялась Талочка. — А как же папа со мной играет и в медведя и в лошадки?

Тут уж дедушка не знал, что и ответить. Он только удивленно улыбнулся и, опустив на пол Талочку, развел руками:

— То папа, а не Верочка: ей учиться надо.

— О-о-о! а папе надо работать, а он каждый вечер со мной играет.

— А он, папа-то, тебя разве любит? — спросил лукаво дедушка и обратился к Вере: — Обед я уже принес: я его сейчас разогрею.

И он хотел было направиться в кухню, но его остановила Талочка:

— О-о-о! Не любит! Даже очень любит. Он мне всегда шоколадку привозит. А Вере не всегда.

— Это потому, что я шоколад не люблю, — ответила Верочка и пошла вместе с дедушкой на кухню разогревать обед.

Талочка тоже не отстала и пошла за ними на кухню. А когда ей сказала Верочка: «нельзя» и «на кухне холодно», она настойчиво ответила:

— А я хочу.

Обедали ровно через полчаса. Обедали втроем и страшно весело, так как дедушка рассказывал очень много и все рассказанное им было необыкновенно интересно и смешно. Слушая его рассказы, Талочка обедала весьма хорошо, гораздо лучше, чем при матери. Дедушка рассказывал всевозможные сказки, про всяких зверей, про деревню и про то, как он был таким же маленьким, как и Талочка, мальчиком, и про то, как он играл с ребятами в лошадки, ездил с лошадьми в ночное, ходил за грибами и за ягодами в лес. Талочка слушала очень внимательно, а когда дедушка положил компота из чернослива ей в чайное блюдце, с розовыми цветочками, она, взяв в рот сильно разбухшую блестяще-черную и приятно-сладкую ягоду, неожиданно спросила, обрывая его рассказ про ягоды и грибы:

— Из чернослива тоже сахар делают?

Дедушка, выкинув изо рта темно-серую косточку на блюдце, специально поставленное для косточек, вытер обвислые усы, поднял голову и ласково взглянул на Талочку:

— А ты косточку выбросила?

— Вон она, — сказала небрежно Талочка и показала глазами на косточку, лежавшую около блюдца. — А ты мне скажи: из чернослива сахар делают?

— Из чернослива, кажется, не делают, — неуверенно ответил дедушка и вновь принялся за компот.

— Не делают, — глядя на дедушку любопытными и сытыми, но все же блестящими глазами, проговорила Талочка и откинулась на спинку стула. — А мне папа говорил, что из свеклы делают.

— Из свеклы делают, это правильно, а из чернослива не делают, — радостно ответил дедушка и еще положил на блюдце косточку.

— Почему он сладкий? — не унималась Талочка.

Дедушка растерянно развел руками и, взглянув на Талочку, улыбнулся:

— Таким сладким земля родила.

— О-о-о! — громко воскликнула Талочка, — сказал: земля родила!

— А кто же?

— Вот и не знаешь? Совсем не земля, а дерево, — торжественно пояснила Талочка. — А ты вот мне скажи, из чего еще сахар делается?

— Еще из чего? — спросил дедушка и взглянул на Талочку, а потом на Веру. — Еще делается из камыша; вот как уберу со стола, так и расскажу тебе.

— О-о-о, из камыша! — сказала Талочка, сощурив брызжущие лукавством глазки, и захлопала в ладоши. — Ан, дедушка, неправда! Из камыша только дудки делают: в деревне мне другой дедушка делал дудку. А ты говоришь из камыша.

Через двадцать минут она лежала в постели; рядом с ней, развалившись важно в мягком кресле, сидел дедушка и, разглаживая обвисшие желто-серые усы, тягучим голосом рассказывал:

— Сахар есть христализованная жидкая сладость...

— О-о-о, жидкость! И вовсе не жидкость, а...

— А ты лежи и слушай, — оговаривал равнодушно дедушка, — а то я и рассказывать не буду.

Талочка умолкала, с любопытством смотрела сияющими глазками на дедушку, а он спокойно продолжал, ухмыляясь в усы:

— ... которая выжимается из камыша, подымающегося выше сажени. Сие прозябание бывает коленчатое, цветом иззелена-желтовато, видом снаружи лосклевато, а внутри губчато. На вершине его выходит венчик...

— Венчик, — спросила Талочка и вздохнула, — какой венчик?

— Да, цветик мой, венчик, — тянул напевно дедушка, — подобный тому, который бывает у наших камышов. Отечество его Индия, Канарские острова. Живущие в сих странах люди великое о нем прилагают речение. А как свойственно ему родиться на тучных местах, то они и избирают всегда для него мягкую рыхлую и пологую землю, с утра до вечера солнцем освещаемую, с коей дождевая вода свободно стекает. Когда сахарное прозябание, цветик мой, на такой земле совершенно приспеет, то они срезывают спелые колоски сего тростника и очищают с них ветви, или, лучше сказать, листы...

— Из листов делают? — взмахнув ресницами, спросила Талочка.

Дедушка, ничего не ответив, продолжал:

— ...после кладут его в сделанные нарочно для того орудия, и посредством их выжимают из тростниковых колосков, связанных в пучки, сок, который бывает столь крепок, что ежели его подержать хотя день без употребления, то он бродит и делается острым и кислым, чего избегая вдруг по выжатии варят в медных котлах с иззолком, сделанным из воды, куда подмешивают несколько раз воды известно растворенной, от сего сок переменяет свой вид, и делается несколько прян...

— Прян? — не открывая глаз, спросила Талочка.

— Да, цветик мой, прян, — ответил дедушка и продолжал дальше, нежно баюкая своим монотонным голоском. — Но чтобы его сделать белым, густым, зернистым и притом твердым, то сие делают через частую перетопку и очищение. И так кладут его в сосуды довольно большие, из которых проведены трубы в сосуды же так называемые сахарные, куда он по своей жидкости входит. Там его варят. При варении его снимается нечистота. А чтобы его спенить, вливают несколько щелоку. Все сие производят несколько раз и до тех пор, пока сок не придет в настоящую густоту. При чем перекладывают его в чистые котлы, он при простужении делается несколько зернистым, как песок или соль белая. Но чтобы он высох хорошо, то для того единственно при варении кладут известь. Однако, такой сахар бывает жирен и нечист: для чего его еще перетапливают, разводя его опять в воде с известью, которую при беспрестанном варении и мешании вспенивают, бросая туда белок или кровь, через что находящейся в нем нечистоты много отделяется. При сем перекладывают его в чистые сосуды, где и застывает. В сем виде он и продается. — Тут дедушка остановился и посмотрел на Талочку: она лежала с закрытыми глазами, беззаботно и легко спала. Глядя на нее, он улыбнулся, привалился спиной к спинке кресла, втянул старческую седую голову в плечи, так что концы желто-серых усов легли на грудь, закрыл глаза и не менее сладко, чем Талочка, заснул, выпустив из рук книжку, и через пять минут его прозрачный и нежный храп свободно разливался, мелодично звенел на всю квартиру, состоящую из трех комнат — столовой, спальни и кабинета.

Вера, как и до обеда, сидела на диване, держала на коленях книгу, но она ее не читала, а смотрела поверх

открытых страниц и глубоко о чем-то думала. Так она просидела до приезда отца и матери, которые к ее удивлению приехали вместе и не поздно вечером, как они говорили, а совсем за-видно и тут же после обеда. Она встала с дивана, подбежала к отцу, обняла его и громко поцеловала. Потом подбежала к матери и, висня у нее на шее, радостно стала целовать ее. Мать, ласково отстраняя дочь, проговорила:

— Поосторожнее, ты мне шею сломаешь. — А когда Верочка освободила ее, она тревожно спросила: — А Талочка?

— Спит.

— Обедали?

— Недавно. Если бы мы знали, что вы скоро приедете, обождали бы вас, — ответила Верочка.

— Мы пообедали, — ответила мать и направилась в спальню; за нею и Верочка. Увидав Талочку спящей в постели, а дедушку — в кресле, она притихла и вместе с Верочкой осторожно, на цыпочках, вышла из спальни и поманила к себе мужа. Он, стараясь не шуметь, подошел к жене и дочери и вместе с ними заглянул в спальню: Талочка, раскидав пухлые розовые рученки и черные кудри по подушке, улыбалась, мило цвела тихой улыбкой во сне, легко дышала; дедушка, при виде которого народный комиссар чуть было не расхохотался, лежал очень важно и не менее важно напевал носом.

Народный комиссар обратился к Верочке:

— Он, наверно, какую-нибудь скучную историю рассказывал и, не выдержав ее, сам захрапел от скуки.

— Что-то про тростник рассказывал и про сахар, — улыбнулась Верочка.

— Тише, — сказала шопотом Верочке мать и, взяв мужа и дочь за руки, бесшумно вышла с ними из спальни и, стараясь не шуметь, осторожно закрыла за собою дверь.

— Пусть поспят.

Народный комиссар прошел к низкому, но широкому дивану, покрытому парусиновым чехлом, остановился около него, посмотрел на часы, потом опустился на диван, закинул ногу на ногу и привалился к спинке. К нему подошла Верочка и, взбираясь на диван с ногами и поджимая их под себя, воробушком прижалась к отцу и стала ему рассказывать о только что прочитанной книге и о написанном ею стишке. Отец слушал ее очень внимательно, временами шутил, громко смеялся. Жена его, женщина выше среднего роста, с умными карими лучистыми глазами, — они несмотря на ее бальзаковский возраст, говорили не только о былой красоте, а и сейчас делали ее очень красивой, — с темно-золотистыми волосами, что тяжелой короной лежали на ее небольшой, смугло-матовой голове, украшенной маленькими розовыми ушами, возле которых пышно вились темно-золотистые пряди, своевольно выпавшие из тяжелой прически. Она сейчас стояла около кресла, облокотившись на него левым бедром, смотрела на дочь и очень внимательно слушала ее стихи... Вера немного придушенным и напевным голосом читала свои стихи, изредка вскидывая голубые глаза на мать, как будто ища в ней поддержки в случае нападения на нее отца. Мать ее была одета необычно просто, но прилично и с большим вкусом: на ней было темно-серое шерстяное, с небольшим вырезом на полной груди платье, с изящной оторочкой рукавов, кромок грудного выреза и подола юбки. Платье свободно покоилось на ее статной и

стройной фигуре, формы ее тела были легки, ритмично выступали на вид из классических и естественно лежащих складок и теней платья, так что, глядя на них, хотелось вскрикнуть от истинного восторга.

Верочка, поглядывая смятенными глазами на мать, читала стихотворение, которое, нужно сказать, было очень слабо, попахивало сомнительным запахом современной громопоэзии — не в идеологическом, конечно, смысле, а в другом. От ее стихов отец все время хмурился, в особенности он был недоволен последней строфой:

Придет пора, и мы с тобой
Пойдем, пойдем в кровавый бой,
И кровью алою своей
Окрасим зарево полей.

— Очень плохо, — сказал он. — В этом твоем произведении нет и грана поэзии, — просто набор ничего не говорящих слов.

Верочка обиженно покраснела и стала защищаться.

— Неверно. Ты просто не любишь мои стихи.

— Я люблю хорошие стихи: Пушкина и...

Тут вмешалась мать и перебила мужа:

— Он еще любит Бунина. — И, обращаясь к обиженной и готовой расплакаться Верочке, добавила: — Я советую тебе стихов не читать отцу: он ни балбеса в них не понимает.

— Я больше и не буду, — согласилась с матерью Верочка.

— И не надо, — подтвердила сердито мать. — Ты лучше читай одной мне.

Отец мягко рассмеялся:

— Ценитель нашелся какой. Впрочем, ты покровительница поэтов из «На углу». Я этих графоманов не читаю: это просто вояжеры, а не поэты...

— Лучше тебя понимаю.

Народный комиссар хотел что-то возразить жене, стоявшей все так же около стола, привалившись к нему бедром, но ничего не сказал, так как услыхал недовольство дочери, — она медленно отодвигалась от него к концу дивана. Обиды дочери он не выдержал, его охватила колючая жалость к ней. Он быстро протянул к ней руки, обхватил ее еще детское вздрагивающее от обиды тело и привлек к себе. Она слабо сопротивлялась, так как хорошо знала своим юным сердцем, всем своим маленьким существом, что отец крепко и горячо ее любит. Он привлек ее к себе и, целуя в полузакрытые и влажные от слез глаза, похожие на его, нежно стал гладить правой рукой по ее светлым волосам:

— На папу не сердись.

Верочка, прижимаясь к отцу:

— Я не сержусь.

— А надулась! — гладя нежно ее кудри, говорил взволнованно он. — Плакать не надо. Хочешь, я тебе прочту одно стихотворение, а ты повнимательнее послушай. А ты куда? — обратился он к жене, которая отошла от кресла и пошла было из столовой. — Ты тоже послушай: ты ведь раньше любила меня слушать, даже сама просила, чтобы я что-нибудь прочел тебе из Пушкина, Лермонтова. Помнишь, как мы с тобой читали «Евгения Онегина» и «Демона» в грязной избушке, когда были в ссылке в Обдорске и когда у нас с тобой была маленькой Верочка? Не помнишь?

Она подошла опять к креслу, улыбнулась:

— Давно это было. Как хочется все это вернуть и снова пожить вместе, — вздохнула она и горячим пронизывающим взглядом взглянула на мужа. — Но прошлого не вернешь.

— Что с тобой? Зачем такие слова? Разве мы не живем вместе?

— Нет. Ты дни и ночи занят; в праздники — тоже; ты приходишь домой, а я из дома; так почти всегда. Ну скажи, разве это жизнь? Только скрашивает работа и глубокая вера, что мы строим другую жизнь...

Он ничего не ответил жене, да и что он мог ответить, когда в словах жены было столько правды. Он хорошо знал, да и жена не хуже его знала, что сколько об этом ни говори, сколько об этом ни болтай языком, все равно ничего из этого разговора не получится, главное, работы партийной, общественной не убавится, а будет ее все больше и больше. Поэтому он уклонился от ответа жене, ничего не сказал, даже опустил глаза, чтобы не встретиться с временно опечаленным ее взглядом, который он ощущал тяжело на себе. Он только что было хотел начать стихотворение:

— В глубоких колодцах...

— У тебя очень плохой вид, — неожиданно перебила его жена, глядя пристально на него.

Он вздрогнул, но не поднял глаз на жену.

— Ты все выдумываешь.

— Ничего я не выдумываю.

Он не ответил. Он все крепче прижимал к себе дочь. Верочка уже перестала дуться на него. Она, взмахивая изредка светло-золотистыми ресницами, похожими на крылья бабочки, поглядывала то на опущенное желтое измученное лицо отца, с знакомой родинкой на левой щеке, в складке глубокой морщины, что шла от переносицы к углу губ, то на грустное лицо матери, на ее карие лучистые глаза, на ее всегда тяжелую прическу, с нежными темно-золотистыми колечками на матовой шее.

— Тебе необходимо надо отдохнуть, — вздохнула жена. — Я даже не знаю, где ты свалишься...

— Оставь, — не поднимая глаз, возразил он жене. — Ты лучше послушай стихотворение, которое я прочту.

— Ты всегда меня обманываешь, — неожиданно, с дрожью в голосе, сказала она громко и опустила голову.

Народный комиссар испуганно завозился, поднял голову, взглянул недовольно на жену:

— Я тебя обманываю? Не понимаю.

— Ты мне сказал, что ударился об дверку машины, а на самом деле с тобой был припадок.

— Вона что, — стараясь быть добродушным, рассмеялся он, — а я думал, что я вторую жену завел. Кто тебе соврал?

— Твой секретарь.

— Ну, и нашла кому верить, — протянул шутливо он и, желая прекратить разговор о себе, обратился к дочери:

— Хочешь, чтобы я прочел тебе, а?

— Хочу.

— Так слушай, — сказал он дочери и обратился к жене: — садись вот сюда. — А когда жена подошла к нему, села рядом с ним на указанное место, он кашлянул и восторженно, подчеркивая каждое слово, прочел стихотворение, обращенное к «Поэту».

В глубоких колодцах вода холодна,
И чем холоднее, тем чище она.
Пастух нерадивый напьется из лужи
И в луже напоит отару свою,
Но добрый опустит в колодец бадью,
Веревку к веревке привяжет потуже.
Бесценный алмаз, оброненный в ночи,
Раб ищет при свете грошовой свечи,

Но зорко он смотрит по пыльным дорогам,
Он ковшиком держит сухую ладонь,
От ветра и тьмы ограждая огонь,
И знай: он с алмазом вернется к чертогам.

И он тихо закончил, еще крепче прижав к своему боку притаившуюся дочь. Несколько минут в столовой стояла чудная тишина; в этой тишине все еще звучала отчетливая и потрясающе простая глубина стихов. А когда Верочка обняла отца, поцеловала его в щеку, на которой была родинка, он, взглянув на нее, как-то особенно улыбнулся:

— Поняла?

— Поняла, — прошептала Верочка. — Ты злой, папочка, но и очень хороший.

— Я злой?

— И хороший.

— И хороший? Все вместе: зло и добро?

— Да, — еще раз целуя отца, проговорила она. — Как ты не любишь современных поэтов...

— Не люблю. А тебе советую учиться только у мастеров слова... Я не люблю «отечественную поэзию»...

— За нерадивость к слову?

— Да. Я не могу пить с ними из одной лужи: мне хочется пить из глубоких колодцев нашей современности.

— Так писать трудно, — сказала Верочка и попросила отца прочесть еще.

— Все на земле трудно делать, а раз делать надо, то делать надо хорошо и честно, чтобы след остался от дела, чтобы новые люди могли бы его прокладывать дальше, в будущее...

Верочка не ответила. Она смотрела на отца. Мать тоже молчала. Он смотрел в сторону и что-то вспоминал, а когда вспомнил, обратился к дочери:

— Прочту еще одно, — и таким же мягким задушевным голосом прочел:

СЛОВО

Молчат гробницы, мумии и кости,—
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте
Звучат лишь письмена,
И нет у нас иного достояния!
Умейте же беречь,
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный—речь.

Однако, это стихотворение не произвело такой силы, такого глубокого впечатления, как первое. Но Верочке оно понравилось, она попросила отца написать его в толстую тетрадь, в которую она записывала свои. Мать возражала против этого стихотворения. Она говорила, что не одни «письмена» останутся от людей, — останутся и дела. Но спор по поводу этого стихотворения не разгорелся, так как с веселым криком, распахнув широко и шумно дверь, влетела Талочка и с раскрасневшимся от сна личиком бросилась к отцу и, отталкивая ручонками и визгом Верочку, забралась к нему на колени и звонко защебетала.

За Талочкой тихой, раскачивающейся походкой вышел дедушка и, не видя приехавших и сидящих на диване народного комиссара и его жены, добродушно бормотал:

— Ну, стрела, даже не заметил, как она стреканула мимо меня, а? Обожди, я тебя поймаю! — И он, только подойдя к столу, заметил, что на диване сидит вся семья, на коленях у отца «воюет стрела», остановился и, глядя на всю семью заспанными, припухшими, спокойными глазками, попятился назад, опять остановился и, разглаживая обвисшие усы, проговорил:

— С приездом.

— С добрым утром, — ответил народный комиссар.— Хорошо вздремнули?

— Маненько, — ответил дедушка и заторопился было уходить.

— Ты куда? — остановила его ласково хозяйка и поднялась к нему навстречу. — Сейчас будем чай пить. — И, усадив его на диван, на свое место, пошла ставить самовар.

— Нет, поздно, пожалуй, будет, пойду, — проговорил дедушка, поднимаясь с дивана.

— Никак нельзя, — возразил серьезно народный комиссар: — жена не велела, да и Талочка не отпустит, — и он обратился к Талочке, что стояла за его спиной и, обняв его шею, смотрела через его левое плечо: — Не пустишь дедушку?

— Не пущу, — крикнула она громко и полезла на плечи к отцу.

Дедушка снова сел на диван и стал смотреть, как отец сполз с дивана на пол, опутал голову и шею большим пуховым платком, поднялся на колени и на руки и, воображая из себя лохматого медведя, стал ползать по полу, а Талочка шумно, с громким визгом прыгать около него, бегать за ним, стараясь забраться к нему на спину. Игра была настолько веселой и интересной, что дедушка и Верочка громко смеялись, помогали Талочке поймать «Мишку» и взобраться на него. В особенности было радостно и интересно, когда «Мишка» споткнулся и плашмя растянулся на полу и громко заревел, а Талочка подскочила к нему и быстро взобралась на него верхом, обхватив его шею рученками, чтобы не упасть. «Медведь», чувствуя, что его поймали и что ему больше не убежать, с тихим покорным ревом стал подниматься

и кружиться по столовой вокруг стола, катая на себе Талочку. Катаясь на широкой спине «Мишки», Талочка много смеялась, хлопала в ладоши, визжала, особенно когда Верочка ловила ее и хотела стащить с отца.

Игра продолжалась до подачи самовара, вернее до прихода матери: она не разрешала мучить отца и отнимать у него отдых. Пили чай из пузатых чашек; сахар заменяла ореховая халва, лежавшая темно-серебристым куском на большой розовой тарелке. Напившись чаю, народный комиссар перед поездкой на завод прошел к себе в кабинет и там пробыл около часа; когда вернулся, в столовой горело электричество и стенные часы показывали без двадцати восемь. Он обратился к Верочке, — она сидела за столом и решала задачу:

— А где мама?

— Она с Талочкой на кухне.

— Скажи маме, что я поехал на завод, — и он не торопясь прошел из столовой в прихожую, не торопясь снял с вешалки серо-желтое пальто, не торопясь надел его и сутуло вышел из квартиры. Верочка видела, как неуклюже на нем повисло это невзрачное пальто, и он в этом пальто показался ей еще более усталым, еще более желтым; видя его таким, она почувствовала, как большая, переходящая в испуг жалость к отцу, к этому доброму человеку, товарищу, захватила ее, так что она быстро вскочила, побежала за ним и остановила его на лестнице:

— Папа.

Он нервно вздрогнул, остановился, повернул к ней одно лицо. Она видела, как около его глаз бились жилки, как большие горячие глаза брызнули синим светом, улыбались, лаская ее.

— Ты что?

— Ты ничего не позабыл? Не будет тебе холодно?

— Нет. Снег растаял. На улице тепло как весной.

И они целую минуту смотрели в похожие друг на друга глаза, хорошо понимая друг друга, а когда отец хотел было итти, она радостно бросилась к нему, крепко обняла его, потом, отойдя от него, громко крикнула:

— Папа, приезжай скорей!

Он взволнованно, с усиленно бьющимся сердцем сошел с лестницы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ * * *

Четыре дня под ряд можно было видеть небольшого, круглого, кривоногого, похожего на боченок человека на заводском дворе, загроможденном обломками старого желтого железа, пустыми ящиками, боченками из-под цемента, ометами каменного угля, кокса, дровами и просто отбросами всевозможного мусора, сваленного в вороха. Этот человек, несмотря на свои короткие, выгнутые наружу в голенях ноги, носился по двору, как угорелый, зычным голосом делая распоряжения.

Рабочие, разбитые на небольшие партии, работали в разных местах двора: одна убирала старое мелкое железо, вязала его проволокой, прессовала и складывала спрессованные тюки друг к другу, чтоб было лучше, удобнее брать кранам; другая выбирала крупное железо — машинный лом, рельсы, балки, старые ржавые вагонные колеса и все это сортировала, сваливала в определенные места, указанные кривоногим человеком; третья собирала бревна, доски, слеги, тес; четвертая, убирая мелкий мусор, щепу и стружку, работала метлами, вилами и лопатами, приводя в окончательный порядок двор завода; остальные три партии работали

около электрических кранов, которые, то-и-дело поднимая и вытягивая гордо свои шеи, гигантскими журавлями прогуливались по двору, цепко схватывали чудовищными клювами спрессованные тюки железа, балки, колеса, поднимали их на всю высоту своих длинных шей, с жутким металлическим урчанием двигались по двору, поворачивали шеи в сторону, одним словом, туда, куда было нужно, и складывали старое железо по порядку друг на друга. Кривоногий человек то-и-дело перебегал от одной партии к другой; голос его отчетливо выделялся из крика и смеха рабочих, из веселой и смешной, а временами озорной и грубой «матани», — рабочие-грузчики не любят дубинушку, всегда предпочитают ей «матаню» и поют ее при работе, при под'еме тяжестей; его голос выделялся из лязга и скрежета железа, из сухого и резкого урчания кранов и высоко поднимался над трудовыми днями заводского двора.

Рабочие, не отрываясь от работы, громко отвечали ему:

— Не сумлевайтесь, Юрий Петрович, все будет сделано как следует, к сроку.

А другие шутили:

— Ишь мельтешит, словно крендель поджаренный катается.

— Такой старательный.

Рыжий рабочий, бородатый, похожий на мужика:

— Наркома ждет, вот и старается.

Несколько рабочих, заворачивая и поднимая рыжую от ржавчины балку к себе на плечи, заорали сразу:

— А ты не ври!

— Я и не вру.

— Он всегда такой.

— Такой?

— Конечно, такой! У него везде свой глаз.

— Что ж в этом хорошего-то, когда скулит над тобой, как собака, — огрызнулся рыжий рабочий и хотел было увильнуть из-под балки.

— Эй, ты, чорт, рассуждать любишь, а не балки таскать! Любишь чужими боками отделываться!

— И верно, — крикнул кто-то шутливо и добавил, — дай ему по рыжему загривку за это.

Рыжий бородатый рабочий шариком подкатился к балке, стал между двумя рабочими под балку, едва касаясь правым плечом. А когда рабочие, покачиваясь от тяжести из стороны в сторону, понесли балку, он, приседая на ноги, чуть-чуть, только для глаз, прикасался к ней плечом. Кривоногий человек, которого звали Юрием Петровичем, еще издали заметил это и с большим любопытством смотрел на рыжего крепкого мужиковатого рабочего, так ловко приседавшего на ноги, чтобы не чувствовать балки и не утруждать себя ее тяжестью. Он подошел вплотную к этим рабочим, а когда они отнесли балку на место, вернулись обратно и стали готовиться к под'ему следующей, он подошел к ним и, помогая рабочим поднять балку, ловко и добродушно поставил рыжего рабочего под конец балки.

— Эй, товарищ, теперь вы под конец становитесь, — проговорил он, обращаясь к рыжему.

Рыжий, сдерживая тяжесть конца балки, медленно повернул налево круглую голову, сердито взглянул желтыми глазками на Юрия Петровича:

— Это зачем?

— Под концом всегда ходить легче, чем под серединой, — ответил все так же добродушно Юрий Петрович, — да и жопой семенить меньше будете.

Рыжий отвернулся. Рабочие громко засмеялись.

— Пошел, Потап? — Рыжий, покачиваясь от тяжести, медленно переступал под балкой; за ним переступили и пошли другие.

Молодой рабочий, краснощекий, с черными небольшими усами, крикнул на ходу из-под балки:

— Верно, Юрий Петрович, социализма одним вилянием жопы не построишь!

Юрий Петрович добродушно улыбнулся, посмотрел умными серо-зелеными глазами на рабочих, потом, захватывая в орбиту все группы рабочих, штабеля кокса, каменного угля, ржавого железа и медленное журчащее движение кранов, скользнул острым пытливым, всевидящим взглядом по всему пространству огромного двора, затем, точно подпрыгнув, рванулся с места, улыбнулся и быстро покатил к темно-красным корпусам завода, ловко перебирая выгнутыми наружу ножками.

Этот человек с Октябрьского переворота, когда крупнейшие специалисты заводского дела — директора, инженеры отказались работать у советской власти, пришел лично в партийный большевистский комитет и просто, как товарищ к товарищу, обратился к председателю:

— Вы что теперь намерены делать? Будете все еще праздновать или будете подготовлять завод к пуску? Уже пора!

Председатель большевистского комитета, старый металлист, от неожиданности такого вопроса опешил: он никак не мог себе представить, как можно говорить о пуске завода, когда еще не закончена баррикадная борьба на улицах столицы. Он важно откашлялся и, проглотив мокроту и разглаживая запущенную в эти недели бороду, которая была лохмата и походила не на бороду, а скорее на мочалку, недоумевающе взглянул на низкорослого, кривоногого, но кряжистого человека:

— Вы кто такой?

Человек, глядя прямо в глаза председателю, спокойно ответил:

— Инженер. Я инженер с вашего... — тут он запнулся и поправился, — с нашего завода.

Металлист улыбнулся в бороду, очень внимательно посмотрел на инженера. Инженер выдержал его пытливый взгляд; потом, выдержав его взгляд, он в свою очередь не менее внимательно, чем рабочий, посмотрел ему в глаза. А когда они закончили изучать друг друга, смотреть пытливо друг другу в глаза, председатель нарушил первым тишину:

— Так вы, товарищ инженер, относительно завода?

— Завода. Вы ведь знаете, что наш завод приспособлен для обороны страны, а поэтому надо немедленно его пустить, — проговорил серьезно инженер и еще более серьезно добавил: — Теперь каждая потерянная минута дорога.

— Не понимаю, товарищ инженер, что вы говорите: сейчас, понимаете, идет, можно сказать, самая драка, а вы о пуске...

— А вы деритесь, а мне разрешите имеющимися на заводе средствами подготовиться, — вставая со стула и глядя на металлиста, проговорил инженер.

— Хорошо, — сказал старый рабочий и тоже поднялся со стула и, подавая через стол руку инженеру, улыбнулся, — прямота мне ваша, товарищ инженер, нравится и скажу прямо — пришлась по душе.

— Спасибо, — пожимая руку председателя, ответил инженер. — За помощью буду приходить к вам.

— Начинайте.

На этом они расстались. Вот с этого самого времени Юрий Петрович «калачиком» катается по заводу,

собственными глазами проверяет работу, следит за машинами, заботится о сырье, о производительности завода. Одним словом, этого человека можно встретить в какое угодно время в заводе «и ночью и днем». Он лично не брезгает никаким трудом: он, ежели это требует дело, влезет в котел, вместе с рабочими проверит его, заберется в топку, ежели она испортилась или плохо работает, вместе с рабочими разберет и наладит любую машину, ежели она неисправна и плохо поддается слесарям, или какой-нибудь станок, капризный в работе. Он никогда не брезговал и не брезгует рабочими; он везде и всюду бывает с ними на равной товарищеской ноге, за что рабочие глубоко его уважают и любят, а за эти три последние года неизменно посылают его, как дельного и верного рабочему классу, своим представителем в Московский совет.

Последние месяцы, с пуском нового корпуса, он окончательно сроднился с заводом, совершенно не расставался с ним, а как будто бы сросся с ним, ночуя и обедая у себя в маленьком кабинете. Он неожиданно, словно вырастая из-под земли, появляется среди рабочих какого-нибудь цеха и, увидев какого-нибудь новичка рабочего, скидывал с себя запыленный, засаленный ватный пиджак и, отстраняя новичка от станка или от нагревательной печи и показывая ему, как надо работать, принимался вместе с опытными рабочими быстро двигаться в зареве нагревательных печей, ловко подхватывая железными крючьями раскаленные до белизны снега, брызжущие и дышащие огнем тяжелые брусья стали, гнал их по стальному горячему полу в мягко шелестящие вальцы, в которых они, вытягиваясь покорно в длину, мелькали взад и вперед, как огненные челноки по невидимой основе.

Сейчас он вошел в проволочный цех, остановился около двери и, пронизывая маленькими прищуренными глазками все помещение, стал следить за работой, за рабочими и, прислушиваясь к свободному шелесту станков, строго смотрел за огненными струйками, между которыми стояли рабочие, и, не спуская с струек глаз, напряженно следили, чтобы они не петлялись, а, вытягиваясь все тоньше, плавно бежали бы в вальцы.

В этом цехе работа не особенно была тяжелой, но требовала к себе необычайного внимания и четкости. Наблюдая за бегом бело-красной основы, которая местами вздрагивала, петлялась, сверкала страшными и опасными для жизни молниями, Юрий Петрович нервно дергался, кричал зазевавшимся рабочим, указывал на опасность, а когда они не успевали выправлять сверкающие огнем петли, он бросался сам к ним на помощь и помогал им в работе; но сейчас все было великолепно, и он стоял неподвижно и только наблюдал, как огненно-белая основа, поблескивая, потрескивая мелкою пылью, похожей на серные спички, с легким шипением текла в прокатные станки, потом, миновав станки, превращалась из белого цвета в темно-красный, потом, постепенно остывая и бледнея, в серый цвет, наматывалась на огромные металлические катушки. Видя, что все в порядке, он сорвался с места, побежал дальше, пересекая гвоздильный цех, в котором была такая трескотня, словно в нем трещали сотни тысяч воробьев, и, чутко вслушиваясь на ходу в ритм машин и не останавливаясь в гвоздильном, пробежал еще два цеха — литейный и прокатный, потом выбежал на задний двор и через него покатил к лесопильному заводу.

Завод работал на две рамы и на одну круглую пилу. Юрий Петрович, раньше чем войти в завод, всегда любил

остановиться на минутку в сторонке, вернее—в дверях, и издали собственными глазами осмотреть, или, как он любил выражаться, окинуть «динамику» работы и прощупать ее всю.

Сейчас он проделал то же самое: он остановился в дверях завода, очень внимательно стал было наблюдать за движением работы, но не выдержал и, словно его кто ужалил в самое чувствительное место, так что он подпрыгнул кверху, сорвался и от боли исказил все свое рябоватое, некрасивое, но приятное и милое лицо, бросился сначала к одному рамщику, потом к другому, приказывая во все горло остановить рамы. Бромлеевские рамы, выбрасывая из быстро мелькающих пил ливень остро пахнущих розовых сосновых опилок, громко и тяжело работали, вбирая в себя десятивершковые бронзовые бревна. Пронзительно ревела, визжала круглая пила; женщины быстро оттаскивали от рам доски, дружно, привычно подхватывали на плечи и с досками на плечах бежали, дрожа и покачиваясь бедрами, и прямо с плеча сбрасывали их к круглой пиле, так что кладка досок звучала под крышей завода, как выстрелы. Благодаря такому грохоту, реву, грому, визгу и такой дьявольской беготне, рамщики не слыхали голоса Юрия Петровича, они все так же работали, заправляя в рамы тяжелые бревна. Они остановили рамы только тогда, когда он подбежал к ним вплотную и, размахивая руками и яростно ругаясь, закричал:

— Товарищи, что вы делаете? Где мастер?

Не понимая, в чем дело, рамщики растерянно смотрели на него.

— Где мастер? — взволнованно спросил Юрий Петрович и бросился к другой раме.

— Это чорт знает что такое! — ругался он на ходу и размахивал руками. — В одну смену около тысячи рублей убытку.

Мастер был около него; он бегал за Юрием Петровичем, суетился за его спиной, боясь показаться ему на глаза. Юрий Петрович, увидав количество пропущенных бревен на табельной доске и штабель горбылей от распиленных бревен, пришел в еще более яростное настроение, так что на него было страшно смотреть. Рамщики, видя его таким, осторожно и незаметно отстали от него, немедленно подозвали пилоправа, который, услыхав остановку рам, выскочил из пилоправки и вертелся в заводе, прячась за столпившихся женщин. Услыхав зов рамщиков, пилоправ выскочил из-за толпы женщин, вытянулся во весь свой рост и бегом бросился в пилоправку, хорошо раскусив, в чем дело.

Через минуту пилоправ вернулся с пилами и, пока ругался и разносил Юрий Петрович мастера, он переставил ставку на обеих рамах и полушопотом переругивался с рамщиками, которые доказывали ему, что виноват не мастер, который дал полную ставку и указал точное количество пил, а пилоправ. Пилоправ доказывал обратное, что он ничего, ни одной пилы не убавил из данной мастером ставки, — поставил ставку пил такую, какую ему велел мастер. За спором они не заметили, как к ним подкатил Юрий Петрович, за ним высокий костлявый, с сухим бородатым лицом, с большими темными глазами, с длинными неуклюжими руками мастер.

Юрий Петрович остановился, подозвал мастера, а когда мастер подошел вплотную, он показал ему на табельную доску:

— Видите?

Мастер, пряча за спину руки, глухо согласился:

— Вижу.

— А вы подсчитали, сколько мы получили убытка от такой ставки? Вы подсчитали, сколько из этих горбылей мы получили бы теса и коротких шелевок?

— Это, Юрий Петрович, единственный случай, — оправдывался мастер и шевелил длинными руками, не зная, куда их деть.

— Единственный, — передразнил Юрий Петрович и взвизгнул. — Да вы знаете ли, сколько ваша дневная смена дала убытку, а? Не знаете? Больше тысячи рублей. Эту тысячу, понимаете, вы нынче выбросили в дрова. Что вы мне на это скажете? Ничего!

— Этого больше не будет, — прошептал мастер и положил руки в карман бобрикового полупальто.

Юрий Петрович вскинул гневные глаза.

— Не будет... — Тут подбежал к Юрию Петровичу рамщик и, глядя на него смеющимися глазами из-под густых, запыленных опилочной пылью бровей, спросил:

— Можно пускать? Ставка переделана.

Юрий Петрович взглянул на рамщика.

— Пускайте. — И обратился к мастеру: — А вас, товарищ мастер, прошу доложить о своей работе производственному совещанию.

Завод снова наполнился визгом, скрипом, гулом, пронзительным завыванием обрезной пилы, громом досок, лязгом цепей, скрипом самотасок и тяжелым дыханием бромлеевских рам, от которых судорожно и мелко дрожал под ногами толстый и мягкий от опилок пол.

Мужчины дружно, с песнями перекатывали с вагонеток тяжелые кряжи бревен к рамам. Кряжи непослушно скатывались с вагонеток, со скрипом лезли на широкие полки, на сваленные раньше бревна. Потом подрамщики

брали эти бревна с полков на тележки, стоявшие на рельсах, зажимали тисками толстые концы бревен и гнали их по рельсам в рамы, придавливая грузом, чтобы они не подпрыгивали в пилах, а шли плавно и покорно. От рам распиленные бревна оттаскивали женщины. Оттаскивали они поразительно быстро, так что было видно в сквозном и пыльном свете прямых ворот, стоявших друг против друга, круговое мелькание выгнутых под тяжестью тел, ритмическое качание левых рук, — правые придерживали груз на плечах, — дрожание и дробное покачивание плеч и грудей, бедер и ног. Одним словом, женщины не стояли ни одной минуты, — были в беспрерывном кружении труда — от бромлеевских рам с грузом на плечах через половину завода к обрезному станку и, сбросив около него груз, бежали обратно, — так до конца смены.

Иногда они работали с песнями, этими песнями заглушали грузное дыхание и сопение рам, зрелый скрип и гром скатываемых с вагонеток бревен, пронзительное визжание обрезной пилы, лязг самотасок, визг цепей и гул вагонеток.

Женщины пели разные песни, смотря по настроению: веселые, смешные, грустные, озорные, а то и просто плясовые.

Сейчас, пока Юрий Петрович стоял около рамы, вытирал влажными теплыми розовыми опилками, остро пахнущими скипидаром, руки и дожидался выхода распиленного на материал бревна, чтобы проверить лично, какие горбыли будут отходить от комлей, хотя он и без этого точно знал, что и полуаршинный горбыль не пропадет зря, — из него будет взят полдюймовый конец, — женщины грянули плясовую, а некоторые, сбросивши с плеч груз к обрезной пиле, с легким плясом

возвращались обратно к рамам, оглашая завод молодым задорным смехом, разудалой, полной огня песней:

Мимо Бакина двора
Бежит баба со двора
С двумя дочерями,
С тремя кочетами.

Тут одна румяная, стройная с мелкими веснушками на щеках, около носа, и на переносице кареглазая девушка рванулась и, развевая широко голубой подол юбки и обнажая почти до колен крепкие смугло-розовые ноги в коротких шерстяных чулках, которые чуть-чуть были заметны из полусапожек, выбежала немного вперед и, поджав бока руками, закружилась в плавном плясе, нежно и лукаво выкрикивая:

Уж ты, батюшка Матвей,
Ты, пожалуйста, отбей!
Мне жаль сына-кобеля,
Бело-гористого.
Он за зайцами ходил,
За лисицами турил,
Ох, ох, ох, ох!—
За лисицами турил!

И, подскакивая к вышедшему из рамы распиленному бревну, подхватывая его с вагонеток вместе с подругами и подставляя под него молодое плечо, задорно, с хохотом выкрикнула:

— Милые девушки, уж как чижало, смотрите, не ожеребитесь!

— Чего ты, дурища, болтаешь, — захохотали звонко другие, — мы еще нежеребные, неогульные. Пошла, озорница, — и одна из девиц, шлепнув ладонью озорницу, обратилась к Юрию Петровичу, полушутливо, полусерьезно проговорила:

— А вы не верьте, товарищ инженер, это она все сдуру несет, — и уже более насмешливо пояснила: — мы еще пока нетроганные.

— Девки, — крикнула пожилая баба, сморщенная, с большой головой от вязаного платка, собиравшая в ящик мелкие горбушки и кору, — как вам, бесстыжие ваши глазищи, не стыдно, а?

Женщины и девушки ничего не ответили, так как были далеко от рамы и подходили к обрезной пиле. Юрий Петрович посмотрел на них, улыбнулся и, ничего не сказав пожилой женщине, собиравшей в ящик кору и мелкий горбыль, повернулся к ней спиной и быстрой походкой выкатился из лесопильного завода на двор, заставленный штабелями лесного материала.

На дворе, пробегая пытливым взглядом по штабелям материала, он немного замешкался. Он, несмотря на хорошую отчетность в заводе и в каждом отдельном цехе, имел необычайную привычку, проверять своими собственными глазами и все проверенное держать крепко в своей памяти. Сейчас, рассматривая штабеля, он тоже соображал, высчитывал и подсчитывал машинально с математической правильностью в своем уме, что такого-то материала нарезано столько-то, такого-то столько-то, воинской доски столько-то, а вагонной рейки столько-то и хватит ее на такое-то время и на такое-то количество вагонов.

Одним словом, он знал почти с неоспоримой точностью все производство своего завода, его ежедневную потребность сырья, его ежедневную производительность; он с поразительной точностью знал не только здоровье какого-нибудь цеха, но он знал здоровье всего завода, а также и некоторые его болезни: Юрию Петровичу была знакома каждая машина, каждый станок,

каждая печь Юрий Петрович на память знал, что на такой-то машине работает такой-то рабочий, на таком-то прокатном станке работают такие-то рабочие, у такой-то нагревательной печи работают такие-то рабочие, у такой-то вагранки стоят такие-то рабочие и т. д.

Сейчас, выходя из ворот лесопильного двора и направляясь в инструментальный цех, он благодаря своим математическим выкладкам, всевозможным соображениям и комбинациям, не заметил человека, который бежал к нему и кричал, называя его по имени и отчеству.

— Юрий Петрович, а Юрий Петрович!

Юрий Петрович ничего не слыхал, он на кривых, выгнутых наружу ножках, с неудержимой быстротой, пересекая заводской выгон, отделяющий лесопильный цех от цехов главного завода, уходил вперед, то-и-дело скрываясь за штабеля каменного угля, кокса и дров. Остановился он только тогда, когда бежавший за ним человек нагнал его и, поровнявшись с ним, сказал:

— Юрий Петрович!

Юрий Петрович повернулся к человеку, вскинул живые серо-зеленые глазки:

— Я. В чем дело?

— Вас просят в контору.

Подходя к конторе, Юрий Петрович заметил, что на улице стало темно; в конторском корпусе ярко горело электричество и только у него в кабинете, который выходил окнами на главный двор завода и находился во втором этаже, было темно. Он, откидывая туловище назад, быстро поднялся по лестнице, вошел к себе в кабинет, но не успел снять пиджака, как к нему в кабинет вошел директор завода, тот самый рабочий-металлист, который в Октябрьские дни был председателем заводского партийного комитета, и обратился к Юрию Петровичу:

— Тебя, брат, с фонарем не сыщешь.

— А что? — ответил шутливо Юрий Петрович, снимая с себя пиджак и вешая его около двери на короткую деревянную желтую вешалку, — он никогда не оставлял своего засаленного пиджака в швейцарской, а всегда вешал у себя в кабинете, — очень нужен? — и зажег электричество.

Небольшой кабинет, заставленный наполовину удивительно большим дубовым письменным столом, выкрашенным под темно-ореховый цвет, шестью дубовыми стульями, был весь на виду, резко бросался в глаза своими темно-синими стенами, в особенности красно-синим чертежом завода, тремя портретами вождей: Ленина, Сталина и народного комиссара. Оба портрета были необычайно маленького размера, но, благодаря хорошему художественному выполнению, они выделялись, украшали небольшой простой кабинет, а главное, от этих портретов он наполнялся жизнью, светом, даже в пасмурные дни он сиял как-то радостно и хорошо.

Юрий Петрович, залезая за письменный стол, отодвинул дубовый темно-коричневый стул немного назад и, придерживая его правой рукой за угол сидения, опустился на него и обратился к директору:

— Садись.

— Некогда. Ты что, Юрий, — они все время звали друг друга только по имени и были на «ты», — разве позабыл, что нынче у нас общее собрание в клубе и на него приглашен народный комиссар?

Юрий Петрович взглянул открытыми умными глазками на товарища, поднимаясь со стула:

— Нет, не позабыл: собрание назначено в восемь часов; сейчас только пять минут девятого.

Директор улыбнулся.

— У тебя часы отстают.

— Не может быть? Мои часы ходят верно, — ответил Юрий Петрович и вынул из жилета небольшие, похожие на дамские, золотые с большим вензелем на крышке часы, открыл и, взглянув на циферблат, спросил:

— У тебя?

— Десять минут, — улыбаясь в темно-русую, сверкающую редким серебром бороду, ответил директор и, глядя на него ласковыми и любящими глазами, пояснил:

— Я без твоего разрешения предупредил все цеха.

— Я не возражаю; впрочем, они предупреждены ячейкой, — ответил Юрий Петрович и снова сел на стул.

— А ты не садись, а идем ко мне.

— К тебе?

— Да. — И директор сообщил, что у него в кабинете дожидается народный комиссар, а с ним и бюро ячейки.

Войдя в кабинет директора, Юрий Петрович остановился около двери, внимательно окинул зорким взглядом помещение, наполненное партийцами, беспартийными и администрацией, поклонился и сразу же растерялся, не зная, что делать: не то ему остаться у двери, не то пройти к столу; за столом сидел народный комиссар и разговаривал с членами бюро ячейки, с рабочими, — они его окружили густой толпой и осыпали всевозможными вопросами. Он, наверно бы по своей скромности, если бы не увидал его секретарь ячейки и не позвал бы его к себе, остался бы стоять у двери кабинета забытым, одиноким, а когда ячейка потянулась бы за народным комиссаром в клуб, он, стараясь быть незамеченным, тоже покатился бы за ней в клуб, забился бы там в уголок, вместе с рабочими стал бы внимательно слушать, наблюдать, вместе с ними стал бы гореть творческим огнем.

Но ему, благодаря большой любви рабочих, ячейки и директора к нему, никогда не удавалось стоять в каком-нибудь углу, застенчиво переминаться с ноги на ногу, а его всегда вытаскивали на почетное место, достойное его, и он, краснея и волнуясь, неохотно выбирался из-за спин рабочих, занимал место за красным столом, рядом с выбранными рабочими.

Любовь к нему была огромная. За его честность, за его любовь к рабочим, за его знание, за его любовь к заводу, которому он, не жалея своих сил и здоровья, отдавал и отдает все, ставя его на такую высоту, на какой он не стоял и не мог стоять до Октябрьской революции.

Не успел он войти, поклониться и спрятаться за спины рабочих, как его увидал секретарь ячейки, — директор ушел от него раньше, так как Юрий Петрович пожелал обмыть лицо от заводской пыли и копоти, а посему немножечко опоздал, — тот самый секретарь, который имел светло-русые пушистые усы, подкрученные под «гусара» (он был человеком военным — буденновцем), хорошие голубые глаза, и который лично был у народного комиссара и от имени всего завода просил его приехать на открытие нового цеха, подозвал Юрия Петровича к себе, а когда он подошел, он взял его под руку и обратился к народному комиссару:

— Товарищ комиссар, это наш главный инженер, которого мы глубоко любим. — А когда они поздоровались, и Юрий Петрович сел рядом с народным комиссаром и директором, секретарь ячейки, улыбаясь, пояснил: — С начала революции.

Директор, перебивая секретаря ячейки, поправил:

— Мы пошли баррикады строить и драться, а он пришел с требованием, чтобы завод восстанавливать...

— Правильно, — глядя горячими глазами на инженера, ответил народный комиссар. — Без заводов и фабрик рабочий класс не победил бы буржуазию, и Юрий Петрович, любя рабочий класс, хорошо это учел и пришел к нам в нужный момент... Жаль, что таких инженеров с нами тогда было немного.

— За одно мы его только не уважаем, товарищ комиссар, — улыбнулся секретарь и, разглаживая пушистые усы, добавил: — в партию не вступает.

— В этом, видно, вина вашей ячейки, — улыбнулся он и ласково взглянул на Юрия Петровича.

Юрий Петрович не ожидал такого колкого упрека и в то же время такого глубокого, огромного по важности уважения и доверия к нему, которое заключалось в полушутливых, но в глубоко искренних словах секретаря ячейки: «в партию не вступает». Этими словами секретарь ячейки попал ему как раз в самое сердце, так как он за все эти восемь лет работы носил в себе страстное желание вступить в партию, не один раз писал заявления, таскал их в кармане до тех пор, пока они не изорвуться, а потом рвал их на мелкие кусочки, бросал в камин, возле которого он любил проводить свободные минуты в страшные зимы, глядя на причудливо трепещущий розово-зеленоватый огонь.

В первые годы революции он боялся подать заявление; главное боялся не только того, что его не примут, а больше всего боялся того, что о нем подумают рабочие плохо, сочтут его «примазавшимся», если не хуже. В последние годы его мучило обратное настроение, и он также не подавал заявление, носил его подолгу в кармане своего неизменного пиджака, а когда оно превращалось просто в четвертушки, бросал его все в тот же дружеский камин, который обогревал его холостяцкую жизнь.

В последние годы его мучили другие сомнения, которые были еще более тяжелы, чем те сомнения, что были в первые годы революции: сейчас, во время подачи заявления, разве ему не могут сказать, а еще хуже подумать о нем: «Вот, мол, примазывается, когда война кончилась и стало спокойно». Так размышлял он до нынешнего дня, вернее до колкого упрека секретаря ячейки. Правда, тут нужно сказать, что Юрий Петрович, думая так о рабочих, что они ему скажут «примазался», был несомненно несправедлив к рабочим завода, с которыми он восстанавливал завод, — они не только уважали его, но и искренно любили, — был сам виноват, что благодаря своей близорукости не заметил глубокой любви рабочих, ячейки и директора, хотя он эту любовь везде и всюду чувствовал и которая временами доходила до его сердца, волновала и неудержимо звала его на еще большее творчество.

Сейчас, услыхав слова секретаря ячейки и ответ народного комиссара, он настолько растерялся, что даже ничего не ответил, и только его рябоватое лицо с короткими темно-русыми жесткими усиками густо вспыхнуло румянцем, засветилось всей своей глубокой, внутренней красотой и честностью. Одним словом, он, находясь рядом с народным комиссаром, несмотря на маленький рост, на сутулое туловище, крепко осевшее на кривые выгнутые калачиком ноги, на рябоватое некрасивое лицо, на обыкновенный нос, на толстые губы, был большой и интересный человек и поражал своей чудесной внутренней красотой. Народный комиссар, глядя на Юрия Петровича, чувствовал эту настоящую красоту, которая спокойно шла от самого сердца Юрия Петровича, от недюжинного его ума и, пробиваясь наружу, делала его глаза и все лицо особенно прекрасным

и благородным. Приход Юрия Петровича, его странное знакомство с народным комиссаром оборвали бурную нить беседы директора, партийцев и рабочих, а главное, оборвали речь народного комиссара, и эта оборванная речь больше не возобновлялась, да и время пришло выбираться из кабинета в клуб, так как оттуда сообщили по телефону, что рабочие давно собрались и уже можно открывать собрание.

Получив такое извещение, секретарь ячейки предложил отправиться в клуб. После его короткого предложения все поднялись, стали выходить из кабинета директора.

Когда вышли из кабинета, сошли с лестницы, на дворе было прохладно, светло от большого, похожего на полную луну, электрического фонаря; дальше, за бело-желтым полукругом света лежала темно-серая, вздрагивающая мелкими зеленоватыми огнями вечерняя предзимняя мгла.

Над умолкшим на время заводом стояло высокое черное небо, безлунное, с едва заметными синими и бледно-зелеными пылинками звезд.

Тень народного комиссара отчетливо выделялась из толпы других теней, она причудливо колыхалась острой в несколько раз увеличенной бородой, размахивала руками, острыми углами пол, забегавшими вперед длинных и быстро двигающихся ног, по бело-желтому свету фонарей. За его высокой гигантской тенью, окруженной другими тенями, немного поотстав от него, катилась шарообразная с большим просветом между выгнутых, начиная от колен, в голенях ног тень Юрия Петровича.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

* * *

Около узкой двери клуба стояли рабочие, освещенные электрическим фонарем, что висел под козырьком крыльца, и ждали народного комиссара. Среди десятка рабочих была средних лет женщина — она тоже встречала его. Увидав большую группу людей, среди них секретаря, директора, инженера, а рядом с ними высокого, сухого человека, имя которого было широко известно и которого они сразу узнали, — он был очень похож на те портреты, кои имеются в клубах, в витринах столицы и других городов Союза, — расступились, чтобы пропустить мимо себя гостя и группу товарищей, сопровождавших его. Когда он поровнялся с ними и проходил между ними, они встретили его бурными рукоплесканиями, а когда он вошел в клуб, они, еще более восторженно, двинулись за ним, хлопая в ладоши.

Появление народного комиссара на пороге клуба было встречено потрясающе бурно: огромный зал, разрезанный широким проходом на самой середине, поднялся, как один человек, и, вскидывая широкие желто-розовые ладони, повернулся к нему лицом и дружным сверкающим шумом ладоней, криком «ура» всколыхнул жаркую тишину огромного клуба.

Он поздоровался и быстро пошел по широкому, покатому к трибуне проходу, раскланиваясь с рабочими, стоявшими густо по бокам прохода; рабочие, когда он поровнялся с ними, все так же бурно аплодировали ему. Рабочие радостно проводили его до сцены, а когда он поднялся по низкой деревянной лестнице на сцену, посреди которой стоял длинный стол, покрытый красным сукном, потом недалеко, немного в стороне от

него, стоял еще маленький стол и тоже под красным сукном, — они такую ошеломляющую устроили овацию, что ему пришлось поскорее пройти сцену и спрятаться за спины членов ячейки. Рукоплескания прекратились только тогда, когда секретарь обратился к собранию, попросил выбрать председателя и секретаря. Пока занимались выборами, народный комиссар отошел в сторонку, сел на широкий светло-синий диван, стоявший около правой боковой стены, скрытой немного занавесом сцены. Не успел он сесть, как к нему подошло несколько человек, некоторые из них подсели к нему на диван, остальные остались стоять, окружив его, и стали о чем-то тихо разговаривать.

Высокий, необыкновенно длинный, похожий на небольшую отлогую гору зрительный зал клуба был набит битком рабочими обоего пола, — рабочих было подавляющее большинство. Тут, в зале, были подростки, молодые, середняки и пожилые, и они все делились на бородатых, на усатых, на безбородых, на безусых. Глядя на зрительный зал, плавно поднимающийся от сцены все выше и выше, было трудно отличить одного человека от другого, сидящего с ним рядом или напротив, или за его спиной, а все время казалось, что все рабочие, несмотря на бороды, на усы, на молодые, безбородые лица, на разноцветные глаза, сливались в одно целое цветное полотно, и это полотно было похоже на яркий, поднимающийся в небольшую горку огород, засаженный бело-цветной капустой, — так казалось издали, со сцены.

Сейчас, глядя на бесконечное количество голов, похожих друг на друга, в огромном зале, несмотря на то, что люди поворачивали друг к другу лица, бросали громкие слова, перекликались с председателем, подни-

мали руки, голосовали, кричали, возражали, смеялись,— было спокойно и стояла торжественная тишина и эта тишина гармонировала с изумительной простотой клуба, с мебелью, с темно-синей окраской стен, с ярко-красными плакатами, разбросанными по стенам, шелковыми роскошными знаменами, что в раскинутом положении стояли по бокам сцены, горели золотом надписей, позументами и бахромой; массивно и густо, напоминая горячую рабочую кровь, рдели тяжелые бархатные полотна. Из такого же красного бархата, собранного в сверкающе-тугие, похожие на лучи солнца, стрелообразные сборки, смотрели на зрительный зал портреты вождей: Ленина, Сталина и народного комиссара, того самого, что сейчас сидел около стены, разговаривал с рабочими, окружившими его. Но, несмотря на эту торжественную тишину, украшенную такой чудесной простотой, несмотря на зрительный зал, который походил, на первый взгляд, не на зрительный зал, а на цветной огород, все собравшиеся восторженно полыхали бездонными блестящими звездами глаз, глубоко волновались, жили великой жизнью, насыщенной дерзанием и борьбой.

Глядя на этот блестящий разноцветный поток глаз, поднимающийся от сцены все выше и выше и устремляющийся на сцену, заставленную красными столами, на народного комиссара, создавалось такое неповторимое впечатление, что перед сценой, перед комиссаром были не зрительный зал, не рабочие, сидящие рядами,— была прозрачная бездна, и в этой бездне бесконечно-длинный, отливающий зыбучим светом, похожим на сверкающую сталь, дрожал, воздушно колыхался млечный путь. Народный комиссар, всматриваясь открытыми горячими глазами в прозрачно-синий его

провал, медленно оторвался от стены, подошел к небольшому красному столу и хотел было начать свой доклад, но он не мог начать доклада, так как в эту минуту вздрогнул зал и, вздыбившись, приподнялся поток человеческих глаз, отчетливая до боли и громоздкая тишина испуганно шарахнулась в сторону, плотно прижалась к коридорам вечера, а оставшееся пространство, наполненное непроглядной густотой глаз, заливалось половодьем восторга, радостью и могучим прибоем ладоней. На гребне этого прибоя он, взволнованный до глубины души, стоял несколько минут, и эти минуты были бесконечно длинны, и казалось ему, что этим минутам никогда не будет конца, и он все будет неколебимо стоять на этом гребне, будет слушать неудержимый гул, будет неизменно смотреть на вздыбленные бегущие к нему человеческие глаза... Но вот гул оборвался и откуда-то из коридоров грузно надвинулась на него жаркая тишина и стала как часовой. И он, глядя в эти успокоившиеся человеческие глаза, которые любят его, верят в него, глухим, негромким голосом начал доклад.

— Товарищи, — сказал он и взглянул в прозрачно-синий провал: никакого не было провала, никакого не было млечного пути из человеческих глаз, — был обыкновенный покатый зал клуба, грязно-желтый пол, темно-синие стены, портреты вождей, афоризмы из Ленина, стулья лесенкой, на стульях туловища, цветные головы, изможденные трудом лица — бледные, желто-бледные, землистые, зеленые и подозрительно-румяные, простые обыкновенные глаза — темно-синие, карие, желтые, белесые, голубые, зеленые. Эти лица, глаза прозрачной сеткой дрожали в зале, смотрели на него, как на единственную точку опоры... Все было

просто, естественно: он стоял на сцене; перед ним в огромном зале были рабочие, близкие по крови ему; он делал доклад — отчитывался перед ними; рабочие внимательно слушали его. Он видел, как во время его доклада, прижимаясь к стене, пятился задом дальше от сцены кряжистый, кривоногий человек; он отчетливо слышал, как этому человеку сказала молодая, красивая работница:

— Товарищ инженер, — и лукавым взглядом показала на стул, стоявший рядом с нею.

Товарищ инженер осветил счастливой улыбкой свое рябоватое, но простое и милое лицо, потом осторожно, чтоб не шуметь, сел рядом с девушкой.

Народный комиссар продолжал, и его горячая, глубоко-содержательная речь широко разливалась по залу:

— ... Сейчас, как вам известно, мы переживаем один из самых трудных и самых ответственных этапов развития всего нашего народного хозяйства. Трудности эти являются, безусловно, трудностями роста, а не упадка, ибо, как вам известно, процесс развития нашего хозяйства шел столь быстрыми шагами, что о таком темпе развития не мечтали даже самые пылкие из наших советских работников. То, на что по плану предполагалось потратить, скажем, не десятки лет, а десять лет, — этого мы достигли в течение пяти лет, и вот именно этот бурный рост, этот бурный темп развития и создает все те трудности, в полосу которых мы вступили. — Тут он остановился, быстро сбросил с себя серо-желтое пальто, неуклюже сидевшее на нем, положил его на спинку стула и продолжал:

— Товарищи... — он не отличался особым красноречием, у него не было искусственного пафоса, не было

жестов «европейца», не было в голосе той напыщенности, которой страдают некоторые современные ораторы, не было той фальши и резонерства, не было той красивой образности, похожей на павлиний хвост и вычитанной из дешевой беллетристики нашего времени, — а в нем было все главное: глубочайшая простота, любовь к делу, к рабочему классу, который выдвинул его, огромная искренность, честность, стальная вера в свою партию; он, неуклюже размахивая руками и возвышая до визгливости, а временами понижая почти до шопота голос, выкорчевывал слова из самого нутра, как тяжелый булыжник, катил эти слова в зал клуба, зажигал своей искренностью, приковывал к стульям, заставлял вместе с собой мучительно болеть за судьбу советской страны, глубоко радоваться.... Сейчас на этой трибуне он, несмотря на всю свою костлявую фигуру, одетую в неизменно-зеленоватый потертый френч, на свое бледно-желтое, утомленное лицо, обросшее клинообразной, темно-русой, изредка посеребренной бородой, казался необыкновенно могучим, а его глаза над бледно-желтым лицом, над обострившимся носом, над родинкой, что была на левой щеке и как раз в самой складке, шедшей от носа, пылали черно-синим огнем, согревая все перед собой.

— ...мы исчерпали основной капитал, который достался нам от буржуазии. Он в значительной степени изношен, его необходимо переоборудовать, а вместе с тем, достигши почти предельного уровня при имеющемся основном капитале, мы испытываем величайший и громаднейший товарный голод. Вместе с тем у нас исчерпался запас квалифицированной рабсилы и технического персонала, и мы сейчас стоим вплотную перед необходимостью их воссоздания...

Вы знаете, что наша крупная государственная промышленность, не считая мелкой, в течение одного года привлекла более четырехсот тысяч новых рабочих, которые раньше не были в процессе производства...

Тут рабочие восторженно оборвали его.

— Правильно! — и, вскидывая кверху темно-желтые руки, наполнили рукоплесканиями зал.

Пока они хлопали, он вытер вспотевшее желтое лицо, налил в стакан немного воды и медленно выпил ее, потом поставил стакан к графину, наполненному наполовину водой, и продолжал дальше:

— ... Какие же задачи стоят перед нами? Как к ним надо подойти?..

В граненом стакане и в узком граненом горле графина дробился электрический свет, пересыпался всевозможными яркими цветами; в этих цветах неуклюже отражался костлявый, размахивающий руками, силуэт народного комиссара.

Юрий Петрович, глядя на пересыпающийся яркий свет, на темную тень докладчика, одновременно отраженную и в графине и в боковом зеркале, записывал в книжку некоторые мысли доклада и с сладко замирающим сердцем ощущал на себе глаза красивой работницы, ее милые, пахнущие весной, молодостью веснушки, что были рассыпаны на нежной и немного обветренной переносице и на матово-розовых щеках, около носа. Чувствуя карие, брызжущие огоньком глаза, Юрий Петрович вспомнил лесопильный завод, озорную девушку и, записывая в книжку отрывки доклада, подумал:

«Она», — и взглянул на девушку и, встретившись с ее лукавыми глазами, с розовыми чуть-чуть улыбающимися

губами, с милыми, пахнущими весной веснушками, улыбнулся ей.

Девушка прошептала, кося на него глаза:

— А вы, товарищ инженер, и вправду не подумайте, что я такая озорная. — И, опустив глаза, склонила голову и стала перебирать грубоватыми пальчиками оборку черного фартука. Юрий Петрович, глядя на ее лукавое лицо, на тонкие темные брови, похожие на две стрелы, вспомнил одинокую холостецкую комнату, печальный треск камина, красно-зеленые языки огня, склонился ниже, вырвал листок из записной книжки и крупно написал:

«Ничего такого не думаю. Вы мне очень нравитесь». — Потом свернул его пополам и подал ей. Девушка развернула, прочла, краснея, а когда прочла, совсем покраснела, потом несмело скомкала записку в комочек и, опустив ее в карман, плутовато проговорила.

— Брешете, небось, товарищ инженер, — затем, немного подумав, сердито добавила: — За хорошенькими все любят ухлестывать.

— Бросьте, родимцы, шептаться-то, — недовольно прощептала соседка и лукаво толкнула в бок девушку. — Разве мало за тобой, бесстыжая, двуногих кобелей бегает, а?

Юрий Петрович, густо вспыхнув, нагнулся к записной книжке, быстро поймал фразу доклада, записал ее в книжку и, боясь поднять лицо, стал вслушиваться в слова народного комиссара, желая понять пропущенное им во время разговора с соседкой. Докладчик, размахивая руками, взволнованно продолжал:

— ... говорить о переоборудовании промышленности за счет крестьянства нельзя, ибо и то соотношение,

которое имеется сейчас, слишком тяжело для крестьянства. Некоторые говорят, что эту индустриализацию необходимо произвести за счет кулачья, за счет буржуазии, но это есть в нашем строе несколько меньшевистский уклон, ибо заграничные социал-демократы и наши меньшевики не мыслят иного строя, как строя при господстве буржуазии и кулачья...

Слушая докладчика и записывая отдельные мысли из его речи, Юрий Петрович все больше и больше увлекался, так что его маленькие, умные глазки расширялись и, сверкая зелеными искрами, восторженно поблескивали, а его рябоватое лицо было вдохновенно и прекрасно, сияло внутренней красотой, в особенности он чувствовал себя хорошо в те минуты, в которые докладчик коснулся завода, в котором он, Юрий Петрович, работал с Октябрьской революции и работает сейчас. Докладчик в своей речи сказал буквально следующее: — ...ваш завод изумительно хорошо поставлен, на вашем заводе производительность выше довоенного...— и он, обращаясь к рабочим, многозначительно добавил:

— ...и все это благодаря вашей пролетарской сознательности.

А когда движение и рукоплескания смолкли, он отошел вперед от стола, заслонив его собой, громким голосом прямо сказал: — таких инженеров, как Юрий Петрович, наша промышленность да и вообще весь наш Союз не особенно много имеет; десяток-два и обчелся... — Тут зал снова заколыхался, затрепетала блестящая сетка человеческих глаз, раздались голоса из разных углов залы:

— Правильно!

Кто-то хрипло крикнул:

— Ура!

Потом с некоторых скамеек раздались жидкие аплодисменты, потом грузно поднялись первые ряды и, поворачиваясь лицом к Юрию Петровичу, устроили ему овацию. За передними рядами поднялся весь зал и присоединился к овации.

Юрий Петрович робко поднялся и, сутулясь и приседая на кривые ноги, неумело и смешно раскланивался на все стороны.

Народный комиссар, глядя на него и улыбаясь, тоже аплодировал.

После овации Юрий Петрович сел на свое место и не знал, что ему делать от охватившего его смущения и радости. Он, глубоко волнуясь и переживая все происшедшее с ним сейчас в клубе, не знал, на чем сосредоточиться, а главное, он никак не мог поймать в этой тишине, которая от горячей и отчетливой речи докладчика казалась беспредельно прозрачной и звучной, как притаившаяся под светло-голубым куполом серебряная арфа; он никак не мог поймать речь, которая неудержимо текла с трибуны, увлекая за собой несколько тысяч глаз, глядевших напряженно на докладчика; он, Юрий Петрович, так и не поймал конца речи, так и не сосредоточился на ней: он все время сидел взволнованно и плыл куда-то далеко-далеко, подчиняясь своему воображению и вслушиваясь в отдаленный человеческий гул.

Народный комиссар продолжал:

— ... Товарищи, я хотел указать, что наши отделы труда не смогут выполнить тех великих задач, тех трудных задач, которые стоят перед нами в области нормирования заработной платы, в области организации труда, если между нами, если между заводоуправле-

ниями, если между нашими хозяйственниками и теми рабочими, которые непосредственно работают и выполняют эти работы, не будет необходимой, достаточно прочной, крепкой связи. В этом именно и есть назначение производственных совещаний. До тех пор, пока перед нами не было таких больших трудностей, пока основной капитал не был исчерпан, пока наша работа заключалась в том, что мы переходили от станка к станку, загружали цеха при тех станках, которые у нас были, и нам удавалось благодаря этому увеличивать производительность труда и расширять производство и, таким образом, создавать базу для дальнейшего накопления, для дальнейшего переоборудования, расширения и для роста зарплаты, — мы могли кое-как обходиться без инициативы широких рабочих масс...— передохнув, он возвысил голос:

— Теперь же, при том положении, в котором мы находимся, без доброй воли, без решительной воли рабочего класса, тех рабочих, которые работают на заводе, мы не сможем разрешить задач, которые ставим перед собою...

Бурное движение, рукоплескания, похожие на поднявшуюся стаю испуганных и тяжелокрылых птиц, и возгласы заглушили слова докладчика:

— Надо давно бы этот вопрос поставить!

— Ближе к хозяевам, если мы хозяева!

А когда смолкли аплодисменты и голоса, он, чуть-чуть улыбаясь в бороду и вытирая вспотевший лоб, мягко ответил:

— Иначе в рабочем государстве и быть не может.

— Правильно!

— Да здравствует рабочий класс и его ленинская партия!

— Товарищи, в заключение я должен сказать, что мы со своей стороны приложим все силы и все старания к тому, чтобы производственные совещания всемерно развивались, чтобы наши хозяйственники и все вы принимали в них самое деятельное участие. Только при этих условиях все те трудности, которые стоят перед нами, могут быть преодолены... — Последние слова он высказал громко, отчетливо, отделяя и подчеркивая каждое слово, чтобы оно было просто и понятно каждому рабочему. Сказав эти слова, он медленно и под потрясающий гул ладоней отошел от стола, прошел в глубину сцены, а когда аплодисменты и голоса смолкли, он подошел обратно к столу, возле коего на стуле лежало пальто, взял его и надел на себя. Потом, это после закрытия председателем собрания, он в сопровождении секретаря ячейки, директора и членов бюро ячейки спустился по лестнице в зал клуба, где его поджидали взволнованные рабочие. Они, как он только сошел с летницы и вступил в зал, густо окружили его и устроили ему вторично бурную овацию. Потом вместе с ним вышли из клуба, запрудив собою всю площадь перед клубом. Потом больше часа держали его на этой площади, осыпая всевозможными вопросами, на которые он охотно отвечал. Рабочие спрашивали его обо всем, что им было близко и дорого. Они спрашивали, что сейчас происходит в партии? Как международное положение? Готова ли она, в случае войны? Делали замечания. Вносили предложения. А один рабочий, старый токарь, во время ответов докладчика на вопросы, вышел из толпы, протиснулся вперед, остановился рядом с ним и, глядя на него острыми глазами, спросил:

— Товарищ, разрешите задать еще один вопрос?

— Давайте.

— Нас, рабочих, очень беспокоит оппозиция... Мы не хотим раскола партии... Но хорошо знаем, что в нашей партии неспокойно: оппозиция здорово бузит, мешает работать, и партия, благодаря этой бузе, буксует вхолостую, на 50%, а она должна на все 100 работать в области строительства... Что вы на это скажете?

— Верно, Тихонов, это мы видим своими глазами, — раздались голоса рабочих.

— У нас на заводе тоже имеются бузотеры. Они не работают, а только брехней занимаются.

— Правильно! Они своей болтовней отрывают от дела, заставляют няньчиться с ними...

— Мы не желаем, чтобы они нас заставляли нервничать!..

Народный комиссар не знал, кому отвечать, так как вопросы неудержимо сыпались на него.

— У нас, у рабочих, создается очень плохое впечатление, — оттерев токаря от народного комиссара и подойдя к нему вплотную и взяв его за пуговицу, проговорил высокий, белокурый и голубоглазый рабочий, с большим шрамом на левом виске. — Нам кажется...

— Что? — спросил он, улыбаясь.

— Нам, рабочим, кажется, что ЦК боится оппозиции... Поэтому он с ней и тятешкается. Наше мнение такое: оппозиция не права, но ежели ЦК чувствует себя слабым, боится ее вождей, боится без этих вождей управлять страной, тогда согласуйте с оппозицией и работайте вместе с нею, но не трясите партию, не срывайте работу... Мы этого не хотим...

Рабочие глухо зашумели:

— Дело говоришь, Петров!

— Лебедь и рак никогда не согласуются!

— Воза не вывезут!

Раскатистый, похожий на обвал, хохот.

Белокурый, со шрамом на виске:

— А ежели наш ЦК чувствует себя правым, сильным, не боится вождей оппозиции...

— Ну, говори!

— Обожди, не перебивай, — отстраняя от себя рабочего, крикнул белокурый. — Тогда он, наш ЦК, должен прекратить тряску партии, и этих вождей, трясунов партии, выгнать к чорту...

Одобряющий гул прокатился по толпе:

— Правильно!

— Дело сказал, по-рабочему!

— Миллионная партия не пропадет!

— Ежели был бы Ильич...

— О-о-о! Он бы перьев не оставил от оппозиции...

— По ветру пустил бы...

— Он показал бы этим вождям, как порочить партию, как мешать с грязью лучших ее представителей.

Сотни голосов, вырастая в возмущенный гул, требовали прекратить эту качку партии. Слушая этот гул, он долго не мог ответить рабочим, так как они возбужденно разговаривали между собой. А когда он на все вопросы ответил, рабочие снова устроили ему овацию и всей массой, — в этой массе он в своем серо-желтом пальто совсем затерялся и, глядя на него, никто бы не сказал, что это народный комиссар, имя которого гордо и величаво звучит в сердцах многомиллионного народа, с глубокой любовью произносится, что это он, тот товарищ, которого рабочий класс выдвинул из своей глубины, который неколебимо стоит на высоком и почетном посту, честно охраняет интересы, судьбу и жизнь своего класса, — пятитысячной массой проводили его до машины, а когда он сел и машина бесшумно

пошла, рассекая круглыми белыми прожекторами черно-зеленую тьму и пугая пронзительно-резкой сиреной притаившуюся ночь, они, разбиваясь на группы и направляясь в разные стороны, тихо, но дружно, с глубоко-потрясающим волнением подхватили свой гимн, который бурно клокотал у них внутри, просился наружу.

Юрий Петрович, крепко ступая кривыми ногами на пятки и направляясь к заводу, робким голоском подхватил:

Весь мир голодных и рабов...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

* * *

Осень в этом году была поздняя, чрезвычайно дождливая; Кремлевский парк на древнем фоне пепельно-белых стен, башен и дворцов тускло желтел, как старинная бронза; дворцы эти как будто, ежели на них посмотреть издали, вырастали из-за мутно-белых зубчатых стен, башен, гордо и торжественно стояли над стенами и башнями и, поблескивая узкими решетчатыми окнами, величаво поднимались в тяжелое мокрое небо, похожее на мышиную шерсть, и там в мышиной и в мягко-слюдяной мгле пропадали острыми старинными крышами.

По вечерам, облепив, словно крупной зернистой икрой, Кремлевский парк, отчаянно кричали, дрались, гремели сучьями злые сереброголовые галки, серые крупные московские вороны.

Под мокрой, тяжело развернувшейся плашмя бронзовой листвой, по которой четко, как по жести, барабанил мелкий, назойливый, почти прямой дождь, было до возмутительности тускло, серо и мокро, было до

отчаяния пустынно, одиноко и только по всем песчаным дорожкам, посеревшим от дождя, от воды, блестевшей темными зеркалами, рыхло и широко ползла, припадая плотнее к бледно-зеленой, к сырой, как губка, земле, рыхлая, осенняя мгла.

Несмотря на такую погоду, на изнеможденное отчаяние Кремлевского парка, на невыносимо визгливый крик галок, на их драку, на редкую басовитость крупных и жирных ворон, народный комиссар, после обеда выходя из Кремлевских ворот, всегда сворачивал налево, спускался с крутой горки ровно на полчаса в парк и делал неизменно ровным шагом четыре конца: два вперед, два назад, потом отправлялся домой. Так он за последнее время проделывал ежедневно.

Нынче вечером погода резко изменилась: низкие, тяжелые, сплошные, мышиного цвета облака поднялись выше и там разорвались на несколько частей, поползли в разные стороны, размазываясь и обнажая темно-синюю бездонность неба с крупными, разноцветными звездами. В этот вечер меньше кричали злые галки; они только, когда на вершины деревьев налетал ветерок и гремел, как тонкой жестью, листвой, испуганно просыпались и, цепляясь гибкими пальцами в ветки, визгливо трещали, гремели омертвевшими на зиму сучьями, сбрасывая с них сухую листву, которая, легко вертясь в воздухе, медленно падала на тускло-серые дорожки и, прижимаясь к ним, бежала дальше, подгоняемая мозглым ветерком.

Народный комиссар спокойно вышагивал по одинокой дорожке Кремлевского парка, изредка поглядывая на редкие сочные звезды. На нем было все то же серо-желтое пальто, оно все так же неуклюже сидело на его костлявых плечах; на нем такого же цвета была кепка

и только козырек этой кепки казался еще более рыжим, чем он был месяц тому назад, — выцвел. Лицо у него было тоже другое — горячее, одухотворенное. Впрочем, это только так казалось: лицо у него было все то же и только за последнее время острее обрезалось, пожелтело, больше на нем появилось старческих морщин, заросло бородой, по бокам которой стало больше седого волоса, гораздо больше стало на переносице, на тыльной стороне ноздрей и на щеках, около носа, подозрительных темно-малинового цвета жилок, — вот и все. Только глаза были все те же: большие, с крупными зрачками, горячие. Шагая по парку и тревожа сонных галок и жирных ворон, он определенно знал, что жизнь его сгорела в борьбе за новый мир, как пышная ракета в бездонно-темном пространстве, и сейчас на костлявых его плечах, несмотря на его еще не старые годы, осталась только одна дряхлая старость, а в душе оголенное бытие, потрясающе ясное сознание двух эпох, которые стояли так выпукло, так рельефно перед широко открытыми его глазами, и которые он знал и знает гораздо лучше трех комнат своей квартиры с узким проходным коридором.

Впрочем, он только нынче ночью, после очередного маленького сердечного припадка, хорошо рассмотрел свою квартиру, а до этой ночи он не знал своей квартиры с узким коридором, куда выходили двери трех комнат. Случилось это так быстро и неожиданно: тут же, после припадка, он пожелал лечь в постель и, ложась в нее и засыпая, отчетливо видел, что около него на стуле сидела перепуганная Верочка и круглыми застывшими глазами, его глазами (ее глаза были похожи на его глаза), смотрела на него и внутренне глубоко страдала. Он осторожно взял ее руку и, гладя тыл ее

маленькой руки своей большой, костлявой и желтой рукой, закрыл глаза и еле слышно прошептал:

— Маме не говори.

Вера вздрогнула, склонила голову. Но он, ее отец, этого не видал, так как он погружался в теплый, необычно-приятный сон. Вот в это время он неожиданно увидал во сне свою квартиру, а сон, нужно сказать, был такой: он в темно-сером халате (он в своей жизни никогда не носил халата) сидел в кабинете; перед ним на письменном столе почему-то вместо столовой лампы горели две толстые свечи, а дальше, по бокам стола, от огня свечей колыхалась густая, непроглядная мгла. Вот в этом желтом, то-и-дело вздрагивающем, полукруге света, что исходил от свечей, он разбирал бумаги, лежавшие огромной горой на столе, на полу, около его ног; но эти бумажные горы не уменьшались, они вырастали с каждой минутой все больше, все выше и каждую минуту грозили своим обвалом задавить и задушить его. Он, сознавая эту опасность, пятился от них назад; бумажные горы неудержимо надвигались, подобострастно глядели на него липкими слюдяными глазами товарищей Сметан, Калош, Симфоний, слащаво попискивали, доказывая полезность шпанских мух и разведения крокодилов в Черном море.

Он едва успел отскочить от стола, как на него с шипящим гулом обвалилась бумажная гора, как на развалившиеся бумаги вспрыгнули Калоши, Сметаны, Симфонии и, помахивая толстыми папками, принялись отплясывать возмутительно поганый танец. Он, чтобы не видеть этих омерзительных рож, схватил толстую свечу и с криком выбежал в коридор, рассекая мглу копиевидным вздрагивающим огнем.

В коридоре трех комнат было до ужаса одиноко, голо и дул резкий промозглый сквозняк. Он бросился направо по коридору, со всего размаха распахнул тяжелую дверь и застыл на пороге, дрожа всеми членами своего тела: на пороге стояла бесцветная пустота, которая от жалкого пламени свечи была еще глубже и непостижимее. Он рванулся назад, побежал по коридору налево и тоже со всего размаха открыл дубовую дверь и в еще большем ужасе остановился и застыл: и за этим порогом стояла такая же пустота, небытие. Он попятился назад, заметался в узком коридоре. Он бегал то направо, то налево, натыкаясь на мягкую пустоту обоих концов коридора. Бегая от одного конца к другому, он слышал, как мимо него свистел ледяной сквозняк, он видел жалкий кусок и несколько сажен коридора; за ним, за обеими дверьми — непостижимое небытие, о котором он никогда не думал, как и не думал о своей квартире с длинным, таким пустым и таким страшным коридором. Он устало остановился и хотел было привалиться к стене, но тут же отскочил обратно, так как это была не стена — большое зеркало, мимо коего он проходил не один раз, не замечая его, но всегда отражаясь в его темно-белом омуте... Сейчас отскакивая и пятясь назад, он испуганно взглянул в зеркало, потом яростно вскинул кулаки и медленно стал двигаться к нему: на него из омута зеркала смотрело превеликое множество засахаренных рож и все они, показывая ярко-красные языки, сыто облизывались, икали:

— Имею честь представиться, товарищ Калоша...

— Имею честь представиться, товарищ Сметана...

— Имею честь представиться... представитель братской республики товарищ Симфония.

Тут он не выдержал, размахнулся и ударил по зеркалу, но перед ним уже не было никакого зеркала, — была опять пустота, небытие, и он оступился в это небытие, и когда, как камень, стал опускаться в нее, он придушенно вскрикнул и открыл глаза: в спальне было тихо, на стуле все так же, как и до этого, сидела Вера и еще более смятенными глазами смотрела на него.

— Ты что не спишь? — сказал он тихо и освободил сердце от правой ладони, тяжело лежавшей на левой половине груди.—Иди спи. Я себя хорошо чувствую.— После этого он больше не уснул до самого утра.

Сейчас, прохаживаясь по пустынной дорожке парка, он совершенно не думал об этом сне, а также и о своей квартире с узким коридором, в который выходят двери трех комнат. Сейчас он просто гулял по мягкой дорожке Кремлевского парка, изредка поглядывая на темно-синее небо, на крупные, разноцветные звезды. Посматривая на небо, на висячие звезды, ему было понятно это небо, каждая даже самая далекая в нем звездочка, также была понятна и земля, по которой он сейчас так уверенно ступает, так спокойно вдыхает ее всегда здоровый ароматно-цветочный запах, но больше всего ему были понятны оба конца ее коридора; в этом коридоре, как будто кружась на одном месте, бурно движется человеческая жизнь, которая в настоящую эпоху таит в себе столько разнородного и непохожего на далекие эпохи прошлого. Глядя на движущиеся толпы людей, он с неопровержимой точностью знал, что люди в нашу эпоху достигли наивысшего своего предела, т.-е. глубокого разлада между собой: одни, по его мнению, пережили скончавшуюся культуру и ходят по ее обломкам опустошенными и не знают, за что приняться, и, сознавая это, с мучительной

тревогой, медленно, но неуклонно покидают землю и уходят вслед за своей эпохой; другие, взяв пыль от старого и восприняв немного нового и смешав все вместе под своими черепами, стараются приспособиться к новой эпохе, не понимая всей ее глубины, потрясающей борьбы и возрождения. И эти другие, как и первые, тоже гибнут. Но есть еще следующие — самые опасные, самые страшные, — это опустошенные, которые исключительно родятся от первых и вторых накануне гибели культур, вливаются в рабочий класс, который является родоначальником, первым строителем коммунистической культуры на земле, быстро, как капустная вошь, размножаются за счет рабочего класса, принося ему ужаснейший вред своим существованием. Хорошо видя породу людей современной эпохи, народный комиссар глубоко чувствовал в человеческом коридоре только два предела: опустошенность и цельность. Нужно сказать, оба предела страшны: опустошенность подводит к пустоте, цельность подводит к новому миру (сейчас на рубеже другой эпохи только развалины старой культуры, а над развалинами исключительно пустота). Опустошенность не может заполнить пустоту. Кто же будет застраивать, заполнять, насыщать эту пустоту, чтобы она снова ожила, бурно зашумела горячей здоровой кровью — культурой? Кто? Эту пустоту заполнят, глубоко насытят жизнью не люди сгнившей культуры, которая под их черепами превратилась в червоточенную пыль, не люди, родившиеся от первых и вторых, не опустошенные, а эту пустоту насытят только люди цельные, здоровые, первородно-прекрасные. Но остается вопрос: которых больше — людей с пылью под черепами прошлой культуры, опустошенных, или людей цельных, первородно-прекрасных? Не взбираются

ли эти опустошенные с мертвой тлетворной пылью под своими черепами на вершину нашей современной жизни?

Да, взбираются...

Впрочем, заканчивая время прогулки, он совершенно не думал об этом: он ясно, отчетливо видел коридор человеческой жизни, в котором идет неумолкаемая человеческая толчея, развалины прошлого и едва заметные камни грядущего, толпы опустошенных, которые ничего не дадут, кроме вреда, и несметные армии цельных и перводородно-прекрасных, которые заполнят пустоту невиданной красотой, вдохнут в нее полнокровную, чудесную жизнь на несколько тысяч лет...

Он, поднимаясь на горку и выходя из парка, был глубоко в этом убежден, что все так будет, а главное, видел горячим взглядом все то, что беспредельно лежало перед ним и уходило в грядущее, которое было так хорошо знакомо ему, как собственная квартира с необычно коротким коридором... Впрочем, повторяю, что он положительно был далек от такой нелепой, неясной философии; он просто гулял по дорожке Кремлевского парка, слушал, как трещали визгливо галки, как каркали жирные вороны; он слушал, как скрипели омертвевшие грифельные деревья, как падала сухая гремящая листва, как эта листва шуршала по песчаным, посеревшим от дождя дорожкам, как убегала она к каменной ограде и плотно прижималась к ней; потом он изредка поглядывал на темно-синее небо, на редкие сочные звезды; потом он так же был далек и от своей квартиры с ее коротким и страшным коридором, как и от нелепой и неясной философии: он просто гулял и отдыхал от упорной работы. Сейчас он, пересекая шумные и залитые огнем улицы, спокойно движется домой,

раскачивая свое костлявое тело, одетое в серо-желтое пальто, а перед его взглядом раздвигаются улицы, образуя единый коридор, и он видит горячими глазами на одном конце этого коридора ослепительно-прекрасное здание грядущего.

Вдруг, переходя улицу, он вздрогнул: мимо него с ошеломляющей быстротой прошумел автомобиль и обдал его жидкой грязью. Он вытер лицо рукавом пальто, улыбнулся и пошел дальше: улицы были улицами, Москва — Москвой, и от глаз народного комиссара отлетело все нереальное: коридоры с своей чудовищной пустотой; оба предела: опустошенность и цельность. Темно-белые зеркала с отражением товарищей Калош, Сметан и Симфоний...

Сейчас он стоял перед домом, в котором была его квартира.

Он быстро вошел в под'езд и, поднимаясь на лифте на четвертый этаж, почувствовал еще более сильную усталость в теле, редкие удары в сердце, неприятный вкус во рту и легкое головокружение... Но, несмотря на это, было перед его воспаленным взглядом одно реальное — армия рабочего класса поставила леса и, кружась по ним и глухо гудя мускулами, воздвигает...

— Грядущее, свое.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

* * *

Об'езжая колонны, тихим ходом шел автомобиль.

На углу Моховой и Знаменской получился непроходимый затор: вся улица до храма Христа спасителя и дальше была закупорена народом; он медленно, с остановками двигался, напирал к Забелинскому проезду, так что многотысячная толпа молодежи, поровнявшись

с Знаменской улицей, сбегавшей с Арбатской площади, пересекая Моховую, к Кремлевскому парку, вылилась из общего потока, густо и широко разлилась по гористому скату дремотной Знаменской, наполняя ее смехом, криком, песнями и полыхающими полотнами.

Дома этой улицы тоже были богато украшены полотнами. Ветер громко гремел этими полотнами, подпевал молодежи, поддакивал, повторял их слова и гулко уносил в другие переулки, находящиеся рядом, по соседству. С каждой минутой на перекрестке этих улиц толпа все больше росла, ширилась густела и поднималась все выше на Знаменскую. От множества знамен, плакатов, панно, на которых были нарисованы с огромными молотами на плечах крепкие, мускулистые и необычайно суровые рабочие, перекресток колыхался, бушевал и был похож на бурное озеро, покрытое вздыбленными красными волнами, которые свободно кружились, гремели над его черной зияющей пучиной.

Среди молодежи раздался визгливый крик, потом прокатился сильный хохот, потом этот хохот покатился дальше по рядам, раскатываясь громом.

Услыхав хохот и визг в других колоннах, мужчины, женщины, парни и девушки, поддерживая от ветра кепки, шляпы, фуражки и подбирая юбки, оторвались от своих колонн, побежали к молодежи и, вытягивая любопытные лица, стали смотреть в гущу развеселой и озорной молодежи, которая еще больше волновалась, бурлила.

В толпе молодежи было, действительно, что-то непонятное на первый взгляд и только бросался в глаза, точно ком серо-желтых шмелей, человеческий клубок, этот клубок вертелся по гористой мостовой; вокруг

него, как по орбите солнца, многотысячной толпой двигались люди и, блестя разноцветными глазами, радостно кричали, повизгивали, громко смеялись; в особенности получился большой хохот и визг, когда клубок разорвался и, раздвигаясь по сторонам, с криком «ура» подбросил кверху цветной, продолговатый, с подогнутыми ногами, вскрикивающий комок и начал его подкидывать все выше и выше, так что он, мелькая в воздухе и то-и-дело поднимаясь в вышину и сверкая розовыми коленками из раздуваемых юбок, испуганно замирал, потом, падая тяжело вниз, падая на крепкие пружинистые руки товарищей, пронзительно вскрикивал от испуга, заглушая крик и гул всей толпы.

—Уррраа! — кричали вузовцы, подкидывающие кверху цветной комок; за ними и вся толпа: — Урраа!

— Ииии! — взвизгивал подкидываемый комок и ослепительно сверкал раздувающимися белыми гремящими юбками и нежно-розовыми коленками.

— Ииии! — радостно подхватывала толпа.

Цветной комок еле вырвался из цепких рук товарищей, с криком бросился в сторону и оттуда из толпы, сверкая темно-синими испуганными глазами, добродушно выругался:

— Черти, бузотеры!

— Качать еще! — крикнули бузотеры и бросились было к ней, но девушка, звонко вскрикнув, стрелой метнулась глубже в толпу.

В это время насмешник студент, с лукавой физиономией, с голубыми, косящими в сторону, маленькими глазами, вытащил из-за пазухи пальто небольшой детский бубен и, отставив ловко левую ногу вперед, крикнул:

— Разойдись! — и, ударив в бубен, запел фальшивым басом:

У попа-то рукава-то,
Мои батюшки!

Отступившие назад ребята дружно подхватили:

Не ходите вы, ребята,
Во солдатушки!

И как только песня, бубен перешли в плясовую, как только ноги сами заходили по корявой мостовой Знаменки, из толпы молодежи вышли двое — молодая, черноглазая девушка и высокий парень в кожаной тужурке. Они оба, выйдя на середину, остановились друг против друга, улыбнулись и, приняв боевые позы, уверенными, полными молодости и здоровья глазами окинули круг и пошли.

— Шире!

Первой, подперев левой рукой бок, плавно, как по воздуху, пошла девушка.

Парень, не спуская с девушки веселых, сузившихся от удовольствия глаз, сбросил фуражку с измятым блестящим козырьком, тряхнул светло-золотистой курчавой шевелюрой и притопнул ногой, а когда девушка прошла по кругу и, подплясывая всеми мускулами разгоряченного молодого тела, стала на свое место и, задорно подмигнув ему, вскинула на него черные глаза, он закинул левую руку на шею, сорвался и, откидывая немного назад стройное, гибкое тело, пошел выделывать ногами изумительные колена. Молодежь, отступив и окружив тесным кольцом пляшущих, тоже выделывала всевозможные номера; одни играли широкорасширенными глазами; другие задорно и молодо смеялись; третьи, поджав руки в бока и подергивая плечами, притоптывали по крепкому неровному булыжнику;

четвертые, держа розовые ладони на уровне лукавых губ, громко и сочно хлопали в ладоши; пятые в такт ладоням чудесно играли на губах; шестые просто, не выдержав молодости и плясового зуда в теле и во всех, как говорится, поджилках, пустились в плясовую. Парень с курчавой шевелюрой ловко подплыл к черноглазой девице, — она была вся в движении и была готова воздушно подняться, — ловко присел перед нею и, откинув левую ногу в сторону, быстро перевернулся на одной ноге, потом вскочил, вскрикнул, потом взмахнул руками перед девушкой, как будто приглашая ее за собой, и поплыл от нее назад на свое место, выделывая невиданные колена. Девушка, не дав ему дойти до половины круга, сорвалась с места, к которому она едва прикасалась маленькими ножками, обутыми в желтые туфельки, и, покачиваясь гибким станом, грациозно поплыла за ним, не отставая в гибкости и изобретательности колен.

Глядя на пляшущую пару, несколько парней отошли от толпы и, окружив пляшущих тесным кольцом, пустились вприсядку и стали выделывать такие па, что из толпы такой вырвался смех и хохот, что даже сотрясся воздух, а улица наполнилась величайшим шумом и гамом, так что многие не слыхали, как мимо толпы двигался автомобиль, стараясь об'ехать и прорваться на другую улицу, и отрывисто ржал сиреной, требуя дороги. Толпа не обращала ни малейшего внимания на рев сирены, также и на автомобиль, который, пятясь назад и прижимаясь левым бортом к тротуару, хотел изменить свой путь и вырваться на Знаменскую улицу. Толпа только тогда всколыхнулась, прекратила пляску, когда автомобиль медленно тронулся вверх по Знаменской, да и то только благодаря нескольким студентам,

которые случайно заглянули в стекла кареты и громко на всю улицу вскрикнули:

— Товарищ комиссар!.. — и бросились к автомобилю.

За ними колыхнулась и вся толпа, потом оторвалась от нее половина и густой лавой покатилась к машине, затем двинулась, запружая собой всю улицу, остальная часть толпы; потом, быстро перебегая площадь и размахивая руками, бросились за молодежью рабочие из других колонн. Народный комиссар не успел опомниться, как его автомобиль окружила многотысячная толпа студентов, рабочих, работниц и шумно приветствовала его, требуя выйти из кареты. Он слышал, как взобравшись на подножки автомобиля и стараясь открыть обе дверки, студенты и рабочие кричали «ура», требовали выйти к ним. Он, отлично понимая, что отделаться кивками головы из автомобиля никак не удастся, решил выйти к товарищам. Он немедленно встал, открыл дверку и остановился на подножке: перед ним густой, непроходимой стеной стояла толпа, запрудив весь перекресток. Ему в лицо ослепительно ударил странно необычайный цвет дня, в котором сочеталось такое огромное обилие красок, такое море радости, песен, музыки, знамен, плакатов, панно, человеческих глаз, костюмов, кепок, платков, шляп, такое огромное количество осеннего бледно-зеленого неба, желтого солнца, что царственно катилось по гладкому и свободному небу за несметными толпами на Красную площадь, так что он сощурился и на одно мгновение закрыл глаза... Не успел он открыть глаз, взглянуть на этот чудесно яркий свет, насыщенный обломной небывалой радостью, не успел он сойти с подножки автомобиля, как его оглушили крики приветствия, громовое потрясающее «ура»; это «ура», как весенний гром над потревоженными внутренней

стихией скалами, прокатилось над перекрестком столицы, что был заполнен колоннами рабочих, работниц и молодежи. Слушая крики приветствия, громоподобное «ура», он быстро сошел с подножки, поднял руку и хотел что-то сказать, но толпа настолько заколыхалась из одной стороны в другую, да так, что не было никакой возможности стоять около машины; потом толпа снова подняла его на подножку, потом несколько крепких рук подхватили его и помогли ему взобраться на карету машины, а когда он взобрался и, подняв руку к козырьку и отдавая по-военному честь, стал приветствовать рабочих, работниц и молодежь, такой поднялся рев, такое загремело «ура», что его слова потонули в общем крике. Он, чувствуя, что говорить бесполезно, велел шоферу ехать, а когда шофер пустил машину и она тревожно завыла сиреной, он, упираясь крепче ногами в черный блестящий верх кареты, обнажил голову и замахал кепкой:

— Да здравствует диктатура пролетариата!

— Да здравствуют рабочие и крестьяне!

— Да здравствует молодежь!

— Ура!

Черная, как встревоженное бурями и грозами море, под красными знаменами колыхалась, бурливо двигалась за машиной многотысячная разноцветно-нарядная толпа, жгла горячими глазами, восторженно кричала, подбрасывая шапки, кепки, фуражки, платки, вспыхивающие в воздухе огнем:

— Да здравствует товарищ...

— Да здравствует наша коммунистическая партия!

— Ура!

Сияя черным лаком, автомобиль медленно двигался, уходил от колонн молодежи; колонны, отставая и

рассыпаясь по улице, густо бежали за машиной, обломно кричали ура и махали головными уборами. Народный комиссар все так же стоял наверху кареты, раскланивался с провожавшей его молодежью. Он был все в том же неизменном серо-рыжем пальто, с таким же желтым скуластым лицом, с такими же горячими глазами, с такой же запущенной клинообразной бородой; но он сейчас не казался таким обыкновенным, каким был пять минут тому назад в многотысячной толпе молодежи и рабочих... Он сейчас, чем дальше от'езжал от толпы, тем казался все больше необыкновенным, казался не тщедушным (физически) человеком, — великаном, в котором сосредоточилась вся железная воля, вся культура, все желание, все боли и радости рабочего класса... Он сейчас так отчетливо стоял на плавно поднимающейся в гору машине, так величаво сиял в изумительном свете октябрьского дня — в свете солнца, кумача, бархата и шелка, в свете желтого солнца, бледно-зеленого осеннего неба, в свете мутно-белых домов, аметистовых мостовых и площадей, в свете витрин, — он сейчас казался величайшим памятником на гористой и широкой улице, у подножия которой его все еще приветствовала радостная, глубоко взволнованная толпа, живущая со всеми своими думами и желаниями в нем, в народном комиссаре, как и он в ней.

Она неистово приветствовала:

— Урра! — И это «ура» перекатывалось над перекрестком и эхом перекликалось над другими улицами.

— Урра!

Шофер остановил машину. Он осторожно, при помощи шофера, спустился с верха кареты и сел рядом с ним.

Шофер сказал:

— Все ехали благополучно, а тут—на. Ну и бузотерная публика эта молодежь.

Народный комиссар ничего не ответил. Он надел кепку; потом, когда проехали Арбатскую площадь и поехали по Воздвиженке, он обратился к шоферу:

— В конце Воздвиженки остановите, и я вас отпущу домой. — Через две минуты машина остановилась; он вышел из автомобиля и велел шоферу ехать домой, потом медленно, покачиваясь слегка туловищем, подошел к празднично-разодетому народу, стоявшему сплошной стеной на левом углу Воздвиженки и Моховой; потом, расталкивая народ, он стал пробираться, а когда выбрался из толпы, глазевшей с тротуара на стройные густые, то-и-дело останавливающиеся колонны, остановился и стал отыскивать интервал, чтобы свободно пройти на другую сторону улицы. Интервала между идущими колоннами не оказалось, а, наоборот, получился непроходимый затор, и вся небольшая площадь до самых ворот была забита народом, шумела, волновалась знаменами, плакатами, всевозможными чучелами, которые танцовали, гримасничали, дергали ногами, мотали головами. Он, глядя на эту площадь, забитую народом, над которым колыхался, плыл огненный гул полотен, и она казалась ему двухэтажной и потрясающе красной; глядя на эти полотна, сверкающие золотыми надписями, на тяжелые золотые кисти, на позументы бархатных и шелковых знамен, что не один раз были в славном бою, он вспомнил тот вечер, когда он после сердечного припадка прогуливался по Кремлевскому парку, когда кричали галки, когда Москва разорвалась и образовала из себя один бесконечно длинный коридор, на концах коего была пустота, а в самом коридоре происходила человеческая толчея, и эта толчея (о которой он тогда

и не думал, прогуливаясь по парку), разбиваясь на разные группы людей — на людей с пылью старой культуры, на людей опустошенных, на людей перворecho-цельных, двигалась на него, лезла ему в горячие глаза, кричала гоголевскими рожами о пустоте несусветной; вспомнив этот болезненный вечер, он радостно оттолкнулся от него, дополна почувствовал (впрочем, он всегда это чувствовал), что это первородно-цельные массы, родившиеся накануне гибели старой культуры, идут строить новый мир, другую культуру на развалинах старой, отжившей... Сознавая это и глубоко волнуясь, он даже не заметил, как он был захвачен рабочей массой, втянут в ее гущу, как прошел вместе с нею почти до самой площади Революции, возле которой только и опомнился, да и то только тогда, когда к нему подошла Верочка, взяла его за руку, мягко сказав ему:

— Папа, а я думала, что ты...

Он недоуменно проговорил, не узнавая дочери:

— Опять затор; отсюда скоро не выйдем. — Он только тогда увидал дочь, когда она его еще раз дернула за рукав и громко сказала:

— Папа, это тебя Талочка увидала.

Народный комиссар, взглянув на дочерей, радостно воскликнул:

— Откуда! И Талочка с тобой? Как же это я вас не заметил, а?

— Я первая тебя увидала, — прозвенела Талочка и подняла на отца круглые смеющиеся глазки. — Мы с Верочкой пушки видели...

На Верочке было темно-серое пальто, белая вязаная шапочка, из-под которой лукаво выбились и дымились светло-золотистые пряди волос. Она очень внимательно

и пытливо посмотрела на отца темно-синими глазами, потом, поймав его взгляд и находясь в его расширенном и горячем взгляде, едва заметно улыбнулась:

— Талочка устала и просится домой.

— Я хочу домой и кушать, — подтвердила важно, с солидностью в голосе Талочка и, согнув в колене ножку, запрыгала около Веры, держась за полу ее пальто.

— Кушать захотела? — спросил ласково он и посмотрел на Талочку. — Разве ты не завтракала?

— Я? Очень мало, — повертываясь на одной ножке, ответила серьезно Талочка. — А сейчас еще хочется.

Вера, не отрывая глаз от отца, предложила:

— Идем с нами; ты, я вижу, очень устал; тебе надо нынче отдохнуть, полежать дома.

Народный комиссар снова взглянул на старшую дочь и остановился на ней; потом, немного погодя, нежно ответил:

— Ты обо мне не беспокойся: я хорошо сейчас себя чувствую; маме тоже скажи, чтобы она не волновалась; я приду через часик домой, а ты с Талочкой иди: видишь, она кушать захотела, — улыбнулся он, ласково показывая на нее глазами. — Кушать хочешь?

— Хочу, — ответила Талочка и потащила за руку Веру. — Идем.

Провожая глазами детей, он поднялся по Забелинскому проезду на горку, ближе к Кремлевской стене. Вся ограда Кремлевского парка была густо осыпана ребятишками, тротуары — глазеющей нарядной толпой; деревья парка, что выходили ближе к площади Революции, тоже были осыпаны телами детей; тела ребятишек густо чернели из редкой медно-желтой листвы и шумно перекликались; двое мальчишек, взбираясь

одновременно на одно дерево, разодрались, но когда за одного вступился какой-то гражданин, они оба расплакались, а когда гражданин от них отошел, они дружно, помогая друг другу, полезли на дерево. Дочери скрылись. Он долго искал их глазами, но, не найдя дочерей в толпе, поднялся еще немного на горку, привалился к небольшому дереву и стал смотреть: перед ним было необозримое, черное человеческое море; над этим волнующимся морем, разлившимся до Лубянской площади, двигались несметные колонны с Мясницкой, Лубянки, с Покровки, Софийки, с Дмитровки, Тверской, с Моховой, с Неглинной, рдея и волнуясь знаменами и наполняя улицы гулом, тяжелой поступью колонн, боевыми песнями.

Этим колоннам не было конца: они двигались и двигались на площадь Революции, раздвигая собой улицы в стороны и образуя один величайший коридор, похожий на гигантскую арку на фоне огромного куска неба, охваченного северным сиянием. Всматриваясь в эти движущиеся колонны, на их тяжелые знамена, похожие на сборчатые балдахины, на черную площадь под этими балдахинами, на осевшие к земле дома, которые слабо мутнели тусклыми простенками, окнами из красного цвета полотен и праздника Революции, народный комиссар был захвачен, поднят на недосягаемую высоту чувства и радости. Он, привалившись к небольшому дереву, не замечал густой толпы, что прижималась к нему, порой в своем движении толкала его, терлась об его тело, отжимала от дерева, так что ему все время приходилось инстинктивно крепче держаться спиной за дерево, чтобы не потерять его, не уплыть с движущейся лавой, — впрочем, это было только физическое сопротивление, а мыслями, сердцем, всем своим существом

он был не около дерева, не на горке, не с глазеющей праздной толпой, — был на площади Революции, в рабочих колоннах, шел с ними в ногу, поддерживая своими плечами тяжелые знамена, шел вместе с ними строить новый мир, создавать другую культуру на развалинах прошлого... Привалившись к дереву, он глубоко чувствовал, что его личности не было, не существовало около дерева, — его личность слилась воедино с другими, растворилась в многомиллионной колонне рабочих и движется из-под величайшей огненной арки строить Грядущее, отражаясь одной колоссальной тенью на фоне ярко-малинового (это от знамен) неба, что беспредельно раскинулось над землей, сияло желто-голубым и холодноватым покатом.

Вокруг него разговаривали:

— Войска кончаются.

— Идет буденновская кавалерия.

— Не лошади, а золото — сияют на солнце.

— Да и наши молодцы не плохи.

— Танки! Танки! Танки!

— Верно, они похожи на черепах, а?!

— Батюшки, как много!

— Хватит. Теперь не восемнадцатый год.

Кругом гремела музыка. Москва была точно на волнах — колыхалась. Величаво, торжественно взмывали и катились гимны, песни. Тяжело и громоздко раскачивались, волновались знамена, полотна и черно-красными волнами пробегали над празднично одетыми колоннами. Вверху тоже было неспокойно: мятежно парили бесчисленные треугольники стальных птиц. Вдруг кто-то радостно и в одно и то же время испуганно вскрикнул и толкнул его в бок:

— Гляди! Гляди!

Народный комиссар вздрогнул, оторвался от колонн, почувствовал, что он не в многомиллионных рабочих колоннах, а в глазеющей толпе, стоит около небольшого дерева, взглянул на человека, толкнувшего его в бок: рядом с ним стояла пожилая женщина. Она, вскинув кверху круглое и рыхлое, розовое лицо, закутанное в черный монашеский платок, смотрела желтыми глазами в небо, говоря ему:

— Гляди! Гляди!

Другие соседи тоже, запрокинув кверху лица, смотрели в небо. Он тоже поднял глаза кверху: в бледно-зеленом небе плавно кружились треугольники стальных птиц, наполняя тишину поднебья потрясающим урчанием и шумом. Невысоко над площадью Революции летал один аэроплан и сбрасывал пачки листовок, которые, отделившись от него, рассыпались, потом медленно, вертясь в бледно-зеленом и розово-красном воздухе (от знамен и от солнца) и сверкая и переливаясь красно-золотистыми и желто-белыми кристаллами (тоже от знамен и солнца), спускались, падали все ниже и ниже, кружась и увеличиваясь в воздухе. Возможно, что так же, как и перед его глазами, кружились, сверкая кристаллами, листовки и перед глазами глазеющей толпы, что плотной стеной стояла около него и терлась своим движением. Он опустил глаза, прислушался: направо, на Красной площади, широко и мощно гремела музыка, легко и властно прикасались к булыжнику шаги, звонко цокали копыта, тяжело гремели колеса, пронзительно и грозно лязгали цепи, гремели торжественные речи, ответные возгласы и крики «ура». Вдруг все замерло на Красной площади, и он ясно уловил, как на него набежал ветерок, розлил острый запах кумача и какой-то своеобразной прохладной свежести.

— Парад армии закончился, — сказал какой-то сосед: — сейчас тронутся районы.

Несколько голосов сразу:

— Тронулись!

— Идут! Идут! Пошли!

И действительно, тысячная колонна, взяв ногу, оторвалась немного от массы, заколыхалась из стороны в сторону и, взяв высоко боевой гимн, дружно и единым телом двинулась на Красную площадь, широко развернув над собой знамена. За первой колонной развернулась другая, за другой третья. Потом заколыхалась, зашумела знаменами вся площадь Революции, Свердловская... Потом они, заслоняя присевшие дома развернутыми знаменами, полотнами, тяжело и грузно двинулись вперед на Красную площадь. За ними, раздвигая дома, взволнованно закачались, всколыхнулись, колебля черно-красные балдахины, еще более грузно и величественно двинулись Софийка, Покровка, Мясницкая, Лубянка, Дмитровка, Тверская, Герцена, Моховая и Неглинная, и, раскинувшись изумительно колыхающим веером, сразмаху (образуя перед его горячим взглядом единый величайший коридор) пошли на площадь Революции. Он видел, как перед его глазами на площади выстраивались колонны, как эти колонны брали ногу, как эти колонны быстро развертывались и, размахивая руками и дробя красно-желтый день на кубики, которые дрожали между ними и под ними раскинутой сиреневой сетью, проходили мимо него, поднимались в небольшую горку и вливались с могучими песнями на Красную площадь, потом с потрясающими криками «ура» уходили с нее.

Так шли без конца колонны.

Он не слыхал, как вокруг него восхищались глазевшие соседи, показывая на смешные, плавно плывущие чучела Пуанкаре, Муссолини и Чемберлена с лошадиным подбородком и с огромным зеленым моноклем. В особенности много хохотали над двумя чучелами, изображавшими английского короля в потрепанной мантии и еще социалиста Макдональда в образе кафешантанного лакея, стоящего на коленях перед его величеством. Оба эти чучела плыли рядом друг против друга; оба чучела ловко дергал за веревочку загримированный в буржуя рабочий, отчего оба чучела вежливо раскланивались друг перед другом, вызывая своими поклонами хохот и восхищение глазевшей толпы. Вдруг перед его глазами картина резко изменилась: из глубины колонн быстро и плавно вывернулась небольшая колонна в четверть десятины и двинулась вперед, ярко рдея на черном туловище красной головой и быстро побежала на Красную площадь. Когда эта колонна поровнялась перед ним, она напомнила ему далекое детство в деревне, Красивую Мечь, небольшой луг у подножья крутой горы, усеянной густо-красными цветами — кашкой. За этой колонной прошло еще несколько таких красноголовых колонн. Прошли эти колонны почти бегом, сбиваясь с ноги, и как-то даже неожиданно с звонко-веселой песнью Демьяна Бедного. Он только по этой женской песни узнал, что это прошли молодые девушки в красных платочках и в скромных пальто — работницы, строители новой жизни и будущие матери счастливого поколения. Потом пошли опять колонны рабочих, а вперемежку с ними красные автомобили, из-за бортов которых, из кумача и зелени радостно брызгали смехом озорные детские рожицы,

сыпались синие, темные, черные детские глаза, неумолкаемо, как весенне-птичий гам, раздавался смех, летели возгласы, песни:

— Мы идем на смену к вам.

А им величаво отвечали колонны и тяжелые волны знамен:

— В коммуне будет остановка.

— Да здравствует Мировой Октябрь!

— Урра!

Народный комиссар опять оторвался внутренним (не физическим) миром от небольшого дерева, от горки, от глазевшей толпы, в гуще которой он стоял; толпа восхищалась плакатами, нарядностью знамен, чучелами мировых хищников и лакеев, разными производственными моделями: мимо нее и народного комиссара рабочие проносили и провозили изделья своего производства — вагоны, машины, орудия сельского хозяйства, паровозы. Он, плывя с колоннами на Красную площадь, видел опять, как дома, улицы, переулки растворялись в черной неоглядной густоте колонн, как над домами, улицами, над колоннами колыхался, тяжело и раскатисто шумел черно-красный бор, как несметные колонны двигались и двигались гигантским веером из-под необычно низкого трехцветного неба — бледно-зеленого и красного к горизонтам, напирая на другие колонны; он видел опять, как на площадях волновались колонны и, развертываясь одна за другой и сверкая интервалами света, — он просачивался из-под размахивающихся рук и из-под твердо ступающих ног и переливался черно-светлой рябью,—неудержимо отрывались друг от друга и, твердо выбивая ногу, широко развернутыми квадратами проходили мимо него... Так проходили одна за другой, без конца, наполняя столицу

радостью, звуками песен, «Интернационалом», возгласами, гулом неизбывной силы, неизбывной веры в строительство другой культуры.

Развернутые колонны шли и шли, напирая друг на друга. Глядя на черно-огненные неиссякаемые массы и глубоко переживая с ними всем своим нутром неразделимую радость этой жизни, борьбы и строительства, он сознавал, что перед ним и вокруг него не Москва, не шестая часть мира, а вся земля, и на ней, заваленной обломками прошлого, движутся, проходят рабочие, а вместе с ними маленькой песчинкой, незаметной песчинкой и он, выдвинутый ими на передовую линию. Не ощущая небольшого дерева, к которому привалился сухой костлявой спиной, он с потрясающей радостью переживал минуты под'ема, неизбывной веры в силу своего класса, которая чудесной волной пронизывала все его существо, поднимала на вершину творческой стихии и несла его вперед и вперед...

Так глубоко переживая и поднятый на вершину стихии, он не заметил, сколько он простоял времени около небольшого дерева; он даже не заметил, что он стоит около дерева в глазеющей и восхищающейся толпе обывателей, которые вылезли из своих покоев поглядеть на великий рабочий праздник, а жил одной мыслью с своим классом, в ногу двигался вместе с ним, не зная границ и предела. Он опомнился только тогда, когда подошел к нему маленького роста человек с неприятной немного слащавой улыбочкой на ничего не выражающем лице, заглянул в его землисто-желтое, костлявое и обросшее бородой лицо, улыбнулся ему слащавыми, скользкими глазками, потом как-то осторожно и нежно тронул его за блестящую пуговицу.

— Здравствуйте, товарищ...

Народный комиссар вздрогнул и, отрываясь от колонн и чувствуя, что он не в массе своего класса, а у дерева и в густой глазеющей толпе, взглянул остывающими глазами на человека:

— А-а, земляк! — И вдруг, глядя на земляка, он увидел, как перед его глазами замелькала, заулыбалась не гоголевская рожа, не рожа Манилова, хотя она была тоже слащавая, — рожа современная, рожа товарища Калоши, Сметаны... Он болезненно поморщился, отвел глаза от земляка: из глазеющей толпы на него взглянуло сразу несколько Калош, Сметан и Симфоний. Он не знал, куда деть глаза, куда спрятать их от товарищей Калош, Сметан и Симфоний. А земляк мягко, слащаво, держась пухлыми пальчиками за его пуговицу, говорил, сияя скользким взглядом и мышиной бородкой.

— Дорофея Потаповна приглашает обедать.

— Спасибо.

— Она будет очень рада.

— Нынче не могу.

— Да и мне хочется поговорить: у меня много накопилось интересных вопросов и замечаний.

— Не могу. У меня нынче... — стараясь соврать, возражал народный комиссар, — заседание.

— Нет, уж извините, я вас не отпущу, — сыпал все так же слащаво круглый маленький человек, не отпуская из пальцев пуговицу. — Идемте же...

— Я хочу еще пройти на Красную площадь, — уклоняясь, ответил он и выпрямился. — Дорофее Потаповне передайте привет и скажите, что как-нибудь зайду.

На народного комиссара опять взглянуло лицо товарища Калоши, Сметаны...

— Уже пять часов вечера.

Он с большим трудом отделался от земляка, а когда земляк скрылся, он отошел от небольшого дерева, влился в одну колонну и пошел на Красную площадь, живя одной мыслью и полыхая одним желанием.

Он глубоко ощущал, что впереди и позади неиссякаемо развертывались колонны и, тяжело выбивая шаги, шли и шли.

Он хорошо осознавал, что не Москва, не шестая часть земли, а вся земля была под червонно-красным гулом знамен.

Он отчетливо слышал, как эта земля полнилась шагами, гудела мускулами рабочих...

Видя все это и слыша, он неопровержимо знал, что серьезно кладутся первые камни, уверенно и прочно закладывается фундамент рабочей культуры...

Колонны, твердо, торжественно выбивая шаги, раскачивая над собой тяжелые темно-красные леса, без конца развертывались, отрывались друг от друга и плавно поднимались по Забелинскому проезду.

С колоннами двигался и он, народный комиссар.

А над колоннами, развернутыми в квадраты, гремели полотна, гудели стальные треугольники птиц, разлетаясь по вечереющему небу, перекликалось, как орлиный клекот, радио, плавно и величаво бушевал «Интернационал».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ * * *

На другой день после Октябрьского праздника он проснулся очень поздно, но легко и свободно: во всем его костлявом теле ощущалась сила, необычная легкость, какой в нем давно не было, — это после четырнадцатичасового сна под ряд. Впрочем, народный

комиссар ежегодно после этого праздника спал по четырнадцать часов вместо обычных суточных шести.

После такого крепкого непробудного сна он чувствовал себя великолепно, почти целый месяц работал с неослабной энергией как в наркомате, так и у себя на квартире за огромными ворохами бумаг, смет и отчетов. Сейчас, отправляясь на заседание Совнаркома, он тоже, несмотря на всю худобу, на землисто-желтый цвет обросшего бородой скуластого лица, был в бесподобно хорошем настроении. Сейчас его темно-синие, с крупными зрачками горячие глаза, — он смотрел на улицы, покрытые нежным, пушистым снегом (вторым зазимком), на электричество, на быстро и бесшумно скользящие машины, на прохожих, на извозчиков, на мутно-желтые силуэты домов, что так странно и загадочно выползали из темно-желтоватой мглы вечера, — радостно сверкали и улыбались. Перед уходом на заседание он поиграл с Талочкой в «медведя», поспорил с Верочкой по вопросу ее нового стихотворения, в котором он нашел только несколько удачных строчек, а все остальное раскритиковал, как говорится, в пух и прах, так что Верочка выслушала его жестокую, пожалуй, несправедливую критику, расстроилась, тут же у него на глазах разорвала стихотворение и убежала в другую комнату.

На улице было спокойно, как-то невыразимо прозрачно и мягко: в мутно-желтом свете электричества изумительно четко кружились крупные снежинки, сверкая нежной искристой белизной; под ногами выпавший снег приятно поскрипывал; небольшой ветерок слегка покалывал, пощипывал лицо, ласково бросался под ноги, повертывался и с серебристой пылью выбегал из-под ног, бросался в сторону, а иногда, чтобы отбежать

в сторону, он, как белый пушистый пес, становился на задние лапы и, вытягиваясь во весь рост, бросался на грудь и, обдавая своим разгоряченным дыханием, лез жарко целоваться; но чудесно было вот что: морозный воздух был прянен, он крепко, неповторяемо обдал зрелым арбузом и сахарной дыней; от этого запаха становилось приятнее в голове, в теле, в ногах.

Ощущая все это, он подошел к Совнаркому, остановился: бледно-розовый свет небольшой лампочки слабо сочился из-под навеса крыльца: тень этого света лежала мутно-желтым небольшим пятном на девственном снегу, на котором не видно было человеческих ног, за исключением узенькой, похожей на веревочку, тропочки, что зигзагообразно бежала издалека и, пересекая мутно-желтое пятно лампочки, упиралась в плиты парадного под'езда и в нем пропадала; он вынул часы, посмотрел — было без двадцати минут восемь; убрав часы, он решился еще раз пройтись, подышать воздухом, насыщенным первым снегом и крепким морозом.

В Кремле было тихо, величественно, спокойно, как в необ'ятной пустыне; старинные палаты московских царей, дворцы царей «всея России», дома, из-за которых хмуро, громоздко поднимались древние церкви, соборы и, грузно взлетев золотыми главами, утопали в мутно-темной крутящейся снегом вышине, стояли неподвижно, казались в каком-то летаргическом сне и только узкие окна говорили о бурной внутренней жизни... Только за зубчатыми стенами, башнями Кремля, в Кремлевском парке, стуча мерзлыми сучьями и хлопая спросонок крыльями, пронзительно кричали галки, каркали жирные вороны: визгливый галочий крик, похожий на лязгание бесконечно длинной и ржавой цепи, нарушал

тишину, мучительно лез в уши, рассыпался уколами булавок по всему телу; впрочем, он нынче не слыхал галочьего крика, не слыхал, не чувствовал Кремлевской завороженной тишины, он просто быстро шел мимо сваленных пушек и снарядов — славы старой России и позора не только Франции, а всей Европы, — заваленных густым слоем снега, — он торопился на заседание.

Поднимаясь по лестнице, он посмотрел назад, остановился: за Кремлевской стеной, над Москвой, висело мутно-серое, похожее на гигантское лохматое одеяло, с вздувшимся кверху бело-желтым пупом, небо и странно дымилось, гудело и рокотало, — впрочем, это опять так показалось: рокотало не небо, вздувшееся бело-желтым пупом, а Москва со своими улицами. Он круто повернул, еще быстрее зашагал вперед по лестнице.

Москва трепетно жила за его спиной.

В зале заседаний было обычно, как и всегда. За длинным, красным столом, упиравшимся одним концом во входную белую дверь, другим в глубину зала, уже сидели комиссары, заместители, непринужденно разговаривали между собой (заседание еще не началось), перекидывались словами, шутками, громко смеялись. Здороваясь по пути, он прошел к другому концу стола и занял свое место. К нему обратился военный комиссар, сидевший как раз напротив него. Военный комиссар был среднего роста, плотный, с круглым, хорошо выбритым лицом, с небольшими русыми усиками, с мягкими синими глазами, с широкой, выпуклой вперед грудью, украшенной орденом Красного Знамени. Этот военный комиссар одет был очень просто: на нем был светло-зеленый мундир, такого же цвета брюки, убранные в мягкие, сияющие как зеркало, голенища сапог. Голос у этого комиссара был негромкий, глухой: не то тенор,

не то бас. Блестя мягкими спокойными глазами, он обратился к народному комиссару:

— Ваш доклад стоит первым.

Народный комиссар взглянул на военного:

— Пока не знаю. Ты тоже нынче делаешь доклад?

— Как-будто, — улыбнулся военный.

На этом они закончили разговор, так как сухой, с костлявыми быстро двигающимися острыми плечами, председатель вскинул от бумаг плоское бледное лицо, с небольшой темно-русой бородкой, с большими голубыми глазами, и, откидываясь на спинку кресла и чуть-чуть заикаясь, прочел повестку нынешнего заседания.

— Возражений н-нет? — спросил он воркующим голосом.

— Нет, — ответили голоса.

— Принимается, — сказал председатель. — Слово для доклада предоставляется...

Тут председатель не договорил, так как народный комиссар немного приподнялся, вытащил из портфеля несколько бумаг, потом снова сел и начал свой доклад об индустриализации страны. Он в начале своего доклада, сидя в кресле, говорил чрезвычайно спокойно и только тогда, когда подошел к главным тезисам своего доклада, он неожиданно поднялся и, размахивая перед собой правой рукой, взволнованно стал продолжать, то возвышая, то понижая до шопота голос:

— Если мы проведем полностью намеченную Центральным Комитетом нашей партии программу по режиму экономии, то мы сэкономим довольно порядочные средства, которые можем бросить на создание крупной промышленности... — Затем он говорил, что в пять лет режима экономии мы не должны заниматься кустарничеством...

Потом он в своем докладе широко и подробно остановился на самом существенном для Союза вопросе, как будет индустриализироваться страна, какие районы Союза являются более важными для создания крупной промышленности, какие районы являются центрами нашего необ'ятного Союза, занимающего одну шестую часть земли, чтобы из этих районов по всему Союзу, по его кровеносным сосудам потекла новая стальная кровь и эта кровь бы всколыхнула деревню, закрепила бы прочно дело социализма.

Потом он назвал районы, которые должны индустриализироваться.

Потом, заканчивая краткий доклад, составленный почти из одних цифр, районов, городов и больших рек, он остановился на последнем вопросе, подчеркнул его:

— В этом году, согласно постановления Совнаркома, приступаем к постройке крупных заводов, создание которых даст нам возможность не быть в зависимости от капиталистических буржуазных стран, и которые будут обслуживать нашу страну необходимыми машинами для оборудования нашей промышленности и сельского хозяйства. — На этом он закончил свой доклад и, передав для просмотра карту Союза с отметками районов индустриализации, занял свое место.

Его доклад, главное, развернутый план промышленности, слушали с глубоким вниманием, никто из присутствующих даже покурить не вышел из зала, и только сейчас, когда он закончил, несколько человек поднялись и вышли покурить: в зале курить не разрешалось. Потом начались обсуждения доклада, в особенности по поводу намеченных районов Союза, в которых должны были в этом году строиться величайшие заводы. В прениях участвовали почти все присутствующие; многие

доказывали, что постановка режима экономии в некоторых вопросах, в особенности в рабочем вопросе, хромает «на обе ноги». Особенно на этом вопросе остановился один заместитель народного комиссара, он произнес необычайно горячую речь, в которой старался доказать, что нельзя строить тяжелую индустрию исключительно на хребте рабочего, а надо создание индустрии взвалить, главным образом, на богатого мужика, в особенности на кулака, так как он в нашем Союзе растет не по дням, а по часам. Речь этого сильного противника заставила всколыхнуться всех и насторожиться. Председатель заседания круто повернул острые плечи, взглянул на неожиданного противника, вкрадчиво, с расстановкой полюбопытствовал, откидываясь сухим туловищем назад:

— Позвольте узнать, это ваша личная точка или новой оппозиции?

Раздались голоса, потом громкий смех.

— Точка зрения только что создавшейся оппозиции.

Снова прокатился смех; потом один народный комиссар с огромной, черной вьющейся шевелюрой, с большим лбом, с бритым смуглым и крутым лицом, с черными маленькими глазами, крикнул, приподнимаясь немного грузным телом:

— Ого!

Противник остановился, повернул рыжее бородатое, чуть-чуть опухшее широкое лицо и, глядя сквозь стекла пенснэ маленькими, умными бледно-зелеными глазками на председателя, небрежно бросил:

— Это — точка зрения многих видных членов партии и некоторых членов политбюро. Прошу не отнимать у меня время.

Председатель возразил:

— Этого мы не знали; продолжайте.

Докладчик, слушая внимательно критику противника, то-и-дело записывал в небольшой блокнот, то-и-дело взглядывал на него горячими глазами, то-и-дело подергивался туловищем и резко обнаженными мускулами лица. Ему казалось, что немного наискосок, недалеко от председателя, в интервал через плечи двух комиссаров и через весь стол смотрит из-под большого блестящего, как мрамор, лба сверкающими узкими глазами на его хорошо знакомое лицо и улыбается. Он тоже смотрит на это лицо и улыбается. Он знает, что это лицо с небольшой светло-рыжей бородкой, с такими пронзительными гениальными глазами смотрит на него и поддерживает его, так как он не может не поддержать его, ибо он проводит его идеи, воплощенные в великую партию рабочего класса, его мысли, живущие в нем, в народном комиссаре, как и во всех присутствующих на этом заседании.

Вглядываясь в это любимое лицо, под руководством которого он работал не один десяток лет, он совершенно позабыл про своего критика и весь погрузился в размышление. Размышляя, он не заметил, как поднялся с кресла, хотел было выйти и подойти к этому лицу, спросить у него, как он смотрит на его доклад по поводу индустриализации страны, но, не увидав лица в интервале над плечами двух народных комиссаров, сидевших прямо и смотревших взволнованными и возмущенными глазами на рыжебородого содокладчика, остановился: в интервале не было любимого лица с большим блестящим черепом, не было узких, сверкающих лучами солнца глаз, не было острой светло-рыжей бородки, а стояло пустое кресло, в котором когда-то сидело это лицо, руководило заседаниями Совнаркома,

партией и всем рабочим классом, ведя его к неувядаемой победе и славе: за этим креслом была стена, обитая светло-серебристыми блестящими обоями и украшенная портретом этого лица, гений которого всегда присутствует в этом зале... и руководит заседаниями Совнаркома и всей партией... он, сейчас видя не любимое лицо, а пустое кресло, стену, на ней, немного повыше кресла, надпись: «Курить безусловно воспрещается», и маленький уголок в память этого лица, вздрогнул, потом, оправившись, улыбнулся и сел на стул. В это время и рыжебородый комиссар закончил свою речь, тоже сел на свое место и стал вытирать платком вспотевшее пенснэ. После него говорили другие; они доказывали обратное, защищали доклад и план народного комиссара. Потом выступал председатель, который в горячей речи защищал его доклад, доказывая, что Центральный Комитет партии правильно разрешил вопрос о режиме экономии, что партия не может стать на точку зрения новой оппозиции, так как эта точка не ленинская, не точка нашей партии, а абсолютно враждебная ленинской партии.

Потом сказал краткое слово он, народный комиссар; в этом слове он исключительно остановился на крестьянском вопросе, на кулаке и, подробно разбирая этот вопрос, доказал всю неправильность выступавших критиков... Когда он говорил эту заключительную речь, как ему показалось, опять из интервала двух комиссаров смотрело на него солнечными прищуренными глазами любимое лицо вождя, улыбалось в светло-рыжую бородку, вдохновляя его улыбкой.

— Вы, ставя такой вопрос, хотите разрыва с крестьянством, а Ленин учил нас совершенно другому.

Заканчивая речь, он воскликнул придушенно:

— На такую линию, враждебную ленинизму, наша партия не встанет, ибо это было бы крушением диктатуры пролетариата и мы никогда не сумели бы построить, несмотря на все возможности, которые у нас имеются, социализма. — План его был утвержден большинством голосов.

Потом был доклад другого народного комиссара, седого старичка, «об электрификации страны». Доклад этот был чисто информационный и сообщалось только одно: сколько станций построено, сколько из них пущено, какие станции в этом году будут пущены, какие станции строятся и сколько еще предполагается построить и в каких районах.

После этого доклада был доклад военного комиссара «О лихорадочном вооружении капиталистических государств». Этот доклад тоже носил информационный характер, хотя докладчик ставил его во всей широте настоящего момента. Он указывал: «что наше рабоче-крестьянское правительство не может проходить мимо буржуазных государств, в особенности тех, которые под боком нашего государства, не может проходить мимо лихорадочного накопления пороховых складов, направленных против страны строящегося социализма»...

Этот военный комиссар, рабочий, старый революционер-большевик, герой гражданской войны, говорил просто, горячо, без всяких интеллигентских выкрутасов.

— А поэтому мы должны зорко, в оба глаза следить за своими соседями, за их пороховыми погребами... Чтобы обезвредить эти погреба, взорвать ими не трудовые массы, а капиталистов, нам необходимо революционное сознание Красной армии, рабочего класса и крестьян поднять еще больше на недосягаемую высоту... —

Тут народный комиссар второй половины доклада военного комиссара не слыхал, так как в одиннадцать часов вечера у него было назначено в своем наркомате совещание с некоторыми директорами. Он медленно поднялся со стула и, не прощаясь, бесшумно вышел из залы.

На улице все так же шел густой пушистый снег, мягко ложился на кремлевские мостовые; в Кремле было еще тише, только за древними башнями, стенами, неспокойно-торопливо и бурно текла человеческая жизнь; над Москвой все то же висело мутно-желтое, похожее на гигантскую продырявленную перину, низкое, выпуклое кверху небо. Он сел в автомобиль. Машина, освещая круглыми фонарями мутно-желтую мглу, бесшумно рванулась и быстро поплыла мимо редкой, едва мерцающей цепочки фонарей, нарушая резким отрывистым окриком густую тишину Кремля. Сидя в глубине кареты и привалившись к боку, он видел, как в дверное стекло машины промелькнула многоэтажная часть Москвы, раскинувшаяся у подножья Кремля, по берегу Москвы-реки, ее мелкие червонные огни, густые, как млечный путь в чудесную безлунную погоду; потом промелькнули Иверские ворота, Красная площадь со своим звучным эхом, уходящим в века, потом тихая и темная Никольская.

Совещание с директорами закончилось только к четырем часам утра. Выйдя из наркомата, он отправился пешком домой, чтобы проветриться от долгого сидения в кабинете, освежиться от такой массы докладов, речей, споров и резолюций. Проходя мимо туманно-грязной китайской стены, он почувствовал себя в необычайно-приподнятом настроении, да и раннее утро к этому располагало своей дремотной тишиной: снег уже перестал итти, он лежал мягко, как-то целомудренно на тротуарах, на мостовой, на которых не было видно ни одной

живой души; мутно-желтая перина, из которой густо сыпался до позднего вечера сухой пушистый снег, лопнула, разорвалась на несколько частей и желто-белыми кусками скатилась к темным горизонтам, оставив от себя белесый след на отлогих скатах; небо освободившееся от тяжелых снежных облаков, чудесно засияло своей темно-синей бездной, крупными, разноцветными звездами, так спокойно висящими в нем, потом белой, чуть-чуть дымящейся млечной дорогой.

Вслушиваясь в эту глубокую тишину, в изумительную четкость звуков, он всем своим существом отчетливо улавливал далекое, но возбужденно-ясное рокотание человеческой жизни.

Он глубоко понимал это возбужденное рокотание жизни. В этом рокотании он ощущал до мельчайших подробностей биение огромного коллективного сердца, тугую горячую кровь, которая неиссякаемо густо бежала по кровеносным сосудам. В этом рокотании он хорошо разбирался, с поразительной точностью отделял удары топора от ударов молота, пронзительное жужжание пилы от лязга блоков и цепей, тихое пошептывающее движение двигателя от робкого мечтательного завывания трансмиссий. В этом рокотании он видел гигантскую поступь коллектива, который пришел, воссел на царство, который, мучительно напрягая все свои мускулы, на развалинах старой культуры начинает упорно, уверенно закладывать первые камни, первые балки, первые глыбы бетона своей культуры.

Вслушиваясь в это рокотание, он вспомнил заседание директоров, с которого он только что вышел, вороха бумаг, отчетов, свой доклад на заседании Совнаркома, доклад о Красной армии, свои многочисленные поездки по Союзу, наблюдения. Вспомнив все это, перед его

лучистыми глазами широко развернулась шестая часть земли — от Черного моря до Белого моря, от Балтийского до Аляски, а на ней, как после первого весеннего тепла, как после первой величавой, благодатной грозы, как после тёплого обломного живительного дождя (революция в одно и то же время была и разрушительной и благодатно-творческой грозой), из развалин старого, из-под бурелома, из'еденного червоточиной, поднимается новое молодое, доселе невиданное: радиокружки, уголки Ленина, сельскохозяйственные коммуны, заводы, фабрики, электростанции, которые своей кровью оздоравливают села, деревни, города, неудержимо влекут к неувядаемой жизни... Раздаются все громче, все увереннее другие слова, речи, неслыханные до сего песни, смех и веселье. Видя эту, едва заметную из-под развалин старой культуры, гнилого бурелома, молодую поросль социалистической культуры, он не заметил, как подошел к темно-серому дому, в котором была его квартира, как он остановился и надавил кнопку. Он опомнился только тогда, когда под'езд внезапно налился бледно-розовым светом и на него взглянуло бледное, похожее на сморщенное перепеченное яблоко, заспанное лицо ночного дежурного. Проходя мимо него, он не видел поверхности Союза с молодой порослью, она испарилась от его разгоряченного взора; вместо поверхности Союза тупо уперся ему в глаза мутно-серый узкий вестибюль, потом острыми блестящими зубьями пилы брызнула лестница.

От прикосновения к этим зубьям он как-то весь сомлел, болезненно согнулся, потом медленно, с глубокой усталостью в теле, стал подниматься на четвертый этаж.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

* * *

Утро началось обычно, как всегда: чашка кофе, пара яиц всмятку, пятикопеечный подрумяненный калач с маслом, разговоры с женой, шутки со старшей дочерью, и опять относительно современных поэтов (поэтов он называл просто графоманами и всегда доказывал дочери, что их творчество в недалеком будущем позабудется), поиграл немного с Талочкой, которая во время завтрака всегда имела привычку взбираться к нему на диван, становиться между спинкой дивана и его спиной, обнимать за шею и тянуть к себе. Народный комиссар вскидывал голову, ревел «медведем», осторожно прижимал ее к спинке дивана, отчего Талочка взвизгивала, быстро отбегала в сторону и начинала громко смеяться, хлопать в ладоши, прыгать:

— Не поймал, а я ушла; не поймал, а я ушла; не поймал! — в это время глаза у Талочки делались круглыми, блестели, как два темных, золотистых солнца из-под тонких бровей.

— Не поймал, говоришь, — поймаю.

Талочка со звонким, повизгивающим смехом бежала в угол дивана и сквозь смех кричала оттуда:

— Не поймал, а я ушла; не поймал, а я ушла.

Потом он поднимался из-за стола, целовал дочерей, надевал серо-желтое пальто на сухое, костлявое тело, брал тяжелый портфель и медленно, покачивающейся походкой выходил из квартиры; с ним почти всегда выходила и жена: она, проводив его до наркомата, на этой же машине ездила на фабрику, на которой она работала с четырнадцати лет в прядильном отделении (правда, после революции она уже не работала у прядильного станка, а была все время на общественной

работе: то секретарем ячейки, то в фабкоме, то опять секретарем ячейки, а сейчас состоит членом правления фабрики). Простившись с женой, он быстро поднялся к себе в кабинет. В наркомате было спокойно. Он всегда имел привычку приезжать за полчаса раньше прихода служащих и начинал работать.

В кабинете, несмотря на большое помещение, на громоздкую кожаную мебель, отороченную красным деревом, на крупную сверкающую люстру, под массивным лепным потолком, на огромный письменный стол, на коричневую вертушку, на бронзового с широко развернутыми крыльями орла, — было тепло, уютно и располагало к работе. Нынче особенно. Он положил на стол портфель, разделся (он всегда раздевался у себя в кабинете) и сел за стол, потом стал разгружать портфель, а когда разгрузил, разложил бумаги на две части: одну, прочитанную дома — на правую сторону от себя, другую—положил перед собой; потом, подперев лоб немного растопыренными сухими, желтоватыми пальцами и упершись локтями в стол, стал просматривать бумаги, отмечать цветным карандашом.

Просматривая и изучая бумаги, он видит, как перед его горячими глазами опять развернулась огромная рабоче-крестьянская страна, медленно, как кинематографическая лента, поползла вперед, показывая все то, что на ее поверхности делается. Он видит, что в Донбассе работают новые, только что открытые шахты, поднимаются к мутному, задымленному небу огромные черные, отливающие золотом на солнце штабеля угля, ползают по блестящим, похожим на паутину путям темно-красные поезда, прогуливаются с гудом и рокотом электрические краны, похожие на гигантских журавлей, строятся огромные заводы; он видит, как мимо штабелей

угля проходят армии рабочих к шахтам, как они спускаются в шахты, как они выходят из шахт и, широко рассыпаясь по пути, шумно бегут к «рабочим поселкам», которых с каждым годом вырастает все больше и больше. Но вот он положил в сторону доклад Донбасса, взялся за другой, — и опять рванулась страна, уперлась в его вдохновенные глаза еще более яркая картина строительства: перед его глазами стояли нефтяные промыслы с тысячами вышек, с мутно-зелеными поездами цистерн, которые походили на гигантских, быстро бегущих удавов, проходили армии рабочих, армии творцов другой культуры, другой жизни, что в недалеком будущем охватит не только шестую часть земли, а и весь земной шар, на поверхности которого уже раздаются шаги, призывные воинственные голоса рабочего класса, угнетенных народов; прочитывая этот отчет, он видит, как раскинулось над вышками мутно-желтое южное небо с белым адским пеклом солнца; он видит, как в этом мучительном зное трудятся армии творцов этой жизни, созданной их руками, их кровью; он видит как строятся города, а в городах клубы, школы, детские дома, создаются здоровые игрища, празднества...

За этим отчетом — другой отчет, и опять в его глаза упирается размах строительства, при виде которого сердце содрогается от радости, ум тревожно и лихорадочно начинает работать:

«Урал это или не Урал? Волга это или не Волга? Дон это или не Дон? У нас это в России или не у нас? Возможно, что это не в России, а где-нибудь в чужой стране? Может быть, это только обман зрения?» Но тут все существо кричит, возмущается, утверждает: «Нет! Нет! Это все не в чужой стране, а у нас, у нас. У нас. В других странах этого пока нет. У нас, в России,

рабочая власть. У нас, в России, рабочие строят социализм. У нас не может быть так, как в Европе. У нас, в России, ничего нет похожего на Европу: наше электричество иначе светит, чем электричество Европы».

«У нас, в России, все иначе!» — Тут он, пошатываясь, поднялся, отодвинул немного кресло и хотел было выйти из-за стола, подойти к карте, что висела налево на стене, ярко рдела значками, которые отмечали районы строительства, тяжелой индустрии, большие реки Союза, на которых работают и строятся электрические станции, но не отошел от кресла, а вздрогнул от сильной боли в груди и, схватившись правой рукой за сердце, он медленно опустился в кресло, откинулся на спинку, полуоткрыв рот и потемневшие, налившиеся страхом глаза. Он, сидя в кресле, почувствовал, как у него остановилось сердце, как стали холодеть конечности тела — ноги, руки, начиная с пальцев, и все дальше и дальше — до колен и локтей; он судорожно подумал, хотел было подняться, но не поднялся — все мускулы были не его, не повиновались, не двигались, не шевелились, и все его желание подняться к графину с водой пропало, затерялось где-то далеко-далеко и утонуло в страшно холодной, промозглой тоске, которая грузно надвинулась, вползла в кабинет, бросилась на него, вошла в него, разрывая все его остывающее непослушное тело.

Чувствуя, что пришла смерть и неколебимо стоит за его спиной, что пришло время расставаться с землей, с друзьями, с товарищами по партии, вот с этим кабинетом, где он, изучая бумаги, планы, сметы народного хозяйства и создавая планы и проекты по созданию этого хозяйства, прожил, изжил всего себя в беспорядочном, нечеловеческом труде, — хотел улыбнуться

и улыбкой послать прощальный привет, сказать, что он умирает в полном сознании, что он все, что было у него, отдал революции, рабочему классу, что он уходит от них с глубокой верой, что дело социализма будет двигаться неудержимо вперед, но он не улыбнулся, он только склонил налево голову, привалился темноземлистой скуластой и потной щекой к плечу, уперся мутными, потерявшими цвет, глазами в паркетный пол и неподвижно стал смотреть на него. Он, задыхаясь от сильных болей в груди, ударов в сердце, снова хотел подняться, броситься на воздух, но из этого опять ничего не вышло, так как на него нахлынула еще большая тоска, перешедшая в жуть, еще больше наполнила его непослушное тело, крепче приковала его к креслу, так что он покорно лежал, леденея от ужаса смерти. Он видит, как перед его глазами раздвинулся кабинет, растворился в беловатом тумане; он видит, как этот туман разорвался и, прячась от яркого весеннего, красно-малинового солнца и жидкими просвечивающими клочьями цепляясь за темно-зеленые и сверкающие утренней росой кусты, медленно ползет, уходит вдаль, тая от сухих, горячих лучей и припадая к влажной и жирной земле; он видит, как из этого тумана показалось его детство, деревня, родители, и дальше, с кинематографической быстротой, вся картина его жизни: батрачество, чужие люди, восстание в селе, бегство, любовь, битва на Пресне, тюрьма, виселица, каторга, бегство, подполье, снова угроза казни, опять каторга, гражданская война, Москва, наркомат, квартира, и опять кабинет, работа, товарищи, жена, дети—Верочка и Талочка.

Талочка... Ее большие темно-синие глаза... И все это пролетело с потрясающей быстротой перед его глазами, как-то самовольно и упрямо: он даже не хотел и

не думал о прошлом, а ему страшно хотелось только воздуха, только одного глотка воды, только крикнуть, что он не хочет умирать, что он хочет жить, работать; но прошлая жизнь упрямо вылезла, вышла к нему на глаза, быстро развернулась, прошлась перед его холодеющими глазами во всей своей красе, показывая и вывертывая все стороны многогранной и глубоко интересной жизни революционера и, спрятав все прошлое в черной вечности небытия, уперлась в его глаза вот этой предсмертной, жуткой, ледяной минутой конца, вот этими стенами кабинета, массивной мебелью, которая потеряла цвет, покой и все свое изящество, блестящим паркетом, на котором лежала такая огромная соринка, так что он остановился на ней, задумался:

«Откуда это взялась такая большая серебристая соломинка? Этой соломинки, кажется, не было, когда я пришел сюда?»—подумал он и ниже склонил голову и стал рассматривать паркет, который сейчас был покрыт крупными серебристыми соринками. Вдруг, и кубики паркета изменились, выросли в огромные, продолговатые коричневые ящики и настолько увеличились, что было невозможно на них смотреть...

Ему очень захотелось закрыть глаза.

«Как все стало ясно, — подумал он, — незаметная десять минут тому назад пылинка, а сейчас кажется бревном! Откуда этот взялся сор? Откуда эти смешные продолговатые ящики? Откуда?» — он хотел было опять закричать, позвать седого старичка-сторожа, как перед его глазами снова все изменилось: продолговатые ящики с грохотом зашевелились и, мутно краснея во мгле, поползли куда-то в сторону, а соринка, что была неменьше бревна, вскочила с пола, превратилась в товарища Сметану и стала расшаркиваться перед ним,

приседая жирным бабьим задом, и то-и-дело прикасаться толстым желтым портфелем к полу:

— Имею честь представиться — тов. Сметана... Я насчет разведения плантации сирени... И шпанских мух... Что касается, товарищ комиссар, Европы, то я теперь в курсе...

Народный комиссар только что было собрался крикнуть: «Вон!» — как вдруг все опять перевернулось и в его глаза ударил темный промозглый коридор, тот самый коридор, который приснился ему во сне месяц тому назад и на концах которого была ледяная пустота, небытие, а в мешке этого корридора—от одной двери к другой — мечется он, а на него из черно-ртутного и голубого омута трюмо глядят бесконечной, отвратительной очередью жирные, с отвислыми подбородками, оскаленные рожи Калош, Сметан, Симфоний...

В десять часов утра в кабинет народного комиссара вошел во всех отношениях приятный и милый секретарь, поздоровался от двери.

Ему народный комиссар не ответил: его голова лежала на левом плече с широко открытыми, бесцветными, пустыми глазами, глядящими в коричневый угол письменного стола, с которого стремился сорваться бронзовый орел; из открытого рта народного комиссара в мягкую, чуть-чуть посеребренную бороду сочилась мутная сукровица.

На полу, около ножек кресла, валялась нутром вверх желто-серая кепка и зияла прорванной и мутной от пота подкладкой и из дыр подкладки грубо-желтой сорочкой.

Секретарь быстро нагнулся, бережно поднял кепку,
повертел любовно в руках, потом, бросив
ее обратно на пол, вскрикнул
и шумно выбежал из
кабинета.

*** *ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ* ***

*** ЭПИЛОГ ***

У России нет прошедшего —
— она вся в настоящем и будущем.

М. Ю. Лермонтов

ГЛАВА ПЕРВАЯ

* * *

Я едва проснулся.

Всю ночь и все утро шел снег, спокойный, крупный, густой; к обеду погода резко изменилась: подул с кривых, темно-серых московских улиц, переулков ледяной ветер; он заиграл по мостовым, побежал шипящими холстами по тротуарам и, крутясь спиралью и дымясь белой пылью, поднимался по фонарным столбам к электрическим лунам и, ударяясь о стекла и колпаки, стремительно падал обратно на тротуары, потом с легким шумом мчался дальше, до следующего фонаря, а потом еще дальше... К обеду снег пошел мельче; он вертелся с ветром в безумной пляске, и эта дикая пляска слилась воедино с поземкой, так что было вполне можно сказать про этот день, про эту мутную погоду, наполненную шумом, свистом, громом вывесок, лязгом железа, стихами Пушкина:

Буря мглою небо кроет...

Вот в такую мятель я вышел из своего небольшого каменного мешка, поднял облезлый барашковый воротник серого, вытертого на локтях и около карманов пальто, втянул в воротник голову с придавленным верхом барашковой шапки и, глядя синими точками глаз и сияя розовой пуговкой носа из-под лохматых углов воротника, отправился в путь и скрылся в белой шипящей мгле, в которой почти ничего не было видно, кроме то-и-дело мелькающих взад и вперед и в разные стороны черных фигур, похожих на инфузорий в мутной воде.

Я тоже, если на меня посмотреть со стороны, был похож на маленькую инфузорию. Я, охваченный снегом, ветром, свистом, лязгом и грохотом, медленно, но верно катился к желаемой цели, обгоняя идущих впереди меня людей и ловко обходя встречных. Я видел и ощущал, как, шаркая одеждой об меня, быстро пробегали люди, закутавшись в воротники пальто.

Однако, несмотря на ледяной ветер, на густую бушующую метель, я добрался до Троицких ворот, которые как будто отошли от зубчатых стен, башен Кремля, вышли из снежной мглы ко мне навстречу, уперлись изумительной архитектурой, украшенной мелкой, но четкой резьбой, в мои глаза. Глядя на эти ворота, я вспомнил всю историю России, ее культуру, ее гениев, и великая радость наполнила все мое существо; глубоко чувствуя все значение этой радости, весь глубочайший смысл этой радости, я гордо, как всемогущий хозяин, вошел в эти ворота, которые из бурно шипящего, как крепкое многолетнее вино, снега и ветра обдали меня густым и терпким прошлым Византии. Вдыхая запах старины, я остановился на минуту от сильного опьянения: для меня, как для человека новой эпохи, творца этой эпохи, слишком был резок запах эпохи Ивана Грозного, его жестокого гения, так что в это короткое мгновение я почувствовал до потрясения всего моего существа, а главное, от мысли, что, подобно молнии, пронизала мой мозг, подобно грому, крикнула в мои напряженные уши:

«Отсюда безо всякой вины ты можешь последовать на плаху!» От этой невольной мысли я содрогнулся, увидал, как в мои глаза ударилась Красная площадь, глухо загремела человеческими костями, так что гром ее костей над улицами Москвы, над Москвой-рекой,

над серо-зеленоватыми резными башнями Кремля повторило особенное эхо, которого вы нигде, во всем мире, кроме как в Москве, над Красной площадью, не услышите; от этого крика я глубже втянул голову в облезлый воротник пальто, нервно прошел мимо двух красноармейцев, одетых в форму великих богатырей, стоявших друг против друга на-страже: за спиной этих богатырей,—они несут угнетенным народам новую культуру, братство, — стоят в прошлых веках в неувядаемой, в бессмертной славе Ильи Муромцы, Микулы...

Я вошел в Кремль и в нем — это за его высокими зубчатыми стенами, башнями — стало тише, стало спокойнее: не бесилась так яростно вьюга, не бежала суровыми шипящими холстами поземка, не стелилась по мостовым дымом, а только мелкий, похожий на густую пыль, обильно спутанными, огромными куделями падал из низкой рыхлой массы облаков снег, валился на кремлевские мостовые, на серо-слюдяные, похожие на желатин, тротуары, хрипло шипя и как будто пенясь.

Я повернулся направо, по узкой улице направился к темно-красной арке, возле которой большой массой чернели из-под толстого слоя снега штабеля березовых дров. По этой улице, впереди и позади меня, беспрерывно мелькали в снегу люди с портфелями и без портфелей; то-и-дело мимо меня бесшумно пробегали машины, блестя лаком и громко вскрикивая под сводами арки разноголосыми сиренами. Я тоже миновал арку, вышел на простор Кремлевской набережной и на ней, как шубой, обдала меня вьюга, с страшной силой повернула и бросила налево, за угол высокого мутно-серого с решетчатыми окнами здания; я, подгоняемый ею, быстро добежал до вестибюля Большого Кремлевского дворца, у под'езда коего уже стояла огромная

вереница сияющих черным лаком и стеклами автомобилей, двигалась толпа народа, стараясь попасть поскорее во дворец; я пристал к этой толпе, вместе с нею был впущен в вестибюль дворца; тепло вестибюля мягко обдало меня, даже вызвало улыбку; я, улыбаясь, быстро направился к раздевальне и стал в очередь, держа на левой руке пальто, а в правой — галоши и шапку; потом, когда сдал одежду, вразмашку, почти бегом, направился по прямой, широкой и мягкой от ковров лестнице на второй этаж. За мной и впереди густой толпой бежали кверху люди, вливались в узкий коридор, что висел над самой лестницей, отделялся массивной желтой решеткой. По этому наружному, связывающему собой и Георгиевский зал и другие, коридору, столпившись в большую массу, мы грузно двинулись в этот коридор, чтобы из него поскорее попасть в Андреевский зал, где должен нынче открыться Всесоюзный с'езд коммунистической партии (большевиков); у входа в коридор стояли в шлемах красноармейцы, такие же, как и у Троицких ворот, богатыри; красноармейцы попросили обождать, и мы, сгрудившись в одну непроходимую массу, остановились, стали все больше и больше расти, заполнять собою лестницу, даже загибаться к Георгиевскому залу. Я, находясь в этой толпе, недалеко от дверей коридора в Андреевский зал, был прижат к самым перилам, что висели над широкой ковровой лестницей, и видел, как по этой лестнице, чернея, синея и белея костюмами, двигался, кружился народ, то густо взбираясь по ней кверху, то спускаясь книзу; я видел, как перед моими глазами, вокруг меня, прижавшись плотно ко мне, стояла толпа, составленная из разных национальностей — русских, украинцев, татар, латышей, армян, грузин, турок, поляков, китайцев,

карелов, евреев и монголов; она неодинаковыми глазами — карими, голубыми, темно-синими, серыми, желтыми — смотрела вперед, стремясь к единой цели, намеченной единой партией, — к коммунизму, к другой культуре; глядя на р а з н о л и к у ю т о л п у, я в эту минуту великолепно знал, что между русским, татарином, негром, китайцем, поляком, турком и другими, принадлежащими к другим национальностям, не было той грани, которая могла бы их отделить друг от друга, враждебно настроить друг к другу, а наоборот, это была единая масса, единое тело, с единым желанием, с единой несокрушимой волей, с единым упрямством:

«На развалинах старой культуры построить другую культуру».

Я тоже жил этим единым желанием.

Потом толпа быстро тронулась, потекла мимо красноармейцев в узкий коридор; обе стороны коридора, исключая зеркальных дверей Андреевского зала, возле которых грузно стояли другие красноармейцы, были заставлены плакатами, таблицами, фотографиями революционеров, диаграммами роста коммунистической партии, комсомола, подпольными газетами и книгами. Я, подталкиваемый напирающей толпой, вошел в конец Андреевского зала, что был отделен коричневой деревянной решеткой от огромной длинной залы, отведенной для делегатов с'езда, бросился, как и многие товарищи, захватывать место, чтобы ближе быть к трибуне. Устроился я в первом ряду очень удачно, так что было можно облокотиться на перила решетки, смотреть на огромный зал заседания, заставленный небольшими коричневыми столиками, похожими на школьные парты, — на них сейчас лежали блокноты и газеты для делегатов с'езда, — на трибуну, с большим красным

столом, позади каковой от пола поднимался зонт и черным куполом висел над ней; на этом черном зонте, пониже купола, находился большой портрет, края которого были обмотаны черно-красным шелком; с этого портрета, из огня рамы, смотрело лицо вождя, создателя коммунистической партии, прищуренными, похожими на два солнца, глазами в глубину зала, как будто чуть-чуть улыбаясь.

Конец зала, что был отведен для гостей, быстро наполнился, так что было нельзя тронуться со стула, выйти обратно в коридор. Тут, в конце зала, были люди разного общественного положения: советские работники с толстыми портфелями и «вечными» ручками в грудных карманах (у некоторых ответственных было по две «вечных» ручки), скромные партийцы, тощие вузовцы, но любопытные и всюду шныряющие; советские работники резко выделялись из остальной массы гостей: выделялись они костюмами, особенными темно-синими френчами, давно надоевшими толстовками, желтыми ботинками, брюками в полоску, пухлыми и мягкими ладонями; особенно выделялись некоторые советские работники из общей массы своими физиономиями: физиономии некоторых работников были наделены какими-то высокими чертами, так что, глядя на их облагороженные сытостью и спокойствием черты, ощущались высокие бюрократические учреждения, кабинеты, кресла, автомобили и очаровательные секретарши; тут, в конце зала, были женщины, комсомолки, и тоже — толстые, тонкие, спокойные, как калужское тесто, бойкие и веселые... одним словом, за моей спиной и с обоих боков дышали, сопели, кашляли, сморкались, говорили шопотом, громко спорили, шумели газетами, здоровались, справлялись друг у друга:

— Где работаете?
— А вы?
— Как ваше теперь здоровье?
— А ваше?
— Мерси.
— А как ваши дочки?
— Спасибо, хорошо чувствуют себя.

Тут, в конце зала, были рабочие-партийцы из заводских и фабричных ячеек; эти гости пришли серьезно, прочно, как хозяева, заняли места, вытащили из карманов толстые записные книжки, положили на колени и, в ожидании открытия с'езда, равнодушно стали водить глазами по колоннам, по огромным стенам, по люстрам, которые напоминали скорее церковь, чем дворец. Зал заседания стал наливаться густым, все усиливающимся шумом шагов, скрипами стульев, столов, разговорами, отдельными возгласами, смехом; ровно через полчаса он наполнился делегатами с'езда, его боковые проходы, что были за рядами грузных колонн, ответственными работниками: членами ЦКК, наркомами, членами коллегий наркоматов, представителями Коминтерна и других партийных и советских учреждений.

Глядя через согнутые, цветные — серые, зеленые, синие, брусничные и черные — спины, через их шарообразные, черные, русые, светлые, седые головы в глубину зала, трибуна с длинным красным столом под лепным куполом, под тяжелой золотой люстрой, под сверкающими грубо-лепным золотом дугами колонн казалась маленькой, миниатюрной, в особенности казался небольшим портрет Ленина, обтянутый черно-красным шелком; даже и все делегаты с'езда, сидевшие ровно, точно подстриженные под одну гребенку, за партообразными столиками, казались ползающими муравьями.

И действительно, Андреевский зал был необычно огромен, груб своими четырехугольными колоннами, лепными украшениями — орлами, коронами, люстрами и всевозможными узорами, сделанными из золота, так что вся его громоздкость, сусальная красота говорили не только о культуре самодержавия последнего столетия, а утверждали о некультурности его, а также и об обществе, окружавшем царей. Одним словом, под лепными сводами, под дугообразными, густо сверкающими вершинами колонн, бегущими массивно и прямо от блестящего бледно-желтого паркета, покрытого мягкими темно-красными коврами, как потревоженный муравейник, торжественно волновался с'езд, величественно всколыхнулся и ринулся к трибуне потоком глаз, когда на нее вышел один из делегатов, подошел к столу и обратился к с'езду:

— Товарищи, по поручению Центрального Комитета Российской Коммунистической Партии, приветствую с'езд нашей партии.

Делегаты с'езда громоздко заколыхались, поднялись.

Глядя на поднявшийся с'езд, на быстрые мелькания ладоней, создавалось такое впечатление, что это не делегаты хлопают в ладоши, — поднялась несметная многотысячная стая тяжелых светло-розовых птиц, дружно, оглушительно захлопала в воздухе широкими крыльями. Глядя на этот зал, гости тоже поднялись и сильно захлопали в ладоши. Председатель с'езда, одетый в черный костюм, в белую рубашку, в черно-синий галстук, откинув назад сухое, с плоской грудью туловище, вскинул немного кверху продолговатое костлявое лицо с небольшой темно-русой бородкой, приподнял

острые плечи, похожие на два коротких крыла, и, сверкая прозрачными глазами, громко, чуть-чуть заикаясь, стал продолжать приветственную речь:

— За время между (такими-то) с'ездами наша партия потеряла много старых, выдержанных, преданнейших интересам партии и рабочего класса борцов. Умер член Центрального Комитета народный комиссар (такой-то), умерли кандидаты и члены ЦК (такие-то), трагически погибли (такие-то), сошел в могилу целый ряд других ответственных работников и старейших членов нашей партии. Предлагаю с'езду почтить их память вставанием.

С'езд медленно, как один человек, встает, и Андреевский зал наполняется глубокой минутной тишиной, которая кажется длинной, тяжелой под этими массивными, сверкающими колоннами. А когда с'езд успокоился, он стал все так же громко продолжать:

— Товарищи, предыдущий (такой-то) с'езд происходил полтора года назад. В такую революционную эпоху, в которой мы живем, полтора года — очень большой срок. Было бы величайшей ошибкой думать, что, в противоположность периоду гражданской войны, непосредственной войны за власть, истекшие полтора года были периодом затишья. Достаточно перечислить основные моменты борьбы партии и рабочего класса за истекшие полтора года, чтобы понять всю ошибочность такого взгляда. Ни у кого из нас не может быть сомнения в том, что та борьба, которая велась пролетариатом и партией на протяжении этого отрезка времени на хозяйственном и культурном фронтах, играет в отношении судеб коммунистического движения отнюдь не меньшую роль, чем предшествовавшая этому

борьба на военных фронтах. За истекшие полтора года существенно изменилась вся хозяйственная обстановка страны...

За деревянной решеткой, отделяющей делегатов от гостей, несколько человек с'езда, чтобы получше видеть, поднялись, влезли на столы и широкими спинами загородили трибуну, председателя, открывавшего с'езд.

Товарищи, сидевшие позади и рядом со мной, запротестовали:

— Товарищи, товарищи, сядьте!

— Сядьте, говорят!

Делегаты, взобравшиеся так хорошо на столы, повернули в нашу сторону головы, посмотрели протестующими, широко открытыми смятенными глазами, осыпая сверкающей пылью глаз.

— Сядьте на свои места!

Товарищи, недовольные, слезли со столов, сели на свои стулья. Соседи, сидевшие позади и рядом со мной, по бокам, успокоились, снова устремились на трибуну, с которой все так же полновесно текла, чуть-чуть заикаясь, торжественная речь:

— ... В целом ряде отраслей хозяйства мы уже достигли или достигаем довоенного уровня; впервые сделаны крупнейшие успехи в области кооперативного строительства. Впервые рабочий класс приступил к новому строительству в заметных для хозяйства размерах. — Переходя к Востоку, он сказал:

— Для страны Востока и для всех угнетенных народов Союз ССР стал еще в большей степени, чем раньше, символом освободительного движения. — Потом он подробно остановился на процессе социалистического хозяйства, на активности рабочего класса, на работе Центрального Комитета партии, на дискуссиях, кото-

рые пережила партия за этот период; потом он остановился на вопросах, которые на этом с'езде партия должна обсудить; наконец, заканчивая приветственную речь, он высказал следующие слова:

— После смерти Ленина с'ездам партии принадлежит решающая роль еще и в новых вопросах: в вопросах толкования ленинизма, в вопросах применения учения Ленина к новым условиям жизни рабочего класса и жизни страны.

Тут снова всколыхнулись делегаты, взволновались, потекли плечами, туловищами, разноцветными головами, наполняя зал шумными всплесками ладоней, так что опять почудилось мне, что это не ладони, а взмыли огромные стаи тяжелокрылых птиц, закружились под сводами Андреевского зала и, задевая за массивные люстры и отражаясь в их золоте, грузно стали хлопать широкими крыльями, рассекая бледно-сиреневый свет дня.

— Об'являю (такой-то) с'езд нашей партии открытым. Слово для предложения по вопросу о составе президиума имеет делегат с'езда...

На трибуну поднялся плотный рыжеватый рабочий; одет он был в черный пиджак, такого же цвета брюки и штиблеты; он быстро повернулся к с'езду, подошел к самому краю трибуны, поднял широкое, скуластое, но простое и милое лицо, посмотрел широко открытыми с бронзовой искрой глазами в глубину зала, как будто отыскивая в нем знакомого; потом внезапно оторвался от него, уперся глазами и всем своим скуластым лицом в список и неожиданно, без единой запинки, выкрикнул:

— Товарищи! Состав президиума как персональный, так и количественный согласован сеньорен-конвентом... сеньорен-конвент (эти иностранные слова

как-то кособоко прозвучали на рабочем языке) предлагает количественный состав президиума сорок семь человек, — тут он умолк и вскинул скуластое, с мелкой пылью веснушек лицо.

Председатель, чуть-чуть заикаясь:

— Еще предложения есть? Нет. Кто за внесенное предложение, прошу поднять р-руки...

Делегаты, разрывая разноцветный поток глаз, беспрерывно бегущий к трибуне, с легким шумом подняли руки, и огромный зал на одно мгновение расцвел красными цветами.

— ... Порядок утвержден единогласно. Слово для доклада от ЦК партии имеет товарищ... — Тут речь председателя заглушается неудержимым волнением с'езда, который, за исключением ленинградской делегации, встает и устраивает овацию. В это время члены президиума проходят на трибуну, садятся за темно-красный стол по обе стороны председателя; председатель, откинув голову немного назад, тоже хлопает в ладоши. Небольшой конец зала, набитый гостями, тоже, как один человек, поднялся, неистово рукоплещет. Докладчик вышел вперед, держа в руке небольшую пачку бумаги, размером небольше восьмушки листа, и стал дожидаться окончания овации, которая при появлении его превратилась в сплошной гул, похожий на прибой моря. Докладчик был выше среднего роста, с приподнятыми кверху крутыми плечами, с бледно-желтым и немного рябоватым лицом, с блестящими, то-и-дело вспыхивающими черным огнем глазами, с обвислыми черными, с едва заметной проседью усами, с низко подстриженными зачесанными назад черно-серебристыми жесткими волосами; одет он был просто, обычно, как всегда: на нем был не то светло-зеленый, не то светло-синий военный

френч, но без всяких военных знаков, застегнутый на все пуговицы; на нем были такого же цвета военные брюки, но не галифе, и были заправлены в мягкие, светлые и высокие до самых колен сапоги. Сейчас он стоял ровно, неподвижно, как скала, и, закинув левую руку с довольно крупной кистью на поясницу, дожидался окончания овации, которая все так же, как и до появления его на эту трибуну, под массивными, украшенными золотом дугами колонн и люстрами, бушевала подобно морскому прибою.

Казалось, что этому гулу не будет конца.

Наконец, прибой оборвался, наступила глубокая тишина; нарушая эту глубину, изредка раздавался редкий скрип стульев, редкий кашель, отставший удар ладоней, — все это четко подымалось к сводам.

— Товарищи, — начал докладчик с немного восточным акцентом. Он говорил о международном положении, о том, «что между нашей страной строящегося социализма и странами капиталистического мира установилось некоторое временное равновесие сил, — равновесие, которое определило собой текущую полосу мирного сожительства между страной советов и странами капитализма». — Он говорил: — «То, что нами считалось как временная передышка после войны, превратилось в целый период передышки». — Дальше делал вывод: — «Отсюда некоторое равновесие сил и некоторый период «мирного сожительства» между миром буржуазии и миром пролетариата». — Потом подтверждал, «что в основе такого «мирного сожительства» лежит внутренняя слабость и немощность мирового капитализма, это — с одной стороны, а рост революционного движения рабочих, особенно рост вообще рабочего класса у нас, в Стране Советов,—это с другой.

Отсюда—что̀ лежит в основе этой слабости капиталистического мира? В основе этой слабости лежат те непреодолимые для капитализма противоречия, в рамках которых складывается все международное положение, — противоречия, которые непреодолимы для капиталистических стран и которые могут быть преодолены только в ходе развития пролетарской революции на Западе». Тут докладчик поставил вопрос: «Что это за противоречия?» — и немедленно дал ответ: «Их можно свести к пяти группам. Первая группа противоречий — это противоречия между пролетариатом и буржуазией в капиталистических странах. Вторая группа противоречий — это противоречия между империализмом и освободительным движением колоний и зависимых стран. Третья группа противоречий — это те противоречия, которые развиваются и не могут не развиваться между государствами-победителями в империалистической войне и между государствами-побежденными. Четвертая группа противоречий — это те противоречия, которые развиваются и не могут развиваться между самими государствами-победителями. И пятая группа противоречий — это те противоречия, которые развиваются между Страной Советов и странами капитализма... Вот те пять основных групп противоречий, в рамках которых развивается наше международное положение». Тут он быстро перешел к первой группе противоречий: «Товарищи, теперь я перехожу к стабилизации капитализма». В этом огромном и важном пункте докладчик с цифрами в руках доказал, что капитализм из «хаоса в производстве, торговле и области финансов» выходит и уже вышел. Потом он цифрами подтвердил свои выводы, что капитализм «временно стабилизируется». Потом докладчик последовательно и

подробно остановился на других группах противоречий: на империализме в колониях и полуколониях, на победителях и побежденных, на противоречиях между странами-победительницами, на капиталистическом мире и Советском Союзе, на внешнем положении Союза. Потом он перешел к внутреннему положению Советского Союза. Нужно сказать, когда докладчик перешел к внутреннему положению Союза, в зале была необычайная тишина: ни кашля, ни чиха, ни шопота,—было одно напряженное внимание к этому вопросу, так что туловища делегатов сильно подались вперед. Только в конце было немного шумно и мешали слушать докладчика. Я обернулся, посмотрел назад, на сидевших позади меня: никакого шума не было, только были еще больше наклонены вперед туловища, чем в делегатском зале, еще больше были вытянуты шеи, еще больше были повернуты направо лица, а левые уши выставлены вперед к трибуне, ловили газетными рупорами слова докладчика; газетные рупоры задевали друг за друга, чем и производили тихий шорох, который в притаившейся тишине, под сверкающими сводами, под дугами массивных колонн и люстр, казался в роде большого ветра, запутавшегося в листве какой-нибудь одинокой березы, стоящей далеко от села на юру; этот шорох волновал, заставлял гостей оглядываться назад и шипеть:

— Тише!

— Оставьте рупор!

— Не мешайте слушать!

А докладчик продолжал все таким же ровным, спокойным голосом, нисколько не возвышая и не понижая его. Впрочем, он говорил неважно, даже очень плохо в смысле красноречия, но он говорил так, как бы стал

говорить сейчас вон тот широкоплечий товарищ, который приехал из далекого Урала и который так внимательно слушает его; он говорил так, как стал бы говорить вон тот бородатый и голубоглазый товарищ, который приехал из Донбасса и который так напряженно и внимательно слушает его, чувствуя в нем свое рабочее нутро; он говорил так, как бы стал говорить вон тот скуластый, бледнолицый товарищ, который приехал из Тулы, прямо из цеха завода; он говорил так, как стал бы говорить вон тот молодой безусый товарищ, который приехал из центральной России; он говорил так, как стал бы говорить вон тот пожилой, серьезный, с большими морщинами на смуглом лице товарищ, который приехал из Ленинграда и так жадно слушает его, боясь пропустить хотя бы одно слово; он говорил так, как бы стал говорить каждый делегат этого с'езда; он говорил так, как бы стала сейчас говорить вся миллионная партия; он говорил так, как стал бы говорить весь многомиллионный рабочий класс. Он говорил как раз то самое, что сказал бы каждый товарищ, сидящий в этом зале; он говорил как раз то самое, что было нужно, что было дорого и близко каждому рабочему, каждому члену партии, каждому бедняку:

«Мы строим социализм и построим его».

Он высказывал как раз то самое, что сейчас было в глубине души каждого рабочего; он говорил как раз то самое, о чем глубоко болел и болеет его класс и вся его партия; он говорил... Одним словом, он говорил: «Мы строим социализм и построим его». — Впрочем это не он говорил, а через него говорила вся партия, весь трудовой Союз.

Он говорил, прохаживаясь по трибуне:

— Мы работаем и строим социалистическое хозяйство в обстановке капиталистического окружения. Это значит, что наше хозяйство и наше строительство будут развиваться в противоречии, в столкновениях между системой нашего хозяйства и хозяйства капиталистического. Этого противоречия нам не избегнуть никак. Это есть рамки, в пределах которых должна протекать борьба двух систем: системы социалистической и системы капиталистической. Это значит, кроме того, что наше хозяйство должно строиться не только в его противопоставлении вовне хозяйству капиталистическому, но и в противопоставлении различных элементов внутри нашей страны, в противопоставлении социалистических элементов капиталистическим...

— Уберите рупор, — проговорил около меня сердито сосед. — Вы его еще мне на голову положите, а потом сами залезете, — и сбросил с плеча рупор, сделанный из всего размера газеты «Известий».

Хозяин рупора, выправляя газету, обиженно проговорил:

— А вы сядьте, как следует!

— А это дело хозяйское, — не поворачивая головы, ответил мой сосед и добродушно пояснил. — Как мне нравится, так и сяду!

Сидевший позади товарищ не ответил. Он очень внимательно, стараясь не шуметь, развернул смятую газету и, выпрямляя ее, принялся снова создавать рупор, но только гораздо меньше первого.

Докладчик, то-и-дело смыкая кисти рук на животе, то-и-дело размыкая их и размахивая ладонями перед собой, точно пересыпая из одной в другую полновесные червонные зерна, продолжал:

— Отсюда вывод: мы должны строить наше хозяйство, так, чтобы наша страна не превратилась в придаток

мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему капиталистического развития как ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся, главным образом, на внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны. Есть две генеральные линии: одна исходит из того, что наша страна должна остаться еще долго страной аграрной, должна вывозить сельскохозяйственные продукты и привозить оборудование, что на этом надо стоять и по этому пути развиваться и впредь. Эта линия требует по сути дела свертывания нашей индустрии. Эта линия ведет к тому, что наша страна никогда или почти никогда не могла бы по-настоящему индустриализироваться; наша страна из экономически самостоятельной единицы, опирающейся на внутренний рынок, должна была бы об'ективно превратиться в придаток общей капиталистической системы. Эта линия, повторяю, означает отход от задач нашего строительства.

По залу пробежала темно-цветистая зыбь; затрепетал светло-зеленый поток глаз; пробежал всплеск ладоней; раздались голоса:

— Правильно!

— Это не наша линия. По этой линии мы должны открыть огонь...

А когда зал успокоился, он стал продолжать.

— Есть другая генеральная линия, исходящая из того, что мы должны приложить все силы к тому, чтобы сделать нашу страну, пока есть капиталистическое окружение, страной экономически самостоятельной, базирующейся на внутреннем рынке, страной, которая

послужит очагом для притягивания к себе всех других стран, понемногу отпадающих от капитализма и вливающихся в русло социалистического хозяйства. Эта линия требует максимального развертывания в нашей промышленности, однако, в меру и в соответствии тем ресурсам, которые у нас есть. Она решительно отрицает политику превращения нашей страны в придаток мировой системы капитализма. Это есть наша линия строительства, которой держится партия и которой будет она держаться и впредь. Эта линия обязательна, пока есть капиталистическое окружение...

Затем докладчик перешел к росту социалистической промышленности и к сельскому хозяйству. Он с цифрами в руках доказал рост нашей промышленности, развернул грандиозную картину строительства. На целые десятилетия осветил путь Союза. Потом быстро перешел к вопросу, который в настоящее время волнует партию и который волнует рабочий класс: госкапитализм у нас или социалистическое хозяйство? Можем ли построить социализм в одной стране или не можем? Остановившись подробно на этих вопросах, он утвердительно заявил с'езду, что у нас не госкапитализм, а социалистическое хозяйство, что мы построим социализм, что мы должны его строить, что мы будем всеми нашими силами строить его. Потом он перешел к партии. Он, все так же синея френчем, стоял неподвижно, как скала, немного восточным голосом продолжал:

— Товарищи, я говорил дальше о противоречиях внутри нашей страны между элементами капиталистическими и элементами социалистическими. Я сказал, что эти противоречия мы своими силами можем преодолеть. Кто не верит в это дело—тот ликвидатор, тот не верит в социалистическое строительство. Эти противоречия

мы преодолеем, мы их уже преодолеваем. Конечно, чем скорее придет помощь со стороны Запада, тем лучше, тем скорее мы преодолеем эти противоречия для того, чтобы доканать частный капитал и добиться полной победы социализма у нас, построения полного социалистического общества. Но и без помощи со стороны мы унывать не станем, караул кричать не будем, своей работы не бросим и трудностей не убоимся...

В зале движение, похожее на движение волн; спины делегатов переливаются цветами костюмов, выпрямляются; некоторые встают и, разрывая густой поток глаз, вскидывают ладони, которые, сверкая подобно морской пене в бледно-сиреневом свете дня, громокипящим гулом наполняют зал.

— ... Кто устал, кого пугают трудности, кто теряет веру — пусть даст дорогу тем, кто сохранил мужество и твердость. Мы не из тех, кого пугают трудности. На то мы и большевики. На то мы и получили ленинскую закалку, чтобы не избегать, а итти навстречу трудностям и преодолевать...

— Сядьте! Сядьте! — кричат из конца зала, туго набитого гостями. — Сядьте! Ничего не видно!

Но делегаты не садятся, а наоборот — к ним присоединяется весь с'езд, за исключением ленинградской делегации, сидевшей налево отдельной группой, устраивает докладчику потрясающую овацию, оглашая дворец взволнованными криками:

— Правильно!

— Долой ликвидаторов!

Докладчик, заканчивая доклад, спокойно, убежденно, с неукротимой железной логикой высказал заключительные слова; эти слова с'езд партии выслушал стоя, как один человек.

— ... Я думаю, что мы работаем не зря, строя социализм. Вот почему я думаю, что в этой работе мы должны победить в международном масштабе.

Тут, после этих слов, в зале все смешалось, в особенности, когда он медленно стал подниматься по ступенькам трибуны к столу президиума, поднялось такое восторженное волнение, так что было трудно решить, человеческое ли это или игра вздыбленных волн над пучинами моря? Овация это или под сводами дворца кружатся тяжелые стаи птиц и шумят белорозовыми развернутыми крыльями? За многоголовой спиной делегатов, которые рукоплескали стоя, не было видно трибуны, членов президиума, а только были видны одни их непохожие друг на друга лица, устремленные на него, да еще трепещущие ладони... Гости, сидевшие в конце зала, поднялись и тоже хлопали докладчику. Одним словом, в Андреевском зале что-то было непостижимо бурное, небывалое: гости, сидевшие за неимением места в зале, на широких мраморных подоконниках и в виду тесноты так и остались сидеть на них, тоже рукоплескали; гости, стоявшие сплошной стеной в коридорах, за колоннами зала, тоже неистово работали ладонями, а некоторые радостно кричали.

Все эти рукоплескания слились в одну громокипящую бурю, которая продолжалась долго-долго, напоминала собой солнечное, с тяжелыми волнами море, только что растревоженное весенней радостной грозой.

ГЛАВА ВТОРАЯ

* * *

Когда рукоплескания окончились, сухой с острыми плечами, с темно-русой бородкой председатель обратился к с’езду:

— Поступило несколько заявлений о закрытии сегодняшнего заседания. Нет возражений. Заседание закрывается.

Тут вся масса делегатов, гостей глухо всколыхнулась, повернулась направо, двинулась к выходным дверям. Я тоже поднялся и направился к выходу. В дверях, выходящих в коридор, мне пришлось немного обождать, так как по узкому и мутному от дыма папирос коридору двигалась густая лава делегатов, гостей, подпирая друг друга плечами, грудями, теплыми животами. Эта лава текла медленно, с остановками, с густым гулом разговора по поводу доклада. Перед моими глазами проходили, если можно так выразиться, в лаве русских «разноликие народы» СССР—татары, украинцы, тюрки, монголы, черкесы, армяне, евреи, китайцы, японцы, корейцы, немцы, поляки и др.; однако, все эти «разноликие народы» жили одной жизнью, боролись за одну идею, крепко любили одну родину, на территории которой погибла старая культура, погиб старый капиталистический мир, на территории которой строится другой, невиданный до сего мир братства, мир другой культуры, социалистической. Этот другой невиданный мир строят вот они, идущие так густо и шумно по коридору, поднятые на вершину молодой эпохи миллионами трудящихся, которые послали их в этот дворец, которые стоят за их спиной, непоколебимо вдохновляя и поддерживая их своей силой и волей. Эту другую культуру, очищая шестую часть земли от гнили старого, создают вот они, идущие вместе со мной по коридору, а вместе с ними и многомиллионные массы «разноликого народа». От такого сознания все мое существо наполняется радостью, и я чувствую, как я расту, расту, расту и вливаюсь в коридор, в густую лаву товарищей, в общую

радость, в которой теряется моя маленькая радость, мое маленькое тело и еще более маленькое мое «я». В этой густой лаве, представляющей собой одно тело «разноликого народа», в котором ощущаю свое собственное тело, я вижу, как рядом со мною, прижавшись ко мне теплым правым плечом, идет с раскосыми, немного выпуклыми, миндальными глазами китаец, улыбается такой же радостной и вдохновенной улыбкой, какой улыбаюсь я и мой следующий сосед с лицом и с следами пейс древнего еврея. А еще подальше, впереди нас, плывет свободно высокий, темный, как поджаренный кофе, малаец, радостно сверкая крупными красивыми белками глаз, кровью толстых и немного вывернутых наружу губ, изумительной белизной зубов и воротом мягкой рубашки из темно-синего костюма; он тоже, как и я, как и его собрат-китаец, который как и он, малаец, знал, что культурные люди Европы — сэры и лорды — никогда не считали и не считают его народ за людей, а всегда ставили и ставят ниже самого последнего животного, били и бьют, четвертовали и четвертуют, привязывали и привязывают к жерлам пушек...— гордо идет в этой лаве «разноликого народа», радость которого была его радостью, желание которого было и его желанием, родина которого была и его любимой и дорогой родиной, а поэтому он, малаец, не чувствуя своего собственного «я», идет так же радостно, как и каждый его товарищ, идущий с ним рядом.

Еще немного подальше от меня двигался туркестанец в своем широком голубом халате, украшенном крупными светло-зелеными лапами, в золотой шапочке, которая плотно сидела на одной макушке головы; он шел тоже гордо, в полном сознании, что он такой же человек, пользуется такими же правами, как его товарищ русский,

что он собственными руками вместе с русскими и другими строит другой мир, другую культуру. Вот с таким глубоким сознанием двигался «разноликий народ» моей страны. С таким же сознанием двигался и я по темно-коричневому коридору, украшенному плакатами, диаграммами, дымному от курева и от широкооткрытых, восторженных глаз... Я видел, как народ в своей трехтысячной массе потерял цвет, сверкал каким-то блестящим неопределенным цветом, дымился, дрожал изумительно-прозрачной сеткой глаз, похожей на волны выколосившейся ржи.

Вот эти глаза текли, двигались вперед, влекли за собой свое черно-синее и темно-зеленое туловище.

Вот среди этих глаз были и мои глаза, потерявшие свой цвет и цвели единым цветом радости «разноликого народа». Вот с таким настроением я вышел из коридора Андреевского зала, потом спустился с лестницы, оделся и вышел на улицу из вестибюля.

На улице было еще светло, но Большой Кремлевский дворец был ослепительно освещен, потоки его бело-желтого света широкими волнами выливались из огромных окон на Кремлевскую набережную, заливали ее, снежную муть, крутящуюся от ветра.

На этой набережной все так же, как и в начале дня, крутила вьюга и снизу и сверху, грозно шипела, пенилась, глухо шумела по широкой мостовой, не защищенной от Москва-реки, срывалась белыми дымящимися столпами и, с шипением и свистом кружась около темных деревьев, летела бешено под гору, в тишину бульвара и древней кремлевской стены. В ее густую гремящую пелену, в интервалы столпов, изредка робкими огнями заглядывает Замоскворечье, похожее на далекое село, затерявшееся в снегах... Такие

дымящиеся белые столпы катились беспрерывно по мостовой и, вертясь широкими полотнами около автомобилей, отливающих темно-синим лаком карет, и около мутно зеленых тумб и фонарных столбов, отрывались, летели один за другим за ограду, шумно и грозно срывались под гору, у подножья которой все так же чернел парк, грузно серела своими зубцами и башнями из дымящейся мути кремлевская стена. Я видел, я ощущал, как со мной вместе от дворца оторвалась «разноликая толпа», поплыла по тротуару, по мостовой, кутаясь в воротники пальто и быстро обгоняя меня; я видел, как рвались от вестибюля, ярко освещенного огнями лапчатых фонарей, машины и, оглашая ревом сирен, плавно проносились мимо меня, мимо пешей толпы, идущей позади и впереди, и, сверкая отраженными огнями в бортах, пропадали в снежно-мутной, ревущей и лающей на все голоса кутерьме; я хорошо видел, как передо мной яростно поднимались столпы колючего снега, двигались на меня, бросались под ноги; потом, густо дымясь сверкающей пылью, поднимались непостижимо на дыбы и, обдавая все мое тело ледяным холодом, бросались ко мне на шею, больно били в лицо; потом стремительно срывались с плеч и один за другим бежали дальше, оставляя на языке и в ноздрях острый и глубоко приятный запах зрелых арбузов и сахарных дынь. Так было до тех пор, пока я не завернул за угол огромного здания, не вышел на узкую Кремлевскую улицу, где не было такого сильного и резкого ветра, не было поземки — снега снизу, а густо, точно из мешка, сыпался сверху в прорыв узкой улицы мелкий, тяжелый и сухой, похожий на песок, шипящий снег.

Вдыхая этот приятный запах и выбираясь из густой мглы снега, я незаметно подошел к Троицким воротам,

вошел под их низкие мрачные своды и на меня пахнуло тишиной, желтым светом электричества, и опять, при виде красноармейцев, стоявших так неколебимо на-страже, пахнуло богатырями, опять бросились в глаза Ильи-Муромцы, Микулы-Селяниновичи, которые в древности собирали Русь, создавали великую Россию, начинали строить культуру, которая сейчас отцвела, развалилась, а вместо нее строится другая культура, социалистическая; глядя на этих красноармейцев, передо мной вырастали не те Ильи-Муромцы, а другие богатыри; эти богатыри не собирают великую Россию, а стоят на-страже великого рабочего государства, первого в мире; эти богатыри зорко смотрят в дряхлый, издыхающий мир, освещают, указывают путь угнетенным народам, рабочему классу, который еще не вышел из-под ярма сгнившего величия старой культуры и рабства, зовут его последовать примеру их родины, тряхнуть покрепче плечами, чтобы все здание старого мира рухнуло, похоронило под своими обломками все ненужное, отжившее и гнилое... Эти Ильи-Муромцы стоят только на-страже, только охраняют строящийся новый мир, новую культуру, только зовут другие угнетенные народы, рабочий класс других стран к себе на помощь, ибо другого выхода у трудящихся народов нет и не будет. Они твердо, неколебимо стоят и глубоко знают, что они счастливы, что они родились во-время, что они являются первыми богатырями по защите своего отечества, которое вот с этого года, вот с этого с'езда партии начинает неудержимо вступать в силу своего расцвета и грандиозного строительства, о котором только что говорил на с'езде партии одетый в военный френч, простые сапоги докладчик, прямой человек, с узкими горячими глазами, с большими кистями рук, с крупными

плечами, грубый и сухой на вид, с немного рябоватым и утомленным от кабинетной работы лицом, с немного гортанной речью, но точной, глубокой, близкой и родной «разноликим народам».

В этом человеке чувствовалась сила, воля, гений рабочего класса, который выдвинул его, послал вперед на самые ответственные позиции борьбы и строительства...

Выходя из Троицких ворот, напоминавших Византию, и думая о красноармейцах, о первом дне с'езда моей партии, о докладчике, что стоял перед моими глазами и спокойно, ровным голосом делал доклад, пряча левую руку с большой кистью за спину, я вспомнил народного комиссара, героя моего романа, — впрочем, да простят мне читатели, я о герое очень мало сказал в своем романе, а больше всего говорит о стране, о рабочем классе и о крестьянских массах, об отдельных типах, — и пришел к глубокому унынию и стал было погружаться в это уныние и размышлять: «Зачем я не начал роман вот с этого эпилога, вот с этого с'езда партии, а начал с самого нарождения моей партии? Зачем я стремился доказывать в своем бесконечно-длинном романе, что большевистская партия, а главное народные комиссары и просто комиссары не свалились с неба, а непосредственно, психологически вышли из недр самого народа, из недр рабочего класса, из самой глубины чернозема шестой части земли?

Но доказал ли это я?

Вот это сомнение отчаянно нахлынуло на меня, мучительно захватило меня и страшной болью отозвалось в моем сердце так, что я, не помня себя, рванулся от Троицких ворот в бушующую муть вьюги, в которой быстро двигались черные, точно запятые, люди, извозчики, похожие на головастиков, трамваи с жутким и

жалобным дребезжанием, желто-темные от света и густо набитых людей, силуэты которых просачивались сквозь сильно запушенные морозом стекла; я побежал, подгоняемый ветром и столпами шипящего сухого снега, мимо манежа, закутав голову в облезлый барашковый воротник; но не успел я перебежать мостовую, как на мое плечо легло что-то тяжелое, и я внезапно остановился, оглянулся назад: передо мной стоял мой земляк, улыбался в небольшую бороденку мышиного цвета:

— Смотрю, Завалишин, земляк; дай, думаю, остановлю.

Я медленно вылез из раздумья, оторвался от своего романа, улыбнулся и, не торопясь, ответил:

— Здравствуй, — и подал руку. — Давно не видались. Вы откуда?

— Оттуда же, откуда и вы, — ответил земляк и облил меня слащавой знакомой улыбкой. — Что мы тут стоим-то?! — воскликнул он жалобно и быстро взял меня под руку. — Идемте! — А когда мы двинулись в мятель, он таким же вкрадчивым голоском проговорил:— Зайдемте ко мне; нас Дорофея Потаповна напоит чаем с вареньем, накормит вкусными пирогами.

Я согласился; мы повернули в другую сторону; за нами как будто повернула и вся снежная дымящаяся кутерьма и, обдавая нас густо снегом и забегая вперед, стала бросаться в глаза и грузно дышать свежим, сухим воздухом, пахнущим остро орбузами и сахарными дынями; мы молча и под-руку двигались вперед, преодолевая ветер и снег.

А в это время на Кремлевской башне часы били «Интернационал», а особенное эхо Красной площади, которого вы не услышите во всем мире, повторяло

бой часов, бросало его в узкие московские улицы, — они даже дымились от снега, густо чернея от толп народа, извозчиков и автомобилей.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ * * *

Которую вполне можно не читать

Дорогие читатели! Вы, наверно, окончательно позабыли Дорофею Потаповну, ее супруга, моего земляка, с темно-синими усиками, с маленькой, цвета мышиной шерсти, бородкой, в скромном потрепанном костюмчике? Не волнуйтесь! Я вполне с вами согласен: разве можно упомнить в таком длинном романе какую-нибудь едва промелькнувшую, да еще в одной главе, да еще в самом начале сочинения, никчемную, невзрачную личность? Я отвечу, дорогие читатели, за вас: «Запомнить никак невозможно!» Я тоже эти две личности позабыл. Я только вот сейчас на улице, да еще в такую мятель встретился со своим земляком. Он любезно пригласил меня к себе, и я отправился к нему на квартиру. Дорогие читатели, я должен вам прямо заявить, что в жизни бывает все наоборот: вы, например, желаете петь, вам приказывают плакать. А если вы желаете плакать, то вам приказывают петь, — и вы хотя и не своим голосом, но все же поете какую-нибудь веселую арию или какую-нибудь сердцещипательную канитель. А то еще так: вы хотите сходить в театр, собираетесь, идете — и вдруг, не доходя до театра, попадается вам неожиданно человек, останавливает самым что ни на есть милейшим, нежнейшим голоском, этаким тонким обращением, заговаривает с вами, убеждает вас, и вы подчиняетесь ему, сворачиваете от театра в сторону и попадаете в неожиданную обстановку; одним словом, вместо предполагаемого

зрелища, вместо предполагаемой игры артисток и артистов вы попадаете в какой-нибудь кабачок, в какой-нибудь семейный тихий уголок, и ваше настроение резко изменяется благодаря такой неожиданности: шел в театр посмотреть игру актрис, а попал в семейный уголок, если не хуже. Так вот, дорогие читатели, такие изумительные казусы бывают и в жизни сочинителей; в жизни сочинителей их бывает гораздо больше, ибо писатели — люди неспокойные, мятежные и к этому добавьте еще—ужасные лжецы (чем больше писатель врет, тем он гораздо интереснее, и его больше уважают, главное, считают за настоящего художника), потом непоседы, вечно таскаются за жизнью, как за очаровательной красавицей, но самое страшное — не имеют сильной воли: любой кусочек жизни, понравившийся им, может увести их за собой очень далеко, и они в своих произведениях могут наговорить столько неожиданного, что просто вы, дорогие читатели, можете от удивления громко ахнуть... Так вот, дорогие читатели, к таким сочинителям принадлежу и я. Работая над главами романа, я не однажды отрывался от своего главного героя, народного комиссара, раболепно бегал за каким-нибудь очень маленьким, едва заметным уголком жизни и еще более раболепно изучал его, и все виденное и изученное неожиданно вносил в свой роман, нарушая этим его логический и последовательный план и замысел. Так вот и сейчас, выйдя из Троицких ворот, я опять увлекся уголком совершенно ненужной никчемной жизни, да еще пахнущей временами Островского, последовал за этим уголком, как последний волокита за гремящими оборками шелкового платья какой-нибудь изумительной красавицы, попал в гостиную моего земляка с темно-синими усами, с мышиной бородкой, и его дражайшей

половины, Дорофеи Потаповны... Впрочем, в жизни сочинителей все бывает случайно, стихийно (стихийно пишутся и романы, а не высасываются из пальца)... Однако, оставим эти философские рассуждения, перейдем сразу в гостиную Дорофеи Потаповны.

Раньше, чем войти в квартиру, мы с земляком остановились на лестнице, обили с себя сухой, похожий на песок снег, оправились и, чувствуя себя молодцевато, позвонили. На лестнице четвертого этажа было тепло, пахло чесноком, собачьими экскрементами, блинами, поразительно-тонкой и острой струей духов, которая своей, еще непотерянной свежестью говорила, что за несколько минут до нашего прихода по этой лестнице промелькнуло молодое небесное создание, а возможно и в бальзаковском возрасте, так как в струе духов мы стали с земляком ощущать и запах козлиного пота. Но долго рассуждать нам не пришлось, так как в скором времени нам открыли дверь и мы вошли в переднюю, и в наши носы еще острее ударил запах духов с небольшой примесью пота. Мой земляк обратился к дочери:

— Это ты так навоняла?

Тонкая и изящная во всех отношениях дочь громко рассмеялась и, не глядя на нас, кокетливо проговорила:

— К глубокому сожалению, не я. — Потом от двери гостиной пояснила: — Это мама пришла из гостей.

Мы разделись и прошли в гостиную. В оной было необычайно тихо, пустынно. Горело электричество в светло-зеленых шелковых чехлах, отчего в гостиной было как в густом зеленом лесу. В гостиной все было зеленого цвета: мягкая шелковая мебель, несмотря на было как в густом зеленом лесу. В гостинной все было в белой оправе, рояль, на котором вторая и тоже изящная во всех отношениях дочь наигрывала «чижика».

Дорофея Потаповна, которая до нашего прихода полулежала на широком диване и слушала «чижика», была тоже, как и ее дочери, под зеленым флером чехлов. При виде нас — мужа и меня — она, томно потягиваясь, медленно поднялась с дивана, закрыла ладонями обнаженную высокую грудь, небрежно проговорила:

— Простите, что я в таком беспорядке, — потом быстро повернулась к нам и, тряся широкими зыбучими мясами зада, почти бегом побежала в другую комнату.

Дочери — их было четыре (три, как и мамаша, полулежали на диванах, поджав под себя изящные, обнаженные до мраморных розовых колен ножки) — встали и очень весело поздоровались со мной. Одна, что открыла нам дверь, вежливо обратилась ко мне:

— Я слышала, что вы написали большой роман о народном комиссаре. Это верно? — И она, ожидая ответа, недоверчивыми и любопытными глазами смотрела на меня и смеялась в своей озорной душе:

«Такой невзрачный мужичонка и написал роман, да еще о народном комиссаре».

Я взглянул на нее, улыбнулся:

— И «О нашем времени».

В гостиную вернулась Дорофея Потаповна и, здороваясь со мной, вся превратилась в воркующий, кокетливый смех. А когда перестала смеяться, весьма мило и ласково проговорила, усаживая меня на диван, рядом с собою:

— Как я рада вас видеть! — Потом неожиданно осыпала меня всевозможными вопросами: — Вы, говорят, написали роман? Говорят, о народном комиссаре?

— И «О нашем времени», — вмешалась старшая дочь и чудесно повернулась на одной, очаровательно маленькой ножке, обутой в лаковую туфельку.

— Замолчи, егоза! — крикнула на нее сердито мать и, не ожидая моего ответа, обратилась ко мне: — А вы знаете, кого назначили на место вашего народного комиссара?

Земляк тоже сел на диван и привалился к спинке. Старшая дочь, на которую прикрикнула мать, чтобы она не вмешивалась в разговор, положила руки на гибкую тонкую талию, повернулась к нам спиной и, слегка танцуя и напевая из Вертинского, прошлась по зеленой гостиной и остановилась около другого небольшого дивана, на котором полулежали две сестры, похожие во всех отношениях на нее (было трудно отличить, кто из них старше и кто моложе).

— Так вы не знаете? — обратилась ко мне Дорофея Потаповна и громко рассмеялась.

Я ответил:

— Не знаю.

Дорофея Потаповна еще громче рассмеялась:

— А мы, женщины, все знаем, — и вдруг изменившимся голосом прокричала:

— Аксюшка! Аксюшка! Аксюшка!

В гостиную влетела Аксюшка, молодая девушка, с широким, красным, как кумач, лицом; по ее щекам трепетали светло-русые пряди волос, с большими круглыми карими глазами, с полуоткрытым ртом, из коего, как сахар, сверкали крупные зубы; она, запыхавшись, не знала, что сказать, и стояла, как стрела, на своих крепких и немного растопыренных, обнаженных почти до колен, красных ногах и, не моргая, смотрела на хозяйку.

Дорофея Потаповна, не глядя на нее, приказала:

— Самовар!

Аксюшка, повернувшись как солдат, ответила:

— Слушаю, барыня!

Дорофея Потаповна возмутилась:

— Вот, дура-то, никаким демократизмом не выбьешь из таких прислуг старого наследия! — Ее лицо потеряло игривость и добродушие.

— Хорошо, что она еще ляпнула при своем человеке, земляке, знающем нашу семью, и он не подумает о нашей семье плохо, а что было бы, если бы она так ляпнула при незнакомом нам человеке, да еще партийце, а? Он бы нас принял за людей старого режима, за людей старого быта и уклада! Просто, товарищ Завалишин, беда с такими прислугами! Вы что-нибудь бы написали по поводу их невежества и некультурности; ну, хотя бы какой-нибудь нравоучительный роман, чтобы они могли выйти из серости и научиться новому быту.

Другая дочь быстро бегала пальчиками по клавишам рояля, ловко срывала звуки, рассыпала их по зеленой гостиной; звуки свободно кружились, подпрыгивали, как ярко-малиновые мячики; этим звукам подпевали тихими, очаровательно-милыми голосками три остальные сестры, полулежавшие на диване:

Чижик, чижик, где ты был?
Под забором водку пил...

— Да замолчите! — крикнула на дочерей Дорофея Потаповна, а когда дочери утихли, она повернула ко мне красное крутое лицо, взглянула в мои глаза маленькими ультрамариновыми глазками, улыбнулась.— Так и не знаете, кого назначили?

— Не знаю.

В это время Аксюшка, ступая широко ногами, внесла ведерный блестящий самовар, шумно отдувающийся и хлестающий мутно-зеленоватым (от чехлов) паром, поставила его на широкий семейный стол, покрытый розовой скатертью. Дорофея Потаповна поднялась с ди-

вана, поставила посуду и, пригласив любезно к столу меня и всю семью, стала разливать душистый светло-коричневый чай. За столом разговор стал более оживленным, вернулся к событиям последнего месяца. Впрочем, говорила исключительно одна Дорофея Потаповна; супруг ее, мой земляк, только изредка вставлял некоторые замечания, поправки в ее сообщения и рассуждения о политике нашей партии, в характеристику вождей и других ответственных работников; что касается меня, то я все время молчал, внимательно слушал сообщения и суждения Дорофеи Потаповны, и только, когда ее суждения оскорбляли мой слух, в особенности моего героя, я свирепо наваливался на вкусный, хорошо подрумяненный воздушный пирог, набивал им полон рот и, давая работу челюстям, старался пропускать мимо ушей ее игривые, саркастические слова. Она, желая быть серьезной, говорила, обращаясь к мужу и ко мне:

— Хотя он вам и земляк, да и теперь лежит в земле, а, как вы знаете, о мертвецах не говорят, но я вам все же скажу: я никакого таланта, простите за резкое суждение, в нем не находила; он был так себе: ни рыба ни мясо.

— Совершенно правильно, — работая вилкой и единовременно ножом над куском воздушного пирога, вставил земляк и не менее убежденно, чем его супруга, добавил: — Ничем не отличался от средних партийцев, просто, если принять во внимание справедливость, был он посредственной и довольно серой личностью.

— Но позвольте, — вскидывая голову от тарелки с пирогом, силился возразить я, — ведь, он проделал огромную работу, у него большие труды, он все время революции стоял несменяемо на таком посту, как... и перед смертью во главе почти всего нашего... а вы говорите...

Тут Дорофея Потаповна взвизгнула, заколыхалась от смеха, горячо набросилась на меня:

— А что сделано? Ничего! Вы настоящим вождям затыкаете рты! Вы вынуждаете их сидеть и молчать? Сейчас у нас в партии аракчеевщина, а не демократия! Где наши вожди? Они вынуждены молчать, а какая-нибудь посредственность стоит у власти!..

Я, чтобы не слушать яростного потока ее слов, ниже наклонился к тарелке, набил рот пирогом и чуть было не подавился, несмотря на его сдобность и на то, что он сам катился в горло...

А Дорофея Потаповна, делая свое крутое лицо еще более серьезным и красным, кричала:

— Аракчеевщина!.. Им не вождями быть, — земскими начальниками! Вы представьте, кого назначили на место вашего земляка, вы только, милый мой, представьте!

Тут она быстро вскочила со стула и, тряся зыбучими мясами зада и высокой груди, добежала до двери и зычно, как в трубу, прокричала:—Аксюшка! Аксюшка!

Громко шлепая стоптанными рыжими ботинками, в гостиную влетела Аксюшка и, растопырив толстые в икрах ноги, замерла у двери и широко-открытыми, круглыми карими глазами остановилась на хозяйке.

— Пирога! — приказала Дорофея Потаповна, а когда Аксюшка повернулась, как солдат, и вылетела обратно, и тут же снова влетела с огромной тарелкой, она, Дорофея Потаповна, взяв из рук Аксюшки тарелку с пирогом, прошла обратно к столу, положила пирог на стол, как раз напротив меня, и села на свое место, тяжело колыхаясь. — Назначили в наркомы человека некультурного, почти неграмотного, да еще такого, у которого в голове нехватает... — Тут она назвала имя одного виднейшего и известнейшего члена партии, героя гражданской войны,

настоящего рабочего, который около трех десятков лет работал в партии, как и мой герой, создавал партию, и которого глубоко любят рабочие и красноармейские массы... — Подумайте, товарищ Завалишин, разве можно назначать, а особенно выдвигать в вожди, когда у нас имеются настоящие вожди... — Дорофея Потаповна подняла крутое лицо, взглянула многозначительно на меня ультрамариновыми глазами, потом, посмотрев ласково в мои глаза, добавила: — Верно я говорю или нет? — и начала по пальцам считать вождей в отставке...

Я отодвинул тарелку с недоеденным пирогом, прожевал пирог, потом запил чаем, потом откинулся немного назад и неожиданно для Дорофеи Потаповны высказал свое мнение, которое очень не понравилось, даже возмутило ее, а с ней и моего земляка, ее супруга. Я резко и убежденно ответил:

— Вы, Дорофея Потаповна, заблуждаетесь в оценке товарищей: назначение старого большевика, рабочего, известного всей партии, на пост только что умершего народного комиссара — правильно; тут партия не ошиблась, такой выбор можно только приветствовать, если это назначение верно, а не слухи...

— Конечно, верно, а не слухи! — воскликнула Дорофея Потаповна. — А что он будет делать в наркомате, а?! Надо иметь культуру, чтобы быть на таком посту, чтобы быть вождем... Ведь ему придется сталкиваться с иностранными представителями.

— По-вашему, Дорофея Потаповна, вожди родятся? По-вашему выходит, что миллионная партия...

У Дорофеи Потаповны позеленели глаза. Она сердито набросилась на меня, так что я немедленно склонил голову, тут же пришел к помощи воздушного пирога и

стал работать сильно челюстями. А Дорофея Потаповна, обдавая жаром, в это время сыпала на меня визгливо-воркующий поток слов:

— Вы только подумайте, товарищ Завалишин, кто сейчас пролез в вожди, вы только подумайте! Эти выскочки оттерли настоящих вождей и барахтаются в тупике.

— Правильно, Дора! — поднимая мышиную бороденку от пирога и потирая пухлые короткие пальцы, проговорил земляк, потом посмотрел черными слезящимися глазами на дородную и умную жену. — Правильно, Дора!

Дорофея Потаповна авторитетно и в то же время обиженно ворковала:

— Тупик, самый настоящий и жуткий тупик. Ну, скажите, что сделали эти ваши выскочки, а теперь вожди? Ничего!

— Правильно, Дора! — потирая пухлые пальцы и посматривая на меня и на свою жену, восхищался супруг и сверкал, словно раздавленными вишнями, черными глазами.

— Национальная ограниченность, — воскликнула почти истерично Дорофея Потаповна, — и больше ничего, понимаете — больше ничего!

И она грузно ударила красной ладонью по столу, так, что блюдце, — по бокам которого было красными буквами напечатано: «Порох держи всегда сухим», — высоко подпрыгнуло и расплескало на розовую скатерть прозрачно-коричневый чай. Мой стакан тоже подпрыгнул, и если бы я своевременно его не подхватил, то он, наверно, свалился и залил бы всю скатерть, но я до такого конфуза свой стакан не допустил, а с ним и себя. Дорофея Потаповна шла дальше, распекая все и всех. Слушая ее, я не находил места и наверно бы тоже разошелся и наговорил бы очень много

резкого, в особенности ее супругу, который пустился критиковать доклад, который я слышал на открытии с'езда, и самого докладчика, которого выдвинула партия, поставив на самый ответственный пост; но тут в самый разгар волнения и брюзжания Дорофеи Потаповны и ее мужа одна из дочерей незаметно подошла к роялю, пробежала пальчиками по клавишам, рассыпала по гостиной множество мягких звуков и, прислушиваясь к падающим звукам, сердцещипательно запела романс из Вертинского «Блестящий месяц засиял», так, что я от этого романса невольно вздрогнул, опустился на дно, почувствовал себя по пояс в липкой слякоти, и не пожелал возражать... Дорофея Потаповна тоже запнулась—прикусила язык; потом через минуту крикнула:

— Пошли вон отсюда!

Дочери, похожие во всех отношениях друг на друга, покачивая изящными еще не вполне оформившимися бедрами, одна за другой пробежали мимо стола, улыбаясь и сверкая озорными глазами.

Я тоже незаметно поднялся.

— Вы куда? — вздохнула Дорофея Потаповна.—Мы еще не поговорили как следует.

— Большое спасибо, — ответил я Дорофее Потаповне и, пожимая ее пухлую и теплую, как парное молоко, руку, добавил: — У вас замечательные пироги.

Дорофея Потаповна лукаво взыграла глазами:

— Надеюсь, что вы, товарищ Завалишин, отведете небольшое местечко моим пирогам в вашем романе?

— Вы — очень умная женщина, — ответил я удовлетворенно и добавил: — Не только отведу место вашим чудным пирогам, приятность которых я сейчас ощущаю в себе, а и отведу место и вам, Дорофея Потаповна, как замечательной женщине нашего времени.

Она мило покраснела и благодарно взглянула на меня, не поняв моей иронии. Потом я простился с земляком, стремительно вылетел из квартиры, бегом скатился с лестницы, вылетел на улицу, врезался в мутно-желтую кутерьму вьюги. На меня, дыхнув арбузным воздухом, обрушилась сухая гора снега и, шипя и дымясь на мне, соскользнула с моего пальто и бросилась в сторону. Я глубоко вздохнул, почувствовал сильную боль в сердце, а главное — увидал, что из кутерьмы на меня взглянуло землисто-зеленое лицо моего героя, обросшее светло-русой бородкой, густо посеребренной по краям, улыбнулось горячими, никогда незабываемыми глазами. Я бросился вперед, ударился плечом о фонарный столб, отлетел немного в сторону и пришел в себя: лица народного комиссара не было, — была вокруг меня густая непроглядная кутерьма, да острая боль в сердце, да еще горькое сознание, что в моей партии благодушествуют щедринские помпадуры и помпадурши, смотрят на меня из мутно-желтой кутерьмы слезящимися засахаренными глазами, а я, как умалишенный, покорно бегу за ними и неистово кричу:

— Врете! Врете! Врете!

Вьюга шумит; вьюга гудит; вьюга хлещет тяжелыми столпами свистящего снега в лицо, а я все бегу, бегу и бегу.

— Врете! Вы слышите, как бухают молотом? Это «разноликие народы» строят новый мир, другую культуру!

Я снова ударяюсь в какую-то стену, отскакиваю, пячусь назад, потом еще более стремительно бросаюсь вперед и вижу, как на меня, развертываясь желтыми сыпучими столпами, движется вьюга, движутся темные рукава улиц, переулков, площадей с громадами домов,

с толпами людей, с пролетками, с автомобилями; я вижу, что все это — кутерьма, улицы, переулки, люди, лошади, машины с ревом сирен — летят, надвигаются на меня, глядят на меня страшно-сивыми, как будто налитыми гноем глазами и вот-вот подомнут меня под себя, превратят в бесформенный кусок мяса...

— Стойте! Стойте! — прокричал я ужасным, раздирающим душу голосом.

И вдруг на меня из кутерьмы взглянули опять горячие глаза моего героя, народного комиссара, улыбнулись, показали на улицу, которая всем своим человеческим месивом неудержимо летела на меня, стараясь подмять и раздавить:

«Это — Кузнецкий Мост; это — излюбленное место Калош, Сметан, Дорофей Потаповн».

Я испуганно остановился, поднял глаза: огромный бело-розовый фонарь ослепительно лез сверху на меня. Я вздрогнул, попятился от него, потом бросился в под’езд гостиницы, в которой я временно остановился, и быстро стал подниматься по мягкой от ковров лестнице к себе в комнату. Я, сбросив пальто и не зажигая электричества, завалился в постель, закрыл глаза—и вдруг все изменилось; большая жирная зелено-желтая змея вылезла из-под крышки стола и, свертываясь в мелкие тугие кольца, встала на хвост и, пружинясь, пустилась плавно танцовать на письменном столе, показывая черный раздвоенный на конце язычок. У этой змеи были ультрамариновые глаза и сильно на-выкате. Глядя на нее, я в ужасе вскрикнул, рванулся назад, ударился так сильно о притолоку, что моя голова отлетела в сторону, разлетелась на мелкие куски, покатилась вниз по ступенькам, звеня и гремя черепками и брызгая серой кашицей мозга...

Впрочем, дорогие читатели, ничего этого со мной не было, а главное — не было никакой змеи, — просто бред моего воображения, да самый нелепый приснился мне сон, который все перепутал в моем сознании: не то я действительно так долго бродил по улицам, не то я все это видел во сне, так что даже и сам точно в этом разобраться не могу; я только хорошо помню, что я был у земляка, слушал Дорофею Потаповну, насыщался знаменитым ее пирогом; еще помню вьюгу, ее густой арбузный запах...

— Больше ничего.

Еще могу добавить к этому: сильно болит голова, отрыжка от пирогов —

— Слишком много переел.

Вот и все.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ * * *

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭПИЛОГА

На второе заседание с'езда я немного опоздал; но благодаря этому я попал не в гостевой зал, а в делегатский, пробрался к самой трибуне, привалился к огромной холодной колонне и стал внимательно рассматривать длинный, стиснутый дугообразными колоннами, сверкающий мрамором, золотом, огромными люстрами, дóполна набитый делегатами и гостями Андреевский зал; потом трибуну, — она вблизи была большой, высокой и имела несколько ступенек от пола, покрытого темно-красными коврами; потом стал рассматривать большие окна, — они блестели, как снятое молоко, мраморными подоконниками, широкими отлогими амбразурами; осиновое небо, поднимаясь снизу от невидимых крыш домов, что стояли за древне-зубчатой Кремлевской

стеной, по ту сторону Москва-реки, медленно и жидко текло в окна, прозрачно струилось под лепным куполом; затем от окон я перевел глаза опять к трибуне, к столам, что представляли собой один огромный стол, покрытый куском красного сукна; потом стал рассматривать членов президиума; они почти все сидели за столом, разговаривали между собой, — между ними не было только председателя, и его коричневый стул, стоявший в самом центре стола, резко выделялся высокой резной спинкой, украшенной посредине мутно-зеленой кожей; другие свободные стулья были не так заметны — они были отодвинуты немного назад, заслонялись туловищами членов президиума; у стены черного с белыми каемками щита, уходившего наклонно в вышину, тоже стояли стулья; на этих стульях сидели члены президиума, делегаты с'езда и тоже разговаривали, спорили, смеялись, наклонившись друг к другу; в зале заседания, который наполнялся все больше и больше делегатами, тоже разговаривали, спорили, знакомились, шутили, гремели крышками столов, двигали стульями, кашляли, чихали; весь этот разнообразный гул, перемешанный с шумом и с криком, с кашлем и разговором, вместе с разноцветными блестящими глазами катился к трибуне, поднимался к лепному куполу, глухо бился волнами о стены, украшенные двуглавыми орлами, коронами и всевозможными грубыми финтифлюшками; глядя в глубину зала, в бегущий поток глаз, я увидел глаза моего героя — народного комиссара; потом, когда я пристальнее всмотрелся в них, я увидел и все костлявое его лицо, обросшее мягкой клинообразной бородкой, даже заметил родинку на левой щеке, в морщине, что глубоко шла от переносицы к острому подбородку и пропадала в светло-русой и

чуть-чуть посеребренной бородке. Я видел, что лицо моего героя тоже разговаривало и широко открытыми, горячими глазами медленно двигалось к трибуне; потом, следя за народным комиссаром, я увидал, как он стал размножаться, а через каких-нибудь десять минут в зале заседания все были похожи на моего героя, жили одной жизнью, говорили одним языком, одною тяжелой волной глаз катились к трибуне; этой волной был захвачен и я, был ею подброшен к трибуне, как легкая сосновая щепка. Сейчас пустой стул, за столом президиума, что стоял в центре, был занят председателем с'езда партии; он, откинув немного назад туловище, звонил в небольшой колокольчик. Звуки мягко и нежно разливались по Андреевскому залу и еще жалобнее по узкому коридору, двери в который были открыты и в них густо вливались делегаты, гости и представители братских партий; члены президиума сидели прямо, непринужденно и их глаза текли навстречу разноцветному, бурно сверкающему потоку глаз делегатов; из-за спин президиума, как мне показалось, тоже смотрело горячими глазами лицо народного комиссара, моего героя... Когда затих колокольчик, и его звуки замерли в бесконечно длинных и узких концах коридора, когда часовые закрыли двери, когда осиновое небо сильнее ударило в окна и разлилось по залу, костлявый, с острыми подвижными плечами, с гибкой талией председатель вскинул продолговатое сухое лицо, обросшее темно-русой бородкой, взглянул ясными глазами в глубину:

— Слово для отчета предоставляется товарищу... — Делегаты как будто подались назад, выпрямились, вскинули ладони, которые, как светло-розовые крылья взлетевших только что птиц, замелькали в осиновом

потоке света, бурно льющегося со стороны Москва-реки в огромные окна; ладони своим четким, хлюпающим и долго несмолкаемым гулом наполнили помещение, грубо сверкающее золотом. Навстречу этому гулу, навстречу восторженному потоку глаз, бегущему неудержимо к трибуне, быстро вышел из-за стола президиума докладчик, спустился на вторую ступеньку, положил небольшую пачку бумаги на пюпитр, поправил как-то машинально пенснэ и приступил к докладу.

— Товарищи, самым важным и самым характерным для организационной работы в нашей партии за истекший период следует считать рост активности рабочих и крестьянских масс и, в связи с этим, оживление массовых организаций. Мы, партия коммунистов, ставили и ставим задачу влить эту растущую политическую активность рабочих и крестьянских трудящихся масс в наше советское русло и направить эту активность на пользу пролетарской революции, на пользу строительству социализма. Это означает, что партия, как авангард рабочего класса, идя во главе рабочего класса, должна в настоящее время сосредоточить исключительно большое внимание на задачах коммунистического воспитания как широких беспартийных масс рабочих, так и бедняцких, батрацких, а также и середняцких масс деревни. — Так начал свой отчет докладчик. Он был выше среднего роста, крепкий, плечистый; одет он был в темный костюм, в обыкновенные ботинки, в белую рубашку, которая сверкала черным галстуком, по узкому полю коего были разбросаны темно-синие, едва заметные звездочки. Кроме этого, у него было простое открытое лицо, с ярко выраженными русскими чертами: большой широкий лоб, крутые выдающиеся виски, небольшие миндалевидные глаза, то-и-дело вспыхивающие

радостью, неудержимой силой, гневом и еще более неудержимой любовью; тонкие вспыхивающие лучистой улыбкой губы; черные, коротко подстриженные усы; небольшой, но характерный нос, на котором с трудом держалось пенснэ, так что ему во время доклада то-и-дело приходилось поправлять его. Он делал свой доклад трудно, тяжело, в особенности вначале: слова с трудом срывались с языка, застревали, потом медленно и грузно падали к слушателям; он только ко второй четверти доклада разошелся, вошел в силу, начал более свободно излагать глубокое содержание, реже запинаться на трудных и на самых глубоких мыслях, меньше нагибаться к пюпитру, а главное, реже поправлять пенснэ; он только ко второй четверти доклада овладевал слушателями, заставлял их следовать за собой, жить и думать с собой заодно. Впрочем, партия это знала, она с глубоким вниманием выслушивала его доклады, насыщенные огромным и всегда новым содержанием, неукротимой железной волей, верой в социалистическое строительство, в полную победу рабочего класса... Нужно сказать, что этот докладчик не имел такого дара слова, который имеют многие вожди, сидящие сейчас вот в этом зале и за столом президиума; что этот докладчик не имел такого дара слова, который напомнил бы розовый блеск парижской речи, жесты европейца; что этот докладчик не имел таких сногсшибательных, блестящих, как стеклянные бусы, фраз, от которых у многих любителей розовеют от восторга носы, дуются большие пузыри на губах; одним словом, он не имел той образности, похожей по своей цветистости на развернутый хвост павлина, а имел все то, что имел в себе рабочий класс, все то, что имела в себе миллионная ленинская

партия; одним словом, он, не мудрствуя лукаво, выкладывал перед с'ездом, который поставил его на вершину и на первую линию борьбы, все то нужное, все то живое, все то, что желал сказать рабочий класс, и все это выкладывал без всяких умопомрачительных фраз, истерик и сверхчеловеческих жестов; одним словом, этот докладчик, — как и первый докладчик, что был в военном френче, в сапогах, с крутыми плечами, с узкими и как будто улыбающимися глазами, с бледно-желтым лицом, с большими кистями рук, с немного восточным акцентом, но близким и родным партии, — продолжал ленинское дело, углублял его, а главное, утверждал, что мы строим социализм и построим его, хотя какие бы трудности ни стояли перед нами на нашем трудном, но славном пути. Одним словом, он, точно на параде развертывая в бесчисленные колонны партию и показывая могучие силы партии, рабочего класса, трудящиеся крестьянские массы, комсомола, дополнял, подкреплял своим докладом первого докладчика, его гениальный анализ капиталистических стран, четкость партийной ленинской линии, Коминтерна и грандиозный план строительства... Докладчик, заканчивая свой доклад, снял пенснэ, осторожно, как будто не торопясь, протер платком, потом снова надел и, возвышая голос, уверенно закончил:

— Товарищи, — он ниже наклонил голову с небольшой лысиной, поправил пенснэ, — какой бы вопрос мы ни пытались выдвигать в рабочей партии в настоящее время, каждый вопрос, если он имеет отношение к жизни советского государства, если он имеет отношение к работе общего дела строительства социализма, это есть вопрос о той или иной части социалистического строительства. Вот почему теперь перед партией

могут быть три основных лозунга: курс на оживление массовых организаций, внимание к качеству, к идейному содержанию всей партийной работы и курс на внутри-партийную демократию.

Устоявшаяся тишина заколебалась, треснула, разорвалась, тяжело ударилась в стены, вздымая из глубины тяжелые волны прибоя. Он продолжался несколько минут. Ладони, как бело-розовая пена билась на негнущихся хребтах волн, трепетали в воздухе над столиками, разрывая лихорадочно бегущий густой поток глаз... Докладчик поднялся на ступеньки, занял свое место за столом, как раз рядом с членом президиума, который был одет в ярко-синий костюм; этот член президиума, облокотившись на стол и положив голову на кисти рук, лежал на столе лицом вниз, показывая с'езду только густую, черно-серебристую гриву, да еще плечи ярко-синего костюма. Этот товарищ во все время обоих докладов находился в полулежачем положении; он только изредка, сверкая стеклами пенснэ, тонкой саркастической улыбкой, острым и немного выдвинутым вперед подбородком, трагично вскидывал лицо и, пронизывая взглядом зал, сокрушенно вздыхал по поводу национальной ограниченности делегатов с'езда, затем снова опускал голову на руки и ждал до подходящего момента, до яркого выражения какого-нибудь оратора. В широкие окна вливалось осиновое небо, а с ним и небольшой недозрелый лимон солнца, от лучей которого жидко трепетало на стенах, на колоннах лепное золото, блестел, как снятое молоко, бело-синий мрамор и по весеннему дымился легким прозрачным дымком, — впрочем, это только так казалось глазам: мрамор не дымился, он был неподвижен, холоден, как лед; дымились, блестели только человеческие глаза, — они лежали ровным

полем и все время разноцветной зыбью текли к трибуне. Председатель позвонил в колокольчик, потом громко сказал, чуть-чуть заикаясь:

— Слово для содоклада имеет...

Слова председателя были жидко покрыты всплесками ладоней. Содокладчик вышел из ленинградской группы; эта группа сидела обособленно и неистово аплодировала. Он грузно, синея плотным тучным туловищем и копною курчавых волос, взошел на трибуну, облокотился ладонями на пюпитр, поднял круглое, сытое и хорошо выбритое лицо, очень внимательно посмотрел маленькими умными глазами во все уголки зала, вкрадчиво прислушался и еще более вкрадчивым и мягким тенорком начал:

— Товарищи, самым важным фактом для всех нас, пожалуй, для всей страны, и в значительной мере, для Коммунистического Интернационала, является развернувшаяся в самое последнее время полемика между большевиками, главным образом, направленная против... — эти слова он произнес отчетливо, и каждое слово он осторожно и мягко опускал в каждый уголок с'езда, нащупывая глазами, мимикой лица, энергичными жестами рук, движениями головы, а порой и резким движением всего тела настроение делегатов, их сердце, чтобы схватить своими цепкими пальцами, сжать и повести за собой, как это он делал раньше на предыдущих с'ездах партии. Продолжая ощупывать делегатов и бросать в них горячие слова, он сейчас глубоко почувствовал, что его мысли падают на каменистую почву, что его блестящая как клинок речь не вызывает той веры в него, которую он вызывал раньше, в этой трехтысячной массе, в этой партийной вершине, которая равнодушно сидит и совершенно с другим настроением слушает

его, не верит своим ушам, что он, говоривший на прошлом с'езде одно, а сейчас на этом с'езде говорит совершенно другое, тянет в сторону от ленинской партии; он, содокладчик, ощущая такое холодное и недоверчиво-напряженное настроение всего зала, за исключением маленькой кучки ленинградцев, и глубоко зная, что ему не захватить в свои руки с'езда, не увлечь его за собой, как это он делал на прошлых с'ездах, на партийных конференциях, решительно перешел в энергичное наступление, подкрепляя свой поход на партию ссылками на Ленина:

— Перехожу к отдельным пунктам наших разногласий.

В зале цветные — черные, бело-розовые изломы; движение; голоса:

— Ого!

— Давно пора!

— С этого и начинать надо бы!

— В последнее время для нас как бы неожиданно, — продолжал содокладчик, — как снег на голову, по выражению некоторых делегатов, обрушился спор по вопросу о госкапитализме. Ни на одной партийной конференции вы этого вопроса не обсуждали, ни на одной партийной конференции до последнего времени не было речи о том, что у кого-либо из нас в этом вопросе есть «ликвидаторство», есть «пораженчество». Многие из вас, вероятно, только в поезде, только по дороге сюда случайно узнали эту немаловажную новость.

Ленинградцы:

— Правильно!

Голоса:

— Ложь!

Содокладчик, наклонившись туловищем вперед и сверля бесконечно длинный зал голубым огоньком

глаз, взволнованно продолжал бросать раскаленные слова:

— Чтобы взять быка за рога, я думаю, товарищи, необходимо прежде всего отметить тем, кто сейчас пытается представить дело так, будто у нас никакого госкапитализма и чуть ли не вообще никакого капитализма...

— Вот как!

— Я считаю, что в действительности здесь дело идет о попытке некоторых товарищей об'явить сейчас нэп социализмом. Такая точка зрения, такая позиция представляет собой идеализацию нэпа, идеализацию капитализма...

В зале изломы потока глаз; движение; все напоминает собой разволновавшееся море. Из глубины этого движения вырвался раскатистый смех; он долго перекатывался по залу; а когда он пропал, раздался бас:

— Кто так думает?

— Вы знаете, товарищи, что тут спор идет далеко не о «терминах», как это пытаются иногда представить, извращая всю суть постановки этого вопроса. Такому заявлению никто и не поверит. Спор идет о системе политики, об оценке структуры экономики в нашей стране.

Тут лежавшая голова с огромной курчавой черносеребристой гривой, зачесанной назад, медленно поднялась от стола президиума, сверкнула золотом пенснэ, взглянула презрительным взглядом в глубину зала, шевельнула острым жалом бороды и, словно цедя мутную воду, сквозь обнаженные ярко-белые зубы, членораздельно бросила:

— П-прав-вильно-о! — и опять трагично легла книзу лицом, показывая с'езду густую темно-серебристую

гриву. Это «п-прав-вильно-о» так было неожиданно, что оно вызвало движение в гостях, стоявших позади меня, которые стали шептаться:

— Вы слышали?

— А вы слышали?

— Скажите, что он сказал?

— Кажется, молодец!

— Не ври! — И они недоверчиво взглянули друг на друга; потом снова вытянули головы и стали слушать. Для содокладчика эта реплика тоже была неожиданной, так что он, услыхав это трагическое «п-рав-вильно-о!», запнулся, оборвал красиво и воздушно льющуюся речь и несколько секунд простоял в неожиданном для себя молчании; он только тогда опомнился, когда один член президиума бросил довольно острую и лукавую реплику: «Тонкий намек на довольно толстое обстоятельство» — и пришел в себя и стал продолжать свою речь, снабжая ее длинными выдержками из книг Ленина. Он подробно остановился на споре, что у нас сейчас: госкапитализм или социализм? Немедленно и без единой запинки ответил, что у нас никакого социализма нет и даже не пахнет. Тут содокладчик вскинул голову, тряхнул дымчатой шевелюрой, поднял кверху руку с отставленным указательным пальцем, отступил немного от пюпитра и пламенно, с ноткой трагизма воскликнул, пронизывая зал вдохновенными глазами:

— Теперь, когда Ленина нет и некоторые товарищи хотят свою точку зрения навязать партии, долг каждого из нас, здесь сидящих, тех, кто остается на позиции Ленина, сказать: а вот Ленин думал так-то и, по-нашему, он был прав. Если по этому поводу будут кричать о пораженчестве, ликвидаторстве, безверии и так далее, — пусть кричат сколько угодно. Не думайте, что можно

кого-либо в нашей партии этим запугать. Бросьте такие мысли. Не запугаете никого!

В зале настороженная тишина; одиноко в этой тишине рукоплещут ленинградцы, но их рукоплескания едва слышны; они были похожи на одинокую птицу, попавшую в западню и бьющуюся о несокрушимые стены этой западни. Во время этой овации раздались из зала голоса:

— А, вы пугаете!

Потом через несколько минут содокладчик перешел к другому вопросу о крестьянстве.

— Тут, товарищи, я должен начать с того, что, может быть, и не нравится и покажется преувеличенным кое-кому. Кто не хочет сказать по-ленински всю правду о кулаке, тот неизбежно должен своего соседа укрепить в недостатке середняка. В этом гвоздь всего нашего спора. Вы знаете, что меня, грешного, обвинили в том, что я позабыл о середняке.

Громкий голос из тишины:

— Это верно, забыли!

Содокладчик, вскидывая сизую руку, грозно проговорил:

— Сейчас в партии гуляют всякого рода слухи: и батрацкие и бедняцкие уклоны, и каких только уклонов не приписывают нам. Тут вы нас не запугаете. Мы партии скажем то, что мы думаем, и партия нам скажет...

Тишину прорезал мягкий, но звучный голос:

— Да, мы скажем!

Содокладчик долго и плавно говорил о середняке, о бедняке, об угрожающем росте кулака; он долго и поразительно быстро читал выдержки из своих книг и статей, стараясь раз'яснить свою точку зрения на крестьянство, а главное, доказать, опровергнуть точку зрения на крестьянство всей партии. Он со всей силой своего

красноречия обрушился на одного члена с'езда, который когда-то неосторожно сказал неудачную фразу: «Обогащайтесь», и от которой давно отказался, потом стал доказывать и развивать относительно «богатеющей деревни». — Тот, кто не понимает, — воскликнул он и, сделав паузу, поднял кверху руку и энергично начертил перед собой в воздухе зигзагообразную черту, — разницы между необходимостью богатеющей деревни и лозунгом «обогащайтесь», тот трудно разбирается в элементарных для большевика вещах...

Рукоплескания ленинградцев, как робкая одинокая волна, глухо набежали и, разбившись о колонны на мелкие брызги, тоскливо поднялись в вышину и там под массивными люстрами, слабо хлюпая, затерялись и умолкли; в это время, когда содокладчик, сверля острыми голубыми глазами бесконечно длинный зал, сдавленный дугообразными колоннами, хотел было продолжать свою речь, из глубины зала неожиданно прозвучал баритон, пропитанный юмором и лукавством:

— Для вас, товарищ, ночь темна!

Содокладчик вскинул сиреневое лицо:

— Верю, что для вас, товарищ, ночь темна; для нас, чем она темнее, тем ярче звезды.

В зале движение; изломы разноцветного потока глаз; отрывистый, похожий на весенний гром, смех.

— Товарищи, — продолжал содокладчик, — это не значит, конечно, что мы хотим раскулачивания, мы, товарищи, в настоящее время слишком сильны, чтобы прибегать к этой мере или чтобы раздувать гражданскую войну в деревне; мы боремся против этого. Это не значит, товарищи, что мы должны выдвинуть лозунг — раздеть кулака, ограбить кулака, но это значит, что мы должны дать такой лозунг, который бы правильно

обозначил нашу политику, мы должны дать знать бедноте, что мы не позволим кулаку раздевать и грабить ее. Сейчас кулак растет и пытается раздевать бедняка, о котором мы не можем забывать... — И он, заканчивая свою речь, понизил голос и проникновенно, точно прислушиваясь к каждому в отдельности делегату, к каждому сердцу, обратился к с'езду:

— Здесь вчера было сказано об усталости. Нет, мы не устали. Мы только вам, товарищи, высказали наши взгляды. Судите нас, если хотите, но за эти взгляды мы стоим, мы нисколько их не уступим, и куда бы, на какое бы место нас партия ни поставила, мы будем защищать ленинизм. — И он медленно, синея костюмом, копной курчавых сизых волос и всем своим туловищем, грузно сошел с трибуны и направился к ленинградской делегации, которая при глубокой тишине всего с'езда встала и шумно приветствовала его; но ее шум, ее рукоплескания были и на этот раз нисколько не больше шума крыльев одинокой птицы под тяжелыми сводами.

ГЛАВА ПЯТАЯ * * *

Небольшое желтое солнце, похожее на недозрелый лимон, упорно силилось подняться к зениту, потанцовать на бледно-зеленом скате в нескольких саженях от него, но, надорвав свои немощные силы, сорвалось, поползло книзу, образуя дугу на выпуклом, еще более бледно-зеленом скате. Его жалкие, мутно-желтоватые, холодные лучи спокойно, как утром, текли в огромные окна дворца с осиновым небом, наполняли дворец, сверкали в грубо лепном золоте колонн, в бледно-синем мраморе, на блестящих, похожих на точеную слоновую

кость лысинах, на хорошо выбритых лицах делегатов и гостей. Сейчас в зале во время перерыва заседания была шумная толкотня: делегаты и гости, стуча крышками столов, стульями, беспрерывно двигались из одного конца зала в другой, стояли кучками, сидели, спорили, кричали, громко смеялись, густо двигались к дверям коридора и не менее густо шли из коридора в зал, отражаясь в темных зеркалах коридорных дверей. За столом президиума тоже было пустынно, только торчали коричневые спинки стульев, неправильно расставленных за столом. Недалеко от меня шел громкий спор двух столкнувшихся противников. Они спорили азартно, так, что около них образовалась большая группа слушателей, которая то-и-дело подавала реплики, высказывала свое мнение, временами тоже пускалась спорить между собой, оставляя в стороне спорящих. Оба спорщика были рабочие. Один был пожилого вида с небольшой рыжей бородкой, голубоглазый, скуластый. Другой был высокого роста, молодой, кареглазый, с крупными конапушками на широкой переносице и на лице около мясистого носа, тонкогубый, так что крупные прокуренные зубы резко выделялись и немного оттопыривали верхнюю губу. Рабочий, что был постарше, доказывал, что оба первые докладчика, а с ними и весь с'езд партии, продолжают ленинскую линию. Другой, молодой, шевеля тонкими губами, доказывал обратное, утверждал, что содокладчик прав, а с ним и ленинградская делегация; что касается большинства с'езда, то он утверждал, что с'езд ошибается и сходит с ленинской линии. Потом он долго и резко доказывал, что сейчас у нас нет никакого социализма; что сейчас существует госкапитализм, который по своей форме эксплоатации рабочего класса ничем не отличается от капиталистической; что сейчас

у нас директора нисколько не лучше старых хозяев-заводчиков, а в некоторых местах по своей грубости, по своей некультурности перещеголяли на сто процентов фабрикантов и старых директоров. Потом он также бешено доказывал, что в деревне беднота задавлена, кулак растет, чувствует себя хозяином на деревне и «вьет из деревенской бедноты веревки, да такие, какие ему нравятся».

— Позвольте, — вмешался из слушателей молодой товарищ, небольшого роста, но плотный с ярко-синими большими глазами, с длинными женскими темно-золотистыми ресницами, с мягким, белым, как крупичатый хлеб, лицом, — позвольте, вы, товарищ, так грубо уточняете, что если бы ваши возмутительные слова услыхала оппозиция то она бы вас не погладила по головке; она надавала бы вам тумаков. По-вашему, товарищ, выходит, что у нас ничего нет, а если что и есть, то гораздо хуже, чем было раньше, у капиталистов. Разве можно так говорить? Так говорят только меньшевики, эсеры.

— Ничего, — вмешался в разговор еще из группы слушателей пожилой товарищ, с седыми усами, с хорошо выбритым розовым подбородком и, улыбаясь желтыми глазами, добавил: — Он без дипломатии и казуистики уточняет линию оппозиции, а это неплохо: что оппозиция не высказала, он высказал; это настоящие мысли оппозиции.

— Конечно, — воскликнул рыжебородый, голубоглазый и скуластый рабочий: — теперь каждый рабочий понимает, что у нас сейчас: госкапитализм или социалистическое хозяйство. — Потом он снова набросился на своего противника. — Каждый вам рабочий ответит, что в Советском Союзе строится социалистическое хозяйство. Рабочий класс и его партия, несмотря на бедность,

на некультурность некоторых слоев в нашей стране, да еще вот на таких упадочников, как вы, все же построит...

— Вы сами—настоящие упадочники!—возразил противник и скривил тонкие губы: — вы потеряли веру в мировой рабочий класс...

— А вы не только в мировой, а и в свой не верите! — воскликнул возмущенно рыжебородый,—вы еще мальчишка, вы еще в люльке качались, а мы на баррикадах дрались, революцию делали.

— Честь и слава вам, — ответил противник и громко засмеялся. — Мы тоже будем не хуже вас драться.

— Драться, — передразнил сердито рыжебородый.— Где вам драться. Вам только панику разводить, на это вы — мастера. А вы! вы, когда рабочий, который верит своей партии, который шел на баррикады, дрался вместе со своей партией, победил, проделал до конца Октябрьскую революцию, отнял у буржуазии награбленное — заводы, фабрики, шахты, отдал крестьянам землю, захватил власть, восстановил свою диктатуру, приступил к строительству в своей стране, — приходите к этому рабочему, говорите ему, что у нас госкапитализм, что у нас нисколько не лучше, чем у буржуазии, что мы никакого социализма не построим, что сейчас его строить не надо, а стойте в коридоре на сквозняке и ждите международной революции. Это что? Разве этими словами вы не убиваете веру? Разве вы этими словами не заставляете рабочего, который дрался за социализм, стоять на сквозняке и мечтать о международной революции? Разве этими словами вы не толкаете рабочего в безверие, не заставляете его разлагаться в ожидании мировой революции и вместе с вами гнить? Толкаете. Да не только толкаете в этот промозглый сквозняк безверия,

упадочничества, меньшевистской пошлости беспартийного рабочего, вы толкаете и неустойчивого члена нашей партии.

— Мели Емеля,—криво улыбнувшись, ответил оппозиционер.

— Это вы мелете...

— Правильно, — подтвердило несколько человек из группы. — Но кто им поверит?

— Верят.

— Верят ли?

В это время из группы спорщиков вылезла курчавая темно-русая голова, вскинула на рыжебородого рабочего бледно-серое лицо, густо заросшее бакенами, посмотрела на него сквозь круглые роговые очки мутными, выпуклыми с красными прожилками на белках глазами (у этой головы были очень тонкие ноги) и на ломаном русском языке проговорила:

— Социализм, товарищи, не только неможно построить в одной стране, да в такой отсталой, как Россия, а неможно построить и в Щедринском уезде; можно только его построить в Сивцевом Вражке, да еще в Кремлевской столовой.

Рыжебородый рабочий дернулся к волосатой голове; но голова быстро нырнула в группу товарищей, блеснув роговыми очками. За головой бросились спорщики, окружили голову и снова пустились в яростный спор: можно ли построить социализм в одной стране или невозможно.

— Никак неможно, — острила голова, сверкая круглыми выпуклыми стеклами и мутно-сивыми глазами. — Даже в Щедринском уезде неможно.

Рыжебородый остановился, постоял немного: мимо него двигались делегаты, гости и занимали свои места,

на которых лежали газеты, блокноты, книги; он тоже направился на свое место, и я видел, как он вместе с толпой прошел в глубину зала, сел за свой столик, чему-то улыбаясь. Я опять привалился к мраморной, сверкающей золотом колонне, вспомнил бесконечно-длинный роман, — я его только что закончил, — вспомнил героя моего романа, который всю жизнь отдал за социализм, который вместе с партией, с рабочим классом заложил фундамент рабочего государства, а потом, не выдержав сверхчеловеческого труда, быстро и неожиданно сошел в могилу; но могила не закрыла его незабываемый образ от моих глаз, от глаз «разноликого народа», что собрался в этот зал, чтобы еще больше закалить себя на борьбу со старым миром, чтобы еще больше закалить свою веру, чтобы увереннее воздвигать из бетона, железа и стали новый мир, социалистический. Образ народного комиссара был все время перед моими глазами: он сидел в глубине Андреевского зала, радостно сиял горячими глазами, он ходил по коридору, он беседовал с делегатами, он был за темно-красным столом президиума, он был во мне, он был в каждом делегате, он был в новом, как мне казалось, народном комиссаре, что недавно был назначен и который только что прошел мимо, задев меня немного рукавом френча. В этом новом народном комиссаре была, как мне опять показалось, та же походка, что была и у моего героя, та же улыбка; правда, у этого, когда он улыбался, немного кривился рот, — что и у моего героя; только у этого народного комиссара не было бороды, не было на левой щеке родинки, не было усов, не было таких костлявых выдающихся желтых скул, какие были у моего героя; но у этого народного комиссара были, как и у моего героя, голубые

горячие глаза, жадные к жизни, упорная воля к работе, несокрушимая сила, так что, глядя на этого другого, я был захвачен жгучей волной настроения: продолжать свой роман, ибо мой герой бессмертен, ибо строительство социализма началось с рождения моего героя, с появления рабочего класса, который в первый день своего рождения возмутился жизнью, старой культурой и стал ее медленно, но упорно разрушать... Сейчас эта старая культура — развалины; на ее развалинах воздвигается другая культура — социалистическая; и вот мне хочется показать ее рост, а не только упорную борьбу рабочего класса, моего героя со старой культурой. Размышляя так, я совершенно не заметил, как президиум занял свои места, как поднялся председатель, как мимо меня протекла масса делегатов, гостей, как некоторые гости, за неимением места, притиснулись ко мне черной, теплой и мягкой стеной, плотно прижали к холодной колонне, как стал звонить в колокольчик темно-русый председатель. Я только тогда оторвался от своего размышления, взглянул на президиум, когда зал заседания налился электричеством, засиял золотом стен, сводов, колонн, зеркалами, потом взглянул на председателя: он уже не звонил; он, обращаясь к с'езду, говорил:

— Слово предоставляется... — Последних слов я не разобрал, так как меня крепко прижали к колонне, так как в зале такой поднялся гул ладоней, в особенности, когда, сбрасывая с себя пиджачишко по пути к трибуне, вышел из-за стола президиума небольшого роста, плотный делегат, поднялся такой неописуемый восторг, такая потрясающая буря, так что было трудно решить: рукоплескания это или гул встревоженного моря? Делегат бросил пиджак на первые ступеньки, по-простецки и так естественно подернул ремешок, потом

остановился около трибуны и стал ожидать окончания рукоплесканий, глядя ласково на делегатов светло-синим взглядом. На нем была белая простая рубашка, подпоясанная узким ремешком, простые сапоги, темно-серые брюки; пока, плескаясь в колонны, гремели, катились оглушительно рукоплескания, он поправил светло-русый хохолок волос на конце высокого лба и хотел было этим хохолком закрыть лысину, — она, несмотря на его молодые годы, была довольно порядочной,—но пучок светлых волос не послушался, капризно вздыбился и рассыпался; потом он поднял с едва заметным светлым клинышком бороды хорошее простое лицо, улыбнулся и добродушно сказал:

— Довольно, товарищи, хлопать-то. — Рукоплескания разразились еще больше, взмыли, раздались голоса, восторженные крики «ура», а когда рукоплескания утихли, он снова так же просто, так же естественно подернул правой рукой ремешок, а с ним и штаны, и громким отчетливым голосом обратился к с'езду:

— Товарищи, я очень благодарен товарищу-содокладчику и думаю, что вместе со мною благодарен весь с'езд за то, что товарищ-содокладчик свой содоклад построил не в тоне того визга, который мы слышим ежедневно на страницах «Ленинградской Правды», а в спокойном тоне, которым подобает говорить на партийном с'езде.

Нужно сказать, он тоже не обладал европейским блеском ораторского искусства; он говорил просто, естественно, недурно острил, шутил так, что его жесты, движения, в особенности игра лица не вызывали ничего неприятного, а необыкновенно гармонировали с его глубоко-содержательной, поразительно острой, с беспощадно-саркастической местами речью; его частые

прикосновения к ремню придавали какой-то особый колорит милой простоты. Он продолжал:

— Я должен сначала сделать одно замечание. По отчету ЦК выступает содокладчик — член Политбюро ЦК. Мы, таким образом, имеем налицо факт первоклассной важности... Что вы, дорогие товарищи, мягко выражаясь, вводили в заблуждение ленинградский пролетариат...

В зале движение; изломы потока глаз; голоса:

— Правильно!

Ленинградцы, как бурав в тихой заводи, вертятся, шумят.

— Неправда! С'езд должен быть информирован!

Председатель звонит в колокольчик и, втягивая голову в острые плечи, кричит:

— Призываю к порядку!

Оратор, возвышая голос, обращается к ленинградцам:

— Товарищи, я не хотел ровно никого обидеть, это было бы смешно в такой серьезный момент...

Ленинградцы:

— Сказать, что обманули целую организацию! Это не обида!

— ... и повторяю, — воскликнул он и обратился к с'езду: — смешно в такой момент, придираясь к тому, что я сказал, пытаться помешать мне говорить. Это не соответствует серьезности момента, а я могу вам доказать по стенограмме речей, произнесенных на ваших районных конференциях и на губернской конференции, что выступавшие там ораторы определенно подчеркивали, что речь идет не о противопоставлении ими какой-нибудь линии ЦК. — Потом он подробно остановился на работе в Ленинграде, на ленинградском комсомоле. Когда он критиковал работу ленинградской верхушки,

присутствующей на этом с'езде, она все время бурно протестовала, шумела, кричала с места:

— Этого не было! Это ложь!

— Будьте любезны выйти сюда на трибуну и сделать ваше заявление. Уверяю вас, что я не устал и вполне могу выдержать с вами словесный бой.

Затем он подробно остановился на рабочем классе, в котором плохо разбирается содокладчик и его товарищи, в котором имеется сырье, не просто сырье, а сырье настоящее, идущее из деревни. — Теперь, позвольте,—сказал он отчетливо,—содокладчик копался в моем прошлом, и я имею полное право покопаться в прошлом других товарищей. — Тут он остановился на октябрьской ошибке содокладчика, которая была глубокой и большой. Потом указал, что благодаря своей старой ошибке содокладчик делает на этом с'езде еще более грубые ошибки.

Голоса:

— Правильно!

Оратор, стараясь заглушить гул рукоплесканий, воскликнул:

— Содокладчик не понимает масштаба своей старой ошибки.

Голоса ленинградцев:

— А вы признали: «обогащайтесь».

— Я-то признал прямо, а не говорил, что продолжил лозунг Ленина на несколько дней.

По залу прокатился, как приближающийся весенний гром, раскатистый смех, а когда он затих, изломы глаз слились в один разноцветный поток и потекли крупной, похожей на волны светло-зеленого моря, зыбью к трибуне, к таким же глазам членов президиума. Оратор, заканчивая свою речь, сказал:

— Я перехожу к другому вопросу, к вопросу о нэпе. Содокладчик об'явил священную борьбу тем, кто думает, что у нас кругом социализм, куда ни плюнь. Очень хорошо. Такую священную войну мы охотно поддержим. Но где вы нашли таких дураков, которые бы говорили, что у нас, куда ни плюнь, везде социализм? Я таких не знаю. Если здесь назовут документы на этот счет, а не просто будут оперировать словами, тогда можно спорить. Сейчас же этот спор беспредметный.

В зале бурное движение.

— Перед нами есть великие задачи, — начал он, когда затихли рукоплескания, — которые не хотят видеть эти «оптимисты», которые на деле являются пессимистами; они не понимают, что перед ними величайшая задача по воспитанию новых слоев рабочего класса, и если сейчас мы им, новым рабочим, как-нибудь дадим понять, что мы не в состоянии будем справиться с неизбежными трудностями, нашей технической отсталостью, что международная революция затянулась, а техническая отсталость нас тянет ко дну, то мы, товарищи, с такой психологией должны бороться...

Голоса ленинградцев:

— Ложь!

— Клевета! — Делегаты встают, как один; их рукоплескания тяжелыми волнами поднимаются, неудержимо хлещут в стены, в колонны, катятся в коридоры. Ленинградцы, заслоненные туловищами с'езда, потонувшие в нем, тоже встали и, стараясь переорать рукоплескания, неистово топают ногами, ревут:

— Зачем вы это говорите! — Тут зашевелилась, тяжело стала раскачиваться с черно-серебряной гривой трагическая голова, потом оторвалась от стола президиума, вскинула лицо с острым выгнутым немного

вперед подбородком, взглянула мрачным взглядом в глубину, пошевелила тонкими, саркастическими губами, потом, как свистящую стрелу, бросила ленинградцам.

— П-пра-вильно-о! — И опять легла на свое место, показывая с'езду пышную гриву, да еще плечи ярко-синего костюма.

Все выше бушующие волны рукоплескания; то-и-дело из гула раздаются голоса к ленинградцам:

— Позор! Докатились!

Оратор, поправляя поясок и тут же по привычке поддернув и штаны, горячо произнес заключительные слова своей речи:

— Железная дисциплина в нашей партии должна быть незыблема. — Тут он, провожаемый волнами светло-зеленого потока глаз, сошел с трибуны, скрылся в густоте делегатов и гостей, стоявших между двумя вспотевшими колоннами, в мраморе и золоте которых трепетали тени ладоней, электрические свечи люстр и боковых канделябров. Президиум с'езда тоже стоял, за исключением трагической головы, и рукоплескал. Потом, когда с'езд успокоился, председатель, чуть-чуть заикаясь и откидываясь костлявым туловищем назад, предложил заседание закрыть.

С'езд густо и шумно направился к дверям коридора, отражаясь в дверных темных и глубоких зеркалах, потом поплыл по узкому коричневому коридору на широкую лестницу, покрытую темно-красными коврами. Мимо меня опять тронулся «разноликий народ», вместе с ним и лицо народного комиссара, моего героя. Я, подталкиваемый «разноликим народом» и отражаясь вместе с ним в бездонном омуте дверных зеркал, качнулся, врезался в густую движущуюся массу делегатов и поплыл медленно и грузно по узкому коридору.

С четвертого заседания все спуталось: и утра, и дни, и обеды, и полдни, и вечера, и ночи. Даже и погода была в каком-то странном беспорядке: то в огромные окна текла осиновым небом, то бледно-зеленым, то желто-белым, то густыми облаками снега, то просто какой-то, прости господи, несусветной кутерьмой, еще более страшной и непроглядной, чем была в первый день открытия с'езда; по ночам темной синью, осыпанной редкими разноцветными звездами, то просто иссиня-желтой мутью лунного света. Одним словом, с четвертого заседания все так резко изменилось в Андреевском зале, в боковых проходах зала, что были за рядами колонн, в наружном коридоре, что был за тяжелыми зеркальными дверями: делегаты не сидели так неподвижно, как это они сидели в первые дни с'езда,—двигались, переходили с места на место, выходили в коридоры, толпами прогуливались по коридорам, в особенности гости (гости слушали только крупных ораторов), потом толпами вливались обратно из коридоров в зал, — так без конца. Но все же в Андреевском зале во все эти дни обсуждения больших и глубоких вопросов строительства существовала необычная теснота, необычная приподнятость и возбуждение, так как образовавшаяся фракция вокруг ленинградской делегации была очень сильной: в нее вошли крупнейшие ораторы, с европейским блеском, с европейскими жестами; эти ораторы в своих содокладах, в своих речах свободно, с некоторым пафосом нападали на первых докладчиков, так что, слушая их образные, чрезвычайно красивые речи, не только думалось, но и казалось, что наша величайшая в мире

партия стоит накануне развала, вот-вот сейчас развалится, и от собранной Советской России, от диктатуры рабочего ничего не останется, кроме пепла. Такое настроение угнетало только тогда, когда выступали эти ораторы, но как только они сходили с трибуны, раздавался обломный хохот с'езда и это тяжелое настроение испарялось, как весенний дымок, ибо делегаты, с'ехавшиеся со всего Союза, куда лучше знали, чем оппозиция, положение страны и свою партию, которая их послала в этот Большой дворец. Во все эти дни яростного спора: что̀ у нас в настоящее время—социалистическое хозяйство или госкапитализм; что мы можем построить социализм в одной стране или не можем, докладчик, что был среднего роста, в военном френче, с крутыми плечами, ходил ровными военными шагами по трибуне, за спиной президиума, поворачивал бледно-желтое лицо, взглядывая узкими улыбающимися глазами в глубину с'езда, на ораторов, критиковавших его политический отчет. Он ходил размеренными шагами взад и вперед по трибуне, с немного склоненной головой, волосы которой были коротко подстрижены, с откинутой левой рукой на поясницу, а правой то-и-дело подкручивал прямые черные усы. То же можно было сказать и про другого члена президиума; этот другой был в ярко-синем костюме; этот другой все эти дни сидел около конца стола президиума, касался левым локтем колонны; этот другой, облокотившись на стол, неизменно лежал книзу лицом и только тогда поднимал голову и вскидывал трагическое лицо с саркастическими тонкими губами, когда противники нападали на докладчика, на партию, шевелил губами, бросал небрежно сквозь зубы: «П-ра-а-ввильн-но!» Потом опять опускал голову и, показывая с'езду черно-серебристую

гриву и плечи ярко-синего костюма, ложился лицом на руки и в таком положении ожидал более хлесткого слова оратора оппозиции, чтобы снова вскинуть трагично голову и бросить «правильно». Остальные члены президиума в эти дни тоже были напряжены, взволнованы не меньше, чем все делегаты и гости. Они тоже бросали реплики своим противникам, участвовали в прениях, произносили горячие речи, правда, не похожие по блеску на речи ораторов оппозиции, но глубокие по содержанию. Их речи с'езд партии выслушивал с глубочайшим вниманием, покрывал бурными, долго несмолкаемыми рукоплесканиями. Речи оппозиции оканчивались в рваной тишине, покрывались отрицательными возгласами, гулом смеха. В эти бурные дни, когда группа оппозиции стремилась расколоть ленинскую партию, делегаты сохранили величайшее мужество, проявили невиданный инстинкт самосохранения, так что он останется в истории ленинской партии на многие десятилетия, сыграет колоссальную предохранительную роль от других оппозиционеров, которые еще не один раз будут покушаться на раскол партии, на сворачивание партии с проверенного ленинского пути. Одним словом, этот с'езд оказывал и окажет морально глубокую, идейную поддержку некоторым шатающимся молодым членам партии, зараженным «розовой романтикой» вождей оппозиции. Вопросы социалистического строительства, крестьянства, внутрипартийной демократии, анализ капитализма в буржуазных странах, поставленные так глубоко, так отчетливо в первых двух докладах, сейчас еще более отчетливо, еще более углубленно предстали перед глазами делегатов, так что с'езд потребовал прекращения прений, потребовал перехода к другим вопросам,

поставленным в порядок дня. Председатель с'езда, получив несколько таких записок о прекращении прений, был вынужден подняться и заявить, что он предлагает дать высказаться остальным членам оппозиции, чтобы она, оппозиция, не говорила, что им на с'езде не дали высказаться полностью. Предложение председателя было принято единогласно, и оппозиции было дано право полностью выявить свою точку зрения, которая, впрочем, была всему с'езду хорошо ясна. После ряда коротких речей делегатов было предоставлено слово делегату от оппозиции. Этот делегат, приветствуемый своей маленькой фракцией, не торопясь поднялся на трибуну и, повернувшись к залу, сбросил с себя брусничного цвета пиджак и обратился к с'езду:

— Товарищи, — засучивая рукава и поправляя манжеты, начал он немного хриповатым басом, — опорочивать нас за октябрьские ошибки...

Голос:

— Вы первыми начали.

— Давайте договоримся: если у вас есть поручение перебивать меня, то вы так и скажите.

Голос:

— Никто никакого поручения не давал, у нас своя голова есть.

Оратор поправил пенснэ, потом посмотрел в сторону, откуда раздался ответ и утверждение, что у него имеется собственная голова, потом приступил к речи. Он был плотного телосложения и сейчас, когда сбросил пиджак и остался в брусничном жилете, из-под которого выбегали рукава и ворот белой с синими полосками рубашки, был похож на благообразного боярина двадцатого века. Он, изредка поправляя густые светлорыжие усы и такого же цвета небольшую, окладистую

бороду, немного хриповатым, но необычно сильным, полным темперамента басом продолжал свою блистательную речь; он своей речью нападал на первого докладчика, который все так же размеренно-ровными шагами ходил по трибуне за спиной президиума, держал на пояснице левую кисть руки, а правой крутил черные усы. Оратор, которого звали подмосковные огородники «наш воевода», говорил о том, «почему мы выступаем на с'езде»; потом говорил об основной, но глубоко неправильной линии докладчика; потом о том, куда должен быть направлен огонь; потом о нэпе и о срыве нэпа; потом о прикрашивании нэпа в городе; потом, кто этот нэп прикрашивает и называет социализмом и этим обманывает рабочих; потом он говорил о прибылях; потом он очень подробно остановился на госкапитализме... Утверждая, что у нас госкапитализм, он сказал, что наша фабрика есть предприятие социалистическое в полном смысле этого слова, то это будет неправда... Это будет ложь...

Голоса:

— А участие в прибылях?

— Так вы не говорите, что это подлинно социалистическое предприятие.

Голоса:

— Это воображение ваше!

— Америку открыли!

— Мы, старые большевики,—начал было он,—являемся теми столбами, на которых держалась и держится...

Тут неожиданно поднялась седая голова и, вскинув руку, бросила:

— Эй, товарищ, помни: не каждая дубина может быть столбом!

Глухой, как будто придушенный хохот неудержимо прокатился по залу.

Оратор:

— Я не говорю о том столбе, у которого гнилая сердцевина...

Этот же голос:

— Ого! Мимо твоего прошлого тоже не пройдешь, не зажавши нос!

Потом оратор говорил о гражданском мире, о классовой борьбе; потом о разногласиях в партии; потом, как надо изживать разногласия; потом говорил о том, что надо сейчас делать; этот последний вопрос он разбил на три пункта. Последние его вопросы с'езд выслушивал с большим вниманием, так как оратор подходил к самому острому вопросу расхождения оппозиции с большинством; с'езд только тогда всколыхнулся, когда оратор подошел к последнему вопросу, резко расчленил его на отдельные три пункта, прямо поставил их ребром и пошел в «лобовую атаку» на партию. Тут с'езд тревожно подался вперед, а его бегущий поток глаз запрыгал светло-зелеными волнами, еще быстрее побежал к трибуне, мча в себе лица, бороды, прямые, стрельчатые брови, голоса:

— Нужно было с этого начать!

Оратор, поправляя манжеты и откашливаясь, продолжал:

— Это—право оратора начать с того, с чего он хочет. Вам кажется, следовало бы начать с того, что я сказал бы, что лично я полагаю, что наш генеральный секретарь не является той фигурой, которая может об'единить вокруг себя старый большевистский штаб. Я не считаю, что это основной политический вопрос. Я не считаю, что этот вопрос более важен, чем вопрос о

теоретической линии. Я считаю, что если бы партия приняла...

В зале изломы, глухое движение:

— Вот оно в чем дело!

Докладчик в военном френче, в сапогах, с закинутой левой рукой за спину, остановился, повернулся лицом к с'езду, прищуренными черными глазами посмотрел в глубину зала, в взволнованно вздыбленный поток глаз и, держа в пальцах непослушный ус, выпрямился, подошел ближе к столу, остановился за спиной президиума и впал в глубокую неподвижность. Трагическая голова тоже оторвалась от стола и, поблескивая стеклами пенснэ и острым подбородком, смотрела невидящим взглядом в глубину, подбадривая оратора скупо брошенным словом:

— П-пправ-вильнн-оо!

—... определенную политическую линию, ясно отмежевала бы от себя, от тех уклонов, которые сейчас поддерживают часть ЦК, то этот вопрос не стоял бы сейчас на очереди. Но я должен договорить до конца...

Докладчик в военном френче, в сапогах, который все время прохаживался по трибуне, а сейчас неподвижно стоял за спиной президиума, улыбнулся, потом спокойно бросил:

— Так говорит Заратустра.

—... Я пришел к убеждению, что товарищ докладчик не может выполнить роли об'единителя большевистского штаба...

В зале — вздыбленное море; движение; изломы рядов; скрип стульев; голоса:

— Неверно! Чепуха!

— Докатились до ручки!

— Вот оно в чем дело!

— Наконец-то раскрыли карты!

Ленинградская делегация была едва заметна в общем неудержимом гуле протеста; она, как небольшой подводный ключ, поднимается на поверхность взволновавшегося с'езда, слабо крутится, стараясь перекричать, перетопать ногами протест всего зала, но ее усилия безнадежно тонут в общем величавом под'еме возмущения; она, видя такое положение, быстро поднялась и устроила овацию своему оратору, — ее оратор стоял в брусничном жилете, с засученными рукавами, вытирал платком вспотевшее лицо, густо обросшее светлорыжей бородой, хмуро смотрел светло-голубыми глазами на протестующий с'езд, — но сногсшибательная овация ленинградцев не достигла своей цели: она, как жалкий ручеек, сорвалась с огромного обрыва, и ее шум потонул, пропал бесследно, затерялся в стихийном гуле протеста:

— Мы не дадим вам командных высот!

— Докладчика! докладчика! — Тут с'езд встает, как один человек; вместе с ним поднимаются члены президиума; докладчик, стоявший за стульями президиума, теряется за головами членов и только изредка в интервале голов мелькает его бледно-желтое истомленное лицо, обвисшие черные усы, черно-серебристые короткие волосы, подстриженные под бобрика, да еще крутые плечи, туго обтянутые френчем; делегаты и гости устраивают приветственную овацию докладчику. В это время члены президиума расступились, сделали между собой больший интервал, и фигура докладчика громоздко, как скала, выросла и стала видной в образовавшемся интервале. При виде докладчика приветственная буря поднялась изнутри с'езда, неслыханно взмыла и, смешавшись с сверкающим и поднявшимся

на большую высоту потоком глаз, тяжелыми волнами заходила по огромному залу; эта буря, ударяясь тугими волнами в массивные мраморные колонны, в грубое украшение стен, зеркальные двери, ведущие в коридор, в сверкающие снятым молоком мраморные амбразуры, в огромные окна, в которые неудержимо текло осиновое небо с бледно-желтым солнцем, похожим на глинистую пыль, могуче поднималась к золоченым сводам и, ударяясь и путаясь в золотых цепях огромных люстр, грузными обвалами падала обратно, встречалась с другими волнами и, сливаясь воедино, снова рвалась к сводам и опять обратно и так долго-долго. А потом, когда радостная буря немного приутихла, раздались из глубины зала, потрясаемого рукоплесканиями, голоса:

— Вот где об'единилась партия!

— Большевистский штаб должен об'единиться.—Тут из ленинградской организации вышел вперед плотный, с бритым красно-морщинистым лицом, с белесыми глазами делегат и громким хриповатым тенором крикнул:

— Да здравствует Российская коммунистическая партия! Ура! Ура! Ура! — Это он крикнул для того, чтобы сгладить неприятное впечатление от речи своего оратора, а, главное — замазать образовавшуюся трещину между ними, небольшой кучкой, и всей партией; замазать ту трещину, которая идеологически оторвала их от партии, толкнула и поставила на черту недоверия в силы рабочего класса своей страны, на черту паники и ликвидаторства... Он крикнул для того, чтобы смазать значение обоих докладчиков, отвлечь с'езд в другую сторону. С'езд, конечно, не мог не приветствовать партию. Он бурно откликнулся на выкрик фракционера, и Андреевский зал огласился криками «ура!» Но этому

фракционеру все же не удалось замазать той трещины, которая образовалась на этом с'езде: она стала гораздо значительнее. Но все же он, глубоко чувствуя эту трещину, старался замазать ее на глазах делегатов.

— Да здравствует ЦК нашей партии! Ура? — И на этот раз с'езд не мог не отозваться, не прокричать ура.

— Партия выше всего! — кричал хриповатым тенором фракционер и, размахивая руками и стараясь не отстать от общего гула и рева, кричал «ура». Нужно сказать, что и трагическая голова на этот раз не лежала на столе президиума; она, как и все делегаты, шевелила тонкими саркастическими губами, поблескивала золотом пенснэ, сверлила гордыми глазами непроницаемую пучину бушующего зала, всовывала в неслыханный гул делегатов свой членораздельный голос. Только один оратор стоял ошалело на трибуне и не знал, что делать: он то-и-дело снимал пенснэ, то-и-дело протирал его, то-и-дело вытирал бледное вспотевшее лицо, обросшее густой светло-рыжей бородой, то-и-дело шарил оледеневшими глазами по залу, как будто отыскивая кого-то; он только тогда опомнился, когда с'езд успокоился и неожиданно из глубины зала раздались голоса:

— Да здравствует товарищ-докладчик!.. — Но тут с'езд снова поднялся, как один человек,—за исключением ленинградской делегации, которая подняла в знак протеста шум, и трагической головы, что сейчас не полулежала на столе президиума, не показывала свою густую черно-серебряную гриву, а сокрушенно смотрела на растревоженный зал, — устроил грандиозную демонстрацию докладчику, оглашая дворец криками «ура!» Оратор снова впал в растерянность. Одним словом, оппозиционеру замазать пропасть, а главное —

отвлечь внимание с'езда от последних слов оратора не удалось, так как делегаты глубоко чувствовали правильность ленинской линии в докладах, всю глубину поставленных вопросов, анализ капиталистических стран, международного положения, Советского Союза. Одним словом, делегаты хорошо чувствовали настроение рабочего класса, из которого они вышли, который послал их вот сюда, в этот дворец, и который неколебимо стоит за их спиной, прислушивается к голосу своей партии, ждет разрешения этих вопросов, поставленных самой жизнью. Они, делегаты, глубоко понимали настроение и трудового крестьянства, верили, что партия при помощи рабочего класса построит социализм в своей стране, что партия не страдает таким безверием в рабочий класс, как им страдает кучка ленинградских делегатов во главе со своими вождями, что партия выведет трудовое крестьянство на верную дорогу, поведет его по пути социалистического строительства, что партия стоит на верном пути, а поэтому приветствует за правильную ленинскую линию ЦК партии, обоих докладчиков, как стальной, несокрушимый хребет партии. Когда такое приветствие из глубины с'езда вылилось наружу, когда умолкли восторженные крики «ура», когда ленинградцы перестали в знак протеста шуметь, председатель, откидывая немного назад голову и чуть-чуть заикаясь, обратился к с'езду:

— Товарищи, прошу успокоиться. Оратор сейчас кончит.

Оратор был в страшной растерянности, он только махнул рукой, потом неожиданно постоял с минуту в глубоком молчании, потом, вспомнив конец своей речи, до тупости, с каким-то злым упорством закончил свою речь:

— Эту часть своей речи я начал словами: мы против теории единоличия, мы против того, чтобы создавать вождя. Этими словами я кончаю.

Голос из глубины:

— А кого вы предлагаете? — Потом опять все смешалось в зале: и дни, и вечера, и ночи, и окна, и амбразуры, и стены, и колонны, и золото, и люстры, и туловища делегатов и всей этой массой упали в яркосверкающий поток глаз, неудержимо бегущий к трибуне; этот поток временами был похож на медленно движущуюся основу, временами на быструю светло-зеленую речку, временами на широкий стремительно бегущий разлив, сверкающий брызгами гнева и восторга... Погода тоже была изменчивой: то шел крупный снег, бесшумно ложился на улицы, то шел мелкий снег, свистел, как песок, то драла поземка, то ветер высвистывал мелодии, стуча по крышам домов и лязгая желобами и карнизами, то в окна лезла белая тишина, то неудержимо ползло осиновое небо с едва заметным шариком дряблого и немощного солнца. По вечерам другое: то лезла желтая муть, то темно-синее небо с крупными зрелыми звездами, то просто непонятная и непроглядная кутерьма... Глядя в эту вереницу дней, вечеров, ночей, которая густо заволакивала собой Андреевский зал, окрашивая поток глаз в свои цвета, захватила меня так, что я потерял движение времени, потерял способность разбираться в лицах, — в эти дни казалось, что я вижу только одного своего героя, хотя я отчетливо видел, как позади стола президиума твердыми, военными шагами прохаживался докладчик, держа крупную кисть на пояснице, а другой крутил прямые усы; я видел, как важно лежала на столе президиума

трагическая голова, показывала с'езду свою черно-серебряную гриву, да ярко синие плечи костюма; я видел, как взволнованно сидели и другие члены президиума; я видел, как выступал новый народный комиссар и немного глуховатым голосом говорил речь. Я отчетливо слышал речь этого комиссара и принимал ее, как продолжение речи моего героя, а главное — ощущал, что дело строительства движется вперед, что убираются развалины старой культуры, воздвигаются стены, балки, колонны другого мира, растут леса, гудят многомиллионные массы «разноликого народа», гудят и шумят уверенно их мускулы, бухая молотами... Этот народный комиссар с цифрами в руках подтверждал доклады партии, доказывал оппозиции, что строительство социализма партия доведет до конца... Слушая его пламенную, глубокую речь, в которой я, как и все делегаты, видел все развернувшееся строительство на беспредельном просторе нашего Союза, уносился далеко, беседовал с моим героем, что стоял передо мной в своем неизменно серо-желтом пальто, смотрел на меня горячими глазами с темно-землистого лица, заросшего темно-русой бородой, густо посеребренной по бокам. Он ушел от меня только тогда, когда народный комиссар закончил свою речь и под гром рукоплесканий сошел с трибуны, чуть-чуть улыбаясь; мой герой ушел от меня только тогда, когда вышел из ленинградской делегации содокладчик и, синея тучным телом, густой курчавой шевелюрой и темными мешками глаз, поднялся на трибуну и неуверенно при какой-то уставшей и безразличной тишине с'езда помятым языком стал говорить заключительное слово. Содокладчик говорил мучительно вяло, нудно, несмотря на то, что изумительно владел

ораторским искусством, считался блестящим трибуном европейского масштаба; содокладчик безнадежно метался по трибуне, жестикулировал, тыкал энергично пальцами в глубину, во все углы зала, старался нащупать твердую почву, чтобы опереться на нее, но он всюду натыкался на сопротивление, стремительно падал, барахтался в пучине собственного словотворчества; содокладчик хорошо видел, что спасительной соломинкой была только одна ленинградская делегация; содокладчик, чтобы выбраться из пучины, взбирался верхом на эту соломинку, выходил временно из опасности и опять, несмотря на то, что уже всему с'езду были отчетливо ясны вопросы, что у нас сейчас: госкапитализм или социалистическое хозяйство? Что можно ли построить социализм в одной стране? Что сейчас растет кулак или не растет? Что есть ли у нас в партии демократия или нет? Что есть ли в нашей партии равенство или нет?.. Мы стоим за равенство... — И он стремительно летел и, барахтаясь в болоте, цеплялся за соломинку. Все эти вопросы он резко поставил в своем заключительном слове и, мусоля их без конца, старался доказать, что социализма в одной стране, да еще в такой отсталой, как наша, не построим; что никакого социалистического хозяйства нет в нашей стране, а имеется госкапитализм, что кулак у нас растет, распоясывается, садится на загривок батраку, что никакой демократии в нашей партии нет, а полный зажим и бюрократизм. Потом, после этих вопросов и ответов он перешел к «философии эпохи» и стал доказывать, что буржуазия прет и партия под напором буржуазной идеологии перерождается... Потом он перешел к ленинградской организации, но тут поднялся такой протест

с'езда, такое волнение, что ему с большим трудом удалось закончить.

— Вы должны понять, — закидывая руки за спину и нагибаясь вперед и сверкая сиреневым взглядом, он громким и приятным тенорком крикнул, — что одно из первых мест принадлежит Ленинграду.

С'езд глухо загудел:

— Неверно!

— Вы спровоцировали ленинградских товарищей!

— Подтасовали!

Содокладчик, не разгибая спины, продолжал:

— Товарищи, я позволю себе процитировать то, что Ленин говорил о ленинградских рабочих.

— Не играйте на чувствах, все равно не поверим!

Содокладчик выпрямился и вскинул сизые руки (впрочем, он весь был похож на куст цветущей сирени):

— Не делайте этого. Ответственность целиком лежит на большинстве...— И быстро, синея туловищем, густой шевелюрой, под рукоплескания ленинградцев, что были похожи на одинокую птицу, бившуюся под огромными сводами, сошел с трибуны. Потом, когда сказал председатель, что сейчас будут представлены заключительные речи докладчикам, в зале наступила минутная тишина, потом поток глаз как-то стал ближе к столам, даже, как показалось мне, светло-зеленой сеткой задевал за крышки столов, даже остановил свое стремительное движение к трибуне, трепетал зыбью на месте, раскинувшись по всему залу. Он только тогда, когда из-за стола президиума быстро вышла прямая, плечистая фигура второго докладчика, всколыхнулся, поднялся от столиков и, сверкая тугими гребнями — темно-синими, голубыми, черными и светло-зелеными,

стремительно бросился к трибуне. За ним разорвалась тишина и двинулась к трибуне. Докладчик остановился и стал ожидать окончания приветственной бури, которая несметными стаями кружилась под сводами, грузно шумела тяжелыми крыльями. Второй докладчик был на этот раз неожиданно подвижен, казался в необычном ударе, так что из всего его кряжистого тела сквозила и поражала огромная сила воли, огромная жизнерадостность, железная вера в ту работу, которую он делает по поручению партии. Глядя на докладчика, казалось, что в его тело, в его существо влилась вся энергия рабочего класса и партии, вся стальная воля, вся вера в победу, вся уверенность в строительство социализма... Пока он стоял и ожидал окончания рукоплесканий, я опять увидал лицо и весь незабываемо прекрасный образ моего героя, так что я изумился от его необычайно радостных и горячих глаз. Впрочем, я видел народного комиссара и в лице второго докладчика, что стоял и ожидал окончания овации и смотрел в глубину зала на широкий разноцветный поток глаз, катящийся восторженно и шумно к нему. Впрочем, я видел моего героя и в первом докладчике, что был в военном френче и в сапогах, что неизменно с немного склоненной головой, прохаживался позади президиума. Впрочем, я видел моего героя за столом президиума, и даже, как мне казалось, что это не председатель смотрит, говорит и звонит в колокольчик, призывая к порядку, а герой моего романа: он, председатель, был наружно и внутренне так похож на моего героя, что я даже терялся временами, задавал себе непозволительные вопросы:

«Да верно ли, что мой герой умер?..» Я видел моего героя в глубине зала и даже видел, как, вливаясь

в общий поток, бежали его необычно жадные глаза, бежали к трибуне, ко второму докладчику; одним словом, я видел его везде и всюду... Я так увлекся своим героем, что даже не заметил, как второй докладчик с бледно-матовым и вдохновенным лицом, с небольшими черными усиками, с высоким лбом, приступил к речи и говорил уже больше 15 минут, и я ничего не уловил из вступительной части его заключительной речи. Я опомнился и оторвался от моего героя только тогда, когда уже второй докладчик подошел «к крестьянскому вопросу». Он разбирал досконально этот вопрос, давал глубокий анализ современной деревни и, отвечая оппозиции, намечал на целые годы план работы в деревне, намечал тот путь, по которому партия должна повести крестьянство к строительству социализма. Докладчик в этом вопросе не только дал анализ современной деревни, не только наметил на многие годы план работы, а он глубоко вскрыл ошибки оппозиции в крестьянском вопросе, ее панический страх, всю ее путаницу в этом вопросе. Потом он перешел к другому вопросу, который выдвинул, заострил содокладчик.

— Товарищи, — сказал он и поправил пенснэ и немного наклонил голову, — теперь вопрос о равенстве. Содокладчик останавливался на этом вопросе и говорил, что он настаивает на правильности своих взглядов по этому вопросу. Он даже демагогически спрашивал: с какого времени лозунг равенства перестал быть лозунгом нашей партии?

В зале изломы; движение; потом прокатывающийся, подобно далекому грому, легкий смех:

— С того времени, как организовали фракцию.

— Но, товарищи, здесь у содокладчика громаднейшая принципиальная и политическая ошибка. Недаром

же партия предостерегала от злоупотребления лозунгом равенства. Лозунг равенства, как лозунг уничтожения классов, как лозунг развертывания борьбы за социализм, это — лозунг нашей партии, это есть то, что мы всегда делали, делаем и будем делать. Если мы говорим о равенстве социалистическом, ведущем к уничтожению классов, — это есть постоянная задача, — тогда нельзя говорить так, как говорил содокладчик в первой редакции своей «философии эпохи». Он там говорит о том, что «мы должны стать во главе борьбы за равенство». Но если мы «должны стать» во главе этой борьбы, то получается, что до сих пор не стояли «во главе борьбы за равенство», а это говорится на девятом году пролетарской революции.

Голос из ленинградской делегации:

— И не стояли.

В зале шум; легкое движение; голоса:

— Демагоги!

— Скажите, когда вы все это придумали?

— Дешево!

— На удочку партию не поймаете!

— Еще одно, — поправляя пенснэ, возбужденно бросил докладчик. — Мы должны помнить о том, что когда выбрасывается лозунг для народа, который включает два класса — рабочий класс и крестьянство, мы должны говорить об этом лозунге, как о лозунге, ведущем к социализму, лозунге, ведущем к уничтожению классов. А если говорить вообще о равенстве, то этот лозунг, допустим, в глазах рабочего класса получит истолкование социалистическое, а в мелкобуржуазных массах, в крестьянстве он может получить другое, мелкобуржуазное истолкование, — например, в смысле равенства двух основных классов.

Голоса из глубины зала:

— Правильно!

— А что тогда останется от защищаемой нами диктатуры пролетариата? — бросил он этот вопрос и, блестя открытыми глазами, подался вперед.—Поэтому-то в данных условиях этот лозунг в настоящее время, в том неопределенном, двусмысленном виде, как он был выброшен содокладчиком в первой редакции «философии эпохи», был лозунг ошибочный и вредный. — Тут докладчик перешел к нашей партии, к ее росту, к ее составу. Он развернул партию во фронт, показал все ее здоровье, а также некоторые болезни. Потом, показав с'езду партию, он опроверг больные, глубоко вредные предложения оппозиции увеличить партию на несколько десятков сотен и даже тысяч. Потом он перешел к главному вопросу: — Товарищи, — сказал он, — теперь насчет демократизма. Содокладчик выступил с особым «манифестом», за который он, я думаю, получил имя «Милостивого», так как тут обещаны всякие милости для всех групп и течений, для всякого обсуждения и внутрипартийных дискуссий. Но если мы возьмем и проверим, как на деле проводится содокладчиком и другими руководителями ленинградской организации демократия, то, я думаю, тут у нас получится порядочное несоответствие между «манифестом» и делом. Вот такой пример, как выборы на партийный с'езд. Вы знаете, как происходили в последний раз эти выборы в Ленинграде? Вы слышали, как «демократично» разговаривал содокладчик со своими противниками накануне выборов на партийный с'езд? — Докладчик, рассказывая о «демократизме» содокладчика, с огромным вдохновением и напором гнал свои тяжелые, глубокие по содержанию слова и они, как тяжелые камни,

катились в напряженную тишину, готовую разразиться радостной грозой. Он говорил просто, глубоко, и каждая его мысль достигала своей цели, а главное—одним она открывала глаза на «демократизм» оппозиции, других заставляла ежиться, как бересту на огне, — это сторонников такого «демократизма».

— Товарищи, — продолжал он, — возьмем другой пример. Вот содокладчик говорил насчет того, как какой-то товарищ писал о фактах ввода в бюро укома отдельных товарищей в порядке кооптации. Теперь, говорил содокладчик, наступило время, когда мы должны от этого отказаться. Но позвольте спросить, каким образом составлен ленинградский губернский комитет партии?

В зале где-то тронулась тишина, потом затихла; раздался громкий свистящий кашель и потонул в тишине. Докладчик, вскидывая лицо с большим лбом, продолжал:

— Оказывается, дело было таким образом, что еще перед конференцией старый губком утвердил полностью список нового губкома. Я могу...— Опять в зале тронулась тишина, треснула и громоздко зашевелилась, так что поток глаз, похожий на светло-зеленую сетку, дернулся, заколыхался ослепительно яркой зыбью. Докладчик продолжал:

— Я могу дать полный список губкома нового состава, утвержденного еще до партийной конференции старым губкомом.—От этих слов тишина в зале колыхнулась, разорвалась на несколько частей, поток глаз потерял спокойный бег, приподнялся и вспененными волнами покатился к стоявшему неколебимо докладчику.

— Я могу показать полностью тот список, который был утвержден губкомом... — Из оппозиции поднимается делегат, шумно поворачивается и становится

боком к трибуне и, густо залив кровью круглое мясистое лицо, заорал, стараясь перебить докладчика:

— Неверно! Этого не было!

— Чтобы у вас не было сомнений по этому вопросу, я могу вам показать, как это дело делалось. Так вот, товарищи, я вам показываю полностью тот список, который был утвержден. Читаю: «Постановление от (такого-то числа) ноября (такого-то) года, протокол № 12, заседания пленума ленинградского губкома. Слушали: 1) список губкома нового состава... — В зале, в коридорах, на окнах движение; скрип стульев, столов; сильный, похожий на падение огромной скалы хохот катится по всему залу, по боковым коридорам, бьется в зеркальные двери, в огромные окна; хохот на широких мраморных подоконниках, на которых черно и густо от гостей, журналистов; хохот плывет из глубины зала в ленинградскую оппозицию — которая, прижукнувшись, сидит незаметно в волнующемся зале:

— Вот так демократия!

— Развели!

Докладчик, перекидывая и показывая страницы, продолжал: — А всего 131. А вот: Слушали: список губернской контрольной комиссии...—Снова взрыв смеха; всеобщее движение; тут ленинградская делегация не выдержала, бурно стала протестовать, топать ногами, шуметь... А общее количество их, — перекидывая на левую руку листы, продолжал с небольшой, но острой улыбкой на тонких губах докладчик. — А общее количество их — 93. А вот еще пример «демократизма» в ленинградской организации. В течение нескольких дней партийный комитет Выборгского района добивался созыва партийного состава Выборгского района. Губкомом это не разрешалось...

Крики:

— Позор!

Буйный топот ленинградской делегации:

— Ложь!

— Неправда!

Гул с'езда.

Оратор все так же иронически, с легкой улыбкой на тонких губах:

— Мы сегодня заслушали от содокладчика целый «манифест» партийных вольностей. Обсуждался ли этот манифест предварительно хотя бы на этой делегации, присутствующей здесь от Ленинграда? А обсуждала ли ленинградская делегация эти предложения, которые от ее имени сегодня предлагались партийному с'езду, хотя бы в порядке минимальной демократии? Обсуждала или нет? Не слышно что-то голосов. Видно нет. — В зале снова движение; потом долго неумолкаемый, похожий на весенний гром хохот; потом хохот приутих; тяжелый бас из глубины зала:

— Язык прикусили!

Тут опять раздался взрыв смеха; потом шум, крики.

— Чтобы не мешали проводить демократию!

Докладчик, вытирая платком стекла пенснэ, продолжал:

— Наконец, вопрос о самой ленинградской организации. Каким же образом получилось это небывалое событие на партийном с'езде, что одна из лучших пролетарских организаций партии, и именно ленинградская, пытается противопоставить себя большинству с'езда и пытается играть впервые в истории большевистской партии роль внутрипартийной оппозиции? — Тут он указал на опасность такого положения в ленинградской организации, подробно остановился на своеобразном

«демократизме» ленинградской верхушки, на широковещательном в смысле «демократизма» «манифесте» содокладчика; затем остановился на том, что в ленинградской организации начинают уже чувствовать этот «многовещательный манифест», так что многие районы Ленинграда выносят постановления, чтобы ленинградская делегация присоединилась к мнению всей партии; потом указал на то, что Выборгский район прислал «горячее приветствие с'езду»; эти слова докладчика были покрыты потрясающей бурей всего с'езда, криками:

— Да здравствует ленинградская организация!

А ленинградская оппозиция, послав сама себя на с'езд, шумела, топала ногами, кричала в порыве возмущения.

Докладчик, глядя в глубину с'езда, который поднялся и слушал его, бурно рукоплеща и двигаясь, уверенно закончил:

— С'езд ждет, с'езд хочет, с'езд надеется, с'езд уверен, что вся ленинградская организация в целом, преодолевая колебания отдельных товарищей, преодолевая неуверенность перед огромными трудностями в среде отдельных частей рабочих, пойдет по тому пути, по которому идет партия, по которому идет наш партийный с'езд, — тут он, вытирая высокий лоб и собирая с пюпитра бумаги, грузно, чуть-чуть покачивающейся походкой сошел с трибуны. В это время, когда он говорил последние слова своей речи, когда вытирал лоб, когда собирал с пюпитра бумаги, с'езд поднялся, как один человек, приветствуя его; приветствие с'езда было настолько могуче, настолько едино, что ленинградская делегация, не пожелавшая встать, как жалкая, едва заметная лужица, затерялась среди широко раскинувшегося необозримого, сверкающего на солнце

простора, потонула в трехтысячной массе с'езда, гостей и представителей братских партий всего мира; она потонула вместе с своим топаньем ног, с шумом, с своим визгом и криком... Через ее голову неудержимо катилось разноцветное половодье глаз; через ее голову все это, трепеща и хлопая желто-розовыми ладонями, потоком текли приветствия к трибуне, к докладчику, который, чуть-чуть покачиваясь, уходил с трибуны и которого приветствовал, и тоже стоя, президиум, за исключением трагической головы, украшенной черно-серебристой гривой, — эта трагическая голова, поблескивая стеклами пенснэ, острой бородкой и тонкими саркастическими губами, хмуро смотрела на с'езд, стараясь пронизать его до самого конца, и сокрушенно покачивала головой.

Докладчик в военном френче, в сапогах, с бледно-желтым, изможденным лицом, с крутыми плечами, который все время держал левую руку на пояснице, а другой разглаживал прямые черные с редкой проседью усы и прохаживался ровными спокойными шагами позади президиума, сейчас остановился и, улыбаясь и поблескивая черным огнем немного прищуренных глаз, повернулся лицом к с'езду, к быстро идущему с трибуны докладчику, с которым он вместе стоит на самой вершине, на самом ответственном посту и с железной логикой проводит в жизнь волю партии, рабочего класса, представляет вместе с ним и с другими товарищами несокрушимый хребет миллионной партии, вместе с ним и с другими стоит у руля рабочего государства, ведет это государство к другой культуре—социалистической, радостно стал приветствовать докладчика. Его рукоплескания, рукоплескания президиума, нового народного комиссара и председателя еще больше подняли

торженное настроение с'езда, бушующего потоком разноцветных глаз...

... Мне опять показалось, что герой моего романа находился на с'езде и рукоплескал докладчику...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ, * * *

которая случайно попала в эпилог

Спал я нынче очень плохо: в мои глаза, даже в закрытые, все время лезли бурные картины с'езда, взволнованные лица, темно-синие, стальные, карие глаза, рукоплескания, отдельные делегаты, их короткие речи, но полные веры в то великое, которое неколебимо проводит партия, рабочий класс. Эти делегаты, то-и-дело всходившие на трибуну, принадлежали к разным национальностям Союза, говорили на ломаном русском языке, но все они говорили об одном, что они являются хозяевами страны, что они строят социализм и построят его, потом жестоко нападали на оппозицию, доказывая ей всю неправильность ее политики.

Растревоженный картинами с'езда, рукоплесканиями, смехом, горячими речами делегатов, я все время ворочался с одного бока на другой и никак не мог погрузиться в беззаботное царство сна, несмотря на то, что поздняя московская ночь давно уже катилась своей иссиня-желтой мутью над улицами города, над запоздавшими прохожими...

Я повернулся на спину и стал смотреть в потолок, что смутно выделялся из черно-пепельной мглы поздней ночи, двигался на меня, вертясь, как большое мельничное колесо, облитое грязно-зеленой пенистой водой. Лапчатый бронзовый канделябр высовывался то-и-дело из этого вертящегося колеса, возился, бросался в разные

стороны, стараясь оторваться от колеса, покрытого водой, броситься ко мне на кровать, а возможно и под одеяло. Потом, да еще вдруг, все резко изменилось: канделябр был не канделябр — пучок мечущихся змей, привязанных крепко хвостами к потолку; змеи, сверкая стальными блестящими кольцами и издавая какое-то зеленое и дымящееся шипение, бросались в разные стороны. Глядя на этот странный, возмутительный пучок змей и слушая их шипенье, я похолодел от ужаса и рванулся с кровати, но не успел подняться, как подо мной койка расступилась и ледяная бездна, свистящая ветрами, охватила меня... Я открыл глаза: в комнате было тихо, я лежал в постели.

Я стал зорко всматриваться в пепельный мрак уходящей ночи: на потолке никакого пучка змей не было — висел обыкновенный бронзовый трехрожковый канделябр и от падающего в окно желтого фонаря чуть-чуть сиял; вертящегося колеса, залитого грязно-зеленой водой, тоже не было — был самый настоящий потолок, который смутно и нежно просвечивался сквозь пятиаршинную толщину сумерек, находящихся между ним и моею кроватью. Разглядев основательно канделябр, потолок, его углы, потом стены и всю комнату, я успокоился, решительно повернулся на другой бок, закрыл глаза и пожелал себе спокойной ночи.

С закрытыми глазами я пролежал несколько минут и не только не заснул, но еще больше разгулялся, так что картины с’езда, лица делегатов и гостей, обстановка дворца, переживания последнего времени быстро предстали передо мной, побежали вперед, сменяя друг друга.

Я опять увидел центральные улицы Москвы, набитые ненужным народом, ценность которых не превышает

четырех рублей, а годовой прожиточный минимум равняется нескольким тысячам... одним словом, я опять увидел паразитов на теле рабочего.

Я опять увидел героев моей повести, которые умерли за новый мир, которые остались в живых и, не покладая мозолистых рук, строят этот мир, израбатываются в этом нечеловеческом труде; но я увидал и таких героев, которые благодушествуют за спиной партии, рабочего класса, занимаются всевозможными «прожектами», воруют, не верят ни в какое строительство и в силы своей партии, — впрочем, в этих героях я видел: Сметан, Калош, Симфоний, Дорофей Потаповн... Потом все эти белотелые, рыхлые, хорошо откормленные герои, виляя толстыми ляжками, крупами, семенящей, словно опоенные лошади, походкой прошли мимо меня, скрылись в густоте сумерек, пропали на-вечно, а вместо них предстала новая незабываемая картина, которой я любовался до самого утра, до подачи самовара. Вот она (впрочем, это было давно, кажется, в июне месяце).

В десять часов вечера народный комиссар и я сели в машину,—поехали за город. Ночь была теплая, свежая, густо пахло липовым цветом. Мимо бортов автомобиля проносились бесконечно длинные улицы, резали глаза ослепительно ярким светом, а иногда бросались на автомобиль раскаленными бело-желтыми лавами, и мы щурились и закрывали глаза. Одним словом, под черным небом Москва была золотой клумбой, высоко поднималась своим цветением к небу, как океан, гудела своими приливами и отливами густых толп. Через несколько минут столица осталась далеко позади и казалась нам еще более величественной, еще более пышной, чем полчаса тому назад, когда мы проезжали по ее

улицам: она высоко, очаровательно уходила к черному небу. Сейчас над нами была аспидная ночь, глубокая тишина, а еще выше — едва заметная серебристая пыль звезд... Машина эластично врезалась, плавно, чуть-чуть покачивалась от небольших выбоин дороги, выжимая толстыми шинами из них темные лужи воды, что шипели и мелкими каплями разлетались по сторонам. Фонари остро вонзались в ночь, трепетным мягко-движущимся вперед светом освещали дорогу. От желтого света шоссейная дорога казалась зелено-серой; лужи воды мрачно сверкали темным серебром. По обоим бокам дороги были раскинуты ржаные, выколосившиеся поля, густо пахли цветочной пылью, каплями дождя, оставшимися на усах колосьев, прохладной летней грозой, прошедшей так шумно, так торжественно над этими полями, нежным и необычайно тонким запахом васильков.

Недалеко от дороги, в мягкой, как губка, ночной густоте дергал неприятным голосом дергач. Его крик напоминал детство, деревню, большие тесовые, страшно скрипучие и с выбитой одной доской ворота риги, и мое и народного комиссара катание... Я вспомнил, как мы с ним катались на этих скрипучих воротах, как мы оба увлеклись этим удовольствием и не заметили, как подкрался к нам мой дедушка и, выхватив из-за спины ременный кнут, здорово огрел меня, потом и его, так что мы, вскинув подсолнечные головы, дико вскрикнули и вихрем рванулись в сторону от деда, а его ременный кнут еще раз жалобно просвистал позади наших пяток. Мы, почесывая вздувшиеся рубцы на спинах, опомнились только на выгоне, остановились, мокрыми глазами взглянули друг на друга, но тут же отвернулись, густо покраснев.

Потом опять взглянули друг на друга, и опять отвернулись. И только через несколько минут мы недоверчиво разговорились. Первым заговорил народный комиссар. Он, глядя куда-то в сторону, спросил:—«Здорово влепил?» — Я покраснел от стыда и единым духом выпалил: — «Чего там здорово! Промахнулся. А тебе здорово?» — Он пожевал красными губами, потом надулся серьезностью и, гордо вскидывая голову, проговорил: — «Не достал, старый чорт, а то бы здорово влепил». — После этого разговора мы двинулись вперед и, не желая сознаться, ежились от горячих и вздувшихся рубцов под посконными рубахами.

Машина, как игла, врезалась почти бесшумно в бархатную ночь. Я повернулся и взглянул на народного комиссара: он, облокотившись на борт и подперев ладонью голову, смотрел вперед и, кажется, чутко прислушивался к глубокой тишине, зачарованной грозой. Я обратился к нему:

— Представь, услыхав крик дергача, я вспомнил катанье на воротах, моего дедушку.

Он, не изменяя позы, поднял на меня большие горячие глаза, улыбнулся:

— А я вспомнил ременный кнут и детское самолюбие.

Сейчас почти рядом с дорогой тяжело дергал, тягуче скрипел дергач, потом быстро умолк, оставаясь далеко позади в непроглядной беспредельной мгле.

— Да, — после небольшого раздумья ответил я, — как все далеко осталось позади...

Он поднял голову и что-то хотел сказать, но ничего не сказал,—он принял прежнюю позу и стал прислушиваться к тишине. Я больше не стал беспокоить его и тоже прислушался.

Автомобиль, выжимая толстыми шинами лужи, спокойно врезался вперед, нащупывая прожекторами путь, отчего все время казалось, что мы беспрерывно катимся вглубь туннеля, а не по шоссейной дороге, не между выколосившихся, цветущих ржаных полей, хотя аромат цветочной пыли, васильков все время густо обдавал нас. Вдруг все резко изменилось: вместо запаха полей мы почувствовали, как нахлынул на нас густой, острый запах навоза, а потом через какую-нибудь минуту — запах плодового сада, который тоже быстро пропал, остался позади, а мы его почувствовали только в своих дыхательных органах да и то только на одно короткое мгновение, так как мы снова попали во власть ржаных полей, в волны цветочной пыли, васильков. Он, не поворачивая головы, проговорил:

— Скоро в'едем в электрифицированный район, — и он показал мне на деревни, которые робко золотистыми сетками дрожали в черной густоте. С каждой минутой деревни, села, разбросанные широко впереди, приближались все ближе, все ярче трепетали бело-зелеными бутонами огней.

Одни деревни были похожи на великолепно и пышно цветущие сады; другие деревни были похожи на золотые стоячие реки, а то и на дымящиеся куски млечного пути.

Глядя на эти деревни, села, густо разбросанные в аспидной мгле, мы не заметили, как автомобиль врезался в орбиту этих сел, деревень, помчался дальше, пропуская мимо себя густые золотые клумбы огней, длинные куски млечного пути. Все это золотое цветение электрической крови было изумительно в необ'ятной густоте аспидной ночи.

Я, пораженный этими картинами, спросил:

— Скоро приедем?

Он, не торопясь и не отрывая глаз от освещенных сел, деревень, что были вокруг, спокойно и невиданно дрожали, ответил:

— Через двадцать минут будем на месте.

И мы опять погрузились в тишину, разорванную золотыми сетями. Машина все так же уверенно катилась вперед, врезалась в освещенные села, деревни, пропускала их мимо себя, и они, медленно вертясь и сверкая все уменьшающимися огнями, терялись в бархатной мгле.

Через двадцать минут, как сказал народый комиссар, мы были около высоких, мощно освещенных корпусов, живущих полной жизнью, слушали тяжелый шум воды, словно подземный гул, работу турбин и всего чрева электрической станции.

Несмотря на позднее время, нас встретили директор, главный инженер и бюро ячейки. Мы вместе с ними поднялись во второй этаж, прошли в кабинет директора. В кабинете было необычайно просто, а главное — он не походил на кабинет: в нем не было той обстановки, той мебели, которая вообще бывает в кабинетах директоров, того удобства, без которого можно вполне обойтись, в нем была простая мебель, простой диванишка, крепкий дубовый стол — вот и все. Директор, поймав мой блуждающий взгляд по кабинету, улыбнулся в темно-русую окладистую бороду:

— Живем пока бедновато, — и пояснил: — это помещение служит и кабинетом и жилплощадью.

Директор был небольшого роста, но кряжистый, голубоглазый, с большой черной родинкой на левой щеке. Одет он был просто и своей одеждой нисколько не отличали от рабочих. По профессии он был слесарь, но

этим делом уже не занимался несколько лет: оторвала царская война, потом гражданская, потом партийная работа, а вот сейчас советская. Инженер тоже ничем не отличался от директора: он был так же просто одет, как и директор, даже с лица, несмотря на молодые годы и на то, что не имел бороды, усов и родинки на левой щеке, был похож на директора, в особенности глазами. Одним словом, эти два человека дополняли друг друга, составляя собой одно целое, и это одно целое в этом захолустном уголке двигало вперед дело социализма.

Инженер, сидя на диване рядом с народным комиссаром и с членами бюро ячейки, немного хриповатым голосом рассказывал о работе станции, о ее мощности, о том влиянии, которое она оказывает на крестьянское население, в особенности на то, которое не попало в орбиту нашей станции. Потом он обратился к директору и предложил до ужина посмотреть станцию.

— Верно, — согласился директор, — по ночам наше «дите» живет и радуется больше, чем днем.

Мы все шумно поднялись, направились из кабинета и двинулись к станции. Итти было недалеко. Дорога освещалась крупными электрическими лунами, разбросанными по пространству станции. Вся эта площадь земли от работы турбин, машин, от тяжелого падения воды вздрагивала, трепетала, как туго натянутая струна, под нашими ногами. В корпусах станции было поразительно светло, всюду была необычайная чистота, порядок. Черные, отливающиеся лаком и медными щетками, динамо-машины лежали тяжело, неподвижно рядами на полу. Глядя на эти машины, что были похожи на огромных тюленей, создавалось такое впечатление, что эти черные чудовища, вырабатывающие электриче-

скую кровь, лежат трутнями на полу, никакой пользы не приносят станции. Впрочем, такое впечатление только на первый взгляд: эти спокойно лежащие на полу огромные тюлени живут глубокой внутренней жизнью и, гудя тихим пчелиным шумом, вырабатывают красно-золотистую кровь, гонят ее по толстым проводам к приемникам-доскам, потом от этих досок в далекие пространства, разбросанные в аспидной мгле. Из того отделения мы прошли в машинное, где огромный ряд двигателей, принимая первобытную грубую силу от турбин, производил черновую работу, выверяя силу, размеренно, с математической точностью, гнал эту силу в дальнейшие отделения станции, приводя ее в трудовое движение. Этот ряд гигантов-двигателей, чудовищно размахивая блестящими маховиками, желтыми ремнями, с легкостью пуха одуванчика работал всеми своими мускулами, стараясь оторваться от бетонного пола, подняться к потолку и вырваться в широкие окна. Возле каждого двигателя прохаживался рабочий, чутко прислушивался к его пульсу, то-и-дело ощупывал его главные нервы, то-и-дело насыщал его жажду из довольно крупной масленки... Потом, обойдя все отделения станции, мы вышли на волю и прошли к плотине.

Народный комиссар был все время в компании директора и членов бюро ячейки. Они громко разговаривали, обсуждали, говорили о недостатках, о чем-то его просили. Он что-то возражал, что-то записывал в записную книжку, но что, я хорошо не знаю, так как меня все их разговоры очень мало интересовали, меня интересовала, радовала вот эта станция, которая небольшой кусок рабоче-крестьянской страны толкнула в будущее, ближе к социалистической культуре... Но, выйдя из корпуса, я оторвался от чрева станции, так

как меня тяжело оглушил падающий поток воды; я радостно пошел вперед, влился в компанию,— она, окружив народного комиссара, стояла на бетонном берегу реки, устремленной в турбинные желоба. Я был очарован плавно бегущим потоком, еще больше его мутно-зеленым тяжелым падением с необычайно высокой пропасти, его ревом и шумом в бешено вертящихся крыльях гигантских турбин, а еще больше его широким пенисто-белым, как молоко, вырвавшимся из турбинного отделения разливом и глухо ревущим бегом в старое русло реки, из коего безжалостно вывел его в сторону человек и заставил служить... Потом, насладившись красотой падающего водопада, мы отправились в кабинет директора.

Я не знаю, какое было настроение у народного комиссара, но у меня было потрясающее: я глубоко убедился, что в недалеком будущем отсталая в культурном отношении страна превратится в одну из передовых стран строящегося социализма. Я еще более был глубоко убежден, когда директор и члены бюро ячейки, выборные рабочие от этой станции и инженеры высказали ему не только свое настроение, но и настроение всех рабочих станции. Они ему откровенно сказали:

— Мы живем бедно, в казармах, в страшной тесноте, но мы твердо убеждены, что мы являемся хозяевами. У каждого рабочего имеется железная воля поднять производство на такую высоту, на которой оно никогда не стояло. Мы хотим, чтобы наша страна покрылась новыми заводами, не зависела бы от капиталистических стран, а чтобы мы сами могли производить станки, машины для оборудования новых заводов и фабрик. Мы хотим, чтобы наша страна от Владивостока и до берегов Черного моря была залита потоками электричества,

как вот этот наш маленький, не больше уезда, кусочек земли, через который мы ясно видим будущее... Мы хотим, чтобы наша партия внушила своему народу, что он является хозяином страны, что он должен экономить каждую копейку, откладывая ее на строительство социализма. Мы хотим, чтобы партия растолковала отсталым слоям нашей молодежи, посланной на рабфаки и ВУЗ'ы, что в нашей рабоче-крестьянской стране нет места упадническим настроениям. Мы хотим, чтобы вся наша молодежь, которая находится в высших учебных школах, вернулась в нашу семью с полным сознанием своего долга перед рабочим классом, с глубоким багажом знания и новой культуры... Мы хотим, чтобы из нашей молодежи вышли крупные ученые — новые Ленины, Мечниковы, Ипатьевы. Павловы... Мы хотим, чтобы у нас было как можно меньше общественников-говорунов.

Он подробно ответил им и сказал, что партия как раз проводит это и ждет от молодежи, посланной учиться, того же самого, чего ждут и рабочие. Он уверенно сказал, что молодежь придет из вузов с глубокими знаниями, что она вольется в жизнь, будет вместе с рабочими строить другую культуру...

Беседа его с рабочими закончилась на рассвете.

Отдохнуть пришлось не больше четырех часов. Когда мы проснулись, оделись и вышли на улицу, ярко красное солнце уже было довольно высоко и купалось в пенистом потоке реки, окрашивая его во все цвета красок. Около машины ожидали директор, инженер и большая толпа рабочих. Они дружно и радостно встретили народного комиссара, а когда он сел в автомобиль, его проводили рукоплесканиями.

Мы долго ехали молча, щурясь от ослепительно-яркого горячего солнца и едва заметного ветерка.

— Трактор, — проговорил он.

И действительно, недалеко от дороги, тяжело пыхтя, двигался железный конь, пышно сопел, отдувался бледно-зеленоватым дымом. От его лемехов мягко отваливалась земля и легкими черными волнами откатывалась от него. Над железным движущимся конем спокойно кружились белоносые грачи, тяжело падая в прохладно-влажные борозды. Над полем было глубокое светло-синее небо, в нем не было ни одного облачка — ночные грозовые облака куда-то удалились, так что от них не осталось даже перистого следа. Одно только ярко-красное, сверкающее всеми цветами в глазах, большое солнце спокойно, величественно катилось по необозримо-прозрачному небу, поднималось все выше и выше, накаляя зноем все больше и больше сияющий воздух и землю. Высоко над нами, над серо-белой дорогой, которая суровым холстом выбегала с головокружительной быстротой из-под мягких шелестящих колес машины и, вертя вокруг себя поля, деревья, тракторы, прохожих, проезжих, селения и перелески, быстро уносилась в светло-синюю необозримую даль. Потом я едва улавливал отдаленный перезвон жаворонков, перезвон радостный, веселый, полный жизни и счастья. В этом перезвоне не было ни горя, ни страдания, ни тяжелой борьбы, ни горьких слез, ни беспросветной нужды, — была одна великая радостная жизнь, которая дается только однажды человеку, зверю, птице и каждой твари. Человек должен так же, как и жаворонок, пройти этот маленький жизненный путь, радостно пропеть свою творческую песню. Машина непоколебимо врезается в светло-синий воздух, буравит с легким свистом его, летит все дальше и дальше. Я вижу, как вертится от движения машины

светло-зеленый, наполненный неумолчным журчанием окрест, как этот окрест сменяется новым окрестом, и так без конца, точно наша машина плетет позади себя гигантские светло-зеленые, ярко-цветные, похожие на цыганские шали кольца и оставляет их позади себя. Я вижу, как в этих кольцах, выбегающих из-под толстых колес и пропадающих так быстро в синеве, в зелени падающего горизонта, бурно кипит человеческая жизнь, создавая другую культуру.

Глядя на эти убегающие кольца, я снова ушел в грядущее, которое неудержимо надвинулось на нас, влечет упорно в свои очаровательные глуби, и совершенно позабыл народного комиссара, что сидел со мною рядом и, склонив голову на грудь, дремал. Я видел отчетливо своими глазами будущее.

Я видел города, села, деревни; я видел на шестой части земли сплошной город, утопающий в изумительно-прекрасной зелени садов. Я видел очаровательно прекрасное небо, необычайно прекрасное солнце, которого я никогда не видал вот до этой сладостной минуты. Я бесконечно долго наслаждался, бесконечно долго бродил по улицам единственного города, так что не заметил, как ко мне обратился народный комиссар и своим словом вернул меня в реальное состояние:

— Едем?

— Едем хорошо, — как бы просыпаясь, ответил я и встретился с его горячими глазами.

— А я немножко вздремнул.

— Вздремнули?

— Да.

По бокам шоссе было обычно: вертелись, убегали ржаные, выколосившиеся поля, леса, перелески, села, деревни, строящиеся заводы, станции, квадраты полей,

медленно движущиеся тракторы, жаворонки. Все это, замыкаясь в кольца окреста, неудержимо выбегало из-под колес машины, убегало к падающему светло-зеленому горизонту, пропадало в его бледно-синей очаровательной глубине.

Народный комиссар сказал:

— Мы еще с вами доживем до того времени, когда вот эти просторы покроются сплошным городом, другой культурой... Это только пока клетки, через которые мы видим...

— И другими людьми, — соглашаясь, ответил я.

— Да, — улыбнулся он, — вырастают на смену новые поколения... — Тут он опять улыбнулся, взглянув на меня: — А ты знаешь, Завалишин, я вот пять минут тому назад дремал и сквозь дремоту приятно чувствовал, что наша машина, рассекая теплый летний день и стараясь обогнать солнце (оно все время было на правой стороне и все время равнялось с нашей машиной), врезалась в будущее. И представь, Завалишин, чем она дальше, чем она глубже врезалась в будущее, тем дорога становилась все лучше и лучше. Да и солнце горячее.

Я с любопытством посмотрел на него и невольно подумал: не смеется ли он надо мной, ибо я, пока он дремал, действительно и наяву уносился в грядущее, прохаживался по улицам города, по его цветущим садам, любовался спокойными толпами народа, которые резко отличались от нашего современного общества. Я только было хотел обратиться к нему и сообщить, что я тоже мчался в будущее, как он обратился ко мне и громко проговорил:

— Но проклятая чертовщина всю поездку испортила.

Я насторожился.

— Иногда приятно побывать в будущем и во время сна. Мне за последнее время часто стали сниться сны: то я прогуливаюсь по улицам социалистической Москвы, то я работаю с обществом на каком-нибудь заводе, то я просто разгуливаю по увеселительным местам. Но иногда снятся мне и очень жуткие сны.

Я поинтересовался относительно чертовщины, которая испортила ему поездку.

Он поднял бледно-землистое лицо, обросшее мягкой бородой, посеребренной по бокам, в особенности под подбородком, с сильно обострившимся носом, взглянул на меня испытующими глазами, потом чуть-чуть улыбнулся.

— Чертовщина, — повторил он, — мы ее в своей повседневной работе на каждом шагу везде и всюду встречаем. Эта чертовщина отнимает у нас время, мешает строительству. Эта чертовщина иногда обретается в нашем брате — партийце, в обывателе...

Его слова начинали меня озадачивать, и я никак не мог разгадать их смысла: к чему и зачем все это?

Вдруг он неожиданно сказал:

— Все, Завалишин, испортила гоголевская тройка. Представь себе: ты бешено врезаешься в грядущее, а навстречу тебе мчится лихая тройка, позвякивая колокольчиками, и кричит, и машет на тебя селифановским широко открытым ртом, синими глазами, руками, цветными вожжами, всей своей цветной безрукавкой:— «сворачивай!», а тебе, представь, сворачивать некуда, так как по бокам глубокие рвы, и ты врезаешься все дальше и дальше, а гоголевская тройка с цветным Селифаном все ближе к тебе навстречу... глядит на тебя не глазами Селифана, не глазами Чичикова, Манилова, Собакевича, Хлестакова, а прет на тебя, понимаешь,

другими глазами, другими красными рожами, рожами твоих современников... Калош, Сметан, Симфоний, Дорофей Потаповн... Вот эта самая тройка испортила всю мою дремоту. Эти тройки появляются и на яву, в повседневной нашей работе, мешают строить социализм, мешают работать, расхищают, растрачивают народное достояние... Мешают своим неверием. О, как еще мешают..

Мы незаметно под'езжали к городу. Его золотые купола, кремлевские башни, напоминающие Византию и мрачный гений Грозного, разноцветные крыши ярко переливались на солнце. Фабрично-заводский дым казался под теплым, необозримо голубым небом серебряными облаками.

Эти облака дыма быстро таяли в синеве.

Мимо нас плавно промчался открытый автомобиль, взглянув на нас жирными мордами, букетами цветов, огромными шляпами, ярко-красными газовыми шарфами, развивающимися по ветру.

Народный комиссар болезненно улыбнулся:

— Это тоже тройка, хотя и не гоголевская, — современная, но она на нашем пути.

Я не ответил: я опять подумал о Кузнецком Мосте, о толпах людей, которые праздно шатаются по тротуарам, сидят паразитами на теле рабочего класса, тянут из него кровь... Потом я мысленно брал одного паразита, прикидывал его в своем уме, высчитывал, во сколько обойдется его праздное существование хозяину страны, потом высчитывал, сколько хозяин получит от него пользы. Результаты получались неутешительные: трутень в течение года с'едал рабочей крови не на одну тысячу рублей, пользы же приносил в качестве экскрементов для удобрения подмосковных огородов на 3 руб. 75 коп.

Улицы, заставы быстро двигались на нас.

Мы видели, как шевелилась вся Москва и, медленно поворачиваясь домами, толпами народа, двигалась всей своей разноцветной кутерьмой на наш автомобиль.

Мы глубоко ощущали, что он грузно, величественно врезался в грядущее. Мы видели, как из-под его шипящих и тяжелых колес шарахались Сметаны, Калоши, Симфонии, Дорофеи Потаповны в разные стороны... Грядущее все ближе... ближе...

Я быстро повернулся на другой бок, лицом к двери.

В комнате было серо от утра, точно цвела сирень.

В дверь усиленно стучали.

— Войдите, — крикнул я.

Услуживающий сказал:

— Самовар можно подать?

— Можно.

Его белобрысая с синими глазками физиономия быстро растаяла в сером сумраке.

Я встал. —

— Надо мною не было зеленых змей — стояли великие страдные дни нашего времени...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ * * *

Конец эпилога

Когда я вошел, в Андреевском зале было так тесно, что я едва протиснулся к колонне, возле которой стоял до обеденного перерыва. Я привалился к ней, но мне было так неудобно от человеческой тесноты, так что я постарался выпрямиться, выйти немного вперед. В зале горело электричество; над черно-синим и над серо-зеленым (от костюмов, от френчей и от потока глаз) залом величественно возвышались своды, грузно восходили к ним колонны, грубо блестя лепным золотом,

мрамором. В этом зале сейчас все было необычно: от напиравшего с обеих сторон упрямо света потемнели окна, — мраморные амбразуры как-то тихо дымились золотисто-синим дымом, дверные зеркала как-то особенно чернели своими ртутными омутами, делегаты и гости, сидевшие и стоявшие неподвижно, тоже казались другими. Одним словом, все было прекрасно, громоздко, а по его ошеломляюще-громоздкой и грубой красоте неудержимо бежал с черно-синими огоньками поток глаз. За столом президиума тоже было густо: все члены президиума были на своих местах. За спинами членов президиума тоже было полно от представителей братских партий и их глаза плавно катились через головы членов президиума навстречу глазам с'езда. За столом президиума, рядом со вторым докладчиком, который только что вчера вечером кончил свое заключительное слово, а сейчас, облокотившись и положив голову на ладонь правой руки, смотрел черными глазами в глубину зала, все так же, как и до этого времени, лежала книзу лицом трагическая голова, показывала с'езду свою черно-серебристую гриву и плечи ярко-синего костюма. Около пюпитра грузно, как несокрушимая скала, в военном френче, застегнутом на все пуговицы, в простых сапогах стоял докладчик. Он, держа одну руку в кармане френча, другую напротив сердца, произносил ровным голосом заключительное слово. Нужно сказать, что докладчик, при желтом свете люстр и канделябров, казался больше усталым, изнеможденным, чем в первый день при дневном — осиновом свете неба; его лицо с обвислыми черными усами, с обострившимся носом было темно-серого цвета и, как мне казалось, было холодно, бесстрастно, как будто ко всему относилось равнодушно; но это только казалось на

первый взгляд: его узкие черные глаза под крутыми дугами бровей вспыхивали то-и-дело неуемным огнем, обжигали, а его заключительная речь, которая не была наряжена в европейские побрякушки, не была наделена жестами парижанина, — была проста, глубока, своеобразно вдохновенна, его речь не звенела пафосом, сверкающими стекляшками, не развертывалась цыганским платком перед глазами делегатов, она текла первородным источником, в глубине коего было видно все до мельчайших подробностей... Его речь укрепляла в вере, вдохновляла к великому труду...

Докладчик говорил спокойно и его слова, тяжелые от содержания, полнокровными зернами глубоко падали в сердца. Он, как и в своем политическом отчете, во второй раз гениально начертал ту широкую дорогу, по которой под руководством партии должна пойти наша страна; он, отвечая оппозиции, которая своими выступлениями ничего не дала, никакого пути не наметила, не опровергла выдвинутые партией теоретические положения, основанные на учении Ленина, а только выбросила возмутительно демагогические лозунги для некоторых отсталых слоев рабочего класса, чтобы поймать эти слои на свою меньшевистскую удочку, вторично доказал, что социалистическое хозяйство строим, что социализм будем строить в своей стране и построим. Утверждая эту веру, он беспредельно по глубине анализа развернул перед глазами с’езда всю картину строительства на огромном пространстве Союза, и эта картина во всем своем величии прошла перед с’ездом партии. Потом он вскрыл, если можно так выразиться, все те драгоценные ящики, в которых заключалось все богатство, взятое у буржуазии в Октябрьскую революцию, и, показывая это неоценимое богатство,

сказал: — «Многие из нас, членов партии, не знают, насколько велико наше состояние, а это необходимо надо знать. — Тут он, подойдя ближе к залу, пояснил: — Все, что мы видим на шестой части земли, принадлежит рабочему классу и крестьянству, да прибавим к этому состоянию еще состояние, в триллионы раз ценнее шестой части земли,—это власть рабочего класса, его диктатуру. Вот этого богатства, которое находится в наших руках, под нашими ногами, многие, к сожалению. не только не осязают, а просто, благодаря своей слепоте, совершенно не видят, — это недопустимый позор. Вот к этому-то богатству надо приложить руки хозяина, надо внушить этому хозяину — рабочему классу, чтобы он это богатство понял, оценил, поднял его на такую высоту, которая бы приблизила нашу страну к социализму... Вот этого самого оппозиция никак не может понять, вернее—не верит в это, заражена пессимизмом; но этого мало, что оппозиция заражена этим неверием, — она заражает своим неверием и отсталые слои рабочего класса, идущие из деревни, и этим приносит нашей партии, рабочему классу глубочайший вред. С таким неверием вся наша партия, снизу и до самого верху, должна беспощадно бороться». — Потом он подробно остановился на крестьянском вопросе. Он в этом вопросе, как и второй докладчик, определенно указал, что партия должна завоевать середняка, за прочный союз «пролетариата и бедноты с середняком». Потом, переходя к другому вопросу, он бросил: — «Вот этого ленинского лозунга у содокладчика оппозиции нет и он стоит совершенно на другой точке зрения нейтрализации середняка. Можем ли мы на эту точку стать? Не можем, ибо это не ленинская точка зрения, не большевистская, а чужая и враждебная нашей

партии». — Потом он перешел к вопросу «о единстве партии». По этому вопросу он сказал коротко и сжато:

— Мы против отсечения. Мы против политики отсечения. Это не значит, что вождям позволено будет безнаказанно ломаться и садиться на голову. Нет, уж извините. Поклонов в отношении вождей не будет.

С'езд, волнуясь и двигая плечами, разноцветными бородами и то-и-дело ломающимся светло-зеленым потоком глаз, дружно поднялся, вскинул желто-розовые ладони, которые, разрывая неудержимо стремящийся к трибуне и к докладчику поток глаз, тяжело затрепетали. Разразившаяся, набегающая тяжело друг на друга, подобно морским волнам, приветственная гроза, грузно ударяясь в мраморные стены, в огромные окна, в массивные люстры, из которых ослепительно лился поток червонного света, в дугообразные, украшенные грубо золотом, колонны, торжественно прокатилась по Андреевскому залу, катя в себе возгласы:

— Да здравствует ленинская партия!

Докладчик, как несокрушимая скала, как вершина с'езда, стоял на трибуне. Он, осыпаемый всплесками ладоней, заливаемый восторженным потоком глаз, который, подобно весенним водам, катился на него из бесконечной глубины, бросил последние слова своей необычно короткой речи:

— ...Ленинградские рабочие-коммунисты не отстанут от своих друзей в других промышленных центрах в борьбе за железное, ленинское единство партии. — Эти слова докладчик бросил взволнованно в еще больше разбушевавшийся с'езд. Он только что было хотел повернуться и сойти с трибуны, как в это время из глубины зала раздался раскатистый голос:

— Да здравствует товарищ... — И вдруг, заглушая легким по звучности, но потрясающе сильным баритоном бушующие волны рукоплесканий, кто-то из самой глубины запел:

Вставай, проклятьем заклейменный.

С'езд неожиданно замер, погрузился в глубокую тишину, потом глубоко и мощно, точно одной грудью, радостно подхватил:

Весь мир голодных и рабов.

Потом подхватил президиум, а с ним и новый народный комиссар, выдвинутый из недр рабочего класса:

Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

Только трагическая голова с тяжелой черно-серебряной гривой, вскинув острый подбородок с небольшой жалообразной бородкой и поблескивая стеклами пенснэ, смотрела поблекшим взглядом в глубину зала и едва заметно шевелила тонкими саркастическими губами; да еще только ленинградская делегация была в растерянности; она переглядывалась между собой; а ее содокладчик и вождь в дымно-синем костюме и с шевелюрой такого же цвета так растерялся, что даже не знал, что ему надо делать: он то садился, то вставал, то опять садился, пока его товарищи не присоединились вразнобой к могучему голосу с'езда.

Я стоял около колонны, но я не чувствовал ее: я был далеко-далеко. Я видел, как вместе со мною отплывала шестая часть земли, уходила в грядущие века, в века другой культуры... Я видел, что не было никаких стен, не было никакого дворца, — под звуки «Интернационала» двигались многомиллионные массы «разноликого народа». Я видел, как впереди этого «разноликого народа», как несокрушимая скала, в неизменном своем

военном френче, в простых сапогах, ровным и необычно спокойным шагом шел докладчик, сверкая огнем немного прищуренных глаз с утомленного бледно-землистого лица; рядом с ним шли и другие. Тут был и второй докладчик, что был в черном костюме, с смуглым высоким лбом, с небольшими черными усиками на русско-монгольском лице; тут был с небольшой темно-русой бородкой, с светло-голубыми глазами на плоском костлявом, но простом и милом лице, председатель с'езда; тут был и небольшого роста блондин с светло-овсяным чубом на высоком лбу, с небольшой светлой бородкой, с голубыми и такими ясными глазами, тот самый товарищ, которого любит молодежь... тут был и новый народный комиссар, тот самый, которого партия выдвинула из своих глубин на место умершего... тут были и многие другие; тут была вся миллионная кагорта большевиков, многомиллионная армия «разноликого народа». Я видел, как эта масса «разноликого народа», ведомая своей партией, творила на земле другую жизнь, другую культуру. Я видел, как на шестой части земли вырастали гигантские заводы, фабрики, прекрасные здания, невиданные сады, крестьянские общины, хлебные фабрики. Я видел, как вся шестая часть земли двигалась...

... Я, слушая «Интернационал», далеко забрался в грядущие века, так что не заметил, как я с общей массой «разноликого народа» вышел в коридор дворца, потом на широкую ковровую лестницу. Я только тогда опомнился, вернулся в нормальное состояние, когда вышел на улицу, погрузился в темно-синюю ночь, робко освещенную редкими фонарями. Я медленно двигался с толпой. Я ощущал, как декабрьский мороз, осыпая серебристым пушком мою бороду, усы и пряди волос, выбившиеся из-под краев барашковой шапки, больно

покалывал мои щеки. Я видел над своей головой темно-синее небо, в глубине которого безмятежно висели крупные зеленые звезды, мутный и туманный от густоты звезд млечный путь, — он как будто бы двигался вместе со мною. Я радостно, с глубокой верой в сердце вышел из Кремля, погрузился в неугомонный рокот Москвы, в море желтого света, в движущиеся беспрерывно людские толпы... Глядя на эти толпы, я непоколебимо знал, что та страна, где властвует диктатура пролетариата и в которой столько лет жил, боролся и работал народный комиссар, мой герой (впрочем, он и сейчас по воле своей партии, рабочего класса, работает в лице другого народного комиссара), была далеко от старого мира, от старой культуры, и, несмотря на Кузнецкий Мост, на опустошенные толпы, за которыми я наблюдал из окна моего номера, высчитывал их ценность жизни и, несмотря на Калош, на Сметан, на Симфоний, которые отнимали время труда у моего героя, приносили и сейчас еще приносят ужасный вред моей партии, рабочему классу, — она неудержимо двинулась и движется в века, к социализму. От такого глубокого сознания у меня от радости захватило дух... Я неожиданно остановился: надо мной было все то же темно-синее небо, крупные сочные звезды, висящие в нем, а вокруг меня рокотала улицами Москва, под ногами глухо гудела Красная площадь; направо от площади стояла темная кремлевская стена, в непрерывно журчащей темно-синей мгле рдела урнами борцов; среди этих урн я отыскал свежую урну народного комиссара, остановился на ней, вспомнил образ моего героя, которого я стремился вылепить, дать молодому поколению, и он предстал предо мною, сияя и улыбаясь своими прекрасными голубыми глазами. Я смотрел на него долго

и упорно и, глубоко страдая, вспоминал бесконечно длинное свое сочинение, стараясь найти в нем до самых мельчайших подробностей образ моего героя, сравнить с образом, стоящим передо мной. Когда я нашел в своем бесконечно длинном романе рассыпанные черты моего героя, собрал их в одно целое (из общей массы черточек получился образ моего героя), он улыбнулся в мягкую, посеребренную по бокам бороду, ласково сказал:

— Зачем ты это, Завалишин, делаешь? Ты знаешь, что один человек—не герой, а рабочий класс—не толпа.

Я пристальнее взглянул на него, но тут же испуганно попятился назад, так как на меня смотрело другое лицо, другие глаза, но такие же горячие и жадные к жизни.

— На этой Красной площади, как на плахе, погибнет старый мир. — Этот голос прозвучал надо мной необычно громко, так что я, узнав немного глуховатый голос нового народного комиссара, вздрогнул и поднял глаза: — — —

— — — передо мной грузно, непоколебимо стояла кремлевская стена со своими черно-красными башнями. Я остановился — и вдруг в одной ее бойнице показалась одетая в шлем голова красноармейца, она пронизала быстрым орлиным взглядом мутную мглу ночи, покрытую черно-синим небом, крупными разноцветными звездами, и твердо, поступью богатыря пошла по стене дальше... Часы на Спасской башне выбивали торжественно «Интернационал». Я медленно двинулся вперед, повторяя:

— На этой Красной площади, как на плахе, погибнет старый мир.

Ноябрь—декабрь
1925 г.
1926—1927 г. г.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

Часть вторая

ЗАПИСКИ НАРОДНОГО КОМИССАРА

Часть третья

Часть четвертая

ЭПИЛОГ

